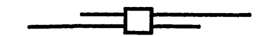
А. В. Амфитеатров 6

А. В. Амфитеатров

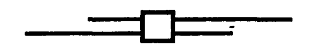
А.В. АМФИТЕАТРОВ





А.В. АМФИТЕАТРОВ

Собрание сочинений
в 10 томах



КОНЦЫ И НАЧАЛА

Хроника 1880 – 1910 гг.

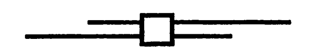


Москва
НПК «ИНТЕЛВАК»
ГНПК «Вакуумmашприбор»
2002

А.В. АМФИТЕАТРОВ

Собрание сочинений
в 10 томах

Том шестой



ВОСЬМИДЕСЯТНИКИ

Книга вторая

Крах души

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ ПАМФЛЕТЫ



Москва
НПК «ИНТЕЛВАК»
ГНПК «Вакууммашприбор»
2002

УДК 882 Амфитеатров 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1
А 63

Составление, примечания *Т.Ф. Прокопова*

Руководитель проекта *В.Н. Кеменов*
Зам. руководителя проекта *И.И. Изюмов*

ISBN 5-93264-019-7
ISBN 5-93264-033-2 (т. 6)

КОНЦЫ и НАЧАЛА

Хроника 1880 – 1910 гг.

ВОСЬМИДЕСЯТНИКИ

АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ
ЧУПРОВУ —
дяде, учителю, другу —
с любовью посвящаю этот свой труд.

А. Амфитеатров

1907. V. 31
Sestri Levante

Книга вторая

КРАХ ДУШИ

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

XXXII

Когда в Венеции идет дождь, то более противного города нет на свете. Евлалия Александровна Брагина даже ставень не позволила открыть в спальне. так не хотелось ей разочаровываться в прекрасном итальянском небе, — увы! уже третий день сером, как мокрый кот, и с неугомонною булькотнею капающем в каналы мелкими, ситными дождями Трещали дрова в камине, по цветным сводам комнаты плясали огненные отблески, придавая им грозный и таинственный, будто адский, колорит Брагины остановились во второстепенном отеле «San Marco», занимающем уголок старинных присутственных мест венецианской республики и до известной степени сохранившем их древнюю оригинальность. неожиданные, неправильные формы комнат, — то узких, то квадратных, то треугольных, то в несколько углов, — высокие странные окна, извилистые путаные коридоры, да, кстати, и запах в них чуть ли еще не эпохи «Cinquecento» *. Георгий Николаевич с утра исчез, увлеченный соседом по отелю, знаменитым русским романистом и путешественником, встретить которого в Венеции — для русского столь же обя-

* «Чинквеченто» (*ит.*).

зательно, как видеть крылатого льва и св. Теодора с крокодилом на колоннах Пьяцетты. Пошли осматривать какую-то церковь на краю города, замечательную тем, что ее никто никогда не осматривает, — и такое счастье везет ей тоже едва ли не с эпохи «Cinquecento». Это была всего еще третья или четвертая «разлука» молодых. Но, к удивлению своему, втайне Евлалия уже не чувствовала себя ни немножко обиженною, когда муж ушел от нее с чужим человеком, ни обеспокоенною, как была обижена и беспокоилась она в первые две отлучки, — в Вене и Вероне, — слишком гордая, однако, тогда, чтобы показать Георгию Николаевичу и свою обиду, и свое беспокойство. Теперь она была почти довольна, что остается одна и достаточно надолго, чтобы хорошо и внимательно подумать о себе. Только что начался второй месяц ее замужества, и вот — тридцать дней прошло в вихре поезда, наслаждений, удовольствий, новых мест, красивых зрелищ, новых людей и впечатлений, влюбленных взглядов, любовных слов, восторгов страсти, — без мыслей о себе, без воспоминаний о том, как живут другие люди. Почты получались и едва просматривались — не до них! Телеграммы и письма отправлялись спешные, формальные, наскоро, — те письма и телеграммы, от которых глупые родители приходят в отчаяние, что дети их разлюбили и забыли, а умные, помня, что сами были молоды и любили, усмехаются: не до нас! Почта, которую теперь принес Евлалии комиссионер, была первая, что молодая женщина приняла с истинным удовольствием и прочитала внимательно. Были письма от матери, от сестры Ольги, от Любочки Кристальцевой и толстое письмо незнакомой руки, — судя по штемпелям, порядочно-таки погулявшее по Европе, прежде чем попасть в руки Брагиной. Это письмо Евлалия Александровна с недоумением осмотрела, нашла, что оно пахнет какими-то странными, будто индийскими, духами, и отложила в сторону — «на после». Сперва тянули к себе письма

своих. Писали пустяки. Мать шутила над краткостью ответов Евлалии:

«Вижу, что время тебе жаловаться на Жоржа, а ему бояться сердитой тещи для вас еще не наступило».

«Боже мой! — восклицала Ольга, — уже целый месяц прошел после твоей свадьбы... Неужели вы все еще целуетесь и ни разу не поссорились?»

Евлалия засмеялась, положила письма в сумочку и задумалась. Не ссорились? О нет, конечно, нет: за что? А маленькая вспышка была, — и не то даже чтобы вспышка, а жгучая острая искорка уже сверкнула было однажды в сердце Евлалии против молодого мужа, — и случилось это всего на третий день после свадьбы... Так дело было. Подъезжали они к Варшаве. Евлалию укачало ходом поезда, и она уснула в купе. Проснулась — Георгия Николаевича нет. Выглянула в коридор: стоит и читает какую-то бумажку. Окликнула, — он вздрогнул, как испуганный, поспешно сунул, что читал, в карман и оглянулся на жену странными глазами, совсем неласковыми, с подозрением, страхом и гневом в глубине...

— Что ты, Жорж? — изумилась она.

Но Жорж уже пришел в себя, стал веселый, нежный, милый. А Евлалия наблюдала за ним исподтишка и чувствовала, что он думает о чем-то постороннем и продолжает быть очень не в духе.

— Ты что читал сейчас, Жорж?

— Когда? — удивился Брагин, высоко поднимая по белому лбу свои тонкие, красиво нарисованные брови.

— А когда я позвала тебя из коридора?

— Ах это!.. — и улыбнулся, и нахмурился он, глядя в окно на скучный, вялый, плоский пейзаж тираспольской дороги. — От скуки, что ты спишь, просматривал газетные вырезки в своем бумажнике... знаешь, я ведь говорил тебе: у меня есть привычка — когда я вижу в газете факт, годный для темы

или просто как бытовая иллюстрация, я сейчас же — чик его ножницами и в бумажник...

— А отчего же ты стал такой грустный? — спросила она, взяв его руку и приложив к своей щеке.

Он все продолжал глядеть в окно и отвечал голосом глухим и разбитым:

— Да уж очень острый факт подвернулся... какое хочешь веселье отравит...

Она с отуманенными глазами протянула руку:

— Покажи и мне.

Он взглянул опять, как будто с испугом, и сейчас же отвел глаза.

— Зачем?

— Если ты огорчен, пусть и мне будет грустно.

— О добрый ты мой зверек!

Он схватил ее пушистую голову в обе руки и целовал долго-долго... Но когда выпустил на свободу, молодая женщина все-таки протянула к нему свои пальчики и повторила:

— А вырезку мне покажи.

Тогда у него сделалось довольное лицо. Он вынул бумажник, порылся в нем и вытянул длинный газетный лоскут. Евлалия прочитала про себя темную и горькую историю о девушке, загубленной обманом и насилием, о ее позоре, голоде, конечном падении... ребенок... самоубийство...

— Действительно ужасно! — содрогаясь, сказала она, когда возвращала лоскут мужу.

Тот спрятал лоскут с таким выражением лица, будто ему неожиданно полегчало от острого припадка астмы.

— На меня подобные истории всегда страшно тяжело действуют, — сказал он.

— Еще бы! — отозвалась Евлалия, прижимаясь к нему, с гордою радостью за его впечатлительную отзывчивость.

А он смотрел вдаль и декламировал:

Кто же, имеющий душу,
Мог это вынести? Кто?

— Еще бы! еще бы! — повторяла она, растроганная, и взяла руку, лежавшую на ее талии, и подняла, и поцеловала.

И он знал, за что она целует руку, и позволил поцеловать.

А вечером в Варшаве, ночуя в Саксонской гостинице, Евлалия схватилась искать тех газет, что преподнес молодым на дорогу Антон Арсеньев. До сих пор ни муж, ни жена не заглянули в них, но тут, на сон грядущий, возник спор: когда приходит в Москву курьерский поезд из Варшавы, и, следовательно, когда «наши» получат брошенные в почтовый вагон письма. Георгий Николаевич предлагал позвать кельнера.

— Вот! Я уже почти раздета... И поздно: стоит ли беспокоить людей, когда можно найти в «Передовых известиях»?

Евлалия быстро, — прежде чем Георгий Николаевич успел возразить, — взяла Антонову пачку и распустила розовую ленту, которою Арсеньев перевязал свой странный дар.

— Э! да ты уже рылся тут без меня, голубчик? — весело заговорила она, — газеты развернуты и помяты...

Брагин из глубины комнаты отвечал непринужденно:

— Да, под Варшавою, покуда ты спала в купе. Из двух номеров даже вырезки сделал.

— Вижу, вижу... Поезд приходит в десять часов сорок минут утра по петербургскому времени, значит, в десять минут одиннадцатого по московскому... А что ты взял из «Допотопных ведомостей»? Разве там встречается что-нибудь дельное?

Брагин, все издали, отвечал:

— Курьез какой-то... уж и не помню... Однако, madame Braguine, это непозволительно! Нашла о чем спрашивать! Мы в первый раз вдвоем «у себя», а она роется в газетах... Ты маленький синий чулок! Я тебя накажу...

И, когда он подошел ближе, стало не до газет и расспросов.

Потом... Да что же потом? Собственно говоря, пустяки, мелочи... Купили в магазине на Краковском предместье перчатки для Евлалии. Дома она еще раз тщательно завернула сверток в первые попавшие под руку газеты. В Вене, разбирая чемодан, она заметила на этой обертке — в содержании номера «Допотопных ведомостей» — объявленную статью: «Похвальная перемена». По поводу повести Г.Н. Брагина «Степан Калька», — Боярина Орши. Заинтересовалась прочитать: ан, статьи нет, вырезана, и это тот самый номер, о котором она спрашивала мужа в Варшаве.

В «Передовых известиях» завернуты ботинки, и тоже — прореха длинной вырезки... Не отрываясь от чемодана, Евлалия окликнула Георгия Николаевича:

— Что же ты не показал мне, что пишут о тебе «Допотопные ведомости»?

Она услыхала, что муж быстро и резко встал с качалки, на которой нежился.

— Откуда ты знаешь?

— Да вот...

Евлалия подала смятую газету.

Брагин схватил бумагу, скомкал и сердито швырнул под стол, проклиная свою беспечность и неосторожность. А Евлалия вдруг стала смотреть на него серьезно-серьезно.

— Пожалуйста, покажи мне, что о тебе пишут?

— Откуда же я возьму? — неловко улыбнулся он. — Ты видишь: я вырезал эту статью.

— Но ты же сохраняешь вырезки?

Брагин почти гневно замотал головою.

— Да, но эту я уничтожил. Я затем и вырезал статью, чтобы она не попалась тебе на глаза.

— Значит, страшная ругань?

— Невозможная! Неприличная! — говорил Брагин, кусая губы, красный-красный.

Евлалия смотрела на него с маленькою складкою между бровями. Что-то в муже было ей сейчас очень неприятно, — но что, — она сама не знала...

— Пожалуйста, Жорж, — сказала она наконец с тою мягкою решительностью, которая была ей так свойственна и так в ней очаровательна, — пожалуйста, давай условимся, что вперед мы не будем так... Я не девочка, знаю тебе цену, и никакие «Допотопные ведомости» не разубедят меня в твоем таланте и достоинстве. Что узнаешь про себя ты, могу знать и я: мы давали друг другу слово быть вместе и в горе, и в радости...

— Ах да ведь пустяки же, Лаля! — возразил он, глядя мимо нее.

— Пустяки? пустяки? — отвечала она с легким упреком. — Однако из-за этих пустяков тебе пришлось сказать мне неправду... Разве это хорошо? Совсем не пустяки, чтобы между нами с первых же дней брака завелась неискренность и ложь.

— Ну не всякое лыко в строку! — смущенно засмеялся он, пытаясь обнять ее, но она отстранилась, хотя тоже улыбалась.

— Нет, всякое, всякое!.. Это ненавистно мне — ложь! У нас в доме никогда не лгали... мама, Алиса Ивановна... один Володька подвирал по временам, да и то больше фантазируя: замки воздушные сочинял, а не так, чтобы о житейском, в своем быту... Ложь близкого человека вызывает во мне нравственную тошноту. И чем она мельче и бесцельнее, тем, конечно, хуже. Что же делать? я не могу иначе. Я тебе заранее говорю: ты будешь всегда знать обо мне, что захочешь, — позволь же и мне всегда знать все о тебе...

— Ого? — смеялся он. — А если нельзя сказать?

— Такого, чего нельзя друг другу сказать, между мужем и женою не должно быть вовсе.

— Да ты деспот, Лаличка!

— Нет, я-то не деспот, а вот кто выговаривает себе для жизни привилегию маленьких лжей, тот уже сеет зернышко будущего супружеского деспотизма. Начнется с маленьких лжей, кончится большою и всеобщею: громадным отчуждением, как у всех супругов.

— Уж и у всех?

— Ну почти у всех... Ты прислушайся. Никто ни в каких других житейских отношениях не говорит другому человеку «не твое дело» чаще, чем мужья женам.

— Положим, и наоборот, Лаличка!

— Да, но нам, женам, и отвечать так не о чем: у нас почти никакого своего — «не твоего» — дела нет... по крайней мере, вас, мужчин, настолько интересующего, чтобы спрашивали...

Георгий Николаевич смотрел на жену глазами, в которых светилось глубокое хорошее чувство, готовое сказаться сильным порывом искренности. Но он мялся, кусал губы...

— Уж если говорить всю правду, — признался он, опуская глаза на узоры ковра и румяный, как маленький ребенок, — то надо каяться до конца: я, Лаля, и сейчас тебе все налгал... Бранить меня действительно бранят, — только не в «Допотопных ведомостях», но в «Передовых известиях», а «Допотопные»-то восхваляют, и это мне горше первого... Я именно эти вырезки и читал потихоньку, когда ты поймала меня в вагоне...

— Поймала? Хорошее словечко для взрослого мужчины! А, впрочем, поделом: не прячься от жены с такими пустяками, как мальчишка!

— И я... — продолжал Брагин, сумрачный и унылый, — оказываюсь виноват пред тобою кое в чем похуже лжи... Когда ты спросила у меня вырезку, я тебе вместо настоящей другую подсунул... Это уже маленьким подлогом называется.

Евлалия вспыхнула заревом.

— Ну вот видишь, Георгий! вот видишь!.. Разве же это хорошо? Разве можно? И какая цель? зачем? зачем?

Писатель сокрушенно вздохнул.

— Уж очень стыдно стало, что меня и так гнусно ругают, и так подло хвалят... Боялся, что ты прочтешь — и станешь дурно думать обо мне...

— Нет, знаешь ли, ты просто невероятный человек! Да неужели же я вышла бы за тебя замуж, если бы мое мнение о тебе могло пошатнуться под впечатлением каких-то случайных, Бог знает чьих, статей?

— Я и не говорю, что навсегда станешь дурно думать, но — на минутку... Ах, Лаличка, когда кого любишь, то ужасно неприятно подозревать, что этот человек хоть на минутку принижает тебя в мыслях своих. Ну вот, чтобы этого не испытывать...

Евлалия перебила:

— Чтобы не испытывать воображаемого принижения на минутку, ты поспешил сделать то, что действительно может принизить человека в глазах любимой женщины — и надолго: солгал и наплутовал... Что же, тебе теперь легче?

— Да кто же знал, что оно выплывет наружу? Рассеянность проклятая! Я в Варшаве думал, что все концы в воду, а тут эти перчатки и ботинки... чтоб им сегодня же лопнуть!

Евлалия глядела на мужа во все глаза, пораженная и детским тоном его, и капризным лицом, и наивными словами.

— Фу! какой же ты, однако... гимназист! — вырвалось у нее неожиданным, искренним звуком, рассмешившим и ее самое, и Георгия Николаевича.

В смехе и разошлась первая семейная тучка... Но осадок от нее как будто остался, и теперь, сидя одна в номере гостиницы, Евлалия ловила себя на мысли, уже не однажды стучавшейся в ее молодую голову: «Георгию двадцать восемь лет, он талантливый, знаменитый, умный, образованный, а — оказывается, как будто не взрослый... В нем тогда что-то ребяческое было: как ребенок нашалил и налгал, как ребенок, был уличен и сознался, как ребенок, получил нотацию — и, как

у ребенка, вся вина сейчас же с плеч долой, точно с гуся вода, и памяти о ней не осталось...»

А наказать Евлалия все-таки наказала мужа, — когда же дети у хороших гувернанток шалят безнаказанно? — и наказала тем, что тогда же в Вене заставила-таки его показать обе статьи — и ту, которою возвеличивал Брагина Боярин Орша, и ту, которою уничтожал его Лайон. Георгий Николаевич corpus delicti * жене выдал, но зрелище, как она будет читать его позор, оказалось выше его сил. Он оставил жену в номере и ушел вниз, в пивной зал отеля, где и сидел, нервный, как перепуганный заяц, за кружкою пива и номером «Fliegende Blätter» **, покуда Евлалия не прислала за ним.

— Послушай, — встретила она мужа, с негодованием, бросая вырезки на туалетный столик. — Что хочешь, — я готова пари держать: это писал один и тот же автор!

— Ты думаешь? — обрадовался он. — Представь себе, что и мне приходила в голову та же мысль... Чувствуются некоторые общие приемы, даже выражения... Но это немыслимо: «Передовые известия» и «Допотопные ведомости» несовместимы... А уж как было бы хорошо!

— Почему, Жорж?

— Да потому уже, что — я должен тебе сознаться: в обеих статьях многое задело меня за живое, и если бы оно было справедливо и написано искренними авторами, то мне были бы очень неприятны эти указания... Но если они исходят от господина, способного писать единовременно в двух направлениях, то, разумеется, всем его словам — грош цена. Это — уже не критика, но просто враждебная выходка чьей-то подлой зависти, нарочный пасквиль...

— Ты, конечно, совершенно прав, — согласилась Евлалия. — Но писал это человек острого чутья и, несомненно,

---

* Состав преступления (*лат.*).

** «Летучие листки» (*нем.*).

умный. Со мною было то же, что с тобою: многие замечания резали меня как ножом, потому что казались очень справедливыми... Оттого и такая страшная вышла статья «Передовых известий»: он все твои недостатки не преувеличил ведь, но только уж слишком подробно подметил, изучил и на первый план выставил, а достоинства замолчал... А в «Допотопных ведомостях» недостатки в достоинства возвел, — и вот, когда сопоставить две статьи рядом, то ирония получается убийственная...

— Уж и убийственная! — немножко обиделся Георгий Николаевич. — Брагина не так-то легко убить, Лаля: проживем еще!

— Ну да, еще бы! конечно! Кто же от Лайонов погибал? Я немножко сильно выразилась, но во всяком случае статьи эти — большая неприятность... Я понимаю, что они отравили тебе поездку, и почти готова извинить тебе, что ты не хотел мне их показать.

Брагин приосанился.

— Ага! Вот видишь!

— Да. Но... — она погрозила ему пальцем, — но лгать и подсовывать жене другую вырезку все-таки не следовало! Ты вспомни, что я за вырезку эту, которую ты мне дал, — что я тебе сделала?

Георгий Николаевич не помнил с совершенною искренностью.

Евлалия смотрела на него серьезно и говорила с важною медленностью:

— Я тебе руку поцеловала, — вот что! Не как мужу, но за то, что ты такой хороший, что так волнует тебя человеческое зло и ты следишь за ним и ищешь его, чтобы сражаться с ним всюду, где и когда ни встретишь. А ты в этот самый момент, когда так рванулось к тебе мое сердце, взял да и обманул меня! За что же пропал мой хороший поцелуй? Впустую! впустую! Такое теплое, ясное чувство споткнулось на встречную, пошлую, ненужную ложь... Некрасиво, Жоржик!..

И как тебе самому-то не было совестно, когда я целовала твою руку?

— Положим, что было ужасно совестно! — буркнул Брагин.

— И все-таки позволил поцеловать? Ах, Жоржик!

— Лаличка! Но посуди сама: как же я мог открыться, когда уже наврал? Ну что бы я тебе сказал?

— Как — «что»? Ты должен был прямо сказать: «Лаля, обо мне напечатаны гадости! Не читай!»

Георгий Николаевич вздохнул жалобно:

— Да! Ты думаешь, это легко писателю признаться, что про него напечатаны гадости?

Он рассмешил и обезоружил Евлалию. Она положила руки ему на плечи и сказала, нежно и твердо глядя в глаза:

— А кое-что из «гадостей» надо нам с тобою все-таки принять к сведению... Человек-то писал талантливый и понимающий. Умный враг, говорят, учит лучше глупого друга.

— Д-д-да, конечно... — угрюмо протянул, глядя исподлобья, Георгий Николаевич.

— Он подлый и злобный, он негодование уже одним тоном своим возбуждает, но во многом он тебя злою правдою бьет... Оттого-то и оскорбительно, что — правдою!

— Ты находишь?..

Евлалия слышала в голосе мужа обидчивые ноты, но выдержала характер — ответить ему твердым, ясным взглядом, — и сказала:

— Нахожу... Да и ты — не будь мелочен, одолей досаду: и ты найдешь... И в том, что этот Лайон справедливо сказал, мы с тобою не заставим упрекать себя еще раз? не правда ли?

— Конечно... — протянул Брагин. — Ты же знаешь, как я благодарен за каждое дельное замечание. Но этот господин так зол, так меня ненавидит... Знаешь ли, я ломаю голову, чтобы придумать, кто бы мог быть, и решительно никого из моих обычных уязвителей не в состоянии представить себе

на его месте... Все такие неповоротливые умы, шаблонные идиоты... И, притом, если, как ты думаешь, Лайон и Боярин Орша — одно лицо... ну кто же у нас есть такой ловкий пародист? кто способен так умело и бессовестно фехтовать мыслью и словом с одинаковою удачею на два фронта?

Евлалия отвечала задумчиво:

— Одного такого человека я знаю, и это было бы очень похоже на него... только он не литератор и даже связей никаких в журналистике не имеет, кажется... Я об Антоне Арсеньеве говорю... Это совсем в его характере.

Георгий Николаевич отрицательно затряс головою.

— Нет, где же! Нет! — заговорил он, улыбнувшись свысока. — Нет, куда же? Антон — он, конечно, не глупая голова, и ум у него настроен, действительно, этак двусмысленно... злобно... плутовато... и парадоксально... Но — тут большой опыт виден, рука, набитая дьявольски, каждое слово шипит и яд льет... Нет! дилетант и дебютант так не могут! Это — другой!

— Пожалуй, ты прав... — подумав, согласилась Евлалия. — Да! конечно! С Антона Валерьяновича достаточно уже и той подлости, что он подкинул тебе эти газеты в свадебную поездку.

— Ты полагаешь, он нарочно?

— Не сомневаюсь. Хотел пустить между нами хоть маленькую черную кошечку... Что же? Можете торжествовать: почти было удалось.

Оба примолкли.

Георгий Николаевич, по свойственной ему привычке, прошелся по комнате, руки в карман, и остановился пред туалетным столом, где лежали вырезки. И вдруг — лицо его стало ясное и веселое под озарением внезапной приятной мысли.

— А знаешь, Лаля? — сказал он. — Нет худа без добра.

— Ты думаешь?

— Конечно. Я сейчас сообразил: в один день — две огромные статьи обо мне в руководящих газетах... Да еще прибавь городскую молву о нашей свадьбе... ведь это значит, — в тот день вся Москва обо мне только и говорила!.. Господствующий интерес!..

— Так что же? — недоумевала Евлалия.

— Да то, милая ты моя женщина, да то: хотел человек меня утопить, а вместо того сделал предметом всеобщего внимания!

— Хорошо сделал: бранью и клеветою!

— Да... конечно, скверно... а все-таки, знаешь ли, хорошо, что так много... Разумеется, лучше было бы, чтобы «Передовые известия» хвалили, а не бранились. Но пусть уж хоть ругаются, только побольше пишут... лишь бы не молчали!

— Не понимаю!

— Потому что, когда человек делает карьеру, нужно, чтобы он занимал собою общество, нужен шум, крик... ну а здесь, у Лайона и Орши этих, столько крика, что и глухие услышат!

— Крик — хотя бы и бранный? Извини меня, Жорж, но это геростратово что-то...

Но он даже потирал руки, совсем уже утешенный.

— А! Ты не понимаешь! Тоже извини меня, но ты не понимаешь! Это профессиональное! Не можешь понять!

— Действительно, не могу!

— Не можешь! Не можешь! — весело восклицал писатель, марширую из салона в спальню...

Жена следила за ним и размышляла: «Такой большой — и такое дитя! Да, он дитя, большое дитя! Больше дитя, чем я ждала даже после этих вырезок... Рослое, тщеславное, доброе, мягкое, смешное, милое дитя! Ах, Жорж, Жорж! Да неужели ты окажешься у меня не взрослый Жорж, но маленький гениальный Жоржик? И придется мне, самой еще маленькой, — быть взрослою и за тебя, и за себя?»

ПИСЬМО

XXXIII

В ту ночь, когда горничную Агашу и Тихона Постелькина удивил яркий свет в кабинете Антона Арсеньева, Антон сидел до утра и строчил то самое толстое письмо, которое получила в Венеции Евлалия Александровна Брагина. Вот что он писал.

Многоуважаемая Евлалия Александровна!

Писать к вам я не имею ни малейшего права, но право заменяет охота пуще неволи, — желание, непреодолимое и настойчивое, как живая необходимость. Чувствую, что если не напишу, то будет скверно, а кому — мне ли, вам ли, третьим ли лицам скверно, — не знаю. Что-то таинственное и злое бродит во мне и в воздухе вокруг меня, и я сажусь писать вам с теми же намерениями, как открывают клапан в паровой машине или ставят громоотводы на крыше в местностях, где часты и опасны грозы. Я так долго рисовался ролью кандидата в сумасшедшие, что совершенно привык к ней и был уверен, что, когда наступит время повыситься из кандидатов в действительные сумасшедшие, я не испугаюсь, приму недуг по-домашнему, с комфортом. Время наступило. Я очень болен, Евлалия Александровна, и сознаю свою болезнь — конечно, в светлые минуты, как теперь, когда я сам за себя думаю и говорю. К сожалению, способность эта не всегда при мне, последнее время я начал лишаться ее все чаще и чаще и чувствую, что скоро она меня совсем оставит. Все чаще и чаще я вижу то, чего нет, слышу то, что не звучит, все чаще и чаще мое тело представляется мне чужим, все чаще и чаще мозгом моим распоряжается кто-то внешний, засевший в меня с ветра, — он тогда и думает за меня, и говорит, и пишет, и действует. Не думайте, что я верю в реальное бытие какого-либо одержащего меня существа. Я не суеверен, не спирит, не мистик. Я только характеризую вам то ощущение, которое переживаю тогда и которое вскоре буду осужден терпеть постоянно.

Ну-с, все это так, но — с какой стати я это вам пишу, чужой человек — молодой женщине, едва успевшей снять с себя венчальные цветы? По правилу подобных романических излияний, вы можете опасаться, что последует трагически запоздалое объяснение в любви. На это нелестное для моих умственных способностей ожидание дает вам, к сожалению, право мое бес-

тактнейшее и несуразное предложение руки и сердца, которое я имел дерзость сделать вам четыре года тому назад. Но, ради Бога, не бойтесь: ничего подобного не будет — и извините меня, пожалуйста, что я все это говорю и о всем вас предупреждаю. Мои предупреждения — не риторический прием, но результат опасения, что вы бросите читать мое письмо — по уверенности, какие пошлости будут дальше. Пошлости, может быть, и будут, но, ей-Богу, не те и не в том направлении, как вы вправе ожидать. К вам пишет не несчастный вздыхатель, готовый застрелиться под свадебную музыку, как в полонезе Огинского. И — сказать вам правду, — чем больше я думаю о вас, тем больше прихожу к убеждению, что я никогда не «любил» вас — даже и тогда, когда ошеломил вас своим предложением, и вы мне с таким очевидным испугом отказали.

Я не любил вас... о несчастие! Я боюсь, что, дочитав до этих дурацких слов, вы сложите губки в презрительную гримасу и подумаете: что же он не договаривает — «Офелия»? Да, вот оно проклятие-то, вот они — загроможденные чужою мебелью мозги, в которых мысль шага ступить не в состоянии без того, чтобы не провалиться в цитату... Столько надумано, начувствовано, наговорено в этом старом мире, что в своей душе, кажется, скоро и потребности не останется у человека... оттого-то, может быть, душа и стала банкрот, и умирает в самоубийствах по несостоятельности.

Я не любил вас, Офелия! Но у меня было и остается какое-то глубокое и благоговейное суеверие к вам... да! лучше суеверия я не могу выбрать слова... И суеверие это не случайный каприз, не привычный предрассудок, в нем есть что-то органическое. Мистик сказал бы: роковое. Но я не мистик. Говорю вам — не мистик. Ах, если бы мистик! Тогда я легко нашел бы лазейку какого-либо красивого самообмана, куда укрыться от съедающего меня отчаяния. Настоящее сознательное отчаяние без надежд и самоутешений выносят из жизни только те, кто, как я, согласны познавать ее лишь пятью чувствами и тремя измерениями.

В фантастическом романе старого американского поэта Эдгара Поэ, которого у нас плохо знают теперь, но лет через десять все будут знать наизусть, есть глубокая аллегория — о людях черной земли и таинственных людях белой земли. Нет большего ужаса и отвращения для человека черной земли, как белый человек и все, что бело, потому что от прикосновения к белому человек черной земли умирает, раздавленный какою-то незримою силою: мистическою антипатией организма высшего и светлого к твари низшей и темной. И в то же время люди черной земли понимают всю божественность таинственной и столь несвойственной им белизны и боготворят белое, как высшее себя, хотя, когда можно, и бунтуют против него, и стараются его уничтожить. Так землерожденные титаны

стремились уничтожить неборожденных олимпийских богов. Мое отношение к вам всегда было именно отношением человека черной земли к существу с земли белой. Вблизи вас я всегда испытывал ужас и благоговение. Ужас — упреков себе, благоговение — к идеалу, которого я стал живым отрицанием, но, к сожалению, не разучился его понимать.

О если бы померкло во мне сознание самоотчета и угасла укоряющая память! Но я вижу себя, как в зеркале, всегда, везде, и понимаю, что делаю, даже тогда, когда делаю то, чего не хочу, но чего хочет и что заставляет меня делать то странное, злое, чужое, вошедшее в меня начало, которое — и я, и не я... Если я не ошибаюсь в себе самом и действительно схожу с ума, я буду самым несчастным из сумасшедших, потому что безумие не заглушает во мне сознания моей искривленной воли и неестественности ее внушений. Жить в перелетах от тьмы к свету, от света к тьме и, когда во тьме, угрызаться воспоминаниями совести, что есть свет, а когда в свете, томиться жадною, чувственною тоскою по грехопадениям тьмы, — это ужасно и грозно своим безысходным бессмыслием. А такова вся моя жизнь. Таково мое безумие.

Теперь вошел в моду и повсюду в ходу термин «вырождение»; повторяют его при каждом сомнительном психическом случае и суют кстати и некстати в объяснение каждой нравственной аномалии. Когда с человеком творится нечто, что он тяжело чувствует, но чего не в состоянии понять, есть у него неудержимая потребность отделаться от незнания, хотя бы условным и ничего, по существу, не говорящим словом. Сказал «вырождение», и легче стало. Ничего не объясняет, а легче. И вина за свои благоглупости и сквернопакости как будто свалена с собственных плеч на чьи-то другие. И я тоже, как все, созерцая себя в зеркале своей совести, иногда вижу в себе жертву вырождения, и кого-то за что-то упрекаю, чтобы не обвинять себя... Порода-то, правда, и впрямь неважная. Пятьсот лет идем на убыль, из поколения в поколение! Отца моего вы знаете. Умный по природе и, по-своему, даже талантливый человек, но пустоцвет и неудачник, исстрадавшийся от сознания собственной бесхарактерности и нравственного ничтожества. Он человек намученный, и вряд ли уже и у него «в голове все дома». Мать была существом диким, я ее не помню, а семейные легенды рисуют ее каким-то стихийным демоном властного, острого сладострастия. Говорят, это ее хаос душевный живет и бурлит во мне.

Не знаю, был ли я когда-нибудь таким, как представляюсь я себе в мечтах воспоминания. Именно в мечтах, потому что я забыл себя такого, и часто мне сдается, что этот идеальный «я» — есть поэтическое сочинение «от противного», возникшее в моем воображении, которое, недовольное настоящим, пытается утешать себя прошлым. Но если воображение и память мои не лгут, прелестный я был ребенок на заре дней своих. И тысяча, тысяча

проклятий поганым жабам, слопавшим ароматные розы моего расцвета. И тысяча, тысяча проклятий тем, кто не уберег розы от жаб, кто прозевал меня, когда я стоял на распутье между добром и злом, кто равнодушно и бездейственно смотрел, как я обращал жизнь свою в лужу, — а когда увяз в ней, в луже-то, все они, эти зеваки и потатчики, взаахались, отреклись от меня и причислили меня к свиному стаду... Тысяча, тысяча проклятий!

Знакомо ли вам учение, что талант есть оборотная сторона помешательства? Что гений и безумие тождественны по существу, как аномалия человеческого духа, и разница между ними лишь в направлении их деятельности? Когда-то я считал себя гением и умел убедить в своей гениальности многих других. Из них иные, вопреки всем моим безобразиям, не разочаровались во мне до сих пор. Это было давно. И хотя вы знаете меня немного, однако все же достаточно, чтобы понимать и верить, что претензий на гениальность я не таю в себе ни малейших. Но я «способен», как умная и хитрая обезьяна, и — право — не могу я вообразить себе профессии или специальности, в которых при желании я не сумел бы освоиться, схватив верхушки в несколько недель! И, схватив верхушки, буду, быть может, понимать и чувствовать, — чутьем, — дна, устои и основы лучше многих, изучающих их всю жизнь наукою и опытом. И это опять-таки не гений, не талант, не ум даже, — это инстинкт, только инстинкт, — кожная способность приспособления, к которой все острее и опаснее сводится интеллект нашего брата, российского «интеллигента». Хамелеон с величайшим совершенством воспринимает на теле своем цвета предметов, среди которых он скользит. А мы — формы и цвета идей, мимо нас проходящих. В кругу хамелеонов, вероятно, считается гениальным тот, который усваивает кожей своей окраску листьев, цветов, плодов, камней с наиболее совершенною изумрудностью, сапфирностью, жемчужностью и пр. Российский интеллигент взвешивается в достоинствах своих по быстроте и энергии, с какою реагирует он на течения века. В России похвальное слово интеллигенту — «передовой». Знаете ли, что оно обозначает? Не более того, что, когда другие хамелеоны успели воспроизвести только шесть цветов радуги, передовой хамелеон сверкает уже седьмым. И если он долго застревает на этом благоприобретенном седьмом цвете, то он уже не только передовой хамелеон, но и — марка высшего давления! — хамелеон доказанных, постоянных и твердых убеждений...

Вы, может быть, подумаете, что я злюсь и о муже вашем это говорю. Нет, уверяю вас, что нет, — по крайней мере, «специально» — нет. Начал не с тем, чтобы говорить о нем, и сейчас не до него мне совсем, сказать вам откровенно. Георгий Николаевич — мужчина весьма типический и в своем роде даже единственный, но все же не до такой совершенной степени, чтобы, когда стоишь на границе сумасшествия, отдавать ему свои последние здравые мысли. Парень он способный и, как все мы, способные русские

люди, подобен пустому месту, на коем с равным удобством могут произрастать и чертополох, и пшеница. Уважения к нему я не питаю ни малейшего, — дурных чувств, помимо сего, тоже не питал бы никаких, если бы не достались ему вы. С ним я покончил, то есть разделался — отделался от навязчивых злых мыслей о нем. Он, конечно, не утерпит — покажет вам обе статьи, появившиеся о нем в московских газетах — и за него, и против него, и обе — справедливые. Я уверен, что если вы их читали, то и без моего признания поняли: что обе они — мои. И хуже всего для г. Брагина то обстоятельство, что обе они приходятся ему как раз по мерке — по Сеньке шапка. И единственная злость, которую я себе позволил, — это, что статью в защиту г. Брагина я напечатал в журнале консервативном, тогда как он ярый либерал, а статью против — в газете либеральной. Но можно и наоборот. И — так ли, иначе ли — ничего от того никому в России не приключится: ни добра, ни худа. Г. Брагин должен быть сейчас очень огорчен и обижен мною. Утешьте его: настанет время, когда он будет гордиться теми похвалами, которые теперь его бесят, и выставлять как житейский аттестат благонамеренности ту брань, которая теперь ему — нож острый. Ибо красному в петербургских туманах свойственно линять в бледно-розовое, а розовому — в мутно-серое. Drapeau rouge * на Руси с удивительною приспособляемостью перекрашивается и перекраивается на шинели Свистунова и Держиморды. А на серых полицейских шинелях, бывает, остаются красные лацканы.

Я дрянь и знаю, что я дрянь. Единственное мое преимущество пред другими российскими дрянями, что я понимаю свою дрянность и, не умея одолеть ее в себе, не боюсь жить дрянь-дрянью, хотя стыжусь себя — когда приходится стыдиться — до безумия, до ужаса, до страшных дел. Хорошо, что сравнительно редко приходится. Грязь на скале высокой и грязь на болотистой дороге — все грязь. Но если бы грязь чувствовала и умела выражать свои чувства, то грязь на скале, наверное, почитала бы себя грязью возвышенною и презирала бы нижележащие грязи. Ну так вот и я, Евлалия Александровна, — грязь на скале. Прилип к горе жизни высоко и смотрю на прочие, ниже меня осевшие, глупые, мелкие грязи с презрительного высока. Порок имеет свою аристократию и свою чернь. Я грязь, но я не чернь. И не умею ни бояться, ни стыдиться черни. Сколько бы ее ни было, и какова бы она ни была! Для меня не существует буржуазных стыдов и страхов, и нет суда человеческого, который бы меня уязвил и смутил. Стыдно и страшно не то, что против меня, — вне меня; но то, что восстает на меня ужасом и воплем протеста во мне самом.

Было время, когда я имел наивную детскую веру, без которой, сказано, нельзя войти в Царство Небесное, ни, должно быть, чувствовать отблески его на земле. Странно, что я отлично помню эти мальчишеские годы, когда

---

* Красное знамя (*фр.*).

я начинал и кончал дни свои «во имя Отца, Сына и Св. Духа». А может быть, и совсем не так хорошо помню, а только хорошо присочиняю к смутным действительным воспоминаниям. Да, я и веровал, и благоговел, и молился. А потом пришла гимназия с «второстепенным» предметом закона Божия, с схематическою сушью Филаретова катехизиса, с долбежкою текстов, с зевающим и равнодушным батькою, который задавал и спрашивал уроки «от сих до сих» и огорошивал учеников вопросами вроде пресловутого: «Почему сие важно в-пятых?»

А когда вся эта великая скука выпустошила из нас поэзию детской веры, то годам к четырнадцати постучался в души наши великий, страстный, вкрадчивый, насмешливый, певучий чародей, по имени Гейнрих Гейне, и рассказал нам религию совсем иначе, чем велят ее понимать Филаретов катехизис и священная история Рудакова, и показал нам могучих «рыцарей духа», нисколько не похожих не только на нашего злосчастного батьку, но даже и на того передового учителя истории, который впервые обмолвился нам в классе именем Гейне и посоветовал прочитать «Горную идиллию».

О какое это мощное, хорошее, святое время! Если бы можно было вернуться к нему и застыть в нем на всю жизнь! Прелесть и силу его понимаешь и ценишь во всю величину только, когда оно уже далеко позади, и смотришь на него, как на пройденную гору-красавицу, снизу вверх, из топкого болота! Никому я не завидовал и не завидую в жизни моей — ни богачам, ни властным людям, ни талантам выше моего уровня, ни обладателям прекрасных женщин. Единственная зависть, которою я болен мучительно, — это к тем избранным счастливцам, что затянули свой период «рыцарства духа» далеко-далеко в жизнь, не говорю уже — донесли его до могилы! Наполнить молодость «рыцарством духа» — величайшее счастье, какое может выпасть на долю человека. Завидовать — не всегда враждебное чувство. Можно завидовать, любя, жалея, горя всем сердцем к тому, что влечет на зависть: завидовать в «жаре невольном умиленья». Таково мое чувство и ко всем молодым «рыцарям духа» — настоящим, живым, прочным, без игры, поз, без «аплике». Таково мое чувство, например, к брату моему Борису, который в свои двадцать три года таков, как я умел остаться только несколько месяцев на пятнадцатом году. Таково в особенности мое чувство к вам, Евлалия Александровна, потому что вы сейчас вся цветете «рыцарством духа» в самой изящной и благоуханной красоте его, и вы, быть может, даже сами не сознаете, сколько в вас этой святой, неотразимой силы, как она в вас инстинктивна, а следовательно, и неистребима. Борис и вы — две едва ли не единственные мои симпатии в нашем обществе. Только в присутствии вас двоих я чувствую прелесть человеческой породы, и это хорошо и страшно, восхищает и уязвляет, и сладко, и горько, как

мысль приниженного человека с черной земли о светлых существах с земли белой. Это возвышает и... убивает. Вблизи вас обоих я всегда чувствую себя вблизи неба и вблизи смерти. «Я видел ангела и должен умереть, не кончив дня». Потому что не выдерживает сердце человека с черной земли великого восторга, который есть — великое пробуждение совести.

Вы теперь женщина, и с вами можно говорить о многом, что наше общественное лицемерие условилось скрывать от девичьих ушей. Репутация моя безнадежна. И она справедлива. Я человек погибший: пьяница, чувственник, развратник. И без красоты развратник, без эффектов, вызывающих симпатию чувствительных сердец: не Дон Жуан... ни даже Карамазов или Свидригайлов! Я существо, отравленное до мозга костей своих чувственностью, которая сильнее меня самого, и я сознаю свое ничтожество перед нею, и живу в ужасе от нее, а расстаться с ее погаными восторгами, с черною радостью унижать в себе и в других человеческую породу на уровень самого дикого, пошлого и жестокого скотства — я уже не в состоянии. «Как дошел я до жизни такой» — рассказывать излишне. Ворвался в отрочество мое случайным соблазном и скверным влиянием злой и распутной женщины смерч грубой, плотской страсти и стал сперва грязною привычкою, потом второю натурою, ищущею капризного и неистового разнообразия. Да! На заре жизни я мечтал о «рыцарстве духа», а потонул в холопстве у тела. Однажды я видел бабочку у дороги после дождя: воз, таща мимо, через лужу, тяжелые, мокрые колеса, брызнул на крылья бабочки жидкою глиною, и она обессилела лететь и сидела на подорожнике, обреченная погибнуть от грязи, придавившей ее к земле, отнявшей у нее силу и смелость полета. А воз проезжал за возом, колесо за колесом шлепало по луже, и минута за минутою бабочка превращалась в бесформенный комок такой же грязи, как брызгала на нее. И, что хуже всего, не переставала быть бабочкой... топорщилась, шевелила крыльями и усиками, покуда вовсе не занесло ее глиною, покуда не околела. Вот это самое сталось и с тем Антоном Арсеньевым, которого я помню, а может быть, и не помню, который был, а может быть, и не был.

Грязь так она грязь и есть, но бабочка, обреченная стать грязью, топорщится... Поймите же теперь меня, поймите, что мое постоянное нравственное состояние — это ужас пред самим собою, как одержимым силою, которую сознательно я презираю и ненавижу, а бессознательно — весь в ее власти и не могу ни на минуту поручиться, что вот — сейчас она затмит мой разум, и для меня станет высшим наслаждением — острым, жгучим, одуряющим — совершить такой позор, такую скверну и злобу разнузданной плоти, что потом пятна этого не смыть с себя ароматами обеих Индий.

Я не любил вас, Офелия, а между тем преследовал вас, как влюбленный, сделал вам предложение, и потом, когда вы мне отказали, долгое время

напрягал все усилия, чтобы не допустить вашего брака с Брагиным. Старался о том с такою упрямою страстью, что еще недавно не остановился бы даже перед преступлением, даже перед убийством, и уже выбрал было и начал дрессировать человека, который должен был сделаться моим Спарафучиле. И хотя субъект этот, к удивлению, оказался умнее, чем я о нем думал, и понял мой план, и восстал против меня, но я, как упрямый Риголетто, все-таки и выдрессировал бы его, и направил бы на нашего «Мантуанского герцога». Потому, что тот человек, Спарафучиле-то мой предполагаемый, любит вас огромною и тяжелою страстью, а характер у него угрюмый и железный, а ум узкий и коротенький. Хорошо вбитая ловкою рукою навязчивая идея заседает в нем гвоздем, повелительная, как команда воинской дисциплины. Он солдат — и опасный солдат, без рефлексий, со слепою верою в знамя, которому решил служить, воплощенное, фантастическое «рад стараться». Имени называть не надо: вы понимаете, о ком я говорю, и, конечно, сознаете, что, если бы мне удалось овладеть волею этого человека, — а удалось бы, это уж смею вас уверить, непременно! — то расчет мой был совершенно верен. Я отказался от него сам — и не по каким-либо сомнениям или угрызениям совести, но холодно и сознательно, как пасуют при очевидно невыгодной сдаче карт с надеждою на следующую. Зрело обдумав, — какой смысл, какая польза были мне — устранять нашего «Мантуанского герцога» со сцены не только в том геройском освещении, как сияет он сейчас вашим влюбленным глазам, но еще прибавляя ему ореол мученичества? Я знаю вас и знаю, что у натур, вам подобных, мертвец может стать идейным божеством, сильнее живого. А я не хочу, чтобы вы остались на всю жизнь прикованы к пьедесталу ложного божка, дутого из звонкой меди. Пребывайте же с вашим «Мантуанским герцогом» — до тех пор, пока не разоблачится он в глазах ваших от всех мишурных костюмов благородного хамелеонства, взятых им напрокат сознательно и бессознательно. Оставайтесь, покуда не увидите, что он вовсе не герой, не рыцарь духа, не вождь, не проповедник и, более всего, не мученик, а просто наивный, способный, самолюбивый и самовлюбленный... да, именно, выряженный студентом, «герцог Мантуанский», — с веселою философией красивой жизни-улыбки, жизни-наслаждения! Вы скоро убедитесь сами в том, что поместили огромный капитал любви своей в весьма несостоятельный банк, и будет это открытие, конечно, вам страшно тяжело, но, в конце концов, пожалуй, даже и вам на пользу. Чтобы войти в священный и таинственный орден «рыцарства духа», вам недоставало до сих пор только одного условия: пережитых личных страданий — опытности терпеть большое горе своего сердца, не позволяя ему заглушать своими стонами воплей других горюющих сердец. Ваша девическая юность прошла как сплошная улыбка спокойных радостей. Вы вся — прекрасный задаток, еще не проверенный

жизнью. Теперь жизнь зовет вас на экзамен — страшный, требовательный, неожиданный, обидный. Я уверен, что вы его выдержите, как уверен и в том, что брак ваш с Брагиным не будет продолжителен, что он — лишь роковое орудие, брошенное на вашу дорогу, чтобы завершить ваш нравственный облик, как последние тяжкие удары резца, круша мрамор, оживляют прекрасную статую пламенем духа, цельностью физиономии. Очень может быть, что эти последние удары резца проведут морщины на вашем нежном лице, погасят пламя жизнерадости в ваших синих глазах и превратят ваши золотые кудри в серебряные. Если бы в чувстве, которое я имею к вам, о прекраснейшая женщина, была хоть искра плотской страсти, то мысль о страдании, способном уничтожить вашу телесную красоту, привела бы меня в негодование и ужас. Но вы для меня — идея, а прекрасные идеи не стареют от лет, не дурнеют от страданий. Вероятно, мне остается недолго жить вообще, а в здравом уме и твердой памяти — уж и совсем мало, так что вряд ли мы когда-либо увидимся. Но я уверен и чувствую всем существом моим, что если бы суждено мне было встретить вас даже десятки лет спустя, седою, изнеможденною, израненною, изломанною в битвах житейских, то и тогда вы явитесь мне такою же прекрасною, как теперь, и даже, может быть, еще прекраснее, потому что вокруг строгой красоты вашей будет сиять ореол победоносного мученичества. Страдайте! Не бойтесь страдать, потому что идеи требуют страданий, и «рыцарство духа» неполно без них. Будьте обмануты, будьте растоптаны в своей личной жизни! Идите по терниям разочарований! Терпите неожиданности насмешек и глумлений там, где вы ждете и имеете право ожидать любви, поддержки и участия! Должна быть оскорбляема идея, чтобы оторваться от одного человеческого «я» и уйти — вся — в человечество. Христос был бы не полон без Иуды, Сократ — без цикуты, и Дон Кихот победил и завоевал себе вечность в ту самую минуту, когда лежал — повергнутый на землю, и копье переодетого плута, поддельного противника, было на горле его, а он твердил слабым голосом: «Убивайте меня, рыцарь, вы сильнее меня, но истина на моей стороне, и на свете нет дамы прекраснее Дульцинеи Тобосской!»

Я погибший, развратный, чувственный, пьяный, сумасшедший. Я не владею собою и способен на всякий порок и на всякое преступление. Я бесноватое чудище из Вальпургиевой ночи, которое скучает без ведьм, таких же распутных, как оно само, и увлекает в грязный шабаш всех, с кем сближается. Когда демон извращенности охватывает меня жаждою грязи, мне нет удержа в достижении, и, чем глубже грязь, тем лучше, чем зловоннее порок, тем слаще, чем подлее падение, тем больше удовольствие. Я прошел страшную школу разврата, и мне от нее не отделаться, потому что, говорю вам: уже не я в ней, а она во мне, не я пользуюсь ею по своей воле, а она распоряжается мною. Иногда мне кажется, и тут-то

я боюсь безумия, что она — нечто конкретное, живое, наплывающее на меня, как спрут какой-нибудь скользкий, и у нее есть тело, и есть лицо, насмешливое, бесстыдное, похожее одновременно и на меня, и на ту негодную тварь, которая некогда впервые затащила меня в омут разврата. И это — и ужасно, и соблазнительно. Это нечто, от чего отказаться выше сил моих, но чему подчиняться нельзя, не пропив совести, как я ее пропиваю.

Я не любил вас, Офелия, если любить женщину нераздельно с вожделением к ней, потому что этого не было никогда! Я, привыкший оценивать всякую женщину прежде всего, да и после всего, только в самочьих достоинствах, никогда не мог вообразить себе обладания вами и — не хотел его, оно представлялось мне как кощунство, как святотатство. Ваш девичий венок казался мне святынею неприкосновенною, и было время, Офелия, когда я искренно желал вам: «Ступай в монастырь!» Однако я сватался к вам: помните? Трудно мне изъяснить вам, как и почему это случилось. Боюсь, что прежде всего — по инстинкту самосохранения. Потому что вблизи вас мой демон извращенности всегда молчит, как испуганная собака, забившись в конуру и поджав хвост, — и я, чутьем самозащиты, искал в вас постоянного противоядия отраве самим собою.

Я, Евлалия Александровна, не из тех, кто легко переносит отказы и отступается от своих желаний, прихотей и капризов. Однако ваш отказ я принял без борьбы, как должное. Как должное принимал и ту явную антипатию, которую выражали вы мне в последующие годы. Я понял тогда по одному взгляду вашему, что антипатия эта — неизбежная и неизбываемая, что это не ваша антипатия ко мне, не антипатия личностей, но антипатия органическая — женщины с белой земли к мужчине с земли черной... И сразу стало мне ясно, в какой глубокой яме я сижу и как безнадежно возвращение «к дверям Эдема», каким бы «невольным жаром умиленья» ни дарили меня ваши встречи.

Самое лучшее и честное в жизни моей, что я сделал, это — что я подчинился вашему отказу, не добиваясь вас далее. Обмануть вас такому опытному актеру и любовных дел мастеру, как я, было бы при желании не так-то трудно. Вы неопытны, доверчивы; верите словам и поверхностям. Показался же вам «рыцарем духа» Георгий Николаевич Брагин! Говорить хорошие слова я умею лучше его, а — писать... у вас в руках печатное доказательство, что я «переблагородил» его победоносно и в образе мыслей, и в подборе фраз, да еще, вдобавок, — всюду, куда ни поверни, на два фронта! Внешними средствами обольщения и опытностью в науке страсти нежной меня судьба тоже не обделила: многие умные дамы одобряли! Следовательно, справиться с сопротивлением такого, — простите за выражение жаргонное! — «пискаря», каким являетесь вы по класси-

фикации нашего брата, развратника, я сумел бы. Заставлял же я вас слушать меня и верить мне — впоследствии, когда подрывал в вас восторги к Рудиным вообще, к господину Брагину в особенности. Да, наконец, ведь я вас знаю: уже одним искренним — «спасите меня!» — я вызвал бы вас на мысли о жертве и в конце концов даже, может быть, на самую жертву... И был он у меня, такой момент, был порыв — закричать вам: «Спасите меня!» И удержаться было страшно трудно. Но все же удержался.

А удержался потому, что убоялся — себя не спасти, а вас погубить напрасною жертвою. Убоялся именно *органической* антипатией, какою вы тогда на меня сверкнули. Говорю вам, только тем взглядом вашим осветилась мне бездна, нас разделяющая. И я убоялся и устыдился перескочить бездну. Потому что после вашего отказа демон извращенности хохотал во мне, надо мною с такою злобою и силою, что я начал радоваться своей неудаче у вас — радоваться и за вас, и за себя. Я понял, что слишком отравлен, и постоянным противоядием вы мне быть не можете, — скорей же исковеркаю вашу жизнь своим неисцелимым ядом. Я понял, что, как ни сильно ваше обаяние, демон извращенности все-таки сильнее вас и что боится он вас только потому, что вы чужая, и только до тех пор, пока вы чужая. Я понял, что, когда приобрету вас как женщину, потеряю вас как дорогую идею, — и в чувственной привычке к вам погаснет единственная светлая искра, имевшая дар согревать мою черную душу и отпугивать от нее, хоть по временам, глумливые чудища Вальпургиевой ночи. Я захотел сохранить вас для себя как чистый, целомудренный образ неприкосновенной красоты, — и покорился вашей воле, и отстранился. И цель моя достигнута: я потерял женщину, но сохранил талисман, которого искал, — вашу идею. И она поддерживает меня, сколько еще в силах я вообще сопротивляться чудищам Вальпургиевой ночи, и светит сквозь мрак и... вот, когда погаснет, тут-то я и жду, что будет уже безумие.

Я «интриговал», как говорится, против других претендентов на вашу руку, и в особенности против Брагина, и было это, конечно, очень дико с моей стороны, ибо — «я не любил вас, Офелия!» — и выходило вроде собаки на сене, которая сама не ест и другим не дает... Но вот видите ли:

На дне глубокого моря
Лежит бесценный кристалл.
Его не достать мне, — я знаю, не споря,
Но — сколько бы мне было горя,
Когда бы другой кто кристалл мой достал!

Стихи очень плохие, но — от души и мои собственные. Ваш романтический братец Владимир Александрович написал бы складнее, но — Бог с ним, со складом: теперь главное — искренность. Литературы-то вокруг вас — непочатый угол, — ну а истины, которая выходит из колодца нагая, вам еще надо подождать.

Это письмо не ждет ответа, да — быть может, если бы вы захотели ответить мне, то я уже не в состоянии буду ни прочитать, ни даже получить ваших строк. Не перечитываю того, что написал, — пусть идет, как вылилось из-под пера, а то ведь — прочитаешь, устыдишься ложным стыдом, да, пожалуй, и не пошлешь... Хотя — кажется — ничего себе: тоже в своем роде довольно «литературно», не без писательства и даже, пожалуй, не без писарства: вон как — все по комплекту, — даже и стишок злодейский ввернул...

Так вот, Евлалия Александровна, теперь шестой час утра, и лампа моя гаснет, и в окно смотрит с кислою улыбкою серый-серый рассвет... Так вот — прощайте. И простите мне, пожалуйста, все неприятные минуты, которые я заставлял вас переживать вольно и невольно. Я уверен, что вы простите, потому что теперь вы знаете, отчего я заставлял, а «понять — простить...» А мне, не сегодня-завтра уходящему от мира сего, приятно будет сознавать, что мы объяснились и что на дне бездны, нас разделяющей, зажурчала некая примирительная струя. Прощайте, прекрасная женщина с белой земли! Черный черт, наделав много скверных гримас, проваливается в трап и без всякого успеха исчезает со сцены... На прощание сказать вам: будьте счастливы? Но вы уже счастливы, — сколько можете быть счастливыми, потому что счастье свое носите в самой себе. А — что от других людей зависит — счастья вам не будет. Да и не нужно вам обыденного счастья по штампованным образцам... Пальма в руке, окровавленный венец над головою и пылающие глаза васнецовских ликов: таким придет к вам ужасный и великолепный ангел вашего счастья... И, когда вы встретите его на пути своем, вспомните без ненависти и презрения того, кто предсказывал вам эту встречу и желал ее для вас назло всем, черт бы их побрал, мещанским благополучиям, любвям и раям с милым в шалаше! Пророк сей в то время будет уже лежать в склепе отцов своих желтым скелетом, в куче такой же смрадной грязи, в какой копошился он в недолгий, но безобразный свой век. В куче смрадной грязи, какою вы понимали его, да и, скажем правду, в самом деле, был он уже и тогда, когда еще ходил молодец-молодцом на двух ногах и занимал своею особою любопытную московскую публику... Прощайте и простите! И больше ничего.

Ваш Антон Арсеньев

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ИСТОРИЯ

XXXIV

Знаменитый в своем роде «суб» московского университета, д-р Богословский, был в великом и совершенно необычном для него волнении.

Но сперва два слова о субинспекторе Богословском. Было бы жаль, если бы сия не токмо историческая, но даже археологическая фигура исчезла из памяти человеческой без поминальной свечи.

Как ни полна старая коллекция замоскворецких типов в комедиях Островского, некоторых фигур в ней все-таки недостает. Любопытно, что среди не менее чем пятисот действующих лиц, выведенных Островским, нет ни одного врача. Правда, что преобладание врачебного сословия в столичной интеллигенции, созданное шестидесятыми и семидесятыми годами, развилось уже после того, как Островский заключил свой бытовой цикл. Но он оставил в покое и дореформенного «дохтура» — врача-фельдшера, врача-знахаря, целителя мощных телес купеческих в тех редких случаях, когда недуг, постигавший Кит Китыча Брускова или Самсона Силыча Большова, не поддавался усилиям домашней медицины: бане, перцовке, нашептыванию, спрыскиванию с уголька.

Доктор Богословский был последним могиканом этого удивительного врачебного типа, — по крайней мере, последнею в нем знаменитостью. Не знаю, имел ли он ученую степень, — кажется, да. Но, во всяком случае, если и имел, то сам давно забыл, за что она ему досталась. Бурсак, прошедший смолоду все огни и воды военно-фельдшерской дисциплины, он уже самою наружностью своею был необычайно типичен для обеих половин своего прошлого: и беспримесный кутейник, и «фершал» вместе, — словно протодьякон,

переодетый в вицмундир. «Рожу», с позволения вашего сказать: нельзя же сие заходящее солнце назвать лицом! — имел юмористическую и ужаснейшую: более совершенного грима веселого и убежденного пьяницы не создавал ни один комический актер... разве покойный Живокини — счастливый обладатель такой же природной маски. Если бы Богословский жил при Петре Великом, он, наверное, сделал бы большую карьеру во Всепьянейшем Соборе и, пожалуй, даже мог бы олицетворять в последнем самого непобедимого «Ивашку Хмельницкого». Более багровой и угреватой образины, более сизого носа не писали ни Иорданс, ни Теньер. Прибавьте к тому глас трубный и сиплый, — настоящий «пропойный бас», которому позавидовал бы любой жандармский вахмистр. Фигура нелепая и устрашительная: клад для обращения в сером купечестве, где «сурьезная» внешность — первая рекомендация: по ней встречают, а по уму провожают.

Богословский был несомненно умен — тем тяжелым, мутным, заплывшим водкою, но находчивым практически и не лишенным грубого остроумия циническим умом, что свойствен именно русским полуинтеллигентным алкоголикам, особенно из бывших семинаристов. Забытую науку он свою глубоко презирал, заменив ее совершеннейшим и детальнейшим знанием «темного царства», в котором практиковал, — чувствовал себя в некотором роде ветеринаром для двуногих и лечил воистину ветеринарными приемами и средствами. Нравы и натуры купеческие изучил насквозь и, кажется, сам был серьезно уверен, что пациенты его — какая-то особенная человеческая порода, даже и болеющая-то не в пример прочим. По крайней мере — факт: от визитации вне Замоскворечья этот оригинальный врач старательно уклонялся, заявляя с откровенным цинизмом:

— Приношу пользу только купцам и духовенству — да-с. Пациент прочего телосложения от моих лекарств должен помереть. Вот что...

Но купечество и духовенство Богословского обожали, потому что профессор, а «не гордый». Другого врача пригласи полечить от «дурного глаза» или «выгонять утен», — он обидится или на смех подымет. А Богословскому можно было даже сообщить, что больному «сполох выливали»: ничего, примет с самою серьезною рожею, — поймет и еще похвалит. Один раз его выписали в Нижегородскую губернию к рыбнику Хромову, которого скрючило острым мышечным ревматизмом.

Родня просит:

— Дозвольте, господин доктор, положить батюшку под медведя, — авось медведь ему кости расправит?

Богословский и этой ортопедической операции не воспрепятствовал. Сплетни о том дошли до Москвы — тем скорее, что выздоровевший Хромов на радостях заплатил Богословскому какой-то бешеный гонорар. Товарищи врачи возмутились. Спрашивают Богословского:

— Правда?

— Правда.

— Как же это вы?

— А что?

— Да ведь медведь мог его сломать?

— Хромова-то? Вы бы его посмотрели... Да-с. Это бабушка надвое говорила, кто кого сломает: медведь его или он медведя. Вот что.

На Таганке, Якиманке, Пятницкой имя Богословского гремело прочнее Захарьина, Черинова, Остроумова. Он слыл великим диагностом, и держалась почти суеверная легенда, что — чем «профессор» пьянее, тем лучше он распознает болезнь. Известен анекдот о враче, который, будучи приглашен к заболевшему грудному ребенку, объявил его мертвопьяным. Так как врач при диагнозе сам едва держался на ногах, то родители сперва пришли в негодование, но потом убедились, что диагноз был прав: ребенок насосался молока от пьяной кормилицы. Случай этот приписывают многим

знаменитым диагностам, которые были не дураки выпить, — между прочим, чаще всего казанскому Виноградову, — но в действительности он приключился именно с Богословским в доме московского городского головы Лямина. Как в уважение легенды, так и по природному расположению, Богословский пил мертвую и — уж кто кого больше спаивал, пациенты ли его, он ли пациентов, — разобрать было трудно: «оба лучше». Но головы никогда не терял, а в белогорячечных казусах оказывался, действительно, знатоком вне конкуренции.

Не знаю, как досталось Богословскому его университетское субинспекторство, — в первой половине восьмидесятых годов синекура в полном смысле слова. Но званием своим он очень гордился и дорожил, — тем более, что по званию-то он и слыл в своем Замоскворечье за «профессора», получал чины и ордена, — умер к девяностым годам, кажется, статским генералом. Со студентами был в великолепнейших товарищеских отношениях и настолько широко помогал беднякам из учащейся молодежи, что, несмотря на весьма крупные доходы с своей огромной практики и очень скромный образ жизни, капитал по себе оставил малый, да и тот завещал какому-то из новых учреждений только что возникшего тогда на Девичьем поле «клинического городка».

У этого Бахуса от медицины, скептика, равнодушного ко всему, кроме водки Петра Смирнова № 32, были, однако, свои общественные ненависти. Приятель студентов, он, наоборот, терпеть не мог, — до идиосинкразии какой-то, — курсисток, педагогичек, вообще учащихся девушек. Достаточно добродушный или умный, чтобы во имя своей идиосинкразии не пакостить предметам своей ненависти делом, — Богословский вознаграждал себя, лаясь против «мокроподолок» и в глаза, и за глаза, и придумал для злополучных девиц еще одну кличку, которая, не заключая в себе ничего нецензурного по существу, звучала, однако, столь некрасиво, что лучше уж ее не воскрешать, даже для исторической точности. Кличку эту пьяный Богословский не

усумнился однажды пустить вслед двум лубянским курсисткам на университетском балу, за что его потом в мертвецкой студиозы поколотили «за милую душу»... После того «профессор» стал осторожнее, но ненависти своей не изменил.

И вот, к глубочайшему своему ужасу и негодованию, сей мизогин в один ноябрьский день уже по окончании лекций в тяжелых зимних сумерках, — случайно заглянув в Большую словесную аудиторию, — увидел печальный свет нескольких стеариновых огарков и в нем несколько десятков черных силуэтов, между которыми достаточное количество — ненавистных ему женских фигур.

«Гм... сходка?.. — поразился Богословский. — Однако... закуска! Да-с. Ах, черт их побери, и мокроподолки тут?.. Подлецы сторожа! Да-с. Хоть бы один предупредил... всех надо в шею гнать, анафемов! Вот что».

Сходка — маленькая групповая, если даже не кружковая — сперва не обратила на «суба» никакого внимания. Постояв несколько минут в темноте, Богословский сообразил, что он все-таки в некотором роде власть предержащая и как будто обязан, по крайней мере официально, осведомиться, что собственно здесь происходит. Он густо кашлянул и выдвинулся из мрака к свету... Несколько голов обернулись к нему с вопросительным ожиданием. Стоявший на кафедре оратор — высокий, чуть сутуловатый студент, умолк и тоже уставился на Богословского блестящими темными глазами, по которым «суб» сразу признал Бориса Арсеньева.

— Вам что угодно?

Между группою сходки и Богословским выросла с самым решительным и «непроходимым» видом хрупкая, маленькая, черная фигура курсистки. Даже в полумраке Богословский не мог не разглядеть, что девушка — кудрявая, как болонка — очень хороша собою, а по акценту слышал, что она — еврейка: раса, которой замоскворецкий эскулап тоже недолюбливал. Он рассердился.

— Это не вы меня, сударыня, а я вас должен спросить: зачем вы здесь и что вам угодно? Да-с. Я субинспектор, а вы — кто? Вот что.

Курсистка вспыхнула. Ближайшие к ней товарищи глухо заворчали и двинулись к Богословскому с недобрыми лицами.

— Лангзаммер! оставьте! — крикнул с кафедры Борис Арсеньев. — Доктора нечего бояться... доктор — друг студентов, не доносчик и не шпион.

Враждебные фигуры отступили от порядком-таки струсившего субинспектора, а Лангзаммер, вглядевшись в его комическое, почти фиолетовое, в крупных потных каплях лицо, которому испуг — нельзя сказать, чтобы придал много красоты, прыснула со смеха. Богословский бросил на нее свирепый взгляд, но — ободрился.

— Друг-то я друг, — с важностью пробасил он, приближаясь к кафедре, руки в боки, — но я, господа студенты, должностное лицо... Да-с. И это мое право знать, для чего вы тут собрались... Да-с. Даже, можно сказать, обязанность... вот что.

Послышались голоса:

— Совсем вас не касается!

— Знайте свое Замоскворечье!

— Не ваше дело!

— Это еще что за гусь?

— Проваливайте!

— Долой сбиров!

— Порядок не будет нарушен, — ну и довольно с вас.

— Сидите и не рыпайтесь!

— К черту!

— Тише, товарищи, тише! — кричал с кафедры Борис Арсеньев. — Доктор, вы бы ушли, в самом деле. Мы говорим о наших студенческих нуждах. Вы нам лишний. Вы меня знаете. Я ручаюсь вам за порядок сходки.

— Господин Арсеньев! — возопил Богословский, — как вы можете ручаться за порядок, когда порядок уже нарушен? Да-с. Разве вам неизвестно, что сходки строжайше запрещены новым уставом? Да-с. А вы еще ввели в здание университета посторонних лиц...

Он с ненавистью покосился на Лангзаммер и чуть не хватил своего любимого словца, но удержался и сухо окончил:

— Дам... вот что!

Лангзаммер фыркнула. Кругом засмеялись: отвращение субинспектора к учащимся женщинам было известно всем студентам.

Борис возразил твердо и кротко:

— Вот именно для того, чтобы обсудить, как мы можем протестовать против навязанного нам безобразного устава, мы и собрались здесь, доктор... Вы видите: мы не нуждаемся в тайне. Теперь вы знаете цель нашей сходки. За порядок ее, повторяю, принимаю ответственность я.

— И я, как председатель, — выдвинулся из сумерек старый юрист Кузовкин.

— Эх... — замялся уже почти дымящийся Богословский, выискивая себе хоть сколько-нибудь приличное отступление. — Вам-то, господин Кузовкин, как будто уж и не к лицу бунтовать... Да-с. Не молоденький... краса факультета, при университете должны остаться, не нынче-завтра — магистрант... вот что.

— Что делать, доктор? — комически вздохнул Кузовкин, — пословица говорит: назвался грибом, полезай в кузов, — а у меня, наоборот: назвался кузовом, собирай грибы.

Грянул хохот. Богословский нашел момент удобным, — сам засмеялся, махнул рукою и, юркнув за двери, раскаленною бомбою покатился вниз по чугунным лестницам к перепуганным, трепещущим сторожам.

— Там сходка, да-с, а из вас, скотов, ни у кого языка нет меня предупредить? Вот что! — рявкнул он, простирая длани.

Оробелые сторожа вытягивались, безмолвствуя либо издавая нечленораздельные звуки:

— Ва... ва... бла... ра... ста... ва... ва...

— Ва... ва... ра... ста! — с бешенством передразнил Богословский. — Это — какие свечи у них там горят, да-с? Видел я свечи: наши университетские... Вот что!.. И помещение, и освещение!.. У-у! дьяволы... да-с!.. А ежели они сожгут университет?

Младший из сторожей кашлянул, укоризненно взглянул на соседа своего, мрачного бакенбардиста в медалях, и сказал тоненьким голосом:

— Говорил я вам, Ефим Иванович, что лампу лучше.

— Понял, голубчик! Хорош! Умница, да-с! — ужаснулся субинспектор, воздымая к потолку огромные красные ладони с толстыми пальцами-растопырками. — Ах, дьяволы вы дьяволы! Вот что!

Сторожа безмолвствовали, стоя руки по швам, с видом глубоко равнодушным, — хоть кол на голове теши.

— Мне, главное, дознаться бы, — свирепствовал «суб», — какой дурак из вас изволил мокроподолок пропустить в аудиторию? Да-с?

Мрачный бакенбардист густо кашлянул и произнес басом:

— Так что, ваше высокоблагородие, как теперича форма господам студентам еще не введена до совершенной обязательности, то очинно затруднительно теперича нам отличать, которые суть чужие, которые свои.

— Здравствуйте! — освирепел «суб», — он уже бабу, да-с, от мужчины, да-с, без формы отличить не умеет... Вот что!

Бакенбардист обиделся.

— Помилуйте! как можно?

— А ежели умеешь, зачем пропускал баб? Да-с? Дозволено бабам в университете быть? а? дозволено? Отвечай... кустарник ты можжевеловый! Вот что!

Сконфуженный «кустарник можжевеловый» прогудел с унылостью из глуши своих бакенбард:

— Виноват, ваше высокоблагородие... Как служивши с шестидесятого года... полагая, что по прежним примерам...

Богословский вдруг утих.

— Полагая... полагая... шестидесятник тоже! да-с! — мрачно ворчал он себе под нос, надевая енотовую шинель. Никому больше не сказал ни слова, ни на кого не взглянул и вышел... Направился было к ректорской квартире, но — посмотрел в сизый сумрак зимнего вечера, прорезанный желтыми огнями фонарей, посмотрел на небо, проступавшее изумрудною сыпью частых звезд...

— Да ну их всех к черту, да-с! — почти громко выругался он. — Хоть гори все... мне какое дело? Вляпался тоже... да-с! Извозчик! К Николе в Барашах... двугривенный. Вот что!

Сходка студентов в Большой словесной аудитории была умышленно малолюдна, так как представляла собою организационное собрание к беспорядкам, которые назревали и должны были разразиться несколько дней спустя. Гроза надвигалась неминучая и дружная, но тучи двоились резкими отливами. Было два протестующих течения. Огромное большинство студенчества, с Кузовкиным как лидером во главе, крепко стояло на том, чтобы ограничить протест рамками чисто академических вопросов, непосредственных университетских нужд. Требовать отмены нового устава и возвращения к уставу 1864 года, уничтожения государственных экзаменов, добиваться свободы сходок и земляческих союзов, представительства старост, организаций касс взаимопомощи и т.п. Меньшинство, руководимое Борисом Арсеньевым, смотрело на университетское брожение лишь как на предлог и средство политического выступления, как на сигнал к первому петушиному крику революционного рассвета. На предварительных организационных сходках — в том

числе и на той, в которую «вляпался» Богословский, — безусловно побеждала партия реформистов, то есть узкоакадемическая. После долгих и ожесточенных дебатов принята была резолюция Кузовкина, совершенно исключавшая из петиции, которую готовило студенчество, ряд требований общеполитического характера, проводимых кружком Бориса. Последнему удалось настоять лишь на одном пункте своей программы: на требовании возвратить кафедры профессорам, официально удаленным или вынужденным добровольно удалиться из университета по подозрениям в политической неблагонадежности. Особенно разбит и изувечен был юридический факультет, — еще недавно главная гордость и слава московской Alma mater. В короткое время у юристов отняли Муромцева, Ковалевского, Гольцева, на волоске висел Чупров; либеральные доктаранты, как Джаншиев, махнув рукою, зачеркивали свою мечту о кафедре и профессорской карьере.

Победитель и побежденный — Кузовкин и Борис Арсеньев — вышли из университета вместе. Победитель смотрел кисло, побежденный был весел, как молодой козленок.

— Чему вы радуетесь, Борис? — картавила, поднимаясь к нему на цыпочках, повиснувшая у него на локте хорошенькая Лангзаммер. — Мы разбиты по всему фронту, провалились по всем пунктам. Мне плакать хочется, я готова от горя и злости ругаться, как пьяный сапожник, а он хохочет и чуть не прыгает от радости. Ну уж и студенчество ваше! От-то быдло буржуйное. Только техники да петровцы годятся на что-нибудь, а уж университетские ваши — сплошь паиньки, кисляи, лойялисты... А все вы! все вы!

Она погрозила Кузовкину маленьким озябшим кулачком.

— Дорогая Рахиль Львовна, — шагая, отозвался Кузовкин голосом ленивым и усталым, — успокойтесь, не волнуйтесь и не бранитесь понапрасну... Пора бы вам уметь разбираться в сходках, что есть мираж и что действительность...

Борис совершенно прав, торжествуя: ваша взяла, а наша увяла.

— При такой-то дурацкой резолюции? — взвизгнула Лангзаммер, — да вы смеетесь надо мною, Кузовкин.

Борис улыбнулся.

Кузовкин продолжал все так же спокойно и вяло:

— Что резолюция наша неумна, я, пожалуй, не буду спорить с вами. И самое глупое в ней, что она вообще существует. Горох — сам по себе весьма полезная штука, но бросать горохом в стену — весьма нелепое занятие. Ну а мы, собственно говоря, именно то и постановили: будем как можно серьезнее бросать в начальственную стену горохом совершенно безнадежной петиции.

— Если вы сами считаете ее безнадежною, зачем же вы ее поддерживали и проводили? — горячилась Рахиль.

Кузовкин холодно возразил:

— Потому что все дороги ведут в Рим, а я постепеновец и терпеть не могу сальто-мортале и диких прыжков. Вы вот воображаете нас победителями и злитесь, а я вижу завтрашний день как на ладони. Завтра вся Москва будет с вами... и Борисом... По всей вероятности, я первый.

— Вот как? Удивительно.

— Кузовкин прав, — перебил Борис. — Рахиль, неужели вы не предчувствуете, что из петиции ничего не выйдет? Она рассчитана на разумное внимание живых людей, а встретится со стеною. Стена есть стена: глухая масса бессмысленной инерции. Всем этим Капнистам, Высоцким e tutti quanti * прямой расчет принять петицию как студенческий бунт и как о бунте донести министру. Такой ветер дует из Петербурга. Я убежден, что Манеж уже занят войсками и в Охотный ряд мясникам дан пароль к «Народной Немезиде». А «Московские ведомости»? Нет, вы почитайте «Московские ведомо-

---

* И им подобным (*ит.*).

сти». Громовержец уже сыплет свои перуны. Нас не пожалеют. Эта смиренная, тихая, благоразумная петиция — верная дорога к разгрому студенчества. Над университетом надругаются. Нас разнесут.

— Что за петицию, что за политическую декларацию все равно терпеть разнос-то, я полагаю? — огрызнулась Лангзаммер. — Так уж, по крайней мере, перед смертью-то не скупитесь: чем благовестить в будничный колокол, хватите красным звоном во все колокола.

Кузовкин усмехнулся.

— Свободу печати? Амнистию? Возвращение Чернышевского? Выборное представительство? Ответственных министров? Земельный передел? Женское равноправие? Эмансипацию евреев? Восьмичасовой рабочий день? Однопалатную конституцию?

— Совсем не над чем издеваться, Кузовкин. Наша декларация составлена самим Берцовым и, по-моему, превосходна. Всякий порядочный и мыслящий человек должен подписаться под нею обеими руками.

— Я и подписываюсь, Рахиль Львовна. Только вот беда: мы-то с вами подпишемся, а, пожалуй, мой папенька, и ваш папенька, и вот его, Бориса Арсеньева, папенька, судебный генерал — при всем своем шестидесятном благородстве — откажутся не только обе, но и одну руку приложить...

— А на что вам они? Долой старичье!

— На то, Рахиль Львовна, — серьезно возразил Кузовкин, — чтобы, когда казаки будут нас дуть нагайками, было кому сказать: стой! не смей! за что! это — наши дети. Если их, то и нас. Мы с ними.

Борис смеялся.

— Вот, Рахиль, какой он иезуит! Вы понимаете теперь, какой он иезуит? Я предсказываю: быть тебе, Кузовкин, президентом российского парламента.

— Или министром внутренних дел, — уязвила Рахиль.

Кузовкин ухмыльнулся:

— Конституционным? Принимаю.

— Слушайте, Рахиль, — возбужденно говорил Борис Арсеньев, — как же вы не понимаете? Если бы студенчество выступило с нашей программою, против нас оказалась бы вся эта умеренно-либеральная буржуазная Москва, — все эти красноречивые господа с убеждениями цвета saumon *, как выражается братец мой Антон Валерьянович... Ведь все же требования, выставляемые нами, — прямо по их департаменту... С шестидесятых годов за довершение реформ пьют — кто водку, кто шампанское — по состоянию. Шепчутся по безопасным углам, провозглашают тосты за «Незнакомку», делают обеды четырнадцатого декабря и девятнадцатого февраля и потом недели по две трепещут, не забрали бы их за такую гражданскую продерзость жандармы... Неужели вы не предвидите, что, если мы поднимем красные флаги и рявкнем «конституцию», вся эта милая мизерия не только попрячется в перепуге по норам своим, но втайне даже будет аплодировать казакам и охотнорядцам, которые бросятся нас избивать?.. Ведь это же платонические миражники, а не «в самом деле». Хорошими словами еще с Герцена облопались, а — когда Варвару на расправу требуют — они вопят о преждевременности, о политической бестактности и ругают мальчишек, что «испортили дело». Пойдут орать, что мы «точим ножи на головах молодежи», «мостим путь к Сибири трупами товарищей» и тому подобные милые благоглупости. Ну а время еще такое, что их надо заставить во что бы то ни стало быть с нами, а не против нас. Кузовкин прав: надо, чтобы общество почувствовало сквозь толстую шкуру свою в нашем поругании свое поругание, чтобы оно видело нас оскорбленными в минимуме наших законных образова-

---

* Цвета лосося (*фр.*).

тельных прав, преследуемыми за наши справедливейшие академические требования, за невиннейшие корпоративные заявления, которые, как ты ни повертывай, не скажешь, что «не ваше дело». Потому что и слепому ясно, что — именно наше студенчество, такое наше, что, кроме нас, оно больше никого и не касается. И вот — когда почтенные буржуа убедятся, что власть дует нагайками и ссылает детей их совсем не за политику и не за конституцию, но за «наше дело», тут, пожалуй, и шестидесятная подоплека заговорит, и совесть крикнет, что так дальше жить нельзя. По крайней мере, ежели не предъявляешь кандидатуры в кузены царя Ирода.

— Боже мой! Боже мой! — вздохнула Лангзаммер, — какая хитрая механика... и как мало в нас энтузиазма!

— Здравствуйте! Это у Бориса-то Арсеньева энтузиазма мало? — засмеялся Кузовкин.

— Я понимаю вас, Рахиль, — задумчиво произнес Борис, — вам на площадь хочется — под красное знамя... Не выгорит это дело, милая... Горстью моря не зачерпнуть... рано мы с вами живем... Союзник наш еще в пеленках лежит, едва лапками барахтается... Без рабочих открытые выступления — бессмыслица. Ну а рабочие покуда еще темное стадо, «сила пододонная». Это — актив будущего, а в настоящем у нас — кроме готового претерпевать пассива, то есть собственных боков, — иного оружия нет.

— Сим победиши! — смеялся Кузовкин.

— Мне противно, что в вас нет доверия к здравому смыслу и сердцу народа! — восклицала Лангзаммер, — вы не хотите положиться на естественное политическое воспитание, которое он выносил в себе горьким бесправием и нуждою. Вы мало надеетесь на правоту своих убеждений. Нужен вопль, нужен крик, нужен темперамент. Вы не решаетесь увлечь толпу смелым, ярким призывом. И не умеете... Се-

мидесятники не политиковали бы, как вы... нет... нет... нет... Они не воевали бы пассивом!

— Казанскую площадь, что ли, желаете повторить? — сухо перебил Кузовкин. — Нет, товарищ... Пора перестать идеальничать... Покуда народ еще не с нами, а против нас, — правда Бориса: у нас одно оружие — избиваемые бока и общественное негодование к синякам и кровоподтекам нашим. Ну-с, до свидания. Мне направо.

— А нам налево, — расхохоталась Лангзаммер. — Скажите, какая выразительная случайность!

— А победа, Борис, за вами, за вами... — повторил Кузовкин, пожал им руки и скрылся в сумраке Патриарших прудов.

— Рахиль, — сказал Борис Арсеньев, когда остался вдвоем с девушкою, — зачем вы с ним спорили? Ведь дело ясно как день. Стоит их петиции провалиться, а провалится она непременно, и весь университет ринется за нами, как один человек. Когда безжалостно и напрасно отказывают в минимальном праве, негодование снимает с себя напускные смирения и вытягивается во весь свой грозный рост, с справедливыми воплями уже о всей полноте прав... И общество поддержит нас, потому что — зрелище слишком выразительно. Помилуйте! в студенчестве взяла верх партия благоразумия, с мирною академическою программою. И вот за это благоразумие студентов — что же? приняли в нагайки! Если после того студенчество доведено до необходимости схватиться за политическую программу отвергнутого меньшинства, кто виноват? Это — акт отчаяния, акт самозащиты: нас гонят к нему не корпоративная воля, не внешняя пропаганда, но тупое, нерассуждающее, солдафонское насилие, от которого — доказано фактами! — добром ждать больше нечего. Сотни товарищей, которые сегодня не с нами, завтра придут к нам и скажут: вы были правы, а мы сломали дураков! Кузов-

кин умница, он хорошо предвидит свой крах. И, когда Катковы с компаний завопят, что мы бунтовщики, девять десятых общества грянет дружным ответом: «А что же им еще делать, как не бунтовать? Кто отбивает их от мирной науки и толкает их в революции? Вы! Вы! Вы!.. От вашего презрительного меднолобия пешка шахматная за красный флаг схватится, не то что живой человек».

Лангзаммер молчала.

— Все-таки, — сказала она наконец, — я предпочла бы — перерезать хотя бы вот этот самый переулок баррикадою и стоять на ней с револьвером в руках...

— Говорю вам: подождите четверть века. И это будет.

— Я тогда буду уже старуха, а вы старик.

— Ничего. И под снегом иногда бежит кипучая вода, — продекламировал Борис. — Я ждать согласен.

— Эка в вас веры-то!

— Ну вот — ваша последовательность: только что бранила, что нет веры, а теперь слишком много...

— Да если она у вас какая-то растяжимая на сто верст и еще с запасом? Точно бесконечная лента на телеграфном аппарате.

Они прошли несколько шагов молча.

— Ну а туда пойдете? — нерешительно и вполголоса спросила Лангзаммер.

— Туда? — быстро переспросил Борис. — Конечно, пойду. Там я не студент, а просто революционер, член партии, товарищ. Я свои студенческие обязанности как товарищ покончил, а туда призывает меня политический долг. Конечно, пойду. И Федос идет. А вот вам не советовал бы...

— Ну уж это вы, Боренька, — ах, оставьте!

— Маленькая вы, слабая... сомнут вас.

— Ну и «пущай» сомнут... мое дело!.. А пойти — и не отговаривайте — пойду! пойду! пойду!

XXXV

От Курского вокзала по Маросейке к «городу» двигалась странная процессия. Медленно катилась черная тюремная карета Колымажного двора, окруженная пешим конвоем. За каретою и по обеим сторонам — в ряд с конвойными — бодро вышагивали маленькие группы молодых людей, возбужденных, веселых и бледных. Всего — человек пятьдесят. Они что-то пели, махали платками. Из решетчатых оконец кареты выглядывали на них, чередуясь, испитые лица с глазами любопытными, но скорее смущенными и недоумевающими, чем радостными. Конвойные растерянно косились на странных провожатых, но не гнали их прочь. Молодежь, с своей стороны, не трогала конвойных. У командующего офицера, очевидно, не было инструкции на случай мирной демонстрации, — и он недоумевал, что ему с этою толпою делать. Никаких насилий она не производила, попыткою освобождения пленников, заключенных в карете, не угрожала, а нынешнего обычая палить в толпу только за то, что она — толпа, в те времена еще не было и в помине. Процессия проходила переулок за переулком, улицу за улицею, — ей никто не препятствовал. Околоточные на перекрестках и городовые с своих постов как-то искусственно спокойно окидывали ее равнодушными взглядами, а иные даже — не то сдуру, не то иронически — брали под козырек. Зевак на панелях выросли целые шпалеры. Смотрели молча и — ничего не понимая. Политическая манифестация была еще неслыханною редкостью. Некоторые принимали процессию за еврейские похороны, другие — за свадьбу, третьи — несколько ближе к истине — уверяли, что, должно быть, начальство опять восстановило торговую казнь и кого-то везут наказывать на Болото, где объявлялись в старину приговоры. У Армянского переулка поперек Маросейки протянулся обоз ломовых дрог. Процессия скучилась, улица запрудилась народом.

Волнующийся и смущенный конвойный офицер стал было командовать:

— Разойтись... не тесниться... Господа, я честью прошу...

Ему ответили кратко, кротко, но внушительно:

— Мы вам, господин офицер, не мешаем, вы нам не мешайте.

Любопытствующие примыкали к хвосту процессии и следовали за нею, сами не зная, зачем и куда они идут. Кое-кто из демонстрантов обращался к публике, разъяснял, но — по новости дела и от волнения — сбивчиво, темно и плохо, а по необходимости успевать за движением кареты — торопно и невнятно. Понятным оказывалось одно, — что в карете препровождаются на Колымажный двор какие-то важные «политические», привезенные с далекого юга, и «партия» почтила их торжественною встречею, к которой присоединяться приглашает всех желающих. Черная карета с ее странною свитою гипнотизировала воображение и тянула за собою. Толпа значительно выросла. Девушки трудового или учащегося типа, одетые строго и бедно, откровенно раздавали прокламации. Их принимали охотно — с молчаливым любопытством — и даже без испуга: впечатление было настолько ново и непривычно, что обыватель не успел еще струсить пред ним, обмыслив затаенную в нем опасность. Полиция, по-прежнему, оставалась безучастною.

— Скверный знак, — сказал Борису Арсеньеву, шагавшему в первом ряду демонстрантов, сосед его, рыжебородый, с холодными стальными глазами широкоплечий господин, — Берцов, руководитель и заправила манифестации. Они приготовили нам ловушку...

— Ну вот... Не думаю... Просто — растерялись... Ведь — впервые видят... И приказа нет... Не знают, как поступить...

— Нет, у них рожи такие... себе на уме. И любопытства мало в глазах. Очевидно, зрелище не невзначай: предвидели

и ждали. И есть приказ — не трогать до времени. Иначе какой-нибудь горяченький не выдержал бы, прорвался... А они вон даже еще козыряют. Скверный знак.

— Что же из всего этого следует? — спросил Борис с недоверчивым и даже задорным несколько неудовольствием.

— То, что мы свое дело сделали, эффект достигнут, а теперь — sauve qui peut... * Надо рассыпаться.

Борис нахмурился и покраснел. Неожиданный успех беспрепятственной демонстрации опьянял и дурманил его победною радостью.

— Вы ошибаетесь, Берцов, — возразил он почти жалобно, — я уверяю вас: они просто не смеют нас тронуть... струсили, потому что видят, как охотно примыкает к нам народ.

— Народ!

Берцов презрительно пожал плечами.

— Какой вы оптимист и... еще ребенок, милый Арсеньев!

— Однако посмотрите: на вокзале нас было вряд ли тридцать человек, а сейчас, по крайней мере, двести... Я, конечно, понимаю, что большинство — не из сочувствия, но — так... Но — кто не против нас, тот уже за нас...

Берцов холодно возразил:

— Ни за нас, ни против нас, а идут, потому что надеются, что в конце концов скандал выйдет.

— Однако Лангзаммер раздала все свои прокламации — разбирают превосходно, — ни одного протеста...

— Ну и тем лучше. Хорошенького понемножку. Исполнила свою службу, — и удирай, покуда цела... Где она?

— Ее Бурст охраняет. За ним не видно.

Громадная фигура быкообразного техника двигалась за каретою, как башня какая-нибудь или стенобитная машина. Лангзаммер, миниатюрная, как куколка, живая как ртуть, бледная и прелестная с своими лихорадочно-ярки-

* Беспорядочное бегство, паника... (*фр.*)

ми глазами, быстро тараторила, точно горохом сыпала в толпу.

— Возьмите, прочтите... Вы увидите, что мы не худые люди... Мы ищем только справедливости и добра для народа... Мы хотим, чтобы богатые поделились с бедными своим избытком. Чтобы господа не могли и начальство не смело притеснять трудящиеся классы, за счет которых они живут... Никто в России не должен умирать с голода, и все обязаны выступить на защиту своих человеческих прав... Возьмите, прочтите...

И она протягивала последние оставшиеся у нее листки. Если не брали, она роняла их на мостовую, и кто-нибудь из толпы подбирал. Читали тупо, с диким и пугливым недоумением. Но были уже и весело удивленные улыбки, и радостно недоверчивые глаза, и широко осклабленные рты...

— Одначе... ловко!..

— В самую точку!

А демонстранты кричали:

— Долой правительство! Да здравствует конституция!

— Да здравствует народ!

Бледные лица в окнах кареты расцветали сомневающеюся радостью. Крики усилились. Грянула нестройная «Марсельеза». Голосили больше мелодию, слов почти никто не знал дальше первых двух стихов:

Allons, enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrivé !..

Из кареты мелькнуло чу́дное лицо в русых косах и обворожительная улыбка той, которую впоследствии звали «Шлиссельбургскою мадонною», той, беззаветно влюбленными

---

* Вперед, сыны отечества,
День славы настал!.. (*фр.*)

товарищескими мечтами о которой «живые мертвецы» Шлиссельбурга скрашивали свои одинокие могильные дни.

Некоторые из получивших прокламации раскусили, в чем штука, трусливо бросали их и спешили уйти. Чем ближе к «городу», тем больше встречалось лиц мрачных и недоброжелательных. У Ильинских ворот какой-то приказный с шакальей мордой в допотопной лисьей шинели плюнул на листок и обругал Лангзаммер шлюхою. Кругом в толпе недружно, но все-таки захохотали... Федос Бурст обратил в ту сторону свое колоссальное туловище и грозно выпучил голубые тевтонские глаза. Приказный мгновенно исчез в народе, расточился, как бес пред заутреней. Народ расхохотался дружно — всем огулом.

— Не любишь? Ах, сукин сын!

— А это кто же будет? Бравый какой. Генерал, что ли, ихний?

Студент Рафаилов, маленький, тощий, искривленный рахитическим недоразвитием обиделся и объяснил:

— У нас нет генералов. Мы все равны. И вы должны быть все равны. И люди в карете, которых мы чествуем, страдают за идею всеобщего равенства.

В толпе ели яблоки, грызли подсолнухи...

Бурст понравился.

— Ежели энтот звизданет...

— Должон садить — аж и дух вон.

— По покойнику на удар.

А Борис Арсеньев тем временем умолял Берцова:

— Ну еще немножко... Ну хоть до Театральной площади...

Ему жаль было расстаться с миражом победы, с пьяным чувством толпы, слепо следующей за знаменем его протеста. Хотелось идти улицу за улицей — торжествовать, кричать и петь.

— Нет, Арсеньев, я дам сигнал. Не зарывайтесь.

И, когда процессия поравнялась с Лубянскими воротами, Берцов снял с головы свою высокую, под бобра, седую шапку и, махнув ею в оконце кареты, крикнул громовым голосом:

— До свидания, товарищи. До свидания — в свободной России!

И — быстро растолкав ближний народ, исчез в Никольскую улицу. Здесь он вмешался в толпу богомольцев у часовни Пантелеймона и, став на колени, добрые полчаса оставался без шапки, покуда не убедился, что за ним как будто не следят... А тогда осторожно сунул приметную шапку свою под пальто и вынул из кармана старый мягкий меховой дорожный картуз... Нахлобучив его, на улице Берцов сделался почти неузнаваем. В глухом уголке Старой площади у запертых амбаров мучного лабаза он остановился как бы за естественною надобностью, и... когда повернулся от амбара лицом к улице, великолепной рыжей бороды его — как не бывало. Теперь Берцова родная мать не признала бы. Он взял извозчика и поехал куда было надо.

Крик Берцова и его исчезновение были условленным знаком, что демонстрация кончена и участники ее должны понемногу расходиться по домам. Лубянская площадь с семью выходящими на нее улицами, с Толкучим проломом на Старую площадь, с проходными пассажами и дворами давала к тому все удобства и полный простор. Ближайшие к карете группы молодежи начали таять покорно и быстро. Каждый, раньше чем исчезнуть, кричал:

— До свидания, товарищи. Не падайте духом. До свидания в свободной России!

Крик подхватывался демонстрантами и откликался глухим ответом внутри кареты.

— Ах, черт, — ворчал Федос Бурст, уже взявший было руку Лангзаммер, чтобы вместе с девушкою поворотить к Старому Никольскому пролому. — Смотрите, Рахиль...

Борька-то будто и не слыхал. Шагает знай своими длинными арсеньевскими ножищами... жираф этакий!.. Никакой дисциплины, как всегда... ах, дьявол!..

Быстро протолкавшись вперед, он и Лангзаммер очутились подле Бориса. Процессия, уже значительно поредевшая, в это время опять затормозилась встречею с ломовыми. Рослый и на редкость представительный — с длинными-длинными седыми бакенбардами — помощник участкового пристава повелительно махал руками и свирепо кричал в пространство. Лицо у него было бледное, но красноносое, пьяное, а в голубых глазах светился огонь скорбного безумия. И — в полный голос свой — полицейский орал хриплым старческим баритоном:

— Не загораживать улицы. Не толпиться... Степанов, возьми этого... Федорчук, тресни вон ту скотину... Иващенко, запиши номер ломовика...

А в четверть голоса быстрым шепотом отрывисто диктовал, не глядя на Бориса и Бурста:

— Господа... воздержитесь... Как искренний доброжелатель... За Театральною площадью... нехорошо...

И — опять во все горло:

— Иващенко! Чего мнешься, эфиоп? Не в очередь на часы тебя, волчий огрызок...

И бисерная ругань в три этажа. Студенты и Рахиль переглянулись...

— Я не понимаю вашего вмешательства, — тихо сказал Борис.

— Охотнорядцы у Параскевы Пятницы четвертый молебен служат... Ждут вас... А в университете неспокойно... вытребован наряд...

— Послушайте, господин полициант, — бесцеремонно остановил его грубоватый Бурст, — вы, может быть, очки нам втираете?

— Понимайте как угодно-с, мое дело было предупредить...

И — фронтом к конвойному офицеру:

— Сию минуту, поручик, успокойтесь, готов проезд, будет проезд... Федорчук! Двинь того краснорылого рукояткою в зубы.

— Да вам-то что? Вы разве из наших? — защебетала Лангзаммер.

Полицейский ответил ей взглядом глубоким и многозначительным.

— Нет, я не из ваших. Я государю моему слуга. Но только я, по своей совести, ненавижу, чтобы из хороших людей делали окрошку. Если не ошибаюсь, госпожа Лангзаммер?

— Вы меня знаете? — вспыхнула удивленная Рахиль. — Ну что же? Да, я Лангзаммер. Не намерена скрываться.

— И вас знаю, и господин Бурст мне известен, а Бориса Валерьяновича я когда-то на руках носил. Потому и осмелился предупредить вас. Преступаю служебный долг, но уверен, что вами предан не буду... Готово, поручик. Счастливый путь... Не будьте в претензии, сами видите: наша ли вина? Никакой возможности, валом прут, несносно сволочная публика... Господа! Не толпиться, расходиться... Ничего нет интересного. Со всяким может случиться. Степанов! Осади дурака — с шишкой... Куда полез, борода?

— Теперь я вас узнал, — тихо сказал Борис, — вы господин Мутузов... отец Лиды Мутузовой, не правда ли?

— Так точно-с. Вашей сестрицы подружка, дочка моя, вместе учились в гимназии... Но — откровенно вам скажу — не потому-с... А другую дочь имею — старшенькую... Клавдию... Пропала на этих ваших делах... Ныне в Нерчинском-с... Хотя служу в полиции и нахожусь в несчастии, — отец-с... могу понимать... Ради нее-с... Извините... что мог...

И, как волчок вертящийся, господин Мутузов откатился и, ругаясь, очутился уже по другую сторону улицы. А карета затарахтела в очищенный между двумя подводами раздвинутого обоза проезд, тяжело катясь вниз с мощеной горы

на низменный плац, обставленный великолепными зданиями трех театров, двух шикарных гостиниц, длинною белою стеною Китай-города и пресловутым Тестовским трактиром, без коего в деловой Москве ничто же бысть, еже бысть.

— Ну-с, друзья мои... дело нешуточное... Мы за этого благодетельного бурбона должны нашим угодникам по хорошей свече поставить, — говорил Федос Бурст, присев на колесо неподвижно выжидающей подводы, тогда как мимо его валил за каретою муравьиный поток вольных и невольных демонстрантов. — Командую вам allegro udirato! * Отсюда, как из-за баррикады... ловко отступление... Ты, Борька, жарь на Неглинную, я с Лангзаммер в Никольский пролом.

Но Борис, быстрым мельком взглянул на приятеля, двинулся за толпою.

— Борька!

— Ты — как хочешь, — услыхал он ответ, — я пойду вперед.

— И я с вами, Борис, и я!.. — крикнула восторженная Лангзаммер.

— Борька! Но ведь это же нелепо. Никакой дисциплины! Нас раздавят. Мы повторим семьдесят восьмой год...

Борис оглянулся на Бурста почти злобно:

— А в состоянии мы удержать теперь этих? вот всех этих?

Он кивал и показывал пальцем на толпу демонстрации, опережавшей их с каждою минутою... С горы вниз было видно, что черная карета уже поравнялась с Большим театром. До поворота в Охотный ряд ей оставалось сделать всего лишь несколько саженей.

Бурст угрюмо потупился.

— Нет... поздно... не остановить... Докатятся по инерции...

---

* Аллегро удирато! — быстрое удирание (*ит.*).

— Так чего же ты хочешь? Чтобы подготовленная нам засада сделала, как говорит этот полицейский, окрошку из невинных людей?

— Гм...

— Они шли за нами, — попали в поставленный нам капкан, — и мы оставим их одних погибать в капкане, — а сами убежим, как хитрые, проказливые обезьяны?

— Борис, не забывай, что партийное решение было, чтобы демонстрация осталась мирной во что бы то ни стало.

Борис сухо возразил:

— Демонстрация кончилась. Теперь мы не демонстрируем, но просто идем под охотнорядские кулаки. А что касается мирности, ты хорошо знаешь, что ни у кого из нас нет оружия...

— То-то и есть, — что — как овцы на заклание... тьфу!

— Ничего нельзя сделать, Бурст, — говорила Лангзаммер, — нельзя, чтобы народ остался с впечатлением, что политические заводят в ловушку и удирают... Ободритесь. Не робейте... Надо принести себя в жертву.

— Я не трус, Рахиль милая, и бодрости у меня на десятерых достанет. Разве я за себя боюсь? Я своими кулачищами — сквозь какую хотите толпу дорогу прочищу... с крючниками в Рыбинске дирался и с босяками в Одесском порту... Но вы... но вот этот кривобокий Рафаилов... вон тот горбатенький Хаим Майзель... Сделайте вы мне милость: уйдите, покуда не поздно. Ведь только руки свяжете... Юркните — вон хоть в Малый театр... касса открыта... будто билет покупаете... Рахиль!..

Лангзаммер молчала. Она понимала, что Бурст говорит дело, но...

— Нет, — решительно сказала она, сверкая черными глазами и упрямо тряся кудрявою головкою под барашковою шапочкою. — Нет, Бурст. Вы, может быть, и правы. Но я не могу. Оставаться в безопасности, когда знаешь, что там —

в двух шагах — увечат и убивают моих товарищей... нет, Бурст, — я предпочитаю — лучше пусть и меня изувечат!.. Это легче... Пусть уж как судьба укажет... Я пойду с вами... Возьмите меня с собою!.. Не сердитесь, Бурст!

— Э-эх, чертик вы упрямый! — воскликнул растроганный техник с нежною досадою и полным сожалений гневом. — Никакой дисциплины! По крайней мере, Рахиль, милая, хоть держитесь около меня, не отбивайтесь в толпу... Авось... Ну шабаш! Все равно... Поздно... Слышите? Пошла писать губерния... Уже орут... бегут... около карет уже свалка... О, дьяволы!.. Ну в кулаки так в кулаки... Погибни, душа моя, с филистимлянами!

Борис Арсеньев стоял на тумбе против Дворянского собрания, длинный, тонкий, яростный, и кричал страшным, пронзительным голосом:

— Товарищи, нам подстроена ловушка... Товарищи, сплотитесь теснее, иначе нас всех перебьют поодиночке... Господа, кто нам сочувствует, держитесь с нами — за правое дело... Кто не наш, спешите удалиться, чтобы не пострадать вместе с нами... Потому что нас будут бить и, может быть, даже убивать...

Толпа, гудящая, как несчетный рой железных пчел, всколыхнулась встречными течениями бегущих трусов и остающихся любопытных и образовала что-то вроде омута человеческого — крутящийся толкун картузов и шапок над лицами бледными и красными, испуганными или освирепелыми... Часть демонстрантов бросились, как стадо овец, вверх по Дмитровке... спеша рассыпаться по переулкам. Речь Бориса имела ту неожиданную пользу, что, задержав толпу, отделила ее от кареты и ослабила ее встречу с мясниками, устремившимися на нее от красной и красивой, как гигантски оснащенный, парусный корабль, Параскевы Пятницы. Мясники с ревом «ура!» окружили карету в полной уверенности, что распотрошат ее беспрепятственно в полное свое

удовольствие. Конвой — ничего не понимающий, взволнованный, нервный, измученный уже добрым часом недоумения среди окружавшей его толпы, — положительно обрадовался этому нападению, которое выводило его из двусмысленной позиции, и — верный инструкции — ощетинил штыки... Дикий натиск в испуге рассыпался прахом, первоначальная энергия нападения сразу ослабла в трусливых недоумениях пред нечаянною вооруженною силою.

— Выдавай нам царевых изменников! — вопили горланы, — чего их по тюрьмам возить? Мы своим судом справимся. Подавай, — мы их в клочки разорвем!

Но вопль был уж неискренний и неуверенный, — из задних рядов... Передние безмолвствовали и не напирали... Кони прибавили шагу. Карета легко покатилась под гору, на Моховую. Подготовленная охотнорядская бойня сорвалась сама собою. Повторить 1878 год не удалось. На отдельных лиц набрасываться не решились, не надеясь разобрать, кто участник демонстрации, кто — просто случайный прохожий. Объявить войну всей встречной интеллигенции без разбора полиция не посмела или не захотела. Публику велено было не обижать. Ограничились криком в пространство. Молодым людям, похожим на студентов, курсисткам — особенно евреям и еврейкам — грозили кулаками и даже мясничьими ножами, рассыпая похабную ругань. Бурст вел Лангзаммер, как сквозь строй отвратительных слов, подлых взглядов и жестов. У него глаза налились кровью, и даже затылок стал красный, как кумач, но он понимал, что надо выдержать эту позорную муку, что достаточно одного ответного удара, даже слова, и злобное настроение толпы прорвется в звериную ярость.

— Только бы дойти до университета... только бы до университета... — ворчал техник себе под нос. — Там — наплевать... будем — как в крепости.

Остатки демонстрации растаяли в кучку человек в пятнадцать, сплотившуюся около Бориса Арсеньева. Он — блед-

ный, но с гордо поднятою головою — привлекал враждебное и опасное внимание.

— Вон этому непременно следует кости переломать... Он у них главный... Речь говорил...

— Энтот?

Детина, к которому переодетый агент обращал эти науськивания, — дюжий молодой парень, в суровом переднике с черными пятнами непромытой крови, — хвастливо и нагло заглянул в лицо Бориса, встретил его взгляд и — замялся.

— Поди, с левольвертом ходит... — в конфузе пробормотал он. — Убьет — недорого возьмет...

Группа Бориса, сжавшаяся, настороженная, напоминала ямщицкую тройку, на которую в глубокоснежной степи напала и по следам за нею идет волчья стая. Кусать и рвать еще не смеют, но уже щелкают острые зубы, и, как свечи, горят жадные глаза. А ямщик не решается погнать коней во весь опор, потому что — все равно не ускакать от волков по спотыкливым сугробам, только дашь зверям сигнал освирепеть и броситься. Бурст оглянулся на своих и нахмурился.

— Малорослые и слабосильные все, — пробормотал он, — черт!.. Этаких — и нехотя, из озорства одного, поколотят... Один Борька да Работников на людей похожи... Подождите, Рахиль... Надо усилить наш арьергард... Я там теперь нужнее.

Он подоспел вовремя, потому что волки уже начинали «играться» с обреченною жертвою: кривобокого Рафаилова, будто не нарочно, пребольно поталкивали, нагло переговариваясь через его голову, словно и не замечали его два молодца из мучной лавки. Майзеля задел локтем в лицо огромный чернобородый зеленщик... С появлением колоссального Бурста в «арьергарде» стало повеселее... Волки укротили свою прыть и даже отстали на несколько шагов, как бы рассматривая и изучая нового врага, с которой бы стороны на него прыгнуть.

— Уф! Ныне отпущаеши! — тяжело вздохнул Бурст: Охотный ряд был пройден, и группа демонстрантов вошла в узкую Моховую, — до университетских зданий оставалось не более тридцати саженей. Молодежь встрепенулась и прибавила шага. Волки взволновались, сообразив, что добыча от них ускользает... Заторопились... Насели... Ругань посыпалась с оживленною силою... Возбужденные гневом неудачи, потные, красные лица и злые глаза надвигались на «арьергард» тесным полукругом... Из углового магазина Калганова выбежал молодец без шапки и с руками в рыбьей чешуе. Вмешавшись в толпу, он очутился как раз позади Лангзаммер и, кривляясь, шел за нею, произнося скверные слова и делая похабные жесты, от которых волчья стая помирала со смеха.

— Не обращайте внимания... молчите... молчите... — бурчал Бурст, все ускоряя шаг. — Только бы до университета... ну погоди ты у меня, красный черт... будет тебе ужо!.. Только бы до университета...

Но, ободренный безответностью девушки и хохотом толпы, рыбник наглел с каждым шагом. И вдруг — Рахиль не выдержала: прежде чем Бурст мог ее остановить, девушка вырвала у него свою руку, обернулась на одной ноге, как волчок, и плюнула нахалу прямо в лицо... Рыбник остолбенел... Толпа остолбенела... А затем, как водится, грянул залп хохота над неожиданно побежденным победителем...

— Ловко!..

— Ай да барышня! Не из робких.

— Протри глаза-то, а то бельма вырастут.

— Теперича тебе, дураку, и умываться не надо: на трое суток тебя барышня вымыла.

— Супротив ячменей оно хорошо, говорят, коли в глаза плюнут...

Взбешенный рыбник бросился вперед.

— Что? Плеваться? Жидовская лахудра! Смеешь православному человеку в лик плевать?

И, догнав Рахиль, схватил ее за волосы. Но тут же покатился на мостовую от страшного удара: Бурст сверху опустил на него кулак свой, точно кузнечный молот.

— Теперь пойдет катавасия, — рычал он, увлекая истерически рыдающую Рахиль. — Прочь с дороги, кому жизнь дорога!.. Никакой дисциплины!

Рыбник сидел среди улицы и охал. Настроение толпы мгновенно изменилось.

— Наших бить! Наших? Ах вы...

Но демонстранты уже входили в двор Старого университета. Предупрежденные сторожа быстро заперли за ними железные ворота. Бедняга Рафаилов по близорукой мешкотности своей ухитрился как-то опоздать и остался на тротуаре. Его схватили и начали бить, а он визжал диким заячьим криком, которому вторили в университетском дворе истерические вопли Лангзаммер.

— Эх! — с яростью воскликнул Бурст, блуждая вокруг себя побелевшими глазами, — Борис, Работников, Живилкин, кто поздоровее... держите, что ли, калитку!

И — ринулся на улицу. Толпа встретила его бешеным ревом, и на мгновение он исчез в лесе поднятых рук, но его ужасные тевтонские кулаки сделали свое: минуты через три Бурст вломился обратно в калитку, окровавленный, запыхавшийся, измятый, но — победителем и волоча в виде приза почти бесчувственного Рафаилова, которому он не удержался-таки дать легкого подзатыльника:

— Ворона.. Нашел время зевать!.. Никакой дисциплины!

— Подлецы этакие, сзаду бьют, всю спину отломили... — задыхаясь, жаловался он, утирая платком кровь, лившуюся из разбитого носа. — Но вашему рыбнику, Рахиль, решительно не везет... Он все ловил меня за ноги, уронить думал... Но я его — как наподдал каблуком под вздох... уж не знаю, много ли от него теперь осталось...

Огромное высокое университетское крыльцо почернело от студенчества, высыпавшего из аудиторий и с большой сходки в актовом зале. Неслись грозные, ободряющие крики. Уцелевшие демонстранты сразу потонули в товарищеской волне. Их обнимали, целовали, жали им руки... На крыльце грянуло «Gaudeamus». Кузовкин, завидя Бориса, быстро сбежал к нему навстречу.

— Что у вас?

— Ты видишь.

Борис указал на толпу, бесновавшуюся на улице, как стадо рассвирепевших горилл. Они потрясали неподатливыми воротами, лезли на фундамент решетки. Рыбник, опять успевший оправиться, прыгал за железными прутьями, точно черт какой-нибудь, и диким сиплым голосом выл на Бурста какую-то уже нечленораздельную ругань. Гвалт и вой стояли невообразимые.

— Отворяй ворота! Не то разнесем решетку!

— Камня на камне не оставим в вашем окаянном гнезде!

— В ножи вас!..

Но студенчество все прибывало и прибывало, и его внушительная масса произвела впечатление. Меньше напирали на ворота, среди прыгающих силуэтов на решетке появились уже спокойные фигуры простых зевак.

— Отворяй ворота, — шебаршили еще профессиональные горланы, — всех прикончим, духа вашего не останется!

Со студенческой стороны тоже задирали:

— Выйдем на улицу, — разбежитесь, как зайцы, только хвосты сверкнут...

— В ножи вас! Камнями зашвыряем!

— У нас против ваших ножей револьверы найдутся, — пробасил огромного роста студент-математик в черных кудрях и красавец собою, только какого-то шулерского типа, вызывающе позируя перед решеткою.

Кузовкин услыхал и сурово окликнул:

— Нисшественский, что за пошлости вы говорите?

Студент сконфузился.

— Помилуйте, Кузовкин... нахалы... Надо же их осадить.

— Вам угодно, чтобы полиция сплела сказку, будто мы угрожали расстрелять толпу из револьверов?

— Господин Кузовкин, вы должны понимать, что подобные возможности мне, как студенту, не могут быть угодны.

— Ну, следовательно, и не делайте глупостей, чтобы «подобные возможности» не обратились в действительность.

Красавец неловко осекся и отступил за спины товарищей, недовольно бормоча:

— Удивляюсь... кажется, каждый имеет свободу действия... Замечания... И каким начальническим тоном... Генералы у нас завелись... самозванные генералы...

Кузовкин проводил его глазами...

— Препротивный господин, — с убеждением сказал он Борису. — Ужасно мне подозрителен. Сейчас сходку смутил... такую красноту и левость загибал ни к селу ни к городу, что я едва удержался, чтобы не назвать его провокатором. Теперь за револьверы взяться желает... Ты слышал? Какое-то непременное стремление подвести университет под обух.

— Да ведь ты и меня в том же самом обвиняешь, — улыбнулся Борис.

— Ну, Борис Валерьянович, такие вещи — даже и в приятельскую шутку говорить не следует... Et modus in rebus!..* Ты — Борис Арсеньев, за тобою — партия, а этого франта я начинаю серьезно подозревать, не правительственный ли агент...

— Черт его знает... Не люблю записывать людей в шпионы — зря, без доказательств. Может быть, просто выскочка, надеется выйти в вожаки для беспартийных... А что ду-

* Всему есть мера!.. (*лат.*)

рак и отвратителен, в этом я совершенно с тобою согласен... Но надеюсь, что мы встретились не для того, чтобы беседовать о достоинствах господина Нисшественского? Рассказывай, что у вас.

— У нас... — протяжно начал Кузовкин... — Ах, вот это нехорошо, вот это сейчас совсем: некстати и очень нехорошо! — оборвался он, указывая на Рахиль, Бурста и еще нескольких, посторонних университету пришельцев. — Сходка постановила, чтобы провести протест строго легально и исключительно своими студенческими силами. Чтобы не было даже тени чего-либо похожего на заговор с другими учебными заведениями. Чужие сейчас нам совершенно лишние.

— Куда же прикажешь их девать? — вспыхнул Борис. — Ты видишь: мы в осаде... Не выбросить же нам товарищей в звериное море это.

— Кто говорит... Но надо их спрятать. В арку — к служащим или по профессорским квартирам. Они не могут ни участвовать, ни даже присутствовать на сходке... мы дали слово совету...

— Напрасно давали. Слово нелепое... неизвестно, зачем сами дробите силы свои.

— Может быть, но — давши слово — крепись... А университет, брат, закроют... Ректор — прямо от попечителя — проговорился впрямую... Там пойдут на все...

— Ну что ж? — равнодушно возразил Борис, — мы плакать не станем...

— Что вам плакать? Вода на вашу мельницу. Но мы станем. И потому, брат, поставлено сходкою: на петиции стоять крепко, а если начальство будет грозить закрытием университета, то мы закрыть не позволим.

— То есть как не позволите? — насторожился Борис. — Какими же средствами?

— Просто решили не признавать университет закрытым, от кого бы такое распоряжение не исходило, и не расходить-

ся из университетского здания, покуда петиция наша не будет удовлетворена. Пускай расшвыряют нас силою или арестуют всех оптом, — но мы у себя дома и по доброй воле никуда из своего дома не пойдем.

— Да ну? — встрепенулся Борис с радостно зазвездившимися глазами. — Вот это здорово... это молодецки... Даже не похоже на вас, не в обиду тебе будь сказано.

— Ничего, мы к вашей любезности привыкли... В другое время я сильно побранился бы с тобою за это, — Кузовкин кивнул на толпу, бушующую на Моховой, — все-таки втравили вы нас в политику, сумасшедшие!.. но... все к лучшему в этом лучшем из миров: сейчас оно удивительно кстати.

— Улица в нашем деле всегда кстати.

— Ну это — de gustibus non est disputandum... * А вот — что сейчас студенчеству некуда податься из университета, как в страшную толпу эту, и что благодаря тому мы не будем иметь дезертиров, — твоя правда.

— Держаться долго все равно не сможете.

— Мы об активном сопротивлении и не мечтаем. Тут вопрос только в том, что мы заявляем себя господами: своего права хозяйства в своем университете не уступаем никому. Если совести хватит, берите нас, вяжите, бейте, разбойничайте, но университет наш. Ну и все-таки это я еще посмотрю, как они введут полицию в стены университета... Полтораста лет стоит наша Alma mater, но — таких примеров не видывала.

Борис перебил:

— А между тем... ого!.. Смотри-ка, смотри: легки на помине, наконец — спохватились, что в городе бунт: полиция. Фараоны, честное слово, целая туча фараонов.

— Посейдон, взбушевавший море бурею, является его укрощать! — с отвращением сказал Кузовкин.

* О вкусах не спорят... (*лат.*)

5*

В самом деле, за решеткою показался многочисленный полицейский наряд. Кто-то на московском верху решил, что проектированное сражение морально проиграно — охотнорядцы не оправдали себя и вместо «Народной Немезиды» устроили лишь безобразный и пошлый уличный скандал. О нем уже летели по Москве крылатые слухи, пугая и возмущая общество раздутыми вестями. На Пречистенке, Собачьей площадке, на внешних бульварах — в квартирах интеллигентного барства — уже чуть не клялись, что университет взят приступом и разгромлен охотнорядцами хуже, чем Иерусалим — Титом. Пострадавших студентов считали сотнями, называли убитых и раненых будто бы профессоров... На Пятницких, Ордынках, Софийских набережных зарычало испуганное за детей своих именитое и образованное новое купечество:

— Этак, ежели ныне дозволено всякое разбойное безобразие, то лучше пассажи на замок запереть и фабрики распустить...

Власть струсила.

Полицейский наряд, приготовленный, чтобы поддержать в случае надобности охотнорядскую расправу, теперь был выдвинут из Манежа, где скрывался с утра, — с приказанием оттеснить от университета нападающий погромный хаос. Толпа, уверенная, что полиция — на ее стороне, ровно ничего не понимала. Она думала бить, вместо того — теперь ее били. Городовые сдергивали за ноги буянов, раскачивавших решетку, и, работая ножнами и рукоятками тесаков, быстро очистили тротуар перед университетом. Охотный ряд отступил, недоумевающий и недовольный...

— Пес разберет их, это начальство наше премудрое, — громко ворчал пожилой бородач, старший приказчик крупной мясной лавки. — Две недели сыщик ходил к нам в магазин, шептался, увещал, чтобы собрались с духом — задать скубентам взвошку за ихнюю крамолу... Даже так обещал, что из Питера пришлют нам медали за верность... А на место

того, когда дело дошло до состава драки, то, между прочим, высылают на нас макарок с селедками, чтобы — осади народ!.. Не иначе, что господа дали обер-полицеймейстеру большую взятку на отступное, потому что в наверситете обучается много господских детей...

— Взятки ли, нет ли, — отозвался ему мрачный и чернобородый гигант, хозяин зеленной лавки, — но только я подобных шутков не терплю, и с меня довольно. Зови не зови, шепчи не шепчи, — шабаш, больше не пойду... Не мальчишки мы им достались, чтобы рядить нас в дураки... Никаких медалей не возьму за такую насмешку. Я человек смирный и до драки не охочий. Но ежели ты поднял меня в задор, будто изменники, то, стало быть, бить — так бить. А ежели бить не дозволено и даже околоточный самого меня в морду тычет, то ясно из того следует, что никаких изменников нету, а только один их полицейский камуфлет к получению новогодней награды. Слава Богу, еще, что так — пустом — разошлись и никакого греха на душу не взяли. Но только я очненно зол. И теперича так духом своим воспламенился, что ежели бы соседи меня поддержали, то не скубентов, а вот макарок этих обманных я с удовольствием бы пошел колотить.

Студенты, с появлением полицейских хлынувшие обратно в университет, с любопытством смотрели на вытянувшийся вдоль решетки наряд с крыльца или из-под университетской арки. Полицейские молча и апатично смотрели на студентов сквозь решетку. «Gaudeamus» звучало раскатами.

По Моховой, как туча, двигалась казачья сотня.

XXXVI

Университет стоял на своем крепко.

Увещания к покорности и компромиссам кончились печально.

Ректора, полуживого от испуга старичка-филолога, освистали всем актовым залом. Он расплакался, раскашлялся и был уведен сеидами своими в недра казенной квартиры, где бдительная и верная супруга едва-едва отпоила его от переполоха жидким чаем.

Советской депутации, составленной из самых любимых и передовых профессоров, не свистали, но выслушали ее мрачно и холодно.

— Профессор, оставьте. Мы понимаем ваши добрые намерения и благодарим вас за любовь к нам... Мы вас тоже любим и уважаем... Но не надо! Вы не можете ни верить в то, что обещаете, ни уважать благоразумие, которое нам советуете! — горячо крикнул одному из ораторов этой депутации Борис Арсеньев, — и крик его был покрыт громом аплодисментов.

Приехал попечитель учебного округа — граф Капнист. В лице этого бюрократа, не связанного с просвещением решительно никакими узами, министерство впервые накладывало руку на вольнолюбивую московскую Alma mater как на силу подчиненную. Прежние попечители: спокойный и ленивый старый барин князь Ширинский-Шихматов и даже князь Н.П. Мещерский, прославленный своею глупостью, абсолютным невежеством вообще, а в особенности в классических красотах, которые он призван был насаждать, пролезший в попечители лакейским угодничеством Каткову, чей он был ставленник и эхо, — никогда не дерзали вмешиваться в университетские дела, иначе как совещательно, и в здании университета показывались также, не иначе как приглашенными гостями, по высокоторжественным академическим дням. Тесная профессорская коллегия «золотого века» московской Alma mater умела отстоять себя от бюрократических посягательств. Еще живо было предание шестидесятых годов, как кто-то из попечителей вздумал посетить экзамены на юридическом факультете и оказал честь непрошенного ассистентства знаменитому профессору римского права, полу-

легендарному Никите Крылову. Тот на неожиданный контроль этот взбесился внутренно, как Вельзевул, но не показал вида и встретил знатного гостя с таким низкопоклонным почетом, что аудитория, привычная к чудачествам старого «юса», помирала со смеха. А экзаменовать принялся в таком приблизительно духе:

— Здравствуйте... давно не видались... папенька ваш здоров?

— Слава Богу, Никита Иванович.

— И маменька здорова?

— Благодарю вас, тоже здорова, Никита Иванович.

Крылов с удовольствием нюхал табак и говорил:

— Вот и прекрасно, что оба здоровы. Кланяйтесь от меня вашим добрым родителям и скажите им, что Никита Крылов поставил вам пять.

Таким образом он в каких-нибудь десять минут обработал добрую половину курса.

Попечитель возмутился.

— Я не понимаю, Никита Иванович... Так нельзя... Вы их совершенно не спрашиваете...

Профессор, только того и ждавший, ощетинился, как еж.

— Мы с аудиторий, ваше превосходительство, друг друга знаем, нам друг друга спрашивать не о чем...

— Но все же — экзамен... Хоть несколько бы вопросов?..

— Ах, несколько вопросов? С удовольствием... Господин студент! господин студент! — позвал он последнего экзаменованного. — Пожалуйте-ка сюда... Вот его превосходительство желают задать вам несколько вопросов... О чем вам угодно спросить его, ваше превосходительство? Извольте спрашивать, ваше превосходительство!..

Его превосходительство сконфузилось, сознавая с похвальною скромностью, что курс наук, когда-то пройденный им в «Лошадиной академии», не слишком-то надежный ценз для экзаменатора по римскому праву.

— Я, собственно, желал бы, чтобы вы, Никита Иванович, его спросили...

— А я уже имел честь докладывать вашему превосходительству, что мне господина студента спрашивать не о чем... Но он весь — к услугам вашего превосходительства... Извольте спрашивать, ваше превосходительство!

Но его превосходительство, сконфуженное, перепуганное, разобиженное, вспотелое, красное, уже пустилось наутек и, выходя, имело удовольствие слышать, как за его спиной аудитория грохнула гомерическим смехом.

А Крылов набил нос табаком и гнусил с хладнокровием:

— Вот тоже есть русская сказка... а?.. Жили-были старик со старухой... а?.. И было у них три сына... а?.. Два сына умных, а третий — попечитель учебного округа.

И вот этакий-то «третий сын» изволил теперь явиться к студенчеству в качестве отца-командира, посланного «подтянуть Москву», как Апухтин подтягивал Варшаву, а Сергиевский — Вильну. Ограниченный, самодовольный, весь — воплощенное «себе на уме», отборный перл бюрократического мещанства, Капнист показался студентам каким-то Чичиковым, приехавшим покупать мертвые души. Даже и щеки у него были такие, будто он их моет особым мылом, сохранившимся от службы в таможне.

— Здравствуйте, господа.

Ему не ответили. Он заговорил — при всем своем апломбе — с большою натугою: нелегкое дело чувствовать против себя немую вражду глядящих на тебя в упор восьмисот человек... Сходка слушала довольно спокойно, покуда речь Капниста не выяснила, что министерство не хочет знать никаких петиций, замкнуло уши для всех академических требований и приказывает студентам безусловную покорность и немедленное возвращение к занятиям, без рассуждений — под страхом в противном случае самых суровых мер и наказаний. В громадном актовом зале было тихо, как в склепе погребальном... И вдруг — в паузе переводящего дух Кап-

ниста — ясно, спокойно и отчетливо прозвучало, вспыхнув, как далекая молния, одно лишь короткое слово Кузовкина:

— Мерзавцы.

И тучу прорвало. Со всех сторон поднялся гам, грохот и топот. Во всех углах залились трелями протяжные и пронзительные свистки.

Капнист багровел, бледнел, — у него не было ни голоса, ни умения укротить бурю.

— Господа, я пришел сюда говорить с благоразумными людьми. Но если взамен того встречаю лишь нестерпимое упорство и готовность к бунту...

— Ого?!

— Вон!

— Долой!

— Министерский холоп!

— Полицейский от просвещения!

Присутствующие профессора беспомощно метались от попечителя к студентам, от студентов к попечителю, — толклись, как потерявшие упругость и спасительную силу сопротивления испорченные буфера. Их положение было тяжкое и жалкое. Студенчеству они вдруг стали как-то совсем не нужны, и оно равнодушно отстраняло их с своей дороги, словно некстати поставленную мебель. А в глазах и тоне рассвирепевшего и струсившего Капниста они читали совершенно определенную министерскую угрозу: это все ваше дело, ваша закваска и подготовка, голубчики! это — все вы!

— Господа, мне остается лишь сожалеть, что я не обладаю достаточным даром красноречия, чтобы вас убедить...

— Помолитесь в своей Козельщине: авось прибавится! — крикнул Борис Арсеньев.

Залп хохота и торжествующих свистков!.. Этого намека Капнист уже совершенно не вынес. «Козельщина» с будто бы чудотворною иконою Божьей Матери, которую захудалые графы Капнисты заставили «явиться», мечтая попра-

вить за ее счет свои расстроенные дела, была в то время новейшею притчею во языцех. Попечитель быстро повернул к выходу.

— Мне здесь делать больше нечего, — раздраженно бросил он на ходу сопровождавшим его безмолвным членам совета. — Слишком ясно, что среди студентов свила гнездо злонамеренная агитация, и правительству известно, чья в том вина...

— Долой! Тю!

— В Козельщину!..

— «Помолись, милый друг, за меня!»

— Теперь пеняйте на себя. Ведомство не может оставить на себе ответственность. Я умываю руки. С этой минуты вопрос о беспорядках — достояние администрации. И не наша вина, если в университет будут введены полиция и войска. Весьма прискорбно, весьма прискорбно!

Один из профессоров не вытерпел: министерская комедия велась слишком нагло.

— Ваше сиятельство, нам несколько странно, что вы говорите о передаче дела в руки администрации и о призыве войск только в будущем времени... Университет уже третий день окружен полицейским нарядом, а — что касается войск...

Он показал в окно на казачью сотню, расположенную во дворе университета.

Капнист ничего не возразил, только смерил дерзкого профессора ненавистным взглядом — и уехал.

Впоследствии он открыто признавался, что никак не ожидал — выбраться из университета непобитым... Наоборот, студенчество торжествовало и гордилось своею выдержкою — именно, что победитель отбыл, как прибыл, «девственным» — без пощечины...

Спасительный страх студенческой пощечины (они тогда были-таки в моде) вдруг легендарно как-то повис в воздухе

и создал довольно водевильное недоразумение между осажденным студенчеством и осаждающим начальством.

Угроза Капниста, что войска войдут в университет, была фальшивая. На эту меру никогда не согласился бы ни генерал-губернатор В.А. Долгоруков, ни командующий войсками московского округа Бреверн-Делагарди, — оба большие баре, связанные с Москвою множеством дружественных нитей и совсем не расположенные компрометировать себя в университетской истории, потерять в городе давние симпатии и кредит... увы! не только нравственный: князь В.А. Долгоруков был у москвичей в долгу как в шелку.

С другой стороны, студенты совсем не затевали активного сопротивления. О револьверах и тому подобных эффектах кричало несколько подозрительных господ, вроде красавца Нисшественского, но товарищество быстро их уняло. С отъездом попечителя все поняли, что теперь, собственно говоря, пьеса кончена и наступает развязка: администрации предстоит очистить университет огульным арестом упорствующей сходки, а студенчеству — огульно сдаться.

Вот тут-то и начался водевиль: среди высшей администрации московской не находилось охотников объявить студентам их арест. Все были почему-то уверены, что на долю такого объявителя студенчеством подготовлена коллективная «плюха», и решительно никто из властей предержащих не стремился пожертвовать для искоренения крамолы и спасения отечества неприкосновенностью своих ланит. Администратор XX века из «бывых прохвостов» подобными перспективами вряд ли смутился бы, но в восьмидесятых годах Москвою управляли еще бояре — люди хороших дворянских фамилий и с дворянскими points d'hon-neur *. Князь В.А. Долгоруков, губернатор Перфильев, с которого, говорят, Лев Толстой написал Стиву Облонского, губернатор

* Чувствами чести (*фр.*).

Красовский, обер-полицеймейстер Козлов, полицеймейстер Огарев, даже жандарм Слезкин были еще птенцы дворянских гнезд, люди из общества, — каковы ни есть, но все-таки воспитанники и выученники эпохи Александра II, — следовательно, не без интеллигентных привычек и традиций. Все эти люди доживали у власти свое последнее время, обреченные отстранению именно за «слабость» и «популярничанье», то есть за неумение или нежелание угодить Петербургу истинным бюрократическим зверонравием, во всеоружии бичей и скорпионов. На смену им шли уже Держиморды наголо: выскочки и карьеристы из непомнящих родства, выдрессированные исключительно на резвость и злобность по петербургскому манию, — фрукты гатчинских садов и оранжерей села Ильинского. Особенно ненавидели в восьмидесятных петербургских сферах В.А. Долгорукова. Придворные льстецы и шуты говорили о нем с язвительностью как о московском «удельном князе» и только что не обвиняли его в намерениях «отложиться». Популярность этого сановника, хотя он далеко не блистал талантами и звезд с неба не хватал, — была очень велика. И купил он ее вовсе не либерализмом каким-либо, — его в Долгорукове, старом барине-крепостнике, дряхлом селадоне во вкусе ancien régime *, — понятное дело, — даже тени быть не могло! — но просто личным джентльменством: постоянною приветливостью, человечностью в обращении со всеми и природною доброжелательностью характера, органически не способного к «административному восторгу» и зверству для зверства. Кажется, Долгоруков был и остается единственным русским генерал-губернатором, прославленным далеко за пределами своего генерал-губернаторства, испытавшим поистине всероссийскую популярность. Когда после отставки своей Долгоруков предпринял путешествие по России, его

* Старого (отжившего) порядка (*фр.*).

всюду принимали, в самом деле, чуть не с царскими почестями, и поездку — телеграммою из Гатчины — велено было прекратить. Самую отставку свою Долгоруков получил в отсутствие из Москвы, с приказом в нее уже не возвращаться: настолько тверда была петербургская уверенность, что устранить из Москвы этого патриархального «хозяина», добродушно управлявшего ею чуть не тридцать лет, невозможно без манифестаций, сочувственных ему и враждебных его преемнику. Опала и ревность распространились со временем даже на мертвое тело Долгорукова: гроб его, вопреки завещанию, не нашел могилы в Москве и был перевезен в родовое имение почти тайно, — все из опасения манифестаций, способных бурным чествованием порядочного прошлого прочитать выразительную мораль скверному настоящему.

Итак, начальство ждало с нетерпением, чтобы студенчество прислало парламентеров, что сдается.

Студенчество ждало с терпением, чтобы начальство явилось взять его в плен.

У студентов было весело и бодро: большой и живой юношеский подъем. Без конца лились речи и пение. Ждали всего скверного, но смотрели в глаза будущему с гордым вызовом — без страха и боязни... На людях и смерть красна, а людей было много. И все молодые — с целою жизнью впереди.

Обер-полицеймейстер А.А. Козлов уже три раза налетал на лихой своей парочке в русской упряжке — наведываться, как идут дела. И теперь он ходил в университетском дворе злой-презлой, перекоряясь с полицеймейстером Огаревым — старым и недалеким бонвиваном, который сам себя рекомендовал:

— Человек с большими усами и с малыми способностями!

Фразу эту Островский в свое время записал у Огарева для Паратова в «Бесприданнице». Усы, в самом деле, были настолько великолепно густы и длинны, что Огарев мог за-

вязывать их узлом на затылке. Взяточник был жесточайший, но — добродушно-патриархального типа, и запанибрата со всем городом, — вроде гоголевского полицеймейстера, о котором обираемые им купцы, однако, хором твердили:

— Алексей Иванович — хороший человек.

Николай Ильич был тоже «хороший человек». Настолько, что даже на студенческих балах самым добросовестным образом напивался в «мертвецкой» и подтягивал «Gaudeamus»... Всякую политику искреннейше ненавидел, ничего в ней не понимал и не смыслил, а о студентах выражался:

— Для меня после гусара студент — первый человек.

Ввиду всех этих прецедентов идти под студенческую «плюху» Огареву казалось особенно кисло. И Николай Ильич любезно предоставлял честь ареста Александру Александровичу, а Александр Александрович старался начальственно спихнуть ее на Николая Ильича.

В конце концов взялся выручить начальство из затруднения и отправился к студентам участковый пристав Замайский, тоже, в своем роде, московская знаменитость: блестящий сыщик по уголовным делам, игрок, шулер, вечно подсудимый за взяточничество и разные преступления по должности, но вечно же спасаемый полицией от суда и верной Сибири за сыскной свой талант. Замайскому пощечин опасаться было нечего: на бурном поприще житейском он принял их на пухлые ланиты свои — несть числа и о чести был одного мнения с Фальстафом.

Этот веселый и жуликоватый циник явился к сходке — шут-шутом и тотчас же возбудил улыбки. В актовый зал он не вошел, — остался в курилке, с расчетом, чтобы не раздражить студентов зрелищем полицейского мундира.

— Дозвольте папиросочки воскурить? — интимно обратился он к Кузовкину, нюхом почуяв в нем «шишку». — Честь имею рекомендоваться: пристав Замайский... Мерси... Что ж,

господа? Побунтовали, — и будет... Пришел забирать вас в полон!.. Ха-ха-ха... Вас — вон сколько, а я один... Ха-ха-ха. Пойдемте, что ли? а?

— А если не пойдем? — засмеялся Кузовкин.

— Ну вот, не пойдем? Чего вам здесь ждать-то? Всем давно ко щам пора... Эх, господа! Давайте-ка, кончим это дело по любви до сумерек? А? Надо же и нас, полицию, пожалеть: издрогли, попусту во двор стоя...

— Сходка еще не вынесла своего постановления.

— Да, — что постановление? Постановление теперь одно, — вам честью выходить, а нам вас честью забирать. Право, сдавайтесь-ка, господа, — что казаками-то университетский пейзаж портить? Не охотник я, грешный человек, до этой кавалерии...

Рыжеусый полицейский комик курил и балагурил минут десять, шныряя рысьими глазами по группам молодежи, запоминая физиономию и одежду. Козлов на морозе выходил из себя от нетерпения, что он там мешкает. Наконец Замайский показался, сияющий.

— Сдаются. Сейчас выходят. Однако на условии...

— Никаких условий! — перебил Козлов. — Мне предписано, чтобы сдача была безусловная.

— Осмелюсь доложить вашему превосходительству: только на условии, что против них не будет употреблено физического насилия.

— А, это другое дело, — сказал Козлов голосом успокоенным и уважительным, — это — конечно... вернитесь к ним, скажите, что могут быть совершенно спокойны: драться я не позволю... никому!.. Не варвары!

Длинною черною змеею потянулось шествие арестованных студентов, знаменитое в московских летописях «хождение на Бутырки». Густо оцепленное казаками, оно медленно выкатывалось с университетского двора, чтобы следовать в Бутырскую тюрьму. Распоряжался тот же рыжеусый За-

майский. Молодежь шагала бодро, весело, с гордо поднятыми головами, с лихими песнями. «Народная Немезида», обжегшись на давнишнем приключении с каретою, разочарованно бездействовала и безмолствовала. Искусственно возбужденная и обманутая провокацией, страсть погасла. Охотный ряд смотрел на шествие пленных студентов с полным равнодушием, как на пустое место: нас-де не касается! По панелям бежали, маша фуражками, студенты, не попавшие на сходку и потому уцелевшие от ареста. Некоторые требовали, чтобы забрали и их.

— Сделайте ваше одолжение, — отвечал любезный пристав, — в тюрьме много места: достанет для всех.

Арестованные встречали присоединяющихся громом аплодисментов, радостными криками, пением «Gaudeamus». Когда миновали квартиру ректора, загудели и завыли свистки. Шествие то и дело нагоняли и обгоняли санки с встревоженными родителями и родными арестованных. Бледнолицые, они вставали в санках на ноги, искали испуганными глазами своих близких, кричали, махали руками и ссорились с конвойными, что не пускают ближе и не дают говорить. На углу Тверской Борис Арсеньев увидал издали черную фигуру брата Антона и послал ему рукою поцелуй. Антон сейчас же пришагал длинными ногами своими к казацкой цепи и пошел рядом, переговариваясь с братом. Он был оживлен, заинтересован, в духе...

— Господин Арсеньев, виноват-с, но этого никак нельзя, — что вы изволите говорить с арестантом... — поспешил к нему Замайский, козыряя с заметною почтительностью.

— Хорошо... Не буду, — вяло отстранился Антон. — Почему вы меня знаете?

— Помилуйте, Антон Валерьянович, вас ли не знать? Такая, можно сказать, звезда общества!

Антон усмехнулся.

— Протокол о каком-нибудь моем скандале составляли, должно быть, когда-нибудь?

Замайский подтвердил с удовольствием:

— И это было... Так точно. Как же-с! Не без того... Годов шесть тому назад — у Матильды Карловны на Цветном бульваре большой дебош учинили... Хе-хе-хе! Люди молодые... Любите веселенько пожить!.. И опять же Нимфодоры Артемьевны Балабоневской домик — в моем участке-с. Превосходнейшая оне дама-с, Нимфодора Артемьевна, только, извините за выражение, насчет санитарии с дезинфекцией скупятся и непокорны. Каждую весну приходится на них акт составлять.

Антон, сразу хмурый, отвернулся к брату.

— Ты, Боря, не робей, — сказал он дружелюбно. — Долго держать не станут: выпустят... Быть может, сегодня же или завтра... ну послезавтра.

— Да я и не робею, — улыбнулся Борис. — Я, брат, в таком раже, что — хоть под турку!

— Папаша уже ринулся во все прибежища... Вероятно, преуспеет... Выскочишь из огня без особенно лютых обжогов...

— Что товарищам, то и мне, — сурово сказал Борис. — Милости я не приму. Напрасно хлопочет...

— Ну, брат, этого нам с тобою ему не внушить; его дело родительское.

— Господин Арсеньев! — взмолился Замайский.

— Ухожу, господин пристав... ухожу... не плачьте... До свидания, Борис!

— Прощай, Антон. Скажи папаше... Соне... чтобы не очень беспокоились... и сердились... А как ты думаешь, Антон, из университета-то все-таки попрут?

Антон сделал неопределенную гримасу.

— А на кой он тебе черт?.. Милый друг, учителя истории по Иловайскому из тебя все равно не выйдет...

Он скрылся за углом.

Бутырки от университета далеко, верст пять по тяжелой дороге. Студенты скоро притомились месить ногами грязный снег, шествие замедлилось. Песни еще звучали, но уже начались жалобы на усталость. Кое-кто попробовал улизнуть... Двоим удалось. Замайский сделал конвойному офицеру замечание, офицер надулся и обругал команду, команда озлилась и начала смотреть на студентов зверем. Юрист Работников совсем было приноровился юркнуть из шествия — под лошадиною мордою — в проходной двор на Тверской-Ямской. Но ближайший казак с размаху хватил его нагайкою. Удар пришелся по плечу. Работников, мужчина здоровый и сильный, однако зашатался как пьяный. Нагайка разрезала бывшее на нем драповое пальто, как ножом. Впечатление получилось отвратительное. Работников, темно-красный от крови, прихлынувшей к лицу, с бешеною пляскою искр пред незрячими глазами качался, ошеломленный, близкий к обмороку или даже к апоплексическому удару. Раздалось несколько негодующих криков, но в них звучала боязнь. В шествии развивалась паника. А конвой посмеивался.

Тогда Борис Арсеньев, не говоря ни слова, спокойно сел среди улицы на мостовую. Следующий за ним Кузовкин споткнулся на него, понял и — тоже сел. Пример заразителен. Начали садиться и другие.

— Молодчина! Браво, Арсеньев!

Улица покрылась сидящими фигурами. Конвой недоумевал.

— Господа... господа... — бросился к студентам пристав.

Борис возвысил голос:

— Господин пристав, вы нарушили условия сдачи. Нам гарантирована физическая неприкосновенность. Никто из нас шага не сделает дальше прежде, чем казак, ударивший нашего товарища, не будет удален из конвоя, и конвойный офицер должен извиниться пред нами.

Кругом уже собиралась толпа. Узнали, в чем дело, и сочувствовали студентам. Положение пристава было щекотливое. При других условиях он не поцеремонился бы пустить в ход нагайки, но ему была дана инструкция — довести студентов до тюрьмы во что бы то ни стало мирно. Нечего делать — и офицеру пришлось извиниться, и казака убрали. Тогда студенты тоже прекратили «сидячую обструкцию», и шествие продолжалось. Работникова Замайский даже повез как пострадавшего в собственных санях.

Так как шпионами было донесено в охранку, что в университете скрываются политические агитаторы, которые-де и вызывали студенческую смуту, то по выводе арестованных из университетского здания полиция произвела в нем обыск всех жилых помещений. Обыск не дал никаких результатов. Да и скоро увяла его энергия, потому что неслыханное полицейское вторжение в неприкосновенный университетский городок встретило со стороны свободолюбивых аборигенов жестокие отпоры. Профессор Морковников — химик, человек не только не либеральный, но за несколько лет пред тем в «зерновскую историю» освистанный и бойкотированный студенчеством как крутой недоброжелательный экзаменатор и систематически «правый» в университетском совете, — встретил полицию на пороге своей лаборатории решительным заявлением, что никого чужого не впустит, а от вторжения готов защищаться хоть вооруженною силою. Он так кричал, бранился, топал ногами, что сыскная комиссия отступила с поспешными, самыми униженными извинениями.

— Пьян он, что ли? — недоумевал сконфуженный чиновник охранки.

Но жандарм возразил с задумчивою наставительностью:

— Не пьян, а — человек с характером и права свои понимает.

Рахиль Лангзаммер отсиделась от обыска в одной из мелких квартирок служительского подвала под университет-

скою аркою, спрятанная в бельевом шкафу. А Федос Бурст облек атлетические члены свои в мундир университетского сторожа и в таком воинственном виде даже удостоился сопровождать обыск, или, — как, стараясь смягчить впечатление, выражалась полиция, — «осмотр» анатомического театра.

Студенты, оставшиеся на свободе, волновались страшно. Буря перекинулась в Техническое училище, в Петровскую академию. Закрытый университет осаждался студентами с утра до вечера. В Долгоруковском переулке были стычки с казаками и полицией. Власти распространяли слух, будто на крыше университета изловлено несколько таинственных злоумышленников. Москва недоумевала и не верила:

— Какая же нелегкая — и зачем — занесла их на крышу?

«Московские ведомости» неистовствовали, призывая правительственные громы на университет и интеллигенцию, обвиняя профессоров в государственной измене, а местные власти — в слабости, трусости, либеральничающем попустительстве. Доносы сыпались нагло, звучали властно. Всего противнее было, что выходили эти гадости в свет по силе пресловутой катковской привилегии, под университетскою фирмою, из университетской типографии. Молодежь рассвирепела. Все высшие учебные заведения слились в брожении. Общество всколыхнулось и вторило им негодованием с верхушек до низов.

Вечером Страстной бульвар наполнился учащейся молодежью. Сгруппировались и — с пением и криками — двинулись к типографии Каткова. Завыли: «Pereat!» * — даже не кошачьим — волчьим концертом. В редакции «Московских ведомостей» зазвенели выбитые стекла. Говорят, будто намерение демонстрантов было — ворваться в реакционную типографию и смешать шрифты. Но полиция была уже пре-

* «Да сгинет!» (*лат.*)

дупреждена шпионами, и молодежь поджидали опытные ловцы. Со двора типографии показался и развернул фронт свой полицейский наряд, в тылу демонстрации, на бульваре, выдвинулся другой, — они соединились, и молодежь очутилась в железном кольце, которое, сдвигаясь, требовало сдачи. Сдаваться не было расчета: среди окруженных демонстрантов имелось несколько сильно компрометированных политических. Бурст, сам-четверт с товарищами-техниками, прорвал было кольцо, но немедленно был охвачен другим. Городовые не насильничали, но из очарованного круга своего не выпускали никого. Молодежь тянула время, бросаясь массою по бульвару — то к монастырю, то от монастыря, в расчете расстроить полицейскую цепь. Но городовые следовали за этими порывистыми передвижениями неуклонно, точно приклеенные. Настроение мрачнело, никло. А полиция громко грозила, что — если не сдадутся миром, то на демонстрацию будет брошена кулачная расправа обозленных катковских рабочих.

И вдруг — в темноте от площади показался кто-то бегущий, маленький, прыткий... Он спотыкался, махал шапкою и вопил пронзительным, высоким голосом, полным звонов волнения и восторга:

— Братцы, подождите!.. Товарищи, не сдавайтесь!.. Помощь!.. Наши идут на выручку!.. не сдавайтесь!

И в ту же минуту на площади, светя фонарями, остановились два вагона конки, и с них молчаливым роем посыпались темные фигуры... то подоспели из Петровско-Разумовского запоздавшие студенты земледельческой академии, — самые здоровенные физически и самые отчаянные революционно ребята среди московской учащейся молодежи! Молча перебежали они площадь и с ревом бросились в тыл городовым. Пошли работать их тяжелые сучковатые дубины... Били, что называется, смертным боем... Полицию охватила паника. Вереща жалобными свистками, городовые бежали и пряга-

лись кто куда горазд... Обер-полицеймейстер, мгновенно осведомленный о происшествии, поспешил послать подкрепление и сам бросился на поле внезапной битвы. Но он застал бульвар уже тихим и спокойным... только охало несколько помятых городовых... Петровцы и освобожденная ими молодежь уже успели безопасно рассеяться по Тверской, Дмитровке, Петровке.

Увы! Кажется, эта минутная и неожиданная боевая победа была единственною, одержанною в «студенческой революции»!

СТАРОЕ СТАРИТСЯ — МОЛОДОЕ ГНИЕТ

XXXVII

Старая яблоня отцвела, яблоки на ней вызрели, сняты с ветки и пошли по людским рукам, — старая яблоня, свершив свое назначение, роняет листья, засыпает, умирает — до новой весны... Да! Вот в том-то и штука, что — до новой весны! В том-то и счастье старой яблони пред старыми людьми: для них новой весны не бывает!

Проводив Евлалию за границу, Маргарита Георгиевна Ратомская заскучала ужасно, и в тоске ее именно сказывалось то унылое, тайное сознание своей дальнейшей ненужности на свете, которое инстинктивно присуще почти всем старым людям, покончившим свои обязанности к семье, то есть выделившим из своей семьи новые семьи.

— Что же? Дочери устроены, а сын — мужчина! — вздыхала она, словно бы уж и недовольна была, что так скоро устроились дочери и устройством своим отставили ее от жизни. — Сын — мужчина! Уже совершеннолетний даже... Свой ум имеет, своим умом должен жить... Дочерей я пони-

мала и держала их в руках до тех пор, покуда мужьям на руки не сдала, а в Володину жизнь мешаться — сохрани меня Бог! Как минуло ему восемнадцать лет, так я и руки умыла: немаленький теперь, батюшка, — покуда ходил на помочах, вела тебя своим бабьим разумом, а мужского наживай сам... Состояние у него прекрасное, о службах, покуда в университете, рано еще думать. Что хочет, то из себя и сделает: вольный казак. Я ему не нужна.

Постоянный и верный собеседник ее, Валерьян Никитич Арсеньев, сочувственно вздыхал, тер лоб и виски ладонями, кивал головою.

— Э, Маргарита Георгиевна! что об этом задумываться? Избалованы вы, сударыня моя! Грустите, что троих детей воспитали, и когда подошел возраст, то одному из них чувствуете себя ненужною. Вы в мою шкуру влезьте: я троих воспитывал, ни одного не воспитал и для всех трех сознаю себя ненужным...

— Ну как, батюшка? — умягчала его жалостливая Ратомская.

Но старик упрямо качал лысиною.

— Для всех! И для Софьи-дуры, и для Антона сумасшедшего, и для Борьки, который несчастнее, чем сумасшедший, потому что он фанатик...

— Ан, вон и наврал на себя, — с торжеством уличала Маргарита Георгиевна — говорите, никому не нужны, а если бы не вы, где бы теперь Борису быть? Спас сына, батюшка, — из пещеры львиной спас!

— Ну где там спас! Только и выкланял, чтобы из Москвы не выслали, оставили нам его, дурака... А университет — тю-тю! Исключен навсегда — без права поступления в какое-либо высшее учебное заведение.

— Все-таки спасли: мог и в Сибирь улететь...

Валерьян Никитич насупил ужасные морщины со лба на переносицу и возразил мрачным басом:

— Да надо ли спасать-то было?

Старуха даже обиделась.

— Что это вы, право, Валерьян Никитич? Такие неожиданные слова произносите, что слышать досадно... Сам всю жизнь, думаю, по детям, как пеликан какой, болеет, а говорите, будто им первый враг.

— А что в моей боли, если из нее никогда не выходило для них никакой пользы?

— Болеете, значит, любите.

Он задумчиво смотрел на потолок и бормотал.

— Может, значит, а может, и не значит... Может, люблю, а может, и не люблю... Может, вся эта боль — насильственная: только от сознания неисполненного долга и стыда людей?

— Ну, батюшка...

— А насчет Бориса...

Он взглянул на старуху глазами, полными дикого вдохновения, на какое иногда бывал способен.

— Маргарита Георгиевна! Надолго ли? А если не надолго, то надо ли? Мотылек летит на свечу и сгорает на ней... Жалостливая рука отбрасывает его от пламени, стряхивая с крыльев пыльцу, без которой мотылек и безобразен, и жить не может... Разве это называется — спасти мотылька? Где-нибудь впотьмах он корчится изуродованным, обожженным телом, страдает, проклинает и весь горит одним инстинктом, если только крылья поднимут, опять лететь на роковую свечу. И так — раз за разом, десятки, сотни раз, пока не погибнет... Не спаси я Бориса — погиб бы сразу, легко, здоровый, восторженный, счастливый своей гибелью... ну а после нескольких спасений, придет к гибели измученным калекою... только и всего! только и всего! Скорый и блестящий конец разменяется на долгую и тягучую пытку... Знаете, как англичанин жалея отрубить своему догу хвост одним ударом, резал его еженедельно по кусочку...

— Да как же быть-то иначе? что же делать-то, отец родной?

Арсеньев только губы сложил трубочкою и руками развел.

— Вот-с!

— Я недавно, — в покаянном порыве заговорил он после недолгого молчания, — с Антоном моим разоткровенничался... Горе жизни моей объясняю, как я растерял их всех, потому что воспитать не умел... А он, — ну вы знаете его, Антона... Он улыбнулся этак на меня и говорит: «Есть о чем горевать! Разве вы исключение? Утешьтесь, почтенный родитель: во всемирной истории только один педагог воспитывал детей по правильной системе, чтобы делать их счастливыми...» И был это по его, Антона, просвещенному мнению, — Ирод, царь Иудейский, истребивший сорок тысяч младенцев в Вифлееме...

— Я бы этого вашего Антона... — с негодованием заговорила Маргарита Георгиевна, но Валерьян Никитич не дал ей излиться в восклицаниях, поспешно продолжая свои размышления и свой рассказ.

— Он шутит, он всегда шутит, и от шуток его всегда пахнет тленом... Я спрашиваю у него совета, как удержать Бориса, чтобы мальчик не губил себя, не лез в политику. Отвечает: «Самое лучшее и простое средство — отравить его синильною кислотою...» Я, конечно, понимаю, что он хочет сказать: он Бориса любит по-своему, да, наконец, как ни плох Антон, а все-таки не Каин же он, братоубийца какой-то... Я понимаю, что он хочет сказать, но... этот тон... эта беспощадная резкость и прямолинейность...

— Просто сердца нет! — гневно перебила Маргарита Георгиевна.

Арсеньев опять затряс унылою головою.

— Не разберу... Не то — вы правы: нет у них сердца, не то — наоборот: вместо одного — два сердца каждому отпущено, и сердце на сердце войною идет...

Ратомская участливо рассматривала его морщины и седые волосы.

— А и постарели же вы, голубчик, за последнее время, — сказала она, — не прошла вам даром Борисова история, не прошла...

Он отмахнулся с досадою.

— Э, матушка Маргарита Георгиевна, у вас, слава Богу, никаких историй нет, а вы думаете, вы помолодели?

— Дурно себя чувствую: мигрени...

— Я еще, как только вы вернулись из Звенигородского монастыря, обратил внимание: вот тебе раз, — поехала наша Маргарита Георгиевна провожать дочь как grande dame * во всех статьях, а назад приехала старушкой.

— Ну уж и старушкою! — улыбнулась Ратомская, — уменьшительные-то мне словно бы и не к лицу... Если, даст Бог, до лета доживу, собираюсь в Мариенбад проехать, а то нехорошо.

— Бренное тело одолевает?

— Да... вот мигрени эти... и потом, знаете, часто как-то свет в глазах тмится... А то еще бывает: иду я, и вдруг мне начинает казаться, что вот весь пол покатый и стены дрожат... вот — ступлю и либо упаду, либо провалюсь...

— Ого!

— Нехорошо?

Валерьян Никитич подмигнул с странным удовольствием.

— Что же хорошего? Кондрашкою пахнет...

Маргарита Георгиевна с сердцем отвернулась от него.

— Ну, батюшка: видно, яблочко от яблоньки недалеко падает! Ты тоже успокаивать мастер, — не лучше Антона своего...

Арсеньев значительно вглядывался в нее и говорил:

---

* Знатная дама (*фр.*).

— Пуще всего на свете опасайтесь сердиться и волноваться! Нервные возбуждения вам — смертельный яд.

— Да, уж это, конечно, так, и все доктора то же говорят, и сама я знаю. Не то чтобы серьезное какое раздражение, но просто — стоит мне с Алисою Ивановною поспорить, и потом от головной боли хоть на крик кричи, и целый день перед глазами круги и пятна эти...

— Берегитесь!

— Ах да не каркай, батюшка!

— Скоро и спорить-то станет не с кем, — продолжала она, помолчав, — уезжает моя Алиса Ивановна, покидает меня... чай, слышали?

— Да... удивительный народ эти француженки! Я почитал ее совсем обрусевшею...

— А теперь — как безумная сделалась, так вся и горит: «В Париж, в Париж... я старая, я скоро умру, — в Париж!..» Убеждала, просила, молила ее... Помилуйте, Валерьян Никитич! Ведь жаль же старуху, помимо всего прочего: Фавары эти, ее родные — которые померли, которые повыехали в иные страны, которые совсем чужие, новое поколение... Очутится в Париже своем одна как перст... хуже, чем на чужой стороне... это под семьдесят-то лет, с больными-то руками, ногами...

Маргарита Георгиевна смахнула платком выступившие слезы.

— И ничего слышать не хочет... «В Париж! в Париж!.. О, я отдала всю жизнь чужой стране, пусть хоть mes cendres успокоится dans les sables de ma patrie...» * Вот и извольте на нее радоваться! Я ей дело говорю, а она мне «сандр» да «сабль»... ** и всю жизнь перевертывает! Разве так можно?

---

* Мой прах успокоится в песках отчизны... (*фр.*)

** «Прах»... «песок»... (*фр.*)

Валерьян Никитич смотрел значительно и бормотал:

— Родные липы... родные липы... а у них, у детей, нет родных лип! Горе, горе тому, у кого нет родных лип. А мы продавали на сруб их, наши родные липы... Горе, горе нам, продавшим на сруб наши родные липы! Это мы не липы продали, — мы продали детей... да-да, детей... горе нам! горе!

— Уедет, а я останусь одна... да, одна!.. — уже плакала старуха.

Валерьян Никитич посмотрел на нее, как очнувшийся от сна или обморока, и сказал отрывисто:

— Вам скучать вредно... не годится... развлекайтесь.

Ратомская осушила глаза.

— Развлекайтесь!.. Легко сказать, батюшка!.. Что мне в танцклассы, что ли, прикажете, ходить?

— Ну уж и в танцклассы!

— Да если не весело, нигде не весело? Дом опустел, а в чужих людях мне нигде не весело...

— К Ольге чаще ездите, к Каролеевой...

— Ну уж, что старухе молодым своею старостью свет застить! У меня деликатность чувств есть: разве я не понимаю, что я старомодная там, лишняя, мешаю... Да, признаться...

Она столь выразительно покрутила носом, что Арсеньев захохотал.

— Га, га, га... я понимаю вас... га, га, га... да, это так! Вы там ни к чему, мы ни к чему...

— Тон этого нового шика ихнего какой-то странный. Не то цыганский табор, не то... как это — когда мы были молоды — этот писал... Иван Чернокнижников, что ли? Или другой?

Арсеньев с удовольствием тер ладонями свои виски.

— Да-да, Иван Чернокнижников... Дружинин... Кафешантан, сиречь кофий пьющий... да-да!.. Дружинин... да!

— Мне нечем упрекнуть Ольгу и, вообще, я понимаю, что это — так, мода, новый тон... Но — претит... И не подхо-

жу я к нему: сама чувствую, что и стесняюсь, и стесняю других... А... скучно!

— Скучно! — радостно согласился Арсеньев.

— Скучно! — задумчиво повторила Маргарита Георгиевна.

— Польке-то в особенности, — поддразнил старик, — ух, общественный вы народ... не годитесь для одиночества!

Ратомская возразила — обычным двойственным тоном своим в таких случаях, и как будто польщенная, и как будто недовольная:

— Ну уж какая я полька!

Огромная квартира Ратомских теперь удручала Маргариту Георгиевну жестоко. После отъезда Евлалии она казалась меблированною пустынею. Один рояль Евлалии отправлен был в Петербург; другой, старинный, Вирта, теперь молчаливый по целым дням, Маргарита Георгиевна не могла видеть без слез. Володя редко открывал его, чтобы подобрать на слух какой-нибудь случайный мотив, пойманный в опере, и только раздражал своим неряшливым дилетантским бренчанием слух матери, избалованной художественною игрою Евлалии. Вообще сын с матерью — прежде дружные — теперь не совсем ладили. В свадебных хлопотах сперва об одной дочери, потом о другой, Маргарита Георгиевна отвыкла от сына, «запустила» его, что называется, и теперь, оставшись с ним вдвоем и осужденная разглядывать его изо дня в день, раздражалась, находя Володю не таким, как помнила его в восемнадцать лет, за три года назад.

— Наш Володя странный какой-то! — жаловалась она Ольге Каролеевой, — все молчит, скрытничает, сидит дома, в университет не ходит, лекций не слушает... Пишет довольно много, и печатают его вещи охотно — прелестные вещи! — но это меня не радует: взглянешь на него — неглуп, талантлив, но совсем опустился малый. А отчего? Ума не приложу. Начнешь расспрашивать — удивляется, даже

сердится: «Помилуйте, мама! с чего вы взяли, что мне нехорошо? Я всем доволен!» Хоть бы влюбился он, что ли! Я бы, право, была рада: в его годы несчастная страстишка — иногда дело полезное, — она волнует человека, встряхивает его, выравнивает. Но ведь он стал совсем бирюком каким-то: на женщин не глядит. Нравилась ему какая-то из Кристальцевых... может быть, обе — не знаю... и с теми почти раззнакомился: никогда у них не бывает. Прежде к нему ходили товарищи — теперь никого! И дом — как могила. И — что его интересует, желала бы я знать? Газет он не читает, политикой не занимается, любопытства — никогда ни к чему, словно для него вся жизнь погасла. Начнешь ему рассказывать что-нибудь новое, что сама слышала на стороне, — слушает из вежливости как будто и внимательно, а у самого лицо скучное-прескучное. Так и видишь: если бы не мать говорила, давно оборвал бы, — перестаньте, мол! какое мне дело?.. Ну и какое же удовольствие говорить?

Маргарита Георгиевна не была бы матерью, если бы от глаз ее ускользнула связь Володи с Агашею. Она давно угадала отношения молодых людей, но большого зла в них не видела. К подобным делам разные матери разно относятся. Есть матери — суровые и ревнивые пуританки, которых добрачная любовь сына приводит в негодование почти бешеное, но таких — меньшинство. Большинство — потатчицы. А из потатчиц иным мамашам безразличны шашни их любимцев-сынков на стороне, но кажется возмутительным скандалом даже самый невинный флирт у домашнего очага. Есть, наоборот, такие, что рады смотреть сквозь пальцы именно на домашние шалости, находя в них ту выгоду, что молодые люди больше сидят дома, не расшвыривают денег, не пропадают невесть где, не знаются с подозрительными женщинами, не заражаются дурными болезнями и не так легко женятся в ранних летах на первой встречной кокетливой девчонке. Маргарита Георгиевна — женщина польской кро-

ви, с юго-запада, где по бытовым пережиткам старой панщины на половые увлечения смотрят проще и любовные капризы панычей не налагают на них серьезных обязательств к обольщаемым Кристям и Горпинам, — была из добрых мамаш второго разряда. Она видела все — и притворялась слепою, под условием, чтобы все осталось шито-крыто, приличие не было нарушено, не получилось бы ни огласки, ни заметной компрометирующей фамильярности. В этих целях она, никогда не дав понять сыну, что знает о его связи с горничной, считала полезным время от времени смущать Володю моральными беседами «вообще» — неожиданными намеками и полными обиняков наставлениями о святости домашнего очага и — сколь гнусно ведут себя те несчастные молодые люди, которые его не чтят, срамят и делают предметом сплетен.

Володя принимал эти туманные речи к сведению, волновался, трусил и с ужасом сообщал Агаше:

— Знаешь? Мама догадывается...

Но та только насмешливо улыбалась: она-то Маргариту Георгиевну раскусила хорошо...

Не укрылись любовники и от тонкого французского нюха m-me Фавар. Но на представления старой гувернантки Маргарита Георгиевна беспечно отвечала:

— Э, мой друг! Что будешь делать с молодыми людьми? Теперь, когда в доме нет барышень, это не может создать скандала... раньше я не потерпела бы, но теперь... знаете ли, это все-таки лучше, чем что-либо другое! Ведь ему двадцать один год...

— Но, madame, вы не боитесь, что эта женщина может захватить молодого человека в свои сети? Подобное увлечение дурно отзовется на всей его будущности.

— Алиса, да что же может быть тут серьезного и — для будущности? Это — случай... и, если хотите, даже сравнительно счастливый случай. Она некрасива, безграмотна,

скромна, без претензий, почтительна и с тактом... В случае последствий таким дают на прощанье сто, двести, ну триста рублей, и они уходят с благодарностью на все четыре стороны.

M-me Фавар подумала, пожала плечами...

— A la fin des fins, c'est votre affaire! Soit! *

— Soit! — с улыбкой повторила Маргарита Георгиевна.

По задним дворам, людским и черным крыльцам приключения Агаши и Володи, конечно, уже давно трепались всеми досужими языками как любимая и пикантная тема. «Бабий клуб» арсеньевского двора был полон сплетнею. В одни темные сумерки в комнате Сони Арсеньевой Лидия Мутузова, лежа на старом Сонином диване, с обычным наслаждением впитывала в себя миазмы этого скандала... А они лились, лились, лились рекою, — по крайней мере, с шести языков, потому что, кроме Лидии, Сони и Варвары Постелькиной, были тут и красивая Даша с растоптанными губами, и толстая Глафира, и лицемерно-смиренная пожилая Феклуша, и безмолвная девчонка-подросток Груня, посыльная служка Марины Пантелеймовны... Было много хохота, злорадства, острот. Смеялись над Ратомскими, смеялись над Варварою Постелькиною.

— Не повезло Вареньке, — насмешливо гнусила Феклуша. — Бывает так, что у вас товар, у нас купец, а у нее все — как есть, наоборот: купец есть, а товар из рук уплыл... Ау, Варюха! Плачет небось теперь Тихон-то? Невесту живьем отняли...

— Невесту, невесту! — с азартом огрызалась Варвара. — Язык без костей, мелет про всех гостей... Кто ее в невесты-то жаловал? Вот уж никогда!.. Чтобы я ее брату прочила, — вот уж никогда!.. Да разрази меня гром!.. Этаких невест на Цветном бульваре искать — сколько хочешь...

---

* В конце концов, это ваше дело! Пусть будет так! (*фр.*)

— Ой, не ври, Гордевна! Сама за нею все дорожки исходила, — хотела с Тихоном окрутить... Ой, не хитри, Гордевна!

— Лопни глаза мои, ежели вру!.. Может, и было что промеж них, — этого я, девка, мое дело сторона, знать не могу, но, чтобы я... да что вы, очумели, девушки? Словно я эту Агафью первый год знаю, какова она есть! Этакую невесту брату желать? Да я лучше задавлю его своими руками...

Женщины хохотали, потому что, как ни крепилась Варвара, скрытая досада за разрушенный план выходила наружу и в словах, и в звуках голоса. А она, ободряя себя и пришпоривая, трещала звонко и люто:

— Нет, уж покорно вам благодарим: мы себе поищем, что почище и благороднее, — а ежели каким ошалелым господам пришлись по вкусу Тихоновы объедки, так и мы не в обиде: на здоровье!

Из темного угла, где предполагалась сидящею в креслах Соня Арсеньева, послышался короткий странный звук, будто она не то кашлянула, не то фыркнула.

Лидия Мутузова залепетала...

— Слушайте, Варя: а это все-таки правда, что она жила с вашим братом? И давно? долго? Ну полно вам! Что — между своими? Ну расскажите же, расскажите...

Она схватила руку Варвары и усадила девушку ближе к себе на диван.

— И почему мы сидим впотьмах? Друг друга не видим... Как глупо!.. Софья! Лампа около тебя, зажги поскорее...

В короткой паузе затем чиркнула по стене, оставив светлый след, серная спичка... и вдруг красный огонек, не переходя на свечку, упал, как маленькая молния, на пол, а по комнате зашумел никому до сих пор не знакомый женский голос, громкий, жесткий, властный, дрожащий бешеною злобою:

— Прежде всего, я тебе не Софья!

Женщины замерли, кто, где и как были, пораженные, оглушенные, пришибленные неожиданностью, точно на них

упала бомба, готовая взорваться. Лидия Мутузова, изумленная больше всех, привстала на диване.

— Сонька?! Это ты? Сонька?! Ты с ума сошла?

— Я запрещаю тебе говорить со мною в таком тоне!

— Соня?!

— Довольно, наконец: надоела! Не такая уж я дура, чтобы мною командовать, как прачкою!

И в темноте мимо Лидии Соня промчалась, как черное облако стремительной бури, и слышно было, как пошла она из комнаты через весь дом тяжелыми, спешными шагами, и хлопала вслед ей дверь за дверью, гневно ею затворяемые... Лампа, торопливо зажженная Варварою, озарила ряд лиц, любопытных, смущенных, испуганных... Лидия, больше всех сбитая с толку, и чувствовала себя, и выглядела глупее всех...

— Что с нею? Я ничего... Что она вздумала?.. Точно в первый раз?.. Я ничего... Вот глупо!.. — бормотала она, водя глазами по женщинам, ища объяснения и сочувствия.

Женщины, оправясь от первого удивления, ухмылялись и хихикали, втайне злорадно довольные, что «нарвалась» сама Лидия Юрьевна, — всегда первенствовавшая и повелевавшая в арсеньевском доме как некое всевластное божество...

Варвара испытывала искреннее недоумение.

— Я не знаю, что... — сказала она. — И впрямь, взбесилась, что ли? Впервые вижу такою... Никогда не бывало...

— Вы, Лидия Юрьевна, в самом деле, на нее уж очень... — со скромною язвительностью прогнусила Феклуша.

Лидия нахмурилась и покраснела.

— Вот глупости! Что мы — первый год разве друг друга знаем? Какие могут быть церемонии между нами?..

— Оно, конечно, подружки... да все-таки!..

Мутузова оглядела всех еще раз и инстинктом внезапно побежденной поняла, что все вдруг ни за что ни про что «перебежали» на сторону случайно вспыхнувшей новой силы,

и стали против нее, и подло радуются нравственной пощечине, которую дала ей Соня, — дала тоже ни за что ни про что, необъяснимо, потому что обидеть подругу Лидия, действительно, и в мыслях не имела. Многолетняя привычка — одной безусловно господствовать, другой беспрекословно покоряться, — так крепко вросла и пустила корни в их отношения, что дико, невероятно было чувствовать себя между собою иначе...

— Бог знает что... черт знает что... — и думала, и повторяла вслух Лидия.

Женщины молчали. Толстая Глафира под каким-то предлогом ушла. За нею с визгом, точно что забыла, бросилась догонять ее Грунька.

«Эка им не терпится: спешат разнести по-всему двору, как Соня меня "отделала"», — подумала Лидия и, кусая бледные губы и устроив насмешливое лицо, обратилась к Варваре голосом, сколько могла, спокойным и беспечным:

— Надо пойти, взглянуть, что эта бешеная там делает...

— Подите, — протяжно отвечала Варвара тоном странным — равнодушным и глумливым.

Когда Лидия вышла, она слышала, как Варвара что-то быстро сказала вслед ей, и женщины дружно захохотали — несомненно, на ее счет...

— Фу, как подло! Фу, как пошло!

Она нашла Соню в кабинете Валерьяна Никитича. Девушка стояла у окна, заслоняя амбразуру его своею широкою спиною, и плечи ее ходили тяжелым, гневным движением.

— Соня!

Девушка обернулась. Лицо ее с огромными сверкающими глазами, обезображенное красными пятнами, показалось Лидии новым, чуждым, — и знакомым, и незнакомым...

Быстрою мыслью мелькнуло впечатление: «Фу! Как, однако, она на Антона похожа!»

— Соня!

Покуда девушки смотрели одна на другую, пятна понемногу сбегали с лица Сони, глаза потеряли жесткий блеск, губы перестали дрожать, грудь — волноваться... Она быстро пошла навстречу Лидии, и та услыхала обычный мягкий и тихий голос подруги:

— Извини меня, пожалуйста, Лида: я чувствую себя ужасно скверно... Мне очень жаль, что я тебе так зло сказала... Я сама не знаю, как это случилось... и вообще не знаю, что делается со мною... Это, должно быть, от скуки... Ах, Лида! Мне так скучно, так несносно скучно...

Затем они и обнялись, и поцеловались, и поплакали вместе, и посмеялись над собою, и, когда возвратились в комнату Сони, то имели вид нежнейших приятельниц с вполне восстановленною и нерушимою дружбою. И не только имели вид, но и сознательно старались быть такими. Но было что-то, словно застряло между ними, от недавней сцены, отчего неглупая и чуткая Лидия то и дело ловила себя на мысли: «А эта дружба кончена... Мы уже не любим друг друга... эта дружба кончена!»

Почему кончена, она не знала, не понимала, не могла объяснить, но чувствовала, что кончена. И то же самое чувствовали все, кто их видел.

В тот же вечер, оставшись наедине, Соня сказала Лидии с обычным своим тупым видом, но не в обычай, глядя куда-то поверх ее головы, в стену:

— Лида... Я хотела тебя попросить... Знаешь... Помнишь... там, у тебя в альбоме... рисунки эти... ну карикатуры... помнишь?

— Где я тебя изобразила во образе будущей madame Постелькиной?

— Да... Отдай мне их, пожалуйста... Неловко... Надо их уничтожить.

— Ты думаешь? Но я своего альбома никому в руки не даю... не бойся!

— Я не боюсь, что ты покажешь... Но — мало ли что может случиться? Сама же ты рассказывала, что Антон видел однажды твои рисунки... Неловко...

Лидия подумала...

— Пожалуй, ты права... Все возможно. Возьми, мне не жаль. Погоди, я сейчас же...

Она взяла альбом из неразлучной своей папки «Musique» * и выдрала насмешливые листки.

— Вот!.. Прикажешь разорвать или желаешь — сама?

— Дай... я завтра утром сожгу в печке.

— Ого, какая осторожность! Соня! Ты ли это? Я не узнаю тебя!

— Нет, что же, в самом деле? — оправдывалась та, — надо совсем уничтожить... а клочки будут валяться... можно подобрать...

— Благоразумию твоему нет пределов, удивлению моему — также!

Соня, не отвечая, взяла рисунки и спрятала их в шкатулку, а ключ от шкатулки положила к себе в карман.

А женщины «бабьего клуба» уже метались по кварталу, сплетничая и толкуя на десятки ладов никем не чаянный скандал. Маленькая Грунька снесла его в мезонин к Марине Пантелеймоновне. Та ужасно развеселилась, заинтересовалась, приказала позвать к себе Варвару и ее заставила повторить все, как было, и не один, а много раз, и все подробно, подробно. Так что та даже изумилась и заподозрила, что тут кроется нечто неспроста, хотя — что именно — не умела догадаться. А Марина Пантелеймоновна щелкала языком и хохотала. И когда отпустила Варвару, то, и оставшись одна, долго соображала и бормотала про себя вслух, и гримасничала всею оранжевою луною своего искаженного лица, и хохотала над своими мыслями, и пугливо прислушивалась к своему одинокому хохоту, и, убедившись, что хохочет она же, а не кто другой, опять хохотала...

---

* «Музыка» (*фр.*).

СИСТЕМА ЛЕФОШЕ

XXXVIII

Антон Арсеньев получил по почте странную записку. Аня Балабоневская, старшая дочь Нимфодоры Артемьевны Балабоневской, — гордая, бледная барышня-подросток, ненавидевшая и презиравшая любовника своей матери настолько явно и ярко, что сам Антон говорил о ней:

— Даже лестно: так вкусно она меня не любит!

Эта самая серьезная, задумчивая, мрачная Аня Балабоневская теперь писала ему страстные строки, как Татьяна Онегину, и назначала свидание в Кремле, на Тайницком бульваре...

— Вздор!

Антон перечитал записку от слова до слова, вгляделся в почерк, в подпись, в адрес на конверте.

В записке было и искусное раскаяние в прошлой неприязни, и романтически подчеркнутый намек на ревность «к близкой мне женщине, которая любит», и сантиментальные самоукоризны, что «я так долго боролась с собою и насильно заставляла ненавидеть вас и не хотела вас понять...»

— Вздор! вздор! вздор!.. Лжет девочка! Лжет! лжет! лжет!.. В каждом слове лжет, — и в строках лжет, и между строками...

Но, чувствуя ложь, фальшь и мистификацию, Антон был все же заинтересован и, когда наступило урочное время, собрался на свидание с педантическою аккуратностью, за четверть часа до срока, чтобы быть на месте минута в минуту.

«Мне кажется, — рассуждал он про себя, — что я угадываю, зачем она затеяла эту комедию... Ну что же? Курьезно... Надо пережить... Испытаем и это... Курьезно...»

Еще с высокого кремлевского холма он заметил бродящую глубоко внизу, между белым снегом, желтыми буграми песка, заготовленного для посыпки дорожек, и темно-красными кирпичными стенами Тайницкой башни маленькую черную фигурку — хрупкую, стройную, детскую, с муфтою в руках. Антон усмехнулся и вдруг, — непроизвольно, инстинктивно остановясь вверху дорожки, — припал к холодной чугунной решетке и надолго загляделся через реку в широкое Замоскворечье с белою стрелкою Софии, с далеким красным Климентом...

— Странно, что будет время, когда все это останется сиять в таком же золотом закате, как сегодня, а мне уже — не видать, не видать...

На этой мысли поймал он свою задумчивость против воли, вспомнил, где он и зачем, спохватился и стал быстро спускаться к бульвару... Маленькая черная фигурка порывисто двинулась к нему навстречу.

— Виноват, — издали заговорил Антон, приближаясь и с изысканною учтивостью приподняв свою котиковую шапку, — виноват, Анна Владимировна, я заставил вас ждать...

— Вы знаете, что нет, — вон Спасские часы бьют пять... Зачем же вы говорите слова без надобности и извиняетесь, когда не виноваты?

Девушка сказала все это сквозь зубы, а зубы у нее постукивали, и челюсти ходили, и лицо было синее, как у жестоко перезябшей. Антон внимательно смотрел на нее и продолжал с тою же спокойною и отдаляющею вежливостью.

— Вы совершенно правы, но это я, чтобы сломать лед... Обстоятельства, при которых мы встречаемся, не совсем обыкновенны, и я по опыту знаю, что мужчине в подобных случаях лучше говорить хоть бессмыслицу какую-нибудь, издавать хоть звуки нечленораздельные, чем молчать и ждать, пока заговорит прекрасный пол... Это сберегает время и сокращает предисловия. Ну-с, Анна Владимировна, давайте — бу-

дем откровенны: зачем я вам понадобился? В чем дело? Видите, — я спрашиваю вас, спрашиваю усиленно и серьезно. Отсюда вы можете заключить вполне справедливо и уверенно, что письму вашему, сколько ни желали вы польстить им моему самолюбию и заставить меня принять ваше объяснение всерьез, я не придал никакого значения. А просто и только — убедился лишний раз, что вы обо мне прескверного мнения... пожалуй, что заслуженного. Настолько скверного, что, когда Анне Владимировне необходимо сказать Антону Арсеньеву что-то серьезное и тайное, то она даже унизила себя до любовного письма: иначе, дескать, этого распутного негодяя не заманишь, он без соблазна развратом не придет... А я, хоть и чувствовал, что вы обманываете меня своим billet doux * и взводите на себя небывальщину, я все-таки — видите, — взял да и пришел... Письмо ваше, будьте любезны, получите обратно, и смею вас уверить, что я ни фотографической копии, ни простой, с него не снимал... А затем, если у вас имеется что сообщить мне, я весь к вашим услугам, слушаю.

Только что синее, лицо Ани было теперь бело как снег, к которому оно было потуплено, как бумага, которую, выхватив из рук Антона, девушка поспешно комкала и прятала в карман...

— Здесь невозможно говорить, — бормотала она. — Я ошиблась... поминутно ходят мимо люди... что, если кто знакомый?.. я спутала все свои мысли... только оглядываюсь, не видят ли нас...

— Да, при моей милой репутации, приятного для вас, конечно, немного, — согласился Антон. — Но... tu l'as voulu, tu voulu, Georges Dandin! ** Итак, у вас, в самом деле, приготовлена некоторая предика ко мне? В самом деле?

* Любовная записка (*фр.*).

** Ты этого хотел, ты хотел, Жорж Данден! (*фр.*)

Девушка, не глядя, с судорогою в лице кивнула головою. Антон, несколько удивленный, пожал плечами.

— Я помогу вам ее произнести, — сказал он. — Здесь, действительно, мы рискуем собрать вокруг себя слишком широкую аудиторию... Но будьте любезны перейти сквозь Тайницкую башню на ту сторону кремлевской стены. Башня — прелесть, историческая! В ней, говорят, был застенок Ивана Грозного. А один из моих предков записан в синодике Ивана Грозного... Так что тень его в некотором роде реет около нас... Не оступитесь — темно... Ну вот мы и на месте. Видите здание вроде оранжереи? Это еще с политехнической выставки разрушается павильон машинного отдела. Между ним и набережною — пустыня, никогда живой души не бывает... тем более, в такое время, к вечеру... Вот видите, я был прав: чисто... И вот эти рельсовые балки под навесом очень удобны, чтобы присесть на них и — вы позволите? — закурить папироску... Что? что?! что??!

Он быстро отпрыгнул, изогнулся в сторону, так же быстро бросился на Аню и схватил ее за руки... Девушка слабо пискнула... По ржавым железным балкам металлическим стуком прокатился и в заревом свете красно блеснул ясным никелем небольшой дешевый револьвер. Антон посадил обомлевшую Аню на балки, поднял револьвер, осмотрел его и положил в карман. А потом они молчали долго-долго. Наконец Антон заговорил, и голос его дрожал глубокою жалостью, и печально-печально глядели сквозь опускающийся розовый сумрак глубокие мучительные глаза.

— Я так и думал, что вы именно за чем-нибудь таким меня вызываете...

Девушка молчала. Антон чувствовал, что балка, на которой она сидит, трясется и трепещет, — так бьет Аню лихорадка истерики, сдержанной, молчаливой истерики стыда, злобы и страха.

— Это... за мать? — тихо сказал Антон.

— Что... еще... спрашивать?

Он поник головою.

— Что же? Это дело. Это вы правы. Это дело.

Аня ответила ему пламенным взором глубокой, уничтожающей ненависти. Антон выдержал этот молчаливый натиск, который самый воздух вокруг него наполнил бессильным проклятием.

Аня отвела глаза первая, но и Антон стал бледен, как мертвый, точно захлебнулся волною ненависти, хлынувшей на него. Он снял шапку, чтобы остудить и осушить платком разгоряченный, мокрый лоб.

— Любезная Анна Владимировна, — начал он, стараясь найти свои обычные иронические интонации, но голосом, против воли более прочувствованным и теплым, чем ему нравилось. — Дальнейшие объяснения между нами, я полагаю, совершенно излишни. Нового мы друг другу ничего не скажем: вы понимаете меня, я понимаю вас, — слова бесполезны, когда назрела необходимость в подобных жестах!

Он похлопал рукою по карману, где лежал отнятый у девушки револьвер.

— Поступок ваш при всей его неудаче великолепен в своем роде, и к характеру вашему я не могу относиться, иначе как с величайшим уважением. Поступок — римский! Так сказать: достойно хрестоматии! Но, добрейшая Анна Владимировна! Ребенок вы! Кто же так делает эти дела? На морозе, — руки в теплых перчатках, — револьверишко — русский Лефоше, хуже чего не бывает, — держу пари, что вы его купили на Сухаревке! И этак вы идете убивать человека в драповом пальто на хорьковом меху?.. Чудная вы! Ну как же не подумать, что из такого предприятия у вас, — вы ведь и пристрелять-то револьвер, разумеется, раньше не позаботились, — ничего не выйдет, кроме скандала? Злодей ваш останется жив и благополучен, а вы осрамите и себя, и мамашу на всю Москву, — добродетель будет наказана, а порок восторжествует...

— Мне все равно теперь, мне все равно! — твердила сухими губами мрачная Аня. — Мне все равно... Вы мне слишком противны... Мне на вас плюнуть хочется!

— А нет! Вот этого нельзя! — возразил Антон странным тоном какой-то отвлеченной, особенно рассудительной серьезности. — Этого я никак не позволю, у меня есть свои предрассудки... Чтобы человек плевал на другого человека, этого нельзя. Вреда для здоровья нет ни малейшего, но... нельзя! А убить... Послушайте, дитя мое: зачем вы вместо того, чтобы затевать все это приключение, просто не сказали мне, что желаете вычеркнуть меня из жизни? Знаете, вроде неаполитанца, который нанялся убить английского лорда, но пришел его просить: «Эччеленца, сделайте милость бедному человеку, — зарежьтесь сами, потому что я дал обет не убивать людей под праздник, — не вводите же меня во искушение смертного греха нарушить обет мой!» Поверьте, что я достаточно джентльмен, чтобы избавить вас от необходимости впасть в смертный грех. Тем более, что желания ваши совпадают с моими собственными... и — не спешите, Аня, даю вам честное слово, не стоит спешить! Несколько дней, ну, может быть, недель, — дайте уж мне, так и быть, льготу — недель, — и от интересной особы моей освободитесь не только вы и Нимфодора Артемьевна, но и вся вселенная... Я исчезаю, Аня, — скоро исчезну совсем, и... и все, что было во мне приятного, исчезнет вместе со мною!

Аня слушала его дикую, полушутовскую речь гневно и холодно.

— Мне совсем не надо, чтобы вы умирали, — сказала она. — Мне надо, чтобы вы оставили в покое нашу семью и перестали срамить мою мать...

— Друг мой, да разве этого револьверными выстрелами достигают?

— А! Разве вы отстанете иначе?

— Не отстану, — спокойно сказал Антон. — То есть я и отстал бы, пожалуй, но... боюсь, что не отстану.

Аня даже зубами заскрипела. Он продолжал:

— А как вы думаете, Анна Владимировна, если бы вам удалось сегодня повергнуть меня во прах с свинцом в груди и... ну положим, просто с свинцом в груди, без жажды мести, — простила бы вам родительница ваша этот семейный подвиг или возненавидела бы вас за него всею силою своей души? А сила у нее в душе есть. Женщина она ума не дальнего, характера не имеет, но страсти в ней конца нет, темпераментом она кипит, и преданность любви — ее вторая натура, до самозабвения, до самоотвержения... А вы думали погасить наши отношения, прострелив мне печенку или легкое! Нет, вы благодарите своего Бога, что вам не удалось. Спасая свою мамашу от меня, вы готовили и ей, и себе такой ужас житейский, что все, теперь тяготящее вас как фамильный позор, побледнело бы пред будущим, созданным вашими руками... С такою страстью не шутят, и опек над собою она не признает!

— Хвалитесь, хвалитесь! — прервала его Аня с злобным стоном, — хвастайтесь, что одурманили слабую женщину до того, что она всякий стыд потеряла, что у нее, кроме вас, уж и глаз ни на что не осталось... Нашли кого победить! Как вам не совестно? Ведь она уже пожилая: мне восемнадцатый год... А вы молодой! На что она вам? Добро бы еще красавица была какая-нибудь необыкновенная! Или богачка... Или умница, ученая, талант сверхъестественный. Что же? Скажите: любите вы ее? Нравится она вам так беспредельно?

— А уж это мое дело и моя тайна: что я люблю, чего не люблю, что мне нравится, что не нравится...

— Жить без нее не можете? — с злобною, недоверчивою иронией настаивала Аня.

Антон спокойно возразил.

— Может быть, и не могу... почем я знаю?

Аня стукнула кулачком по балкам...

— Так будьте порядочны!.. Женитесь на ней, по крайней мере!

Антон засмеялся.

— Да, вот только этого между нами не доставало! Нет, Аня, глупо... бессмысленно... не хочу!

Аня вся тряслась, вися на пуговицах его пальто.

— Не хочу, не хочу, не хочу! Весь вы из «хочу» и «не хочу»... Вся эта связь проклятая — каприз ваш, самодурство ваше! И, ради каприза, вы всех нас — меня, маму, Зою — в грязь втоптали! Вы нас капризною прихотью своею из общества выгнали! Нам показаться никуда нельзя: мы в позоре тонем... Улыбки... намеки... сожаления... пальцами показывают! Мама — как слепая: ведь не может же она не чувствовать, как ее презирают, пренебрегают ею... за вас, дрянной вы человек!.. Сегодня ей на визит не отвечают, завтра — не кланяются... Бараницыны, Кристальцевы, Ратомские... мы всех потеряли, никто нас знать не хочет... никто!.. Только ваши какие-то друзья трактирные в дом вхожи... противные, наглые... мало что ног на столы не кладут... Господи! И все из-за вас одного! Все из-за вас!.. Мы с сестрою забыты, словно нас и на свете нет... Все для вас, кумир великолепный! Вся она — для вас!.. Один страх у нее остался — не состариться бы так, что вы от нее отвернетесь... Дикая, ревнивая... Я вот хоть длинные платья отвоевала себе, а Зою она до сих пор младенцем водит: страшно ей, как это вы будете видеть, что у нее две взрослые дочери...

— Если хотите, — вяло сказал Антон, — я попрошу Нимфодору Артемьевну, чтобы она позволила и Зое Владимировне шить длинные платья...

— А, не издевайтесь вы... несчастный!

— Я не издеваюсь, и... что же я еще могу?

— Нам не длинные платья нужны, а надо, чтобы вы нашу семью отпустили на волю! Потому что крепостная у вас наша семья! Вот что! Закрепостила вам нас наша мама...

Он с любопытством посмотрел на девушку и медленно произнес:

— А меня кто отпустит на волю?

— Откуда? — грубо возразила Аня. — Кто вас удержит там, где вы сами не захотите быть?

— Черт, — спокойно сказал он.

— Не понимаю...

— И не понимайте: не надо... А только попробуйте мне поверить... И знаете ли что? Пойдемте-ка, я провожу вас до извозчика, и поезжайте домой... А то я слышу, как черт, у которого я в такой же крепости, как, по вашему мнению, в крепости у меня родительница ваша, издали хохочет мне в уши, издеваясь над нашею беседою и нашептывая мне жажду большой, сладострастной, глумливой злости... И, если его оранжевая харя начнет плясать перед моими глазами, и мигать мне глазами без ресниц, и дразнить меня своим поганым красным языком... Я, знаете, умею оскорблять — подло, неизгладимо, незабываемо!.. Стойте! куда же вы? Я не договорил... Этого нет, этого не будет... я... я... я вас уважаю... Мне надо условиться с вами... Я вам все-таки очень благодарен... хотя... с свинцом в груди... Вы славная девушка, да... Фу, черт! как у меня голова устала... Да, так о чем бишь я? Да... слушайте-ка...

Он рассеянно задержал в своей руке пальцы испуганно шарахнувшейся от него Ани и продолжал печально и тихо:

— Вы хотели меня застрелить, чтобы освободить мать свою... Что меня убивать? Вы вот лучше черта бы застрелили, у которого мы все в крепости... и я, и Нимфодора, и вы — все... Мы все страдаем. Я, может быть, больше других... Да! Не спорьте! Мучить больно, а я мучу... Он велит, и я мучу... Мы все страдаем! Через меня, — правда! Я не смею отри-

цать! Но не от меня. Через меня! Только через меня, потому что я его медиум. Медиум черта, понимаете? Скверного, сладострастного черта с оранжевым лицом? Он сидит во мне, и я творю его волю... Вы это очень хорошо надумали — убить меня, это с вашей стороны очень благородная идея, она доказывает, что вы смелая и чистая девушка... Но непрактично, бесполезно! Не достигает цели, — понимаете? Что — я? Форма, преходящее, квартира с мебелью. Я умру, и очень рад, что умру, — а он переменит квартиру и будет хохотать над людьми в новом месте, в новом теле, с новыми силами... Надо убить не меня, но его, понимаете? Его, с оранжевою мордою... развратителя детей... Чтобы освободить просвещенное отечество, которое — excusez du peu!..* Но это — знаете ли — штука серьезная... Нельзя на морозе и в перчатках... против хорькового пальто! Где же вам убить черта? Вы не сумели убить меня, а черта во мне — вы его только выпустите на волю... voilà tout!** Черт — во мне, и убить его должен я... И убью, и убью, и убью — клянусь вам, Аня, всем, что есть святого — не у меня святого, а у вас, — что убью, убью, убью поганого черта с оранжевою мордою... И освобожу всех!.. Один я умею! Один я могу!.. Убью! убью! убью!

И вдруг — лицо ему обожгло мокрым холодом, и рот остался раскрытый на оборвавшемся крике, машинально глотая морозную мягкую массу... Аня, плача в три ручья, прыгала вокруг него, как потерявшийся черный козленок, и теребила его за руки, и совала ему снег в лицо, в рот, за воротник пальто...

— Антон Валерьянович! Голубчик! Антон Валерьянович! Успокойтесь! Пожалейте! Мне страшно... перестаньте! Не надо так, не надо... Глотайте снег, вам будет легче... Антон Валерьянович! голубчик!

---

* Не взыщите! Извините!.. (*фр.*)

** Только и всего! (*фр.*)

Он стих, обессиленный, изумленный, раздавленный...

— О как голова болит... — вырвался из груди его жалобный детский стон.

— Глотайте снег, глотайте снег, — суетилась Аня, — и виски... дайте я потру вам виски снегом...

— Что же это? — бессильно улыбался он девушке, — после револьвера-то... сестрою милосердия?..

Она сурово возразила:

— Да если у вас припадок?

— Вздор! Пройдет... Проходит... Уже прошло... Пойдемте... Темно... Ближе Каменного моста не будет извозчика: здесь скверное место, глухое место, жулики, дурные женщины... Нет, болит еще голова, черт побери!

— Я не оставлю вас таким! Мы заедем в аптеку... Примите брома... нельзя же!

— Хорошо, хорошо... сестра милосердия с Лефоше в кармане!

Они шли молча мимо огромного водочного завода вдовы Поповой, через Ленивку, вверху по подъему к платформе храма Спасителя.

— Ну-с, вот вам и возница.

Голос Антона звучал уже совсем здоровым звуком.

— Садитесь, Анна Владимировна... Лошадь, правда, пегая, — ну да довезет... Номер я запомню... И — до свиданья. Простите, что напугал.

— Вы простите... — тихо возразила Аня.

— Эту штучку, — Антон дотронулся до кармана, — я возвращу вам когда-нибудь в другой раз... Неудобно теперь — на улице... Или, может быть, вы вовсе подарите ее мне? А? На память о встрече?

— Как хотите, — еще тише сказала Аня.

— Я отдарю вас, будьте уверены, что отдарю... Пуд конфет, воз цветов...

Девушка строго остановила его.

— Ничего я от вас не приму, и ничего мне не надо... Вы вот в аптеку зайдите! — прибавила она, запнувшись и мягче.

— О это — всенепременно! Не беспокойтесь! Всенепременно... Кто своему здоровью враг?.. А штучку я — в фамильный музей... Знаете: я решил основать такой специальный домашний музей сюрпризов и бессмыслиц славного рода столбовых дворян Арсеньевых... Благодарю вас за приятно проведенное время и... имею честь кланяться!

Извозчик тронул лошадь. Аня задержала его.

— Антон Валерьянович!

— Я?

— С вами... часто... так бывает?

— Достаточно... — протяжно отвечал Антон.

— Но это же...

Она не договорила, потому что он наклонился к ее уху и сказал тихо и внушительно:

— Вы видите, — говорил же я вам! — что спешить на мой счет с системою Лефоше не стоит... А что касается Нимфодоры Артемьевны, то желания ваши я, поскольку могу, постараюсь исполнить... Ну и... et caetera, et caetera! * Погоняй, извозчик!

Он отцепился от саней и пропал в темном сквере храма Спасителя. Аня ехала, плакала впотьмах и, утирая слезы муфтою, лепетала про себя: «Бедная мама!.. Бедная мама!..»

А Антон Арсеньев шагал быстро-быстро неровным, спотыкливым шагом вверх по Пречистенке. Из окон аптеки Лемана упали перед ним на тротуар красивые полосы красного и синего огня. Он взглянул, и вспомнил, и засмеялся.

— Да? Бром?.. Я обещал в аптеку зайти и брому принять... Ну что же? Зайдем в нашу аптеку...

Он перешел улицу и повернул — на Остоженку, к «Голубятне».

---

* И так далее, и так далее! (*лат.*)

— Ой? болен ты, что ли? какой сегодня зеленый? — встретил его в «лицейском клубе» Авкт Рутинцев.

— Здоров, как хамелеон... Напротив, нахожу, что это — на тебе лица нет... да и все вы, — Антон оглядел компанию, сидевшую за обычным столом, — что у вас тут случилось?.. все вы какие-то перетревоженные...

— У нас, Антон Валерьянович, такая передряга...

Квятковский с жалостливым, перекошенным лицом встал из-за стола, отвел Арсеньева в уголок и сказал ему шепотом:

— Лидия Юрьевна отравилась.

— Ого?!

— Нашатырным спиртом. Насилу отходили... Теперь-то вне опасности... Хорошо, что Авкт Рутинцев случайно заехал за нею — приглашать ее участвовать в спектакле одном... А то — она в корчах, отец лежит пьяный, а мать кудахчет как курица, и так растерялась, что не догадалась даже послать за врачом... Мы там битых три часа пробыли...

— Причины?

— Боюсь, что...

Квятковский сделал неопределенный жест по своей талии.

— Мауэрштейн?

— По-видимому... Федос Бурст поехал его искать... На стену лезет.

— Этому-то что? Он Лидию Мутузову всегда терпеть не мог...

— Тевтонское рыцарство. Наших не замай!

— Ну да жива-то будет? — перебил Антон.

— Жива-то будет...

— Ну а будет жива, так и... черт с нею! Стоит беспокоиться? Ведь это — проба пера, первый дебют, больше ничего...

— То есть — как?

— Да так: сегодня — Мауэрштейн и нашатырь, завтра Бауэрштейн и опиум, послезавтра Трауэрштейн и серные спич-

ки... Маленькое сладострастие и маленькие отравления, маленькие отравления и маленькое сладострастие... Полулюбовь и полусмерть... Perpetuum mobile * своего рода!.. Уж поверьте мне, — такой тип... У меня есть одна: травится аккуратно четыре раза в год по сезонам. И — хоть бы хронический катар желудка себе нажила, что ли... А то — выздоровеет и ест за четверых — впредь до следующего отравления... Так что — ну просто выходит вроде горьких капель для аппетита!

НАША СИМПАТИЧНАЯ САМОУБИЙЦА

XXXIX

В вечер самоубийства Лидии Мутузовой Федос Бурст не нашел Мауэрштейна, сколько ни рыскал за ним по Москве. Но назавтра, задолго до полдня, он в компании с Квятковским уже был в гостинице, где квартировал молодой пианист. Намерения Федос питал определенные и настроением кипел воинственным.

— Или — пусть женится на этой несчастной, или — вот возьму его, переверну вверх ногами и буду тюкать теменем о половицу, покуда не запросит пардона. Подлостей спускать нельзя... Я Лидию Юрьевну Мутузову не уважаю ни на грош медный, она вертушка, хвастунья, кокетка, пустельга самовлюбленная, но — она из нашего общества. Если бы мы оставили негодяя безнаказанным, это значило бы принять корпоративно всем кружком нашим плевок в лицо.

— Слушай, слушай, слушай, — отдергивал Бурста Квятковский, очень неохотно сопровождавший его в качестве «благородного свидетеля», — ну а если он все-таки откажется?

* Вечный двигатель (*лат.*).

— Вверх ногами — и тюкать!

— Ну а если — невзирая на тюканье?

— О, черт! почем я знаю, что тогда... Да нет! Это — дудки... Коли я прижму, соки закаплют! Не то что на Лидии, на родном дяде женится, только бы я отстал...

— А, кстати, женится — хорошо, но ведь надо иметь право жениться... Разве Мауэрштейн — крещеный?

Федор Бурст остановился среди лестницы, будто его что хлопнуло прямо в его упорный, по-бычьему склоненный немецкий лоб.

— Не знаю... Ты прав: вот еще осложнение... Не знаю, крещен ли он... скорее что нет... Э! да пустяки! Не крещен, так окрестим!

Непоколебимый Федос, подобно мистеру Подснапу у Диккенса, перешвырнул встреченное затруднение правою рукою через левое плечо и возвратил себе обычное самодовольство.

Но Квятковский не унимался.

— А если он не пожелает креститься?

— Тюкать!

— А если он заявит, что менять религию, — против его убеждения?

— Тюк...

Бурст не договорил, осекся и взялся за затылок с видом не столько уже тевтонского рыцаря без страха и упрека, сколько смущенного окриком начальства калужского мужика. Квятковский дразнил.

— Что?! Ах ты, великий инквизитор?! Где же либерализм и уважение к свободе совести?

Бурст ответил мрачно:

— Ну как там это выйдет, потом будем судить... А теперь я знаю одно: если мужчина отнял у девушки честь, он обязан восстановить ее... А иначе у него совести нет, а следовательно, и свободы совести он недостоин.

— Ах, — шутовски вздохнул Квятковский, — ты силен в силлогизмах, как дьявол, и проповедуешь, как ангел. Твои

целомудренные убеждения делают тебе честь, благородный тевтон, но помилуй, не съешь нас, грешников, доблестный Анджело! Да, ты Анджело, суровый шекспиров Анджело, а я — я только Люцио, беспутный пустослов, которого в конце пьесы женят на проститутке, чтобы восстановить ее честь. Тем паче госпожи Мутузовой. Зови меня вандалом, но — на месте Мауэрштейна — я уперся бы! И — хоть ты меня тюкай, хоть растюкай...

Бурст холодно возразил:

— Если он очень подлецом себя выкажет, то — дьявол с ним! нечего и очень стараться: что же девушку с подлецом на всю жизнь связывать? Обойдемся и без него... Избить изобью, осрамить осрамлю, — и — пошел к черту! Обойдемся и без него...

— Любопытен был бы я знать... — осклабился Квятковский, но Бурст не дал договорить ему.

— Такая история была в третьем году в кружке «Рабочая заря»... Там девушка одна тоже свихнулась... Победитель ее оказался ужасная дрянь и трусишка, богатенький маменькин сынок... Мы к нему за объяснениями, а его и след простыл: удрал за границу... Ну мы и того... устроились сами.

— Сэр! Не терзайте меня неизвестностью: при всей моей догадливости, недоумеваю...

— Очень просто: сколько было холостых товарищей в кружке, бросили жребий, кто предложит ей руку... Ну один... nomina sunt odiosa! * — вытянул себе «да»... Обвенчали их честь честью, и инцидент был исчерпан...

— Ты — серьезно?

— Совершенно.

— Не врешь?

— Когда же я вру?

---

* Имен называть не будем! (*лат.*)

— Я думал, что ты это из водевиля «На узелки»... И девица знала, что вы ее разыграли в лотерее великодушия?

— Зачем? Достаточно было дать понять ей, что все мы равно уважаем ее, как и прежде, и каждый из нас готов для нее на какую угодно товарищескую услугу.

— Жениться ни с того ни с сего на девице в интересном положении — это он называет «товарищескою услугою»... Бурст! Да неужели и ты тянул жребий?

— А чем я лучше других?

— Но ты же от брака — как черт от ладана?

— Мало ли что! То личная инициатива, а то долг товарищества... Борис Арсеньев брал жребий, не то что я.

— Час от часу не легче! А если бы ты вытянул «да»?

— Женился бы.

— Здравствуйте, женившись, дурак и дура! Вот еще тота и одна фигура! — запел Квятковский. — О бессмертный Тредьяковский! Ты предвидел друга моего Федоса Бурста полтораста лет тому назад...

— Да совсем не так глупо, как ты думаешь. Ну женился бы... К чему обязывает?

— Бурст! твой вопрос — из Поль де Кока!

— Ведь это же было условлено заранее, что брак фиктивный: вопрос фамилии, общей квартиры... вообще, спасение аппарансов в глазах господ буржуа. Родитель был крутонравный. Вопил, что дочь убьет, и под замок грозил запереть, и чуть не желтый билет, и в смирительный дом, и всякие глупости... А как окрутили мы их, старику-то и нос: жена да боится своего мужа!.. Само собою разумеется, она — прямо из-под венца — получила от мужа отдельный вид на жительство... А живут вместе — только, конечно, не мужем и женою, но как добрые друзья... ну брат и сестра, что ли... Отличные люди. Я их очень люблю и часто у них бываю.

— Бурст! Если ты собираешься по этому же рецепту реабилитировать Лилию Мутузову, помни, друг мой, что я не в счет: я в кукушку не играю!

— В кукушку?

— Ну да. Это в Владивостоке был такой клуб — «ланцепупов», — и в нем наши скучающие цивилизаторы игру выдумали. Запрутся в комнате, свечи погасят, ставни закроют... Потом — кто-нибудь один: «Ку-ку!..» А другие в сторону кукушки — бац, бац, бац! из револьверов... Азарта и сильных ощущений пропасть, но... нет! нет! нет! я в кукушку не играю... Фиктивные супружества выдумали... Хорошенькая штучка! Соединитесь-ка таким манером с тою же Лидочкою Мутузовою, она из тебя сок высосет...

— Это по какому же праву?

— По церковному, мой ангел: по самому что ни есть документальному, по юсу юридическому!

— Очень ты нужен будешь ей, если у нее есть свой фактический муж, которого она любит.

— А вдруг — разлюбит?.. Либо фактический муж лататы задал?.. Либо у фактического мужа в кармане свищут северные ветры, и фактическая жена принуждена сесть на пищу святого Антония? Да хорошо если еще одна, а вдруг — с фактическими младенцами? Либо наконец просто фактическая жена фактически состарилась, и тут все мужчины начинают предлагать ей фиктивную любовь, но фактически любить ее никто не хочет? Вот тут-то, брат, и вспоминают о фиктивных мужьях и о связующих с оными документах... А закон — чудак: он тоже вроде тебя на фикции уповает, — тому, что написано в документах, верит, а до фактов ему дела нет... Свою фактическую жену каждый гражданин Российской империи имеет возможность оставить околевать на улице, когда ему угодно, но фиктивной, с документом, — врешь, брат! обяжут выдавать содержание...

— Я ведь рассказал тебе, что было в честном, организованном кружке, где все и каждый верили друг другу, как самому себе... Само собою понятно, что такие вещи невозможны в случайной компании...

— А! Компанья! C'est le mot! * Это прелестно! Напоминает оперетку «Жирофле-Жирофля»:

Car je suis le Marasquin,
Fils de Marasquin et Compagnie,
Car je suis Marasquin, —
Fils de Marasquin, de Marasquin, de Marasquin
Et Compagnie! **

Ах, компания — великое дело! Для компании — я иду с тобою на объяснение, которое, между нами будь сказано, считаю образцово бездельным и заведомо глупым. О компания! компания, богиня компания! Сколько жертв приносится на ее алтарь! Говорят даже, будто для компании жид удавился. Однако чтобы жениться для компании — о таком самоотверженном жиде я не слыхал. И полагаю, что и Мауэрштейн оным не окажется... Ну всползли... вот его номер... Ишь, музицирует... Стучи! «Звуки рокочут, звуки гремят...» Этакий у человека талант в пальцах, и они воображают женить его на Лидии Мутузовой!.. Ох, Федос, при всем благородстве наших чувств, каких мы дураков с тобой ломаем... Да уж ладно, ладно! Взялись за гуж... Нечего делать, стучи!

Пианист встал из-за рояля навстречу гостям, угрюмый, бледный, с следами мучительно бессонной и нервной ночи на лице, но спокойный и вежливый.

— Господа, — заговорил он первый, — я предчувствую, что привело вас ко мне... И, во избежание лишних разговоров, сразу заявляю вам: я готов на все виды удовлетворения, которые потребует от меня Лидия Юрьевна.

---

* Здорово сказано! (*фр.*)

** Так как я Мараскен,
Сын Мараскена и Компании,
Так как я Мараскен, –
Сын Мараскена, Мараскена, Мараскена
И Компании! (*фр.*)

Торжествующий Бурст гордо взглянул на Квятковского.

— Я очень рад, Мауэрштейн, — что вы так прямо и по совести, — заговорил он с обычною своею веселою грубостью. — Ну вот, значит, мы можем и дружески... Давайте, милый человек, лапку. А то, правду сказать, нехорошо было: и талант вы первоклассный, и человеком порядочным вас все считали, и вдруг этакая гнусность... Очень это неприятно идти к человеку, которого еще вчера уважал, с кулачною расправою, как к прохвосту какому-нибудь.

— Бурст, — остановил его Мауэрштейн с прежнею тихою вежливостью, — то, что я сказал, я готов повторить хоть тысячу раз, однако, поверьте, не потому, чтобы я испугался ваших кулаков, но только потому, что я люблю Лидию Юрьевну... да, имею это несчастье: люблю... и сделаю все, решительно все с своей стороны, чтобы сделать ее спокойною и счастливою.

— Ну да! ну да! Конечно! — орал ликующий Бурст. — О кулаках — это я только так, к слову... Можно и забыть! Не стоит разговаривать!.. Конечно! Вы великолепны, Мауэрштейн! Трясу вашу композиторскую лапу... Ну что же, в самом деле? С кем греха не бывает? Ну сорвался с крюка, наглупил, напакостил, — ничего не поделаешь: пиши «лабет»! А теперь надо поправлять дело, Мауэрштейн, надо поправлять...

— Вот я и жду, что вы укажете мне, как я могу его поправить, — холодно и кротко сказал пианист.

Бурст уставил на него глаза трудно соображающего буйвола, а Квятковский, напротив, встрепенулся и, в свою очередь, послал Бурсту взгляд насмешливый и плутоватый: вот-де тебе и первая зацепка, — раскуси-ка, брат!

— Я не понимаю вас, Мауэрштейн, — с неудовольствием возразил Бурст. — Вы же сами только что сказали, что готовы на всякое удовлетворение... Что же мне вас учить? Вы не маленький: должны сами понимать, что от вас теперь требуется.

— Вы о женитьбе? — спросил Мауэрштейн.

— Ну... разумеется, не о похоронах!.. Что вы еврей, это, — вот мы сейчас говорили с Квятковским, — по-моему, препятствием служить не может... Кто из образованных евреев стесняется теперь своею религиею? Вы, конечно, человек свободомыслящий, не фанатик какой-нибудь. Что оставаться евреем, что сделаться христианином, — не все ли вам равно? Это — для стариков важно, там, в лапсердаках каких-нибудь и пейсах, а вы человек молодой, нового века...

— Притом в паспортном отношении... magnifique!!! * — ввернул словцо Квятковский.

Ему Мауэрштейн не ответил, а Бурста остановил строго и решительно.

— Ну уж это вы мне — молодому еврею нового века — и оставьте судить, все равно мне или не все равно зачеркнуть свое еврейство и сделаться христианином. Тут вы, Бурст, ничего не знаете, не понимаете, да и не в состоянии понять: вы — иной расы человек... это наше, расовое, это мое... и... не надо больше говорить об этом.

Он в большом волнении вынул сигару, обрезал ее дрожащими руками и с трудом раскурил... Бурст и Квятковский ждали — один полный досадливого нетерпения, другой — с большим любопытством.

— Итак, господа, — заговорил Мауэрштейн, тяжело глотая слюну нервного удушья, — в этом вы очень ошибаетесь... Переменить религию, порвать с родным домом и народом совсем не так легко и безразлично, как переехать из одной гостиницы в другую... И, если я иду для Лидии Юрьевны даже на такой страшный перелом, на весь риск его, чего бы он мне ни стоил, полагаю, господа, это достаточное свидетельство, что любовь моя к ней не пустая прихоть, и не праздный я развратник какой-нибудь, не подлец...

---

* Великолепно!!! (*фр.*)

— Кто же считает вас подлецом? — успокаивая, остановил его Квятковский.

Мауэрштейн указал дрожащим пальцем:

— А вон — Бурст сейчас первый... Я, господа, в таком глупом положении, что вся видимость — против меня... Но совращением невинностей Мауэрштейн не занимается... нет-с!

— Позвольте, Иосиф Федорович, позвольте, батенька! — остановил его Бурст. — Вы на меня чересчур-то не гневайтесь: сами же говорите, что видимость против вас... ну что было, то прошло, я извиняюсь, что поверил видимости, — и покончим с этим, и шабаш!.. Итак, вы согласны и креститься, и жениться?

Мауэрштейн кивнул головою.

— Тогда за чем же дело стало?

— За согласием невесты, — отвечал пианист с злобною, насмешливою тоскою.

Бурст и Квятковский опять переглянулись дикими глазами.

— Батюшка, это мистификация! — рассердился Федос.

— Виноват, — холодно возразил Мауэрштейн, — вы когда изволили видеть Лидию Юрьевну?

— Вчера вечером.

— И она выразила вам желание, чтобы я женился на ней?

— Словами она, конечно, ничего не требовала, но... все ее жалобы... отчаяние... наконец самый факт отравления...

— Это было часов в девять вечера или раньше?

— В одиннадцатом.

Мауэрштейн горько улыбнулся.

— Господа, я узнал о... поступке Лидии Юрьевны в семь часов вечера. Бросился туда, к ней, нашел целую кучу незнакомого народа... ну что же мне было делать — даровой спектакль, что ли, давать всей этой публике? Я не вошел, только вызвал прислугу, расспросил о здоровье больной. Прислуга говорит: ничего, первоначально действительно сильно нас перепугала, а теперь оправилась, и доктора уже уехали, сказали, что больше не надобны... Я — к доктору. Говорит:

«Пустяки, нервный аффект, этаких отравлений у нас по дюжине на неделе... Правда, по неопытности барышня перехватила немножко нашатырю...» Не делайте жестов, Бурст: это не я говорю, это доктор говорит, — я-то и сам на него вчера озлился совершенно так же, как вы сейчас на меня негодуете... «С начинающими, — говорит, — это бывает, вперед будет осторожнее, а опасности для жизни — ни малейшей!..» Ну вы можете сами вообразить, как я обрадовался! Плясать хотел... И сейчас же написал Лидии письмо, в котором просил ее выйти за меня замуж... И просил я ее об этом, господа, — торжественно возвысил голос Мауэрштейн, — не в первый раз, а может быть в сто первый...

— Как? Раньше самоубийства? — с сомнением спросил Бурст.

— Раньше самоубийства?! Раньше, чем между нами возникли какие-либо серьезные отношения!.. Я полюбил ее с первого знакомства нашего, и она заметила, что я люблю ее, тоже с первого знакомства... Вы, Бурст, собирались заставить меня креститься силою, а я при всем моем ужасе к этому переходу... при всей неизвестности, что я в нем найду... может быть, и с ума сойду, и самоубийством кончу... из выкрестов так много сумасшедших и самоубийц! Так вот, при всем том я давно уже доброю волею решил, что не миновать мне этого шага... Потому что я знаю, чувствую я себя! — он ударил себя кулаком в грудь. — Да, я знаю себя, и я семит!.. Над нами, евреями, редко берет власть любовное обаяние женщины, но, когда случилось такое счастье или несчастье, называйте как хотите, оно заполняет нас целиком и навсегда. Любовь, сильная, как смерть, — наша семитическая любовь, семит изобрел и самую пословицу-то эту о любви-смерти... Мы разделяем чувственность от любви. Мы «влюбляемся» — по вашим арийским понятиям — трудно, но, когда влюблены... что вы знаете о влюбленности, вы, славяне, немцы, дети остывшей европейской расы?.. Пой-

мите вы чувство человека, в котором все сожжено одним страшным пламенем, и он тянется к пламени, тянется точно загипнотизированная жертва в брюхо раскаленного Молоха!.. Поймите, что есть момент, когда вам становится безразлично уже, какая эта женщина, которую вы любите: красивая, безобразная, умная, глупая, молодая, старая, толстая, тощая, добрая, злая... все равно уже: критика любви умерла... все равно, какая она, лишь бы она была — она! Она, она, она, — та самая она: одна, которую я люблю, которая мне нужна, с которою я должен спать, от которой должен рождать детей, в которой я люблю каждый кусок тела, ноготь, сорочку, каблук башмака, которая может драть с меня кожу полосами, и я буду умирать от наслаждения; которой если нет со мною, то пусть хоть запах ее окружает меня, я буду сходить с ума от ее духов, от ее тряпки, от клочка ее волос... Ну вот, ну вот, ну вот, — это для меня Лидия... И я знаю, что этого мне не избыть... Мы страшимся, суеверно избегаем любви, потому что, — когда настоящая, — она — великая гроза, землетрясение, пропасть!.. Она — Астарта!.. Все — в нее: талант, ум, религия, отечество, народность, совесть, идеал... Я гибну! Разве я не понимаю, что гибну? Завтра на меня будут плевать мои одноплеменники, от меня отвернется мой родной отец... А вы хотели пугать меня кулаками!.. Что мне ваши кулаки? Я в смертном ужасе живу: я люблю... Ах, не напрасно из всех народов мира только наш один создал религиозную заповедь против любви к женщине! О, Моисей был пророк, — он знал, что будет время, когда еврей лишится права любить женщину так, как он может и должен любить... Да! Потому что теперь не времена Соломона и Суламиты, когда любили под смоковницами, но времена рассеяния и унижения... Душа, отданная евреем женщине, отнята им у своего народа... у народа, униженного, угнетенного, загнанного, заплеванного, которому гордость каждым хоть сколько-нибудь талантливым сыном своим нужна как кусок хлеба го-

лодному, как живительный луч солнца!.. Не смейтесь надо мною, что я заношусь: вы сами признаете, что есть же кое-что недюжинное в этих пальцах и в этой голове... И оно принадлежит не мне одному, оно принадлежит моему народу, моей расе, ее вековому страданию, изливающемуся нашими песнями... И я знаю, что, любя Лидию, я отнимаю себя у народа, я выдергиваю с нивы его хороший и красивый колос, я граблю свой народ! И все-таки люблю, не могу не любить, буду любить!.. Бурст над верою смеялся... А если я — верю? если для меня совсем не шутка громы Синая? Если я понимаю, что, любя эту запретную женщину, я не приложусь к народу моему и проклинаю сам себя на жизнь здешнюю и будущую?.. И все-таки люблю... Э! да что, впрочем, объяснять вам и толковать? Разве вы поймете? Арийцы! Вы не то что любить, вы и воображать-то любовь бедны. У вас только и слов о ней, что научили семиты: арабы да мы, *жиды:* старик Соломон и Гейнрих Гейне...

— Все это весьма красноречиво, — перебил Мауэрштейна Бурст, — но какое отношение к нашему случаю?

Пианист жестко сверкнул на него глазами.

— То отношение, что, когда Лидия Юрьевна говорила с вами вчера, письмо, в котором я умолял ее стать моею женою, лежало, быть может, у нее под подушкою... А она все-таки играла пред вами трагедию обольщенной, брошенной, заставила вас считать меня мерзавцем!.. Да разве бы я позволил себе сойтись с нею, с девушкою, если бы не считал ее уже своею женою? Она десятки раз играла вопросом о нашем браке, десятки раз обнадеживала, десятки раз брала слово назад... она треплет меня, как шлейф своего платья, по грязи и пыли, и я бессильно тащусь за нею, как истрепанный шлейф... Насильно женить меня на Лидии?! Да нате: устройте мне, чтобы она вышла за меня замуж, создайте мне это унижение, это рабство, этот позор на всю жизнь, — и я закабалю вам всего себя: весь мой талант, все мои кон-

церты, все мои композиции... Вы взялись меня женить! Так вот же: читайте, читайте, что пишет моя «оскорбленная невеста»...

Милый Жозь, — прочел Квятковский на голубой с серебряными звездами бумаге, пропитанной острыми духами, — пожалуйста, не глупи. Шутка, хотя бы и трагическая, всегда шутка, и серьезные последствия для нее необязательны. Благодарю тебя (в который раз) за честь и отказываюсь от нее решительно. Ну какой ты «законный супруг», сам подумай. Закрепощать тебя не имею ни малейшего желания, равным образом и самой мне ничуть не улыбается перспектива целую жизнь цепляться за тебя и купаться в блеске твоего таланта как «жене знаменитости». У каждого из нас своя дорога, по ней и пойдем. За минуту слабости и за нашатырь прошу извинения и, с своей стороны, не имею к тебе никаких обид и претензий, — тем более, что предположение о некотором существе в проекте оказалось плодом моей мнительности... Итак, расстанемся друзьями, а когда-нибудь друзьями и встретимся? Sans rancune, monsieur? *

Твоя Л.

— Дай мне! — Бурст, — красный как свекла, — вырвал листок из рук Квятковского.

— Да, ее рука...

— Подлогами я тоже не занимаюсь, — сухо возразил Мауэрштейн.

— Тогда... для какого же черта...

— Истеричка! — печально сказал пианист.

Квятковский ухмыльнулся.

— Да... это, конечно... извинение... — сказал он. — Ну и шум...

— Шум?!

— Вы вот, господа, запутались, а я только теперь начинаю разбираться... Шум понадобился нашей Лидии Юрьевне, крик, гвалт и бенгальский огонь романического скандала... Ведь она, я слышал, вышла из школы и подписала контракт куда-то в поездку по провинции?

---

* Забудем прошлое, месье? (*фр.*)

— Да, — сказал Мауэрштейн, — и я должен был с нею встретиться в своем турне... Нарочно заставил своего импрессарио включить ее город в мой маршрут... Пришлось даже сделать этому плуту кое-какие уступки в условиях... понял, что меня туда тянет каким-то магнитом...

— Шум!.. — продолжал Квятковский. — Поверьте, что шум и — ничего, кроме шума... ну, пожалуй, немножко истерики... Наплывает в общество новая женская порода — влюбленных в шум вокруг своего имени, геростратиц, что ли, или алкивиадов женского пола... Дебютирует госпожа Мутузова. Ну что такое, кто такая, кому нужна просто госпожа Мутузова? кто говорит о госпоже Мутузовой? кто пойдет смотреть госпожу Мутузову, о которой никто не говорит? Стало быть, надо сделать, чтобы заговорили, — и, молодчина! — сделала... Сегодня ведь вся Москва, конечно, кричит уже о молодой талантливой ученице драматических курсов, которая отравилась, потому что ее обольстил знаменитый Мауэрштейн... Вот, выздоровеет она, покажется в публике, — ну две три prud'ки *, может быть, не поклонятся ей при встречах, падшая!.. Зато — сколько участливых, любопытных, жадных взглядов: «Мутузова? Ах, это та, что травилась?.. с которою Мауэрштейн?.. А ведь преинтересная, действительно: не удивительно, что Мауэрштейн наделал глупостей... Что-то роковое, печать страдания и таланта...» Ха-ха-ха! Я уверен, что Лидочкин антрепренер уже получил телеграмму о приключении и прыгает козлом от радости, что заполучил этакую благодать — ingenue dramatique **, обольщенную самим Мауэрштейном! Какая она актриса, — это еще бабушка надвое говорила, зато выйдет на сцену сразу в нашатырном орео-ле... Нет, Лидочка не глупа! Она у нас с расчетцем! Весьма не глупа!..

---

* Зд.: ханжи (*фр.*).

** Юная простушка, инженю (*фр.*).

Он встал, потянулся и обратился к мрачно молчавшему Бурсту:

— Полагаю, Федос, что глупейшую задачу нашу мы можем считать оконченною. Я говорил тебе, что реабилитировать добродетель — неблагодарная импреза... Извинимся же пред Иосифом Федоровичем за напрасное беспокойство и оставим его одного, потому что он очень загрустил... Вы, Мауэрштейн, не вешайте очень носа-то! Утешайте себя хоть с практической точки зрения: если публике интересна актриса, которая отравилась из-за пианиста, то растет и новый интерес к пианисту, из-за которого травятся молодые актрисы... Погодите! Будет время, — предсказываю вам, как пророк! — мы столь преуспеваем в науке геростратова шума и скандальных реклам, что самоубийц по любви можно будет нанимать на разовые в театральных бюро... а может быть, дорастем и до ангажемента коварных обольстителей!.. Так — не обижайтесь на нас очень-то... И — до приятнейшего свидания.

— Бурст! Бурст! И сплясали же мы медведей!.. — продолжал Квятковский уже на улице в летучих санках своего неразлучного кредитора Матвея. — Есть за что поблагодарить Лидию Юрьевну! Еще добрый этот Иоська Мауэрштейн: другой бы просто приказал вытолкать нас в шею.

Бурст, не отвечая, рассуждал:

— Опомниться не могу... Все спутала... Хорошо! Предположим, что ты прав. Шум ей нужен был, отравилась для скандала... Но нас-то, нас-то зачем она вмешала? Нам-то зачем представлялась жертвою, плакала и лгала?

— А надо полагать, друг мой, что для сценической практики. Школу она покинула, до сезона далеко, — вот и играет в жизни, чтобы не потерять удара...

— Уж это чересчур: ты злишься!

— Злюсь, — откровенно сознался Квятковский. — Я редко злюсь серьезно, но сейчас злюсь. Не люблю становиться в

дураках даже у Господа Бога моего, не токмо что у Лидии Юрьевны Мутузовой.

Бурст уныло добавил:

— Тебе — что? Сидел скромным наблюдателем. А ведь меня она так натравила, что я и впрямь мог избить этого Иосифа... мог вышвырнуть из окна, заставить драться на дуэли...

— Только этого и недоставало!.. Ах, милый тевтон! Ты такой старательный парень, что если всю нашу Лидию заложить и продать, перетряхнуть и вывернуть наизнанку, то и тогда у нее не хватит средств расплатиться с тобою по театральному курсу за твои рекламы... А ты — gratis*. И это трогательнее всего.

— Впрочем, — продолжал он, кутая нос в воротник, — я уже умягчил дух свой: не будем слишком дурно думать о человеческой натуре. Могло быть и так, что просто Лидочке стало совестно за комедию, которую она сыграла для всех, — ну а назвалась груздем, полезай в кузов: уже не посмела прекратить спектакля и для нас, — будь, мол, что будет... Ну и, конечно, прав Мауэрштейн: истеричка! Оне всегда так — очертя голову и без малейшей логики... Черт их разберет! Может быть, она, когда мы были у нее, в самом деле мечтала еще выйти за Мауэрштейна и воображала себя и беременною, и обольщенною, и брошенною. А к утру — передумала и все взяла назад, да кстати позабыла и то, что говорила нам и как тебя натравила...

— А мы отдувайся?

— А мы отдувайся.

— Скажи, Макс, отчего это?

— Что?

— Фокусницы какие-то народились... вот хоть бы Лидия эта?

Квятковский пожал плечами.

— От мужского свинства и женского безделия, милый друг! Поставили мы женщину своего общества так умно и

---

* Даром, бесплатно (*фр.*).

справедливо, что она — либо сытая раба, либо подвижница и мученица полуголодная, либо торжествующая кокотка. Ну а кокотке ничто кокоточное не чуждо. И прежде всего — выставка. Выставляются, — потому и фокусничают... Нельзя без фокусов: конкуренция велика. Без фокусов теперь не то что гнилой, а и хороший товар с рук не идет... А знаешь что? Не заехать ли нам сейчас проведать Лидочку? Любопытно-с!

— Мне и видеть-то ее противно... еще брякну что-нибудь...

— И брякни: ничего! Имеешь свое полное римское право! Позиция или, как у них по-театральному говорится, ситуация позволяет.

— Да кабы она здоровая была... А то ведь корчи какие-нибудь сделаются...

— Ну как знаешь... А я заеду... Довезу тебя на Немецкую улицу: прокатиться хочется, — и к ней. Давай держать пари: примет или не примет?

— Почему же не принять?

— Нет, если она вчера сознательно нас дурачила, то не должна принять, и любовались мы ее великолепием в последний раз в нашем знакомстве... Этаких штук не прощают и не забывают с обеих сторон!.. А впрочем, пределы наглости человеческой еще не исследованы, и наши дамочки на этот счет — народ пренаивный...

Квятковский ошибся: едва горничная доложила Лидии Мутузовой об его приходе, как та приказала звать его скорее, скорее. Больная лежала бледная и интересная в пышных подушках, и на светло-розовом одеяле белели листки телеграмм и распечатанные конверты писем...

— Смотрите, сколько! — улыбнулась она Квятковскому. — Почти от всех знакомых... Право, я даже не ожидала, что меня так помнят и любят... И что народу перебывало сегодня узнавать о здоровье! Но я никого не принимала: устаю... Только вас велела впустить. Садитесь, милый Максим Андреевич. И, по-

жалуйста, близко, близко, потому что я должна надрать вам уши... да! вам и медведю Бурсту! Что это, право? Словно дети! Пошли и чуть не натворили глупостей... За рыцарство, благодарю, но... Я вчера нервничала от боли, была сумасшедшая, злая... Нельзя же принимать серьезно все капризы и слова нервной, больной женщины.

— Лидия Юрьевна! Что выдрать уши нам следует — я согласен: сам давеча Бурсту говорил, и даже еще хуже... Но, путаница вы моя очаровательнейшая! Откуда вам подвиги наши известны? Кто успел сказать?

— Как кто? Но он же... Жозь!

— Мауэрштейн?!

— Ну да, мой Жозь.

— Он был у вас?

— И сейчас здесь.

— Здесь?!

— Ну да. Чему же вы удивляетесь: где же ему и быть, как не у меня, если я больна?..

— Лидия Юрьевна! Позвольте позвонить горничную: пусть обольет меня холодною водою... я, кажется, в бреду.

— Он только не очень рад с вами встретиться... Я отправила его покуда к своей почтенной родительнице: пусть раскладывают пасьянсы...

— Пусть, пусть... Следовательно... имеем честь поздравить? Исаия ликует?

Она слабо шевельнула головою.

— Ни за что... Связываться?!

Указала глазами на телеграммы.

— Это он мне распечатывал и вслух читал.

Квятковский взял одну:

Всем сердцем сочувствую бедной жертве, возмущена гнусным поступком, злодея накажет Бог!

Ольга Каролеева

— Ну конечно: наш пострел везде поспел!.. И эту телеграмму тоже читал вам вслух Иосиф Федорович?

— И эту, — лениво протянула Лидия, закрывая глаза. — Затем целуйте ручку и ступайте прочь: изнемогаю... И скажите моим, что буду спать, чтобы ко мне не входили.

Проходя мимо комнаты старухи Мутузовой, Квятковский заметил Мауэрштейна. Он, сгорбленный, как под тяжелым мешком, сидел на диване и бросал на стол карты, точно автомат, похожий головою и мертвенным лицом на фигуру из слоновой кости... Квятковский чуть-чуть не крикнул было ему злой шутки, но успел вглядеться и сдержался, стал серьезен, и был рад, что сдержался...

«Что напомнил мне он? — с жалостью размышлял бесшабашный молодой человек, покуда Матвеев рысак мчал его Москвою, ужасая прохожих, озлобляя городовых и восхищая рысью скучающих сидельцев в открытых лавках. — На кого он похож? Да! Помню: в иллюстрированном издании поэмы Кольриджа «Старый моряк» Смерть играет в кости с Жизнью, и вот у Смерти такое же лицо... Любовь сильна, как смерть. И, кажется, иногда — похожа на смерть...»

ВЛАСТЬ ТЕЛА

XL

Маргарита Георгиевна Ратомская слишком легко брала значение Агаши в жизни сына. Обманутая смирением и тактом девушки, а еще более — собственным высокомерным, хотя и всегда ласковым, панским отношением старой польской дворянки к «хамке», как к существу иной и бесконечно низшей породы, которая пред господами провиденциально поставлена безропотною, бессловесною и безответною, — старуха

не разобрала, с кем имеет дело. Агаша не напрасно хвалилась своею властью над Володею в ночь, когда гостевала у Тихона Постелькина. Своим сильным, скрытным характером она крепко надавливала на мягкую, податливую, как воск, душу Володи. Нерешительный охотник советоваться, он, подобно многим экспансивным людям, как скоро завелась у него тайна, должен был роковым образом очутиться в рабском подчинении у той, с которою тайна его связывала и с которою единственною он мог свободно говорить о тайне, как с соучастницею. Чувственная привычка росла с страшною быстротою и силою, исподволь перерождаясь в привычку нравственной зависимости. Прошел месяц, другой, третий, и Володя, сам того не замечая, выучился смотреть на все в окружающем быту глазами своей любовницы. Агаше не нравилось, что Володя много ходит по гостям и пропадает «в чужих людях» до вторых петухов, и как-то само собою, даже без ревнивых просьб и громких сцен, вышло, что Володя перестал выходить куда-либо, кроме Каролеевых и театра. С театром Агаша не решилась и не находила нужным бороться: уж очень горел душою к нему молодой человек! Агаше не по вкусу были Володины товарищи: часто ходили, много курили, поздно сидели, требовали долгой услуги, — словом, утомляли ее и оказывались не с руки ей, как горничной. Опять-таки без ссор, дутья и резких требований она сумела устроить, что Володя к одному охладел, на другого надулся, третьего приревновал, четвертого перестал приглашать, при пятом сидел такой небрежный и скучный, что тот сам обиделся и уже больше к Ратомскому ни ногой. Самонадеянная, испытанная в своем грубом женском обаянии, Агаша не была ревнива от природы, не любила и не старалась ревновать. Володя не сразу отстал от своих платонических увлечений. Агаша понаблюдала эти его романы, пригляделась...

«Книжки читают и из книжек друг с другом говорят, а больше ничего, — спокойно решила она. — Мне же луч-

ше! С ними выболтается, мозги проветрит, а ко мне, врешь, придет...»

К тому же единственная сколько-нибудь серьезная привязанность Володи «для чтения книжек и разговоров из книжек» — Любочка Кристальцева благополучно вышла замуж за Адриана Ивановича Бараницына и сразу проявила столь стремительную готовность продолжать род дворян Бараницыных, что даже сконфузила всех родных и знакомых. А Володя по случаю этих плачевных слухов дня три ходил не в духе и мурлыкал себе под нос фразы Рауля из «Гугенотов»:

Нет, не любовь, презренье к ней!
Нет, не любовь, презренье к ней.

Потом сочинил стихи во вкусе лермонтовского «К ребенку», — очень развеселился, что вышло удачно, — и... как рукою сняло! Любочка Кристальцева скатилась с горизонта его жизни, точно потухший метеор... А за нею начали гаснуть и остальные Лидочки, Серафимы и tutti quanti, дарившие минутными вспышками его юношеское сердце и мгновенными вдохновениями его способную голову, полную красивых звуков и звонких образов... пустых и радужных, как мыльные пузыри!

Он никогда не сознался бы не только другому кому, но и себе самому, что боится Агаши, но уже боялся ее. Первою же ссорою, — тогда, в самом начале их связи, — Агаша показала, что не намерена быть игрушкой барских капризов, и заставила высоко ценить свои ласки. Володя внимательно следил за ее настроением и трусил, когда она дулась. Он волновался, как при первом свидании, если Агаша хоть получасом опаздывала прийти к нему. А та, быстро приспособившись к его тревожному, подозрительному характеру, к мечтательной привычке чувствовать себя виновным и искупать вину, принимала его волнения как должное и умела вовремя прилас-

кать, вовремя обидеться. Она усвоила себе тон некоторого превосходства над молодым барином, но Володя дорого платился за каждое небрежное или неосторожное слово. Для всех в доме Агаша оставалась по-прежнему молчаливою, покорною, почтительною горничною, готовою беспрекословно исполнять все, что прикажут. Но его, Володю, отучила видеть в ней служанку быстро, резко и решительно.

Последняя ссора их вышла из-за визита молодых Бараницыных, то есть Любочки Кристальцевой с мужем, по возвращении их из свадебного путешествия. Случай был слишком соблазнителен, чтобы Володя не «пустил Байрона», как выражался о нем в таких случаях Макс Квятковский. Он употребил все средства своего таланта, чтобы растерзать угрызениями совести сердце коварной изменницы. Но надо сознаться, что трагические усилия пропали даром: коварная изменница в качестве счастливой новобрачной была до глупости влюблена в своего молодого мужа и, кроме его русых бакенбард, длинного белого носа и молочно-голубых глаз навыкате, ничего не хотела видеть, кроме его горлового баритона с важными, дворянскими переливами, ничего не желала слышать... Маргарита Георгиевна уговорила Бараницыных остаться обедать, а там подъехали Ольга Каролеева с мужем и бессменным своим адъютантом Илиодором Рутинцевым, послали записки Лидочке Кристальцевой, сестрам Бараницына, — и сложилась сразу молодая веселая вечеринка.

К несчастью для Володи, байронический спектакль, пропавший для влюбленной Любочки, был хорошо замечен, понят и оценен по достоинству Агашею. Скользя по комнатам за услугами, она ни на минуту не теряла из глаз Володю с его бывшею «пассией». Сперва она насмешливо улыбалась про себя, потом нашла, что представления уже довольно, — заходит слишком далеко! — осердилась и нахмурилась. А Володя ничего не видел и, увлеченный новою драматическою ситуаци-

ей, пел перед Любочкою слова, полные скрытого яда и прежестоких намеков, пел, пел, пел, как умирающий соловей над бездушною розою. Он пел, а Любочка смотрела через комнату на мужа и жевала конфеты, уничтожая их с жадным проворством беременной женщины, которая еще не знает о своем положении... И до того дожевалась, что даже побледнела.

— Вам нехорошо? — не без злорадства спросил заметивший Володя: внезапную слабость Любочки он не усомнился отнести насчет своего трагического красноречия.

Любочка оправилась.

— Нет, ничего, с головою что-то... Уже прошло... Я бы попросила у вас стакан воды.

Агаша в эту минуту проходила мимо них.

— Агаша... воды! — бросил ей приказание Володя, не глядя на нее, через плечо и как-то уж чрезвычайно свысока — таким барским тоном, что и с прислугою-то этак разговаривают только на театре, в высокой комедии.

Агаша принесла Любочке стакан воды на подносе, подождала, покуда та пила, и ушла с лицом столько же бесстрастным и каменным, как пришла. Но нечто в ее походке, когда она уходила, заставило сердце Володи екнуть. Он вдруг оборвался петь сладкозвучным соловьем, поскучнел и, благо подошел Илиодор Рутинцев, откачнулся от Любочки и — когда на него никто не обращал внимания, в общем шуме и суете молодого оживления, — незаметно вышел из гостиной. У лестницы в свою комнату он нашел Агашу с знакомым и страшным ему черным лицом в припадке молчаливой злобы.

— Что с тобой?

— Ничего-с!

— Как ничего? Ты обиделась на меня?

— Не за что мне обижаться: невелика барыня!.. Горничная. Стало быть, кому господа велят, тому и должна служить... от звания своего не отказываюсь.

— Пошли слова! Пошли жалкие слова! — попробовал засмеяться Володя.

Но девушка посмотрела на него такими глазами, что смех застрял у него в горле и язык прилип к нёбу.

— Вот что, Владимир Александрович, — сказала Агаша жестко и спокойно, — кабы вы не вышли сюда ко мне, вам бы больше и не видать меня никогда. Ищите себе другую Агашу!.. Ну а раз вышли, — вот вам теперь мое решительное слово. Ежели вы сейчас пойдете туда, в гостиную... к барыне этой... так я завтра же возьму расчет! Ищите себе другую Агашу!

— Помилуй, Агаша, меня ждут...

— Пускай ждут!

— Там Ольга танцы затеяла... как же мне не выйти?

— Потанцуют и без вас. Кавалеров довольно.

— Подумай сама, прилично ли это? Что мама скажет?

— Как вам будет угодно... Вся ваша воля... Ищите себе другую Агашу... Вся ваша воля... — твердила горничная, все злобнее и злобнее омрачая свои глаза, все крепче и крепче стискивая губы. — А вы скажите, что нездоровы! Зубы разболелись. У вас ведь часто зубы болят.

— Воля ваша, Агаша: это ужасно глупо!

— Пускай глупо — да я так хочу!

— Ведь скучно же наконец сидеть одному, когда внизу веселятся!

— Как вам угодно... Вы себе господин... Ищите другую Агашу!

Володя махнул рукой и пошел в свой мезонин. Через минуту ему самому казалось, будто у него страшно заныли коренные зубы... В утешение себе он уселся вычитывать корректуру своей новой поэмы «Царица фиалок»: с действием во времена короля Артура, с героем — рыцарем «Круглого стола» и с такою эфирною героинею, что сквозь ее опаловое тело просвечивала изумрудная душа; когда же она ступала

по Млечному пути, — великому ковру небес — по земным коврам она ступать не удостаивала, — то под ногами ее вырастали фиалки, на каждом лепестке которых сияли плачущими бриллиантами семь звезд Большой Медведицы... «Медведица» была набрана через «Ѣ» в первом случае и через «е» во втором. Володя свирепо поправил... А внизу кто-то — должно быть Евграф Каролеев, обычный тапер своей супруги, мягко играл вальс «An der schönen blauen Donau» *, глухо доходивший к Володе сквозь потолки и мягкий толстый ковер... Агаша — у лестницы — ворчала на верную и безответную рабу свою Аниську, и Володе казалось, что он узнает в ее голосе следы неукрощенной бури...

«Как, однако, любит меня эта женщина!.. — с самодовольством думал он. — И как ревнует, оказывается... Тигрица!.. Прав Квятковский: Кармен, совершенная Кармен... Право, я рад, что ее послушался... Приятно чувствовать себя так любимым... Вот любит! Вот любит!.. Кармен!..»

* * *

В своем кругу Агаша, с тех пор как прошли слухи об ее отношениях к Володе, была как бы окружена ореолом и восторга, и ненависти... И завидовали ей страшно, и надеялись, что — авось скоро Агаша споткнется, «сковырнется» и выпроводят ее от Ратомских в три шеи, и настанет время — после зависти ее презирать.

Однажды под Смоленским рынком она столкнулась носом к носу с Варварою Постелькиною, но та осыпала ее злобными искрами из глаз и, не ответив на поклон, побежала мимо скоро-скоро. Агаша не смутилась и окликнула подругу вслед.

— Напрасно так спесивы — не хотите здороваться, Варвара Гордеевна. Не за что вам на меня гневаться, вины на мне против вас никакой нет. Что планты ваши не сошлись, на

* «На прекрасном голубом Дунае» (*нем.*).

том не взыщите, не моя, значит, судьба, а вы хотите — ссорьтесь, хотите — давайте дружить, но мое к вам расположение, как было, так остается прежнее. И к Тихону Гордеичу тоже. Я вам завсегда преданная и желаю добра.

— Оно и видно, — буркнула Варвара, нехотя подавая руку.

— Ничего не поделаешь, ангел ты мой, — говорила ей между тем Агаша. — Нет такого человека на свете, чтобы оставался довольный положением, как ему Бог дал. Всякому хочется хоть на вершок поднять самого себя от земли за волосы... Ну иным и удается. Вот и я... И, что ты на меня серчаешь, в том ты неправая. Что на морозе стынуть? Пойдем-ка, пойдем-ка со мною — я тебя чаем напою. Да и поговорить надо... Да! Хочу, чтобы ты знала мое добро, — хочу тебе глаза расслепить и секрет один открыть... пойдем, не бойсь, потом в ножки поклонишься, спасибо скажешь...

— Секрет? Да ты — о чем? Какой секрет? — пытала, машинально следуя за нею, заинтересованная Варвара.

Агаша, усмехаясь, отвечала:

— А вот как раз о том, как это надо делать, чтобы человек мог сам себя за волосы от земли поднять... Пойдем, пойдем... О брате твоем хочу говорить. Глазаста ты, мать, только глазищами своими плохо видишь.

И сидели они за самоваром в тихой и темной буфетной квартире Ратомских вдвоем долго-долго и шушукались тихо-тихо, с оживленными лицами и блестящими глазами. И, когда расстались, то, — всегда живая, как ртуть, и подвижная, точно в нее игла впущена, — Варвара возвращалась домой не в обычай медленным шагом, и глаза ее сосредоточивались в глубокой, новой думе, и сухой лоб покрылся тонкими морщинками. «Путает Агафья, — размышляла она, — широко раскинулась, всех очень в дураки ставит, возвышается мечтою... А хорошо бы, как она советует... Чем лукавый не шутит?.. У нее голова на плечах есть, не с бухты же барахты брякает, — что-нибудь да заметила... Любовь-то она, правда, —

преглупая: прихотью горы опрокидывает... А уж хорошо бы! Так-то ли бы хорошо!»

И с тех пор она ходила день за днем, нося и растя в себе заброшенную думу, сгорая к ней и желанием, и страхом. И, полная тайною, стала чрезвычайно осторожна и молчалива со всеми — особенно же с барышнею Сонею. С нею Варвара избегала теперь даже встречаться глазами, как человек с совестью, нечистою против другого человека, — и взгляд ее, которым она никак не умела управить, привыкнув целыми годами к полной откровенности с Сонею, сделался престранный. Когда Соня не замечала, Варвара смотрела на нее, как очарованная, не отрывая глаз, и было в созерцании этом что-то и ласковое, и враждебное, и умильное, и хитрое-хитрое, с грубым и жадным «себе на уме». Так большая и опытная крыса смотрит на кусок сыра в проволочной ловушке: как его выхватить, не тронув пружины, чтобы не захлопнуло западнею?

Уже несколько недель Соня жила почти в одиночестве. Скандал Мауэрштейна и Лидии Мутузовой, громко огласившийся по Москве, — сверх ожидания и совсем не в обычай, — возмутил Валерьяна Никитича страшно, и он даже вне всех своих правил проявил «родительский деспотизм»: запретил Соне навестить больную Лидию и выразил положительное желание, чтобы эта девица более не посещала его дома. В другое время Соня, может быть, и заспорила бы, но теперь — после той странной ссоры — между нею и Мутузовою уже легла полоса беспричинного охлаждения, и оно — беспричинно же — росло и росло. Что касается Лидии, ей, охваченной общественным вниманием и участием, было совсем не до Сони.

— Наша интересная самоубийца! — острил Квятковский.

Скучающая Москва носилась и возилась с «интересною самоубийцею» как с пикантною новинкою добрый месяц. Салоны отходящей в вечность железнодорожной и нарожда-

ющейся коммерческой аристократии соперничали: где Лидия раньше появится? У Ольги Каролеевой она была теперь свой человек. Великим постом Лидия уехала со своим антрепренером в артистическую поездку и настолько забыла о Соне, что даже не уведомила ее, когда отбывает... И жила Соня одна-одна. И ходила вокруг нее задумчивая Варвара, и смотрела глазами, полными загадочного замысла.

Снаружи все как будто оставалось по-прежнему. Ни барышня, ни горничная не говорили одна другой ничего, выходящего из круга их постоянного, каждодневного обихода. Однако смутный инстинкт подозрения работал между ними, прокладывая незримые, отчуждающие черты. Чувствовалось вторжение в жизнь чего-то нового, необыкновенного, зреющего, что может перевернуть вверх дном и самую жизнь. Чувствовалось нарастание тайны. И сознание, что в ней ищут какой-то тайны, отражалось на Соне тяжелым и тоскливым настроением. Если Варвара напоминала собою крысу, которая видит лакомый кусок, но боится его схватить, то у Сони появилось растерянное выражение доброй собаки, которая знает, что хозяин на нее сердит, а не понимает, за что, — но во всяком случае готова быть и без вины виноватою и принять наказание, хотя боится наказания страшно — всею дрожащею своею шкурою и робкими, ласковыми глазами.

Уроки, которые давала Соня брату Варвары, Тихону Постелькину, прекратились очень вскоре после того свидания, что в вечер свадьбы Евлалии Ратомской с Георгием Николаевичем Брагиным устроили себе Тихон и Агаша. Оборвались уроки по вине Тихона. Он вдруг словно отупел. Заниматься стал отвратительно, объяснения слушал рассеянно, понимал туго, а отвечая, нес такую чепуху, обнаруживал такую путаницу в мыслях и памяти, будто кто его дурманом опоил, и он позабыл все, чему его учили. Потом не пришел на один урок, на другой, на третий. Это бывало и прежде, когда у Тихона накоплялось много работы по лавке, так что манкировку прилежного ученика и Соня, и Варвара приняли за случайность. Но когда Тихон «не показал носа» в течение двух

недель, Соня начала удивляться и даже как будто обиделась, а Варвара озлилась и обычным вихрем полетела к брату — хорошенько обругать его и выпытать, что на него нашло. Объяснение они имели долгое, бурное, горячее. И после разговора этого то ласково-жадное, выжидательное и укоризненное выражение, что положили на лицо Варвары советы Агаши, сделалось еще явственнее, приняло большую уверенность, — теперь оно хотело быть заметным, подчеркивало тайну и вызывало на объяснения.

— Что же? — спросила Варвару Соня. — Разве Тихон Гордеич не будет больше учиться?

Варвара, не глядя, пробормотала:

— Ну что уж!

И прозвучало в ее голосе нечто, от чего Соня испуганно вспыхнула и была рада, что разговор происходит в сумерках и не видно Варваре ее сконфуженного, пламенного лица.

А Варвара, помолчав, продолжала:

— Просит извинить... Не приходит, потому что хозяин приставил его сортировать товар к Фоминой неделе для дешевки... Вот оно, ученье-то наше каково!.. Как кончит переборку, опять будет ходить.

Так говорила она, но Соня отчетливо слышала в ее тоне: «Не приходит, потому что имел несчастье влюбиться в тебя по уши, понимает, как это глупо и безнадежно, и не хочет мучить себя, а тебя ставить в неловкое положение... Вот оно — каково нашему брату, простаку, приближаться к вам, господам!.. Когда победит он свое сердце и спадет с него блажь, может опять прийти, если прикажешь».

И Соня обмирала, чувствуя себя грешницею — кругом, бессовестно, неизвинимо виноватою.

И не было дня, чтобы у Варвары не вырывалось при Соне как бы нечаянных, прозрачных намеков о брате:

— Погубили парня господские бредни! Ни в тих, ни в сих... От наших отстал, ваши не принимают! Был на своем месте человек как человек, а теперь — дурак ошалелый... И что ему

в мысли засело, желала бы я знать? Уж это нет хуже несчастья для человека, как ежели он не по себе дерево рубит...

Соня слушала, молчала, ужасалась и чувствовала себя все более и более виноватою.

А Варвара мрачно трубила:

— Вот разбили добрые люди, когда я хотела Тихона женить... А надо, надо обзаконить парня, покуда вовсе с пахвей не соскочил... Запутали малого барские фантазии! Намедни толковала я с ним: у него такие дури в голове, что — ну!.. не хочу его пред вами конфузить: смех и говорить!

Соня не спрашивала.

Ночью возвратившийся из всегдашних таинственных бегов своих Борис, проходя коридором, услышал из комнаты сестры слезливое сморкание и всхлипывания.

— Соня!

— Ну?

— Это ты плачешь?

— Я.

— О чем ты?

— Так.

— Нездорова?

— Нет... так!

— Дико!

— Скучно мне... ну и плачу...

— Да-да-а-а...

Борис задумался и вошел к сестре. Соня сидела на подоконнике, поставив ноги на кресло и уронив на колена тяжелые белые руки. Лицо ее было красно, красивые карие глаза влажны. При появлении брата Соня без испуга и медленно спрятала в карман какие-то белые клочки бумаги, рассыпанные пред тем на ее коленях.

— Письма читаешь? — спросил Борис, садясь к столу.

— От Лиды...

— А? Ну что она?

— Ничего... играет... пожинает лавры... веселится... очень большой успех... Всего два слова пишет — так только, чтобы отделаться от обязанности... Скучно!

— Письмо от Лиды скучно?

— Нет, все скучно... так... вообще...

— Скучно? Зачем же тебе скучно? — заговорил Борис. — Кстати: давно не спрашивал, — что твой ученик?

Соня ответила медленно и как-то глуповато.

— Редко ходит... Занят он чем-то...

— Этакой лентяище! Ну погоди, дай срок, будет мне время посвободнее, — уж я его, голубчика, проэкзаменую!

Соня молчала.

Борис соображал:

— Это от безделья на тебя наплывает. Займись, делай что-нибудь, не будет скучно.

— А... что мне делать? Я ничего не умею.

— Если хочешь, я тебе сейчас же дам работу — переписку одну... спешную... сделай к утру, спасибо скажу.

— Если тебе надо, давай, — согласилась Соня без всякого оживления.

— Да, мне-то надо... Мне всегда надо. Я всегда занят, и мне никогда не скучно. И если ты хочешь быть мне товарищем, то у меня всегда найдется для тебя что-нибудь такое, рабочее, спешное. Я оригинал на две половины разорву: одна — тебе, другая — мне... В два-три часа все до конца отработаем. Пиши косым почерком, клади буквы справа налево... понимаешь? — чтобы личности писца в манускрипте не оставалось, такие почерки все похожи один на другой...

Часам к пяти утра Соня с кипою написанных листков тихо постучала в комнату Бориса. Он за конторкою тоже дописывала последнюю копию.

— Молодчина, Софья! Ну а нервы как? Повеселела?

Соня с лицом спокойным, но усталым промолчала, зевнула и сказала:

— Спать хочу.

— Ступай, ступай... вались в постель, сестричка!.. Спасибо тебе: помогла!.. Эка работа-то: лучше литографии! Золотой у тебя почерк, Соня!

— Я в гимназии за чистописание двенадцать имела... — с гордостью сказала она, но тут же улыбнулась с так ей свойственною добродушною откровенностью. — Только за чистописание мне и ставили хорошие отметки...

— Соня! — окликнул ее Борис, когда она уже выходила.

— Что, Боря?

— А ты понимала, что писала?

Соня очень нерешительно протянула:

— Да-а-а...

— Нравится?

— Да-а-а... Что все люди равны, и имущество у всех должно быть равное... Только ты, Боря, не заставляй меня рассказывать! — поспешила защититься она, — я, во-первых, спать хочу, а во-вторых, я все поняла и чувствую, но — ты знаешь, у меня никогда слов нет, и язык ужасно тугой. Покойной ночи.

— Скажи: покойного утра, — засмеялся Борис.

— Бедная Соня! — вздохнул он, проводив сестру, — должно быть, ей действительно ужасно скучно жить с такою тяжелою головою... и без дела... и еще в нашем пустыре... И фразу эту ее, что все понимаю, только не спрашивай — рассказать нету слов, я слышал уже от кого-то... Только никак не могу вспомнить, от кого... А надо вспомнить: это наводит... тут — единство недоразвитого интеллекта, обобщающая нить...

XLI

Но Борис не вспомнил, а назавтра, умчавшись в город, и вовсе позабыл ночные Сонины слезы. Все позабыли

Соню: и — с каждым днем опускающийся все глубже и глубже в полоумное чудачество — старый отец; и Антон — совсем одичалый в своем отравленном, молчаливом одиночестве, заключившийся в мучительное смотрение внутрь себя, полный почти суеверного ужаса пред карикатурными галлюцинациями извращенной чувственности и самоубийственно заливающий их коньяком; и Борис — весь озаренный и поглощенный фанатическими трепетами молодой алой зари... Все думали — каждый о своих умностях и безумиях, но никто не думал о Соне, никому не было дела до нее — молодой, красивой, созревшей, огромной, толстой, глупой. И только оранжевая луна, царящая на антресолях, что-то слишком часто стала призывать к себе то самоё Соню, то Варвару и вела с ними свои дикие, лукавые, наглые разговоры.

— Красавица из тебя выровнялась, Софья, — говорила она, — если бы прибавить хоть один золотник ума тебе в голову, краше тебя невесты не было бы по всей Москве. А, впрочем, что удивительного, если у тебя слабая голова? Иной по природе не умен, так от людей ума наберется. А тебе откуда умнеть? Никого не видишь, слов хороших не слышишь... Прежде хоть Лидия Юрьевна тебя не оставляла, а теперь ты совсем осиротела... живешь, как в монастыре. Только роденька шальная вокруг тебя полоумные рожи свои строит... Я еще удивляюсь на тебя, как ты сама-то еще терпишь это, — не сбесилась? А сбесишься... нельзя тебе не сбеситься! Вижу я, вижу твой скорый предел... Тебе который годок-то пошел? Никак уже семнадцатый?

— Помилуйте, Марина Пантелеймоновна? Восемнадцать было... девятнадцатый...

— Ну скажите пожалуйста, как время летит! — притворно изумилась лицемерная старуха. — Ведь и впрямь девятнадцатый... Ай-ай-ай! Жалости достойно, куда твоя молодость уходит... Замуж тебе, сударыня, пора, давно пора замуж. Маменька твоя, Наталья Борисовна, в твои годы уже

два брюха сносила, а ты — мало-мало в куклы не играешь еще... девкам письма пишешь... чулки вяжешь... Куда отец-то, дурак, смотрит? Беспременно пора выдавать тебя замуж.

— Кто меня возьмет? — отнекивалась краснеющая, смущенная Соня.

Марина Пантелеймоновна посмотрела на нее глазами снисходительного презрения.

— Вот мать твоя, Наталья Борисовна, никогда бы таких глупых слов не сказала, потому что она — орел-дама была! огонь!.. «Кто возьмет...» И что это, право, за девки ныне пошли? Никакого в вас самолюбия нету... Что ты — вещь бездушная или живая тварь? Это — дивану или комоду вот этому надо дожидаться, кто его возьмет да с места на место передвинет, а женщина должна сама устроить движение своей жизни... «Кто возьмет...» Тот возьмет, кому ты захочешь отдать себя, — вот как рассуждать надо! вот кто возьмет!.. Наталью Борисовну, покойницу, родители прочили совсем не за папеньку твоего, — почитай, что уж сговорена была с князем Буй-Тур-Всеволодовым, да не было на то ее девичьей воли, — ну и распорядилась собою по-своему, утерла нос родителям-то... Только глазами похлопали, как в одно прекрасное утро подкатила к крыльцу карета, и — входит дочка великолепная, под руку с нашим Валерьяном Никитичем: позвольте, папа, мама, рекомендовать вам моего законного супруга... только что повенчались, прошу любить да жаловать. Мать кричит: «Что? как? когда? Невозможно! Я же вчера вечером сама видела тебя в постельке твоей и крестом перекрестила на сон грядущий?..» А Наталья Борисовна: «Ах, мама, уж будто я настолько неуклюжая, что не сумею при случае в форточку вылезть?..» Вот какова орлица была твоя родительница. А ты — «кто возьмет»!

Марина Пантелеймоновна так долго грохотала своим железным смехом, что даже раскашлялась.

— А смешнее всего, — продолжала она, немного успокоясь, но багровая от судорожных напряжений, — всего смешнее, душа моя, что и Валерьяна Никитича-то она окрутила — так, по капризу своему, и сверх всякого его ожидания... Он тогда тоже целил совсем в другую паву — по Маргарите Жерновской вздыхал... вот, что теперь Ратомская, вдова, старуха... а Наталья Борисовна с Маргаритою Георгиевной смолоду всегда и во всем соперницы были, — та красотою побеждала и характер имела приятнейший, а наша брала удалью... Подметила она, стало быть, что у Маргариты Георгиевны с Валерьяном Никитичем дело как будто налаживается к предложению руки и сердца, — и вскипела: «Не потерплю, — говорит, — чтобы Маргаритка выскочила замуж раньше меня, да еще за Валерьяна Арсеньева! Мой кусок!..» Ну и налетела коршуном, закрутила вихрем, захватила, отбила, обезумила, сердце сожгла... сам не опомнился, как женился!.. Да, значительная женщина была твоя маменька, дружок мой. Таких удалых ныне больше нет уже... перевелись...

Соня слушала старые, давно ей знакомые фамильные предания кошмарного дома, молча, ничего не выражая своим большим прекрасным лицом. А Марина Пантелеймоновна зорко вглядывалась в нее и продолжала:

— Удивительное это дело, как молодой человек способен меняться в своей наружности. Смотрю я на тебя... большая в тебе перемена. Чертами лица ты, конечно, всегда на маменьку походила, но глаза у тебя были, с позволения твоего сказать, овечьи глаза... сразу видать, что Борисова сестра! кислятина бесстрастная! А теперь ты иной раз взглянешь — вылитая Наталья Борисовна... только тебе надо привилегию отдать: против маменьки ты вперед ушла — много красивее...

Соня краснела как маков цвет.

— Что во мне хорошего, Марина Пантелеймоновна? Большая... Толстая... точно деревенская девка... Я собою стес-

няюсь даже, вы хвалите... Мне всегда кажется, что надо мною все смеются...

— Дурак посмеется, а умный без памяти влюбится... Уж будто, Сонюшка, никто в тебя не влюблен?

— Я не знаю... откуда мне знать, Марина Пантелеймоновна? — терялась Соня под коварными глазами старухи.

А та, жуя губами, впивалась в нее испытующим взглядом, проницательным до дна души, и говорила:

— Сдается мне, Сонюшка, что лукавишь ты — младенец Божий! И тебя любит кто-то, и сама ты влюблена... оттого и настала такая в тебе перемена... Не спорь, не спорь: нет в тебе твоего прежнего ангельского покоя. В тебе черти прыгают... Натальи Борисовны дочка!.. Антошки безумного сестра!..

Однажды, когда Марина Пантелеймоновна разводила свои хитрые рацеи, Соня с головою, низко потупленною над вышиванием, отозвалась глухим и будто угрожающим голосом:

— Если бы и влюблена... вам-то что?

— Как — что, Сонюшка? — подхватила старуха, — порадовалась бы на тебя. По крайней мере, видела бы, что ты из пеленок вышла, разум свой находишь, женщиною становишься.

Соня возразила все так же глухо и мрачно:

— Не на всякую любовь обрадуетесь.

В глазах старухи мелькнула веселая молния.

— Не знаю... Я, девушка, и сама в старину любила много, и видала, как любят... И вот тебе мой старушечий завет: когда полюбится тебе кто-нибудь и почувствуешь ты, что в том человеке — твоя судьба, отваживайся: люби без оглядки... ни с кем не советуйся, ничьего запрета не слушай... как натура твоя приказывает, так и люби!.. Любовь дана человеку для него самого, только сам он — и судья ей... Ты говоришь: «На иную любовь не обрадуетесь...» Может быть, и не обрадуюсь... Я не обрадуюсь, отец твой, братья... А что

тебе до всех нас, если тебе самой будет радостно? Разве ты подряжалась радовать нас твоею любовью? Любовь приходит не для того, чтобы радовать других... она — твоя радость! Ты ею радуйся, а на прочих плюнь... Считаться в любви с чужими радостями или досадами — это значит убыточить свое счастье, понапрасну обувать жизнь свою в тесные сапоги. А счастья-то людям отпускается в жизнь порция маленькая. А жизнь-то и без тесных сапог узенькая и коротенькая... Наталья Борисовна, маменька твоя, бывало, так меня учила: «Помни, Марина, ежели плывет тебе в руки наслаждение, бери целиком, как оно есть, — надбавки спрашивай, но сдачи не давай».

Марина Пантелеймоновна так воодушевилась, что даже приподнялась немного с подушек своих.

— Да! — хрипло выкликивала она, блистая на красном лице округленными безбровыми глазами, точно сыпались искры из раскаленного горна. — Да, Сонюшка! Главное это дело, чтобы женщине быть счастливою: твори в любви свою волю и сдачи не давай... Людишки-то завистливы... натуришки-то робкие, мелкие, жидкие, куцые: развернуться широко им не под силу... ну вот и страшен, и противен им каждый человек, который не боится быть самим собою и брать жизнь свою полностью, без сдачи. Напридумали разных жалких слов и перегородок, чтобы любовь ограничить и подчинить всяким посторонним спросам и законам, словно гимназистку какую-нибудь... Но только человек настоящий, натурный, должен на все эти преграды и экзамены именно наплевать, как мы с твоею маменькою плевали... да! Одна жизнь-то, другой не будет... а старых девок, сказывают, на том свете заставляют козлов пасти!.. Одна жизнь, — в себя, стало быть, и прожить ее надо... свой простор вокруг себя размахнуть, а не запираться промеж чужих перегородок. Ведь только попусти себя к этому, — сейчас же и лишился всякой воли и счастья... Куда ни повернись — перегородка: знай лишь — лбом

стукайся да стони оттого, что шишку набила. Насочинили стыдов, страхов, грехов... каждому человеку посадили в душу попа, городового и гувернантку...

Соня молчала, но слушала с любопытством. Глаза ее горели огнем необычной задней мысли.

— Ты брата Антона любишь? уважаешь? — внезапно спросила старуха отрывисто и повелительно.

Соня ответила не сразу.

— Конечно, люблю и уважаю, только... боюсь я его... мне с Борисом легче...

— Борис твой — юродивый, — презрительно заметила Марина Пантелеймоновна, — только что неверующий он, а то давно бы пора Богу взять его за юродство живьем на небо... пущай бы сидел себе в раю между блаженными и делил им яблочки поровну. Нешто это человек? Совесть на двух ногах... уж именно, что окружился чужими перегородками со всех сторон. Свободы ищет, а сам целый день только и делает, что сажает себя из тюрьмы в тюрьму: это — совестно, то — нечестно, здесь — я обязан, там — права не имею... Тьфу!

— Для меня не ново, что вы не любите Бориса, — возразила Соня, — ваш любимец Антон.

По широкому лицу оранжевой луны медленно проползла улыбка, почти испугавшая Соню, — настолько она была ужасна...

— Вам нехорошо? — вскинулась Соня.

Старуха взглянула на нее с удивлением.

— Напротив, отлично... а что?

— Вы такую больную гримасу сделали...

Марина Пантелеймоновна рассердилась.

— Ты дура! Я смеюсь...

Но тут же задумалась. «А хороша, должно быть, душка я стала, если улыбкою своею людей пугаю... Ох, Софья, Софья! Береги красоту, пользуйся красотою... Самое это горькое дело для красивой женщины, — изжить свою красоту,

изболеть и состариться в киевскую ведьму... нет в этом горе утешения... нет...»

Она долго молчала, печальная, хмурая, злая. Потом заговорила:

— Антона я всегда любила больше Бориса и тебя за то, что он больше вас обоих — сын своей матери... Крепко я любила твою маменьку, Софья, в восторге перед нею весь век свой прожила... Вот теперь и ты становишься похожа на нее лицом — и уж как ты мне этим приятна бываешь... Да, подобной дружбы, как была у нас с Натальею Борисовною, в нынешнем веке уже не случается... ни господ таких нет, ни служанок... нет! Эх, кабы ошибся, соврал Антошка, да нашелся бы назло ему за могилою какой-нибудь тот свет! Вот тебе честное слово даю, я согласилась бы и в котле кипеть, и на сковороде жариться, только бы — рядышком с госпожою моею любезною, свет Натальей Борисовной... Мы с нею и чертей-то всех скружили бы и самого главного дьявола до отчаяния бы довели... Ах, Софья! Подурачились мы в свое время, повертели людишками в свое удовольствие... И хохотали же, бывало, вдвоем над глупостью и слабостью человеческою!.. В Антошке много от нее, от Натальи Борисовны, засело: недаром первый сын! Только и папенька тоже наградил его вашею арсеньевскою прокисью... На жизнь он безудержный, на все, что люди грехом почитают, дерзкий и смелый, — когда каприз свой выполняет или достигает страсть какую-нибудь, могучий он, грозный тогда бывает... Но характера выдержать не может: взлетит орлом под облака, а под облаками-то, глядь, арсеньевская прокись застонала... запели стыды да совести... ну и — камнем в грязь! Не умеет грешить, не оглядываясь: мастер сотворить свою волю и взять свое наслаждение, да много сдачи дает...

С Варварою Марина Пантелеймоновна не пускалась в отвлеченности, но коротко замечала ей время от времени:

— А Софья-то у тебя — ничего... выезживается.

И было в вылупленных глазах и дребезжащем голосе больной старухи столько безжалостного, цинического проникновения, столько холодного, застылого разврата, что даже не весьма чувствительную и совестливую Варвару коробило.

— Я, тетенька, не понимаю.

— Зато я тебя, племянница, очень хорошо понимаю... Ха-ха-ха... Объезжай, объезжай, — надо полагать, что объездишь... Когда надо будет, скажи: помогу... Ха-ха-ха... Я люблю посмеяться, а ты смешное химостишь...

— Ей-Богу, тетенька...

Марина Пантелеймоновна перебивала:

— Деньги-то есть ли?.. Смотри, девка, считай аккуратно: попы в таких случаях бывают придирчивые, жадные, алчные... много дерут!.. Да и полиция овчинку снимет.

Несмотря на видимую благосклонность проницательной старухи, Варвара после подобных бесед с Мариною Пантелеймоновною становилась не в духе, исполняясь чувствами, совсем ей нежелательными, потому что очень похожими на угрызения совести перед готовым совершиться преступлением. И на короткое время Варвара ослабевала, полная хмурой нерешительности и злости, в которой соблазн плана и задор действия боролись с раскаянием и жалостью. Сочувствие и поощрение Марины Пантелеймоновны и льстили Варваре, и были ей жутки. Так чувствовал бы себя человек, который, хотя и знал о себе, что он далеко не ангел, но не ожидал — внезапно заслужить профессиональную похвалу от самого дьявола: недурно, мол, очень недурно работаете, товарищ! Поэтому при всем искушении пользоваться руководством и советами Марины Пантелеймоновны Варвара тоскливо тяготилась ее расспросами и, когда тетка требовала ее к себе, племянница шла на зов,

как на пытку, зеленая от волнения. Мертвенная ирония этого бесстыдного, заживо разлагающегося полутрупа заставляла ее холодеть.

Зато к Агаше Варвара шныряла теперь каждую свободную минуту, стараясь выбирать такие промежутки, когда Маргариты Георгиевны наверное не бывало дома. И опять, и опять сидели две помирившиеся подруги в буфетной за самоваром и вели свой темный заговор. Варвара, бледная, задумчивая, сомневающаяся, порывисто и много шептала, точно исповедовалась. Агаша, с смугло-красным лицом и спокойно смеющимися презрительными глазами, уверенно бросала в редкий ответ свои контральтовые реплики:

— Брось ерундить... сомневальщица... Глупо слушать, право... Жаль? Чего жаль?.. Соблюдай свою пользу... На весь свет не нажалуешься... Я тебе говорю: влюблена, как кошка. Из влюбленной девки веревки можно вить. Не зевай, Варвара Гордеевна. Да что ты, в самом деле? Словно я ей злодейка какая-нибудь? Кабы я к баловству советовала, чтобы — поиграйся да брось, — вот это действительно совестно. А мы к хорошему делу ведем. Не губишь ты ее, а ейное благополучие на всю жизнь составляешь. До конца дней своих оба они будут благодарить тебя пуще родной матери. Глупости... Порода ихняя мне довольно известная... Коли по-настоящему закрутится, то и на отца не поглядит, и братьям в глаза наплюет. Разумеется, на сухой любви энтой каши не сваришь... Должен к тому довести, чтобы стала обязанная... Боится? Ах, дурень несчастный! С нашею сестрою — куда храбер, а как в барышню врезался, то святого труса празднует?.. Ну, девка, когда человек ловит свое счастье за хвост, ему эту глупую манеру, чтобы совеститься и бояться, надо бросить. Не сорвется... враки! У меня глаз верный. Пришла ее пора. Когда кровь горит, — не любя любят!

Восклицая эти отрывистые сентенции, Агаша нисколько не заботилась о том, что ее красивый носовой контральто разносится громким резонансом по пустой квартире, залетая и в мезонин к Володе, пишущему свои стихи или читающему чужие. Он услыхал, почувствовал заговор, тайну, заинтересовался.

— А, пропади ты пропадом! — отшучивалась от его допросов улыбающаяся, но немножко сконфуженная и раздосадованная Агаша. — Вот нажила грех. Ишь какой чуткий да ушастый. Много знать будешь — скоро состаришься.

— Нет, нет, ты не уклоняйся: вы затеваете что-то важное.

— И все — одно твое воображение, и ничего важного нет...

— Как нет? Я слышал. Ты должна мне рассказать, я хочу знать, я требую, я имею право.

— И совсем это не господское дело — подслушивать бабьи разговоры.

— Я не подслушивал, а нельзя не слышать: вы кричали на все комнаты.

— А если кричали, то, стало быть, нет и никакого секрета. О секретах не кричат, а шепотком разговаривают.

Но в конце концов Агаше пришлось признаться, потому что Володя серьезно обиделся на нее, заревновал, забеспокоился. По участию в заговоре Варвары он основательно заподозрил, что в тайне двух женщин замешан так или иначе и брат Варвары, Тихон Постелькин, а его Володя давно уже терпеть не мог. Молодой приказчик оставался — покуда — единственным мужчиною, к которому Володя ревновал свою Агашу. Он очень хорошо помнил, как еще задолго до начала их связи он застал Агашу с Тихоном в последний вечер пасхального гулянья на сумеречной Остоженке под воротами в любовном разговоре. Тихон звал девушку к себе на квартиру: пить чай; Агаша отнекивалась, но в конце концов, явилась с праздника домой лишь поздно ночью, так что на другое утро

даже получила строгий выговор от m-me Фавар. Володя знал, что Варвара Постелькина сватала брата к Агаше и что брак этот не состоялся совсем не потому, чтобы жених был неприятен Агаше, но потому, что как раз в это время увлекся ею он, Володя, и новая любовь вытеснила из ее мыслей прежний каприз. Совершенно ли рассеялся этот каприз? Володя не то чтобы сомневался, но — злился, что не чувствует в себе настоящей уверенности. И, злясь, ненавидел нисколько не подозревавшего о том Тихона Постелькина от всей души. Вообще с тех пор, как вся жизнь Володи — как-то незаметно по процессу, но очень ощутительно по результатам, — стала фильтроваться, словно жидкость сквозь пропускную бумагу, чрез его отношения к Агаше, молодой человек успел обзавестись почти непроизвольно несколькими ненавистями, мелочными, нелепыми, отчуждавшими его от прежних друзей и опасно сузившими круг его обращения. Особенно возненавидел Володя в последнее время Антона Арсеньева — после одной встречи и разговора в «Голубятне», когда мнительному юноше почудилось, будто Антон какими-то судьбами проник в секрет его связи с Агашею, и мефистофельски издевается над нею, и глубочайше презирает его за нее. Никогда ненависть не рождалась более случайно и незаслуженно. Антон не только не знал ничего о демократическом романе юного Ратомского, но, если бы и узнал, то пропустил бы мимо ушей, не обратив внимания. Тихон Постелькин говорил о нем правду Агаше, что «до нас ли ему? он скоро самого себя узнавать не будет...» А дело просто вышло так, что в тот плачевный вечер Володя прочитал Антону вслух свою только что оконченную «Царицу фиалок» с опаловым телом и изумрудною душою. Антон терпеливо выслушал и положил суд.

— Стихи блестящие... только уж очень душисты. Словно вы их три дня в цветочном одеколоне купали.

— Вам не нравится?

— Отчего — нет? Для любителей словесной парфюмерии — лучше не надо.

— Вы смеетесь?.. Это обидно.

— Совсем не смеюсь. И, пожалуйста, не считайтесь вы с моими эстетическими капризами. Я — одинокой старовер, а вы пишете для публики. Публика сейчас обожает искусственные ароматы, которые вы разливаете с таким совершенным и щедрым мастерством. Ваша поэма должна иметь огромный успех.

— Вы все-таки иронизируете... Согласитесь, однако, что — если поэту надо выбирать между ароматом и вонью...

— То победит аромат. Совершенно с вами согласен, хотя — о, Бодлер! — за одну строку его «Charogne» * можно отдать все ароматы Индии, которыми леди Макбет смывала с своих прекрасных белых ручек кровь Дункана и Банко... Что поделаешь, Владимир Александрович? Таков уже у меня круговорот мозгов, как выражается какой-то купец у Лейкина. В вонь жизни верю, в аромат — нет. И согласен со стариком Марциалом, что — довольно верная примета: «Нехорошо пахнет тот, от кого хорошо слишком пахнет...»

Володя надулся. Присутствовавший Квятковский вступился за него. Завязался спор об искусстве, о красоте, о только что проникшем в читающее русское общество Поле Верлене, о только что вновь запевших после двадцатилетнего робкого молчания старых соловьях чистой поэзии — Фете, Майкове, Полонском, о первых, чуть нащупывающих тропу свою декадентах... И вот в этой-то пылкой беседе Антон обмолвился случайным парадоксом, который обжег Володю, как кипяток.

— Странная вещь, — сказал он, — очень странная вещь — наш российский эстетизм! Сколько ни знавал я русских эсте-

* «Падаль» (*фр.*).

тов, — всенепременно либо он прерасчетливо норовит жениться на богатой купеческой дочери и зацапать в лапу хорошее приданое тысяч этак в пятьсот-шестьсот... вероятно, на предмет застрахования своей свободы zu irren und zu träumen! * Либо — если уж, в самом деле, очень идеалист, — его дома держит под башмаком собственная его кухарка или горничная. И — чем у фей его воображения изумруднее души и жемчужнее тела, тем тяжелее башмак у кухарки или горничной. Я знал покойного П. Отличный был стихотворец. Но как, бывало, нарифмует фей и атласных аллей, — так мы и знаем: значит, сегодня утром была у нашего поэта жестокая домашняя битва с верною Феклою, и верная Фекла, по обыкновению, отхлестала беднягу по щекам... А была эта Фекла, кстати вам сказать, истинная маримонда лицом, прихрамывала, грамоты не знала, пила водку и пиво, как пожарный, и характер во хмелю имела буйственный... И, тем не менее, длилось сие поэтическое сожительство лет двадцать с лишком... Фекла и глаза умирающему поэту закрыла, и в могилу его погребла... Странная, очень странная вещь — российский эстетизм!

Володя обомлел. Равнодушная тирада Антона попала ему не в бровь, а прямо в глаз. Он не сомневался, что Антон рассказал свою притчу с намерением — имея в виду именно его. Возражать, спорить было невозможно: значило бы обличить себя не только при Антоне, но и перед посторонними. Володя смолчал, задушив вскипевший было гнев. Но с тех пор он не мог вспоминать об Антоне иначе как с мстительною дрожью. «Из тварей на земле мне всегда противнее всех была кошка; теперь этот человек для меня кошка», — говорил Отелло о Кассио. Едва ли не кошкою для взбешенного Володи сделался, также совсем не подозревая того, и без вины виноватый Антон.

---

* Заблуждаться и мечтать! (*нем.*)

Смущенный, ревнивый подозрениями, обуянный подавленною ненавистью к Тихону, оскорбленный своим унизительным положением, раздосадованный таинственностями Агаши, Володя устроил своей возлюбленной бешеную сцену — в первый же раз, как опять побывала у Агаши Варвара.

— Я знаю, зачем она шляется, — орал он, бегая по мезонину и топая ногами. — Очень хорошо понимаю, о чем вы шушукаетесь... Она тебя со своим братом сводничает... Я вижу... А ты рада?.. Ты жила с ним... может быть, и теперь живешь!.. Дрянь... Изобью... Убью!..

Он бушевал так ново и настолько свирепо, что Агаша впервые за их сожительство почувствовала, что и у Володи есть — если не характер, то блажь, облеченная неистовым упрямством, способная сгоряча на дикие жесты и капризы, и потому лучше ей уступить. Успокоив Володю словами и ласками, она открыла ему свою тайну, — однако взяв с него слово, что он никому не проговорится.

— Мы не дурное что-нибудь затеваем, — шептала она на ухо Володе, лежа с ним на его широком турецком диване, — просто свадьбу налаживаем.

— Свадьбу? Чью свадьбу?

— А вот — хотим женить этого самого Тихона, которым ты меня попрекаешь. Видишь, глупый, как много я в него влюблена: сама ему невесту нашла и свадьбу свожу.

— На ком он женится? — спросил уже спокойно умягченный и умиротворенный Володя.

Агаша помолчала в некоторой нерешимости.

— Ох, уж женится ли, нет ли — не знаю еще, как дело выйдет... Похоже, что женится... А ладим мы... Да ты, ей-Богу, в самом деле, язык за зубами держать будешь?

— Я уже дал слово! — сердито и сухо бросил Володя нетерпеливый ответ.

— Ну... ладим мы так, чтобы... только, Володя, вот тебе мое истинное слово: если ты проболтаешься да выдашь нас

и дело сорвешь, — я тебя тогда и знать не хочу... расчет возьму и со двора сойду... Понял?

— Это скучно, наконец! Сколько же раз надо божиться?

— Ну с арсеньевскою барышнею хотим мы его окрутить... вот с кем.

— Что-о-о?

Володя поднялся на локте и устремил в невозмутимое лицо Агаши дикие, испытующие глаза.

— Что такое?.. Софья Валерьяновна Арсеньева — невеста Тихона Постелькина?.. Ты с ума сошла?

— Нет, ничего, — последовал мирный ответ.

— Ты бредишь или морочишь меня? Разве это возможно?

— Кабы невозможно, я и труда не взяла бы хлопотать.

— Кто она — и кто он?!

— А кто она? — с искусственным и неискренним равнодушием отозвалась Агаша. — По-моему, не великая птица. Дура, — вот и весь ее чин.

— Я не об уме Сони говорю, но Арсеньевы — старый дворянский род...

— Лет пятьсот как сумасшедшие! — вскользь вставила словцо Агаша.

— Валерьян Никитич — одно из первых лиц в городе...

— Бормотун старый. Людей судит, а самому давно пора сидеть на цепи. Нашел ты кем пугать! Его всю жизнь бабы за нос водили да помыкали им как башмаком изношенным. Шестьдесят лет дураку, а он до сих пор пред Мариною Пантелеймоновною как осиновый лист трясется, — слова не смеет пикнуть ей наперекор. Да и содержанку его я знаю. Другой бы на экую ведьму киевскую плюнуть не захотел, а она его калошею по голове лупит... Мужчина тоже! Отец! Хозяин дома! Родитель!

— Это, Агаша, его частные отношения, они к делу не относятся. Как бы то ни было, Софья Валерьяновна ос-

тается барышнею из хорошего общества, получила образование.

— Ну уж! — насмешливо протянула Агаша. — Только что по-французскому ковыляет с грехом пополам, а то, — какое образование возможно ей при ее беспамятных мозгах? Дай мне французский разговор, так я окажусь во сто раз образованнее, даром что я не барышня и в гимназии не училась... Потому что у меня — мозги легкие, продувные. А у нее — ровно их насморком заложило: не ворочаются... так студнем в голове и лежат... Она только тогда и не очень дура бывает, когда ведет компанию по себе: с нашею братией — черными человеками. Вот еще — письма горазда сочинять для деревенщины всякой, с нами, горничными да кухарками, о делах наших антиресуется, уборку комнатную понимает, по хозяйству присмотреть в состоянии... Что ей в хорошем обществе, коли она от общества твоего в людскую прячется? Видала я ее в обществе — хотя бы и у сестриц твоих в гостях: и с нею всем тяжко, и ей не по себе. Варвара-то, бедная, исстрадается вся каждый раз, когда Софья Валерьяновна выезжает куда-нибудь в люди.

— А ей — что?

— Обидно небось ждать да думать, что беспременно, мол, моя дура как-нибудь так отличится, что все подымут ее на смех... Ну и кипит.

— Скажите какая преданность!

— Совсем не над чем тут смеяться, — почти сердито остановила его Агаша. — Ты этих чувств понимать не можешь. Ты — барин. А это совсем особое, наше. Прислуга господ своих либо ненавидит, либо — это даже описать тебе не сумею, как к хорошим господам иные из нашей сестры привязываются. Любит очень Варвара Софью Валерьяновну, крепко у сердца держит. А который человек другого любит, ему завсегда неприятно, чтобы тот человек ходил в дурацком колпаке.

— Любит, а подличает против нее — и собирается сделать ее несчастною на всю жизнь?

— Это сейчас она несчастная, — еще сердитее огрызнулась Агаша, — а мы, напротив, хотим составить ее счастье... Пора ей от полоумных-то своих избавиться. За Тихоном да при Варваре она проживет жизнь как за каменною стеною. А в родительском дому... вам-то, господам, оно, может быть, и слепо, а как мы, прислуга, все подноготные знаем, то достаточно хорошо в том уверены. У них, у Арсеньевых, что ни комната, то уголовщина назревает. Каждый глядит либо в острог, либо в сумасшедший дом. Попомни мое слово: года не пройдет, как все они рассыплются аредом. И останется Софья эта — одна... дура-девка... беспомощная неумель... с деньгами... Налетят на нее черные вороны и расклюют ее железными носами.

— Напрасно ты замешалась в это дело, — строго сказал Володя. — Я вполне уверен, что из всех ваших глупых планов ничего не выйдет, и очень тому рад. Но тут легко может разыграться скандал. Ты попадешь в некрасивую историю. Они тебя дурачат.

— Кто дурачит меня? — сразу развеселилась Агаша: так забавна показалась ей самая мысль, что ее кто-нибудь может «дурачить».

— Они: эта Варвара и ее ничтожнейший брат. Какая там любовь и преданность? Враки! Просто к арсеньевским деньгам подбираются, именно — как вороны, железные носы. Хотят пощипать капитал.

— Без капитала нельзя, — решительно возразила Агаша. — Тоже с чем-нибудь начало жизни положить надо. Тихон от хозяина своего отходит, думает свое дело поднять. Как же без капитала?

— Ну так и есть. Я говорил, что — грабеж.

— Кабы грабить хотели, то нашли бы невесту побогаче, — равнодушно возразила Агаша. — Тихон по своему торговому

кругу очень хороший жених. За него любая хозяйская дочь пойдет. И сейчас к Варваре сваха ходит: вдову предлагает. Конечно, баба темная, но лавка у нее мелочная, дом у Дорогомилова моста, дача на Филях... А у Софьи своего капиталу — всего-навсего десять тысяч, да и то, чтобы получить их, надо ждать совершеннолетия, потому что они под опекою находятся, — наследственные по маменькиному завещанию.

— На папенькину щедрость, следовательно, не рассчитываете? — ядовито усмехнулся Володя. — Это благоразумно. И впрямь дурак будет Валерьян Никитич, если даст дочери хоть грош один... на разврат!

— А это уже его родительская воля, — спокойно согласилась Агаша. — Волен простить и приданым наградить, волен на глаза к себе не пустить и без грошика оставить. В своем праве. Когда девку жених уводом берет, с приданым не считаются. В чем взял, в том и твоя. Истинно говорю тебе, что корысти тут для Тихона не предвидится никакой. Вдова ему много подходящее. А единственно, что — как Варвара замечает, что оченно они друг в друга влюблены.

— Влюбиться в Тихона Постелькина!

Агаша возразила сухо и невинно:

— Есть, дружок, пословица: не по хорошу мил, а по милу хорош.

А Володя продолжал:

— Конечно, ты права, что Соня очень неумна, и скучно с нею ужасно, но ведь она уже одною красотою своею могла бы составить себе партию...

— Что же ты зевал, если нравится? — насмешливо улыбнулась Агаша. — Посватался бы... еще не поздно.

Володя против воли расхохотался.

— Бог с нею... На что мне такой монумент? По ярмаркам, что ли, ее возить и показывать в качестве «самого толстого и большого дитя в мире»?

— Вот видишь: красоту хвалишь, а сам издеваешься. И все вы к ней так-то относитесь, господа женихи, которые из образованных. Красота, красота, а, между прочим, одни смешки вам с той красоты. Не подходит она к вам, не та модель. Тихон небось не спросит: на что мне такой монумент?

— Однако сватался же к ней Илиодор Рутинцев? Да и другие женихи были...

— Вот уж эти, точно, интересанами себя оказывали. За приданым охотились да за папенькиным кальером... Спасибо надо сказать Антону Валерьяновичу, что разбил сватовства эти. Долго ли, в самом деле, этакую беспомощь сделать несчастною на всю жизнь? Нет, уж надо начисто говорить, по совести, по правде, — из вас, благородных, образованных, этакое полудурье — без корысти и расчета — разве старичишка какой-нибудь возьмет, вдовый и развратный, польстится на девичьи телеса. Экая благодать подумаешь — быть стариковскою утехою!.. А с Тихоном Софья — как есть вровень. Самая настоящая пара. Он парень смышленый, с характером, но примеров образованности не получил, — она примеры образованности получила, но царя в голове не имеет и характером слаба. Друг над другом не превозвышены, два сапога — пара, в отличном равновесии век проживут.

— Видишь ли, — продолжала Агаша, помолчав, — что затея наша не совсем обнаковенная, это ты, пожалуй, прав, в том я тебе уступаю. Не тебе одному так сдается. Вот ты Варвару разными худыми словами обзываешь, а она — совсем твоих мнений: ужас, как робеет, каждый день — в новых нерешительностях, — если бы не я, давно бы все дело бросила... Тоже ей дико и странно, как это ее барышня станет столь влюблена в ее брата, что семью и природную барственность кинет и замуж за него пойдет.

— Я думаю, что дико и странно!

— А мне ничего не странно, потому что и от природы дура, а теперь еще дура влюбленная. Мы все разнюхали. Она у Варвары его, Тихонов, портретик потихоньку украла и держит под подушкою... Какова? Барышня Мутузова нарисовала в насмешку картинки какие-то про нее и про Тихона, что — будто они муж и жена... так Софья эти картинки припрятала, и Варвара три раза заставала: когда она вынет их из шкатулки и рассматривает... ха-ха-ха! Ну чего же ейную фантазию мучить? Чем вприглядку любить, — пусть лучше в самом деле идет замуж.

Агаша резко смеялась, Володя недоумевал.

— Нет, как хочешь... я этого совместить не могу. Пусть даже дура, как ты говоришь, но... Арсеньева и Тихон Постелькин!.. Какой-то жалкий проходимец... нищий, мещанинишка... приказчик из рядов... брат ее горничной... невероятно! черт знает что! Фи!

— Да я-то кто? — вдруг, перестав смеяться, серьезно спросила Агаша.

Володя удивился.

— Ты?

— Я, милый, я, — вот эта самая Агаша, которую ты в любовь сманул?

— Ты?

— Не из великих принцесс — такая же горничная, как Варвара. Еще, если роды наши разбирать, она будет на ноготок повыше: все-таки мещанского звания, городская, фабричная, а мои родители — тверские мужики. Как же ты со мною, горничною, слюбился?

— Это совсем другое дело, — опешил Володя.

— Нашел чем позорить: брат горничной! Нешто горничная не человек?

— Ты не так понимаешь...

— Понимаю, что довольно стыдно тебе. Сам с горничною живешь, а братом горничной ругаешься.

— Я нисколько не ругаюсь, но — должна же ты сознаться, что для Арсеньевых этот брак — ужаснейшее несчастие... позор всего рода... Я, право, не знаю, как они перенесут... Случись что-нибудь подобное в нашей семье, я просто страшно подумать, что сделал бы... Это дело кровью пахнет.

— Уж и кровью?

— Конечно... За честь сестры-то? Убью — и рука не дрогнет... Ты погоди еще, чего Антон натворит, когда узнает.

— Вот то-то вы, баре! — возразила Агаша, с задумчивою, но незлою насмешкою. — Нашу сестру портить — куда горазды, а когда наш брат до барышни из ваших достиг, так у вас от обиды и фанаберии ум за разум заходит... Ты мне сколько разов говорил, что — кабы не супротив мамашиной воли — то беспременно бы на мне женился? Нет, нет, ты не конфузься, личика не вороти. Я не со зла говорю, не для напоминания какого-нибудь, а только для примера. Я свое место знаю и своим положением довольная. Замуж за тебя я и сама не пойду, — летай, сокол, крылья не связаны. Но — хотел ты на мне жениться? обещал?

— Разве я отрекаюсь?

— Ага! — так почему же это, если я, горничная, тебе невеста, то барышне Арсеньевой брат ее горничной — не жених?

— Огромная разница. Если я женюсь на тебе, я дам тебе сословное и общественное положение гораздо выше того, в котором ты родилась и жила до сих пор, — я возвышаю тебя, — понимаешь? Ты поднимаешься по классовой лестнице. Наоборот, брак с Тихоном Постелькиным принизит Соню и в сословии, и в общественных отношениях, и в самой породе, наконец... Если я на тебе женюсь и у нас будут дети, они будут дворяне, как я, получат все мои права и привилегии, как законные продолжатели рода Ратомских. Понимаешь? Тогда как потомство Сони уже выхо-

дит из рода: это мещане, чернь, податное сословие. Понимаешь? Тут все рушится — семейная честь, историческое родословие, благородная наследственность... Нечего сказать: стоило родиться дворянкою по бархатной книге, чтобы затем плодить мещан Постелькиных! Это обращение истории вспять! Это деклассировка! Это удар по культуре!

— Я ученых слов не могу вникать. А вот Борис Валерьянович однажды при мне у Тихона на именинах как раз об этом самом говорил. Так он совсем наоборот — был моих мнений. То есть — что, ежели вам, мужчинам, позволено, то не за что и девушку обижать, если она избирает себе неровню.

— Борис — теоретик, сантиментальный фразер. Вот я посмотрю, что он запоет, когда дело коснется собственной шкуры... В отвлечении-то рассуждать легко, а когда вопрос о сестре... тут никаким социализмом не отыграешься.

— Мне и самой это любопытно! — засмеялась Агаша. — Но только я так думаю, что ты ошибаешься: сердцем он, может быть, заскрипит, но вида не покажет и экзамен свой выдержит... Потому что он у них — такой... блажной... вроде как бы юродивый... Я больше того другого сокола побаиваюсь... долговязого Антошки...

При имени Антона Володею овладело обычное ему в последнее время неприязненное, злое чувство, и из чувства этого родились быстрые и нехорошие мысли: «А, собственно говоря, какое мне дело до того, что станется с этой Софьей? Я ей не жених, не брат, не друг, не любовник. Даже знакомства близкого между нами не осталось: в последние годы мы с Арсеньевыми как-то взаимно охладели и почти разошлись. Из-за чего же я распинаюсь? Агаша права. Эта Соня — красивая, но глупая и неинтересная самка, которой пришло время найти своего самца. Не все ли мне равно, кто им будет — Аполлон Бельведерский, Тихон Постелькин или

первый прохожий офицер, чиновник, мастеровой? В самом деле, может быть, брак с Тихоном, раз они друг друга любят, еще сравнительно лучший исход. Пожалуй, немножко жаль Бориса. Следовало бы предупредить его по старой дружбе. Но... он же социалист... стоит за равенство, за слияние классов, проповедует бессословность... следовательно, огорчение ему не так уже большое, — только решительный случай проверить наличность и твердость своих убеждений. И, наконец, сам же он во всем виноват: столько носился с этим Тихоном Постелькиным, столько навязывал всем нам своего «Ломоносова»... вот тебе и Ломоносов!.. Что касается Антона, — так ему и надо, этой надменной скотине... «Вы любите других в шуты рядить, угодно ль на себе примерить?» В свое время я тоже сумею рассказать ему побасенку... Как же! Мудрый психолог! Крафт-Эбинга за пояс заткнул и Ломброзо за флагом оставил!.. А у себя под носом не видит, что взрослая сестра-невеста одурела от одинокой скуки и, как животное, увлекается к падению первым мужчиною, который ее за собою поманил?.. Антон посмел издеваться надо мною, что я сошелся с Агашею... но сотни молодых людей моего круга живут с простыми девушками, и быль молодцу не укор. А вот — как сей великий и аристократический интеллект воспримет и переварит совершенно необычайную перспективу иметь бо-фрером Тихона Постелькина, — это, как Квятковский выражается, любопытен был бы я посмотреть...»

— Скажи, пожалуйста, — медленно и раздумчиво спросил он Агашу, — только всю правду скажи... почему ты-то так усердно хлопочешь в этом... приключении? какой тебе интерес?

Агаша отвечала с полною готовностью.

— Если хочешь знать всю правду, у меня тут разное... Во-первых, ты очень уж надоел мне ревностью своею к Ти-

хону этому... Авось, когда женится на этакой красавице-барышне да уедут они из Москвы, то и ты перестанешь мучить меня глупостями...

Володя промолчал. Ему было совестно сознавать, что Соня в некотором роде приносится неповинною жертвою на алтарь его мнительных капризов, но он только вздохнул — и подумал: «А в самом деле, так куда спокойнее... было бы очень недурно».

— Во-вторых... — Агаша засмеялась, — все мы, бабы, вчуже охочи свадьбы ладить и любовникам помогать... А тут еще — пара-то этакая... необыкновенная. Ну — как же не помочь? Любопытно, поди... Вона мы — сколько с тобою спорили, прежде чем я тебя убедила.

— Положим, ни в чем ты меня не убедила.

— Да ведь молчать-то будешь? поперек дороги нам с Варварой не станешь? Ты слово дал.

— М-м-м... Если дал слово, надо его держать... Буду молчать.

— А мне больше ничего и не надо.

— Но не изволь воображать, что это по убеждению. Именно только потому, что заранее слово дал.

— Мне все равно почему, лишь бы не мешал.

— Я человек современный, либеральный, не ретроград и не крепостник какой-нибудь, но сословием своим дорожу. Если бы я был на месте старика Арсеньева, я посадил бы Софью в сумасшедший дом, а вас, всех троих, выслал бы чрез генерал-губернатора из Москвы.

— Что больно строго?

— А! Не забывай своего происхождения, не позорь рода, не унижай семьи!

— А мне-то и лестно, — вдруг возразила Агаша с особою, странною, будто пьяною улыбкою, слабо осветившею смуглое тюркское лицо ее, как недобрым блуждающим огоньком. — Да... чрезвычайно как забавно! Грешный человек,

зла я, девка, на вас — дворянов и вообще превозвышенных... Вы нашу сестру, походя, без счета губите, как какую-нибудь бессловесную скотину... Ну — вот в кои-то веки и вам — невестка на отместку...

XLII

Понукаемая, ободряемая, поощряемая двумя советчицами, Варвара одолела свои сомнения и принялась «объезжать» Соню с утра до вечера и — со дня на день — откровеннее, прямее, нахальнее. Когда она убедилась в том, что тысячами намеков и обиняков своих успела втолковать Соне, что Тихон влюблен в нее, и Соня на эту дерзновенную любовь не рассердилась, но приняла ее с смущенным безмолвием, будто испугалась за самое себя, — у Варвары выросли крылья. Она почувствовала, что половина ее дела сделана. Барышня не вспыхнула, не оборвала, не забранилась, — молчит, робеет, краснеет, недоумелые глаза наливаются красивыми слезами, — значит, права Агафья: сама не равнодушна. Значит, осталось только подвести удобный случай, чтобы скрытая влюбленность нашла исход и русло и ответная страсть хлынула навстречу страсти вопрошающей.

Варвара давно сообразила, что каковы бы ни были чувства Сони к Тихону, но так вот просто — взять да и обвенчать их, честным пирком да за свадебку, — ей не удастся. При всей простоте Сони она воспитана в круге семейных привязанностей, в привычках, боязнях и правилах образованного общества, в сословных предрассудках. Все это бросит на пути ее к браку с неровнею ряд трудных порогов, проходимых лишь при том условии, если сама Соня будет сознавать брак с Тихоном для себя обязательным и неизбежным. Влюбленность — молодая блажь, преходящая игра крови, а брак — цепи на всю жизнь. Мечтательно увлечься

неровнею и поиграть в сухую любовь — одно дело; выйти за неровню замуж — совсем другое. Когда приходится законно закрепостить себя столькими жертвами и самоотречениями, то перед обрядом — невольно призадумается о будущей судьбе своей даже самая слабая и беззаботная голова, самый безрасчетный ум прикинет на все свои выгоды и проигрыши. И тогда в настолько щекотливом колебании достаточно самого робкого предлога, самой ничтожной и случайной зацепки, чтобы разрушить марево блажи и восстановить власть стыда, сословной гордости, жалости к родным и прочих рассудочных страхов. И вот — совсем, казалось бы, слаженный брак неожиданно расплывается жидким туманом, хотя бы и после жестокой борьбы, хотя бы и с насилием над совестью и любовью. Свертеть свадьбу, столь необычно затеянную, скорым пыхом нельзя. Дельце тонкое, а известно: где тонко, там и рвется. И денег надо много, а их нет, — и с попами не мало намучишься, прежде чем согласятся повенчать без родительского разрешения несовершеннолетнюю дочь такой крупной московской особы, как Валерьян Никитич Арсеньев, с мещанином Постелькиным. Тут только зазевайся, — мало, что на пустяке проиграешь всю игру, а еще и в самом деле столицы лишишься. Чтобы обладить подобный сложный фокус, нужны даже не недели, но месяцы. А Варвара боялась не только месяцев, но и недель. Даже убежденная, что Тихон занял в сердце Сони прочное место, горничная втайне продолжала считать увлечение барышни неестественным, а, следовательно, хрупким и ненадежным. Выищется у Арсеньевых новый знакомый, ровня Соне, понравится, влюбится, влюбит, — ну и прощай Тихоново счастье. Пронюхают завистники либо какая-нибудь прежняя полюбовница Тихонова, напишут Валерьяну Никитичу донос или кинут подметное письмо... Варвара достаточно знала страдательно-покорную натуру Сони, чтобы понимать, до какой малой степени противодействия способна она защищать свое

увлечение, если ополчатся на него отец и братья, и не разделяла уверенности Агаши, что для арсеньевской крови свой каприз — выше всего. У детей Арсеньевых было не принято «спрашивать позволения» у Валерьяна Никитича, если дело не касалось непосредственно и лично его самого. Все были уверены, что домашний строй и быт детей ему — «все равно». Пока не обезножела Марина Пантелеймоновна, домашняя полиция была в ее руках. Когда же она слегла, в семье замолкла последняя власть предержащая, и утвердилось самое широкое безначалие. Никто не считался друг с другом, общего порядка дня не было, все жили вразброд. Любой из Арсеньевых очень затруднился бы припомнить, когда, например, они обедали — не где кому случилось, но вместе, всею семьею, за общим столом. Каждый устраивал жизнь по своему усмотрению: Валерьян Никитич, Антон, Борис — как им было удобнее и нравилось, Соня — как живой манекен в руках своей вернопреданной и властной Варвары и, отчасти, поскольку последняя терпела вмешательство в свою компетенцию, Лидии Мутузовой. Но Варвара десятки раз была свидетельницею, что достаточно отцу или братьям, случайно вмешавшись в быт Сони, даже не запретить ей что-либо, но просто попросить ее, — не делай того, не езди туда, не водись с такою-то, — чтобы Соня повиновалась беспрекословно, жертвуя своим запретным желанием почти с удовольствием, как исполняющая приятный долг. И взбунтовать в таких случаях волю Сони оказывалась бессильна даже привычная вертеть ею, как куклою, Варвара. Так что довести Соню до столь пылкого брачного стремления, чтобы она, как Агаша уверяла, «отцу не уважила и братьям в глаза наплевала», представлялось Варваре задачею нелегкою — по крайней мере, в условиях тех семейных отношений и той личной беспечности, как оставалась Соня до сих пор. Она может быть влюблена в Тихона, даже очень, — но стоит Антону либо Борису попросить, — и Соня,

хоть среди венчального обряда, венец с себя снимет и из церкви уйдет. И, стало быть, опять-таки — прощай Тихоново счастье...

Поэтому из всех советов и внушений Агаши особенно острым впечатлением врезалось в память Варвары: «На сухой любви этой каши не сваришь. Должон довести, чтобы стала обязанная».

Нужен сейчас не брак, а обеспечение, что брак непременно состоится, тогда можно и надо будет сыграть свадьбу; нужно заручить Соню Тихону настолько прочно, чтобы потребность брака с Тихоном сделалась для нее сильнее всех гордостей, жалостей, запретов, выше родства, дружбы, общества и даже, пожалуй, собственной воли.

Заговорщицы, сплетавшие вокруг Сони брачную сеть, взаимно соглашались, что таким несокрушимо обязательным обеспечением может быть только добрачное падение Сони.

— Ее характер такой, — шептала Варвара, — кто ее возьмет, тот всю жизнь ею владеть будет... Верная... безызменная... привязчивая... покорная...

— Виноватую легче в руках держать будет, — внушала Агаша. — Как ни глупа, а должна рассудить, что после того один ей честный исход к жизни — покрыть грех венцом.

— А ежели родня спохватится беду поправлять, за другого отдавать?

— Сама же ты говоришь: верная, безызменная... Да с этаким козырем в руках можно наделать по Москве того скандала, что всех женихов — как чума разгонит... Еще кланяться должен будет старик Тихону: только возьми нашу дуру замуж — сними срам с головы... Средство, девка, верное, испробованное. Оно потому смутительно тебе, что в дворянском дому. А по купечеству либо в крестьянстве богатом — самая обыкновенная пружина. Сколько девушек так устраиваются, чтобы выйти замуж, когда суженый им по сердцу, а родители чванливы, гордыбачат...

Главным противником плана заговорщиц, к ужасу Варвары и к изумлению и злейшим насмешкам Агаши, оказался тот, кому они устрояли благополучие и кто должен был явиться в нем главным действующим лицом: сам Тихон Гордеич Постелькин! Этот Дон Жуан кухонь и девичьих совершенно растерялся, когда капризом судьбы приблизилась к нему столь неожиданная благодать, как возможность получить в законные супруги барышню Софью Валерьяновну Арсеньеву. Первые намеки и слухи, будто Соня к нему неравнодушна, нашептанные Агашею, Тихон принял хотя не без самодовольства, но не серьезно — просто как игривую сплетню, выработанную праздным воображением невежественных баб, для которых нет большего удовольствия, чем сочинять и распространять любовные романы о господах: это своего рода их изустная беллетристика, поэзия заднего двора.

Тем не менее семя, брошенное беллетристикою этою, не пропало для Тихона бесследно. С детства товарищески вхожий к младшим Арсеньевым, дружески обласканный Борисом, со всегдашнею мягкою участливостью, вровнях принимаемый Сонею, обязанный им обоим скудными крупицами своего полуобразования, Тихон — по природе парень не без души — платил благодарностью, почти до боготворения, до восторга, в котором пол безмолвствует, исчезает самая память о нем. Тихон был человек грубо-темпераментный, чувственный, что называется бабник, испорченный податливостью женщин своей среды и потому привычный относиться к женщине легко, презрительно, животно. Однако бывал он у сестры своей, в дому Арсеньевых, раза по три, по четыре в неделю вот уже шестой год, постоянно видал Соню запросто, брал у нее уроки, оставаясь с нею наедине по часу и более, — и никогда ни одной нечистой мысли не рождала в нем эта близость. Он знал толк в женской красоте и понимал, что Соня очень хороша собою, даже иной раз, побывав в театре или на концерте каком-нибудь, гордился и хвастал-

ся потом, что наша, мол, Софья Валерьяновна была лучше всех. Но ему никогда и в голову не приходило взглянуть на Соню по-мужски, как на женщину, — мысль, что можно влюбиться в Соню, была ему настолько же далека, как — ухаживать за иконою какою-нибудь, искать взаимности от красивого портрета или мраморной статуи. И даже дальше. Потому что все-таки женская красота в статуе или картине именно малоразвитых людей часто наводит на страстные мысли, потому что не редки мистики, втихомолку окружающие свои святыни чувственным восторгом. Тихон же в отношении к Софье Арсеньевой был совершенно чужд вожделеющих любований. Между ними лежала незримая пропасть бесстрастия, через которую пол не слышал голоса.

Тупой к науке, почти лишенный познавательных способностей, Тихон Постелькин был далеко не глуп в своем практическом обиходе. Он хорошо понимал себя и знал свои силы. Вырваться из темноты-сероты и выбраться в люди ему очень хотелось, но он уже давно не обманывал себя, что если суждено ему достигнуть такого счастливого результата, то, конечно, не путем запоздалого самообразования, которое предлагали ему Борис и Соня и которое упорно отскакивало от его неподатливых мозгов. От урока до урока Тихон забывал все, пройденное им раньше — как два года тому назад, так и сейчас ловил коэффициент в «Балтицком» море и склонение смешивал с спряжением. Борис, увлеченный политикою, давно забросил занятия со своим третьим «Ломоносовым», чему тот был, в сущности, рад, — не по лености, а просто потому, что обезнадежился: только трата времени... ни к чему! Но коммерческие способности Тихон имел превосходные, артистически играл в шашки и, читая газету, разбирался в думских отчетах и управских делишках с редким знанием и чутьем всех подноготных городского хозяйства.

— Черт тебя знает, как ты всю эту чушь помнишь и понимаешь! — изумлялся Борис.

Тихон Постелькин ухмылялся почти виновато, но про себя думал: «Почему же — чушь?»

— Простых уравнений усвоить не можешь третий год, а — кто сколько украл на вырубке Сокольницкой рощи, так и режешь, точно по таблице. Водопровод какой-то... бойни... свалки... Черт знает что. Какой тебе интерес?..

К Антону Арсеньеву Тихон Постелькин относился с тем же отчужденным чувством суеверного почтения и страха пред неизвестным, как и весь дом, и все близкие к дому. Антон, много старший брата и сестры, не замечал их сверстника, почти его не зная. При редких встречах вежливо раскланивался, подавал руку, — чем Тихон втайне бывал каждый раз столько же горд, как если бы ему пожаловали крупный орден, — но в общем смотрел на Постелькина безынтересно и безразлично, как на своего рода живую вещь домашнего инвентаря.

Зато Тихона хорошо знал Квятковский, с которым Антон если и не был приятелем, то все-таки водил компанию. Квятковский одно время по просьбе Бориса Арсеньева давал молодому приказчику уроки русского языка с такою же — увы — безнадежностью, как и другие профессора бедного «Ломоносова». Весьма вскоре веселый московский Мефистофель настолько заскучал бездарным учеником своим, что под предлогом «зрительного диктанта» усаживал бедного Тихона переписывать с книги в тетрадь избранные стихотворения Баркова, а сам удирал из дома, куда глаза глядели. Наконец Тихон обиделся, Борис задал сокрушенному Квятковскому изрядную головомойку, а уроки прекратились. Как-то раз Квятковский в присутствии Антона Арсеньева заспорил в «Голубятне» с Илиодором Рутинцевым о порядке выкупа старых городских рядов, подлежавших тогда сломке, чтобы расчистить место нынешним новым.

— Позвольте, — воскликнул он, — и вы ничего не знаете, и я спорю наобум... довольно отсебятины!.. Вранье наше

велико и обильно, а порядка в нем нет. Я сейчас призову вам варяга с демократической половины: авторитет, который во всех этих канителях разбирается не хуже Рихтера и Наумова...

И привел Тихона Постелькина. Тот, очень польщенный, не ударил лицом в грязь и изложил вопрос настолько подробно и толково, что заинтересовал Антона, который от своего соседнего столика прислушивался одним ухом. Когда Тихон кончил свои изъяснения и хотел отойти, Антон остановил его:

— Присядьте ко мне... Так вы того мнения, что нынешним лавковладельцам нет расчета авансировать свои будущие помещения, занимая их теперь же по плану?

Очутившись лицом к лицу с Антоном, Тихон струсил, аж поджилки у него дрогнули. Но Антон, — в сущности, интересовавшийся городскими рядами столько же, как прошлогодним снегом, и смысливший в подобных делах не более чем в китайской грамоте, — сумел развязать ему язык. Попав на свои излюбленные темы, Тихон говорил минут сорок очень умно, дельно и, по-своему, даже красноречиво. Антон отпустил его пророческим напутствием:

— А вы-таки свою часть знаете. Это хорошо. Но, помнится, брат Боря готовил вас в сельские учителя?

— Я и теперь готовлюсь, Антон Валерьянович, — виновато пробормотал Тихон, — только, признаться...

— Не выходит? а?

— Способностей не имею...

Антон улыбнулся.

— А охота есть?

Тихон помялся.

— Если позволите со всею откровенностью... я свою коммерческую часть как-то того... лучше усваиваю...

— Да, это сразу видно, что вы смыслите... Ну что же? Нашли свое призвание, — и подвизайтесь. Предсказываю вам, что вы будете богатым человеком и когда-нибудь мы увидим вас председателем управы, а то и городским головой.

Тихон Постелькин остался восхищенный как человек, удостоенный свидания с Богом, — Моисей, сходя с Синая, не мог сиять восторгом ярче его.

— Да... Антон Валерьянович... они сразу в самый центр... они понимают!

И вот в душевный мирок человека, настроенного так благоговейно, ворвалась как новая, буйная мысль, как победительное откровение сплетня Агаши, что — барышня Соня влюблена в тебя... не зевай!.. Тихон не поверил тогда, нет. Но он смог представить себе свое счастье, если бы барышня Соня в самом деле влюбилась в него, смог вообразить себя во взаимности с нею, себя — ее мужем, ее — своею женою... И с этих пор кончено: пропасть бесстрастия, разделявшая его от Сони, как бы затянулась дерном, по которому бежали тысячи тропинок, протоптанных постоянными грешными мыслями проснувшегося пола. Тихон разглядел в Соне прекрасную женщину, — труднодостижимую, потому что «не пара» — но все-таки прежде всего *женщину*, которой он, мужчина, волен желать, о которой мечтать его право, обладания которою он властен достигать, как и всякою другою... Если люди, хотя и врут, но допускают, что барышня Соня в него, Тихона Постелькина, влюблена, если она остановила на нем как на мужчине свой избирающий взор, — то почему же ему, Тихону Постелькину, не влюбиться в барышню Соню? почему не осмелиться — видеть в ней свою избранную женщину? почему не надеяться? Почему не стремиться к ней, как к своей вожделенной невесте... жене... любовнице?..

Немного часов надо было, чтобы Тихон влюбился в Соню всею упрямою страстностью своей скрытной натуры. Что Соня любит его, он не верил, не хотел и боялся верить, но сам-то полюбил. И любовь — наивная, цельная, грубая, чувственная, — захватила все его существо мечтою обладания, которое он принимал невозможным. Он расстался с при-

ятельскими компаниями, оборвал все свои маленькие страстишки и романчики, перестал пить пиво и показываться в «Голубятне», зажил угрюмо и одиноко, деля свое время между магазином и подвальною мурьею, заполняя весь свой досуг мысленным любованием, устремленным к красавице Соне: если бы да кабы!.. — условными помыслами любовного счастья, страстью в сослагательном наклонении!.. Характер у Тихона был крепкий, сдерживать себя в узде и молчать он умел. Резкую перемену в нем замечали все друзья и знакомые, но угадать настоящую причину ее сумели только «продувные мозги» проницательной и искренно дружелюбной к Тихону Агаши. Тогда-то она и помирилась с Варварою, и открыла ей глаза. Тогда-то и сложился их свадебный план и заговор.

Вначале посреднические старания обеих женщин столкнулись, как с волнорезом каким-нибудь, с почти болезненным страхом Тихона перевести любовь свою из мечтательного загадывания в житейское достижение. Напрасно Варвара доказывала брату уже не сплетнями и предположениями какими-нибудь, но своими постоянными наблюдениями изо дня в день, что Соня в него влюблена, что пришла ее пора, что стоит ему лишь осмелиться и протянуть руку, чтобы забрать себе эту брачную жемчужину на всю жизнь. Тихон и верил сестре, потому что нельзя было не верить фактам, и не верил, потому что рассудок его спорил против случайной очевидности во имя общей невероятности. Тихон слишком привык мысленно принижать себя сравнительно с Арсеньевыми, чтобы вместить идею любовного равенства с Соней в житейской возможности, в действительном осуществлении. Человек простой и темный, воспитанный тычками в хозяйском магазине и товарищескими разговорами в портерных, чувственный по природе, развращенный чуть не с детства связями с женщинами фабрики, кухни и тротуара, Тихон не умел отстранить от своей фантазии животной

стороны любовных отношений красивыми иллюзиями, которые так счастливо выручают в подобных случаях интеллигентов. И — днями и ночами влюбленно лелея в отравленном воображении фантастические картины своего предположительного брака с Сонею, — он в то же время настолько не доверял возможности спустить их из воздуха на землю, сгустить их из призраков в кровь и плоть, что, к огорчению сестры своей, не шевелил и пальцем, чтобы помочь ей в хитрой механике, построенной осуществить это неосуществимое и несбыточному навязать бытие. Покуда Тихон мечтал и воображал, он окружал великолепную красоту Сони роем призрачных наслаждений. Но чтобы барышня Соня, дочь Валерьяна Никитича, сестра Антона и Бориса Арсеньевых, в самом деле согласилась быть женою его, ничтожного Тихона Постелькина, чтобы она в самом деле жила с ним в одной квартире, в самом деле спала с ним в одной постели, отдавалась ему по его воле, беременела, носила, рожала и кормила его, Тихона Постелькина, детей — таких безумно счастливых возможностей он не умел согласовать с жалкою действительностью своего настоящего положения. Не умел — рассуждая снизу, по привычке низкорожденного идолопоклонствовать и подчиняться, — столько же, если не больше, как, рассуждая сверху, не понял тех же возможностей и вчуже возмутился ими Владимир Ратомский по дворянской гордости и брезгливому эстетизму.

Но время шло, страсть росла, накопляя привычку чувственного воображения, поднимая в организме буйства и крики, пред которыми начинала слабеть и пятиться молчаливая воля.

В присутствии Сони Тихон чувствовал себя настолько тяжело и неловко, что предпочел махнуть рукою на свой французский язык и перестал являться на уроки. И причину объяснил сестре Варваре напрямик — злобно и тоскливо.

— Из-за тебя с Агашкою. Вы, проклятые, отравили мне голову ядом. Какое может быть ученье, когда в человека

вошло зверство? Не желаю я более оставаться наедине с Софьей Валерьяновной. Не под силу мне. Инокам в пустынях в пору подобные искушения выдерживать, а я не монах. Я всего себя изломал, крепя свой характер. Какие там глаголы, артикли и прочая грамматика Марго? Я в книгу смотрю — строк не вижу. Красота ее вступила мне в голову. Этак дразня себя, недолго и с ума сойти либо в забвении схватить ее в охапку...

— Так что же? — огрызнулась обозленная, нервная Варвара. — И схвати. Преотлично бы. По крайности, сразу ясно станет, быть или не быть делу. Один конец.

— Ага! Так я и знал это, — что ты скандала добиваешься... Нет, врешь: дудки. Я имею свой характер и свою совесть. Ежели ты теперь посадила в меня черта, то я не забыл еще человеческих чувств. Я лучше вовсе откажусь видеть Софью Валерьяновну, чем посягну на подобный риск, потому что — сколь я ни обуян ею, но уважение свое питаю и помню, и совести у меня даже очень достаточно... да!

— Дурак! — кипела Варвара. — Я ему — о пользе, а он — о совести. К чему пристало? Что мне из твоей совести дурацкой? суп варить?

— Варвара, — в свою очередь, орал Тихон Постелькин, — истинным Богом прошу тебя: прекрати свою прокламацию, оставь меня в покое и уходи. Или вопреки всем параграфам гуманности я должен позабыть, что ты мне старшая сестра, и произведу кораблекрушение твоим ребрам.

— Тишенька, миленький, да ведь я тебе добра желаю!

— Ты доведешь меня до такого добра, что в Сибирь меня упрятать — будет мало.

— Только сам понапрасну мучишься и девку мучишь... Что же ей? Самой, что ли, тебе на шею повеситься? Так не дождешься. Потому что — вот этого уже точно, что никогда на свете не бывает.

— Врешь ты это! Врешь! Фантазии твои! Очки втираешь! Не верю! Не можете этого быть, чтобы она мною мучилась.

— Не веришь мне, не веришь людям, — сам испытаешь. Вот — придешь завтра, возьми на себя смелость объяснись начистоту. Так, мол, и так, Софья Валерьяновна, чувствую к вам сердечное расположение, осчастливьте принятием руки и сердца в соображение законного брака... Авось язык не отвалится!

— Нет, отвалится. Потому что, ежели на такое мое предложение она обидится, сохрани Бог, заплачет либо, еще того хуже, засмеется, то я подобного позора своей глупости не перенесу, и судьба моя будет гнить на Ваганьковом кладбище, вне разрядов, где хоронят посягающих на себя револьверных самоубийц.

— Тьфу! Противно слушать тебя! Из-за девки руки на себя он наложит! Какую беду на себя накликаешь! — до дна души своей рассвирепела Варвара.

— Нет, не из-за девки, а из-за Софьи Валерьяновны. И это ты накликаешь на меня беду, а не я. Я судьбы своей испытывать не хочу. Я человек маленький, и коль скоро чувства мои больше меня, это для меня большая опасность. Я себя понимаю, свое место знаю и чувства свои затаил. Но в тебе кипит несносное честолюбие, чрез которое черный ворон будет клевать прах твоего брата. Варвара! Или ты меня не знаешь?

Варвара молчала и хмурилась. Знать-то она знала. Смирный и робкий на вид, братец ее, когда считал самолюбие свое задетым, становился черт-чертом, не дорожа тогда никем и ничем, а менее всего самим собою. Она живо помнила, как еще пятнадцатилетним мальчишкою Тихон однажды на молодцовской маевке бултыхнул в Москва-реку с Сабуровского железнодорожного моста, — как был, в одеже и сапогах. И даже не на пари какое-нибудь, а просто назло товарищам-приказчикам, которые додразнили его до белого каления, буд-

то он трус и боится воды. Плавать Тихон не умел и утонул бы, наверное, если бы его, беспомощно барахтающегося на воде, не подхватили баграми мужики с набежавших по течению плотов.

— Удивляюсь тебе, Тиша, — заговорила Варвара уже мягче. — Неужели ты меня считаешь дурою бесприметною? Неужели я, любя тебя, стала бы подводить тебя под срам?

— Ты не дура, но Агаша ослепила тебя своим враньем, и ты слишком высоко обо мне понимаешь.

— А вот ты так уж слишком низко: не можешь осилить фантазией собственного счастья. И с чего бы такая скромность напала? Кажется, не мало любили тебя девки, и товар этот — тебе достаточно знакомый. Чему так удивился? Что особенного? Пора бы знать, что нравишься ты нашей сестре...

— То — «нашей сестре», а то — Софье Валерьяновне.

— Тихон! не враг я тебе: я голову свою прозакладаю, — что только объяснись с барышнею, — безотказно твоя будет! Ну да, хорошо. Пускай ты прав, а я дура. Пусть даже и откажет. Все-таки не вижу, из-за чего ты беснуешься и даже намерен взять билет на тот свет? Слиняешь ты, что ли, от ее отказа? И впрямь ведь — не за первою же девушкою ты ухаживаешь. Конечно, везло тебе, не одну дуру улестил, но нарывался, поди, и на таких, что и прочь тебя гнали, и ругали ругательски, — и в шею туряли... ничего, не истратился же, живешь — как с гуся вода.

— Опять совершенно другой состав предмета, — возразил мрачный Тихон. — Даже не понимаю, как ты позволяешь себе сравнивать. Если какая-нибудь Агафья или Глафира меня — коромыслом, то я ее наотмашь — ведром, — только и всего. Подобная тварь никогда не в состоянии меня оскорбить, если даже и рожи коснется, потому что игра эта между своими — свободная, по душам и вровнях. Я не обнаружи-

ваю тут никакой превосходящей меня претензии, чтобы уши росли выше лба, и остаюсь при своей амбиции. Но изъяснить любовь свою Софье Валерьяновне — это есть претензия превозвышения, которая указывает, каких я высоких надежд о своем успехе в карьерах моей цивилизации... И, ежели в таком роде последует плюха от ее нежной ручки, это обозначает разбитую лампу упований и жизнь, в которой погасла мечта...

— Ничего я не понимаю, Тихон, когда ты так говоришь: одно знаю, — трус ты!.. Ладно... Если у самого тебя язык прилипает к гортани, мне развяжи руки — мне позволь сватать, я поговорю за тебя...

— Варвара! Если ты посмеешь... убью... право, убью!

— За что убивать-то хочешь, оглашенный?

— Потому что подобное поведение — как шило: в мешке не утаишь... Если ты доведешь меня до срама, и выйду я всем людям посмешище, и перед Софьею Валерьяновною — дурак, и перед Борисом — предательский прохвост, — что же еще остается мне в свое оправдание, как не умертвить тебя в наказание коварства и себя в обличение невинности?

Варвара плакалась Агаше на упорство Тихона чуть не со слезами. Та усмехалась и возражала:

— Не робей... Может быть, так оно даже лучше... Это он еще «не дошел»... Завсегда щи в печи бурлят, покуда дойдут, а когда дошли, — хлебай большою ложкою, — куда вкусны бывают. Ты свою дуру не спускай с линии, о Тихоне не заботься: к своему пределу — дойдет...

Соню Варвара именно не спускала с линии. Она как бы пропитала атмосферу вокруг своей барышни именем и тенью брата своего. Не было часа, не было минуты, чтобы Соня не чувствовала себя оплетенною волокнами подспудной любви, о которой ей не говорилось ни слова прямо, но которая светилась перед ней, будто в туманном транспаранте с назойливою, почти грубою настойчивостью, заставляя

ее чуть не ежеминутно соприкасаться мыслями с запретною страстью, что, трепеща желаниями, устремляется к ней из затаенного далека. Сватать Соню за брата после его прямого и почти бешеного запрета Варвара не посмела. Но зато теперь она уж без всяких обиняков говорила барышне прямо в глаза, что Тихон сходит по ней с ума, и с наглою невинностью спрашивала советов, как ей, Варваре, поступить в таком горе, чтобы вылечить беднягу от несбыточной и опасной мечты? Фантастические свадьбы с лавочницами, вдовами-экономками и другими выгодными невестами-ровнями, которые Варвара будто бы проектировала, прошлые романы и интрижки Тихона, о которых Варвара не уставала рассказывать, охватывали Соню любопытством — обидным, угрюмым и ревнивым. И, когда она слушала, где-то на дне души ее опять трепетал тот буйный, чувственный, арсеньевский гнев, который однажды так неожиданно обрушился на без вины виноватую Лидию Мутузову. Варвара, сперва не понявшая было той странной, ревнивой вспышки, только теперь при помощи Марины Пантелеймоновны догадалась, за что ее кроткая барышня так грозно оборвала свою возлюбленную и повелительную подругу. И, догадавшись, уже не переставала ловко, умело, с рассчитанною и уверенною осторожностью, дергать Соню за ту же задирающую, злую струнку. Соня, слушая, по обыкновению, молчала, но Варвара знала наизусть лицо ее и умела читать молчание.

«Крепись, крепись... ночью в постели реветь будешь...» — не то с злорадством, не то с угрызением совести думала она.

Действительно, оставшись одна, в особенности ночью, в постели Соня теперь часто плакала горькими, тихими слезами — почти бессмысленными, полусознательными, теми слезами физического тоскования, которых, однажды застав их, не понял и не сумел утешить Борис. Или — мучилась сухою, жаркою, душною бессонницею и, устремляя в темноту комнаты мрачные глаза, размышляла о своем тоскливом

одиночестве, о напрасном расцвете своей, обреченной увяданию, пышной красоты, о быстром полете юности, о замужестве, о тайнах любви. Пикантные рассказы, анекдоты и рисунки Лидии Мутузовой, пряные сплетни «бабьего клуба», неуклюжие страсти писем, которые Соня строчила для безграмотных служанок, слезы обид и ревностей, в которых она их утешала, — весь наплыв любовной пены, механически и бесцветно скользивший по слабым мозгам Сони в течение последних лет, — теперь, когда девушка почувствовала созревшее тело свое, хлынул в память ее ярким потоком и заполнил ее примерами грубых, но манящих соблазнов. И, когда Соня засыпала, над подушками ее наклонялись лукавые видения, воспоминания о которых потом заставляли ее краснеть, но забыть их она уже не желала. Так молодые средневековые ведьмы бережно хранили преступною памятью образы их посещавших инкубов.

Начиная с того дикого кошмара, которым после вороньей вечеринки ознаменовалось в Соне позднее пробуждение женщины, девушка суеверно чувствовала между собою и Тихоном Постелькиным незримую нить таинственного и рокового взаимовлияния — как бы тепловой луч, несущий от человека к человеку обмен взаимного притяжения. Нить крепла, утолщалась, сокращалась — по мере того как Лидия Мутузова острила над Сонею в качестве будущей «madame de Postelkine», по мере того как воздух Сониной комнаты наполнялся сводническими шепотами Варвары, по мере того как Марина Пантелеймоновна вливала в голову Сони проповеди своей языческой чувственной веры. И, если Тихон заполнял теперь дни свои, безмолвно воображая свою страсть к Соне, то воображение молчаливой Сони не меньше работало в направлении к Тихону. Насколько мужчина мечтал обладать, настолько девушка мечтала принадлежать. Но была большая разница: грезы, которые Тихон в своей робости низкорожденного, в совестливом сознании своей нищеты

и ничтожества считал недостижимым бредом, для Сони Арсеньевой казались возможными, исполнимыми, как дело ее произвола. В ней бессознательно поднялась волна чувственного своенравия, посланного в проклятие всему ее роду, — закипел безудержно страстный яд ее матери, яд безумия Антона. Недаром же Марина Пантелеймоновна находила теперь, будто Соня даже лицом стала походить на мать и старшего брата. Соня стремилась к союзу с Тихоном Постелькиным с тою упрямою, мрачною страстью, как в Швейцарии англичанин-меланхолик, будущий самоубийца от сплина, выбирает пропасть, чтобы в нее кинуться, — и, раз выбрав, непременно исчезнет когда-нибудь именно в ней, хотя бы для того надо было приехать с другого конца света. Соня уже не рассуждала, хорош или дурен Тихон, с которым связывал ее таинственный магнетический ток, умен или глуп, зол или добр, достоин ее или недостоин, будет она с ним счастлива или несчастна, богато или бедно придется им жить, простят или отвергнут их родные. Все равно: это был ее «суженый», — тот мужчина, которого избрала себе первая воля начавшего сознавать себя тела. И, — когда вкрадчивые советчицы внушали Соне, что если выходить замуж, то для счастья и согласия ей лучше было выбрать жениха не из круга светских и образованных кавалеров, а взять мужа посерее и попроще, — то Соня с радостью ловила эту мысль как оправдание своего тайного влечения, как совпадение рассудка с инстинктом. Чуть не в сотый раз повествовала Соне Варвара любимый свой рассказ о баронессе Траух, как та вышла замуж за управляющего, и какой счастливый получился у них брак, — и Соня слушала с одинаковым вниманием и удовольствием. Она действительно держала под подушкою фотографию Тихона Постелькина, тайком взятую у Варвары, и, сберегая карикатуры, набросанные Лидией Мутузовой, любила рассматривать ту из них, где бойкая барышня так смешно изобразила «Monsieur et madame de

Postelkine» у мирного семейного очага, за самоваром, среди многочисленного потомства. И тогда влажные арсеньевские глаза Сони туманились бессмыслием — таким темным и жарким, что, если бы видела ее в минуты эти Агаша, то непременно воскликнула бы на образном и лаконическом языке своем:

— «Дошла»!..

В унылый, темный, серый, скучный, без красок, московский мартовский день Варвара, утром перетирая чашки за чайным столом, сказала Соне:

— Вчерась видела я Тихона... Приказывал мне спросить вас, не уйдете ли сегодня куда из дома, — можно ли ему прийти учиться или нет? Потому что он теперь стал опять свободный и сортировку свою окончил.

Говоря это, она почему-то понизила голос, а сказав, оглянулась, как заговорщица, не слышал ли кто-нибудь, точно не об уроке спрашивала, но уговаривала барышню на преступление. Но Соня чувствовала себя тоже не лучше преступницы, когда, краснея и с шибко бьющимся сердцем, отвечала — наоборот, преувеличенно громко и словно умышленно подчеркивая, что за ее словами не значится никакого заднего смысла, и пусть слушает кто хочет:

— Да почему же нет? Я очень рада. Разумеется, пусть приходит, когда хочет. Я сегодня весь день дома и буду ждать.

ПОД ТУЧАМИ

XLIII

Времена стояли грозные. Над кружком Берцова повисли тучи. Сам он скрылся из Москвы, — таинственно предупрежденный кем-то, — как раз за три часа до обыска в его

квартире. Полиция рылась у Берцова усердно, даже обои со стен были сняты, половицы подняты, даже выкачали помойные ямы и приемники во всем доме. Искали тайной типографии, но ничего не нашли. Решительно все, кто посещал Берцова, были поставлены под тайный надзор, и у домов, где они жили, равно как и у тех домов, где в последнее время бывал Берцов, денно и нощно сновали сыщики, не спускавшие глаз с подъездов, ворот, крыш и окон. Из всего кружка оставались вне подозрений покуда только Борис Арсеньев, Федос Бурст и Рахиль Лангзаммер, счастливым случаем не посещавшие Берцова в последнем его убежище, за которым полиция следила, как потом оказалось, уже с месяц. Федоса Бурста спасла трагикомическая история Лидии Мутузовой и Мауэрштейна: улаживая этот инцидент, бравый немец временно — и как раз к счастью для себя! — отвлекся от политики...

— Бог не оставляет младенцев своих! — вздыхал он впоследствии. — Так вознаграждаются добрые дела и участие к ближнему.

С Борисом Арсеньевым у Берцова был давно условлено никогда не бывать друг у друга и встречаться только в совершенно нейтральных местах, свободных от полицейских сомнений.

Лангзаммер лежала уже несколько недель больная: у нее «расшалились» верхушки легкого.

Сейчас эта троица была сильно озабочена. Исчезая из Москвы и заметая следы свои, Берцов сдал на попечение Лангзаммер заботу важную: остатки типографского шрифта. Сдал — потому что уж слишком спешил: в первые надежные руки, которые вспомнил и были близко. Хранить это сокровище у Лангзаммер долго — было невозможно: курсистка знала, что с последних студенческих беспорядков она стоит у властей на самом дурном счету, и, хотя берцовская история ее не коснулась, она может ежедневно ожидать полицейского визита. «Хозяин Москвы» кн. В.А. Долгоруков

был не охотник до политических дел. Известно, что он принципиально избегал пользоваться полномочиями административного воздействия, предоставленными генерал-губернаторам в 1871 году. Но из Петербурга пришел в Москву жесткий, язвительный окрик гр. Д.А. Толстого, и первопрестольная столица подтянулась и усердствовала. Обыски так и вспыхивали по городу, наводя панику на молодежь. Печи студенческих квартир пылали нелегальщиною. Люди, мало-мальски скомпрометированные, спешили уехать в провинцию либо держали ухо востро, являя себя образцами монашеского поведения. При таких условиях Лангзаммер было очень трудно избавиться от обузы, навязанной ей Берцовым. И о том-то позвала она к себе совещаться Бориса Арсеньева и Федоса Бурста. Чтобы сдать шрифт кому-нибудь из них двоих — нечего было и думать: оба чувствовали себя не лучше самой Лангзаммер, под дамокловым мечом.

— Просто беда, братики, просто беда! — картавила взволнованная курсистка, сверкая из подушки впалыми глазами и лихорадочным румянцем на исхудавших щеках. — Самые верные люди потерялись... уклоняются... отказываются... Даже Работников и Рафаилов... Просто беда!.. Я уже и не знаю... Может быть, признать force majeure * и сдаться на капитуляцию?

— То есть?

— Да — зарыть, что ли, это сокровище до лучших времен где-нибудь за городом или просто — где наши деньги не пропадали? — спустить его в прорубь, на дно Москвы-реки?

Борис остановил ее суровым взглядом.

— Если бы Берцов желал, чтобы шрифт был истреблен, — сказал он, — то, поверьте, он сумел бы сам его уничтожить... Вещь доверена нам, — потому что вам, Рахиль, это значит троим нам, — на хранение, а не для уничтожения.

* Форсмажор; непреодолимое обстоятельство (*фр.*).

— Да я и сама так думаю... Что же вы сердитесь, Борис?.. Разве я виновата?.. Я опасаюсь не за себя, но за других, за дело... Не на кого положиться... А ведь вы сами понимаете, что такое шрифт как вещественное доказательство: нитка Ариадны! — он всех погубит... Если нельзя хорошо спрятать, надо утопить.

Борис глубоко задумался. Лангзаммер нервно моргала глазами с слезинками на ресницах и жевала ртом, точно хотела съесть свои собственные губы. Бурст бушевал.

— Жертвовать шрифтом? Да ни за что! Как можно? Обезоруживать себя как раз в то время, когда растет нападение? Подумаешь, это легкая штука раздобыться шрифтом! Говорят столь неглиже с отвагою, точно у каждого из них спрятано в кармане по типографии: когда хотят, тогда и вынут...

Лангзаммер ломала свои длинные, тонкие, хрупкие пальцы.

— Что же делать? Что же делать? Поймите, Бурст, не осуждайте меня, не поняв: все имеют основание бояться, что они уже на замечании...

— Э! Глупости! У страха глаза велики. Струсили, как зайцы, и мерещится всем невесть что... Никакой дисциплины!.. Знаем мы этот бред жандармами! Надо владеть собою. К черту!

Лангзаммер строго посмотрела в глаза ему.

— Бурст! Не клевещите, — нехорошо. Рафаилов не трус, Работников не трус. Никто не боится за себя, — боятся брать на себя ответственность, боятся подвести партию. Вы — человек доказанного мужества, вне сомнений, вне подозрений, вы и дело — это одно. Ну а возьмете вы на себя прятать шрифт? Улыбается вам это?

Федос тяжело стукнул кулаком по столу и поднялся во весь свой огромный рост, широко расставив вилами крепкие немецкие ноги.

— Рахиль! Это нечестно! Ваш пример — нелепый. Разве я допустил бы кого-либо другого к шрифту, если бы не жил

чуть не на ярмарке — при таких условиях, что — не только шрифта, иголки не могу спрятать от посторонних глаз?

— Ага! Вот и всякий так думает!

— Да, только у меня — это в самом деле, а остальные воображают.

— Тем более оснований не доверять им шрифта. Человек, как вы, не потеряется и в действительной опасности, а мнительный, как Рафаилов, погубит и себя, и всех, и дело, едва ему почудятся какие-нибудь призраки!

Борис Арсеньев поднял голову. Под шум спора он обдумал, как надо поступить.

— Погодите, — сказал он, совсем по-отцовски сжимая ладонями виски. — Погодите! Не шумите, не ссорьтесь, не спорьте. И вы правы, Рахиль, и Бурст прав. Я нашел! Уничтожать шрифт бессмыслица, прятать в партии — почти такая же ерунда. Надо скрыть его у человека, на которого не может быть даже тени подозрения, что он имеет сношения с партией. У меня такой человек есть. Идеальный для нас, потому что этого еще мало, что его никто подозревать не станет, но он и сам-то не подозревает, что есть партия и он близок к ее людям.

— Следовательно, чужой? — быстро прервала Лангзаммер. — Это не подходит, это нельзя...

Борис остановил ее нетерпеливым жестом.

— Не «наш», но свой, — сказал он, — совсем чужого разве я позволил бы себе рекомендовать? Я не вводил его в наше общество потому, что думал — рано, не считал достаточно интеллигентным, надеялся сперва подготовить его, развить...

— Ага! — радостно замычал Бурст.

— Я о Тихоне Постелькине говорю, — кивнул ему Борис.

— Это идея!.. Борис! Я согласен: это идея!

— Я не вводил его, но случайно, с краешка, сбоку припекою, он трется около нас давно... Его и Берцов знает... Он поручения кой-какие исполнял... конечно, невинные и — почти

сам не подозревая зачем... Парень крепкий: неумен, но характер железный. Верит мне больше, чем Евангелию, и предан, как абиссинский раб. Это решено, друзья мои! Сколько ни искать, лучше ничего не выдумаем. Я развязываю вам руки: беру шрифт на свою ответственность и вручаю на хранение Тихону Постелькину. Это такой малый, такой удивительный малый... я уверен, что он даже не посмотрит, какой я ему сверток дам, и не будет знать, что у него лежит в квартире...

— Лучше не найти! — твердил Бурст. — Это идея! Тихон Постелькин — не фигура для сыска, ничтожество, пятно, миф... Это блестящая идея!

Лангзаммер пожала плечами.

— Я не знаю этого человека, но если вы оба за него ручаетесь... Делайте как хотите. Вы мужчины — вам лучше знать друг друга. Мне все равно, только бы спасти вещь и не подвести товарищей. Сама погибать я согласна, но подводить под обух других... б-р-р!..

Был десятый час ночи, когда Борис прошел в ворота огромного дома на Остоженке, где в подвале квартировал Тихон Постелькин. Он шел смело, не боясь дворницкого дозора, — слишком уж свой человек был он в околотке и примелькался всем глазам. Да и так посчастливилось Борису на этот раз, что дворник вовсе не видал его: закутанный в тулуп, парень безмятежно спал на вешнем морозце в каменной нише у ворот.

«Вывози, собачье счастье!» — радостно подумал Борис, стрелою, как рыба, ныряя в темную глубину двора, где тусклым красным пятном чуть светилось над землею окно Тихона Постелькина. Блок едва взвизгнул... черная лестница выпустила на молодого человека седой клуб душного, отравленного жильем пара и проглотила его, точно сама повлекла вниз по скользким, обломанным, своим ступеням.

— О свинство какое! Живет же человек! — ворчал Борис, нащупывая в кромешной темноте хорошо знакомую

дверь, обитую рогожею, и брезгливо отдергивая руку всякий раз, когда вместо мочалы пальцы его попадали на мокрую, скользкую стену. — Мокрицам и жабам здесь гнездиться, а не разумному существу...

— Кто там?

Тихон отозвался на стук не скоро, и голос его был хриплый, недовольный.

— Отвори, это я...

Борис дергал и тряс скобку: теперь, стоя у самой цели, ему страстно хотелось как можно скорее покончить все счеты с переживаемою опасностью, войти и сбыть с рук свою тяжелую ношу... Но Тихон не спешил отпирать.

— Кто-о-о?

В голосе его послышались испуг и недоумение.

— Да я же! я же! Борис Арсеньев...

— Борис?!

Восклицание Тихона было полно уже не только страха, в нем прозвучал ужас, но Борис слишком горел нетерпением, чтобы заметить.

— А, Боже мой! Ну да, Борис! Проснись наконец, очнись! Долго ли ты будешь держать меня пред дверью? Отпирай: большое дело... не ждет...

Тихон не сказал ни слова. Он как-то мялся за дверью, топтался, вздыхал.

— Тихон!

— Сейчас, сейчас...

— Да что ты возишься?

— Лампочку зажигаю.

— Но у тебя свет в окне?

Тихон помолчал.

— Это лампадка.

Он щелкнул задвижкою и отворил дверь узкою щелью, которую поспешил загородить всем своим телом, так что Борис, шагнув вперед, столкнулся с ним грудь к груди.

— Ко мне, брат Боря, нельзя... — сказал Тихон, удерживая приятеля за руку громким шепотом, и губы его дрожали, и глаза бегали, и голос срывался. Он был в одной рубашке, и его тощие руки покрылись гусиною кожею — то ли от холода, то ли от страха.

— Это почему?

Борис отступил как от удара.

Тихон, — в свете лампочки, которую держал в руке, красный с лица и с потными волосами на лбу, — улыбался насильственно, полный глупого, жалобного, робкого конфуза.

— Да уж нельзя... говорю, что нельзя... Сказывай, что надо, здесь, а к себе не пущу... нельзя.

Холодный пот жег ему босые ступни, и он переступал с ноги на ногу, постукивая узлистыми коленами.

— А, понимаю.

Весь вспыхнувший Борис отдернул руку и с отвращением оглядел Постелькина.

— Я и позабыл, с кем дело имею! — отрывисто и быстро бросал он уничтоженному Тихону побранку за побранкой. — У тебя там женщина? Ну, конечно! еще бы! Разве мы можем иначе? О бабник! павиан! сатир! фавн! леший нескладный!

— Борис!

— И я хорош: надеялся на тебя... На что ты годишься? Кроме баб у тебя в голове мыслей нету, душа ничего чувствовать не умеет...

Тихон просил с опасливою и хитрою ужимкою:

— Да тише ты, тише... нехорошо... услышит, — нехорошо...

— А очень мне надо! Прощай!

— Да что же прощай? — заторопился, удерживая его за рукав, Тихон. — Ничего не сказал, только накричал и — прощай! Небось не попусту, а за делом явился... Ну хорошо, хорошо, так уж и быть, входи... Давай здесь, в кухоньке, пого-

ворим, — все теплее, чем в коридоре. Да и от людей бережнее. В горницу — извини, — хоть убей, не впущу!.. А что надо, сказывай: твои слова — мое дело!

— А! На какое дело ты способен! Бабник!

— Да уж ладно, слышали! Одно другому не мешает... ты говори, говори!..

Он судорожно смеялся, застывая от холода, желая угодить другу и бросая тревожные взгляды через плечо назад в темную свою квартиру. Борис испытал его долгим-долгим взглядом.

— Я, брат Тихон, уж и боюсь, — сказал он угрюмо. — Одну вещь тут... спрятать надо... Но теперь... черт тебя знает!.. Бабы всякие к тебе шляются...

Тихон перебил его весело и смело:

— Это не касающее... Б-р-р! У, черт! И холодно же... ровно на льду... Давай, — что там у тебя?.. Ух, и застудил же ты меня, Боря!..

Борис, все пронизывая его глазами, распахнул пальто. Тихон наклонился к тюку с лампочкою.

— Нелегальщина? — сказал он вполголоса, и с ужасом, и с благоговением, и с хвастовством привычного к лихим переделкам человека.

— Серьезнее. Что — тебе знать не надо. Помни одно: тут весь я. Всего себя тебе поручаю. Не спрячешь, погиб! И не один я... понимаешь?

По лицу Тихона забегали тени... Он вздохнул и протянул руку.

— Давай.

— Спрячешь?

— Чего нет? Не впервой.

— А...

Глаза Бориса сказали: «Эта, которая там спит у тебя, не выдаст?»

— Э!!!

Глаза Тихона сказали: «Что бабы понимают? Не бабье дело!»

— Давай!

— Тихон, смотри: не шутка... тут десятки жизней!

— Не маленький: смыслю.

— Найдут у тебя, — и сам угодишь на каторгу, и десятки других пойдут...

Тихон заплясал на застывших пятках.

— Не стращай, а то испугаюсь.

— Черт тебя разберет! — воскликнул Борис, растроганный и смущенный... — И дрянь ты ужасная, и молодчина. И побить мне тебя хочется, и расцеловать! Если бы не бабы твои, мог бы из тебя человек выйти...

Тихон зашевелился, засуетился.

— Я, Борис Валерьянович, я ведь ничего... Я многого — чего прочего — не вмещаю, но для тебя — все... Что бабами меня попрекаешь, я не в обиде, потому что, ежели у человека которая слабость... Един Бог без греха!.. А только, что для тебя, ежели кожу надо, — сымай кожу... прямо тебе говорю! Верь, Борис Валерьянович! Вот — пустить тебя к себе сейчас не могу, а — если прикажешь мне палец промеж дверей раздавить, — изволь, с моим удовольствием... Потому, что я тебя уважаю больше родного брата... Верь!.. И что касающее женского естества, — ты пренебреги... Пренебреги!.. Потому что — которые мои чувства... И которое понимание... Ступай себе домой, спокойно спи и ни о чем не тревожься! Укрою тючок твой так, что и колдун не найдет... Да кто на меня и подумает-то? Кто у меня искать станет? Давай!.. Ну, — продолжал он, с осторожностью поставив тюк под кухонную печь, — ну это дело теперича сделано... А затем уходи, Борис Валерьянович, сделай такое твое одолжение, уходи, потому что, правду тебе говорю: не до тебя мне сейчас... Да и зазнобил ты меня, хорошо, если завтра лихорадки не будет... Прощай.

— До сви...

Но Тихон уже хлопнул дверью и защелкнул задвижкою. Борис — опять ощупью — выбрался вверх по лестнице и, очутившись под звездным небом, долго вдыхал полною грудью морозный воздух, вознаграждая свои легкие и за смрад подвала, и за удушья пережитых волнений. Мимо все того же спящего дворника спокойно вышел он на улицу и готов был перейти в свой переулок, когда на него стремительно налетела — под самым фонарем — спешившая из переулка женщина.

— Что? — вскрикнул он, невольно подпрыгнув на ушибленной ноге. — Что? Варвара? Это вы? Так поздно? Вы? Куда вы? Зачем?

— Батюшки... Борис Валерьянович... Борис Валерьянович...

И тут Борис увидел, что бледное лицо горничной искажено животным ужасом, и глаза померкли, и челюсти ходят непроизвольно и выбивают дробь зубами... Бежала по улице Варвара — простоволосая, с смешною жидкою косичкою, растрепанною по затылку, и с плеча у нее падал и тянулся по панели шерстяной платок, который она забывала подбирать.

— Батюшка... Борис Валерьянович... Я... Батюшка, у нас в дому неблагополучно... Я... Барин молодой...

— Антон?! — закричал Борис, прислонясь к фонарному столбу, потому что почувствовал, как колени у него задрожали, и вся кровь захолодела, и улица заплясала пестрым кругом в глазах.

— Застрелили себя... лежат на ковре в кабинете!..

Борис так и осел у столба.

— Умер?!

— Нет, Бог милостив, дышат, смотрят... только, наверное, живым не быть: уж очень им худо... Крови, крови что вышло... Доктора там теперича... в полицию дали знать... фершал...

Борис приложился лбом к столбу: ледяной обжог крашеного железа унял головокружение, возвратил молодому человеку чувство самого себя.

— Фу, черт... ноги — как из ваты... — беспомощно лепетал он, стараясь выпрямиться и сделать три шага. — Фу... стой! Варвара! Но куда же вы бежите?..

Женщина теперь, наоборот, как будто совсем оправилась от первого испуга, стала бойкая и вся — точно настороже.

— Я к Тихону шла.

Борис остановился.

— К Тихону?!

— Вас искать...

— Меня? у Тихона?

Борис уставил на нее мрачные глаза, полные недоумения.

— Вы шли искать меня у Тихона? Кто же вам сказал, что я у Тихона? Почему вы думали, что я у него?

Варвара, все более и более овладевая собою, мысленно посылала себе тысячу «дур».

— Я не то чтобы надеялась найти вас у Тихона, — поправилась она, — а рассчитывала так, что, быть может, он как при вас состоящий знает, где вас лучше искать. Помилуйте! Этакое несчастье в семействе, а дома никого нет...

— Как никого? А Соня?

Варвара снова вся покоробилась, как береста на огне.

— Ну... барышня!.. — возразила она таким тоном, точно хотела сказать: «Разве это человек?»

Подъезд квартиры Арсеньевых с широко распахнутыми дверями, точно к выносу покойника, светился ярко, зловеще, — и черные силуэты чужих, любопытных людей всходили и нисходили в унылом сиянии, будто тени на лестнице в ад...

Варвара у подъезда отстала от Бориса:

— Я, барин, черным ходом пройду, — сказала она вопросительно, и скромный голос ее прозвучал лживо и вкрадчиво.

Борис, взлетая по ступенькам, только головою кивнул. А она, едва юноша повернулся к ней спиною, ринулась, как призовая лошадь, прежним бегом, по-прежнему задыхаясь, назад по переулку — в том же направлении, как мчалась, когда остановил ее Борис.

А он шел по родным покоям — и не узнавал их: так много незнакомых лиц глядело на него со всех сторон, — и красное лицо отца с седыми кудрявыми висками по сторонам лысины тоже показалось ему незнакомым, — и полицейские мундиры, которых он никогда не мог видеть без враждебного опасения в глубине сердца, а теперь имел все причины пугаться их больше, чем когда-либо, сейчас ничуть не были странны и страшны. Ворвалось в дом нечто такое грозное и дикое, что перевернуло вверх дном все его условия — приблизило чужих, отдалило своих.

Антон был в памяти. С ковра его уже подняли. Он лежал, до пояса обнаженный докторскими руками, на огромном своем диване; врач тампонировал сквозную рану на левом боку и мыл губкою тело: желтая белизна длинного худого торса, испещренного черными кляксами крови, странно, будто наклейным рисунком каким-нибудь или резьбою из кости, выделялась на темно-зеленом трипе. Чьи-то незнакомые Борису красные руки поддерживали голову Антона — огромную, тяжело закинутую назад, и на меловом лице медленно ворочались глубокие черные глаза, полные ужаса и жажды жизни. И было это жалко и страшно... И Борис задрожал под этим жутким взглядом, когда глаза брата остановились на нем, и закрыл лицо руками, и всхлипнул... И тут — ему казалось, что тут же — вспомнил, что так нельзя, что распускаться и «бабою» быть не время, и, овладев собою, закусив губы, чтобы не поддаться слабости от жалости и от органического отвращения к крови, пошел помогать доктору и фельдшеру перенести Антона с дивана на кровать. Антон, бессильно качая головою, мерно терся о локоть брата голым

худым плечом, а когда Борис опускал глаза, то встречал тот же недоумевающий тяжелый взгляд. Антон вряд ли узнал его... Переносили Антона не больше двух минут, но Борису показалось, что время это никогда не кончится. И, когда можно стало отделить руки свои от опущенного на белые подушки тяжелого, липкого тела и разогнуться от груза, молодой человек вздохнул с таким облегчением, словно от сердца оторвалась и упала пудовая гиря.

Только теперь, обводя глазами присутствующих, — лишних и посторонних доктор выпроводил из комнаты, — Борис увидал в дверях и узнал сестру Соню. Она заглядывала на раненого, не решаясь войти к нему, и делала Борису знаки испуганными, заплаканными глазами... За плечами ее выглядывали бледные, с расширенными глазами лица вставших на цыпочки Варвары, Груньки и длинный, козлиный профиль неизвестно откуда взявшегося в доме Квятковского.

Борис вышел к сестре.

— Ничего, — сказал он голосом, неожиданно для всех и себя самого, решительным и громким. — Не плачь, не надо бояться. Рана навылет, сердце не тронуто. Кни говорит, что, конечно, опасно, но, вероятно, выживет... будет жить... Позволь, позволь...

Он взялся за виски, пораженный внезапною мыслью.

— Позволь! Откуда же я знаю, что говорил об Антоне Кни? И почему я знаю, что этот доктор у брата — доктор Кни? Однако это так: я не свое выдумал о брате.... и говорил именно доктор Кни...

Квятковский ответил Борису изумленным взглядом.

— Но, Борис, конечно же, это доктор Кни... И, когда ты вошел, он представился тебе и долго говорил с тобою.

— Я не помню.

— После того ты и пошел помогать ему, — он пригласил...

— Я не помню!

— Смею тебя уверить. Я здесь уже давно. Вот эта благоразумная бацилла, — Квятковский кивнул на Груньку, — имела находчивость известить меня в «Голубятню»...

— Не помню, ничего не помню...

— Однако!.. Это называется взволноваться!

— Не помню, а знаю... дико!

Квятковский пожал плечами.

— Самодеятельность мозга, механическое восприятие идей... Расскажи Антону, когда выздоровеет: он интересуется этими вещами.

Борис, до сих пор смотревший на сестру совершенно машинально, точно перед ним не человек, но стена стояла, теперь с удивлением, разглядел, что Соня одета в какой-то странной, изрядно поношенной драповой тальме, и голова ее в сбитой, мятой, небрежной, наспех сделанной прическе мокра от растаявшего снега, и на плечи сполз большой серый платок.

— Ты выходила?

Соня вспыхнула пятнами, как всегда, когда терялась, и отвечала с взглядом в сторону, быстрым и мутным:

— Да...

— Мы, когда этот грех случился, все разбежались, — подхватила Варвара.

А Соня оправилась и докончила уже спокойно:

— Я в аптеку бросилась — спросить доктора, кто ближе...

— Ах, молодчина! Так это ты привела Кни?

Соня опять разгорелась заревом.

— Н-нет... я — другого... Кни сам приехал... не знаю, кто уведомил...

— Их тут, докторов, спервоначала, никак, четверо налетело, — поддержала Варвара.

А Грунька пискнула, указывая пальцем на Квятковского:

— За господином Кни Максим Андреевич скатали на своем лихаче.

— Вот умница, Макс! Вот спасибо, что догадался!

Квятковский состроил шутовскую гримасу:

— Я всегда говорил тебе, что имеет свои выгоды — находиться в рабстве у хорошего извозчика! Если бы не Матвей! Мы с ним облетели в двадцать минут весь центр города... Валерьяна-то Никитича ведь тоже я извлек из английского клуба.

Борис продолжал рассматривать сестру. Соня, — он не мог дать себе отчета, почему, — казалась ему какою-то новою, незнакомою.

— В чем ты одета, мать моя? Это не твое платье... И — без шляпы?.. Платок какой-то чудаковатый...

Соня проверила костюм свой, пылая пожаром от стыда, испуга, досады.

— Время ли было хорошо одеваться? Схватила первое, что под руку попало... Это Варины тальма и платок!.. Я — смотри — без калош даже...

Соня показала брату ногу в плохо застегнутом башмаке. Рысьи глаза Квятковского успели подхватить налету эту маленькую подробность...

«Гм... — отметил про себя молодой человек. — Что в переполохе убежала без калош, это возможно, это так... Но почему же она в расстегнутых башмаках?.. В постели быть не могла. Еще и сейчас только половина одиннадцатого... Неужели до того обленилась, что шлепает дома босиком?»

А Борису стало уже не до Сони. В числе все наплывающих знакомых лиц он со страхом встретил — в самой глубине коридора, на узкой черной лестнице от кухни — еще новые встревоженные глаза, которые мигали ему из-под клеенчатой фуражки и манили его к себе. То был Федос Бурст.

— Борис, — говорил он, увлекая молодого человека в первую отворенную дверь, в Сонину комнату. — Борис, я случай-

но... То есть не случайно, а нарочно... а, черт! не те слова говорю, слова врут... Я, Боря, не ждал, что у вас тут приключилось... Это ужасно!.. Ты извини меня, что я в такую минуту... Но, видишь ли... М-м-м... время не терпит... Одна беда, говорят, не ходит, — понимаешь?.. Ну, словом, того... Работникова взяли... и... и... Рахиль Лангзаммер тоже... увезли...

MEDICAMENTA NON SANANT *

XLIV

Антон Арсеньев выздоравливал трудно и медленно. Жизнь и смерть боролись за него долго-долго, и смерть отступила, только получив от арсеньевского дома, взамен Антона, другую жертву. Ранним утром после тяжкой ночи кризиса, когда Кни весело поздравил Валерьяна Никитича с началом выздоровления своего пациента, старик Арсеньев лично поднялся в мезонин Марины Пантелеймоновны — сообщить ей счастливую новость, — и нашел ее в смертной агонии. Тяжелое, конвульсивное умирание старухи длилось с лишком два дня. Антону с часа на час делалось лучше, Марине Пантелеймоновне — с часа на час все хуже. Одним из первых впечатлений возвращенного к жизни Антона были аккорды далекого пения...

— Что это? — спросил он больше глазами, чем словами.

Соня, дежурившая при нем в этот день, объяснила.

— Выносят Марину Пантелеймоновну... скончалась...

В тяжелых глазах Антона впервые за все время болезни сверкнула искра — не то большого испуга, не то большой радости... Он опустил веки. Пение звучало...

* Лекарства не лечат (*лат.*).

— Что же ты, Соня, здесь, при мне? — сказал он слабым голосом. — Поди, проводи... ты, вероятно, желаешь... я могу побыть несколько минут один... ничего не случится...

Нимфодора Артемьевна Балабоневская чуть не на коленях вымолила у Валерьяна Никитича позволение ходить за больным Антоном, чередуясь у его постели с Сонею и Варварою. Когда Антон узнал ее, лицо его выразило неудовольствие и страх. Но тогда он был еще слишком слаб, чтобы протестовать, а Балабоневская была слишком готова заранее к протесту и решила, что — хоть бей ее Антон, а она при нем останется и прочь не пойдет. В доме у Арсеньевых полюбили ее очень. Мягкий, тихий, глупый характер доброй женщины как-то хорошо пришелся по этому дому, столько лет жившему без лучей ласки, в взаимном равнодушном отчуждении всех членов семьи.

— Ежели Антону Валерьяновичу поможет Бог стать на ноги, — уверяла Соню Варвара, — беспременно следует ему жениться на Нимфодоре Артемьевне. Что женщина из-за него срама на себя берет! И какая прекраснейшая госпожа: слова от нее дурного никто не услышит... Ходи по ней, как по ковру персидскому, только будет стараться — чтобы ногам было мягче...

Самоубийство Антона Арсеньева далеко не вызвало в Москве такой сенсации, как нашатырная история Лидии Мутузовой. Квятковский, один из немногих часто навещавших больного, уверял, что «публика разочарована».

— Помилуйте! Антон Валерьянович столько лет состоял в звании рокового человека города Москвы, так давно ожидали от него чего-нибудь этакого — из трагедии в пяти действиях, с прологом и эпилогом...

Иди, душе, во ад и буди вечно пленна!
Ах, если бы со мной погибла вся вселенна!

И вот — свершилось! И вдруг — не токмо вселенная не погибла, но и сам Антон Валерьянович остался жив и, — как презрительно выражается Ольга Каролеева: «Не дострелился...» Скандал! скандал!.. Антон Валерьянович погубил свою репутацию. Уж и не знаю, какой фортель надо ему теперь выкинуть, чтобы ее поправить... Публика разочарована, пьеса провалилась, первый актер освистан... Chute complète! *

Самым тяжелым и острым впечатлением поступок Антона отозвался на Ане Балабоневской. Когда тот же Квятковский привез грозное известие в дом к ним, Аня словно окаменела над матерью, метавшейся по дивану в истерическом припадке... А потом на нее самое нашло безумие какого-то высшего, почти сверхъестественного ужаса, так что все покинули ослабевшую в припадке Нимфодору Артемьевну и уже старались только успокоить дикое волнение Ани.

— Это я, я, я виновата! — кричала она, ударяя себя в грудь, — я!.. Я желала ему зла... Я молилась, чтобы он умер... Это он от меня умирает!.. Ах, Господи! Господи! Если он умрет, я не перенесу: я теперь останусь на всю жизнь с угрызениями совести, будто убийца... Мама! голубушка! прости!.. Я виновата!.. Он давно хочет себя убить, я знала, никому не сказала... Я допустила его убить себя! Мама, мама, прости!.. Я, я, я...

Нимфодора Артемьевна ничего не понимала в странном экстазе своей дочери, изумленная тем больше, что слишком хорошо знала, какая острая антипатия живет между Анею и Антоном Арсеньевым. Всего больше волновалась Аня вопросом: из какого револьвера стрелял в себя Антон Валерьянович?

— Не Лефоше? — пытала она Квятковского. — Вы уверены, что не Лефоше? Знаете, бывает такой русский Лефоше...

* Полное падение! (*фр.*)

— Помилуйте, Анна Владимировна, — удивлялся на нее беспечальный Макс, — с какой стати ему стреляться из русского Лефоше? Превосходнейший американский бульдог... Я же говорю серьезно... разве русским Лефоше может серьезно повредить себя порядочный человек? Это уж надо совсем быть идиотом, чтобы стрелять в себя из русского Лефоше!

Отчаянье Ани Балабоневской имело то последствие, что девушка не сделала ни одного упрека, ни одного замечания своей матери, когда Нимфодора Артемьевна заявила твердое свое решение — ходить за больным... Меньшая дочь, Зоя, была очень возмущена, но — по привычке во всех своих чувствах и словах следовать за Анею и не высказываться раньше сестры — смолчала. Но наедине сестры поспорили.

— Я не понимаю, Аня, как ты позволила... Это новый позор, новый скандал...

Аня с горящими глазами твердила:

— Пусть!.. Мы не имеем права препятствовать... Пусть!.. Он умирает... Если он умрет, я никогда себе не прощу, я уйду в монастырь замаливать... Ты, Зоя, не можешь представить себе, что это за ужасная тяжесть — чувствовать на своей совести смерть человека... Ведь это я навела его на мысль убить себя... Он дал мне слово, что застрелится, и вот — застрелился...

— «Не дострелился»! — язвительно поправила Зоя.

Но Аня даже перекрестилась набожно.

— Слава Богу, что нет! Слава Богу!

Антон поднялся с одра болезни шесть недель спустя после несчастного своего выстрела. Жажда жизни, необычайно сильная, покуда он был опасен, погасала в нем по мере того, как он выздоравливал. Кни потребовал, чтобы он ехал в Крым.

— Очень хорошо, — вяло согласился Антон, — и в Крыму люди околевают, поедем хоть и в Крым.

Молчал он теперь по целым дням, не размыкая губ и глядя пред собою в одну далекую воображаемую точку. Что бы ни говорили около него, он слушал все с неизменно каменным, отвлеченным лицом, — так что и Соня, и Балабоневская долго принимали, что он не слышит. Но на вопросы, к нему обращенные, Антон отвечал удовлетворительно, хотя и страшно медленно, будто с рассчитанною осторожностью, двигая слова, как попорченный механизм. Живое любопытство вспыхивало в нем очень редко. Так ужасно всполошился и взволновался он, когда Соня рассказала ему о странном совпадении, что он начал поправляться, когда безнадежно заболела Марина Пантелеймоновна, и час перелома к его выздоровлению почти встретился с часом ее смерти. Тяжелое, замкнутое молчание Антона удручало всех, к нему приближавшихся, но никого не давило больнее, чем Валерьяна Никитича. На него в комнате сына жаль было смотреть: так суетился он в желании угодить, развлечь, оживить, быть полезным, и так ничего не выходило у него, так ничего он не умел. А тот, бесстрастно безмолвный, смотрел и смотрел мрачными, загадочно устремленными внутрь себя глазами... Старик уходил со слезами на глазах.

— Он ненавидит меня! Клянусь вам, он всех ненавидит! — плакался он пред Маргаритою Георгиевною Ратомскою.

Та неуверенно возражала:

— Ну вот!..

Когда Антон был вне опасности, Валерьян Никитич попытался с осторожностью выспросить сына о причинах, побудивших его к самоубийству. Антон долго молчал, потом сказал холодно и равнодушно:

— Какие же особые причины... Я — Антон Арсеньев... Разве мало?.. Вот и все причины...

Старика передернуло.

— Болезнь не отучила тебя обижать людей, — сказал он с жалкою, насильственною улыбкою. — Ну да уж хорошо,

хорошо... Наша фамилия у тебя не в милости, — твое дело... Считаешь нас нравственно прокаженными...

— C'est le mot, mon père *.

— Об этом мы, может быть, когда-нибудь поспорим, когда ты будешь более здоров. Но каковы бы ни были мы, Арсеньевы, однако не стреляемся же от того, что Арсеньевы... ни я, ни Борис, ни Соня...

— Погодите, — с усмешкою перебил больной, — не надо давать зароков! Может быть, очередь не дошла.

— Антон! Антон! Антон! — Валерьян Никитич беспомощно поднял руки к потолку.

Антон молчал.

— Вот что, — начал старик, овладев своим волнением, — давай попробуем — без общих фраз и отвлеченностей... а?.. Твои причины — пусть при тебе и останутся, но ведь ты всегда был логик...

— Как дьявол, — вставил Антон. — Tu non credesti, Santissimo Padre, che anch'io sono logico! **

— Остри, остри!.. Я рад, что ты шутишь: это доказывает, что ты уже здоров... Слушай: прах побери твои причины, но — повод? Дай мне повод! Где? какой повод?

Антон возразил, с медленностью водя по обоям безразличными глазами:

— А именно повода-то я, mein allerliebster Vater ***, как раз и не помню...

Помолчав, он прибавил:

— Не помню!.. Очень может быть, что никакого повода не было...

— Эх, Антон! Грех тебе!

Антон продолжал, не слушая:

---

* Здорово сказано, отец (*фр.*).

** Ты не верь, святой отец, что я тоже отзвук конца! (*фр.*)

*** Мой всеми любимый отец (*нем.*).

— А может быть, не было и самоубийства.

— Что-о-о-о?!

— Может быть, я совсем не в себя и стрелял...

— Антон! не своди с ума!

— Папаша, кто бережет свой ум, тому лучший совет — не испытывать сумасшедших в их сумасшествии.

Старик дрогнул, но опять сдержался.

— Некоторые друзья наши, — сказал он, — высказывали предположение, что тут несчастная любовь...

— И Силин, — спокойно докончил Антон.

— Какой Силин?! — вытаращился Валерьян Никитич.

— Есть такая глупая пародия — «Любовь и Силин»... Козьмы Пруткова — что ли?.. Ну так вот этот таинственный Силин столько же виноват в моем самоубийстве, как несчастная любовь...

Валерьян Никитич вышел от сына в свой кабинет и только молча за волосы схватился.

Антон расспрашивал Варвару:

— Что теперь в комнате Марины Пантелеймоновны?

— А ничего, барин... Потолок перебелили, обои новые поклеили... Мебель, которая была, в сарай снесена, — тоже новую барин Валерьян Никитич поставить велели... Мы вдвоем с барышнею и покупали на Смоленском рынке... Шкап, два стола, шесть стульев, диван, кровать, комод... все, как было, только что новое...

— Зачем это?

— Барин Валерьян Никитич говорит, что — пусть будет комната для гостей... Иногда у Бориса Валерьяновича засиживаются товарищи, — чтобы ночевать было где оставить... Теперь вот, как вы больны, Нимфодора Артемьевна иногда заночевывают, если опозднятся...

— Балабоневская?! Там в мезонине? Где жила Марина Пантелеймоновна?!

Взор Антона оживился странным любопытством.

— Так точно... Что ж? Они смелые... не боятся...

— А чего бояться, Варвара?

— Ну как же... все-таки давно ли человек в тех самых стенах помер?.. Да и Бог с нею, Антон Валерьянович, — конечно, царство ей небесное, и тем более — теткою мне приходилась, — но нехорошо помирала...

— Нехорошо?

— Даже чрезвычайно как нехорошо... Трудно очень... Шутка сказать: шестьдесят часов мучилась... Случись в деревне, давно бы над нею потолок разобрали по глухой мужицкой глупости... У нас, Антон Валерьянович, ежели кто очень трудно помирает, тех почитают за колдунов. И муки их, извольте понимать, происходят от того, что не может из них душа выйти прежде, чем не отцепилась от нее колдовская наука. И, ежели такой колдун или колдунья, что ли, очень мучится своим смертным часом, тут только два средства помочь: либо чтобы какой-нибудь из родни взял на себя колдовство, принял от умирающего науку его, либо разобрать над постелью потолок, чтобы душеньке было просторно улететь... А то — дьяволы ее, душеньку-то, стерегут: она и боится выйти из тела... У дверей, у окошек — всюду стерегут.

— А насчет разобранного потолка недогадливы? — мрачно улыбнулся Антон.

— Насчет потолка недогадливы...

— Кто при ней был тогда?

— Я да старый барин часто заходили, Валерьян Никитич...

— А Соня? Борис?

— Софья Валерьяновна больше занимались при вас. А Бориса Валерьяновича она, тетенька покойная, сами не пожелали... Никогда ведь его не любили... «Уходи, — говорят, — уходи, — ты не мой, ты чужой!..» Вас очень звали, — договорила она, помолчав.

Блеск таинственного любопытства опять загорелся в глазах больного.

— Да? Очень?

— Ужас как тосковала, что не увидит вас. Все звала: «Антона покличьте... Антона хочу... где Антон?..» О вас, стало быть... Ну где же было! Вы без памяти лежали, градусник до сорок одного поднимался... Так и отошла. За священником барин послал... Она посмотрела, притворилась, будто без памяти, и отвернулась. Так без покаяния и отошла.

— Быть может, и в самом деле была уже без памяти?

Варвара покачала головою.

— Нет, Антон Валерьянович, я ее манеры все знала: что у нее — в самом деле, что — ролю изображает... Притворилась! Не захотела принять отца духовного, а дом и барина конфузить своим отказом тоже не пожелала... Притворилась! Уж такая была — неверующая... Которая фармазонка — так она фармазонка и есть!

— Можно войти?

В дверь постучала Балабоневская.

— Варвара сообщила мне сейчас, — обратился к ней Антон, — что вы ночуете в комнате Марины Пантелеймоновны... Смотрите, это может принести вам несчастье. По мнению Варвары, тетенька ее была едва ли не ведьма...

Нимфодора Артемьевна покраснела всем своим круглым с ямочками лицом.

— Я знаю только одно несчастье, — вполголоса сказала она, когда догадливая Варвара скромно вышла, — для меня опасно только одно несчастье: потерять вас.

Антон, мрачный и недовольный, откинулся головою на спинку своих кресел.

— Я еще слишком болен, чтобы любить, быть любимым и прочее, и прочее в том же чувствительном роде... — сухо и уныло возразил он. — Слишком болен и боюсь, что никогда не буду здоров... Садитесь, мой друг. В шашки могу, в пикет могу, а в любовь и в шахматы — пасую: сложно!.. Вот тоже бирюльки очень хорошая вещь, — только надо, чтобы

из соломы, а не из слоновой кости... Привезите мне бирюльки, милая моя Нимфа, и будем мы с вами таскать, таскать эти бирюльки по целым вечерам — до тех пор, пока я не уеду в Крым...

— А я? — бледно и криво улыбнулась Балабоневская.

— А вы останетесь в Москве, и во всей Москве никто не будет играть в бирюльки лучше вас...

— Спасибо и на том.

На горький звук ее голоса больной поморщился и промолчал.

— Что ваши дочери, Нимфодора? — начал он после долгой, тоскливой паузы.

Балабоневская встрепенулась и насторожилась.

— А что вам до моих дочерей? — спросила она с пугливою, сухою враждебностью.

— Отличные девушки... больше ничего!.. Аня усиленно рекомендует мне, Нимфодора Артемьевна, жениться на вас... вы что на это скажете? Стойте! Стойте! что вы делаете?

Она вдруг сползла пред ним с кресла на ковер всем своим грузным, округлым телом и, охватив его ногу трепещущими руками, припала к ней губами, жар которых он почувствовал сквозь туфлю свою.

— Антон! — шептала она, — Антон, не надо так шутить... Вы знаете: я раба ваша... То, что вы говорите, было бы для меня не только счастьем, а блаженством, Антон, блаженством, от которого умирают... Но я знаю, что вы никогда... что это невозможно... зачем же дразнить и мучить? Жестоко, Антон!

Он глядел упорно и старательно мимо ее головы.

— Я, Нимфодора Артемьевна, того же мнения, что это совершенно невозможно... да встаньте же вы, наконец! встаньте!.. И... и вот почему — вы, повторяю вам... о, да глупо это! встаньте!.. вот почему вы напрасно выбрали для ночлегов комнату Марины Пантелеймоновны... Друг мой!

Мы с вами повеселились сами, посмешили собою почтеннейшую публику в первопрестольном граде Москве... Хорошенького понемножку! Пожмем друг другу руки как добрые приятели и...

Балабоневская вскочила на ноги.

— Ты... ты гонишь меня?!

Антон, хмурый, искусно избегая ее взглядов, повторил холодно и мрачно:

— Расстанемся друзьями... Нам надо расстаться.

Она опрокинулась на стену круглыми, мягкими плечами и стояла, оцепенев в нелепой позе, точно живая подпорка к стене, с торчащею столбиком головою, с косо улыбающимся лицом, с круглыми вертящимися глазами.

— Ты меня гонишь... ты меня гонишь... — лепетала она. — Как же это? Я выходила тебя от смерти, а ты меня гонишь!

— А вы думаете, — я очень счастлив тем, что вы выходили меня от смерти?

Балабоневская молчала, хотя губы ее шевелились. Она, кажется, и не слыхала ответа Антона, и продолжала лепетать про себя:

— Ты меня гонишь!

Антон продолжал:

— Худшей услуги, чем спасти меня, вы не могли оказать ни мне, ни себе, ни всем, кто нам близок... Если бы вы знали, кого вы спасли и зачем спасли, то я уверен, что даже вы, со всею вашею привязанностью ко мне, предпочли бы оставить меня в ту ночь, чтобы я истек кровью... Смерть от своей руки — лучшее, чем я мог кончить... И мне жаль, что я не кончил... Потому что — повторить, не знаю, найду ли я в себе силы... Смерть — страшное чудовище, Нимфодора Артемьевна. Кто видел ее близко, как я теперь, тому позвать ее к себе еще раз очень трудно... Я думал, что умирать гораздо легче. И боюсь, что я теперь останусь жить — захочу жить, вопреки самому себе. Потому что во мне все — и рассудок,

и чувство, и знание, и опыт — кричит, что жить мне не следует, преступно, подло мне жить... Но — организм слишком напуган... Я не в силах... Какой бы ужас ни сулила мне жизнь, — а я знаю как дважды два четыре, что сулит наверное, — нет у меня сил снова посягнуть на себя... Буду жить! Хочу жить! Жить буду!.. И — что бы ни вышло... чем бы ни кончилось... только уж — нет! не сам...

— Антон, — заговорила Балабоневская, с усилием оторвавшись от стены, — душечка Антон, милый мой, бог вы мой, слушайте... Ой, голова моя! Глупая моя голова! Зачем Бог дал мне такую слабую голову, что я никогда не могу собрать своих мыслей и найти хорошие, ясные слова?..

Антон твердил мрачно и твердо:

— Нам нельзя оставаться вместе... Передо мною — пропасть... Я хотел перескочить ее... Вы не дали, спасли... Для нового прыжка я слишком слаб. Я опять такой же и там же, где был, — и предо мною пропасть...

Нимфодора Артемьевна осторожно дотронулась до его руки.

— Антон... — голос ее дрожал, — Антон... быть может... у вас... на душе... преступление?..

Антон горько улыбнулся.

— Тысячи против совести и ни одного против уложения о наказаниях!

— Я потому сказала, — простодушно возразила Балабоневская, — что если бы вас в Сибирь засудили, так я — ничего... мне не стыдно и не страшно... я пойду за вами в Сибирь!

— А если я человека убью? — резко и круто повернулся к ней Антон. — И это не страшно?

Лицо Балабоневской все исказилось и затрепетало.

— Нет, это страшно... только... зачем же вам... ох, это страшно!..

— Ну? — почти крикнул на нее Антон.

Она с болезненною, глупою улыбкою уставила в лицо ему восторженные глаза.

— Если вам надо... — пробормотала она с огромным усилием над собою. — Об этом трудно говорить... Антон...

— Ну?

Она поднесла его руку к губам.

— Убивайте кого хотите... Я стерплю... Только не оставляйте меня, не оставляйте, Антон! Я и стыд, и страх — все стерплю... буду молчать... потому что я ужасно люблю вас, Антон, и не могу жить без вас.

Антон сухо отвечал:

— Надо выучиться. Я говорю вам без всяких шуток: с моим отъездом в Крым между нами — все кончено.

Она ломала руки.

— За что, Антон? за что? за что? за что?

— За то, что я хочу жить и хочу, чтобы вы тоже жили. Мы не можем быть вместе, — поймите! Близ меня вы — всегда близ смерти.

— Я не понимаю вас, Антон.

— Ну и тем лучше...

Легло и потянулось тяжелое молчание. Что-то незримо умирало в воздухе и дышало отравою на обе души — обидящую и обиженную...

— Ты нашел себе другую женщину? — заговорила Балабоневская с мучительною улыбкою. — К другой женщине едешь? Лучше меня нашел, моложе?.. Я понимаю... что же? разве я не знаю, что не стою тебя, что это только так, капризом твоим, сумасшедшее счастье мне выпало... в награду за молодость мою, пропавшую без радости... Я понимаю... Но, Антон! Зачем же бросать? Зачем гнать? Разве я стесняю? Разве я стесняла? Любишь... ну люби, люби... я не ревную, молчу... Но — бросать... за что?

— Оставьте это, пожалуйста, — с нетерпением возразил Арсеньев. — Не надо... Никого я не полюбил, никакой дру-

гой женщины не находил и ни к кому не еду... К себе еду, к самому себе — понимаете? Хочу остаться один, совсем один... как Робинзон на острове или как схимник в келье... Если бы я имел хоть сколько-нибудь веры, я бы охотно теперь в монахи ушел, в затвор пещерный... ну а без веры — совестно: пожалуй, при моем теперешнем настроении, я способен на такие самоубийственные чудеса аскетизма, что народ сдуру меня еще святым мужем почитать станет... что же мошенничать-то?.. Бог с ним, с затвором!.. Вы слыхали про систему одиночного заключения? Ну вот. Это мне больше подходит. Я нахожу себя достойным одиночного заключения и скрываюсь в него. Больше ничего. И не удерживайте меня. И не цепляйтесь за меня. Я знаю, что делаю, — слишком хорошо знаю! И готов повторить вам сто раз, что поступаю так для безопасности вашей, своей, всех... Дайте же мне хоть однажды в жизни вести себя и чувствовать себя порядочным человеком!

— О, Антон!.. Что вы говорите... Зачем вам?.. Лучше вас нет никого на свете...

— С чем себя и поздравляю.

— Для меня... никого! никого!

— Да, это, конечно, большое ограничение...

Он с усилием встал с кресла и сейчас же опустился на близ стоящий стул.

— Слушайте! Будет! — сказал он с холодным отвращением. — Говорю вам: тяжело, довольно... Надо опомниться... обоим... и мне, и вам... У вас дочери взрослые... займитесь ими... пора...

Она мотала головою с глупою, жалкою улыбкою непоколебимого упрямства.

— А что мне в дочерях? Вы мне нужны, а не дочери! Что мне в дочерях?!

Антон молчал, глядя в землю. Балабоневская с судорогами в лице долго вглядывалась в него плачущими, безумными глазами.

— Антон!

— Я.

— Слушайте, Антон...

Голос ее звучал диким отчаянием.

— Слушайте, Антон... Вы все о дочерях моих говорите... Я знаю вас: вы прихотник... Слушайте, Антон... вы не сердитесь, только слушайте, не сердитесь... Вы, может быть... вам Аня понравилась? да?..

— Нимфодора Артемьевна!!!

Но она ловила его руки и твердила:

— Только не сердитесь, не надо сердиться... Аня? Зоя? которая из двух?.. Или обе?.. О, я вас знаю, знаю... Хорошо! Будь по-вашему! Берите их, они ваши... Но не оставляйте меня, позвольте мне быть при вас... не оставляйте, не оставляйте!

— Нимфодора Артемьевна! Да что же это наконец? Что вы думаете? Что вы говорите? За кого вы меня принимаете? О черт возьми!

Она — оглупевшая, отчаянная, сладострастная — лепетала:

— За кого принимаю?! Вы — Антон Арсеньев. Антон... что же нам — вам и мне — стесняться наедине между собою?..

— Да... действительно! — бешено вскрикнул он, и зубы его заскрипели.

— Антон... Я вас знаю... Если вы бросаете меня, значит во мне самой нет уже ничего для вашего разврата... нечем мне больше вас удержать! Антон! не могу я вас отпустить от себя, не могу — это смерти подобно! Антон! я унижаюсь, я на позор, на преступление согласна, я... Антон! Я покупаю вас себе! Нате вам их, нате... Они ненавидят вас, но я умолю, застращаю, силою заставлю, опиумом опою... Антон! не покидайте меня! Берите все, но покидать... нет... нельзя... не покидайте, Антон!

Антон смотрел на нее в упор, и в глазах его светился почти суеверный ужас.

— Нет, ты страшнее, чем я думал... — произнес он вполголоса со странным спокойствием, как бы про себя и как будто кому-то другому, а не ей, не Балабоневской.

По коридору послышались легкие шаги.

— Оправьтесь же, — сухо сказал Антон рыдающей Балабоневской. — Варвара несет мне мой эмс с молоком... Совсем напрасно давать трагические спектакли пред горничною.

— Спектакли! Спектакли! — бормотала Балабоневская, глотая слезы и стараясь облагообразить красное, расплывшееся от волнения лицо. — Он называет это спектаклями... О, Антон! Антон! Если есть Бог в мире, вы будете наказаны...

— Утешьтесь, — холодно возразил Арсеньев, — я слишком хорошо знаю, что буду наказан, даже если Его и нет в мире... Входите же, Варвара! Ведь я слышу вас... Что за дурацкая манера топтаться у дверей?

Умная девка сообразила, что барин ищет ее помощи, чтобы прекратить тяжелое объяснение.

— У нас там в гостиной, — доложила она, ставя на стол поднос с минеральною водою и дымящимся стаканом молока, — сидят господа Квятковский и Рутинцев. Спрашивают, можно ли к вам?

— Разумеется, зовите... почему же нет?.. Я здоров... Нимфодора Артемьевна, — обратился Антон к Балабоневской, когда Варвара закрыла за собою дверь. — Вы видите, ко мне люди пришли. Отложим наш разговор на другое время.

— Слушаю... — прошептала Балабоневская, покорно поднимаясь с места. — Антон Валерьянович!

— Ну?

— Скажите мне, что это еще не конец?

— Разумеется, не конец, раз я вам говорю, что — в другое время. Идите же!.. Нехорошо, если эти господа застанут

вас у меня такою... посмотрите в зеркало, на что вы похожи... красная, глаза распухли... Идите! Я слышу их голоса...

— Иду, иду... Я, Антон, еще не в отчаянии, я не теряю надежды...

— Хорошо, хорошо!

— Я, Антон, буду думать, что вы сегодня были просто очень не в духе и сорвали на мне злость.

— Очень может быть. Думайте, как хотите. Очень может быть.

В скороговорках Антона звучало что-то посильнее и поглубже отвращения. Смотреть на Балабоневскую он решительно избегал и, когда она заставила-таки его глаза встретиться с своими, он побледнел, и губы его нехорошо, опасно задергались и гневом, и страхом. Наконец, десятки раз повторив, что он сегодня не в духе и потому сам не знает, зачем мучит людей, Нимфодора Артемьевна собралась с духом оставить своего угрюмого друга. Взгляд, которым проводил ее Антон, был бессмыслен и страшен...

— А говорили, что умерла! — произнес он вполголоса, вслух и с тихою, хитрою, жестокою усмешкою. — Нет, оно не так-то легко...

Квятковский и Рутинцев просидели у Антона недолго. Нашли его усталым, рассеянным, молчаливым и помчались к Каролеевым на grand diner * по случаю рождения Ольги Александровны. А Антон, отпустив их, немедленно позвонил.

— Нимфодора Артемьевна еще у нас?

— Уехали... — протяжно отвечала Варвара. — Обещали быть завтра к одиннадцати часам. Если прикажете, можно Груню спосылать за ними: недалеко...

— Не надо. Кто из наших дома?

— А никого нету... Софья Валерьяновна до последнего времени все в своей комнате сидели, думали, что вы позовете, а сейчас — одели шляпу, разгуляться пошли...

---

* Парадный обед (*фр.*).

— На ночь глядя!

— Они любят в сумерки.

— Варвара, слушайте. Соберите мне в чемодан белье, платье, вещи с письменного стола, приготовьте шубу, подушки, плед и пошлите Груню на Никитский бульвар — взять карету на Курский вокзал. Я уезжаю. До поезда остается два часа: обделайте все попроворнее, чтобы мне не опоздать...

Варвара потеряла с худого лица своего все обычное ей умное выражение и смотрела дура-дурою... Даже рот у нее открылся...

— Батюшки мои! Да как же? — воскликнула она наконец. — Барин! Что вы это? Куда вам ехать? Вы едва на ногах стоите...

— А уж это не ваше дело. Идите и — живо у меня! живо!

Двадцать минут спустя, Антон позвонил снова: Варвара не пришла. А минут через пять еще в комнату влетела красная, запыхавшаяся Соня.

— Антон! Что это значит? Ты едешь? Куда? Разве можно? Ты совсем больной?

— Еду, еду, еду, еду... — скороговоркою отвечал Антон. — В Крым еду. Велено в Крым. Ну и нечего мешкать: еду в Крым. Укладывает Варвара вещи? Пошла Груня за каретою?

— Но как же папаша? Господи! я не знаю даже, где искать...

— И совершенно незачем. Дальние проводы — лишние слезы. Не навек еду... увидимся!.. Борису кланяйся... всем... Прощай!.. Вот и Варвара...

— Карета меньше трех рублей не везет, — угрюмо возвестила горничная: в спешном отъезде Антона ей чудилось опасное и недоброе.

— Неужели?! Ну как-нибудь осилим: авось не разорюсь... Прощай, Соня! Давай руку...

Соня серьезно удержала его.

— Если ты действительно уезжаешь, поцелуемся, Антон... Ты никогда меня не целуешь.

— О, с удовольствием!..

Он прикоснулся губами к ее пылающей щеке, и на всю жизнь остался памятен Соне этот прощальный поцелуй и странный, долгий взгляд, которым потом окинул ее брат.

— Откуда ты сейчас? — спросил Антон небрежно, влезая длинными ослабевшими руками в хорьковую шубу, принесенную Варварою.

Соня отвечала с расстановкою:

— Гуляла в сквере у Спасителя...

— У тебя волосы пахнут дешевым табаком и какими-то глупейшими духами... Умойся, Офелия! Вот тебе последний и единственный совет отъезжающего Лаэрта...

Когда двери подъезда закрылись за Антоном и грохот отъехавшей кареты замолк, Соня и Варвара переглянулись дикими глазами.

— Что это он... какой?

— А кто ж его разберет? — с азартом воскликнула девица Постелькина. — Оглашенный... Кто вас всех-то разберет? Один другого полоумнее! Вот взять бы вас всех сразу да до единого так гуртом и свезти в безумный дом... Самое настоящее место...

— Папаша вне себя будет.

— Кто у вас в себе-то?.. А умыться — это он вам хорошо посоветовал... Вы умойтесь!

— Да я — что ж? я умоюсь...

Ничего не подозревавший Валерьян Никитич спокойно скушал свой клубный обед и сел за винт с тремя ему подобными действительными статскими советниками, когда официант подал ему срочную телеграмму:

Не беспокойтесь обо мне, уехал выздоравливать, поправлюсь, приеду, адрес, когда устроюсь, сообщу.

Антон

Телеграмма была из Серпухова.

— Что? Неприятности? — спросил один из партнеров побагровевшего старика.

Тот едва поднялся с места.

— Я... вы меня извините... играть не могу... домой должен ехать... такое известие...

— Поезжайте, поезжайте... Вы на себя не похожи... Мы за вас Петра Максимовича посадим... Петр Максимович!.. Да что случилось-то, Валерьян Никитич? Что у вас там опять?

— Ничего, решительно ничего особенного... — уверял Арсеньев, болезненно морщась от уколовшего его неосторожного «опять». — Ничего, недоразумение... с Антоном... Извините, господа, я должен спешить...

— Старик Валерьяша наш уехал, как нехорош! — говорили чиновные партнеры по отъезде Арсеньева. — Совсем разваливается и — больной, больной...

— Детьми, батюшка, болен! — басил, козыряя, заместивший Арсеньева в игре Петр Максимович. — Ничем другим не болен, но детьми! А эта болезнь — неизлечимая.

А больной детьми Валерьян Никитич ехал и рыдал в извозчичьих санях:

— Они меня убьют когда-нибудь этак! Они меня убьют своими внезапностями... Ну куда он поехал? Умирать поехал... Так уж и меня-то, старого дурака, хоть бы захватил с собою.

КОМПАТРИОТЫ

XLV

Брагины истощили свой круговой билет по Италии и опять были в Венеции. И опять шел дождь, и опять Евлалия сидела в отеле одна, и опять питалась вестями с родины. Нако-

нец бухнула полуденная пушка. Голуби святого Марка сделали свой обычный, звенящий, торжественный полет вокруг площади. Георгий Николаевич и знаменитый романист, его приятель, возвратились вымокшие, усталые, с проклятиями на устах всем старинным архитекторам, живописцам и скульпторам, из-за которых добрые люди обязаны скитаться под дождем по сырым, туманным, грязным, вонючим окраинам и закоулкам...

— Да вы бы гондолу взяли!

— В такую погоду? Б-р-р! Точно в гробу, и дождь плачет, и лагуна булькает — будто поет реквием.

— Ничего что пробежались: будем лучше есть за завтраком.

— А есть-то хо-о-очется!

— Теперь уже скоро, Лаличка, ты бы занялась своим туалетом: мы сегодня завтракаем у Квадри.

— Так аристократично? Почему?

— Русских встретили. Знатных иностранцев — di primo cartello! * Граф Буй-Тур-Всеволодов, юный князь Раскорячинский и еще два каких-то субъекта, фамилий не расслышал. Условились завтракать вместе.

— Ой, на что они нам?

— Да, конечно, ни на что не нужны, но за эту честь благодари уже нашу знаменитость: конечно, не на нас с тобою, маленьких людей, польстились знатные иностранцы, а на его литературное высокопревосходительство.

Знаменитость защищалась.

— Не верьте, не верьте, Евлалия Александровна: все — из-за него! Узнали, что Брагин — и с молодою красавицею-женою, и оседлали меня просьбами, чтобы завтракать вместе. Впрочем, сегодня у Квадри будет действительно всего удобнее; по крайней мере, пройдете в ресторан под галерею, не нужно зонта и не промочите ножек...

---

* Самых знаменитых! (*um.*)

— Скучно там ужасно и чопорно... англичан множество... Да и ваши знатные иностранцы меня ничуть не привлекают: старого графа я не знаю, но репутация у него неумная, а Раскорячинский этот... м-м-м... м-м-м... товарищи Володи такие вещи про него рассказывали!..

— Ничего! — ободрял Брагин. — Ручаюсь тебе: потом будешь смеяться... Типы увидишь! Пойдем! Ну, пожалуйста, пойдем...

Когда они втроем вошли в раззолоченный, зеркальный общий зал Квадри, знатные иностранцы были уже там, за почетным угловым столом, и молодой Раскорячинский, почтительно изогнувшись на своем стуле, елейно лепетал в ухо седого, в бородке Буланже, краснолицего, пучеглазого, апоплексического графа:

— Я, дядюшка, искренно говорю: если я не добьюсь разрешения приложиться к блаженным останкам святого Марка, Венеция для меня потеряна, потому что я приехал единственно с мечтою удостоиться...

Граф кивал головою и повторял

— Так... так...

— А если удостоитесь, куда вы потом? — спросил густым басом один из «субъектов», чернобородый молодой парень с веселыми искрами в насмешливых хохлацких глазах.

Раскорячинский даже вскинулся на него, как обиженный:

— Как куда, monsieur Бурлаков? Конечно, на юг, где покоятся великие апостолы... В Рим — к Петру и Павлу, в Амальфи — к святителю Андрею, в Салерно — к святителю Матфею.

— Так... так... — кивал головой граф.

— Эка вы, князь, «Бедекера»-то здорово вызубрили! — захохотал чернобородый Бурлаков.

Князь посмотрел с неудовольствием, но смолчал: Бурлаков этот был человек, графу нужный, и имел при нем, что

называется, droit d'insolence *. Граф, впрочем, перестал кивать головою и слабо усмехнулся:

— Не обижайся, Миша, Бурлаков — всегда так... известный безбожник! А намерение твое похвально... да!.. Тем более, что не по казенной командировке, но на собственный счет... Это особенно... богоугодно. Тоже вот — в Бари... следует тебе побывать: там покоится великий чудотворец Николай, наш русский национальный святой... Нам давно следовало бы владеть его мощами и перенести их в Россию... Я подавал проект... еще в тысяча восемьсот семьдесят пятом... но... у нас тогда мало думали об истинно важных вещах! Напрасно, напрасно. Между нами будь сказано: я убежден, что если бы мой проект был принят, то Россия не испытала бы вскоре потом стольких несчастий... Берлинский конгресс... ну и там прочее... на Екатерининском канале... В наказание было! да!..

Другой «субъект» был рыженький, маленький, мохнатенький, с огромным лбом, с умными и беспокойными серыми глазами под золотыми очками. Он походил на Достоевского и говорил на «о». По серенькому дешевому костюму видать было, что человек небогатый, так что Евлалии он показался — и по лицу, и по платью — странным в свите святошествующего сановника-самодура: персонаж как будто совсем из другой оперы. Представился он Евлалии просто:

— Кроликов.

— Одобряя составленный князем Михаилом Константиновичем маршрут, — сказал этот Кроликов слабым, дребезжащим, семинарским тенорком, — я лишь хотел бы предупредить его, как в некотором роде специалист по исторической части, против поездки в Рим. Ибо по исследованиям германских теологов можно ныне считать доказанным неопровержимо, что Петр и Павел не только не

* Право наглости (*фр.*).

погребены в Риме, но даже, по всей вероятности, Петр в Риме никогда и не был...

— Ну уж эта ваша тюбингенская школа! — с неудовольствием возразил граф.

Между ними завязался спор. Бурлаков, с приятностью и не без наглости созерцавший красивую Брагину, перегнулся к ней через стол и сказал:

— Оставим мертвым хоронить мертвецов, поговорим о живых... В Венеции сейчас находится одна юная девица, немножко вам знакомая. Она больна и хотела бы вас видеть... Зовут ее Рахиль Львовна Лангзаммер.

— Рахиль Лангзаммер? — радостно изумилась Евлалия. — О да! Я помню ее и очень ее люблю... Где же она?.. И какими судьбами здесь?

— Вы найдете ее в гостинице «Capello Nero» *... Это сейчас здесь налево, к рынку, за углом. А судьбы простые: легочный процесс... пробирается к dolce Napoli **, да вот ослабла немножко — остановилась отдохнуть. А тут, как нарочно, сырь и мзга, не лучше, чем у нас в Северной Пальмире. Ее Кроликов, — он кивнул на соседа, — в Берлине полуживую встретил и довез сюда.

Бурлаков наклонился к Евлалии еще ближе и шепнул интимно:

— Она ведь того, Рахиль Львовна-то: из узилища... понимаете? Аллегро удирато!.. Ну-с, и, кажется, капут кранкен ***: скоротечная...

— Боже мой! какая жалость! — горевала Евлалия. — Я вспоминаю ее такою бодрою, веселою всего четыре месяца тому назад... Откуда быть у нее чахотке?

— Схватила воспаление легких еще в узилище, говорят, а потом подбавила во время бегства: их целая группа грани-

* «Черная шляпа» (*ит.*).

** Любимый Неаполь (*ит.*).

*** Смертельнобольная (*нем.*).

цу тайком переходила, еврейчики-контрабандисты руководствовали... по пояс в воде шли, — ну в Берлине и протянулась... Хорошо еще, что Кроликов на нее наткнулся: пропала бы одна, как собачонка, — температура, кашель... кувырк!

— Непременно зайду к ней сегодня же! непременно! — с жаром твердила Евлалия.

Кроликов оторвался от спора и посмотрел на нее внимательными глазами.

— Вы о Лангзаммер? — спросил он. — Да, бедная девушка совсем плоха... Если хотите ее видеть, то я вот сейчас же, после завтрака, могу проводить вас к ней... Она будет очень рада вам, — одна, скучает, народ кругом чужой... языка не знает... скверно...

— Пожалуйста...

— С удовольствием, с удовольствием... Так вот-с, ваше сиятельство, Барнес этот самый, на которого вы изволите ссылаться, есть суевер и враль, а вы почитайте о сем предмете Адольфа Гарнака, а ежели угодно популярнее, Газенклевера...

— Кто этот Кроликов? — тихо спросила Евлалия Бурлакова.

Тот ухмыльнулся.

— А что?

— Странный тип какой-то: с петербургским сановником о мощах спорит, а между тем...

— Нелегальную девицу в Италию привез, — докончил за нее Бурлаков. — Смешение двух ремесел! Не смущайтесь: у нас, русских, оно зауряд... На том стоим.

— А какое ему ближе?

— Думаю, что второе. Вы не смущайтесь, говорю, что он с нашим графом. Это случайность. Он не из нашей компании. А, впрочем, если полную правду вам говорить, то и наша компания — не такой уж страшный черт, как его малюют. Старик — чудак, но человек недурной. То есть, по

крайней мере, не бюрократ и бюрократического отродья вокруг себя не терпит. Вы, например, думаете обо мне, что я чиновник? Как бы не так!

Бурлаков захохотал.

— Я светлые пуговицы ношу по утрам, а по вечерам пою басом в частной опере... Да-с! Мефистофеля там, Бертрана всякого... И все наше ведомство такое: кто в опере поет, кто на балалайке играет, кто духовную музыку сочинять горазд, кто русскую присядку отколоть мастер... Ничего не поделаешь: любит старик! эстетическая душа! Он и сам-то в молодости русскими песнями карьеру сделал — Елене Павловне перед эмансипацией пел «Не шуми ты, мати зеленая дубравушка!..» Превосходнейший, говорят, тенор был и с славянофилами водился... А с Кроликовым у графа просто давнее знакомство по какому-то археологическому обществу. Ведь Кроликов некоторое время профессором был — в Харькове или в Киеве, не помню.

— А теперь?

— А теперь поселился у себя в деревеньке и учит ребят грамоте в сельской школе.

— Лишили кафедры?

— Нет, сам ушел, отказался по убеждению.

— Зачем?

— Говорит: желаю быть полезным — ребятам грамота нужнее... До высшего образования, по его мнению, Россия еще не доросла!..

— Вы серьезно?

— Нет, я не серьезно, а вот Кроликов — тот серьезно.

— Толстовец?

— Нет, кажется, весьма напротив, — чуть ли даже не в полемике с Львом Николаевичем обретаться изволит... Да познакомитесь, — увидите сами, какая птица... Он не из скрытных и поговорить охоч. — Иван Алексеевич, я вас тут молодой даме рекомендую! — крикнул Бурлаков Кроликову,

когда глаза того, почувствовавшего, что разговор идет о нем, обратились к ним.

Кроликов усмехнулся вежливо и внимательно.

— Что же меня рекомендовать? Я сам отрекомендуюсь, когда надо.

— Может быть, начнете сейчас? — улыбнулась Евлалия.

— Нет... я гласной исповеди не сторонник. Да и притом — ну графа-то я своими конфессиями не сконфужу: он меня, старого грешника, давно знает и, как видите, терпит...

— Вы, однако, на мое долготерпение не очень-то рассчитывайте! — ухмыльнулся сановник. — Все терпится, покуда терпимо.

— А вот при князе молодом, — продолжал Кроликов, искусно пропуская замечание мимо ушей, — при Михаиле Константиновиче, не рискую... Ибо сказано есть: горе тому, кто соблазнит единого из малых сих!

— О, не беспокойтесь, я не так шаток в своих убеждениях! — с надменным вызовом отозвался Раскорячинский.

Кроликов съежился, и глубоко в глазах его что-то сверкнуло.

— Я, князь, не столь за вас, сколь за самого себя беспокоюсь, — вставая, сказал он.

И опять в жидких нотах его надорванного голоса прозвучала та неопределенная, но убийственная язвительность, которая заставила Евлалию уже и в первый раз прислушаться с вниманием — что это за странный, некрасивый и даже как будто неприятный, несомненно, дурно воспитанный, а интересный и, должно быть, серьезно крепкий человек.

— Если вам не покажется очень скучным мое общество, — заговорил Кроликов, когда вдвоем с Евлалией оставил ресторан Квадри, — то я позволю себе предложить вам: не пройдемся ли мы с вами — благо дождь перестал — хоть до Риальто? Рахиль Львовна сейчас еще спит, я уверен,

и мешать ей не следует, ей силы нужны, — так что у нас есть свободных верных двадцать минут. А я, говоря правду, действительно имею потребность и сам вам представиться, и вас себе представить... О вас мне много хорошего говорили!

— В каком отношении?

— Что материал вы прекрасный из себя представляете, и будто есть воля кое-что из себя вылепить...

— Немного же!

— Нет, — серьезно возразил Кроликов, по нашим временам очень много... О времена наши тяжкие, бедные, скудные наши времена!

— Мне Бурлаков сказал, — помолчав, начала Евлалия, — будто вы презираете высшее образование... правда это?

— Нет, неправда, — сказал Кроликов очень спокойно.

— Однако вы бросили кафедру?

— Я историю средневековой литературы читал, — отвечал Кроликов после недолгой паузы. — Как вы думаете, милая барыня, сколько в России граждан, которым нужна история средневековой литературы?

— Немного, должно быть... — улыбнулась Евлалия.

— По моей статистике, — спокойно продолжал Кроликов, — их сто тридцать шесть... по одному на миллион населения! Очевидно, что девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять человек в каждом миллионе имеют нужды и интересы гораздо более важные для них, чем средневековая литература... К этим нуждам и интересам я и ушел. Вот и весь мой подвиг, как называют мои друзья, и вся моя глупость или даже преступление, как аттестуют мои враги. Есть хорошая русская пословица, что семеро одного не ждут. Ну а если ждать одного приходится миллиону? Вы подумайте! А в том и все горе нашей постановки у высшего образования, что именно по такой формуле оно

слагается: один куда-то идет, а миллион чего-то ждет. Аристократичны мы в нем очень! Ну... оно против совести... я и не поладил.

— Я всегда смотрела на наши высшие учебные заведения как на самую передовую силу в русской жизни, — нерешительно возразила Евлалия. — Разве вы иного взгляда?

Кроликов кивнул головою.

— Нет, вы правы, кафедры наши не ахти какие, зато аудитории хороши. Спасибо молодежи: толкает, будит. Без нее общество совсем бы заболотилось. Но я сегодня в ударе говорить пословицами, как Санчо Панса. Знаете — хохол один спрашивал: «Уси дивчата ангелы, видкиля ж злые жинки берутся?» Так вот и с русским высшим образованием... Наша учащаяся молодежь, как ни стараемся мы ее сгноить, очень хорошая молодежь, а интеллигенция выходит из нее никуда не годная. Стоячая, безвольная... Обыватели! Теперь вот молодой писатель один появился: Чехов Антон... не читали? Советую. Он пишет «в смешном роде», только от смеха этого и у него, и у читателя горькие слезы льются... Прочтите, прочтите... Он вас лучше моих... разглагольствований научит, что такое представляют собою теперь наши так называемые образованные классы... как они живут... зачем живут... боюсь, что даже по настоящему-то приходится сказать иначе: как они низачем живут, да и — живут ли еще? Жизнь ли еще то, в чем они обманывают себя, будто видят жизнь?

— Так разве же высшее образование виновато? — горячо воскликнула Евлалия.

— О нет. Напротив: для большинства этих несчастных оно — единственный и последний оплот против отчаяния бесцельности, в которую разменивается существование. Но в высшем образовании у нас самодовлеющую панацею какую-то видят, чудотворный кумир, что ли, который сам и лицо, и действие, и результат. А ведь оно — лишь орудие, только

орудие — превосходное, когда есть материал для обработки, совершенно бессильное, когда материала нет. Ну а материала у нас нет.

— Вы сами только что сказали, что наша учащаяся молодежь прекрасная.

— Да. Но она-то при чем? Она продукт, а не материал. То есть не тот сырой материал, которым живет, как первою причиною, всякое производство, в том числе и образовательное. Наша учащаяся молодежь — выжимки из наших образованных классов... Ну жмите мокрую губку: сперва вода течет ливнем, потом струйкою, потом каплями, потом совсем перестает течь, потом мокрая губка начинает сохнуть, сжимается, коробится. Наша интеллигенция в настоящее время близка к тому фазису, когда — шабаш! — губка воды не выделяет. Мы с вами доживем до времени, когда люди с высшим образованием и вообще интеллигенция очутятся в стороне от руководства обществом, когда им будет объявлена опала сильнейшими и самыми страстными умами русского века, когда господами эпохи станут люди, очень малосведущие во всех науках, искусствах и изяществах, коими цивилизация исторически похваляется, но смелые прямолинейною правдою, которую она от себя показными и условными изяществами своими загородила. Без правды о себе живем, сударыня моя! Гордо, надменно, на пьедесталах праздными статуями живем. Чувство «людскости», — главную общественную основу, — потеряли. Суть жизни свели к какому-то уединенному, статуарному мещанству. Изволили вы когда-нибудь быть в Генуе на кладбище Стальено?

— Мы только что из Генуи.

— Там много удивительнейших монументов, даже в высшей степени поэтических, но — в общем — этот лес мраморных буржуа, улетающих в небеса на винтом закрученных облаках, в редингтотах, цилиндрах и котелках, смешон и ужасен... Я, когда осматривал это кладбище, почему-то все о России

думал — о нашей жизни по большим городам, в образованных классах... Все-то камни, все-то позы, и в камне и позе — все-то мещанин! Сделав свою «глупость», я от каменных мещан ушел, Евлалия Александровна, — только и всего.

— По-нынешнему, это называется «опроститься», — улыбнулась Евлалия. — Вы за Толстым идете...

Кроликов холодно возразил:

— Нет, я Толстого не люблю.

— Мне Бурлаков говорил, но я не поверила... думала, что он чего-нибудь не понял.

— Не люблю. То есть, собственно говоря, не то что не люблю, а... ну вон мы видим с вами с этого горбатого моста вдали, за морем Альпы? Они весьма великолепны, сии «побеги праха к небесам», и я очень счастлив их видеть, но ведь вы рассмеялись бы, если бы я вам предложил: давайте подражать Альпам! давайте — станем их последователями! Так и с Толстым. Я вижу в нем грандиознейший «побег праха к небесам» и удивляюсь его величию... ну а жить и работать предпочитаю сам по себе, без вождя и пастыря. И притом я родился, вырос и тружусь в среде, где люди недостаточно обеспечены материально, чтобы разрешать загадку жизни формулами религиозного самосовершенствования. Они прекрасны, но предполагают за собою большую сытость. Я верю в мораль постольку, поскольку она не ссорится с физиологией. Нет-нет, я не толстовец. Я сам по себе. Да и не опростился я, как вы изволили сказать, а просто... перестал выводить горе вверху крышу, висевшую на воздусях, и спустился к земле низу рыть рвы для закладки фундамента. Губка выжата. Интеллигенция оскудевает. Классы, ее поставлявшие в общество, выродились и ничтожно немногочисленны в общей массе населения. Материал для цивилизации истощается. Мы дичаем. Ну я и пошел на поиски новой влаги для нашей губки. Сижу в глуши и работаю новые материалы для культуры, расширяю круги кандидатов в образованные

классы. Попросту сказать: учу ребятишек читать, писать, четырем правилам арифметики и еще кое-чему элементарному... Становой и предводитель дворянства называют мою деятельность «сицилизмом», а в московских прогрессивных кружках ее окрестили — «культурною пропагандою». Я же сам считаю себя только кирпичником, формующим кирпичи. Чем больше их я наформую, тем более буду счастлив, потому что — каких ни измышляй пружин, чтоб мужу бую ухитриться — а без сего кирпича общественного здания не построишь: в стране, сплошь безграмотной, бессилен голос прогресса. Хуже того: в стране, сплошь безграмотной, самое образование немногих превращается в орудие рабства, создает аристократические привилегии, тысячами псевдонимов садится на народную шею и пьет народную кровь... Разве можно серьезно и добросовестно читать ста тридцати шести избранникам с кафедры о средних веках и благодарить Господа Бога своего, что мы живем в просвещенном девятнадцатом веке, когда знаешь, что миллионы за стенами твоей аудитории застряли именно в этих средних веках совершенно безвыходно? По-моему, до тех пор, пока народ безграмотен, он — мертвец. И в стране такого народа не может быть ни своей науки, какие бы блестящие ученые ни возникали среди нас отдельными единицами, ни своего искусства, ни своей политики. Возможно только знахарство разных типов и рабовладельчество, явное или скрытое под разными соусами. Русский политический смысл создаст и вызовет к жизни тот, кто русских читать выучит. А всего вернее, что создаст его сам народ, потому что надоело ему ждать, как мы знахарим где-то наверху, и он сам учиться начинает... Если бы вы знали, какою жаждою грамоты я окружен, — там, в своих потемках! Так только слепорожденный к Сыну Давидову о прозрении вопиял, как народ о грамоте воет. Грамота для него даже не знание, она — шестое чувство, которого ему недостает, без которого он инстинк-

тивно сознает себя неполным существом, недоразвившимся организмом, низшим и бессильным сравнительно с другими общественными элементами. Что же себя обманывать? Между нами и народом пропасть. На стороне народа та чуть ли не единственная выгода пред нами, — что уж очень много его; он эту пропасть телами своими завалить может и по телам перейти. И будет этот час — часом великого экзамена, какими он найдет нас по ту сторону пропасти. Хорошо, коли понадобимся, по старой памяти, да — сомнительно. Скорее скажет: когда я алкал, вы меня не накормили, когда я жаждал, вы меня не напоили, — ну а теперь я сам с усам... изыдите во тьму кромешную! Говорю вам: не только в городах, но даже и в деревнях уже растет новое поколение, которое в нас не нуждается, ищет самостоятельно новых вер, новых путей. Свежее, гордое, сильное... Идет смена, идет экзамен. Ну и блажен раб, его же обрящут бдяща.

— Земли нет, — заговорил он снова, — и долго не будет. А когда будет, то уже и понадобится ли? Четверть века спустя русское народонаселение переползет на третью сотню миллионов! Деревня умирает, растут фабричные городки, — с фабричными князьками, с большою тенденцией к фабричному закрепощению... Переход России на новый капиталистический строй назревает фатально. Подумайте-ка! Неужели в этот роковой и неизбежный перелом мы отпустим деревню тою же темною дурою, как воспитало ее трехсотлетнее крепостное право, от которого в три десятка лет — дудки! не отдышишься! Да это было бы предательством! пособничеством закабалению! восстановлением крепостного права, с цепями тяжелее прежнего... Народ инстинктом это чувствует, — оттого и заспешил так учиться, застрадал так остро по просвещению... Он уже знает, что грамота — меч его самозащиты. Ну и пойдемте к нему с грамотою и с книгою! Он — вверх, мы — вниз, на полпути встретимся, да уж и все вместе опять вверх попол-

зем, viribus unitis... * Пойдемте-ка, в самом деле, Евлалия Александровна? А?

— Вы... меня зовете?!

— Видите ли, — строго сказал Кроликов, — я сегодня и с графом этим завтракать согласился только для того, чтобы с вами познакомиться. Я о вас много хорошего слышал. И от бедняжки Лангзаммер, и от других. Кажется, что хвалят вас не напрасно. Характер у вас есть, молчите вы умно и хорошо. Это признаки души, ищущей дела. Так — почему же мне и не рискнуть? не позвать вас на свое дело? Попытка не пытка, спрос не беда. Толцыте и отверзется — сказано в Писании, а под лежачий камень и вода не течет.

— Я, конечно, очень благодарна вам за доверие и хорошее мнение, — отвечала Евлалия, и в голосе ее звучало удивление и легкое недовольство, — но мне странно немножко... Что бы вам ни говорили обо мне, но вы видите меня в первый раз, и, однако, сейчас же предлагаете мне свою программу... Тут или уж слишком много хорошего мнения обо мне, или, наоборот, чересчур мало уважения к моему женскому умишку и характеру. Мне двадцать второй год; неужели женщина, образованная сколько-нибудь и мыслящая, не может прочно выработать к этому возрасту своей самостоятельной дороги, что вы с таким уверенным натиском зовете меня на свою? Знаете ли, господин Кроликов, ведь вашу речь можно очень близко истолковать именно такими словами: ну что ты могла сама придумать для жизни? если и есть что, брось: наверное глупости! пойдем-ка за мною, — вот я так знаю, и один знаю, настоящее... И наконец, предположим даже, что я так глупа и беспечна, что сама не позаботилась создать себе задач к жизни, — неужели я настолько дурно окружена, что обо мне подумать некому из моих близких? Неужели мне, жене Георгия Николаевича Брагина, приходится терпеть такой идейный голод,

* Соединенными усилиями; в единении сила... (*лат.*)

что он написан на лице моем и вызывает сердобольные души подавать мне милостыню программами?

— Вы самолюбивы и даже немножко надменны, — спокойно возразил Кроликов. — И подозрительны. И несправедливы сейчас ко мне. Я не слепой, чтобы не узнать в вас женщины, самостоятельно работавшей и работающей над собою. Ну а что касается второй половины ваших предположений, — то извините и позвольте быть откровенным; я, конечно, не знаю и не берусь судить, какого рода идеями питают вас люди вашего круга и какие общественные дела они вам предлагают, но большой идейной сытости, — простите, — в вас незаметно... Вы беспокойны... в вас чувствуется не нашедшая, но ищущая... А если человек ищет дороги, что же дурного спросить его: а не по пути ли нам? Ведь это не — «madame, позвольте вас проводить!» — сознайтесь!

Евлалия невольно рассмеялась.

— Сознаюсь... Да я так и не думала...

— Ох, дела, дела! — вздохнул Кроликов, — российские общие дела! А уж, в особенности, женские... Знаете ли, бывали в истории властители, которые, когда народ уж очень настойчиво требовал хлеба, отвлекали голодное внимание от аппетита фейерверками... Мне часто думается, что с женским общественным делом у нас в русском обществе обстоит в том же роде: аппетит у русской женщины к общественному делу огромнейший, а удовлетворить его нам нечем, потому что и сами-то мы сидим в этом отношении на пище святого Антония и насыщаемся больше самообманом деятельности, чем настоящею, живою самодеятельностью... Ну и — за неимением хлеба — пускаем фейерверки. Так вот, Евлалия Александровна, когда вы на фейерверки достаточно насмотритесь и почувствуете, что сколь сии огненные пшики ни прекрасны, но организм настоящей пищи требует, то вспомните о нашей встрече. У меня фейерверков нет, но хлеб есть. Он очень простой, грубый, невзрачный и — вы

знаете, как стеснено в России дело начальной школы! — даже не без кострики, лебеды и древесной коры. Но все-таки это — хлеб: жевать его не так приятно, как смотреть на фейерверки и тем более их устраивать, но с ним вы и сами живы будете, и тысячи других к жизни упрочите. Потому что хлеб грамоты — предмет первой необходимости. Нет человека на земле, которому он не был бы насущно нужен...

— И дважды два — четыре! — засмеялась Евлалия.

Засмеялся и Кроликов:

— Совершенно верно. И дважды два — четыре.

— Вы, Иван Алексеевич, Лангзаммер в Венецию привезли. По-видимому, очень хорошо и с уважением к ней относитесь.

— Одна из благороднейших девушек, каких я встречал на своем веку!

— Что же, вы и ее тоже относите к жертвам фейерверков?

Кроликов отвечал быстро и печально:

— О нет, нет, нет... ни в каком случае! Она жертва не фейерверка, но уже пожара! Кстати: вы знаете некоего Бориса Арсеньева?

— Очень хорошо.

— Я помню его довольно слабо, хотя он был одно время моим слушателем, когда я читал, еще приват-доцентом, в Московском университете... Только и осталось в памяти, что наивные, пламенные глаза... Бедняжка Лангзаммер — других слов не имеет, как о нем... Только им и бредит... Письмо он ей вчера прислал и стихи, — конечно, не почтою, а как милая наша Рухля выражается, «через заграницу»... Уж и рада же она была! Целый день носилась с ними, носилась...

— Боря иногда сильные вещи пишет, — серьезно сказала Евлалия.

— Да и это, что он прислал, с большим подъемом, — возразил Кроликов. — Я свое сравнение о пожаре именно у него заимствовал...

Он тихо продекламировал:

Бушуй, пожар! Гори, гнилое зданье!
Расширься, пепелящий ад!
Нужна нам площадь для созданья
Свободной вечности громад!

— Да, это он, Борис... — тихо отозвалась Евлалия. — Узнаю его... Фанатик, как всегда!

Кроликов продолжал:

— К сожалению, когда пылают гнилые здания, уж очень быстро и тяжело падают с потолка обгорелые балки... Ну вот — балками-то нашу Рахиль и прихлопнуло... И — скольких, скольких прихлопнет еще!.. А впрочем, умные люди рассказывают, будто на миру и смерть красна... Так что же, Евлалия Александровна, не пройти ли нам теперь к больной-то? Думаю, что она уже проснулась и нас поджидает.

XLVI *

К ЛИКВИДАЦИИ

XLVII

Маргарита Георгиевна Ратомская провела у Брагиных в Петербурге почти целый месяц и уехала в Москву — втайне с неудовольствием. Хотя Петербург никогда ей не нравился, но зато уж очень по душе пришелся веселый, интеллигентный быт, окруживший юную чету на первых порах по

* Главу эту, содержащую рассказ смертельно больной Рахили Лангзаммер о бегстве ее из предварительного заключения, я вынужден, по некоторым причинам, пропустить в настоящем издании романа. Возвратясь в Петербург, Брагины получили телеграмму Кроликова о смерти Лангзаммер в Неаполе...

Ал. А-в

возвращении на родину. Начинающие писатели, актеры, учащаяся молодежь толклись у Брагиных с утра до поздней ночи, а вернее — до нового утра, сменяя группа группу беспорядочною, шумною и милою чередою. Колокольчик в передней пришлось упразднить: столь много звонил он, терзая уши хозяев! Евлалия вставала поздно и, когда выходила к чаю, почти обязательно заставала уже за столом юную компанию, встречавшую ее радостными криками и приятным сообщением, что, покуда хозяйка спала, гости успели выпить два самовара и приели весь припасенный с утра свежий хлеб... Богему развели самую фантастическую. Знакомство разрослось, как лес. Запомнить всех, кто бывал, стало совершенно невозможно, а бывали все на дружеской ноге. В театре, на публичных лекциях, на улице Евлалию то и дело окликали юноши и девицы, которых она не знала ни в лицо, ни по именам.

Брагин вздыхал:

— Стива Облонский в «Анне Карениной», по крайней мере, знал, какие у него хорошие «ты», какие — «постыдные»... А я и того удовольствия лишен: как их, мои «ты», разобрать, которое хорошее, которое постыдное, когда — ну, право же, иное новое «ты» я впервые в жизни вижу?!

Однажды Маргарита Георгиевна ранним утром, еще неубранная, приходит в столовую и видит: у раскрытого буфета стоит красивенький, стройный, безусый, похожий на девочку вольноопределяющийся, в шинели, фуражке, и, спеша, с деловым, даже озабоченным, видом ест ложкою вишневое варенье из пятифунтовой банки. Увидав старуху, ласково кивнул ей головою и прелестно, по-детски засмеялся, расцветая ямочками розового лица.

— Здравствуй, бабушка!

Развеселившаяся Маргарита Георгиевна пригляделась к гостю: этого чудака она никогда еще не видала в доме зятя.

— Здравствуй, внучек.

— Я, бабушка, подвизаюсь на счет варенья. Отличная вишня, бабушка.

— На здоровье, внучек.

— Не прикажешь, бабушка?

— Кушай сам, внучек. Да ты бы, миленький, на блюдечко себе отложил. Нехорошо так-то — прямо в целую банку ложку совать. Другим, пожалуй, потом невкусно покажется.

— Это ты, бабушка, сказала верно, — резон! Скотина я выхожу: не сообразил, — «не альтруистично»...

Съел свою порцию, облизнулся, поправил амуницию и ушел. На прощанье все-таки спросил:

— Ты, бабушка, я тебя что-то не помню, давно ли у Евлалии Александровны?

Старуха, кусая губы, чтобы не расхохотаться, говорит:

— Двадцать третий год, внучек.

— По хозяйству служишь?

— Нет, голубчик: в маменьках служу...

— О?!

Вольноопределяющийся ничуть не смутился и расцвел еще веселее.

— Так вы, madame, кланяйтесь, пожалуйста, вашей дочке и Георгию Николаевичу и передайте, что Леонид извиняется: больше ждать никак не может, — должен на ученье спешить... Так и скажите: Леонид ждал, но больше не может...

Курьезнее всего, что, сколько потом Брагины и ближайшие гости их в общем хохоте над таинственным утренним визитером ни ломали голов своих, кто таков был этот Леонид, который ждал, но больше не может, — так и не сообразили. С тех пор «Леонид, который ждал, но больше не может», сделался в доме Брагиных мистическою личностью, чем-то вроде домашнего кобольда. На него ссылались во всех комических затруднениях молодой семьи, и — когда заваливались и в хозяйственном хаосе пропадали спешно нужные вещи, — даже прислуга выучилась поминать:

— Должно быть, Леонид унес! Леонид, Леонид, пошути, да отдай!

И — когда однажды один скептик в общем пылком разговоре воскликнул о восьмичасовом рабочем дне:

— Это, господа, будет в России, когда рак свистнет — после дождика в четверг!

То присутствовавший Кроликов поправил:

— В этом доме есть другое мерило той же растяжимости: это будет — когда вернется Леонид!

«Нанюханная», по выражению Маргариты Георгиевны, банка с вареньем была объявлена семейною реликвией и водружена на камин под ярлыком, торжественно гласившим о неприкосновенности этого сладкого фонда, принадлежащего «незнакомцу Леониду, который ждал, но больше не может».

Многое в молодой безалаберщине брагинской богемы казалось Маргарите Георгиевне диким, смешным, может быть, даже и не нравилось, но общий тон дома дышал на нее такою живою непосредственностью, такою освежающею честностью, что старухе жилось хорошо, и она совсем без радости думала о возвращении в Москву, где ждали ее закисший и вялый Володя, пустая, огромная квартира, сытый и распущенный табор Ольги Каролевой и бормочущий, полоумный Валерьян Никитич Арсеньев. Евлалия заметила и поняла грусть матери и сильно уговаривала Маргариту Георгиевну остаться с нею в Петербурге. Старуха даже заколебалась было, но — привычка к насиженному гнезду взяла свое: Москва потянула. А один из постоянных гостей брагинских — молодой, в гору идущий врач, приглядевшись к Маргарите Георгиевне, посоветовал Евлалии не удерживать мать.

— Знаете ли, вы все уж слишком старались, чтобы мамаше не было скучно, и позабыли, что ей под шестьдесят: затрепали, переутомили старушку... Пусть поживет тихою жизнью и отдохнет на покое... А то сердце у нее работает неважно, сложение апоплексическое: этак недолго довеселить старого человека и до кувыркколегии в могилку.

Отношениями молодых Брагиных между собою Маргарита Георгиевна была довольна до восторга. Действительно, с возвращением на родину влюбленность их вспыхнула как будто с новою силою.

— Скажу вам, мама, — признавалась Евлалия, — преглупый это обычай, чтобы новобрачные сейчас же уезжали в свадебное путешествие — особенно за границу. Поэзии, конечно, много, но поэзия становится между мужем и женою: озера, горы, музеи, соборы, статуи, картины, театры... отнимают время и портят перспективу — разглядеть друг друга. И в конце концов ни мужа хорошенько не узнаешь, потому что мешают природа и искусство, ни природою и искусством не наслаждаешься сознательно, потому что мешает муж. Я в путешествии часто бывала недовольна Георгием, критиковала в нем то и это, ворчала даже. А сейчас мне опять кажется, что он без недостатков. Не могу себе представить, чтобы на свете был человек умнее, красивее, талантливее. И уж, конечно, нет никого, чтобы больше стоил моей любви! И никто не сумеет так чутко и красиво принимать любовь и отвечать любовью...

Маргарите Георгиевне не нравилось в зяте только то, что он, женатый человек, и, следовательно, уже на степенной стезе домостроительства, не умел или не хотел порвать старых холостых связей и дружб, а они у него были все больше за театральными кулисами. Брагин в это время все выше и выше шел в гору, и театральный сезон застал его чуть не самым модным человеком в Петербурге. Брагинская богема, с самою Евлалией Александровною во главе, только добродушно и весело хохотала, когда Георгия Николаевича дразнили пылкими письмами одной юной, но весьма безобразной девицы из интеллигентных «поклонниц таланта» («психопатки» тогда еще не были изобретены!), либо назойливым кокетством какой-либо опереточной или драматической звезды, солидно ищущей в друзья сердца и карьеры литератора

с ярким именем и крепким влиянием на прессу. Но старуха Ратомская находила в подобных шутках мало веселья, молчала и хмурилась.

В Москву Маргарита Георгиевна отбыла действительно очень усталая и нездоровая, проклиная свои несносные мигрени и приливы в голове.

— Останьтесь хоть на денек... переждите, мама!.. вы совсем больная едете... — уговаривала ее Евлалия уже на вокзале.

Но на старуху нашел столь обычный ей польский «бзик». Она жалостно улыбалась заплаканным, опухлым, нехорошо красным лицом и твердила:

— Что же ты думаешь, я к завтрему реветь перестану? Все равно — всю ночь не усну, к утру нареву мигрень вдвое...

А Москва, как нарочно, встретила Ратомскую градом новостей, одна другой неприятнее. Еще в вагоне прислушалась старуха к разговору каких-то солидных господ из крупно торгующих московских дельцов, что пролетел на бирже случайный момент паники и многих москвичей сильно хлестнул по карману, а больше других пострадал, по слухам, знаменитый архитектор Каролеев.

— Ничего, поправится, — говорил один. — Бумажник толстый и человек нужный. По-моему, маленький щелчок ему даже кстати: вроде искупительной жертвы. Ведь уж слишком долго во всем везло человеку. Пора обновить счастье, а то износится.

Но другой спорил.

— А по-моему, он теперь в полосу неудач вошел, и звезда его закатывается... Возьмите опять скандал этот на стройке нового пассажа... Трое рабочих в негашеной извести пропали... шутка!

— Скандал здоровеннейший, но при чем Евграф Сергеевич?

— При том, что его стройка. Сядет, бедняга, на скамью подсудимых по 1468-й статье... Да, собственно говоря, пора

острастку дать: действительно, невозможно халатный стал человек. На каждой стройке у него теперь это «непринятие мер предосторожности» и скверные приключения...

— А я слышал, что следствие его совершенно выгораживает, и к ответственности привлечен он не будет, подрядчик кругом виноват, подрядчику и отдуваться. А Евграф Сергеевич вызывается только в качестве свидетеля.

— Э, батюшка! По нынешним временам иной раз не разберешь в суде-то, кто обвиняемый, кто свидетель... Разве в том штука, что на месяц в тюрьму посадят и под церковное покаяние отдадут? Каролеев, я думаю, радехонек бы, только бы шума не затевали... А вот гласность чертова! адвокатишки! газетишки проклятые! Увидите: эта негашеная известь ему соком выйдет.

— Печать уж и теперь ругается...

— А гражданские истцы? Я намедни в купеческом клубе с одним познакомился... Зубатый!.. Так и рычит: «Взобьем, — говорит, — господину Каролееву на жирных телесах его и пух, и перья!»

Маргарита Георгиевна настолько испугалась этих слухов, что — поручив вещи встречавшей ее Агаше (Володя оказался болен и не выходил из дома уже несколько дней из-за ангины: новое удовольствие для любящей матери!), — прямо с вокзала проехала к зятю. Пришлось подождать его несколько минут, занятого в кабинете деловым разговором, и в этот короткий срок многого наслушаться. Каролеевские домочадцы наговорили Маргарите Георгиевне тяжелых вестей, от которых ей жарко стало и голова кругом пошла. Прежде всего оказалось, — весьма некрасивым сюрпризом, — что Ольга за границею: струсив гремящего по Москве скандала, она, малодушнейшим и глупейшим образом, оставила мужа одного расхлебывать заваренную кашу, а сама укатила в Париж. И за нею, к негодованию всех родных Евграфа Сергеевича, немедленно умчался все тот же неотлучный Илиодор

Рутинцев. Этот незадолго пред тем начисто поссорился с своими родителями за отказ жениться на предложенной ему выгодной невесте, и Москва кричит теперь, что жениться Рутинцеву запретила Ольга Александровна Каролеева. Сплетня расползлась широко, и, кажется, один лишь Евграф Сергеевич еще ничего не знает, а если и знает, то не верит либо хорошо притворяется, будто не верит.

Подъехал Квятковский. От него Маргарита Георгиевна узнала, что скандал на стройке уже крепко стукнул Евграфа Сергеевича по карману. У него из-под руки уплыли две огромные сметы на казенные сооружения: ввиду слишком свежей огласки и общественного неудовольствия генерал-губернатор нашел Каролеева временно неудобным... Маргарита Георгиевна знала, что расчет на эти казенные работы играл немалую роль в кредитных отношениях Каролеева.

— Батюшка! Да банки-то верят ему еще? — возопила старуха.

Квятковский отвечал протяжно и как-то весь скосясь в сторону:

— Банки ничего... верят...

Напуганной старухе уже и этот тон — не то смешливый, не то печальный — показался подозрительным.

Самого Каролеева Ратомская нашла совершенно спокойным, но не то что угрюмым, а таким ленивым, вялым, тяжеловесным, сонным, как еще никогда.

— На что похож, батюшка? — без церемонии затормошила она зятя, — на кондрашку, что ли, — как это по-вашему модному теперь говорится...

— Тренируешься, — подсказал Квятковский.

— Именно! Спасибо, батюшка...

Евграф Сергеевич пошевелил перстами, поморгал глазами и заявил:

— Да... ведь... так оно... как-то... все...

— Ты мне одно скажи откровенно, Евграф Сергеич, голубчик: будешь ты в остроге-то сидеть или нет?

Пухлый Евграф столь же невозмутимо отвечал:

— Еще не строил...

— Кто? чего не строил? О Господи! Наказанье с тобою...

— Я... себе... острога... не строил...

— Так! А в чужую стройку, значит, садиться не намерен?

— Вот что я называю идеалом самопомощи! — восхитился Квятковский.

— Жену зачем отпустил, батюшка? — приставала старуха, — где смысл человеческий? Приличия никакого не имеете! Тут этакая каша кипит, а он Ольгу Александровну в Париж отправляет...

Евграф Сергеевич опять повертел перстами, поморгал глазами и глубокомысленно вопросил:

— А разве она кашевар?

Уезжая, Ратомская попросила Квятковского поехать вместе с нею.

— Ты, голубчик Максим Андреевич, у нас дед-всевед. По крайней мере, сразу мне все расскажешь, что у вас тут в Москвишке без меня натворилось...

Евграф Сергеевич впервые выказал некоторое оживление.

— Я, мамаша, отпущу с вами Квятковского, — сказал он, — только — можете вы обождать еще пять минут? Мне надо сказать ему два слова по делу... Пойдем-ка, Макс!

Из соседней комнаты, куда они удалились, долго слышались журчащее мычание что-то внушавшего Евграфа Сергеевича и громкие отрывочные возгласы и судорожный хохот Квятковского:

— Ну, конечно... Для тебя-то?.. Сделай одолжение... Ах, что ты мне говоришь, я уверен... Да — хоть на сто тысяч... Чем я рискую?.. Не подведешь!.. Не стоит благодарности... Ты приготовь, я подпишу...

— Ну-с, — начал Квятковский, усевшись рядом с Маргаритою Георгиевною в сани, — с кого же вам открыть кунсткамеру? La plus grande nouvelle du jour *. Валерьян Никитич Арсеньев вышел в отставку...

— Час от часу не легче! По своей воле или велели, батюшка?

— М-м-м... скорее, что посоветовали... Заговариваться стал старик. Я не слышал сам, но мне Авкт Рутинцев говорил, будто он тут недавно в резюме Бог знает чего наплел... о кошках каких-то... о блаженстве исполнять свой долг... о Мопассане... Ну дошло в Питер, — министр и предложил: получи тайного и уходи явно...

— Детки довели!— вздохнула Ратомская.

— Из деток, — продолжал Квятковский, — Борис вот уже полтора месяца как в воду канул. Думаю, что в Москву ему нельзя показать носа, потому что, — у меня ведь всюду есть свои амикошоны, не исключая жандармерии, — я знаю наверное: его здорово ищут... Антошка лечится в Крыму и, конечно, куролесит... Кстати: Балабоневская эта его замуж выходит... вы не слыхали?

— Господи! Старая баба! Зачем надо? Кто такую берет?

— Представьте: дочери заставили... Очень уж рады, что порвалась ее связь с Антоном, и боятся, не восстановилась бы, — так в виде гарантии...

— Подумаешь, — замужняя она не может!

— А нет! Все-таки, если и задурит, так уж не Балабоневская дурить будет, а... как ее там? Поликарпова, что ли? Другой коленкор... Говорят, весьма почтенный господин жених ее, солиднейший вдовец, инспектор классической гимназии... Дочери на нее как на опекаемую своего рода смотрят, — ну и понятно: желательно сбыть обузу с плеч долой... Еще несколько свадеб предвидится... две-три — весьма дурац-

* Весьма большая новость дня (*фр.*).

кие. У Рутинцевых плач и смятение великие: Илиодорка на княжне жениться не хочет, Авкт же — на яровской певице жениться вознамерился...

— Господи, Господи!

Маргарита Георгиевна даже перекрестилась. Квятковский продолжал:

— Мать... курица старая! — по дивану в истериках катается, клохчет: «Ах! Один не женится, другой женится, этот не на той и тот не на этой... Ах, ах, ах! Эту гнусную мерзавку, которая моего Авкта обольстила, надо из Москвы выслать... Я к генерал-губернатору! Я к обер-полицеймейстеру! Я к жандармскому начальнику!»

— И, конечно, права: надо выслать! — горячо воскликнула Маргарита Георгиевна.

Квятковский посмотрел на нее с язвительным любопытством и отвечал:

— Закона нет.

— И очень глупо!

— Вот это самое и madame Рутинцева уверяет, — спокойно поддакнул Макс, — а жандармский генерал не согласен. Спорит, будто это совсем не его дело знать, какой дворянский сын на какой девке жениться хочет... «Вот ежели бы он, — говорит, — на нигилистке женился, тут, — говорит, — мы могли бы еще как-нибудь быть вам полезны, потому что возможна прицепка от политической пропаганды... А на хористке из Яра — помилуйте, самое благонамеренное сословие! Многие хористки у нас даже состоят на негласной службе...» По-моему, генерал прав, — шутовски и поучительно заключил Квятковский. — Если родители не желают получить от чада своего брачного сюрприза в виде невестки — певички, швеи или горничной, то их и дело блюсти, куда чадо шляется и с кем водится...

Макс изрек афоризм свой просто по любви провозглашать сентенции, но не совсем-то чистой совести Маргариты Геор-

гиевны почудился в его словах намек на Володю и Агашу. Она внимательно покосилась на Квятковского, но тот глядел прямо перед собою в спину кучера ясно и невозмутимо.

«А баловство это надо, в самом деле, прикончить, — сердито подумала Ратомская про себя. — Неровен час... Вон они, молодежь-то нынешняя, какие стали отчаянные и сумасшедшие... Шутка ли? Такой семьи сын — на яровской хористке!.. Этак и впрямь не заметишь, как придется Агашку невесткою звать... Нет! нет! Жалованье за два месяца вперед в руки — и долой со двора...»

— Ты-то, батюшка Максим Андреевич, когда женишься? — заговорила она, чтобы поправить долгое свое молчание, — пора бы, голубчик, остепениться... довольно гулял холостым...

— Не на ком, Маргарита Георгиевна... Стой, Матвей, у подъезда... Пожалуйте, Маргарита Георгиевна, позвольте, я вас поддержу... Не на ком, Маргарита Георгиевна, мне жениться... На яровской певице — что-то не в охоту, а настоящие мои невесты — одни еще не родились, другие — за других замуж вышли...

Решение об Агаше, мелькнувшее в уме Маргариты Георгиевны, когда она подъезжала к своему дому, забылось было и затушевалось другими впечатлениями, накопившимися за месяц отсутствия московской жизни. Начались визиты знакомых и визиты к знакомым. Явился, в числе прочих, и Федор Евгеньевич Арнольдс. Много расспрашивал об устройстве и житье-бытье Брагиных, и хмурое, медное лицо его несколько просветлело, когда старуха излила ему все свои петербургские восторги.

— Рад-с, — по обыкновению, глухим и отрывистым басом рубил он, пуша в знак удовольствия рыжие свои усы. — Чрезвычайно рад-с. Тем более, что если так, оно снимает ответственность... и... развязывает руки к свободе действия... Поздравляю вас и, когда будете писать Брагиным, поздравьте их от меня. Очень, очень рад!

Маргарита Георгиевна решительно не могла взять в толк бормотаний офицера об ответственности и свободе действия. А он с задумчиво-отвлеченным и мрачно-вдохновенным выражением белых глаз своих казался размышляющим вслух. Потом заявил, что, по служебному предписанию, должен сегодня же в ночь ехать во Владимирскую губернию, так что пришел столько же проститься, сколько поздороваться и — когда будет назад, не знает.

В передней, уже надев шапку и пальто, он задумался и вдруг — к изумлению провожавшей его Агаши — круто повернул и замаршировал обратно в комнаты.

— Сделайте мне милость, Маргарита Георгиевна, — заговорил он каким-то необычным, трубным, из глубины груди, звуком. — Позвольте мне стать пред вами на колени и перекрестите меня на дорогу.

— Изволь, батюшка, милый... — озадачилась старуха. — Только зачем же — на колени? Я тебя и так...

— Нет, уж... я...

— Во име Ойца, и Сына, и свентего Духа... — набожно заговорила взволнованная Маргарита Георгиевна, по привычке, молясь на польском языке.

Арнольдс стоял на коленях, тяжело дышал. Поднялся он с лицом страшным и умиленным.

— Благодарю вас... Теперь все — как надо... Прощайте!

— Ох, не говори ты мне этого глупого слова «прощайте», — не люблю... Скажи: до свиданья! Прощаться только с покойниками должно, а мы — будем живы, так и увидимся...

— Будем живы, так и увидимся... — как эхо, повторил офицер.

— Какая у вас там комедия представлялась? — раздраженно спрашивал пришедшую к нему в мезонин мать Володя, обвязанный компрессами, с желтыми полосами йода на шее до самых ушей. — Агаша и Аниська до сих пор смехом задыхаются в буфетной: «Очень, — говорят, — интересно

было — господин Арнольдс словно послушник, а барыня — будто архиерей».

— За что же ты злишься? — растерялась Маргарита Георгиевна. — Что дурного? И почему ты не вышел к Федору Евгениевичу? Совсем неловко...

— Очень приятно подавать руку всякой дряни!

— Дрянь? Ты в своем уме, Владимир? Федор Евгениевич — дрянь?

Володя нетерпеливо ударил разрезывательным ножом по столу.

— Да вы знаете ли, на что вы его благословили? на что он молитв ваших осмелился просить?.. Ага! То-то... Этого сударя завтра ни в одном порядочном доме принимать не будут... Он безоружных людей убивать идет, — вот на что ему кресты ваши понадобились...

— Володька! Во сне ты или наяву?

Володя мрачно досказывал:

— На Чиркинском заводе неслыханные беспорядки... тысячи в стачке... Вызвана военная сила, и командует отрядом Арнольдс... Либеральнейший господин Арнольдс!

— Откуда ты знаешь? — с тревожным подозрением устремилась к сыну мать.

— Бурст забегал сказать... Там, по-видимому, Боря Арсеньев работает... — нехотя пробормотал Володя, отводя глаза.

— Господи! Господи! Горемычный наш Валерьян Никитич!.. Владимир! Если ты... Боже тебя сохрани! Пусть губит себя, кто хочет, но ты... Я умру! Так и знай: убьешь мать! Умру!..

— Э, полно вам, мама! Я думаю, пора бы вам знать, что я в политику не мешаюсь и до всяких там ихних партий мне никакого дела нет... Для меня правда жизни сливается в радуге искусства... Но мне двуличность отвратительна... В гостиных либеральничает, а на Чиркинском заводе будет в рабочих стрелять... Да еще благословляется!

— Но с чего же тебе кипятиться так, Володенька? — все еще подозрительно домогалась Маргарита Георгиевна. — Ведь не сам же он по себе идет на все это... служба... начальство приказывает... Он присягою обязан...

Но Володя твердил с презрительною гримасою:

— Начальство, начальство... Все они так-то, мама... За то и ненавижу я этих господ либералов... И нашим, и вашим... По-моему, уж лучше прямой, убежденный, крутой дуботолк-консерватор какой-нибудь: я не сочувствую убеждениям, но не могу не уважать ясную и прямую силу... в силе есть красота, мама!.. А это... б-р-р!.. слизнячество какое-то... На словах мы как на гуслях, а на деле выставляем щитом волю начальства и прячемся в кусты.

В обличительной иеремиаде своей Володя оказался настолько пророком, что Арнольдс, — в это самое время, когда юный поэт отчитывал его пред своею мамашею, — действительно сидел в кустах — и не в переносном, а в самом буквальном смысле слова. На горке среднего Александровского сада, на скамье, издали видна была его суровая, серая фигура, и было в ней — полной глубокою и сильною думою — странное, мрачное величие. Опершись локтями на колена, положив подбородок на сжатые кулаки, Арнольдс следил недвижными глазами уходящее весеннее солнце, и — чем ниже опускалось оно, и чем гуще розовела изящная белая громада Пашкова дома, тем грознее сходились брови на медном лице офицера, тем жестче и тверже напрягались железные челюсти, тем резче лоснились на скулах световые блики, тем глубже и пронзительнее обострялся далеко смотрящий, экстатический, белый взгляд...

Солнце скрылось. Арнольдс встал, выслушал часы Спасской башни и с седьмым ударом спустился с горки. Твердым, спокойным шагом прошел он сад, поднялся по винтушке к Троицким воротам и в Кремль, повернул в дворцовый

проезд направо — к зеленому дому странной, допетровской архитектуры, высоко поднятому над всею Москвою.

В старинной, ясеневой, Александра I эпохи, приемной навстречу Арнольдсу — поднялся дежурный офицер, — вгляделся и просиял: оказались товарищи...

— Ты к самому? Лучше бы, Федя, завтра. Он сегодня не в духе и чертовски занят: громаднейшая почта из Петербурга.

Федя смотрит мимо товарища на линию, где коричневая панель сходится с серо-голубою стеною, и мягко отвечает:

— Не могу, брат, завтра, потому что в ночь еду по назначению...

И вот — Арнольдс в полутемном кабинете, и из-за огромного письменного стола уставился на него в упор сквозь тусклое сияние восьми свечей толстый старый генерал, в котором огромно все: плечи, картошка носа, умные, холодные глаза, а всего огромнее красная потная лысина... Узнав Арнольдса, генерал смягчает для «образцового офицера» искусственную суровость взгляда и после обмена официальными приветствиями по форме бурчит в густые усы что-то частное, что Арнольдс переводит себе так:

— Очень рад видеть, милейший... Что скажете?

— Ваше превосходительство, — говорит Федор Евгениевич, и в эту минуту ему кажется, что голос его — не его, а вне его, и звучит своими крепкими, уверенными тонами где-то далеко и сверху. — Ваше превосходительство, я назначен...

Генерал перебивает:

— Да, да, знаю... Так что же? У вас есть инструкция, действуйте по инструкции... Прибавить я ничего не имею... Дело не мое. Мы в таких случаях слепые исполнители... Это по гражданской части... Вам там укажут... Руководитесь инструкцией.

— Ваше превосходительство, я позволил себе беспокоить вас в неурочное время... Ваше превосходительство, это предписание... Я не могу его принять.

Генерал поднимается с кресла, как медведь из берлоги, и высится над столом согнутою спиною и выпученными, шарообразными глазами.

— Что та... ко... е?

— Я не могу исполнить поручения, на меня возложенного, ваше превосходительство.

Генерал вытянулся во весь свой колоссальный рост.

— Поручик Арнольдс!!!

— Ваше превосходительство?

Они смотрят друг другу в лица. Генерал соображает: «Не пьян... не сумасшедший...»

— Объясните дело!

— Объяснения будут коротки, ваше превосходительство: не стою в соответствии с назначением, так как пролитие человеческой крови... братьев моих... не согласуется с моими убеждениями...

— Вы носите военный мундир! — отрывисто бросает недоумевающий, красный, дымящийся лысиною генерал.

— Да, ваше превосходительство, это при моих взглядах многолетняя ошибка, которую я спешу исправить.

Рука Арнольдса тянется к генералу с бумажным листом, сложенным вчетверо...

— Вы служите не первый год, — гремит генерал, — вас молодым офицерам в пример ставили... должны знать порядок! Подайте, если угодно, по команде... Я ничего не видал и не слыхал...

— Слушаю, ваше превосходительство. Я подам по команде.

— Просьба об отставке, — мрачно говорит генерал, пронизывая Арнольдса испытующим взглядом, — решительно ни от чего вас не освобождает в данную минуту... Она пойдет своим чередом, а предписание...

— Я отказываюсь выполнить, ваше превосходительство.

— Господин поручик!!!

И оба молчат.

— Понимаете ли вы, поручик, — тихо и значительно говорит генерал, меряя Арнольдса глазами, в которых больше сострадания, чем гнева, — что вы рискуете двенадцатью пулями?

— Как вы изволили сказать, ваше превосходительство, я не первый год на службе и знаю ее лучше многих других.

— Арнольдс, всякого другого я давно приказал бы арестовать... Вам, только вам, потому что вы — вы, я даю пять минут на размышление...

— Бесполезно, ваше превосходительство. Быть убитым я согласен... Убивать братьев не буду.

Глаза генерала наполнились слезами, а рука... решительно и тяжело налегла на звонок...

XLVIII

Тяжелая полоса гнела, не отпуская. На письмо свое, отправленное Ольге Каролеевой в Париж с материнскими упреками и увещаниями, Маргарита Георгиевна получила ответ слезливый, крикливый и дерзкий. Выходило так, что бедную Оленьку никто не понимает, бедную Оленьку все обижают, и бедная Оленька не маленькая, а сама себе госпожа и, при всем уважении к мамаше, мешаться в дела свои никому не позволит. Подлые сплетни она, в чистоте совести своей, презирает и уж, конечно, менее всего ожидала, что им придаст сколько-нибудь веры ее родная мать... Маргарита Георгиевна пришла от этого послания в совершенное уныние. Написала в Париж просьбу Алисе Ивановне Фавар с подробным изложением всех грустных московских обстоятельств: «Наведайтесь, голубушка, к Ольге и посмотрите, как она там живет и что творит».

Письмо вернулось назад нераспечатанным, в конверте с траурным ободком, при извещении от родных старой гу-

вернантки, что mademoiselle Алиса Фавар тихо скончалась три недели тому назад от острого воспаления брюшины и что семья Фавар несколько изумлена, каким образом madame Ратомская о том не осведомлена, потому что m-me Ольга Каролеева, хотя, к сожалению, и не могла по нездоровью лично присутствовать при погребении своей воспитательницы, но любезно обещала известить мать и сестру про общую невознаградимую потерю... Сквозь французскую утонченную вежливость в письме все-таки сквозила горькая обида, пожалуй, даже негодование.

Маргарита Георгиевна рыдала над строками язвительного письма, как маленькая:

— Забыла! — громко жаловалась она, — забыла известить мать, что наш лучший друг умер... Словно кошка околела или попугай издох... Просто уж и не верится: моя эта Ольга или другая? Когда она успела так переродиться? Подменили мне ее, ей-Богу, подменили... На похороны не потрудилась приехать. После того она и на моих похоронах не захочет быть...

Ратомская мрачнела и унывала. Валерьян Никитич Арсеньев, наоборот, после отставки своей как-то глупо просиял. Стал необычайно весел, суетлив, говорлив и даже старчески козелковат; начал франтовски одеваться, носить гвоздику в петличке, — и Квятковский безбожно клялся, хотя и безбожно врал, будто собственными глазами видел, как его отставное превосходительство топталось петухом у окон прачечной на Сивцевом Вражке и посылало поцелуи подросткам-гладильщицам.

— Вы посмотрите, какие у него глаза, — уверял беспутный Макс, — молочный перламутр какой-то... Природная вывеска развивающегося размягчения мозга!

Неприятная дурашливость старого друга раздражала Ратóмскую невыносимо.

— Уж лучше бы вы, когда такой, ко мне не приходили! — заявила она без церемонии. — И с какой стати вы молодиться вздумали? Идет к вам, как козлу клобук...

Валерьян Никитич обиделся и некоторое время, действительно, не показывался к Ратомской. Но недели через полторы прибежал, прыгающий более чем когда-либо.

— Скажи мне, батюшка, — серьезно вопросила его изумленная старуха, — какие, собственно, у тебя причины именинником ходить? Ведь, сколько мне известно, в министры тебя не посадили, а совсем напротив: со службы выгнали...

— Милая Маргарита Георгиевна! это ерунда!

— Как, батюшка, ерунда?!

— Ерунда, голубушка! Чистейшая ерунда! И со службы — ерунда, и в министры — ерунда! А знаете ли, что не ерунда? Личная свобода человека — вот что-с не ерунда! И ее-то я вкушаю... да-с!.. И если по новости впечатления несколько опьяняюсь этим нектаром, не взыскивайте строго: ведь впервые в жизни, впервые за шесть десятков лет...

— Подумаешь, батюшка, что тебя на службе твоей в кандалах держали!

Валерьян Никитич вытаращил «перламутровые» глазки.

— Какая служба? Почему на службе? Причем служба? Я совсем не о службе... Да, да, да! — спохватился он, — впрочем, вы не знаете... Ну, ну, ну... ну и знать вам не надо...

Освобождение, которое Валерьян Никитич ликовал так мальчишески, было, действительно, довольно таинственное и совсем особого рода. Ему наконец удалось развязаться с «сокровищем», что столько лет держало его в кабале и данничестве. Сперва старик Арсеньев имел счастье приобрести какие-то неоспоримые доказательства, что приписываемый ему «сокровищем» младенец — совсем стороннего происхождения: ему удалось найти действительного отца из сторожей пробирной палатки, а тот за малую мзду продал благополучие своей возлюбленной со всеми ее секретами чрезвычайно легко и охотно. Сложив полученные улики в бумажнике и законный гнев в сердце своем, Валерьян Никитич начал исподволь следить за «сокровищем» в оба

глаза и в один радостный для себя и плачевный для мучительницы своей день удосужился-таки изловить ее en flagrant délit* с каким-то гимназистом. Обрадованный старик благодарно послал в подарок сопернику-гимназисту отличное французское издание «Декамерона» Бокаччио, а «сокровищу» объявил полный разрыв. «Сокровище» хотело взять засилье наглостью и подняло обычный вопль, что — скандал устрою, я на всю Москву осрамлю, я до царя дойду, вас со службы выгонят...

Но удивительный старец высунул ей язык, поднес к ее носу аккуратно сложенный кукиш и с веселием заявил:

— Ан и опоздала — уж выгнали!

Вряд ли кто-либо и когда-либо принимал свою отставку с большим аппетитом и восторгом. Очутившись вольным казаком, Валерьян Никитич почувствовал себя совершенно как бы в медную броню одетым.

Конечно, тем или другим шантажом «сокровище» могло бы и теперь превосходно его доехать, но горемычному старцу наконец и впрямь улыбнулось какое-то уродливое и незавидное счастье. В один прекрасный день знакомый ильинский меняла уведомил Валерьяна Никитича, что им принят к учету вексель, выданный Арсеньевым некоей звенигородской мещанке Воловодиной. Старик при всей своей рассеянности, отлично помнивший свои денежные дела, знал, что такого векселя он никогда никому не выдавал, и сразу сообразил, откуда сей ветер дует. Сумма была невелика. Арсеньев осторожно проследил происхождение подлога, выкупил вексель у менялы, а затем, имея в кармане такой основательный corpus delicti **, нагрянул к «сокровищу» гроза-грозою. Злобная баба струсила не на шутку, а Валерьян Никитич спокойно объяснил ей, что если она, не довольствуясь положенною пенсией, посмеет затевать еще какие-ни-

* На месте преступления (*лат.*).

** Состав преступления (*лат.*).

будь скандалы, то операции с векселем совершенно достаточно, чтобы отправить и ее, и всех авторов этой милой затеи в места не столь отдаленные... «Сокровище» поняло, струсило и смирилось. Выпросив все-таки тысячу рублей на отъезд из Москвы, оно навсегда исчезло в какую-то Медынь или Тарусу, а Валерьян Никитич обрел полную свободу.

— Я летом за границу еду, — храбрился он.

— Зачем бы, батюшка? — изумлялась Ратомская.

— Затем, что я в Париже с пятьдесят девятого не был... шутка?! Для человека интеллигентного это — того-с! Оттого я и заплесневел так, что давно к западной цивилизации и не приобщался.

— Ты, батюшка, совсем в Париже-то своем, смотри, не останься: ишь каким папильоном сделался... самое тебе место там — на парижских бульварах!

— А понравится — и останусь! — петушился старик. — Что мне? Отечество любезное не очень радует...

— А с детьми как расстанешься?

— С детьми? Да разве у меня есть дети?!

Еще в первых числах мая он, однако, перевез Соню на обычную свою дачу в Царицыне. Соня поехала с большим неудовольствием, даже против обыкновения надутая и после долгих споров. Она доказывала, а Варвара поддакивала, что если отец собирается летом за границу, то дача в этом году совсем им не нужна:

— Помилуйте, папа, что я буду делать одна на даче? И еще так рано? Это — умереть со скуки. И вы, по обыкновению, взяли громадные хоромы. Для кого? Антон в Крыму, Борис — вы лучше всех знаете — ни в Москве, ни под Москвою не может показаться, не только что жить... Сами вы на дачу приезжаете только по праздникам. Остается, что будем жить в Царицыне мы вдвоем — я и Варвара... Ну и кухарка... Три женщины в одиннадцати пустых комнатах. Даже страшно, право.

Старик бормотал:

— Не спорь, не спорь. Лето дано городским жителям на то, чтобы они жили в деревне, дышали лесным воздухом, рвали цветы и купались в озерах.

— Воздух у нас и здесь прекрасный. Живем в захолустье, почти как за городом. Москвы не слышно, кругом сады. Москва-река с купальнями от нас — через три дома. Сквер Храма Спасителя и Пречистенский бульвар — в двух шагах.

— А я тебе приказываю: не спорь... Будешь дачное общество иметь... в крокет играть... на лодке кататься...

— Право, папа, я не охотница до всего этого.

— Ну и глупо. Должна быть охотницею. Не спорь. Ты девушка молодая. Тебе нужно движение. Да, движение, движение. Чтобы всегда вся в движении...

— Для движения, папа, достаточно пройти взад и вперед бульварную линию; это десять верст.

— Покорнейше тебя благодарю. Вот только этого неприличия нам еще не доставало. Разве тебе место на московских бульварах, и особенно теперь, в летнее время? Это — клоаки. На каждые десять шагов считай, по крайней мере, одного скандалиста, ищущего амурных приключений. Живя в Париже, я совсем не желаю прочитать в «Русских ведомостях», что тебя поцеловал среди белого дня проходящий военный писарь или поколотил пьяный приказчик из рядов.

— Не знаю я, — надулась Соня. — Каждый вечер гуляю — и одна, и с Варварою. Никогда еще никто нас не обидел, и ни один чужой человек к нам не пристал.

— Из того, что скандала еще не было, не следует, что его не будет. Довольно. Не принимаю никаких резонов. Ты будешь жить в Царицыне. Хочу, чтобы ты провела лето в приличном месте и обществе.

— Но какое же там у нас общество, папа? Ратомских не будет, Кристальцевых — тоже, Бараницыны переезжают в Петербург, уже сняли дачу в Парголове... Весь круг наших знакомых рассыпался... Я буду совершенно одна, — все равно, как и здесь.

— Нет, не все равно, — оборвал старик. — По крайней мере, я буду спокоен, что ты не успеешь там устроить странноприимного дома для всякой дряни, которая осаждает тебя здесь. Это неприлично. Ты взрослая девушка, дочь тайного советника, пора тебе понимать. Покуда братья жили в доме, я смотрел на твои чудачества сквозь пальцы... Но теперь — довольно, не могу, ты не маленькая. Канцелярию какую-то завела... Потрудись закрыть двери для всей этой милой своей компании. И поезжай в Царицыно... Здесь я не могу быть в тебе уверен. Убежден, что без меня тут начнется бабья толчея, как мышиное нашествие, и, возвратясь из Парижа, я найду тебя совершенно омужичившейся. Совсем не весело. И так уж хороша, голубушка. Куда ты себя готовишь? В прачки? В горничные? В кухарки? Я тобою слишком мало занимался до сих пор, но с осени, так и знай: крепко возьму тебя в руки. Я старею, я дряхлею, непрочен здоровьем, братья ненадежны... Пора устроить твою судьбу... А в этом доме тебя не оставлю, — нет, и не проси... Гадкий дом, проклятый дом, он приносит несчастие, — ядовитый дом. Провалиться ему пора, — вот какой это дом!

Он плевался и махал руками, бормотал, фыркал, моргал...

Таким образом, Валерьян Никитич отправил дочь в Царицыно только что не силою.

Варвара откровенно ругалась:

— Вот блажь нашла на старого... Истинно что блажь! Воспитывать спохватился... воспитатель какой!.. Нет, дяденька! По-нашему, учи дите, покуда оно поперек лавки ложится, а когда дите вдоль лавки не укладывается, учить его поздно.

— Как это он хочет судьбу мою устраивать? — недоумевала Соня.

Варвара при этом от опасливой злости только губы свои тонкие кусала и жевала, будто съесть их хотела.

— Замуж, видно, прочит вас выдать... женишка думает припасти...

Соня пристально посмотрела своими влажными ленивыми глазами в растревоженные и трусливые, будто уксусные, глаза девицы Постелькиной и, — что было для нее почти небывалою редкостью, — вдруг расхохоталась громко, звонко, весело, закидывая голову назад, дрожа белым горлом и круглым подбородком...

В конце мая Валерьян Никитич, долго перед тем не бывший у Ратомской, явился к Маргарите Георгиевне, и веселый, и немножко смущенный.

— Слышали? Мы вчера погорели!

— Господи Боже мой! С какими вы всегда новостями!.. Что такое? Каким образом? Сонюшка-то небось перепугалась...

— Да не на даче! — с полоумным ликованием хихикал старик. — Городская наша квартира сгорела... Пьяные маляры огонь заронили... Мебель, вещи, все — тю-тю! Надо искать новую квартиру и заводиться новою обстановкою... Да неужели вы ничего не знали?

— Ничего, батюшка. Слышала, будто был пожар на Остоженке, но и в голову не пришло, что ты горел...

— Да-с! — с удовольствием, словно хвастался, говорил Валерьян Никитич. — Двадцать три года просидели в гнезде, — ан и сгорело... Я, правду вам сказать, чрезвычайно рад! Конечно, убытки, хлопоты, но — знаете ли: у меня вдруг суеверие какое-то радостное явилось... Может быть, это указание? а? Что вместе с арсеньевскою старою мурьею сгорела старая арсеньевская жизнь, и надо начинать новую, на новом месте... Как вы думаете? а? Уж очень нам не везло в той берлоге, авось теперь где-нибудь лучше устроимся и заживем... не правда ли? а?

— Дал бы Бог, батюшка... Но ведь ты же за границу собираешься?

Арсеньев выпучил глаза и возразил:

— А «заграница» — не «новое место» разве?!

Ушел он — цилиндр набекрень, посвистывая, попрыгивая по тротуару петушком, помахивая тросточкою... Маргарита Георгиевна смотрела из окна и думала: «Ну это в наше время называлось —

После старости прошедшей
Был фундамент сумасшедший...»

Авкт Рутинцев настоял-таки на своем и женился на своей яровской певице. Когда известие дошло до Маргариты Георгиевны, она взволновалась, кажется, больше даже родительницы отважного молодого человека... И на такую-то подготовленную почву вдруг свалилось, как снег на голову, нижеследующее анонимное письмо, написанное на атласной бумаге и чудеснейшим писарским почерком, с щегольскими штрихами, хвостами и росчерками.

Милостивая государыня Маргарита Георгиевна!

Ежели которая благородная мать есть несчастная в своих детях, то она завсегда должна возбуждать сострадание от образованных людей. Вы есть таковая несчастная мать своего сына, вовлеченного в пучину бедствия Цирцеи, каковая именуется разврат. Милостивая государыня! Откройте глаза ваши, и они покажут вам зловредный ужас поведения. Услужающая у вас ехидна, крестьянская девка Агафья, не токмо не прячет от людей распутства глаз своих, но и громко похваляется пред подружками, будто сын ваш Владимир Александрович дал ей обещание на бумаге вступить с оною в законный брак, как скоро совершит окончание курса наук в императорском университете. Трепещет ум и содрогается природа естества подумать, что коварство способно осуществить пагубное намерение в действительность действия и, вознеся крестьянскую ехидну на престол торжества, низвергнет сына вашего в преисподнюю злоключений, где нет никаких радужных цветов и одно невежество. Наипаче же содрогаюсь жалостью к тебе, несчастная мать, поившая, подобно пеликану, млеком сосцов своих оное бесчинство натуры и даже до кормления змеи на груди своей. Пресеките, покуда не поздно, пламя нечестия огнем проклятия, которое кипит в душе. Ибо знай сверчок свой шесток, и, ежели которая Агашка, должна трепетать. Прости, великодушная душа, за беспокойное беспокойство, а впрочем, будешь благодарить!

Ваш неизвестный доброжелатель
Энкогнето

Маргарита Георгиевна дрожала от негодования. Ее так и подымало сразу круто повернуть дело: распечь сына и выгнать из дома его любовницу. Но она удержалась от скандала. Прежде всего она уничтожила гадкое письмо. А затем обдумала план действий: завтра у Володи экзамен из канонического права, — он целый день пробудет в университете, а вернувшись, не должен уже застать Агашу. «Выпровожу, жалованье хоть за полгода вперед дам, денег, если надо, ссужу, но — чтобы духом ее у нас не пахло... А Володьку — женить. Чтобы не баловался... Да. Очень просто: женю... Конечно, молод немножко, но при нашем, слава Богу, состоянии жена камнем на шее у него не повиснет и карьере не помешает. Мой покойник немногим был старше, когда на мне женился... ничего, хорошо жили, душа в душу, хоть и бедность знавали... А Володя и от этого горя застрахован: капиталец ему отец заработал приличный... Женю!.. Покуда мальчик не развратился и не взбунтовался... На какой угодно барышне нашего круга, хоть и бесприданнице, лишь бы застраховаться от всех этих Агашек, яровских певиц и тому подобных негодниц. Лидусю Кристальцеву ему сосватаю либо которую-нибудь из Бараницыных... Лидуся, пожалуй, еще слишком подлеток, не сумеет держать его в руках. Бараницыны солиднее... что Женечка, что Маша. Серьезные девушки, не девчонки, и деньжонки есть, и отец теперь получил в Петербург назначение такое прекрасное... готовая протекция для будущего зятька... Блестящая бы партия для Володьки, которую ни взять... Жаль, что из себя они какие-то аляповатые, будто их во сне пчелы покусали... Ну и немножко чванничать начали с тех пор, как папаша удостоился петербургского поста... Превозвысились... Поди, норовят за вице-директоров своих выскочить... Да все равно. С Бараницыными не выгорит, буду сватать Юленьку Лбову, Лбова не пойдет — поищем у Жерновских... Женю... Потому что вижу я, каков ты у меня гусек, мой миленький, и чего можно от тебя ожидать. Юбоч-

ником вырос!.. Уже если Агашка сумела тебя обрядить в свою узду, что же дальше-то будет, когда настоящие прелестницы на пути встретятся? Нет, надо в оглобли!.. Даже Арсеньеву Софью — и ту, хоть и дура. Господи, прости мое согрешение, все же лучше взять невесткою, чем терпеть этакую опасность в семье».

Когда Маргарита Георгиевна, услав из дому Аниську и заняв кухарку в кухне каким-то поручением, позвала к себе Агашу, горничная тотчас смекнула, в чем дело. Воинственное предприятие стоило Маргарите Георгиевне бессонной ночи, а усилие сдержать кипящий гнев, чтобы выпроводить Агашу без шумной сцены, еще более расстроили ей нервы, и теперь она сидела в креслах в спальне своей багрово-красная от прилива крови к голове. Ее обычный в последнее время мигрень никогда еще не разыгрывался больнее и докучливее; в глазах у нее мутилось, виски и веки опухли, руки дрожали. Она злилась на себя, что нехорошо собою владеет, и боялась, что горничная заметит, как она неспокойна, и воспользуется ее слабостью, чтобы надерзить и устроить себе тот эффектно-ругательный прощальный уход, без которого русская прислуга не любит расставаться с хозяевами и который сейчас Маргарите Георгиевне был нежелателен в особенности.

«Положим, — надеялась она, — Агафья девушка не заурядная пристойная и до сих пор всегда была вежлива... Авось она сама сразу поймет положение и избавит меня от лишних и неловких слов... Главное, чтобы не повздорить и не разгорячиться... А то я, когда спорю, не умею говорить тихо, та — тоже начнет возражать, возвысит голос... вот и пропал секрет! навизжим друг про дружку на целый дом... держись, крепче держись, старуха!»

Агаша побледнела, слушая свой приговор, но молча взяла из рук барыни паспорт и щедро предложенное ей вперед жалованье.

— Что ж это, барыня? — с спокойным укором возразила она потом. — Столько лет вы мною были довольны, а вот и уволили. Да еще так, что и со двора сейчас же долой. Этак только воровок либо распутных на улицу швыряют. А вы сами же аттестат написали превосходнейший, жалованьем наградили, денег предлагаете... Я уж и не пойму ничего. Ежели я для вас худа, за что награждаете? А если хороша, за что гоните?

Маргарита Георгиевна смешалась.

— Я... я довольна твоей службой, Агаша, — отвечала она, запинаясь, — но ты сама видишь: барышни вышли замуж, дом пустой, мне незачем держать трех прислуг; по нашей работе довольно Анисьи с Маврой.

Горничная на эту наивную ложь улыбнулась не без презрения.

— Это, конечно, ваше рассуждение довольно правильное, — сказала она тем же ровным, спокойным голосом. — Вся ваша хозяйская воля, сколько народа в услужении держать, на это я не обижаюсь.

Она перебирала руками передник и смотрела вкось и исподлобья.

— Вы, барыня, позвольте мне до нового места у вас пожить... Я не задержусь: репутация моя известная, у меня сколько хороших домов есть на примете... всюду с радостью возьмут, оторвут с руками... Мне — всего бы недельку... ну если много, то хоть денька три?

Маргарита Георгиевна чувствовала, что вся справедливость и выгода положения — на стороне горничной. Ее устыжала и оскорбляла необходимость поступать против своего характера, против совести, против патриархальных правил доброй и великодушной хозяйки: в другое время Ратомская собаки бы так не выгнала от себя, не только человека!.. Унижение сознавать себя жестокою обозляло ее с минуты на минуту все больше и больше, и вместе с смущением и гневом росла физическая боль в голове.

— Нет, Агаша, — сказала она, сдерживаясь, как могла, — не позволю... Если тебе некуда деваться, то, пожалуйста, вот тебе, возьми еще денег, найми себе какое-нибудь помещение... только подальше от нас... а мою квартиру потрудись оставить сейчас же. Больше я ничего и слушать от тебя не хочу. Собирай пожитки и уезжай... сию же минуту.

— Денег мне ваших не надо, — возразила угрюмая, нахмуренная Агаша. — С голода я не умру и ночевать мне есть где... А только не заслужила я такого от вас обращения, милая барыня. Вам на меня какие-нибудь сплетни наплели? Так вы не верьте. Я против вас завсегда свое место понимаю, и обязательно к вам старательная, и со всем моим большим почтением.

Маргарита Георгиевна сдержалась ответить на этот намек и вызов. Она надменно возразила:

— По сплетням я людей не сужу, а причины уволить тебя имею — свои причины... и объяснять их тебе не обязана! Держала тебя, покуда твоя служба мне подходила, — больше не подходит... вот и все! Прощай!

Агаша долго молчала, опустив голову, и все перебирала пальцами передник. На барыню она не глядела, но Маргарита Георгиевна заметила, что губы ее искривились, а по лицу пошли нехорошие тени. Ратомская смутилась и немножко испугалась.

— Ну прощай, Агаша... Я все тебе сказала... ступай!

Агаша тихо направилась к дверям, но вдруг остановилась вполуобороте и усмехнулась.

— А Владимир Александрович... они как же теперь будут? — спросила она, поднимая на барыню холодные глаза.

— До сына моего тебе нет никакого дела, — быстро и резко отрезала Маргарита Георгиевна, чувствуя, как горячая кровь хлынула от сердца к щекам ее.

Агаша, не слушая, продолжала с тем озверенным взглядом и черным лицом, которых так боялся у нее Володя.

— Владимира Александровича-то спрашивались вы, чтобы меня уволить? Они-то согласны? Дали вам на то свое разрешение?

Ратомскую вскинуло в креслах.

— Как ты смеешь, дрянь? — крикнула было она и оборвалась: головная боль ее перебежала от висков ко лбу; старухе показалось, будто широкая полоса яркого пламени сверкнула у нее перед глазами и будто вслед затем у нее в мозгу что-то лопнуло.

Агаша перебила:

— Да что же-с? Вам, сударыня, прежде чем отказы свои затевать, все бы надо переговорить с Владимиром Александровичем: что-то еще они вам скажут?

Маргарита Георгиевна сидела, бессильно откинувшись в креслах, уже не багровая, а синяя с лица. Каждое слово Агаши било ее как обухом. С нею творилось что-то непонятное: вся горя, она не в силах была собрать мысли и с ужасом чувствовала, как вместо нужного ответа на язык ее просятся совсем неподходящие, случайные слова. И вдруг ей показалось, что стены уходят куда-то вниз и на нее сквозь налетевший откуда-то сетчатый туман плывет мебель, а у Агаши лицо — зеленое, как молодая трава. Объятая страхом, старуха бессильно махнула рукою Агаше, чтобы та вышла, и схватилась ладонями за голову. Горничная посмотрела на ее налитые кровью виски и тучную, короткую шею, — и еще больше побледнела.

— Я так полагаю, что, ежели вы меня прогоните, то и сынок при вас не останутся, — медленно продолжала она, не отнимая внимательных и злорадных глаз от стонущей Маргариты Георгиевны. — *Володя*, — резко подчеркнула она, — очень меня любит, барыня... Он за мною, куда свистну, туда и пойдет... Да и нельзя ему иначе поступить: и люди осудят, и перед Богом грешно. Ведь мы повенчаны, — солгала она быстро и отрывисто, по внезапному, злому вдохновению.

Ратомская глухо охнула, сорвалась с места, покачнулась, захрипела и, как сноп, рухнула на ковер.

Агаша — прыжком освирепевшей волчицы — перешагнула через тело барыни и быстро схватила с кровати подушку... Но вгляделась в искаженное лицо Маргариты Георгиевны, покачала головою и, тихо положив подушку обратно на место, старательно оправила потревоженную постель... Бесчувственная старуха тихо вздрагивала на полу... Агаша взглянула в зеркало: стекло показало ей лицо, полное волнения и испуга, но без гнева и злобы. Тогда она, широко распахнув за собою двери, ринулась из спальни и побежала по всему дому, пронзительно крича на помощь...

Володя возвратился домой часа через полтора. К ужасу своему, он нашел мать, хотя еще живым, но уже недвижным и безгласным телом: апоплексический удар «наперекоски» отнял у нее язык, правую руку и левую ногу... Старуха вряд ли и понимала что-либо. Лежа навзничь на высоких подушках, она не открывала глаз, только вздрагивала здоровыми частями тела и протяжно хрипела. Агаша хлопотала около больной с обычными ей умением и распорядительностью.

Володя бросился к ксендзу: нет дома. Бросился к приходскому священнику: не идет к католичке... В отчаянии вернулся домой. На пороге его встретила заплаканная Аниська: Маргарита Георгиевна только что скончалась, ни на минуту не придя в себя перед смертью...

АГАФЬИНО ДЕЛО

XLIX

Маргариту Георгиевну похоронили. Евлалия успела приехать к погребению. Ольга, хотя оставила Париж по первой же телеграмме о катастрофе, попала в Москву, когда мать уже третий

день лежала в земле: с похоронами пришлось немножко поспешить, потому что время стояло жаркое, и тучная покойница разлагалась быстро и отвратительно. По Москве сильно и искренно жалели старуху Ратомскую, хотя за начавшимся разъездом на дачи последние проводы ее вышли не слишком многолюдны и торжественны. Дочери много плакали. Володя казался неутешным. Экзамены он прервал и перенес на осень.

Завещания Маргарита Георгиевна не оставила, и, таким образом, Володя остался главным наследником матери. Однако он сам предложил сестрам разделиться в равных долях. Но обе — и Евлалия, и Ольга — уклонились, указывая, что мужья их обеспечены своими доходами гораздо богаче, чем Володя — процентами, хотя бы даже и со всего унаследованного капитала. Тогда Володя настоял разделить материнское состояние на четыре части: две оставил в своем пользовании, две отдал сестрам. Борьбы великодуший и желания жертвовать собою было столько, что Квятковский уверял, будто наследникам Ратомской никогда не разделиться, ибо там добродетель на добродетель наехала, и все добродетели в состязании совершенства взаимно «перебрыкались».

— Господа, — умолял он, — я вижу, что всем вам эти деньги совершенно лишние... Тогда — знаете ли что? — отдайте-ка их мне... Вы, может быть, боитесь, что я тоже захочу деликатничать и заспорю? Так не сомневайтесь, если дело идет о том, чтобы взять чужие деньги, то сговорчивее меня дурака вам не найти.

— А это — не твое, — дразнил его Володя, — это Диккенса из «Пиквикского клуба»... Ты выдыхаешься, Макс, и начинаешь жить чужими остротами!

— Je prends mon bien ou je le trouve! *

Ольга Каролеева усиленно настаивала, чтобы брат поселился у нее в доме.

---

* Я беру свою собственность, где нахожу! (*фр.*)

— Согласись, Володя, — говорила она, — что ты слишком молод, чтобы жить своим домом. У тебя, конечно, сравнительно недурное состояние, но это не причина оставлять за собою большую семейную квартиру и удерживать мамашину прислугу. Какой ты хозяин? Это смешно. Да и — что приятного? Я бы боялась... Я теперь в эти комнаты к тебе и не приду никогда: мне в них все будет гроб чудиться. Не знаю, право, почему бы тебе не жить с нами? Дом громадный, бери хоть пять комнат, прислуги столько, что обленились, как ослы, глупеют от безделья. Мы с мужем так тебя любим, и тебе у нас будет хорошо и спокойно.

Володя слушал, благодарил, соглашался, но не говорил ни да ни нет, не решаясь огорчить сестру решительным отказом, а между тем отлично зная, что ни на каком компромиссе отыграться нельзя: переехать к сестре — значило бы потерять Агашу... а как объяснить свой отказ?

Агаша усиленно следила за Володей. Она понимала, что теперь связь их так или иначе должна сделаться известною родным Володи.

«Черт его знает? — думала она, — любить любит... а вдруг сестры одолеют? Он их уважает... заберут его в руки, невесту подставят... что тогда?»

Но Володя сам помог ей: прижатый в угол двусмысленным положением, он, чуть не плача, признался Агаше, что не знает и не имеет силы, как распутать этот проклятый, неотступный запрос.

— Ты чего же хочешь? — спросила обрадованная Агаша.

— Как ты глупо спрашиваешь, Агаша! Разумеется, чтобы ты осталась со мною.

— А тебе стыдно признаться Ольге Александровне?

— Конечно, неловко!

— Что же ты, Владимир Александрович, по гроб жизни, что ли, собираешься прятать меня от людей?

— Не по гроб жизни, а... так, чтобы громко... афишировать... чтобы все знали... я не могу!

— Все не все, — подумав, сказала Агаша, — но от Ольги Александровны в этом разе не укроешься: она не дура, сообразит... И она тебе за меня не простит. Это я тебе в глаза пророчу: поссоритесь.

— Ах, Боже мой! разве я не понимаю? Потому-то я и не решаюсь говорить с нею откровенно: мне ее жаль будет.

— Ну а если она не от тебя, но стороною узнает? Будто не все равно?

— Тогда... тогда... — пробормотал Володя. — Тогда, по крайней мере, не я начну...

— Поссориться-то во всяком случае придется! — твердо указала Агаша.

— Так что же? — воскликнул Володя, — я очень понимаю это. Я знаю, что наступило время выбирать либо ее, либо тебя — и уж, конечно, не расстанусь с тобою, но не могу же я сказать о том сестре прямо в глаза...

— Стало быть, тебе — только бы голову под подушку спрятать, а то грома не боишься?

— Не боюсь, — бледно улыбнулся молодой человек. — Это очень скверно, что я такой нерешительный, но — что же делать, если я не выношу прямых и резких объяснений? Я от них не только душою, но даже телом болен делаюсь... Желудок... ноги... спина... Ты придумай что-нибудь, Агаша! Я, право, вне себя, — так мучит меня неопределенность эта.

— Известно, — согласилась Агаша, — сидеть ни в тех, ни в сех — хорошего нет... И бабе срам, не то что мужчине... Так ли, сяк ли, надо кончать...

Володя повторил, как эхо:

— Надо кончать.

Тем временем Ольге Александровне случилось разговориться с своею экономкою, которой оказалась известною вся подноготная отношений Владимира Александровича к Ага-

ше: в людских уже старая новость! На Каролееву это, и всегда нерадостное бы, открытие теперь подействовало как-то особенно скверно. Смерть Маргариты Георгиевны вообще потрясла веселящуюся барыньку и немножко как будто остепенила ее. Ольга с ужасом вспомнила, что незадолго до кончины матери почти поссорилась с нею за свой несвоевременный заграничный вояж, и, быть может, дерзкое письмо ее не осталось без влияния на нервное состояние покойной, разрешившееся в такую внезапную и грозную катастрофу.

— Хорошо еще, что эти милые амуры моего прекрасного братца не выплыли на свежую воду при жизни мамы... Это значило бы убить ее, прямо убить!..

Сама Ольга Александровна ознаменовала свои угрызения совести тем, что временно отставила от себя Илиодора Рутинцева. Тот ходил мрачнее ночи и жаловался Квятковскому:

— Говорит: «Не показывайтесь мне на глаза, я не могу вас видеть, vous avez tué ma mère... » * Ну глупости же! Сам посуди: где же я мог tuer. ** Маргариту Георгиевну... Я был в Париже, она в Москве... и, наконец, я старуху так уважал... и она всегда была ко мне так любезна... За что мне ее tuer!

Квятковский советовал:

— Пренебреги!

— Да! Пренебреги! Скучно, брат! Любовь не любовь, а есть уже привычка...

— Не привыкай к чужим женам!

— Притом, — рассуждал Рутинцев, — она — собака на сене... и несноснейшая! Объявила мне разрыв, запретила бывать, а следит за мною по Москве, как шпион какой-нибудь: стоит мне затеять хоть самый невинный и маленький флирт, и я немедленно получаю от нее бешеное письмо и... и... и вот,

---

* Вы убили мою мать... (*фр.*)

** Убить (*фр.*).

например, сейчас я уже третий день состою в подлецах... Взялся было выучить Лидушу Кристальцеву верховой езде и принужден отказаться, потому что Ольга уверяет, что я подлец...

— Ничего, — утешал Квятковский, — терпи, казак, атаманом будешь! Кто говеет, тот и разговляется. Надоест нашей милой Гамлетице траур, — и потребует она себе горностаевый плащ... Ты мне лучше вот что скажи: как с Евграфом у тебя отношения — еще ничего?

Рутинцев сделал гримасу...

— Лучших быть не может...

— Чем же ты недоволен?

— Да... как-то совестно... Словно он слепой... Я уж и то стараюсь делать для него решительно все приятное... чтобы, понимаешь, доказать ему, что — если даже там жена.... и прочее, то в остальном, с точки зрения дружбы, я безупречен... хороший приятель и корректный джентльмен... Резон? не правда ли? Я ведь его, в сущности, очень люблю...

— Искупай, брат, грехи свои, искупай!

— На днях он попросил меня поставить бланк на вексель... Это против моих правил и терпеть не могу... Но — поставил!

Квятковский ничего не сказал на это и странно потупился с мрачными на минутку и беспокойными глазами...

Обстоятельно допросив свою экономку, Ольга Александровна немедленно полетела к брату. К своему удивлению, она нашла квартиру в полном разгроме: ломовики выносили мебель и наваливали на возы, Агаша распоряжалась уборкою.

— Это что значит?

— Переезжаем на другую фатеру.

— На другую квартиру!.. Где же брат?

— Они вчерась в Петербург уехали, к Евлалии Александровне. Извольте войти... они вам оставили письмецо.

Володя писал:

Дорогая Оля! Надумавшись с квартирным вопросом, я, в самом деле, решился последовать твоему благому совету и переменить наше старое обиталище на более скромное и подходящее к моему новому положению. Ты знаешь, как я не люблю всяких хозяйственных уборок, а потому, возложив перевозку на Агашу, я избираю благую часть и уезжаю от хлопот в Питер, исполняя вместе с тем давнее обещание Евлалии — навестить ее. По возвращении немедленно явлюсь к тебе. Жму руку Евграфу, целую тебя.

Твой В. Ратомский

Ольга Александровна признала себя разбитою без сражения; все было в порядке, придраться не к чему. Целых две недели Каролеевы не имели никаких известий о Володе. Ольга Александровна начала беспокоиться и хотела уже телеграфировать сестре, — все ли благополучно? — когда муж сказал ей:

— А Володя-то вернулся.

— Что ты? Не может быть? Он заехал бы показаться нам.

— Ну уж не знаю, а только Авкт Рутинцев обедал с ним вчера в «Эрмитаже». Я тоже удивился и спрашивал у Авкта: «Не говорил вам Володя, когда возвратился?» — «Откуда?» — «Из Петербурга!» — «Нет, ничего не говорил. А разве он ездил?»

Ольга Александровна переждала еще день. Володя не являлся. Тогда, полная неприятных сомнений и предчувствий, она решилась посетить его новую квартиру. Ей отворила дверь Агаша. Ольга Александровна окинула ее испытующим взглядом: Агаша была что-то слишком франтовата, как не одевалась раньше и в праздник.

— Владимира Александровича дома нет...

— Как нет? — гневно воскликнула Ольга Александровна, — что ты врешь?!. Я знаю, что он вернулся.

— Вернулись точно-с, только теперь-то они ушедши.

Ольге Александровне подумалось, что Володя дома и прячется от нее.

— Хорошо, я оставлю ему записку... Кстати, взгляну, как он устроился.

— Пожалуйте-с.

Квартира оказалась очень уютной. Холостяком не пахло. Всюду был порядок, след хозяйской женской руки.

— Вот-с зало... вот — кабинет Владимира Александровича... вот-с ихняя спальня, — показывала Агаша. — Столовой особой они не пожелали иметь: кушают в зале.

Из кабинета были настежь отворены двери в большую угловую комнату — едва ли не лучшую в квартире: высокую, светлую, в пять окон на две улицы. Ольга тотчас же обратила внимание, что из комнаты нет другого выхода — кроме как через Володин кабинет. Затем ей бросились в глаза большие фольговые образа, две олеографии — девица с розаном и девица с голубком — в двух простенках между окнами, размалеванные часы-ходики с цветами, амурами и облаками — в третьем простенке; окованный жестью громадный сундук в одном углу и массивная деревянная кровать под ситцевым одеялом из пестрых лоскутков и с горою подушек — в другом. Над кроватью висел большой портрет Володи среди еще нескольких мелких фотографий, которых близорукая Ольга не рассмотрела...

— Это что же за комната?!

Агаша скромно отвечала:

— А это моя-с.

Взоры двух женщин встретились, и Каролеевой пришлось опустить глаза под нескрываемо-глумливым взглядом горничной. Агаша смотрела такою хозяйкою и домовладелкою, что Ольга Александровна сразу оценила всю невыгоду своего положения здесь против этой решительной госпожи, с таким холодным и умелым бесстыдством подчеркивающей, что — ты, мол, милостивая государыня, меня не замай: ты у брата — гостья, а я в своей берлоге. Ольга Александровна сконфузилась, растерялась, покраснела и заторопилась написать записку.

Мне было очень грустно, — писала она, — что ты перед отъездом не зашел со мною проститься и взять от меня поручения к Евлалии. Теперь ты возвратился, — если только ты ездил, знакомые говорят, что нет, — и опять не счел нужным повидаться со мною. Я тоже того мнения, что ты преспокойно просидел все это время в Москве, а про Петербург лгал, чтобы от меня скрыться. Это приводит меня в ужас, потому что я не заслужила от тебя подобной лжи, и когда между друзьями начинаются такие двусмысленные секреты, они обозначают, что наступил конец дружбе. Я была у тебя и с глубоким огорчением догадываюсь о причине твоего странного поведения. Мама очень счастлива, не дожив до позора видеть, что вижу я. Если ты сколько-нибудь дорожишь моим уважением и желаешь поговорить со мною как брат с сестрою искренно и душевно, — приходи, жду тебя.

Твоя Ольга Каролеева

Открыв бювар на письменном столе брата, чтобы взять пропускной бумаги, Каролеева выронила большой фотографический портрет Агаши, снятый в лучшей московской мастерской и поразительно похожий: горничная улыбалась с картона в пространство точка в точку тем же хитрым, самодовольным, победоносно торжествующим, сытым лицом, что теперь возмущало Ольгу Александровну своими властными, вызывающими глазами... Каролеева не сдержала досады и бросила портрет — так, что он перелетел через стол и упал на пол. Агаша подхватила фотографию и оставила у себя в руках. Татарские глаза ее загорелись угрозою.

— Зачем же бросать вещь? — угрюмо сказала она. — Так можно испортить. Владимир Александрович не будут довольны: портрет денег стоит.

— Что такое? — вскинулась закипевшая Каролеева, — ты, моя милая, забылась... ты, кажется, учить меня вздумала?

Агаша возразила холодно и сурово:

— Учить вас я никак не могу на себя брать, потому что вы образованная барыня, а я — услужающая девка. Но если Владимир Александрович приказали мне снять с себя для них портрет, то, стало быть, портрет мой им надобен. И если

они поручили мне, чтобы все по дому было в порядке, то я обязана соблюдать, чтобы не происходил беспорядок или которая порча вещей...

— Красноречие свое можешь сохранить при себе, — оборвала Каролеева, бледная от гнева. — О твоей дерзости я еще поговорю с братом...

— Это — как вам будет угодно! — вставила горничная.

— А теперь — выпусти меня и... изволь молчать!

— Я и то давно молчу, — возразила невозмутимая Агаша. — Вы все говорите, а я молчу.

— Молчи!!!

— Молчу.

Прошло два-три дня... Володя к сестре не являлся... Ольга Александровна не вытерпела — написала ему еще письмо... Володя молчал как убитый... Поехать к брату снова Ольге Александровне решительно запретил муж после того, как выслушал откровенный рассказ ее о первых двух посещениях.

— Покуда, матушка, тебя там только обругали, — говорил Каролеев,— а будешь дальше шляться, то и побьют.

— Я не могу оставить брата на произвол судьбы... Ты не понимаешь, как это опасно и важно!

— Самое важное для человека — никогда не мешаться в чужие дела.

— Судьба моего брата — не мое дело?

— Не твое.

— Мило! Чье же, — удостой разъяснить!

— Его, ибо он совершеннолетний.

— Да если он тряпка? если у него нет никакого характера?

— А... тогда... ее дело...

— Евграф Сергеевич! ты своею флегмою меня в гроб вгонишь!

— Ну да, ее... как ее там, с которою он... Лукерья? Фекла? Агафья, что ли?.. Его дело теперь — Агафьино дело... И... того... ты подальше... оставь... не вяжись...

Евграф Сергеевич запрещал что-либо в семье своей редко, но когда запрещал, то любил и умел заставить себя слушаться. Ольга Александровна примолкла и махнула на брата рукою... А вскоре у нее у самой в доме так осложнились накопившиеся неприятности, что за ними Володя ушел на самый задний план ее памяти. И остался он в Москве один, без родных и друзей, весь в крепких руках своей любовницы... Теперь его дело было действительно Агафьино дело! И Агаша зорко сторожила, чтобы не стало оно ничьим другим...

БОРИСОВ ДЕНЬ

I.

В ясный, теплый, серо-голубой июньский день бледным молодым осинником между Бутовым и Царицыном по грязному глинистому проселку пробирался одинокий пешеход. Одет он был в рыжую, потертую и засаленную пару: пиджак прямо на ситцевую заношенную рубаху, брюки — в сапоги; из-под матерчатого блина неопределенных цветов, который путник взгромоздил на голову, как якобы картуз, смотрели наивно и кротко большие темно-карие глаза; в молодой, мягкой, точно шелковой, ни разу еще не бритой бороде грустно и ласково улыбался широкий румяный рот. Опирался пешеход на высокую, хорошо обожженную самодельную можжевеловую палку и за спиною имел небольшой ранец-узелок из серой парусины, связанный концами крест на крест на груди. Встречать прохожих либо проезжих пешеход не любил и, издали заслышав голоса или тарахтение телеги, быстро и искусно сворачивал в чащу кустов, густо заростивших бесконечные болота по обе стороны дороги. Спрятаться, однако, не всегда удавалось, а пешеход шагал безостановочно уже пятый

день. Сегодня утром, когда он выходил с последнего ночлега под Подольском, навстречу ему попался конный урядник, усатый краснокожий добродушный парень из отставных вахмистров. Пешеход поклонился уряднику с вежливостью и пожелал:

— Добрый день.

— И вам добрый день, — медленно отвечал урядник, пристально рассматривая «господское» лицо странника, малосоответственное его жалкому костюму.

Пешеход испытующим созерцанием полицейского нисколько не смутился, но ровно и спокойно продолжал:

— Будьте так добры, господин урядник, позвольте вас спросить, верно ли направление беру я, чтобы пройти в Екатерининскую пустынь? На постоялом хозяин толковал мне дорогу, но как-то сбивчиво, должно быть, сам плохо знает...

Лицо урядника прояснилось. Он с удовольствием выслушал звонкий молодой голос странника, усмехнулся и сказал:

— Идете вы правильно, и дорога тут прямая, сбиться нельзя, но путь вам неближний: будет верст семнадцать, и все болотом и лесом... мокреть ужаснейшая...

— Это мне ничего, — подхватил молодой человек. — Я привык. За этот месяц уже седьмой монастырь посещаю. Обходил всю Московскую губернию. И все пешком.

— По обещанию, значит? — вежливо улыбнулся урядник.

— По обещанию. Да иначе и средств нет.

— А звание ваше какое будет? — осведомился урядник.

Пешеход засмеялся.

— Звание мое — подымай выше! Дворянское... Только дворянство-то у меня...

Он засмеялся еще громче и выразительно показал уряднику ногу в стоптанном рыжем сапоге. Засмеялся и урядник.

— Бывает!

— Бывает! — весело согласился прохожий.

— Это ничего, вы не унывайте, — шутил полицейский, — бедность не порок...

— Ох, знаете, тоже и не добродетель!

— Н-да... Так вы в Екатерининскую пустынь? А паспорт при себе имеете?

— Как же!

Прохожий стал серьезен и быстро достал из пиджачного кармана серый конверт большого формата.

— Желаете взглянуть?

— Нет, что же? — слегка сконфузился урядник, — а, впрочем, позвольте, для формальности...

— Пожалуйста, пожалуйста.

— Я ведь больше для вас же осведомился, — говорил урядник, просматривая документ. — Потому что мало ли какой грех с пешим человеком может случиться на дороге? А многие паспорт брать пренебрегают... и из этого потом истекают для них неприятности...

Молодой человек улыбался и твердил:

— Пожалуйста, пожалуйста.

Из прочитанного паспорта урядник узнал, что прохожего зовут Василий Кириллович Куц, и он сын потомственного дворянина, 25 лет, паспорт выдан мценским полицейским управлением...

— По фамилии из немцев будете? — спросил полицейский, возвращая бумагу.

— Нет, — возразил молодой человек, укладывая документ в карман, — какой я немец? Дед был немец, да и тот не знал по-немецки.

По губам его скользнула шаловливая улыбка.

— А паспорт вы неосторожно носите, — заметил урядник, — так легко обронить, да могут и украсть у вас на ночлеге.

— К ночлегу я прячу его в ранец. А в пути предпочитаю держать поближе, наготове, чтобы на случай, если кто поинтересуется, вот как вы...

— Да, оно, конечно, лучше! — подтвердил урядник и тронул лошадь. — Счастливого пути, господин Куц!

— А вам счастливо оставаться!

Когда расстояние между ними выросло уже сажен на сто и урядник на холме стал маленький, как вырезной всадник на вырезной бумажной лошадке, прохожий — у опушки рощи — повернул назад бледное, смеющееся, счастливо взволнованное лицо:

— О Борька, Борька, Борька! — весело воскликнул он вслух, — да какой же ты паинька и молодчинища становишься! Присутствие духа за первый сорт, и актер великий... Одобряю! Надо себя по головке погладить!

И он, в самом деле, стащив с головы свой разноцветный блин, поласкал свои буйные прямые темные вихры. Потом быстро-быстро пошел вперед. Шел и все веселее думал: «Смеюсь, фамильярничаю, даже остроту из Гоголя пустил... Нет, когда владеешь собою, то жить еще очень можно... Не робей, Боря!.. То бишь, — не робей, Васька Куц!.. Какое глупое имя, однако! Нечего сказать, наградили друзья паспортом... Куц, Куц... даже символическое что-то и насмешливое чудится!.. А кто-то он, на самом-то деле, и где теперь гуляет этот Васька Куц? Взглянуть бы на него хоть одним глазком... Может быть, бедняга уже в сырой земле давно...»

Приближаясь к Царицыну, путник сильно замедлил шаги.

«Рано, — соображал он. — Встретиться с Бурстом условлено к пяти, а сейчас три с половиною...»

Он дошел до плотины, соединяющей заозерный низменный лес с нагорным царицынским парком, и круто повернул в чащу налево. Перешел старинный каменный мост над тинистым протоком, весь заросший мохом и погрязший вековою тяжестью в трясину на добрую треть высоты. Поднялся на кустистый пригорок и очутился на широкой поляне, в высокой густой траве и в зеленом кольце молодого орешника. Здесь путник стал на колени под кудрявою, развесистою липою

и долго шарил руками во мхах, облепивших длинные могучие корни старого дерева. Наконец пальцы путника нащупали нечто металлическое, — он просиял лицом и вынул из-под корня один за другим три револьверных патрона.

— Целые!!! — радостно воскликнул он и даже запрыгал, потирая руки. — Три и целые! Следовательно, придет, и все благополучно, и ни за кем не следят, и на Шипке все спокойно... Ура, vivat и evviva!.. * А теперь — главное, чтобы не заснуть, покуда он не придет, потому что — черт знает, до чего я устал, и сон так с ног и валит... Птицы трещат... Лес тепло пахнет... Листва эта дрожащая... Мох мягкий... Нехотя заснешь... Хоть бы книга была, — черт!.. Ничего, ничего! Крепись, Васька Куц! Держись, Борис Арсеньев!.. Если уж очень начнет клонить ко сну, стану лазить по деревьям: оно взбодрит!..

Но ждать ему пришлось не очень долго. Не прошло и часа, как с протока послышался плеск весел, и голос, весьма похожий на рев быка среднего возраста, запел фальшиво-префальшиво из «Цампы»:

Власть моя всего сильней,
И может ли быть иначе?
Никогда в любви моей
Не знал я неудачи!

Борис вскочил из-под липы на ноги, как испуганный козленок, и с блестящими глазами тоже запел фальшивым и дрожащим тенором из «Роберта-Дьявола»:

О судьба! Тебе вверяюсь,
Благосклонна будь ко мне...

И — тогда вскоре затрещали кусты, и Федос Бурст вывалился на поляну, как медведь на задних лапах, и со слезами,

* Ура и да здравствует!.. (*ит.; лат.*)

крупно текущими по красному, возбужденному лицу, с каким-то нелепым и страшным звериным мычанием и храпом схватил Бориса в свои могучие руки и долго, и радостно рыдал над его темною, мохнатою головою, как малый ребенок:

— Жив мой Борис! жив! цел! невредим!..

— О Федос! Друг мой дорогой! Тише, тише! ты мне кости сломаешь!

— Нежности!

Федос выпустил друга из объятий, ухватил его за руки и любовно смотрел ему в плачущие глаза плачущими глазами.

— Садись-ка лучше, садись... — толкал он Бориса на мягкий моховой ковер. — Садись да рассказывай, как ты там и что ....

Бурст лежал на животе, подперши лицо ладонями, угрюмо смотрел на муравьев, взбиравшихся по длинному стеблю иван-чая, и медленно, с печалью говорил:

— Стало быть, постреляли вас там, голубчиков... Так, так... Слухи давно ходят... Прямо удивительно, как ты выскочил из этой каши!

— Это уж фабричных надо благодарить, — отвечал Борис. — Лихой народ. Когда после залпа расстроилось наше воинство и оцепили нас солдаты, фабричные давай меня перепихивать за спинами из ряда в ряд, да так — к Клязьме в лозняк и выпихнули. Я было уперся, хотел с ними остаться до конца и разделить их судьбу: что вам, то и мне. Не позволили. Один парень, из опытных, так наотрез и сказал: «Мы, — говорит, — народ привычный, с нас взять нечего, дал Бог спину, спиною и ответим, а ежели тебя, любезный, с нами возьмут, то узнаешь ты холодные снега и далекие страны... Ступай-ка, брат, ступай!..» Так и загородили меня.

— А там пошла порка? — мрачно отозвался Бурст.

Борис так же уныло повторил:

— Там пошла порка.

— Поди, не маком сеяли?

— Ну что уж?! — Борис махнул рукою. — Это я все тебе расскажу на свободе в подробности, а теперь, брат, уже не в состоянии, больно нервы устали: третий месяц взвинчиваю их, как струны скрипичные, изо дня в день все выше и выше, с колка на колок... Необходимо дать себе передышку. А то — подъем и подъем... Я, брат, работать охоч, но опасаться начинаю: не за себя, конечно, а за дело... Стали находить минуты, что я сам не владею собою — восторженность какая-то охватывает, и ужас гибели кажется таким великолепным, желанным и сладким, что я делаюсь как слепой... Так вот и тянет ринуться в пропасть... Помнишь, как учил Берцов: будьте фанатиками, но холодными, как лед... И вот, брат, чувствую, что совершенно утратил этот необходимый холод фанатизма. Поминутно загораюсь пламенем... А пламя — расстроенные нервы, фейерверк, который выдает тебя неприятелю, не нанося ему вреда... Сцены эти ужасные там, на Чиркинском заводе, меня уж очень разбили... Право, иной раз кажется, что уж лучше бы не спасали меня фабричные, лучше бы я вместе с ними под розги лег. А то все равно я, в лозняке сидя, каждый удар своею кожею перечувствовал. Словно со мною рядом демон какой-нибудь стоял и — как там, за Клязьмою, кого-нибудь хватят, так он сейчас же с тою же силою — меня: страдай вместе! терпи вместе! Еще денек, и я не выдержал бы... пошел бы назад и сдался: на! жри!

— Нет, это — шалишь! Дудки и глупости! — нахмурился Бурст. — Тебе так нельзя: нужен.

Борис кивнул головою.

— Да и я, рассуждая, понимаю, что нельзя... но — говорю тебе: душа восторгом гибели вскипает... и вот тянет тебя, тянет, как магнитом... Так нельзя. Это работа с мутным умом. Надо отдохнуть.

— Приют священный и тихий я тебе приготовил, — сказал Федос Бурст, — и полагаю, что никому в голову не при-

дет заподозрить твое там пребывание... Все есть: и паспорт легальнейший, и место благонадежности несомненной, — поедешь лесничим тут неподалеку, в Ярославскую губернию, к графу одному... это я через Квятковского обработал.

— Ах! Ну что он?

— Его, брат, дело плоховато, — с сожалением отозвался Бурст. — Кредиторы совсем затравили, в мертвой петле парень ходит... Околачивается покуда вокруг Евграфа Каролеева, но про того самого слухи ходят, будто он не сегодня-завтра летит в трубу... Максим, положим, бодрости не теряет, отшучивается от своего фатума, как умеет, но заметно, что это уже из последних сил... И полоумный он какой-то стал, шутовствовать начал, не переставая, и уж слишком юродиво, — будто оно и не совсем произвольно... Я ему даже выговаривал... Жмется, смеется, говорит: «Это ничего, Бурст, это я тренируюсь! Антон Арсеньев сошел со сцены, так я ищу ангажемента на его амплуа...» А души по-прежнему добрейшей: вот и место тебе нашел...

— А когда туда можно отправиться? — перебил Борис.

— Отправиться-то можно хоть бы и сейчас, — с досадою сказал Бурст, — но с паспортом маленькая заминка: мы ждали тебя не раньше чем послезавтра, и мужчина этот, который тебя снабдил своим документом, — зовут его, к слову сказать, Иван Иванович Вихин: привыкай! — будет в Москву только завтра... Я, друже, работаю всегда математически, но с вашим братом, россиянином, никак не сообразишь: один опаздывает, другой приходит слишком рано... Ни ма-лей-шей дис-цип-ли-ны!

— Это оттого, — засмеялся Борис, — что мы, русские, живем как на войне, а вы, немцы, — как на параде!.. Нет, брат, ты в русской жизни математику отложи в сторону, а возьмись за теорию вероятностей.

— Да, видно, что придется так... Но ты, мой любезный, оплачиваешь эту теорию сейчас тем, что тебе придется еще двое суток ночевать цыганом...

Борис вздохнул.

— Лисицы имеют свои норы, — сказал он, — и камни прибежище зайцам!.. Что же? Дело знакомое... Я, правду сказать, думал мимоходом к своим заглянуть: потому и выбрал для нашего rendes vous * это Царицыно.

Бурст скорчил гримасу.

— Не советую. Притом же, по всей вероятности, найдешь только Софью Валерьяновну: старик твой почти все время в Москве... сдает должность и ужасно спешит: загорелось ехать за границу, — совсем как ребенок с этим носится... Фат какой стал, — удивленье!..

— Жаль, что не увижу их... жаль... — грустил Борис, уныло покачивая головою. — Может быть, уже никогда... жаль!.. Приют у меня в Царицыне есть, на росе ночевать не останусь, — не очень комфортабельный приют, зато романический, как все это наше свидание... И откуда ты, шут гороховый, такие сигнальные песни выдумал? Кто теперь «Цампу» и «Роберта-Дьявола» помнит?

— То и дорого, — важно отвечал Бурст. — «Демона» или «Онегина» нынче всякий приказчик поет... Прислушайся к лодкам на озере, — только и слышно, что «Не плачь, дитя» да «Я тот, которому внимала». Какой же это сигнал? Ошибся в голосе, — и наскочил на чужака. Сигналы должны быть ясности неомрачимой!

Борис засмеялся.

— Вот уж — правда-то: «и терпентин на что-нибудь полезен!» Всегда считал оперу самым праздным искусством... и не воображал, что наступит время, когда от нее в зависимости окажется моя жизнь... Слушай, милый мой Блондель! Из твоих слов, сколь они ни осторожны, я вывожу такое заключение, что голова моя в некотором роде оценена и ищут меня как пестрого волка?

---

* Свидания (*фр.*).

Бурст пожал плечами.

— Если хочешь, — да.

— Но во всяком случае не настолько же, чтобы в сумерках я не мог пройти Царицынским парком?

— Ну это само собою разумеется... Я только не советую тебе к даче ходить и вызывать кого-либо с дачи... А в парке — кому за тобою следить? Парк — лабиринт, место безопасное...

— Так вот, когда стемнеет, ты меня перевези в своей лодке через озеро и высади у пристани под дворцом... Я в башенке чудесно переночую, а завтра в сумерках же ты меня с той же пристани похитишь, как некую Людмилу или Надежду из «Аскольдовой могилы»...

— А днем куда ты денешься?

— Милый друг! — возразил Борис, — недаром же я воспитывался и рос в Царицыне из лета в лето... Я дворец наизусть знаю, весь его излазил и горе верху, и на земле низу, и в подвалах под землею... Там в развалинах такие уголки есть, что никакому сыщику о них не догадаться... Баженов строил — не кто-нибудь!.. Умница Екатерина, что не достроила эту махину и оставила рассыпаться в потомстве... По крайней мере, сто лет спустя порядочному человеку есть где спрятаться...

— Камни — прибежище зайцам! — захохотал Бурст.

— Нет, серьезно... Ты знаешь, я одно время очень подумывал, не устроить ли там типографию...

— Влюбленных пар шляется много, — смеялся Бурст.

— Да ведь это на земле, — улыбнулся Борис, — а я знаю целые комнаты под землею... И на воздусях тоже, где стропила... На будущее время надо иметь в виду, — я тебе говорю! Честное слово!.. Екатерина забраковала дворец, потому что он показался ей гробом, окруженным шестью свечами... «Вы не дворец, а гроб мне выстроили!» — так, говорят, и воскликнула она... А я его люблю этот старый, разрушенный гроб... Из гробов часто возникает новая жизнь... Древние это хорошо понимали. Ты рассматривал когда-нибудь антич-

ные гробницы? саркофаги, урны? Какие на них жизнерадостные барельефы!.. Я понимаю!.. О черт! Ну что мне в том, что я завтра буду трупом? Труп в земле сгниет, а я из земли фиалкою вылезу...

— Базаров, брат, был скромнее тебя: он больше на лопух рассчитывал, — ухмыльнулся Бурст.

Борис перебил:

— А что худого в лопухе? И фиалка прекрасна, и лопух прекрасен. Фиалка — жизнь, и она прекрасна. Лопух — жизнь, и он прекрасен. Прекрасно все, что — жизнь. И нужно все, что жизнь. И когда я думаю о грядущем, то я чувствую, что жизни будет много-много, без конца... и прекрасного — много-много, без конца... А смерть — скверные моменты эволюции, развивающей вечность, — не больше... Нам ли трусить скверных моментов? Плюнь на страх смерти, Бурст, и уповай на лопух и фиалку!..

— Да уж если больше не на что, — захохотал Бурст, — давай уповать хоть на фиалку и лопух... От полиции они только плохо защищают, проклятые, — вот в чем наше несчастье.

— А ты в этом милом отношении как теперь?

Техник скорчил уморительную гримасу.

— Покуда, как будто легален... Вот разве с тобою попадусь?

LI

С первыми лучами летнего солнца, упавшими в окна седой царицынской руины, Борис открыл глаза и поднялся с мягкого мусора, на котором провел короткую теплую ночь, закутавшись в разлетайку, оставленную Федосом Бурстом. Затем с страшными зевками, он прошел в крайнюю, левую башню дворца, обращенную к готическому мосту и к церкви. Он помнил об этой башне, что в ней лучше всех других сохранились карнизы, стропила и подпорки.

— Ну-с, вспомним время счастливого детства!

И он закарабкался быстро, ловко и цепко, как обезьяна, и, осыпая из-под ног то груды кирпичного мусора, то трухлявые гнилушки балок и уныло-звонкие куски ржавого железа, очутился — в теплом, но резком ветре, в светлом, горячем солнце, на предельном, самом высоком тычке дворца, — среди странной воздушной рассады сорных трав, кустарничков, тонких, юных деревьев. Прямо пред ним на саженной восьмиугольной площадке, венчающей башню, трепеща веселыми листами, бойко росла белая, опрятная, в руку толщиною, березка. Ухватившись за нее, Борис стоял, как Линцей на башне, — с широчайшим видом на все четыре стороны. На горизонте, еще сизом, туманном, дымном, горела снопом золотых искр огненная точка.

— Ух как разгорелся Храм Спасителя!.. Ага! А вон начинает выступать, засверкал Иван Великий...

Но Борису было сейчас не до того, чтобы любоваться на виды. Глаза его слипались, и тело, измаянное вчера ходьбою, сейчас — подъемом по стене просилось на долгий, хороший отдых — лежать, расправляться, спать... Молодой человек выбрал в башне окно с амбразурою поглубже, покрепче и наиболее пригретою солнцем, — загородил его поперек на всякий случай, чтобы не свалиться, двумя балками от стропил, и, постелив опять свою разлетайку, сунув под голову парусинный ранец, заснул на своем жестком ложе так крепко и сладко, что даже пролетавшие вороны сомневались: а не покойник ли?

Борис очнулся уже далеко за полдень от лютого голода. Сидя в своем убежище, он грыз колбасу и хлеб, оставленные вчера Бурстом вместе с бутылкою воды и пузырьком красного вина, и находил, что ни у одного царя в мире еще не было более красивой и величественной столовой, чем досталась теперь ему, беглому Борису Арсеньеву... Да! Отсюда было на что взглянуть!

Бесконечно тянулись зеленые сады и желтые поля. Стальным, разлапистым, с заливами в материк узором сверкали пятнадцативерстные царицынские пруды с пятнышками годуновских плотин Шапилова и Борисова, как бревнышками поперек их. Белела стройная Сабуровская церковь, точно ключ, замкнувший широту водного разлива; под нею проблескивала Москва-река и дымил, переходя мост, поезд Курской железной дороги. Влево тучею серел, сливая в расстоянии все свои пестрые краски, коломенский дворец царя Алексея Михайловича... расползлась приземистым монастырем белая Перерва... торчали высокие красные трубы кирпичных заводов... и горизонт уходил в мутное облако с золотыми искрами в нем: там была Москва. Борису казалось, что он видит новый мир, и, пока ветер слегка покачивал его вместе с березкою, а она шелестела по лицу его душистою девственною листвою, душу его охватил тот добрый, радостный восторг широкого зрения, который узнают люди только на высоте гор и башен... Парк шумел столетними верхушками у ног Бориса, как зеленое море. Он смотрел сверху вниз прямо в курьезную рощицу на плоской крышке «библиотеки», и сквозь прозрачную, трепещущую зелень молоди ярко-красными выпуклыми рожами бесстыже ухмылялись ему согретые солнцем мухоморы.

Наглядевшись вдаль, Борис перебрался в другое окно и лег в нем — и, невидимый никому, сам теперь видел все кипевшее воскресным разгаром дачной жизни Царицыно.

«Будь у меня зрение получше, — думал он, — я мог бы отсюда наблюдать все, что делается на бывшей даче Ратомских... нашу заслоняет церковь!.. А вот — из-под моста — плетется с вокзала серая шляпа... это Квятковский! ей-Богу же, Квятковский! и, вероятно, к нам... Вот бы крикнуть ему: то-то удивится и испугается... Даму какую-то провожает... ба! да ведь это же Лидия Юрьевна... ну тогда, конечно, к нам, несомненно, наверное к нам... Батюшки! И Тихон Гордеевич

Постелькин изволят шествовать — сияют галстухом, инда глазам больно... Ишь, каналья! На уроки ездить отлынивал, а без меня лодыря бить шляется... Вот бы обрадовался-то, если бы знал, что я лежу здесь. Здравствуйте! Теперь — Константин Ратомский в своей панаме и с ним сумской гусар... Кто бы это? Ага! Узнал: кузен Броневский... он бывает у нас только по фамильным дням!.. Что это — сколько знакомых, и все как будто именно — для нас и к нам?.. Какой бы такой торжественный случай? Эх, жаль: семейным календарем я всегда мало интересовался... вот и лежи теперь в неизвестности, и сгорай напрасным любопытством!»

И вдруг он хлопнул себя ладонью по лбу и расхохотался как сумасшедший.

— Боже мой, как глупо! Да ведь сегодня же — Борисов день! Ведь это я, я сегодня именинник! Вот штука-то! Это все они — мои именины справлять собрались... Ха-ха-ха-ха! Курьезно!.. Да здравствует мой именинный пирог — и поздравляю самого себя с ангелом! Кушайте и пейте, милые гости, за мое здоровье, а я пощелкаю на вас завистными зубами издали... Ах, черт возьми! Ну бывал ли когда-либо какой-либо именинник в более нелепом положении? Там — о имени моем напекли пирогов, едят мясо и дичь, пьют шоколад и вино, а виновник торжества сидит столпником на тычке в двадцати саженях над поверхностью земного шара, беседует с мимо летящими воронами и жует двадцатикопеечную колбасу!..

* * *

Именинный съезд, изумивший Бориса, в действительности был вовсе не именинным. Гости из Москвы нагрянули совершенно случайно, собранные в Царицыно праздничным днем с прекрасною, яркою погодою. О Борисе вспомнили, только когда приехал Броневский — маленький красивый гусарик с репутацией в Москве аккуратнейшего поздравителя в мире. Было чудом и величайшею редкостью встретить

его где-либо в гостях запросто, но, кому бы Броневский ни был представлен, он немедленно старался разузнать именинный, рожденный, свадебный, юбилейный дни нового знакомства и отмечал в календаре, а затем в должные сроки являлся сияющий, поздравляющий, в парадной форме и всенепременно с каким-нибудь подарком: он был человек очень состоятельный. Дважды в год: на собственные именины и в день своего рождения, — Броневский устраивал колоссальные обеды для всех своих московских знакомых мужчин, как бы расплачиваясь оптом за обеды, съеденные им в розницу на чужих семейных торжествах. Высокоторжественные дни Броневского были очень популярны в Москве, и однажды, когда с именинами Броневского совпал бал у генерал-губернатора, то добрая треть гостей явилась к хозяину города уже столь весела, что даже мягкий и любезнейший В.А. Долгоруков немножко обиделся, а Броневский получил от командира полка жесточайшую головомойку... Единственно, чем сокрушался в жизни своей Броневский, — что по холостому своему положению не может устраивать вечеров для знакомых дам.

— Так женись!

Броневский вздыхал:

— Да, женись! А мои дежурные девы что скажут?!

«Дев» Броневский имел по Москве изрядное количество с той же комическою аккуратностью в чередовании «дежурств», — были они разных национальностей, званий и типов, но, — как водится у мужчин маленького роста, — одна громаднее другой... По этому же пристрастию Броневский весьма благоволил к дальней кузине своей, Соне Арсеньевой, и никогда не пропускал случая оказать ей какую-нибудь любезность.

На арсеньевской даче выпал чуть ли не первый веселый день за все лето. Непостижимое упрямство, с каким Валерьян Никитич выгнал дочь из Москвы в одиночество на царицынской даче, сложило вокруг девушки какие-то чуть не

теремные условия. Арсеньевы давно растеряли свое знакомство, а ранний дачный вылет совсем отрезал их от московского круга.

Лето выпало не из жарких, и Царицыно до половины июля стояло совсем пустое. Соня по целым неделям оставалась одна с своею Варварою. Вопреки приказаниям отца, она не только не «двигалась», но в будние дни почти не выходила с дачи. Ужасно много ела, еще больше спала и до того обленилась, что часто даже не давала себе труда прилично одеться. Как накинет на себя с утра, прямо из постели, какую-нибудь блузу или капот, так и останется до вечера и нового сна. Оживлялась она только с приближением воскресения либо большого праздника. Тут нарядится, уберется, станет веселая и весь день до вечера пропадет в парке или в лесу, едва показываясь домой к урочным часам завтрака и обеда.

— Помилуй, Софья, — возмущался Валерьян Никитич, который в будни почти не мог бывать на даче, а в праздничные дни оказывался покинутым скучать на ней в одиночестве. — Ты совершенно не живешь дома. Я тебя никогда не вижу. Мы скоро разучимся узнавать друг друга в лицо.

— Папа, вы сами говорите, что на дачу люди ездят для того, чтобы как можно больше гулять и дышать лесным воздухом.

— Скажите пожалуйста, еще и огрызаться научилась. Софья! Что с тобой?

— Да если вы несправедливо?

Но — проходил праздник, проходило и праздничное настроение. В понедельник Соня спала безобразно поздно, а просыпалась скучная и угрюмая, с угасшими в мертвой сытой лени коровьими глазами, и — так уже и жила остальную неделю, по выражению Варвары, «развеся губы», — едва заботясь причесать волосы, в зевоте переваливаясь с дивана на диван либо в саду перекатываясь из-под яблони к яблоне и шаркая по дому туфлями на босу ногу. Иногда среди

недели она вдруг — как человек, потерявший терпение владеть собою в напрасной и тягучей тоске, — схватывалась, точно змея ужаленная, и — в диком, почти злобном волнении, с красными пятнами на лице, с мутным и опасным огнем в глазах, с трепетом пылающих губ, стиснув зубы, спешно одевалась, чтобы с ближайшим поездом, под каким-нибудь хозяйственным предлогом улететь в Москву.

Когда в арсеньевском доме на Остоженке приключился пожар, Валерьян Никитич явился к дочери необычайно ликующий.

— Вот видишь, видишь, видишь, — торжествовал он, — видишь, как хорошо я сделал, что выпроводил тебя на дачу... Вот осталась бы в Москве, ты бы и сгорела вместе с квартирою, непременно сгорела бы...

— Папаша, да ведь если бы мы остались, вероятно, и квартира не сгорела бы.

Но Валерьян Никитич даже освирепел.

— Глупости! Глупости! Почему это не сгорела бы? Как ты можешь знать? Чему суждено сгореть, то сгорит непременно! Проклятая квартира! несчастная квартира! поганая квартира! Ей надо было сгореть... Тьфу! Тьфу!

— Так он рад этому пожару, — толковала Соня своей наперснице Варваре, — что даже жутко и не совсем ловко выходит... Иной чужой какой-нибудь еще подумает, пожалуй, не сам ли он поджег...

— И очень просто! — каркала Варвара, — от вас все станется... никто и не удивится!.. все!..

В домашней жизни Валерьян Никитич сделался невыносимо вертляв, суетлив, хлопотен и бестолково говорлив: лопотал, бормотал, всюду совал свой любопытный нос, рассказывал какие-то неясные и бесконечные истории, так что и дочь, и прислуга вздыхали много свободнее, когда надоедливый, выживший из ума старик уезжал в Москву.

— Хоть бы уж уехал он в свою заграницу, — откровенно желала теперь Соня. — Может быть, там отдохнет и лучше вернется... А то измучил... И без того здесь скука смертная, а тут еще он тормошится... такой суматошный... Уезжал бы! Авось без него и нам легче станет...

Варвара поддакивала.

— Да, когда Валерьян Никитич за границу уедут, мы заживем!

Лидия Мутузова, возвратившаяся в Москву после своих провинциальных триумфов в необычайном веселии и великолепии, была увлечена в Царицыно Квятковским.

— Но я боюсь, помилуйте, Макс, — возражала она, — там, я слышала, старик распорядился, чтобы меня на порог не пускали...

— Э! Нашли о чем говорить! Когда это было? В Аредовы времена! Он сегодня не помнит, что приказывал вчера... Увидит вас старина и совсем растает... Волочиться за вами будет, увидите!

— Он и прежде был очень не прочь!

— Тем более, при нынешней вашей обольстительности!

— Ах!!! — Лидия комически присела и подняла глаза к небу.

— Ох! — Квятковский расшаркался и приложил руку к сердцу.

— Как мы стали галантны!

— Совершенства других совершенствуют нас самих, гласит Писание, — но в каком месте, не помню.

— Афоризм Максима Квятковского номер тысяча первый!

— Я скоро соберу их все в отдельную книгу и посвящу вам!

— Хорошо, я поеду с вами к Соне... мне и самой хочется ее видеть... по крайней мере, похохочем по дороге... вы ведь веселый!

— Царица! Твой верный шут фон Розенкунц всегда к твоим услугам!

— Только, голубчик, уговор лучше денег: Мауэрштейну — о том, что я была у Арсеньевых, ни слова!

— Афоризм тысяча второй: соус секрета усугубляет смак удовольствия... А почему так таинственно, леди?

— Жозефка — дурак: ни с того ни с сего ревнует меня к Антону...

— Но Антон, как вам известно, леди, выкашливает свои простреленные легкие в Крыму?

— Да, и я знаю, и Жозеф знает... а вот подите же!

Соня встретила гостей странно. Она и обрадовалась им, и как-то их испугалась.

— Ну, матушка, и одичала же ты! — без церемонии заявила ей Лидия, оставшись с нею наедине. — И опустилась ужасно... На что похожа? Спишь, должно быть, по целым дням: у тебя отеки под глазами!.. Нельзя так облениваться, успеешь обратиться в халду, когда замуж выйдешь... Да ты уж и корсета не носишь, кажется?

— Да что же... летом? Жарко! Для кого мне? — вяло защищалась Соня.

Квятковский был совершенно прав: Валерьян Никитич давно позабыл свой внезапный гневный каприз против Лидии и встретил ее любезнее любезного. За обедом Лидия по привычке оказалась царицею праздника. Она действительно очень похорошела за несколько месяцев своей артистической поездки, приобрела актерский апломб, шик и то, что мужчины на юге называют «поди сюда!» После обеда ее в качалке на террасе — окружили тесным кольцом стульев и молодые, и старые. И во всех глазах светилась и нехорошая память, что это довольно красивое, эффектное и здоровое существо — заведомо порочно, и желание испытать, не сделалось ли оно в страстной порочности своей и общедоступным... Даже у Тихона Постелькина, смиренно державшегося поодаль, — когда он поднимал глаза на позирующую, кокетничающую, рисующуюся актрису, — по лицу, как ис-

кры, пробегали какие-то особенные черточки... Соня промолчала весь обед как рыба, а к концу обеда по щекам ее запрыгали красные пятна. В развеселившейся, возбужденной компании никто не обратил на них внимания. Зато Варвара, подавая блюда и убирая тарелки, отметила про себя: «Обидели мою чем-то... Злая сидит... Как скипидар!.. Не тронь, — зашипит! такая злая!..»

Гусарик Броневский ухаживал за Сонею, говорил ей красивые слова и туманные комплименты, — она слушала и не слыхала, улыбалась машинально и насильственно и отвечала невпопад.

Вскоре после обеда все общество — веселою, шумною гурьбою — отправилось в парк. Шла со всеми и Соня. Но едва пройдя стены готического моста над дорогою, она искусно задержала свой шаг по аллее, и, когда компания с веселою болтовнею Лидии Мутузовой и Квятковского опередила ее, — она быстро свернула с дороги за красный угол кирпичной «библиотеки» и остановилась мрачная, в румяных пятнах, слушающая, ждущая...

Общество вспомнило о ней только у Золотого Снопа.

— Господа! — воскликнула Лидия, — мы Соню потеряли! Сони нет!

— Многих нет, — возразил Квятковский. — Разошлись дорожками. Мы шли горою, они пошли болотом...

— Соня! Ау!

— «Что за радость вам аукаться? Что за прибыль ей откликнуться?» — запел из «Снегурочки» Броневский.

* * *

День наверху башни тянулся для Бориса мучительно долго. Молодой человек спал, просыпался, опять заставлял себя заснуть, считал часы и минуты... и все еще осталось их до вечера много-много!.. Колбасу свою он съел, вино и воду выпил. Остались в кармане два яблока... Сгрызть их, что ли, от скуки?

«Что я, боа-констриктор разве всепожирающий? — с досадою воспротивился себе Борис. — О черт! вот тоска-то? Кажется, пошли мне судьба сейчас сюда на вышку жандарма, я и тем обрадуюсь поговорить...»

— Скажите, пожалуйста, куда завел! Да не пойду я... вот что выдумал! Чего не видала? Не пойду!

Борис насторожился. Слова долетели к нему, как по трубе, изнутри дворца. В старой пустынной зале под башнею ходили люди.

Молодой женский голос — капризный, красивый, густой, чувственно и глуповато раздраженный, упрямо повторял без боязни, что в глухой развалине кто-нибудь услышит.

— Пожалуйста, пожалуйста!.. Можете успокоиться... Не с тем вышла.

Мужской голос, глухой и тихий, прогудел что-то в ответ.

Женщина придирчиво вскрикнула:

— А затем, что того стоишь... Ишь какой!..

— Му-му-му-му-му-му... — неразборчиво гудел мужской голос.

— Весь обед таращился на эту выдру! Разве я не видала?

— Му-му-му-му...

— Да какое мне дело, что другие! Пускай другие, а ты не смей... Нашли прелесть: у нее и зубы-то только спереди — для людей, а по бокам — ничего нет! Оттого и щеки проваленные!.. Из одной моей ноги две такие драные кошки выйдут.

Мужчина говорил долго и все тише и ниже, умеряя голос до жужжанья шмеля.

— Да, да! Как же! Так и поверила! — твердила женщина. — Нет, уж это так и будет. Дурою мне быть не следовало — вот что... Конечно! Покуда не добился своего, — небось, как пришитый был, глаз не отводил... даже до смеха! А теперь — что же еще? Все получено. И пошел таращиться на выдру...

В голосе, однако, звучало уже, что женщина сердится несерьезно и только наслаждается любовною ссорою...

— Ну как не стыдно? Что это, право, Соня? — жалобно повысил тон мужской голос. — Сама не веришь, что говоришь, Соня?

Имя так поразило Бориса, что он позабыл слушать мужчину. Женский голос давно уже казался ему знакомым — знакомым близко, до неприятного сходства, до дикого недоумения... Она?!

Какие-то незримые щипцы схватили его за сердце, рванули и будто повисли, не отрываясь, а в груди погруз кусок внезапной тяжести, тупой, глухой боли... Тихо повернувшись на карнизе, Борис жадными глазами искал парочку в пустыне башни, но взор его, пробежав зеленый полумрак, уперся в зеленые же, под мохом и плесенью, мощные стены. Любовники оставались скрыты от Бориса сводом арки, одетой в столетнюю седину, полузасыпанной обвалами кирпичей. Но с угла — если подобраться по карнизу — можно было видеть за арку, а карниз — Борис знал — еще нигде не обрывался, широк и крепок... И — сидящий с ногами, подогнутыми к стене, — он, — сам себе не отдавая отчета, как и когда решил ползти, — уже полз, приподнимаясь вперехватку, на ладонях, по холодному, влажному камню, беззвучно упираясь каблуками в каждую шероховатость, которую нащупывал. А внизу слышались поцелуи.

— Вот всегда так... всегда ты так! — кокетничал и капризничал женский голос, вперемежку с паузами тихих ответов мужского.

— Так и помни: если еще раз увижу — отомщу... честное слово!

— Му-му-му...

— С Броневским кокетничать стану! На лодке с ним вдвоем уеду! При луне, ночью... да! А ты на берегу по парку бегай, от ревности собственные губы ешь!

— Му-му-му...

— Да уже лучше тебя. Одна форма чего стоит: сумской гусар...

Щипцы рванули Бориса новыми хватками... Да, имя Броневского отняло все сомнения, — да, он не ошибся ни в голосе, ни в имени: эта Соня, которая чувственно жеманится там за стеною, — та самая Соня, о которой он думал, и та Соня — его сестра...

А она хохотала в ответ на какую-то короткую фразу мужчины.

— Да уж блестящая наша партия! нечего сказать, — именно что уж блестящая! Нет, миленький...

Конец пропал в поцелуе. Потом женщина заговорила серьезнее:

— А все-таки пора как-нибудь к развязке. Я боюсь, что скоро заметно будет... Знаешь, Лидка сегодня меня так подозрительно оглядывала... я того и боялась, что намекнет...

— Му-му-му...

— И тоска ужасная! Ты бываешь только по праздникам... Мне в Москву урваться невозможно, я вся на отчете... да и что за радость — на десять минут?

— Му-му-му...

— Да рада бы... разве я не рада? Но вывираться я, голубчик, не ловка... Намедни, когда поздно вернулись, отец привязался: почему просидела в Москве до последнего поезда? у кого из знакомых была? Хорошо, что Варвара подоспела помочь — подсказала Бараницыных, а то у меня уж и в голове все спуталось, и в глазах потемнело...

— Му-му-му-му...

— Венчаться нам пора, — вот что!

— Му-му-му-му...

— Да, разумеется, когда отец уедет... При нем у меня от страха ноги не пойдут... Только измаялась я очень, голубчик! Жду не дождусь... В Бежецк-то ездил ты, как хотел, или нет?

— Му-му-му-му...

— Что ты говоришь?! Да ну?! Отдают магазин за три тысячи?! Ай, голубчик! Вот славно!..

Тяжелый кирпич сорвался из-под ноги Бориса и с шумом ухнул в кучу мусора. Сам он, потеряв точку опоры, — хорошо еще, что не сильно на нее налегал, — скользнул с покатости карниза и едва удержался, вцепившись в камни широко расставленными пальцами и нащупав носком сапога новую стенную выбоину. Мимолетный испуг сломать себе шею занял его всего. Когда Борис снова утвердился на карнизе, весь в мгновенном поту, с искрами перед глазами, с жаром в голове, точно горели корни волос, — когда он вспомнил, как и зачем висит он на этой головоломной вышке, — влюбленной пары внизу уже не было, только отдавались эхом в дряхлом здании быстро удаляющиеся гулкие шаги.

— Тут опасно, — долетело к нему уже слабым звуком, — пожалуй, еще убьет до свадьбы-то... А может быть, кто-нибудь лазит... слушает...

Борис заскрипел зубами в досаде бессильного гнева, и корни волос запылали еще неприятнее и жарче.

— Кто? — громко спросила он и, — когда гул голоса откликнулся по седым стенам, — озлился на самого себя. Вслух заговорил... точно в романе... — Но кто же этот... кто был с нею? кто? кто?

Он сообразил, что если вернется к окну, где лежал раньше, то — от верхней молодой березки — открыт вид на все стороны, и если только парочка выйдет из дворца, то повернет ли она на село, в парк ли, он непременно увидит ее во дворе, на кругу цветника или на дороге. И в три-четыре минуты он уже был под березкою и сердито толкал ее, которую так любил давеча утром, в досаде, что она качает ветки перед глазами и мешает смотреть...

Он скоро открыл сестру: Соня в яркой красной кофточке быстрыми шагами шла домой, — она была уже далеко, за мостиком и оврагом.

— Одна, — с успокоением и опять вслух подумал Борис.

Он оглянулся на парк, на луг, на овраги, на озеро, — по аллееям бродили гуляющие, по озеру скользили лодки и лыжи, пьяные немцы орали: «Вниз по матушке по Волге», из курзала слышался глухой рокот кегельных шаров, под ивами дремали унылые воскресные рыболовы, по лугу дорогою тянулись подводы с железной дороги и шли плотники с блестящими зыбкими пилами за плечами...

— Конечно, одна, — опомнился и разозлился Борис. — Хорош я здесь на тычке! Еще бы не хватило ума разойтись, когда из дворца мало-мало сто выходов!

И гнев, и обида, и тоска опять повисли на его сердце, и впервые за всю жизнь он почувствовал, что крепко любит свою глупую сестру, и остро, и кровно болит у него одна точка слева в груди, точно от нее-то именно Соню и отрывают. И ему страстно захотелось плакать, кричать и звать ее к себе, словно — если вот уйдет она еще десять шагов, повернет за угол, то и навеки уже для него потерялась.

— Соня!

Крупная качающаяся фигура девушки стала маленькою, как шахматная фигурка. Борис понимал, что голосу до нее не долетать, — а звал... сам не знал, зачем зовет, — звал, потому что душило, и криком расходился истерический шар, подступавший к горлу.

— Соня!

Плотники с пилами оборотились на крик.

— Соньку зовет, — сказал один.

— Куда понадобилась! — мрачно в рыжую бороду отозвался другой.

— Надо полагать: из немцев! — решил третий.

А четвертый — чернобородый до глаз, как полночь, и в котором никто не заподозрил бы весельчака — сострил нараспев:

— Соньки таперича все у Афоньки, а у нас, слава Те Господи, Аннушки!

Борис забыл все, забыл, что его видно, что он выставляется на вышке и привлекает к себе внимание прохожих... забыл, что он ждет Бурста, как и зачем ждет... Он весь горел одним стремлением: скорее сойти вниз и бежать туда, на дачу, к сестре — узнать, помочь, предотвратить, защитить, что-то расстроить или, наоборот, что-то устроить... Он не знал ничего, пылал жаждою знать все и влекся — сам не предполагая, на какую неизвестность, — слепым и жадным инстинктом...

И, едва затуманились золотистые сумерки, он сошел с своей башни, и ноги его коснулись земли...

Но в тот момент, как он, отряхиваясь от мусора и приводя пятернею в порядок всклоченные волосы, готовился выйти из дворца, — среди смутных дальних шумов на пруду, среди песен, говора и плеска воды под веслами, — прозвучал в знакомом мотиве знакомый крепкий голос:

Власть моя всего сильней,
И может ли быть иначе?
Никогда в любви моей
Не знал я неудачи...

Борис вздрогнул, выпрямился и затрепетал, как струна под смычком.

«Боже мой... что же это?.. Бурст?.. Какое затмение!.. Я чуть не позабыл дела... чуть не погубил всех...»

Власть моя всего сильней,
И может ли быть иначе?

Борис исподлобья смотрел то на дорогу к селу, то на дорогу к пруду...

Никогда в любви...

Борис решительно надвинул на виски блин свой и, отвернувшись от села, направился в кусты, уже отуманенные быстро надвигающимся вечером, вниз, под гору, к пристани.

— Не знал я неудачи! — закончил Бурст дикою фиоритурою.

«Дело зовет, — думал Борис, сбегая по горе, — нет... нельзя!.. поздно... не свой я... нельзя мне иметь своего!.. Ни своих радостей, ни своих печалей, ни семьи, ни друзей... Не свой!.. В работе на миллионы — что мы, жалкие единицы! Дело зовет... ну и — быть по сему!.. Не мне бросать камни под наши жернова... Дело зовет... — ну и вперед! опять и всегда, вперед! В дело!»

LII

Лодка скользнула воровскою тенью по черной, вороненной отсветами гаснущего запада воде, мимо фонариков курзала, не поймав почти ни одного луча от их тусклой пестроты, и беззвучно перешла из озера в узкую речонку — проток болота, которым питается верхний царицынский пруд. Бурст перестал грести и, поднявшись в лодке на ноги, пихался веслом о вязкое, податливое дно. Лодка чуть ползла. Бурст нарочно осторожничал, чтобы сильными толчками не нагонять лодку на шуршащие камыши. Ночь уже настолько стемнела, что близорукий Борис едва различал сквозь нее богатырский черный призрак своего друга и больше слухом слышал и чутьем чуял, чем видел, живое движение в том близком направлении, где тихо пыхтел бравый техник, еще тише опуская весла в воду. Так поднимались они вверх по едва подвижной реке около получаса, покуда лодка не зашипела, цепляясь килем за обмелевшее дно, — зашарпала о подводные поросли, толкнулась, споткнулась и, подогнанная веслом Бурста, точно кляча кнутом, смиренно всползла носом на голый берег.

— Вылазим... — произнес Бурст первое слово с тех пор, как принял Бориса с пристани под дворцовою горою.

Борис встал, шибко качая скрипящую лодку, и хотел было прыгнуть на берег. Но Бурст, уже стоящий в воде выше щиколки, успел его удержать.

— Тпру! Куда? Не ву торопе па, мой ангел. Я совсем не намерен давать двойной след от лодки к железной дороге. Нет, душенька, изволь-ка лезть ко мне на закорки.

— Что ты, Федос? Надорвешься. До насыпи еще добрая верста. Сколько я ни худ, а все-таки тяну четыре с походом.

— Хо! — равнодушно крякнул Федос, — толкуй больной с подлекарем. Садись, коли везут. Только уговор сидеть смирно, с ноги не сбивать.

Однако на первых шагах Бурст, ослепляемый ночью, ступая без выбора почвы, тяжело угрязал под ношею своею в илистый берег, цеплявшийся за ноги, точно понимая, что шагает по нем потайное бегство человеческое, точно злобясь и желая задержать. Болото шипело, булькало, чавкало, хлюпало. Раза три Бурст провалился по колено.

— Я слезу, Федос... — волновался Борис, тормошась на плечах его. — Ты сопишь, как бык. Я боюсь. У тебя внутри что-нибудь лопнет.

Но техник сжимал ручищами икры его, точно кузнечными клещами.

— Черт! Сиди! — ругнулся он, мерно похрипывая действительно уже бычачьим каким-то дыханием. — Проклятая темень! Днем бы — игрушка... Сиди... Сейчас пойдет легко. Я уже чувствую ногу на твердом грунту... У-у-уф!..

И, отдышавшись, зашагал вперед уверенно и твердо, будто по паркету.

— Если кто-нибудь встретит нас теперь, — говорил Борис с живой вышки своей, — то весьма испугается. Время позднее и фигура необыкновенная. Должен подумать, что черт поймал грешника и несет его в ад.

— Здесь некому встретиться, — пыхтел Бурст. — За кого ты меня принимаешь? Дурак я был — тащить тебя по жилым местам. На сей пустырь, брат, и днем-то ворон костей не носит. Справа — брошеный кирпичный завод, слева — болотище. Эка лягушки сегодня орут... Ну а теперь — молчание: мы идем вдоль насыпи... Стоп... Слезай и взбирайся на полотно... Не вставай на ноги, ползи прямо под вагоны... Погоди, подсажу... ух!..

Они очутились на далеком запасном пути с рельсами, зарощенными травою, поднявшеюся сквозь старый щебень. Яркая туманность богато освещенной станции сияла приблизительно в версте расстояния. В промежутке до станции и дальше станции зеленели и краснели сигнальные огни поворотных кругов, пучились желтым и малиновым пламенем глаза локомотивов, зловещими рыжими облаками взметывались вспышки топок. Оттуда шел во тьму хороший, веселый гул машинного дела: щелкали щеголеватые мерные стуки рычагов, дрожал цепной лязг, звякали звоны и отзвоны буферов, пели заунывные визги и удалые свистки паровозов, маневрирующих в быстро и ритмически плюющем фырканье, точно разбегались по рельсам гигантские медные ежи.

— Ты лежи, знай, лежи на животе, — приказывал Бурст. — Не бойся, не задавят. Эти вагоны гниют здесь с открытия дороги. Один черт знает, зачем и кому они нужны.

— Я не боюсь. А вот ты не красовался бы во весь рост. Если пойдет мимо поезд, то тебя осветит топка и непременно увидят либо машинист с кочегаром, либо прислуга.

— Пустяки. Примут за смазчика. Костюм у меня — аккурат сообразный.

— А если пройдет сторож или дорожный мастер?

— Свои люди, тертые калачи. Привыкли встречать на полотне публику и потемнее нас с тобою, ведь этакие дальние заброшенные вагоны — бесплатная ночлежка. А если

который дурак зафордыбачит, — можно ему и кулак показать. Ты, главное, не загадывай, не предполагай... Эге! Вон и товарищ Петр изволит к нам подвигаться. Теперь, Борька, кричи... то есть — шепчи: ура! Дело твое в шляпе.

От станции по рельсам низко над землею медленно приближалась яркая точка фонаря, выписывая огненные полукруги, слишком широкие, чтобы происходить от естественного качания. Точка подплыла к вагону, под которым лежал Борис, и в желтом круге, ею распространенном, осветились жесткие рыжие усы и висячий ястребиный нос под картузом, — должно быть клеенчатым, потому что он давал тусклые отблески. То был сцепщик, то есть мастер, соединяющий в поезда вагоны, назначенные к попутному отправлению.

— Заждались, крестный? — обратился он к Бурсту, пряча фонарь под полу одежды и сразу весь погасая во тьме, но ничуть не заботясь умерить свой голос — густой, хриплый, с железными тонами, которыми будто заражаются от труда своего люди, работающие над железом и среди железа.

Крестным товарищ Петр звал Бурста потому, что именно Федос распропагандировал его и ввел в партию два года назад, когда работал на московско-курской линии кочегаром-практикантом.

— Здравствуйте. Простите, никак не мог раньше: начальник канителил меня по графику. А где же — товарищ к отправлению?

— Я его на всякий случай под вагон уложил.

— О! Напрасно вы так утруждали себя, товарищ. У нас просто. Слежки никакой. Жандармы — лодыри на заказ. Только и умеют, что опивать буфетчика на даровом пиве. А между рабочими духов нет, не опасайтесь.

— Однако, крестник, ты сам фонарь-то свой приглушил?

— Так это я — ради дежурного паровоза. Машинист на нем работает не больно чтобы из умных. Примет, что я даю ему сигнал, — двинет сюда машину, еще крушение устроит,

загремит с откоса-то, дурацкий черт... Пожалуйте, что ли. Упомещу вас, товарищ. Барином поедете.

Ролью сцепщика, заранее условленною между ним и Бурстом, было — спрятать Бориса в пустом товарном вагоне, перегоняемом этою ночью в Москву на соединительный путь с Ярославскою железною дорогой к безопасному пункту, где сцепщиком был тоже товарищ. Там Бориса должен был ждать студент Рафаилов с инструкциями от партийного комитета.

— Ишь, какая утроба на колесах! — острил Бурст, просунув голову в черную дыру вагона после того, как она поглотила Бориса, затхлою ночью своею дышавшею изнутри в ночь внешнюю хлебным запахом недавно перевезенного и выгруженного зерна.

— Ты, Боря, здесь — чисто, как Иона во чреве китовом.

— Товарищи, — хрипел сцепщик, — если вы имеете о чем переговорить друг с другом, то не отменяйтесь: времени у вас довольно. Путь занят. Станция отпустит поезд не ранее, как после полуночи. За безопасность вашу здесь я ручаюсь. Можете беседовать как в своей собственной квартире. Хоть песни пойте, если в охоту, — никто и во внимание не возьмет.

— Это лихо! — одобрил Бурст, — только, брат крестник, смотри: не отправь и меня за компанию с товарищем на Ярославку.

— Нет, когда придет время прицеплять вагон, я добегу предупредить вас. Тогда и запру.

— Это — что же? новая мода? Обыкновенно порожние вагоны ходят открытыми.

— Чтобы в следовании не влез кто-нибудь случайно. Опять же и начальство может заглянуть. Когда прячешь какую-нибудь тайность, то надо, чтобы все кругом было кругло и в правиле. А правило велит гонять вагоны запертыми.

— Это ты верно сообразил, — похвалил Бурст. — Молодчина, крестник. Соблюдай дисциплину. Дисциплина не выдаст. Она, брат, в каждом деле, — прежде всего.

Польщенный сцепщик ухмыльнулся.

— Я, чтобы порадеть вам, загнал вагон туда, что еще и не стаивали они у нас этак-то. Уж вы извините, товарищ, — обратился он к Борису, — придется вам поскучать, покуда мы будем маять вас, катая с пути на путь.

Бурст перебил:

— А вот, как надоест начальнику, что долго, да прикажет он сбить вагоны по количеству, а не по номерам...

— Нет, он у нас лоточный, одно слово — педант. Что в графике значится, то свято. Вагон-то — штрафной; давно ему пора двигаться восвояси. День простоя стоит станции три рубля. Кому охота платить из собственного кармана? Но машинист действительно посвищет в маневрах, пока ему удастся вас зацепить.

— Ты, Борис, не застревай в Москве, — советовал Бурст в незримой беседе под темнотою ночи, болтая ногами, вывешенными за борт вагона. — По моему соображению, подвиги твои для святого града сего кончились, если не навсегда, то мало-мало — лет на пять. Кто тебя в Москве не знает? Рожа твоя глазастая уж больно приметна. Раз увидать — запомнить на всю жизнь. Не засыпься, друже.

— Если не пошлют на работу, то, конечно, я Москву миную.

— То-то. Лучше жарь-ка прямо в уготованную тебе дыру и сиди у моря, жди погоды, покуда заметешь след. Какой ты теперь работник? Это — ума лишиться надо, чтобы сейчас посылать тебя на работу. Все равно, что требовать от волка во время облавы, чтобы он толковал зайцам «Хитрую механику».

— Пошлют — не заспорю. Сам ты любишь повторять: дисциплина — прежде всего.

Друзья примолкли. Издали доносились к ним троекратные свистки, и затем ответный гудок, пыхтение локомотива и гулкие, бренчащие столкновения буферов.

— Петруха наш посвистывает, — сказал Бурст. — Сцепка началась: надо думать, скоро придет по мою душу.

— Бурст, — послышался из темноты голос Бориса, непривычно дрожащий, тоскующий, почти полный плача.

— Что? — насторожился Федос навстречу этому странному звуку.

— Слушай, голубчик Бурст... Ты давно не видал нашу Соню, Бурст?

— Сестру твою? Софью Валерьяновну? Ден пять либо шесть... полной недели не будет.

— Как она показалась тебе, Бурст?

— Да — что же? — удивился Федос: настолько не в обычай было, что кто-то страстно спрашивает о Соне, кто-то беспокойно интересуется Сонею, кто-то тревожится и волнуется за Соню — хотя бы даже родной брат. — Да — что же? Обыкновенно: Соня как Соня. Что ей делается? Перемен никаких, разве что — толстеет... Чему еще быть от нее? Словно ты ее не знаешь.

— Не знаю, Бурст, — быстро отозвался скорбный голос из темноты. — И ты не знаешь. Никто не знает. Забросили мы нашу Соню. Не потрудились узнать. Я прозевал сестру мою, Федос. Хорошая была девушка. Не знаю, какая женщина из нее выйдет, но девушка была хорошая. Не должен я был, не должен — так оставлять ее — без призора, на произвол судьбы, на ветер, на погибель...

— Извини меня, Боря, но это у тебя — нервы. С чего ты расстонался? Уж о ком, о ком сокрушаться — только не о Софье Валерьяновне. Девица солидная, приватная, первый сорт — утешение человеков! На нее глядеть да радоваться, а не то что хныкать.

— Эх, Бурст!

Борис оборвался и замолчал.

— Бурст!

— Ну?

— Можешь ты увидеться с нею завтра?

— М-м-м... нет, брат. Суток трое мне тоже надо будет употребить на заметание следов. Арсеньевы мне сейчас — не с руки.

— Ты же говорил: за тобою не следят?

— Я не для себя, а для тебя. Поди, дача-то — на замечании, на всякий случай. Не потащить бы с нее хвоста за собою.

— Ну все равно когда... Но если ты увидишь Соню, постарайся, голубчик, поговорить с нею наедине.

— Гут. Поручение?

— Скажи ей от моего имени только вот эти слова: что я, мол, прошу ее помнить и знать, — что я вчера уронил с башни камень.

— Как?

— Борис, мол, приветствует вас, очень любит, жалеет и просит передать вам, чтобы вы не сомневались: это не кто другой — это он уронил камень в башне.

— А смею осведомиться: что сия темна вода во облацех должна обозначать?

— Она поймет.

— Семейная конспирация?

— Она поймет.

— Хорошо. Ваши секреты при вас и останутся. Вот удивительно: как-то не думал я, что между тобою и Сонею могут быть тайны.

— Бурст! Да сестра она мне или нет?

— Конечно, сестра, конечно, милый... но об этом, знаешь, правду сказать, как-то всегда забывалось...

— Я виноват, на моей душе этот грех.

— Ну где — грех? какой грех? в чем?.. Брось! Нервы... Стало быть, велишь сказать — как? повтори: Борис извиняется, что зашиб вас камнем?

— Не шути, Бурст! Ты не знаешь. Мне больно!

— Ну-ну! Ничего! Я ведь тоже люблю ее, младенца Божьего. Передам в точности. Не обижайся.

Молчал Борис. Ночь синела. Глухо рокотала жизнь станции. За насыпью трещали сверчки. Крупнели в небе, всплывая над черною линией леса, зеленые звезды.

— Бурст!

— Я, Боря.

— И еще скажи ты ей. Если вы думаете замуж идти...

— О? Разве? — изумился Бурст. — Шутишь: где ей — Недвиге-царевне? За кого?

— То Борис желает вам счастия, с кем бы вы его ни нашли. И еще извиняется пред вами Борис — горьким стыдом горит и извиняется, что был он для вас братом плохим, небрежным. А хорошим быть, — скажи, — было ему некогда, потому что живет он одною страстью и одним спехом — чужие крыши крыть. И — так-то — просмотрел он молодой ваш расцвет и позабыл про дикую арсеньевскую породу нашу. А спохватился он о вас, когда уже стало поздно: теперь Боря сам в себе не волен и почитай его отрезанным ломтем.

— Да что ты, Боря? — со страхом и неудовольствием остановил юношу Бурст. — Оробел, что ли? Впервые слышу тебя таким. Встряхнись. Поддержись. Завещание писать еще рано.

— Нет, Федос, не смущайся. Духом я бодр: весь — при мне. Ну а плоть немножко вступается за попранные права своего родства кровного, — оскорблена, немощна и... протестует... Горько мне, Бурст, что — вот ухожу я в пространство и, быть может, навсегда...

— Э! Выберемся.

— И, уходя, не знаю судьбы Сониной. Вступаться в молодую жизнь ее мы не вправе. Слишком мало мы заботились о Соне, чтобы брать на отчет ее чувства и желания. Кого она выберет, кому вручит жизнь свою, — это ее воля и дело. Да и не потерпит

она вмешательства. Арсеньева же она... моя сестра, Антонова сестра! Нашей крови выродок! Мы, Арсеньевы, если подошел наш стих, лучше лоб себе разобьем, колотясь о стену, и под стеною, как псы, подохнем, но отвести нас от удовольствия колотиться лбом в стену — чужою волею — нельзя. В свои сознательные решения мы вносим всю страсть каприза, а капризы наши упрямы и повелительно необходимы, как сознательные решения. Демон рода нашего, живущий в нас, не терпит соперников. Мы все — немножко одержимые, Бурст.

— На этот счет не смею спорить, — проворчал техник, — только — почему же «немножко»? Скажи: более или менее, — так будет вернее.

— И все-таки, Бурст, умоляю тебя. Если ты узнаешь, что Соне нехорошо, если она застонет к людям о несчастье, если ее жених, муж или любовник окажется негодяем, — не выдай, брат! заступись, голубчик, во имя мое!

— Можешь быть спокоен. На том стоим. Покуда я гуляю на свободе, Соня будет за мною — как за каменною стеною. Только — вот — на свободе-то долго ли осталось мне гулять?.. Слушай: если ты имеешь причины беспокоиться за Софью Валерьяновну, то я учрежу за нею надзор такой чуткой охраны, что позавидует любая владетельная принцесса.

— По какому праву? И — когда тебе? Ты весь — в деле.

— О праве ты решай и приказывай. А — что действительно тормошат меня жестоко и беспрестанно, так я, с твоего позволения, возьму себе помощника специально на этот предмет. Тихона прикомандирую. Человек верный, хороший, предан тебе, как легавый пес, домашние ваши обычаи и свычаи, ходы и выходы знает.

— Да, это — тоже друг... Ты кланяйся ему от меня, очень кланяйся, Федос, милый. Скажи, что я его помнить буду. Да чтобы учиться не бросал, на ноги становился, в люди выходил бы... И — Бурст, пора двигать его в дело. Приучай помаленьку, чтобы в настоящем деле был.

— И в дело двинем, когда понадобится, но покуда — быть ему телохранителем сказочной царевны. Умрет на пороге — только прикажи.

— Спасибо, Бурст... Верю я тебе, друг мой любимый. Дай руку... В конце концов, как странно это, Бурст! У меня друзья рассыпаны по всей России. За многих я — хоть сейчас — голову свою положить готов. Думаю, что найдутся и такие, которые по надобности согласились бы положить свои головы за меня. Но, кроме тебя, у меня нет никого, кому не стыдно довериться в кровном, семейном деле.

— Это, милый друг, потому, что парень ты больно широкий: любишь — в пространство, а не в гнездо.

— А когда из пространства оглянешься на гнездо, — поздно и жутко: гнезда уже нет... разрушилось! Гнезда любят, чтобы их оберегали, Бурст.

— А пространства требуют, чтобы их наполняли созиданием.

— Да, не раздвоишься. Надо выбирать что-нибудь одно.

— Я бобыль. Мой выбор был не труден.

— А мой — крепок. В поле встречаться — родней не считаться. Буре навстречу лететь — на гнездо не оглядываться!

ФЕТЮК

LIII

Тепло загостилось на этот раз в Москве надолго, и само не заметило, как из красного лета перешло в бабье лето. Шла поздняя светлая осень с прекрасными теплыми днями после седых инеев по утрам, с паутиною в сухом прозрачном воздухе, с яркими желтыми и красными деревьями в садах и парках, ожидающими, недоумевая, — отчего так долго, — первых дождей и снегов, чтобы облететь.

Володя Ратомский сдал свои отсроченные экзамены достаточно благополучно и кончил университетский курс. В России стало больше одним кандидатом прав по званию, не имеющим понятия ни о каких правах: ни чужих, ни собственных по существу. На службу Володя не поступил, в помощники присяжного поверенного не записался, а принялся писать роман, который, однако, шел лениво и вяло.

Если бы Агаша была щеголихою и прихотницею, она теперь могла бы осуществить все житейские идеалы такого рода особ — завести соболью ротонду и даже лошадей, баловаться чем угодно. Состояние Володи было в полном ее распоряжении. Но мечты Агаши имели более солидное направление. Она чувствовала, что в барыню ей поздно переделываться на двадцать девятом году: привлекательнее не станешь, а смешной, как ворона в павлиньих перьях, сделаться легко. Привыкнув к работе, Агаша немножко скучала, что в новом положении ей пришлось жить совсем без труда. Агаше хотелось какой-нибудь деятельности. И вот услыхала она, что в родном ее уезде продается помещичья усадебка. Это известие стало ей откровением, — ее потянуло к земле, в деревню. Она знала продажное имение и находила цену — двадцать тысяч рублей — недорогою, да, если бы дошло до покупки, собиралась еще выторговать тысячи три, если не все пять. Она не решалась превратиться в барыню в городе, в Москве, где у Володи, как бы он ни удалялся от общества, оставалось слишком много родных, старых друзей и знакомых, которые будут вечно проникать в ее жизнь своими враждебными презрительными глазами, смущая согласие, отравляя спокойствие и ее, и Володи. Но в деревне — дело другое. Там они будут вдвоем, на новом месте и, оторвавшись от прежней жизни, очутятся в совсем новом быту. Там они могут знаться только с теми, кого сами захотят выбрать; а найти себе компанию вровень Агаша надеялась смело. Землевладельческая среда нового времени — и в купечестве, и в мелком

дворянстве — полна женщинами такого пошиба, что баб опередили, к дамам не дошли. Да и вообще в деловой владелице, безвыездно сидящей на своей земле, раз не гнаться за светкостью и не задавать тонов, останется на первом плане хозяйка, а не барыня. Обдумав все это, Агаша решила, что Володя должен купить имение и что пора ему жениться на ней. И, как всегда, она начала строить свое дело так, чтобы ни к чему ей не принуждать и не насиловать Володю, но — чтобы всего, что ей хочется и надо, захотел и запросил, и заставил бы ее сделать сам Володя. В подготовке к тому и прошла у нее вся зима — тихая, узкая, мещанская зима, в течение которой поэт Владимир Ратомский, уже приветствованный критикою как восходящее светило русской лирики, выучился носить теплый бархатный халат и татарские туфли.

Володе никогда не приходилось ревновать Агашу. А между тем за нею в последнее время многие ухаживали. Спокойная безрабочая жизнь хорошо отозвалась на ней: она побелела в лице, руки стали мягкие и пухлые; грудь и плечи начинали угрожать даже чрезмерною полнотой. Мимо ее окон частенько мелькали интендантские франтоватые писарьки, щеголи-приказчики хозяев средней руки — все охотники взять невесту, хотя бы «из греха», зато с хорошим приданым. Но Агашу не удивляли претенденты и почище. Между ними неожиданно оказался даже такой в своем роде блистательный кавалер, как Виктор Владимирович Арагвин! Дела этого молодого человека обретались более чем не в авантаже. Из полка ему пришлось выйти уже года два назад — он уверял, будто по своей воле, служба надоела! — злые языки неумолимо повторяли, что — по настоянию товарищей, после грязной шулерской проделки, сопровождавшейся не только «рукоприкладством», но якобы даже и молотьбою по бренным телесам подсвечниками. Некоторое время Виктора из жалости питал Макс Квятковский, но — из квартиры стали пропадать вещи. Макс стерпел цепочку, стерпел часы, — но

когда за оными последовал и канул в неизвестность любимый портсигар, Квятковский расправился с «другом» не столь свирепо, сколь оригинально. А именно — повез Арагвина будто бы ужинать в Всесвятское, за девять верст от Москвы, на полдороге высадил его из саней под каким-то предлогом, и в тот же момент Матвей шевельнул своего рысака, сани исчезли в темной ночи, а покинутый поручик остался среди снегов под омраченным тучами небом. Освирепев, Арагвин набрался мужества и прислал к Квятковскому двух каких-то проходимцев с вызовом на дуэль. Макс вызов принял, — но в выборе оружие уперся... на серебряных портсигарах!

Проходимцы очень горячились, уверяя, что Квятковский издевается над ними и над священными обычаями дуэли, но Макс твердил непоколебимо:

— Я вызван, мое право выбрать оружие, — на серебряных портсигарах!

— Но кто же дерется, и как это дерутся на серебряных портсигарах? — возопили проходимцы.

— А вы спросите Арагвина, — хладнокровно возразил Макс, — он вам расскажет. Или обратитесь к моим секундантам. Люди опытные: один — судебный следователь, а другой — товарищ прокурора...

Секрета драться на серебряных портсигарах Арагвин проходимцам своим, однако, не открыл, а когда они сообщили ему о предполагаемых секундантах противника, воин ужасно поморщился...

— Вот скотина!.. Черт с ним, коли так... не стоит рук марать: никакой чести, и — трусишка!

С тех пор прекрасный молодой человек жил, в полном смысле слова, дарами Провидения и совсем опустился и запутался. Бильярд его больше не вывозил: в клубы ему вход был закрыт, мелкая трактирная работа не кормила, — слишком уже мастерски он владел кием, крупно с ним не играли.

В карты ему без вольтов не везло, а вольты делал он плохо и после двух-трех новых драм с шандалами решил с этим промыслом покончить. Семья не давала Виктору ни гроша и знать его не хотела. Да и — по смерти старого полковника — разбрелись Арагвины по лицу земли, кто куда горазд. Серафима украшала опереточные подмостки где-то в Белебее или Волковыйске. Юлия служила продавщицею в каком-то одесском или ростовском магазине белья, где не очень много шили и не в шитье была сила. А сама великолепная вдовица Аделаида Александровна, несмотря на свой почтенный возраст, успела еще прельстить своею пышною особою некоего закавказского человека с деньгами. Но этот последний с первого взгляда узнал в молодом Арагвине господина, обыгравшего его однажды в каком-то притоне наверняка, и возненавидел Виктора до кровоотмщения. Так что мать не смела уж и принимать Виктора под страхом лишиться своего довольно солидного иждивения. Местишка на прокорм грешных телес Виктор искал всюду — постучался даже в тайную полицию. Начальник ее, веселый кутила-парень, циник и остряк себе на уме, принял Виктора отменно любезно, но, поговорив с ним обстоятельно, отказал.

— Не годитесь.

— Вы, может быть, думаете, что я того... предрассудки какие-нибудь имею? — вопросил обескураженный воин. — Ну честь там... и прочие жантильности-миндальности? Так на этот счет — не беспокойтесь: я — человек такой — что прикажете, на все готовый... Мертвою хваткою и без рассуждения... долг! Да-с!..

— О, не сомневаюсь! — вежливо отвечал начальник.

— Тогда... почему же?

— Глупы вы очень, — вздохнул начальник с откровенностью.

Виктор был чрезвычайно поражен.

— А разве ум требуется?

— Требуется, — лаконически заключил начальник, изобразив на лице своем глубочайшее сожаление.

Однажды, не имея ни копейки в кармане и серьезно подумывая, уж не проситься ли ему хоть в урядники, Виктор встретил Володю Ратомского на улице, привязался к нему по старому знакомству и назвался обедать. Он внимательно осмотрел Агашу и сразу постиг ее значение в жизни богатого «карася». Обед понравился Арагвину: он стал навещать Ратомского чуть не каждый день, рассчитывая так, чтобы приходить раньше, чем сам хозяин вернется домой. Володя взял от нечего делать место секретаря в редакции еженедельного «Звонка», — и ему было занятно, — все-таки литературную роль играл и с писателями знакомился! — и издателю выгодно, так как он, лишь приличия ради, платил богатому секретарю-дилетанту какие-то гроши.

— Владимира Александровича нет дома! — каждый раз встречала Арагвина Агаша, на что Виктор неизменно отвечал:

— Э! право?.. Ну я его подожду... С вами посижу — поболтаю... Как ваше здоровье, красавица моя?

В дырявом уме неудавшегося воина зародился план влюбить в себя «деревенскую дуру», которая, по глупому счастью, вертит так и этак своим «карасем», и повыцарапать у нее все, что она, без сомнения, вытянула у простоватого любовника и держит припрятанным в своем большом сундуке. Он храбро уповал на свою неотразимость армейского Дон Жуана против неприхотливой русской Церлины. В самом деле, Агаша мало-помалу начала принимать его ухаживания довольно благосклонно. Виктор уже думал, что его дело в шляпе.

— Молодец ты, Агаша, а дурой себя ведешь, — убеждал он, — ну чего ты возишься с этим молокососом? Только что рожица смазливая, а то ведь фетюк, совершеннейший фетюк... Разве тебе такой мужчина нужен? Ты его старше, года через два он тебя бросит...

Агаша отшучивалась:

— Авось Бог милостив!

— Нет, уж, брат, бросит... Это ты будь спокойна!.. Женят его сестрицы, — с таким пером полетишь к облакам, что мое вам почтенье... Я его знаю. Он не то чтобы из постоянных... воск!.. ветер!.. Сестра Серафима — уж на что выжига, и влюблен он был в нее до страсти, — а увернулся же, в лучшем виде ее с носом оставил... Барышню! Полковничью дочь! Сестру мою!.. Так с тобою, крестьянкою, станет он долго церемониться?.. Эй, берегись! Не все красные дни, — думай о черном.

— Да уж думаю, думаю... У кого тысяча думушек, а у меня все одна дума!

— На твоем месте я бы счастья своего не прозевал.

— А что же бы вы сделали?

— Что? Цапнул бы у него, дурака, сколько десница осилит, да и — к черту его! К свиньям! Ты хорошего человека полюби, не мальчишку, чтобы настоящей мужчина был, тебе защитник.

— Уж не вас ли?

— А хоть бы и меня?! Что же? Ты мне нравишься, и я тебе человек подходящий. Уж я тебя устроил бы — не чета твоему Володьке. Срам сказать: живет с тобою чуть не открыто, как муж с женою, а — как была ты горничною, так в горничных тебя и оставил... Нет, — будь только деньги, а мы бы с тобою сейчас Москву по боку, и езжай — знаешь куда? На край света! В Владивосток!

— Что больно далеко? — смеялась Агаша.

— Ты не перебивай меня, а слушай! Махнем мы с тобою в Владивосток и откроем там кафешантан... знаешь, сад такой, где артистки поют и танцовщицы пляшут... ну и чтобы девочки... и кабинеты...

— Ой, что-й-то вы, Виктор Владимирович?! Грех!

— Ты меня слушай, Агафья! Ты меня слушай! Народ там — азиат либо моряк, со всех земных стран собравший-

ся, от скуки одурелый... До того тоскуют, что, ради развлеченья, соберутся, да друг в друга из револьверов палят. Либо — на пари спины пробуют: кто больше линьков выдержит... Этакой-то публике — кафешантан?! А?! Так в него и повалят!.. Денег-то, денег-то что можно собрать?! Господи Боже мой! А деньги там, Агашенька, не бумажки — одно золото!

— Что говорить! Оно только срамно как будто, а вся видимость, что ваш расчет правильный и дело выгодное.

— Так по рукам, что ли?

— Ну как не по рукам? — возражала Агаша, увертываясь от его объятий. — Ишь как вы прытко шагаете! А как завезете вы меня в Ладисток этот, разлюбите там и покинете? Что тогда?

— Вона куда хватила! Да хочешь — я с тобою хоть сейчас повенчаюсь?

— Ха-ха-ха! И шутник же вы — погляжу я на вас, Виктор Владимирович!

— Чего шутник? Я не шутник, я человек-правило. Дело говорю: пять тысяч на стол — и в церковь!

— А жен разве не бросают?

— А ты имей доверие: не брошу! Что ты из простых, а я благородный, — это наплевать... Я, брат, того: против денег я без предрассудков... Мне главное, чтобы женщина ко всякому делу была годна и деньгу понимала... К барышням-то модным я, чтобы всякие там фигли-мигли и с меня шкуру стригли, я — не очень... Зачем мне тебя бросать? Коль скоро ты окажешься женщина расторопная и к делу нужная, я тебя никогда не брошу.

— А если — все-таки бросите?

— Все же тебе выгода: благородною останешься.

— Что за честь, коли нечего есть!

— А ты по суду обеспечение требуй.

— Где мне, дуре, по судам ходить: я вон и читаю-то только по-крупному, а писать, окромя своего имени, ничего не умею.

«И того тебе, деревенской кобыле, много, ежели рассуждать по-настоящему!» — думал про себя Арагвин.

Володя все-таки доведался про свидания Агаши с Виктором, да она так к тому и вела дело, чтобы он доведался. Роль Яго сыграла маленькая Аниська, а Аниську научила предать ее и наябедничать сама же Агаша. Донос язвительно уколол Володю. Раньше Ратомскому никогда и в голову не приходила мысль, что Агаше может нравиться кто-либо, кроме него, что она может изменить ему. Старую любовь, которую он подозревал когда-то между Агашею и Тихоном Постелькиным, он теперь справедливо считал в давно прошедшем времени и зачеркивал для себя, как и всю былую жизнь Агаши — до него, Владимира Ратомского. Да и одно дело — ухаживанье какого-нибудь Тихона Постелькина, жалкого приказчика из суровской лавки, а совсем другое — амуры с Виктором Арагвиным: как он ни пал, а все же барин, бывший офицер... это уже соперник! И — как знать? Может быть, соперник опасный, соперник уже счастливый?

Володю сильно и больно обожгло ревностью. Он ничего не сказал Агаше, но стал следить за нею и, мучась новым для себя чувством, в одну неделю изводился так, что на нем лица не стало: похудел, позеленел, стал невыразимо раздражителен... Он уже и сам не знал, что в нем сильнее: потребность проверить твердо и определенно, далеко ли зашли отношения между Арагвиным и Агашею, или страх убедиться, что отношения эти действительно существуют. Он с ужасом экзаменовал себя в половой привычке, поработившей его этой женщине, и чувствовал, что привычка уже переродилась в силу и право собственности, и каждое чужое покушение на Агашу заставит его реветь, неистовствовать, драться, растерзает его сердце, исказит его характер, перевернет вверх дном обезумевшую волю и направит жизнь — он даже сам отказывался представить себе, боялся вообразить, — куда... Он вдруг инстинктом понял всю тайну любви как чувства половой собственности и тайну ревности как страха за собственность и впился в инстинкт этот

всем существом своим. Ходил, как придавленный внезапно рухнувшею лавиною, и весь — каждым движением мысли, каждым куском тела — чувствовал, «что лучше родиться жабой и пресмыкаться в сырости темниц, чем из того, что любишь, отдавать другому хоть малейшую частицу». Злая мечта, сходный, дразнящий самонамек, еще даже не подозрение, но одно лишь воображение подозрения, что Агаша может физически принадлежать другому мужчине, приводило Ратомского в бессонные экстазы бешенства, которых бессмыслицу он хорошо понимал, которых стыдился и старался их скрывать, но не умел ни справиться с ними, ни спрятать свои от них мучения... Агаше только того и надо было. Она показала Володе, что уж не такая она неотъемлемая его собственность, как он привык думать, что есть люди из его же общества, которые не прочь отбить ее у него; она вы-учила Володю бояться за нее, как за вещь в спросе, — и пожалела мучить молодого человека долее.

Однажды она прекрасно видела из окна своей угловой комнаты, как Володя, отправившись будто бы в редакцию, на самом деле засел в угловой лавочке — пьет сельтерскую воду и из-за листа газеты, дрожащего в его руках, наблюдает за крыльцом своей квартиры.

Наконец явился и позвонил у подъезда Арагвин. Володя бросился бегом домой и, — впущенный подкупленною Аниською, — прокравшись на цыпочках по черному ходу, — выслушал из передней весь разговор Агаши с новым поклонником. Агаша говорила громко, ясно, как женщина, которой нечего скрываться, и каждое слово ее было целебным бальзамом для сердца Ратомского. Она совсем оплевала Арагвина, — по пальцам разобрала его мошеннические планы и подлое отношение к Володе, который по напрасной доброте своей его кормит и поит; нежно и с искренним чувством распространялась о своей привязанности к Володе и наконец без церемонии принялась гнать Виктора вон...

— Нечего, не за чем вам к нам шляться... Поворот от ворот!.. Вот Бог — вот и порог...

— Молчать! Я тебе морду побью! — неистовствовал воин.

Агаша храбро отвечала:

— Это еще посмотрим, кто кого! Сунься: я, брат, четыре пуда-то — одною ручкою... Проваливай-ка, проваливай, покуда я за кочергу не взялась...

— Мужичка!.. Хамка!.. Дрянь!..

— А ты часы украл! Портсигар украл! Сестры у тебя в девки ушли! В карты плутуешь! Подсвечником бит!

Володя едва-едва успел отскочить от двери, чтобы не столкнуться с Арагвиным, и, сбежав по черной лестнице мимо хихикающей Аниськи — своей соучастницы в этом заговоре на любовное шпионство, — имел удовольствие видеть со двора, из ворот, как провалившийся Дон Жуан промчался по тротуару волчьею рысью, красный, с свирепым лицом... Тогда Володя — спокойный, торжествующий, — обогнул, приличия ради, несколько кварталов и позвонил у своей квартиры уже с улицы, как будто только что вернулся. Но ликующие глаза его, конечно, выдали Агаше всю правду.

Вечером Агаша попросила Володю не принимать Арагвина.

— Что это за безобразие? Шляется каждый день, опивает, объедает, а — вместо спасибо за добро — озорничает.

Ревность, раз побывав в сердце человека, не забывает дверцы, куда она вошла. Володя начал наблюдать за Агашей, и много досады почерпал он в наблюдениях. Он подметил шмыгающих под ее окнами «молодцов» — и, хотя знал, что Агаша не обращает на них внимания, однако уже не мог остаться равнодушным к этому ухаживанию. Его бесил фамильярный тон, каким говорили с Агашей люди ее среды. А Агаша с наступлением весны, как нарочно, взяла привычку каждый вечер сидеть в сумерках у ворот с соседскими горничными. Володя из окон своего кабинета с раздражением видел, как она, выдаваясь среди подруг и своим монументальным сложением, и франтовским туалетом, кокетничала перед

кавалерами в «спинжаках» с господского плеча. От ворот раздавались взрывы смеха, вольные шуточки, женские взвизгивания, — и Володя со злостью узнавал Агашин голос. Он сделал Агаше сцену.

— Что же мне делать? — оправдывалась Агаша, — чем я виновата, если ко мне пристают? Ведь это уж так водится: играют не для чего дурного, а так, — шутки ради!

— Да не хочу я таких шуток! Как они смеют так шутить с тобою?

— Почему же не сметь-то? Чай, я не барыня...

— Так и знай, Агаша: если я еще раз увижу, худо будет... я не вытерплю...

— То-то славно придумал! Страму-то, смеху-то наберемся! Что я тебе, законная жена, что ли?

Таким образом, Володя ежедневно глотал, как горькое лекарство, одни и те же разговоры, с постоянным логическим выводом в заключение: ежели ты желаешь иметь Агашу своей исключительной собственностью, — сделай ее своею женой. И горькое лекарство подействовало.

— Май месяц на дворе... люди дачи нанимают, — заговорила как-то Агаша, — поедем, что ли, куда или на лето в Москве останемся?

— А ты как думаешь? — получила она обыкновенный ответ.

Она стала говорить против дачи и незаметно перешла к вопросу о покупке усадьбы, горячо защищая выгоды деревенской жизни, выхваляя местность, почву, воздух...

— Что ж? Съездим — посмотрим... я, пожалуй, не прочь купить! — против ожидания, быстро согласился Ратомский.

— Ой ли? — радостно воскликнула Агаша, — да ты у меня как есть умница!

— И... — продолжал Володя, сильно задрожавшим голосом, — это будет тебе свадебным подарком... Я думаю, что нам надо повенчаться...

ЛИКВИДАЦИЯ

LIV

Paris
Grand Hôtel Terminus
1888. Août 31 (19)

Мой любезнейший, почтеннейший и приятнейший сын
Антон Валерьянович,

Спешу известить тебя о новой нашей семейной радости, которая несомненно развеселит тебя до глубины души и подарит тебя восторгами не менее, чем меня, счастливого отца, не устающего восхищаться житейскими преуспеяниями умных детей своих. Сегодня я имел удовольствие получить от сестры твоей, а моей дочери, Софьи, нижеследующее оповещение, которое пересылаю тебе, чтобы ты мог насладиться им во всей первобытной прелести его идей, слога и орфографии.

Милый папа,

Пожалуста простите меня если можете я больше не могу так жить как жила очинь скушно горько мне что принуждена с вами растаться но ухожу с человеком которого люблю и сегодня вечером наша свадьба. Ежели вы за то не станете на меня сердится и захочете меня видеть то я даю вам свой новый адрес Тверской губернии в городе Бежецке Мануфактурная и галантерейная торговля Тихона Гордеича Постелькина который есть мой муж а мы будем вашим извещением так счастливы и станем молить за вас всемогущего Бога чтобы Он послал вам много удовольствия и лет жизни, а также и брату Антону Валерьяновичу и брату Борису. Проливая слезы, что должна причинить вам горе тем не менее не могу. Простите и извините меня бедную а я всегда буду любящая дочь ваша.

Софья

Когда-то по вопросу о замужестве Софьи я имел неосторожность обратиться к тебе за советом. Ты великодушно рекомендовал мне прочитать Мопассана, чему я и последовал с благодарностью. Будь любезен, не откажи посоветовать мне и в данном случае: не поможет ли мне твой Мопассан ориентироваться в нашей новой семейной группе. Своего слабого умишки, омраченного страстью и чрезмерным изобилием радостей жизни мне на этот раз решительно недостает. Руководством обяжешь меня до гроба, который, впрочем, вижу пред собою невдале-

ке, так что извини, если признательность будет не особенно продожительною.

Твой почтительный отец
Валерьян Арсеньев

P.S. В Moulin Rouge появились тунисские танцовщицы Бен-Байя, из коих одна, по имени Додо, исполняет danse du ventre * с таким же совершенством, как ты пьешь коньяк, а я говорил в суде свои заключения, но с большею пользою для себя и для человечества. Как ты думаешь: не предложить ли мне этой достойной деятельнице руку и сердце? Для обновления пятисотлетнего рода нашего свежею кровью, о чем так систематически заботитесь вы, мои милые дети, партия блистательная, ибо — ни развратные дуры вроде госпожи Балабоневской, ни даже хамы вроде господина Тихона Постелькина, все же не могут исправить нашу родословную столь радикально, как природная арапка. Желаю побить рекорд! И если вы, мои кроткие и благовоспитанные дети, обратили жизнь мою в ад, то я женюсь на черте и заставлю вас уважать его как мачеху.

Ялта
Вила Фериакис. 1888. Августа 23

Милый папаша,

С удовольствием исполняю вашу просьбу. Мопассан вам не поможет, но, обратившись к Вольтеру, найдете утешение в аксиоме «Вавилонской принцессы»: «Если девушек не выдают замуж, они выходят сами».

Ваш сын
Антон Арсеньев

P.S. Что касается женитьбы на черте, то уверены ли вы, что это в нашей фамилии так ново?

Телеграмма

Routintzeff. Paris. Hôtel Bristol

BUD LUBEZEN POSETI MOEGO OTSA V HOTEL TERMINUS OUVEDOMI OTCROVENNO O SOSTOJANII SDOROVIA OTVET YTALIA VILLA FERIAKIS *.

Antoine Arsenieff

---

* Танец живота (*фр.*).

Paris
Hôtel Bristol. 1888.
Septembre 6 (августа 25)

Любезный друг, Антон Валерианович,

Исполняя просьбу, выраженную в твоей телеграмме, немедленно навестил твоего родителя, которого вообще видаю весьма часто, — обедал с ним, и потом очень мило провели совместно вечер. Я нашел его совершенно здоровым, хотя, между нами будь сказано, для своих лет старик немножко слишком резвится. Я и не воображал, что он у вас такой шалун! В Москве мы, молодежь, все его побаивались. Окружен он обществом довольно странным по его годам и положению, что я ему с осторожностью позволил себе заметить. Он же с большою язвительностью возразил мне, что, прожив шестьдесят лет по методу исполнения своего долга и всяческого раскаяния в случайных прегрешениях, желает испробовать, как это люди живут без всякого чувства долга и без малейших раскаяний. В семейные дела вмешиваться я избегаю принципиально, а потому не буду передавать всего, что Валерьян Никитич говорил по адресу вас троих, своих детей, — скажу лишь, что старик озлоблен ужасно. Уверяет, будто никогда не возвратится в Россию.

«Помилуйте, — говорит, — что мне там делать? Смотреть, как будут вешать Бориса? Крестить будущих мещан Постелькиных?!»

О тебе же прибавил несколько слов, столь выразительных, что при всем желании угодить тебе откровенностью от передачи их отказываюсь.

Денег у него с собою очень много. Показывает он их всюду с такою помпою, что оно не совсем ловко и даже неосторожно. Я ему заметил, что его, таким образом, когда-нибудь превосходнейше оберут.

«Очень хорошо, — отвечал он, — тогда я сделаюсь тряпичником». — «Но вас, — говорю, — в какой-нибудь трущобе и придушить могут. Парижский сутенер не церемонится убить за два золотых, а вы сверкаете тысячефранковыми билетами».

Смеется, что надо испытать все парижские удовольствия, включительно до погребения у Père Lachaise.

Наши русские дамы, здесь находящиеся, в том числе Ольга Александровна Каролеева, в восторге от Валерьяна Никитича в новой его метаморфозе, и в один голос говорят, что просто не знали в Москве этого милейшего и любезнейшего старичка. Самый светский человек в здешней русской колонии! Обожаем всеми — от лакеев в «Chat Noir»** до дьячка русской церкви.

---

* БУДЬ ЛЮБЕЗЕН ПОСЕТИ МОЕГО ОТЦА В ОТЕЛЕ ТЕРМИНОС УВЕДОМИ ОТКРОВЕННО О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ОТВЕТ ИТАЛИЯ ВИЛЛА ФЕРИАКИС

** «Черный кот» (*фр.*).

Если хочешь знать мое искреннее мнение — просто по личному убеждению, без всяких доказательных фактов, — ибо предосудительных безумств Валерьян Никитич покуда никаких не совершает, но только чувствуется вокруг него какая-то странная атмосфера безумства, — он очень непрочен. Кому-либо из вас, Арсеньевых, следовало бы приехать понаблюсти за ним.

Как твое здоровье? Слышал, что лучше, и много радовался. Все парижские друзья и знакомые шлют тебе свои приветы. Съезд в этом сезоне чрезвычайно большой. В «Café de la Paix» * часто чувствуешь себя, как на Невском в солнечный день или на Тверском бульваре: столько знакомых русских лиц. Раскачайся-ка, брат, из своей Ялты да махни к нам. То-то обрадуешь.

Всегда твой
Илиодор Рутинцев

Ялта
7 сентября 1888 г.

Милостивый государь Илиодор Алексевич!

Извините за беспокойство, что, будучи незнакома, решаюсь тревожить вас этим письмом, притом по делу, вероятно, вас малокасающемуся. Но мне больше не к кому обратиться, так как никого из родных, друзей и знакомых бывшего жильца моего, Антона Валерьяновича Арсеньева, я не знаю, а по исчезновении его из моего дома нашла на его письменном столе ваше письмо, которое, извините, прочитала, и вижу, что вы с ним в хороших отношениях, так что можно к вам обратиться. Антон Валерьянович снял у меня квартиру еще в марте, когда только что приехал из Москвы. Летом он уезжал в горы, но уже 15 августа возвратился и занял свое помещение снова, чему я была очень рада, так как всегда скажу: давай Бог всякой хозяйке такого аккуратного и спокойного жильца, как был Антон Валерьянович, покуда не стряслась эта история, которая теперь интересует весь город, а меня заставляет дрожать. Прибыл из гор Антон Валерьянович заметно поправившись здоровьем, но очень скучный, мрачный и даже, мне показалось, чем-то как бы напуганный. Со всеми нами, домашними моей фамилии, встретился так сухо, что мне было даже несколько обидно, потому что мы все его ужасно как уважали. Но, конечно, жилец не родня, не брат, не сват, и насильно мил не будешь. В день своего приезда он выказал первую странность, которая нас смутила. По случаю Успенья, все мы, своею фамилией, были в праздничных туалетах. Внезапно Антон Валерьянович призывает меня к себе и заявляет требование, чтобы сестра моя, Ольга Федоровна, немедленно переменила платье, так как он этого цвета не может видеть без отвращения и, если мы не согласны, то ему остается одно — немедленно уйти

* «Кафе борцов за мир» (*фр.*).

на другую квартиру. Приказ Антона Валерьяновича был мне очень неприятен и даже оскорбителен, тем более что сестра моя, Ольга Федоровна — девица пожилых лет, средства имеет недостаточные, живет пенсией по заслугам нашего покойного родителя, контр-адмирала Копыто, и платье, которое возненавидел Антон Валерьянович за его цвет зрелого апельсина, у Оли единственное на праздники. Но не терять же такого выгодного жильца из-за пустяков, и я упросила Ольгу переодеться, что она исполнила, хотя и с горькими слезами. В другое время я, может быть, и не уступила бы так легко и поспорила бы с Антоном Валерьяновичем, но, знаете ли, сейчас в Ялте совсем нет съезда, и притом я видела, что каприз его неспроста: у него даже голос дрожал и на руках выступила гусиная кожа. Что же, бывают органические странности не только у больных, как Антон Валерьянович, но и у здоровых. Я сама совсем расстраиваюсь в своих нервах, если увижу летучую мышь, а сестра моя прячет голову под подушку, когда слышит, что точильщик пришел точить ножи. К вечеру и сам Антон Валерьянович явился к Ольге извиниться за свою нелюбезность и даже поднес ей за свою вину огромную коробку конфет, которые мы до сих пор еще не все съели, хотя уже черствые, особенно тянушки.

По приезде своем Антон Валерьянович засел почти безвыходно дома, все что-то писал и уничтожал, писал и сейчас же уничтожал, спать не ложился до утра; как ни проснешься ночью, все у него в окне горит лампа. К вечеру он становился какой-то беспокойный. Однажды, числа, должно быть, двадцать пятого, вхожу я к нему, именно лампу несу, а он лежит на тахте, скрючился комочком, весь трясется, даже зубами щелкает. Обрадовался мне ужасно, а глаза дикие-предикие, так что мне жутко от них стало, потому что я вдруг поняла, что он совсем больной и боится умереть, и тоже испугалась, что он умрет, потому что для хозяйки, которая в Ялте занимается квартирами, больше этой неприятности и убытка быть не может, как если у нее в квартире умрет квартирант. Но он сейчас же развеселился и начал шутить и острить, так что совсем меня успокоил, хотя сам оставался несколько тревожен и все косился в один угол, словно там что-нибудь его пугало.

Затем, суток через трое, приходит ко мне моя прислуга, Мавра, и говорит, что:

— Воля ваша, барыня, а с жильцом у нас неладно: ему чудится.

Я спрашиваю глупую бабу:

— Какое невежество ты говоришь? что может ему чудиться? он такой любезный и образованный!

Она мне отвечает:

— Я не знаю этого, что ему чудится, но только что он очень боится.

И рассказывает, что застала его — совсем как я: лежит на тахте, трясется, зубами стучит и смотрит в одну точку. Говорит Мавре:

— Послушайте, девица, взгляните вон туда в угол? Вы ничего не видите?..

Мавра смотрит:

— Стул, — говорит, — вижу, книги лежат, ковер, обои...

— А не видите вы, — говорит, — большого желтого пятна? Оно — как туман...

Мавра говорит:

— Нет, барин, никакого пятна я не вижу...

— Да вы присмотритесь... Оно — как туман...

— Нет, — говорит Мавра, — это у вас в глазах пестрит: никакого нет пятна, барин...

Обрадовался.

— Вы, — спрашивает, — уверены? Честное ваше слово?

— Да — что же мне врать? — говорит Мавра. — Честное слово, барин...

Тут он сейчас достает из портмоне синенькую бумажку — пять рублей — и сует ей в руку, но просит, чтобы об этом их разговоре она никому не говорила. А она, как простая баба, не вытерпела и все мне разболтала.

Я должна вам откровенно сказать, очень обеспокоилась, потому что, будучи домовладелицей, конечно, неприятно, чтобы спиритические случаи или квартирант сошел с ума, тем более перед сезоном, — тут репутацию квартиры надо беречь в оба глаза, ведь это наш насущный хлеб. Отправляюсь к Антону Валерьяновичу и осторожно навожу его на разговор, что, мол, вы своим здоровьем небрежете, и не посоветоваться ли вам с хорошим врачом. Он посмотрел на меня внимательно и спрашивает:

— А разве я уже очень глуплю?

Я сконфузилась таким его вопросом и отвечаю ему:

— Нет, помилуйте, Антон Валерьянович, что вы? Вы даже нисколько не глупите, и такой же прекраснейший господин, как всегда... я только так, вас жалея... и потому что вижу, что вы очень встревожены и как-то не в себе...

Он мне отвечает на это:

— Очень вам благодарен за участие. Вы правы. Я чувствую себя нехорошо. Но врач мне совершенно бесполезен. Во-первых, я знаю, что со мною делается, лучше всякого врача. А во-вторых, все мое расстройство потому, что у меня большие неприятности в семействе.

И рассказывает мне, между прочим, что брат его сидит в Петропавловской крепости и должен навеки погибнуть, а сестра огорчила фамилию, выйдя замуж за ничтожного человека.

— Да, — говорю я ему, — конечно, все это ужасные удары судьбы.

А он вдруг в ответ мне смеется:

— В особенности — для меня! В особенности — для меня!

Этого я не поняла, но сказала ему:

— Все-таки, если вы в таком расстройстве, посоветуйтесь с врачом, чтобы не так отзывалось на нервах.

Он мне возражает на это:

— Милая Анна Федоровна, что нового может сказать врач человеку, который читал столько, как я? Он может предложить мне сесть в дом

умалишенных — и только. А я совсем туда не хочу, да и нет надобности... Я лучше всех врачей в мире понимаю, что у меня развивается...

И тут назвал свою болезнь по-латыни, — уж извините, не запомнила, как она называется.

— Я, — говорит, — думал от нее убежать, а она — нет! и здесь меня догнала... но я за собою слежу строго! Вы не бойтесь, — держу себя в руках: ничего не бойтесь!

— Я и не боюсь ничего, Антон Валерьянович, — возражаю я ему, — чего мне бояться? Мне только прискорбно, что вы, живя у меня, так нехорошо себя чувствуете и не хотите призвать к себе медицинскую помощь...

Он мне опять показывает на книги, которые он читал. Меня даже зло взяло.

— Ах, — говорю, — может быть, и болезнь-то вся ваша оттого, что вы читаете ваши ужасные книги.

Он — как расхохочется... меня даже мороз по коже подрал! — точно черт, простите за выражение.

— Очень, — говорит, — может быть! Очень может быть!

На том мы с ним и расстались. А ночью с третьего на четвертое сентября Ольга, сестра — мы спим в мезонине в одной комнате, а покои Антона Валерьяновича внизу, под нами — будит меня и говорит:

— Нюта! ты слышишь? Что это у Арсеньева происходит?

Прислушалась: глухие щелчки какие-то, словно чабан плетью щелкает... Раз... два... три... и затихло. Сестра говорит: покуда я тебя не разбудила, тоже три раза щелкнуло... Я сейчас набрасываю на себя капот, спускаюсь вниз и слышу ужаснейший запах: дым какой-то... а из-под дверей кабинета Антона Валерьяновича — в щели — вижу яркий свет. Стучусь.

— Антон Валерьянович!:

Отзывается злобным звериным голосом.

— Кто там шляется? Что вам нужно?

Я, естественно, очень обиделась и говорю ему через дверь со всем достоинством:

— Позвольте вам заметить, Антон Валерьянович, что я совсем не шляюсь и ничего мне от вас не нужно, но как хозяйка дома должна я удостовериться, по какому случаю происходит в моем помещении достаточно странный шум.

Он отвечает уже много мягче:

— А это у меня с полки книги попадали... большие фолианты... извините, — оттого...

— Очень хорошо, — говорю я, — вы меня извините, что обеспокоила... Но отчего такой несносный дым?

— И за это, — просит, — простите: я пересматриваю и жгу свою переписку и лишний мусор из письменного стола и нечаянно бросил в камин пакетик с какими-то порошками, а они и напустили душину на целый дом...

Но назавтра, когда Антона Валерьяновича не было дома, Мавра зовет меня в его кабинет:

— Барыня, подите-ка сюда, я вам что-то покажу...

Смотрю, — и что же? Весь этот угол, в который он все косился-то, когда ему чудилось, весь издырявлен: шесть дырок, и обои кругом закопчены... И на столе револьвер лежит. Я к этим оружиям страх питаю и издали смотреть на них боюсь. А сестра Ольга Федоровна смелая. И вот она берет этот самый револьвер, осматривает его и говорит, что в барабане шесть расстрелянных патронов, и не иначе, что это наш Антон Валерьянович изволил забавляться ночью... А тут он и сам входит, увидал нас, сразу все понял и извиняется:

— Да, — говорит, — должен вам признаться, милые хозяюшки, не хотел вас пугать, когда вы пришли ночью спрашивать меня насчет дыма, но, действительно, вышел было грех: уронил я, раздеваясь, из кармана револьвер, а он вдруг и выстрели... Вот сюда пуля угодила...

Показывает пальцем одну дырку в обоях.

— Хорошо, — спрашиваем, — это одна дырка... Но откуда же остальные пять?

— А я, — говорит, — очень испугался и рассердился, что оружие в неисправности, и потом его попробовал, как оно работает... Нет, ничего, — хороший инструмент: это только случай был, что оно само выстрелило...

Прошу его:

— Батюшка вы мой, Антон Валерьянович, вы уж будьте такой милостивый — удержитесь наперед от подобных опытов... Мы женщины слабые, робкие... больше по ночам не палите...

Он улыбнулся криво этак и двусмысленно и возражает:

— Кроме как для самозащиты, более не подниму меча моего! Буду так тих и смирен, что вы меня и не услышите. А револьвер, если вам угодно, можете даже унести с собою и запереть его в вашем комоде или выбросить на улицу... Он мне не нужен.

Тем же вечером вдруг стучится и приносит мне 1800 рублей.

— Получите квартирную плату за полгода вперед и дайте мне расписку.

— Что вам вздумалось?

— Так, чтобы лишних денег у себя не держать. Скучно. Да и в экскурсии всякие уезжаю я часто, — так, чтобы у вас сомнений не было: вдруг жилец сбежал и деньги за ним пропали! Теперь в сезон вступаем, пора для вас самая хабарная... зачем мне вас в сомнения вводить? Еще пождете-пождете да и отдадите квартиру другому... А я не желаю, у меня секреты есть...

Смеется, веселый. Ну, — сами посудите, — уж чего же это лучше, если жилец за полгода вперед полностью платит? И получила я с него деньги, и выдала расписку, а он после того — этою же самою ночью — пропал!

Как исчез, куда, когда и зачем, сперва никто догадаться не мог. Прислал мне из Севастополя телеграмму, что квартиру я могу, если угодно, сдавать, и он не

вернется. А как я могу сдавать, если комнаты полны его вещами?! Да и получивши за полгода? Я имею совесть, и разве можно так, если в своем уме?!

В ночь, как ему исчезнуть, Мавра слышала, что он не то стонал, не то плакал — все выкрикивал... А ушел через окно и террасу, — хорошо еще, что воров каких-нибудь не впустил! На всякий случай я заявила в полицию, но там смеются, говорят:

— Не понимаем, чего беспокоитесь? мало ли шальных бар, которые с жиру бесятся? Поехал в Россию порезвиться, — только и всего. Вам-то что? За квартиру заплачено, все в порядке, сидите себе тихо, ваша хата с краю — ничего не знаю...

Оно, разумеется, так, но — если я имею неспокойную совесть, которая истекает из моего благородного происхождения и образования? Татарина-троечника, который отвез Антона Валерьяновича в Севастополь, полиция нашла и допросила. Говорит, что барин был совсем в порядке, трезвый, веселый, все с ним шутил по дороге, только очень торопился, чтобы не опоздать к курьерскому поезду на Петербург...

Пожалуйста, глубокоуважаемый Илиодор Алексевич, не откажите, если вы в состоянии, вывести меня из недоумений, в которые поверг меня ваш приятель: где он, что с ним и будет ли назад? Вероятно, вам знакомы его родственники и другие близкие люди. Сообщите им, пожалуйста, все, что я вам пишу: может быть, они знают причины такого странного его поведения, что если бы он не был очень вежлив и умен, то можно бы принять его за сумасшедшего, и возьмут меры, чтобы не случилось чего-нибудь такого, что все будут потом раскаиваться.

Не могу умолчать, что в числе бумаг на письменном столе Антона Валерьяновича, между которыми я нашла письмо ваше, оказалась большая фотографическая карточка очень красивой молодой дамы, но лицо ее перечеркнуто чернилами крест на крест и вдоль всей фигуры написано почерком Антона Валерьяновича: «Бессильна». Одна из подруг моих говорит, что видала эту даму в Петербурге, и она есть некая Евлалия Александровна Брагина, жена очень известного литератора. Быть может, надо подозревать тут любовный роман?

Все вещи и книжные шкафы Антона Вальерьяновича я, пригласив свидетелей, опечатала. На столе же, кроме бумаг, связанных бечевкою и опечатанных отдельно, оказались еще нижеследующие книги, которых название вписывает по моей просьбе сестра Ольга Федоровна, которая воспитывалась в Новороссийском институте, так как я иностранными языками не владею.

Professeur Tarnowsky. L'Instinct sexuel, ses manifestations morbides au point de vue la jurisprudence et de la psychiatrie. *Lombroso*. Genio e Degenerazione. *Baudelaire*. Fleurs du mal. *Ge orge Arcibald Bishop*. White Stains. *Krafft-Ebing*. Psychopathia Sexualis. *Moreau du Tours*. Folie Névropathique. *Max Simon*. Crimes et Délits de Folie. *Tardieu*. Etude médico-légale sur les

attentats aux moeurs. *Lacassagne*. Cours de Médecine légale de la faculté de Lyon. *Chevalier*. Anthropologie criminelle *.

Что мне делать с этими книгами, я решительно не знаю, — тем более что сестра советует мне сбыть их с рук как можно скорее, так как находит, что содержание их слишком неприлично, чтобы держать их в доме двух одиноких женщин, как мы. Но я не смею ни спрятать их, ни уничтожить, так как опасаюсь, что их может спросить сам Антон Валерьянович или его родные. Если вы можете, будьте так добры — не откажите сообщить, куда бы я могла переслать все это имущество, крайне для меня стеснительное и беспокойное.

Еще раз чувствительно извиняюсь за смелость обращения к вам и остаюсь всегда готовая к услугам вашим

Анна Фериакис, урожденная Копыто,
вдова капитана 2-го ранга. Ялта. Собственный дом

Moscow. Yunker & C-ie Banker
1888. Septembre 19(7)

At sight, please to pay this first bill of exchange to Mr. James Bertzoff the sum of 36 000 francs (thirty six thousand francs) for value received, and place the same of the account as per advice from.

To Mr. Bearing Esqr., Banker, London **

* * *

Москва. Гостиница Дрезден
1888. Сентября 9

Многоуважаемый Берцов,

При сем посылаю переводом на ваше имя через контору Юнкера в франках тринадцать тысяч шестьсот рублей в ваше распоряжение. Эти деньги,

---

* *Профессор Тарновский.* Сексуальный инстинкт, его извращенные проявления с течки зрения юриспруденции и психиатрии (*фр.*). *Ломброзо.* Гений и безумство (*ит.*). *Бодлер.* Цветы зла (*фр.*). *Джорж Арчибальд Бишоп.* Белые пятна (*англ.*). *Крафт-Эбинг.* Психопатия сексуальности (*лат.*). *Моро дю Тур.* Сексуальный психоз (*фр.*). *Макс Симон.* Преступления и правонарушения безумия (*фр.*). *Тардье.* Судебно-медицинские исследования преступлений против нравственности (*фр.*). *Лакассань.* Курс судебной медицины Лионского факультета (*фр.*). *Шевалье.* Криминальная антропология (*фр.*).

** *Москва. Юнкер и Компания Банк. 1888. Сентябрь 19(7).* Сразу же, пожалуйста, оплатите вексель мистера Джеймса Берцова на сумму 36 000 франков (тридцать шесть тысяч франков) по истинной стоимости и заместите то же самое счетом согласно уведомлению. *Мистеру Бейрингу эсквайру, банкиру, Лондон* (*англ.*).

последние, которые я имею наличными, я намеревался передать перед смертью моею на те же цели моему брату Борису. Но так как между нами лежат теперь весьма толстые преграды Петропавловской крепости, то позвольте уж вручить их прямо вам. Крайне сожалею, что расстроенное здоровье не дает мне времени реализировать остальное мое состояние в денежные суммы, равно как лишает меня возможности оставить завещание: при обстоятельствах, для меня наступающих, оно окажется недействительным и бесполезным. Желаю вам долгой жизни и твердого успеха. Если когда-нибудь свидетесь с Борисом, передайте ему мой сердечный привет: мы не увидимся.

Антон Арсеньев

СОЛНЦЕ ЗАХОДИТ

LV

На двенадцатое сентября Нимфодора Артемьевна Балабоневская назначила свой переезд с дачи в город, а в двадцатых числах должна была состояться ее свадьба. Аня и Зоя — обе — то и дело летали в Москву по предсвадебным хлопотам, потому что сама Балабоневская относилась к предстоящей перемене в судьбе своей с таким тупым и бездеятельным равнодушием, что Зоя возмущалась:

— Словно ты, мама, крепостная девка, которую насильно ведут под венец!

Нимфодора Артемьевна жалостно улыбалась, но в кротких глазах ее светилась искра, горько говорившая: «А разве оно не так?»

Мало она походила на невесту. Разлука с Антоном обошлась ей недешево. Вся ее былая моложавость исчезла, и, — как всегда бывает с женщинами, свежими на вид, но уже не первой молодости, — стоило ей похудеть, чтобы обрюзгнуть: повисла кожа на щеках и шее, сложились морщинки на лбу и вокруг глаз... Бывали теперь моменты, когда, грустная и угнетенная, она казалась даже старше своих лет.

Одиннадцатого, в канун переездки, Балабоневская осталась на своей даче в Петровском-Разумовском одна. Было под вечер. Грустное, бледное солнце играло тусклым золотом на вершинах облетающих берез. День еще дышал теплом. Нимфодора Артемьевна в длинном сборчатом ситцевом капоте спустилась с террасы в увядающий, уже побитый утренниками цветник и принялась срезать последние астры на истощенных, полумертвых клумбах. Сквозь решетку сада на бледной, тусклой зелени матовых клумб она виднелась далеко с белого битого шоссе огромным, ярким, красно-желтым пятном; и давно уже наблюдал ее приближающийся со стороны Москвы высокий, худой пешеход в длинном и узком черном пальто, покрытый английским, но смятым, цилиндром. Когда он приблизился к решетке, Балабоневская рылась в земле, стоя на коленях и спиною к нему. Пешеход долго и безмолвно смотрел на ее белый затылок, странно улыбаясь блестящими черными глазами и дергая себя за усы. Потом он движением своего человека просунул сквозь решетку тощую и тонкую руку, отодвинул щеколду калитки, вошел и позвал:

— Нимфодора Артемьевна!

Звук этого голоса — надорванный и хриплый — показался ей громом, который упал с неба и наполнил все между облаками и землею. Она хотела откинуться назад, хотела повернуться, хотела вскочить на ноги и, потеряв равновесие, опрокинулась на локти и лежала на мягкой земле в неловкой и некрасивой позе с выпавшими из-под юбки толстыми икрами в пестрых чулках, торопясь подняться и ошибаясь в движениях, глядя снизу вверх круглыми глазами, обессмысленными от восторга и страха.

Он протянул ей руку.

— Вставай!

Она бессильная, тяжелая висла на его рукаве, как мешок, и рычала, как зверь.

— Антон... Антон... мой Антон... у меня... мой Антон... вернулся...

Он смотрел на ее голову взглядом светлым, таинственным, глубоким и чуждым. Взглядом безжалостной хищной птицы, хотящей зла, потому что зло — ее натура, не понимающей и не ищущей понимать, что она инстинктом своим творит.

Балабоневская опомнилась.

— Ой, что же я? — сконфузилась она, — сошла с ума от радости... С улицы все видно... Войди... Войдите же... Войди, Антон... Не бойся... Я одна в доме... только прислуга... Погоди... Я побегу вперед... Аннушку в лавочку... Кухарку отошлю... Мы будем одни, одни... О Антон! Вернулся! Вернулся! Мой Антон!

Она побежала вверх по лестнице на террасу. Он смотрел вслед — за мягкими переливами ее тела в красно-желтых складках капота, — и блестящий роковой взгляд хищной птицы разгорался все острее, хитрее и опаснее... И вот из-за парусинных занавесок террасы выглянула она, веселая, возбужденная, красная, помолодевшая, с призывающими глазами, с пальцем у румяного рта...

— Антон! Идите сюда! Антон!

Хищная птица подобралась, встопорщилась и полетела на зов. И была страшная, неотвратимая угроза в прямых, будто механических, шагах его ног, худых и длинных, как ноги циркуля, и в странном, параллельном с шагами движении лопаток на тощей, острой спине.

Бледные блики на вершинах дерев стали красными, словно омытые упавшею с небес вместо росы золотою, самосветною кровью. В глубине сада под высоким забором, утыканным гвоздями, сидели Антон и Балабоневская. Он — без шляпы, растрепанный, расстегнутый, с распущенным галстухом — поместился верхом на узкой зеленой скамье и держал Нимфодору Артемьевну левою рукою за левую руку, а правою крепко и цепко обнимал ее плечи, и она чувствовала, как его тонкие худые пальцы больно входят в ее тело, и счастливо дрожала от этого мучительного прикосновения.

— Так ты выходишь замуж? ты выходишь замуж? — слышала она дикий клекот хищной птицы. — Кто же позволил тебе выходить замуж?

— Антон, — счастливая, шептала она, — но вы же сами... ты сам выбросил меня... как тряпку... ненужную... Я не сержусь, я простила, я забыла, Антон... но — что же мне было делать? Мои девочки так убеждали меня, они так тебя боятся... и они правы, Антон!

— А ты помнишь, как ты мне предлагала их, своих девочек? — свистнула хищная птица, глубже и глубже вонзая свои когти.

Женщина съежилась томительною судорогою стыда.

— О Антон... злой ты! злой!.. зачем? Не надо вспоминать, не надо...

— Я тогда оттолкнул тебя... А если теперь — соглашусь?.

— Антон, не надо! Не надо, говорю я... Не шути... Теперь? тебя? Никому! Никогда!

— А замуж-то как же?

— Не смейся надо мною! Не шути, Антон! Какое теперь — замуж? Разве можно говорить, когда ты здесь? Да ты меня из-под венца позовешь — аналой опрокину, попа с ног собью и за тобою кинусь! Я твоя, вся твоя! Ох, если бы ты хоть в десятую часть был мой, как я твоя!

— Я твой, — сказал вдруг Антон решительно и мрачно.

— Антон?!

— Я твой, — продолжал он с тою же твердостью, и загадочным, отвлеченным блеском горели глаза его, устремленные поверх ее головы, — я твой, прекрасная моя, хотя и не очень, Нимфа... Ты не можешь жить без меня... Я сделал огромный опыт и убедился, что тоже не могу жить без тебя... То есть не без тебя, но без чего-то, что вообще — не ты, а когда становится женщиною, то ты... Теперь ты... Прежде была другая... Теперь ты... И я бросил бороться... Я твой! Ты победила все... всю мою жизнь... Красоту, ум, идеалы, любовь... Ты — вот

какая, как я тебя сейчас вижу, в этом твоем оранжевом облаке... ты... луна!.. самка!.. дьявол!.. Гони своего жениха: черт с ним! Я сам женюсь на тебе...

— Антон мой! Антон!

— Да. Потому что не все ли равно? Мы неразрывны, нераздельны, мы — сиамские близнецы... Я попробовал оторваться от тебя: потекла кровь... Ты помнишь, сколько крови вытекло, Нимфа?

— А? Антон? О чем ты спрашиваешь? Я не поняла... Я слушала звук твоего голоса, Антон... Я твоя вещь, твоя раба, Антон...

Он серьезно кивнул головою.

— Да. Ты моя раба, и я твой раб. Мы рабы друг друга. Больше, Нимфа: мы — одно... Ты — я, и я — ты... И больше с этим не надо бороться. И так будет всегда. И так надо жить. И так надо умереть, чтобы в тебе погас я, во мне погасла ты... Понимаешь?

— Нет, Антон... Но говори, говори... Ты говоришь что-то сладкое... я счастлива слушать тебя, Антон...

— Гони своего жениха! Я женюсь на тебе... Сегодня... Сейчас... Не надо разламываться пополам... Нужна цельность... Надо объединить свое я... Как это? Будете в плоть едину... Да здравствует единая плоть... Слушай: а ты знаешь, что я нищий?

— Какое мне дело, Антон? Мы проживем, — у меня найдется чем прожить вдвоем...

Он улыбался медленно и насмешливо.

— Да, нищий... Я вчера собственными руками уничтожил свое состояние... Осталась вот эта бумажка...

Он достал бумажник и вынул за угол двадцатипятирублевку.

— Вот ее! За ухо, за ухо, как свинью!..

Он хохотал. Хохотала, глядя на него, и — вся конвульсивная, восторженная — Балабоневская. Потом Антон стал серьезен.

— Давай, Нимфа, разорвем ее на кусочки...

— Зачем, Антон?

— Так: полоску ты, полоску я, полоску ты, полоску я, полоску ты, полоску я...

— Лучше бедным отдать!

Он вдруг капризно сморщился.

— Pace the same of the account as per advice from... *

— Что это значит, Антон?

— Это на языке Сандвичевых островов. Значит: двадцатипятирублевка моя, и не хочу бедным... Ну их к черту!.. Рви!

— Если ты приказываешь, Антон!

Они медленно изорвали бумажку — Антон серьезно, словно священнодействовал, Балабоневская, — улыбаясь на него, как на капризное дитя. Потом он с тою же серьезностью сдул лоскутки с пальцев своих на ближний кустик...

— Солнце уходит, — сказал он.

— Да. Солнце уходит.

— Это хорошо: я не хочу больше видеть солнца. Я ужасно скверно видел его сегодня, Нимфа. Я сегодня на городской бойне был...

— Зачем, Антон?

— Смотрел, как убивают быков... Отвратительно это у нас делается, Нимфа: бедную скотину бьют обухом по темени, горло ей ножом пилят... В Европе гораздо проще и легче: вводят животное в станок, и, когда оно ничего не ожидает дурного, вдруг вонзают острый клинок пониже затылка... вот сюда...

— Ой, Антон! Ха-ха-ха! Ты мне щекотно сделал! Ой, Антон!..

— Это убивает мгновенно. Для быка, конечно, нужен широкий и крепкий клинок. Но для человека достаточно хорошо отточенной стамески, шила... можно даже головною дамскою булавкою... штука в том лишь, чтобы точно выбрать место... это вот здесь.

— Оставь же, Антон! Право, щекотно... Я не могу. Ха-ха-ха! Я не могу...

---

* Заместите то же самое счетом согласно уведомлению... (*англ.*)

— Когда я сегодня был на бойне, один рабочий сказал: вот барин и в красных сапожках... Я взглянул и вижу, что стою в луже крови... и в луже — около моего каблука — маленький блестящий, коричневый кружок: это солнце с неба отразилось... Я скверно видел сегодня солнце, Нимфа.

— Ну и пускай оно заходит! — страстно шепнула Балабоневская, сползая со скамьи на землю и обвивая колена Антона своими жаркими руками.

— Пускай оно заходит! — мрачно и страстно отозвался он...

И долго под ее шальными поцелуями сидел он и молчал, гладя левою рукою ее склоненную голову и мягкий затылок, между тем как правая нервно вздрагивала, опущенная в карман пальто.

— Ты мой бог... ты мой бог... — лепетала обезумевшая женщина, и слюна клокотала в ее горле.

И вдруг он поднял ее к себе на грудь.

— Да, я твой бог, — сказал он. — Хочу быть твоим богом!

И он сжал ее в руках своих с страшною силою, и губы их срослись надолго. И были они в объятии своем одно тело. И, когда объятие разомкнулось, хрипение вырвалось из уст женщины, и руки ее, закинутые за шею Антона, вдруг расплелись, упали и повисли, как плети... Антон разнял свои руки... Женщина грузно рухнула к его ногам и, ударившись о скамейку, перевернулась от толчка дважды по дорожке и улеглась на песке ничком... неподвижная... немая... нескладная... как большая куча белья, связанного в красно-желтую шаль и торчащего из узла неаккуратными пестрыми лоскутами... По желтому песку дорожки каталось полукругами, как маятник на грушевидной рукоятке, чуть поблескивая зловещим тонким лезвием, будто языком змеиным, большое сапожное шило. Антон бессмысленными глазами следил за колебаниями шила, пока оно не остановилось. Тогда он поднял шило, очень тщательно вытер полою пиджака, спрятал в карман и весело улыбнулся...

— Вот мы и умерли, — громко сказал он и, опустившись на газон рядом с убитою, стал ласково гладить и хлопать ее по спине...

...Вокруг него давно были крик, шум, огни, полицейские свистки, вой, плач, истерики... Он узнал окаменевшую, глядевшую на него в упор Аню и дружески улыбнулся:

—Тю-тю, Лефоше!.. Мы умерли!..

* * *

— Это — удивительная вещь, — разговаривал Антон три дня спустя с внимательно дежурившим около него молодым чернобородым ординатором Преображенской больницы. — Удивительная вещь, до чего спутаны понятия человеческие! Когда я стрелял в «нее», вы, господа, уверяли, будто я хотел убить себя, — а теперь, когда я убил себя, вы хотите меня уверить, что я убил «ее»... Нет, голубчики, это не так-то легко! Нет, друзья мои, «она» живехонька! Убил-то себя я, покойник-то я, а «она» — оранжевое рыло — живехонька...

— Если вы говорите про Нимфодору Артемьевну Балабоневскую, — осторожно возразил ординатор, — то ошибаетесь: ее вчера похоронили.

Антон спокойно воззрился на него.

— Кто это Балабоневская? Какая? Ах да!.. девица Лефоше... и... и вороне где-то Бог послал кусочек сыру... в лисьей шкурке... Нет, доктор, я совсем не о Балабоневской говорю. Какое мне дело до вашей Балабоневской? Я про «нее» говорю, про оранжевое рыло... и — entre nous soit dit * — зачем же «ее» называть?.. Да-с! Прочная женщина... любовница трех поколений... коньяком меня, четырнадцатилетнего, спаивала и с собою спать укладывала... ха-ха-ха!.. И — я вот убит, мертвый, а «она» жива... Все-

* Между нами говоря (*фр.*).

гда будет жива... A propos *, доктор: почему вы меня не хороните? Мертвые должны быть в земле. Это нелогично и против гигиены оставлять мертвечину на поверхности... Или вы придерживаетесь кремации? Это тоже очень хорошо, и многие покойники хвалят, но я — лучше уж по старинке, к новой моде... как-то не того... Я вас очень прошу: похороните меня поскорее... чтобы, знаете, tout en ordre... ** и даже, пожалуй, по первому разряду!.. Я люблю, чтобы все en ordre... Value recived and plaice it of the account as per advice from... ***

— Погодите, — печально улыбнулся ординатор, — на все свое время!

Антон прищурился и лукаво пригрозил ему пальцем:

— Смотрите: вам же хуже будет, — начну разлагаться!..

LVI

ТРИ ЭПИЛОГА

I

1891

Евлалия Александровна Брагина поджидала мужа. Был пятый час утра. Апрельское небо весело смотрело в окна смеющимися глазами.

Вчера вечером у Брагиных, по обыкновению, собрались гости. И Георгия Николаевича, по обыкновению, — о, уже очень давнему обыкновению! — не было дома. К Брагиным прежние знако-

---

* Кстати (*фр.*).

** Все в порядке... (*англ.*)

*** В порядке... по истинной стоимости и заместите то же самое счетом согласно уведомлению... (*англ.*)

мые ходили давно уже для одной Евлалии, и одна Евлалия их встречала. Вчера, оставив на минутку гостей своих, чтобы распорядиться по хозяйству, Евлалия Александровна слышала из столовой, как, едва она удалилась, в гостиной два старые друга ее дома, оба литераторы, бывшие когда-то и на свадьбе ее с Георгием Николаевичем, оживленно заговорили о ней и об ее муже.

— Надо быть большим негодяем, чтобы обманывать такую женщину, — горячо сказал один — пожилой, известный, наблюдательный беллетрист — другому беллетристу, еще старше, известнее и вглядчивее.

А тот возразил:

— Да. Но еще большим негодяем будет тот, кто вздумает открыть ей глаза на его фокусы.

Евлалия выслушала и горько улыбнулась. Давно уже открылись они, эти бедные, обиженные, синие глаза, и, чтобы открыться им, не понадобилось ничьей указки... А вот Евлалии-то нужна была вся сила ее характера и воли, чтобы не выдать людям своего женского секрета, что ошибаются они, считая ее слепою, что глаза ее открыты и видят все, все, все — видят и умеют не менять своего выражения, какою бы пыткою ни было смотреть и видеть. Изо дня в день, из года в год умела Евлалия Александровна скрывать подготовлявшееся крушение своей семьи, — сумела и теперь скрыть тяжелое и роковое решение, накопившееся в ее сердце. Расходясь с jour fixe'a *, гости не подозревали что были у Евлалии Александровны Брагиной в последний раз, и наступившая ночь — последняя, которую она проводит под кровом своего супруга.

Большие, серьезные натуры по большей части доверчивы и счастливы своею доверчивостью. Но если обманута их вера, вместе с нею для них гаснет свет жизни, ее смысл и тепло; они разрушаются, как поезд, на всех парах слетевший с рельсов. За минуту до крушения — образец и символ

---

* Журфикс (*фр.*).

порядка, через минуту — хаос отчаяния. Иных людей лучше убивать, чем отнимать у них любовь и веру!

Разочарование в муже входило в Евлалию Александровну медленно, ядовитыми каплями, росинка за росинкой. Она с ужасом наблюдала, как на ее солнце появлялось пятно за пятном. Ей пришлось изо дня в день, последовательно терять доверие и к литературной, и житейской искренности Георгия Николаевича. Началось с искренности литературной. Все, что прежде казалось Евлалии в сочинениях Брагина голосом плоти и крови его, мало-помалу потускло для нее в сомнениях. Увядали цветы, догорали фейерверки, выветривались декоративные громады красивых фраз и больших слов, и оставалась огромная пустота, звонкая и бесплодная, как эхо. Из-за фигуры мужа — Евлалии казалось — она все чаще и чаще видит незримый для других насмешливый профиль отверженного мертвеца — полубезумного циника, который предостерегал ее против Георгия Николаевича и язвительно разоблачал его из кандидатов в гении просто в талантливого и образованного актера «с нутром»: с блестящим даром внешней декламации и порою со способностью заигрываться до самозабвения. Георгий Николаевич не был лицемером, но — как слыл он смолоду соловьем, так «соловьем» и остался в своем кругу, и соловьиная поверхность эта тяжело ложилась на сердце Евлалии Александровны. Часто ей думалось, что у мужа ее нет решительно ничего твердого и положительного ни в уме, ни в сердце. Он по-прежнему слыл писателем-демократом, ярким проповедником либерального лагеря, а в домашнем быту оставался избалованным баричем, жизнерадостным и капризным вивером. Чем дальше, тем больше росли в нем эгоизм прихотей, баловство купленным наслаждением, безотказная привычка небрежно и весело поддаваться всякому соблазну, который посылала навстречу жизнь и который можно было удовлетворить за легко добываемые деньги. Когда он выбрасывал пламен-

ные, могучие фразы Welt- и Volksschmerz'а * и у восприимчивого, восторженного читателя мороз бежал по коже, Евлалии Александровне становилось теперь стыдно и больно: ей припоминалось вещее старое слово вещего старого писателя: «Над кем смеетесь? над собой смеетесь!» Она изумлялась: как никого из поклонников ее мужа не смущает чудовищная разница между бойцом, умирающим за великое дело любви — на бумаге, и ликующим, праздноболтающим Сарданапалом — в жизни? Ее поражала снисходительность, с какою мужу ее все извинялось кличками: «художник», «широкая натура», фразами о том, что молодому, еще растущему таланту нужны новые, обильные впечатления, — а разобраться он в них успеет, когда уходится и остепенится, уходиться же и остепениться всегда будет время. Случались между мужем и женою острые объяснения о противоречиях их жизни. Евлалия уличала и упрекала, Брагин бесился и возражал:

— Что же, прикажешь мне лицемерить, как Лев Толстой? Класть печки и шить сапоги мужикам, живя во дворце и имея чуть не сто тысяч годового дохода? Покорно благодарю: я еще слишком молод для подобных комедий. Прибережем их на старость! Покуда нас любят и без маскарадов.

Жизнь требовала денег, денег и денег. Брагин своим пером ковал золото, а все-таки денег нехватало. Привычные Брагину редакции кряхтели под тяжестью его авансов. Евлалия Александровна со страхом предвидела, что вот придет минута, когда крепко понадобятся деньги и денег в привычных источниках не окажется, и тогда ее Георгий сожжет все, чему поклонялся, поклонится всему, что сжигал: уйдет из своего лагеря туда, где дадут ему больше средств удовлетворять свою молодую потребность в оргии жизни, сбившей с толка и закружившей в своем вихре весь их быт — и общественный, и семейный. Народившаяся «улица» шумела вокруг

* Мировая и народная скорбь (*нем.*).

них, плодилась, множилась, росла, наплывала. Когда Брагин не шел на улицу, улица приходила к нему. И была она властная, и была она наглая. Евлалия Александровна сознавала, насколько муж ее по образу жизни, интересам и симпатиям становится со дня на день ближе и роднее каждому с этой «улицы», такой же красивой, такой же пустой и поверхностной, как он сам, — чем она, его друг и жена. В нем жила ненасытная жажда людей, погоня за толпою, причудливое ухаживание за обществом, а между тем большинство членов этого своего нового общества сам же Брагин втайне презирал! По крайней мере, в лучшие минуты своей жизни сознавался жене, что презирает... И, однако, шел к презираемым, и искал их, и якшался с ними, и кланялся им, и завидовал идолам их!

В вихре жизни тратились силы, праздная суетня утомляла и заглушала понемножку самый талант. Евлалия Александровна видела, как в созданиях Брагина все чаще и чаще терялась главная прелесть их — лирический пафос, который она так любила; как наползают крикливые повторения, как вкрадываются манерность и шаблон. Все чаще и чаще приходилось Брагину прибегать к виртуозным приемам слова, чтобы скрыть от читателя бедность мысли, обленившейся в бесконечных праздниках беспечной, сытой жизни. Брагин чувствовал свой упадок и порою пугался его, мрачнел, отчаивался, стремился войти в трудовую колею, из которой так напрасно и так нечаянно выбился; но самоуверенность и жадность к быстрому, наглядному успеху брали верх. Исчезла глубина в человеке, а внешнего таланта напоказ оставался еще непочатый угол: было чем и утешить сомневающихся друзей, и занять публику, и обмануть самого себя! Брагин садился к письменному столу и, шутя, выбрасывал на бумагу целый фейерверк красивых образов, причудливых слов, вычурных, но эффектных и оригинальных оборотов. Вещь выходила малосодержательною, но яркою, красочною, замет-

нию; она блестела, как мишура, и имела мишурный успех дня. Брагин успокаивался: есть, мол, есть порох в пороховнице! — и снова бросался без оглядки в ласково баюкавшую его пустоту.

Роковой удар разразился. Брагину понадобился экстренный аванс в тысячу рублей: вынь да положь! В «своей» редакции ему не отказали, но вместе с тем предложили ему... напредки сбавить с гонорара. Прозрачно намекнули при этом, что «вы уже не тот Брагин, как прежде; попользовались, дескать, пора и честь знать; другие тоже кушать хотят и, пожалуй, имеют на то права больше». Словом, дали понять Брагину, что он — человек желательный, но далеко не необходимый, как привык он себя считать, и что дорожить им особенно и не стоит, и не будут; останется — хорошо; не останется — скатертью дорога. Брагину точно дали пощечину. Он сухо простился с издателем и, бледный от гнева, вышел из редакции, отказавшись от аванса. Но домой возвратился он уже веселый и самоуверенный и с тремя тысячами в кармане вместо одной. Некий литературный маклер свел его в ресторане с редактором-издателем бойкой уличной газетки, — а тот, конечно, ухватился за имя Брагина и руками, и ногами.

— Не место красит человека, а человек место, — сказал Брагин, передавая Евлалии деньги, эти первые проклятые деньги!

Она не могла вспомнить о них без ужаса; они стали ценой почти крови ее мужа, ценою его совести. От него не требовали измены ни направлению, ни тону, давали ему свободу писать все, что и как ему угодно; но ей-то было от этого не легче. Она отлично знала, что ее мужу больше всего на свете интересен первый, видимый и осязательный, успех; что, ради этого успеха — раз он не будет даваться тем, что Брагин пишет теперь, — самолюбие заставит Георгия Николаевича подделываться под общий тон и спрос новой публики, а проклятая гибкость и виртуозность таланта поможет

подделаться быстро, точно и бесповоротно. И опять выступал из пространства язвительный, бездушный профиль друга-врага, давно похороненного и сгнившего в земле, и шептал искривленными бестелесными устами:

— Настанет время, когда Георгий Николаевич будет гордиться теми похвалами, которые теперь его бесят, и выставлять как житейский аттестат благонамеренности ту брань, которая теперь ему нож острый.

Она видела, как разлагался его талант — о! его внеш-ний, злободневный успех превзошел все ожидания: толпа справляла ему пышные, блестящие похороны! Никогда еще не любили так Брагина, никогда еще он не был так в моде, никогда не зарабатывал столько денег и даже, — Евлалия должна была признать, — пожалуй, даже никогда еще он не работал так энергично и усидчиво. И все-таки это было не живое слово; это был повапленный гроб; сквозь мишурную позолоту его чувствовался запах мертвечины и тления.

Евлалия Александровна мечтала воскресить мужа. Она просила его бросить эту дикую погоню за блуждающим огоньком — за симпатиями и деньгами толпы, она плакала, она молила... Он, ослепленный овациями, недоумевал, из-за чего надрывается ее бедное сердце.

— Ведь ты видишь, как меня любят и ценят! Посмотри, какую розницу сделал я этому чурбану, моему патрону! И еще если бы они командовали мною... Напротив, я держу их в руках. Они делают все, что я хочу, и пикнуть против меня не смеют. Общий голос, что газету узнать нельзя с тех пор, как я в ней работаю. Я облагородил эту клоаку! Я создал из нее новый орган! А ведь у нее сто тысяч подписчиков...

Вместе с новым обществом Брагина захватил круговорот внесемейной жизни на холостую ногу: клуб и ресторан, театр и кафешантан и... женщины, женщины, женщины!

Евлалия Александровна долго верила, что муж любит ее безраздельно, как и она его; доверия не убили в ней даже

первые слухи о любовных приключениях ее супруга. Она чуть не умерла от этих слухов; но жажда любви была в ней слишком сильна. Могучим нравственным надломом она заставила себя еще раз поверить Георгию Николаевичу, когда он, уличенный после тысячи уверток и лжей, валялся у ее ног в бессильном раскаянии, моля забыть и простить, не уходить от него, не лишать его из-за случайного, мимолетного увлечения последней нравственной опоры и поддержки. Он был ей и дорог, и жалок в этом объяснении. Она видела его испуганным и беспомощным ребенком и потеряла последнюю веру в него, как в характер, но сохранила ему свое сердце, как несчастному. Она перестала уважать его, но вдвое больше полюбила.

Она простила. Пробежало несколько месяцев чего-то похожего на счастье. И вдруг, как гром с ясного неба, на голову Евлалии Александровны упала догадка о новой связи мужа — связи грубой, безнравственной, отвратительной, потому что героиня ее не имела ни ума, ни красоты, ни даже привлекательности: свели эту пару чувственный каприз, извращенность избалованных вкусов, хвастливое сообщничество нерассуждающего порока, свинство, которое мода сделала принятым и чуть не красивым. До сих пор Евлалия видела своего недавнего бога только развенчанным — теперь пришлось признать его оскотинившимся. На этот раз Георгий Николаевич был осторожнее; он хорошо спрятал концы в воду, и, кроме сплетен, молвы да женского ревнивого чутья, у Евлалии Александровны не было против мужа никаких доказательств. И он, зная то, разыграл пред женою сцену оклеветанной невинности и опять заигрался до такой искренности, что бедная женщина при всей своей печальной опытности чуть-чуть было ему не поверила. А тем временем Георгий Николаевич точно с цепи сорвался. Женский успех не был для него новостью, но, занятый любовью к жене, он в первые годы брака перестал было интересоваться бабьем. Теперь же — воскресли для него холостые времена. Его обуял фа-

товской дух какого-то неугомонного донжуанства. Он тонул по уши во флерте. Все свободное время его уходило на игру в любовь, в красивое, чувственное кокетство с женщинами. Это было хуже, чем разврат; это был развратец — развратец тела и души, развратец речи, мысли и дела. Напрасно скрывал он свои увлечения. Евлалия Александровна молчала, но знала всех подруг своего мужа: флертисток и настоящих любовниц, графинь и курсисток, актрис и гувернанток; она угадывала их по одному слову в разговоре, по случайному взгляду, по мимолетной интонации. Она знала все ясновидением влюбленного и оскорбленного сердца. Знала — и молчала, потому что гордость не допускала ее до ревнивой бури по одним подозрениям. Георгий Николаевич с обычным легкомыслием принимал молчание жены за незнание. И, возвращаясь домой, оскверненный и охмеленный чужими ласками, спокойно засыпал, даже не подозревая, как страдает молчаливое, прекрасное существо возле него, как оно прозорливо изучило его, как оно и любит его, и... презирает.

В последнее время инстинкт указал Евлалии Александровне новую победу ее мужа. Звали ее Матильдой Антоновной Дзедзиц. То была «дама из общества» — самостоятельная и эксцентричная, уже не слишком молодая и не особенно красивая. Но в ней сидел тайный бес той поверхностной, холодной чувственности, что так тянет к себе именно мужчин, избалованных женщинами. Она вся была сделана из нервов и косметиков. Полурусская-полувенгерка, она соединяла в себе европейский шик с восточною негою и русскою распущенностью. Кроме себя, она не любила никого, не интересовалась ничем, но себя изучила умно, красиво и подробно. Поэтому она была жива, остроумна, кое-что читала, умела говорить и, быстро меняя свои настроения, не давала своим поклонникам времени ни искусить ее, ни заскучать с нею.

Евлалия Александровна встречалась с Дзедзиц мельком, всего лишь два или три раза, однако успела заметить, что

между этою барыней и Георгием Николаевичем есть что-то серьезнее обыкновенной интрижки. Она знала, что Георгий Николаевич проводит у Дзедзиц все свое свободное время и лжет потом, будто бывает в других местах. Она была твердо уверена, что вот и теперь, в пятом часу утра, он сидит у Дзедзиц и, может быть, обнимает и целует ее, — была уверена и — странно! — спокойна. Новый роман Георгия Николаевича открыл Евлалии глаза на неизлечимость мужа. Она решилась понять, что ей больше нечего ждать, не на что надеяться. Как прежде и теперь, так и впереди, его удел — вертеться, подобно белке в колесе, в беспрестанных переходах от любовных ссор к любовным раскаяниям, от нежности к измене, от покаянных слез к окаянному распутству. Ей стало невыносимо гадко и до физической боли жаль своего испорченного будущего.

«За что? — думала она, и чувство бездонной, не сгоряча, а холодно понятной и взвешенной обиды мертвило ее душу. — Конечно! добился! — говорила она сама себе, — и меня убил, и себя для меня убил. Нет у меня к нему больше ни любви, ни ненависти, ни даже презрения; просто — умер он для меня, и точно нет его на свете. Но — Боже! — как жутко жить с этою новою пустотой в душе. Легче бы умереть... А умирать жалко: ведь мне двадцать семь лет! — и людей я люблю, и жизнь люблю, и сил во мне много. Даны же они мне на что-нибудь? за что угасать им даром?! Нет. Жить хочу. Все переживается. Не для одной любви люди на свет родятся. Праздник жизни кончился, — пришли и зовут будни. Найду себе деятельность, впрягусь в нее, как в хомут, — забудусь и, даст Бог, еще не без пользы проживу свой век. Надо спасать себя. Море чувства было во мне, — довольно переливать его в бездонную бочку, сберегу остатки для себя. Авось пригожусь еще людям и более достойным жертве, и более благодарным».

* * *

Брагин возвратился домой немного раньше пяти часов. На его усталом лице — задумчивом, не то веселом, не то смущенном, — Евлалия прочитала, как в книге, подтверждение всех своих догадок о ночи, им проведенной.

Георгий Николаевич не ожидал застать жену еще на ногах. Тень неудовольствия легла на его красивое, хотя изрядно помятое лицо.

— Ты не ложилась? Что это значит? — резко спросил он. — Сколько раз я просил тебя не дожидаться меня? Ты знаешь, что я часто возвращаюсь из клуба с совершенно развинченными нервами, иногда почти не владея собой. Разговаривать я не могу — каждое лишнее слово меня раздражает, и я способен сказать, сам не хотя и ни за что ни про что, неловкое слово, дерзость... Что тебе за охота видеть меня таким? Ну да все равно, не надо так в другой раз, а теперь идем спать...

— Я не хочу спать, Георгий Николаевич! — тихо сказала Евлалия, поднимая на мужа задумчивые глаза.

Брагин смутился.

— Георгий Николаевич?! Это еще что такое? В чем дело?

— Дело в том, — Евлалия поднялась с кресел, — дело в том, что вы не были в клубе, вы были у Дзедзиц...

Георгий Николаевич выпрямился. Сна его — как не бывало. Кровь ударила ему в голову.

— Опять сцена?! — резко сказал он. — Когда же этому будет конец?! Я иду на бульвар — я у Дзедзиц, я иду в театр, работаю в редакции, засиживаюсь в клубе — я у Дзедзиц. Ты совершенно ослеплена своим предубеждением к ней. Если тебя послушать, то я только и делаю, что сижу и млею у ног Матильды Антоновны.

— Я это именно и хочу сказать, — спокойно возразила Евлалия. — Так оно и есть.

— Ну и оставляю тебя при твоих фантазиях, потому что ревнующую женщину переубедить невозможно. А мне остается лишь терпеть в чужом пиру похмелье и вопиять: за что мне сие? Потому что это неправда, неправда и неправда.

— Да?.. — Евлалия покачала головой. — Попробуйте повторить мне, что вы были в клубе?

Брагин не выдержал пристального, прямо в глаза ему устремленного взгляда жены и отвернулся; но ряд импровизированных отговорок уже осветился в его быстром уме, еще мгновение — и он заговорил бы. Евлалия остановила его.

— Не надо! — печально сказала она, — не надо оправданий. Я вижу и без слов, что вы опять решились лгать. Оставим это, Георгий Николаевич; не думайте, что я ждала вас, чтобы сделать вам сцену из-за вашей... лю-бов-ни-цы... — с трудом выговорила она обидное слово. — Сцен больше не будет. Живите как хотите. Только отпустите меня, Георгий Николаевич!

— А, сколько жалких слов! Куда я отпущу тебя? и зачем?

— К сестре, в Москву. Я лишняя здесь, Георгий Николаевич.

— Евлалия! Не говори глупостей! Жена не может быть лишнею в доме мужа.

— Да, до тех пор, пока у мужа нет любовницы.

— Опять?! Неужели ты никогда не перестанешь повторять эту безобразную и несправедливую — слышишь ли ты? — я готов хоть сто раз поклясться! — несправедливую выдумку?

— Что это безобразно — ваша правда, но что справедливо, — это уж моя правда. Довольно, Георгий Николаевич! Не защищайтесь и не бойтесь огорчить меня вашею откровенностью. Незачем вам больше играть со мною в прятки, вы отпущены на волю, — я уже не ревную вас.

— Не ревнуешь?.. — Георгий Николаевич растерянно посмотрел на жену, — что ты хочешь этим сказать?

Лицо Евлалии потемнело: ей стало тяжело и гадко.

— Посмотрите, Георгий Николаевич, что вы за человек! — сказала она с невольным презрением в голосе, — сейчас вы негодовали, как я смею подозревать вас, делать вам сцены. Я успокаиваю вас, говорю, что ничего не имею против вашего поведения, и вас тотчас же взяло за сердце: что это значит? как? отчего же она меня не ревнует? зачем же она, обладая таким сокровищем, как я, не дрожит за свою собственность? почему она, видя, как любимый муж возвращается от любовницы, не плачет, не проклинает? как она смеет быть спокойной?.. Вы кричите, бранитесь, топаете ногами, когда находите меня в слезах, но — вот я перестаю плакать — и вам уже недостает моих слез; ваше самолюбие скучает по ним.

Брагин покраснел и, обиженный, гневный, тоже заговорил на «вы»:

— Поздравляю вас, — возразил он с попыткою на холодную насмешку, — вы делаете быстрые успехи в психологии. Вы глубоко проникли в тайны моего сердца. Разумеется, если вы ухитрились найти в нем такие гнусные наклонности, то это — достаточная характеристика вашей любви ко мне. Тогда, пожалуй, вы правы: наша совместная жизнь становится невозможною.

— Потому-то я и прошу вас: отпустите меня, Георгий Николаевич!

— Но ведь это призраки, Лаля! ведь это бред расстроенного воображения! — горячо крикнул он, ударив рукой по столу.

— А кто же виноват, Георгий Николаевич, если оно у меня расстроено?

Брагин молчал.

— Я и не смею утверждать, что я вполне нормальна, — продолжала Евлалия, — наша супружеская пытка тянется долго, нервы мои разбиты, и я теперь криком кричу от мелочей, тогда как прежде умела молчать, глотая крупные оскорбления. Но вся наша жизнь слагается из этих мучительных

мелочей, и я принуждена кричать целыми днями. Моей любви не достало на новую муку, — она погасла. Я не в силах более тратить свою душу на такую жизнь. Разойдемся!

— Но я тебя люблю! — прошептал Георгий Николаевич.

— Я верю, что вы меня как-то там по-своему любите. Представьте: верю! Верю, несмотря на ваше ужасное, оскорбительное отношение к моей любви, несмотря даже на ваших любовниц. Да, вы любите меня, но какая эта любовь! Боже мой!.. Ваша душа — вся из клеточек: в одной больше простора, в другой — меньше, и в каждой отведено место кому-нибудь. Здесь Евлалия, там Дзедзиц, там еще кто-нибудь. Нынче больше клеточка Евлалии, завтра — Дзедзиц... И это вы зовете любовью! Я знаю очень хорошо, что вам жаль меня потерять; но вам жаль было бы потерять и Дзедзиц. Вы со своим и огромным, и мелким самолюбием не можете понять — как это женщина в состоянии вас оставить? Самому вам унижать любовь — ничего не стоит, вы даже не замечаете, как вы ее топчете ногами. Но чтобы вашею влюбленностью или привязанностью пренебрегли, — ах, этой опасности вы не любите! Это для вас унижение, обида, ужас. Вы тогда способны употребить всю силу своего мужского обаяния, чтобы вернуть к себе женщину, вы даже способны вообразить на несколько недель, что любите ее одну, и будете воображать до тех пор, пока не убедитесь, что она опять прочно закрепостилась вам... А тогда то же самое легкомысленное самолюбьице толкнет вас искать побед над первой встречной, над первой новой знакомой!

— Ляля, ты жестока ко мне! — тихо возразил Георгий Николаевич, — я легкомысленный, может быть, даже пустой человек, но я не развратник...

— Ах, если бы вы были развратник!.. Я оплакивала бы вас — винила бы природу, темперамент, но подыскивала бы вам оправдания... А теперь? что я могу сказать теперь? Ведь вы даже не страстный человек: в самые пылкие мину-

ты увлечения в вас есть что-то холодное, неискреннее, вы словно любовную роль читаете. В вас простоты нет, непосредственности нет. Вот вы любите меня... а забывались ли вы когда-нибудь в моих объятиях? была ли у вас хоть одна такая минута, что вы, я — вот и весь наш мир? Влюбись вы в кого-нибудь так сильно, я не осталась бы с вами, но хоть ушла-то бы от вас без обиды в сердце. Ушла бы огорченная, но не оскорбленная. А теперь? Любить, как я вас любила! Проникнуться вами в каждой своей мысли! И взамен получить от вас только сознание моей неотъемлемой принадлежности вам! Взамен — быть свидетельницей какого-то смешного донжуанства с каждой новой женщиной, словно ради пополнения списка! Нет, это слишком! Вы как-то раз сказали мне: «Я не виноват, что женщины меня любят...» Да ведь вы ищете их любви, напрашиваетесь на нее; она — ваш воздух, в ней — ваша гордость! Остановите свою мысль в любую минуту — вы поймаете себя на мечте о какой-нибудь женщине, которая еще не ваша, еще борется с вашим обаянием... может быть, даже и обо мне: ведь вы всегда влюблены в меня, когда я сопротивляюсь вашей любовной власти! Нет, Георгий Николаевич, быть соперницей целого мира — я не чувствую ни сил, ни охоты. Прощайте, милый мой duca di Mantova! * Оставляю вас со всеми вашими Джильдами и Мадленами! Моя любовь стоит чего-нибудь получше!

— И ты пойдешь искать это свое «лучше»?! — с испугом воскликнул Брагин.

— Нет, не бойтесь: этого удара ваше самолюбие не получит. Как, однако, вы плохо меня знаете! Тут, — она показала на сердце, — вспыхнуло однажды пламя... Думала я, что в честь полубога зажглось оно, и ярко разожгла, раздула его. Полубог оказался дутым истуканом... да! да! из звонкой

* Герцог Мантуи! (*um.*)

меди... Прав был покойный Антон Арсеньев, когда писал мне о вас в своем завещании... Гореть костром пред красивым божком, — нет, это не для меня!.. Затушить бы пламя, да уж поздно было! Горело оно, горело, пока не сожгло всего сердца... Теперь уже кончено! Нечему гореть! Не вспыхивает сердце пред разбитым истуканом, да не загорится и для нового полубога! Умерло во мне все то, умерло, умерло!.. Нечем любить...

Она закрыла лицо руками.

— Евлалия...

Брагин шагнул к жене. Она быстро отступила.

— Не подходите... Я знаю: у вас есть какой-то проклятый дар будить во мне привычку к вам... Сколько раз я, — оскорбленная вами, презирая вас, — когда вы начинали целовать мои колена, сколько раз я забывала свою обиду, свое негодование и против совести смирялась пред вами... И для чего? Для того лишь, чтобы назавтра новая пощечина, новое унижение, снова необходимость говорить вам горькие слова; а у вас — новые красивые фразы и слезы...

— Евлалия! так строго не судят за легкомыслие... Ты знаешь, способен ли я умышленно...

— Георгий Николаевич! Одумайтесь! Что вы говорите? Да разве может быть легкомыслие в любви? Разве человек имеет право быть небрежным к любви? Вы хорошо знали мои взгляды, когда брали меня; знали, что я все извиняю, кроме несерьезного отношения ко мне. Я не игрушка и не содержанка: я — жена. Деньги, положение — мне безразличны. Мне за мою душу — душа нужна. Меня любить надо. Вы знаете — слишком хорошо знаете! — что я вся жила любовью к вам... и не стыдитесь сознаваться, что топтали эту любовь в грязь — по легкомыслию! Это хуже всякого злого умысла. Когда человек злоумышляет, он ненавидит; когда небрежен, он презирает. Я не гожусь для презрения.

Евлалия быстро пошла к дверям.

— Я запрещаю тебе уходить! — крикнул Брагин, бросаясь вслед за нею.

Евлалия обернулась.

— Зачем я вам? — спокойно возразила она. — Нового мы ничего друг другу не скажем.

— Ты так много обвиняешь и не желаешь выслушать оправданий?

— Нет. Я ничего не жду от них. Я все их вперед знаю: имела время выучить наизусть за шесть лет. Прощайте!

— Евлалия! Полно! Что ты, в самом деле, задумала, наконец?! Ведь это же скандал. Мы станем для всех притчею во языцех.

— Для кого — «для всех»? Для ваших подруг, товарищей, поклонников? Для вашей «улицы»? И пускай. Я вашу улицу презираю. А что будут думать и говорить обо мне, как станут смеяться надо мною презренные людишки, — какая мне важность? Пустопорожней болтовни только трусы боятся.

— Но как же я то, я останусь жить с этой улицей? Ведь съест она меня, Евлалия, живьем заглотает!..

— Вы простите, Георгий Николаевич, но мне до вас нет решительно никакого дела.

— Нет дела до меня? Евлалия! Это уж не по-женски жестоко!

— Вы сами меня обучили этому, сами этого от меня всегда хотели и требовали. Было время, когда мне до всего у вас было дело. До всего — от вашего творчества до плохо пришитой пуговки на вашем жилете. Моим делом был ваш комфорт — и внешний, и нравственный. Я гордилась уходом за вами — ролью жены и друга хорошего, талантливого человека. Ваша общественная репутация была мне дороже своей: только темные ночи да подушки мои знают, сколько слез я пролила, когда таяла эта репутация, как льдина под солнцем. Я пыталась вас спасти от самого себя — вы видели в этом насилие. Вы сердились, выходили из себя, требо-

вали свободы... Извольте: вот она пред вами — полная, безграничная свобода, — что хотите, то и творите! Вы ничем больше не можете ни обидеть меня, ни огорчить. Отчего же вы так испугались этой свободы? Я дарю вам именно то, чего вы добивались все шесть лет нашего брака. Вы приучали меня изо дня в день к мысли, что вы — мой муж — не мое, женино, дело. Идея эта была мне противна. Я боролась с нею, сколько могла, но вы победили. И вот я говорю вам: да, вы правы! вы, действительно, не мое дело... А вас возмущает!

Брагин сидел, поникнув головою на грудь, с пепельным лицом и мертво устремленным на клетку паркета взором. Ему было холодно и жутко. Он чувствовал, что возражать ему нечего, а мольбы, клятвы и обещания уже не помогут. Слишком часто, слишком беспощадно и подолгу натягивал он терпеливые струны этой чуткой, как арфа, женской души, — и вот они зазвенели в последний раз жалостным предсмертным стоном, оборвались и повисли бессильными, ни на что не властными и не пригодными нитями...

— Один я буду, Лаля! Совсем один! — шептал он с дикой тоской. — Не ты одна уходишь от меня — правда жизни уходит с тобою. Ложь и тьма впереди, а во тьме-то — совы да летучие мыши...

Евлалия молчала.

— Что же ты намерена делать на свободе? — с усилием спросил Брагин; он старался овладеть собою, но губы его тряслись, а голова горестно качалась из стороны в сторону.

— Еще не знаю. Приеду в Москву — опомнюсь: разберусь сама с собою, а там... Дела для женщины на Руси много. Мне Кроликов давно обещал дать большую ответственную работу. Школа так школа! Деревенская столовая так столовая. Холерный барак так холерный барак. Мне все равно. У меня есть взгляды, есть правила, есть охота работать и быть полезною, а призвания нет. Призвание — удел вождей, а я и на веру сумею пойти к делу как зауряд чернорабочая. Друзья

у меня есть. Друзья меня ждут. Пойду к друзьям. Что прикажут, то и буду делать. Во что запрягусь, то и повезу. Но лишь бы к живому делу, подальше от здешних ваших игрушечных фраз и вашего самодовольства.

— Когда ты едешь?

— Сегодня вечером. Паспорт ты вышлешь мне в Москву, к сестре.

— Да... да... Ах, Евлалия, Евлалия! Разбилась, голубка, наша жизнь! А какая могла быть хорошая жизнь!

— Кто же виною? Если бы ты не разрушил нашей семьи, я никогда не ушла бы от тебя: я создана для семьи и выше ее идеалов не знаю. Но семьи нет — значит, надо искать другого начала, другой опоры в жизни. Ваша распутная уличная суетня мне мерзит.

Глаза Брагина загорелись внезапным вдохновением.

— Евлалия! — сказал он. — Что я потерял тебя — я понимаю. Я мирюсь с этим, хотя ты и поверить не можешь, как горько мне: сердце стонет, душа стонет, ум вне себя. Ты меня не любишь. Но бывает, что, — «хоть арфа сломана, аккорд еще рыдает...» — есть такой красивый стих... твоего любимца, покойного Надсона, Евлалия! Могу ли я еще надеяться, что верну тебя к себе? Не сейчас — так через год, два, три года... пять, десять лет... все равно! Потому что я себя знаю: с этого дня на моем небе опять не будет другой звездочки, кроме тебя. Вернешься ли ты ко мне тогда? вернешься ли?

Евлалия размышляла. Лицо ее прояснилось, в глубоких синих глазах — против воли — светилась нежность.

— Вот что я тебе скажу, Георгий. Сама я к тебе никогда и ни за что не приду: ни волею, ни неволей. Хоть и захотела бы, а переломлю себя и не приду. Но есть у нас в народе сказка такая. Вызволила царевна царевича из подземельного царства на белый свет. Обещал царевич царевну век любить и душа в душу с нею жить. А вышел на белый свет, увидался с родней, с друзьями, с толпою людскою, — и думать о царевне забыл.

Оскорбилась царевна, заплакала, обернулась горлицей и полетела в тридевятое царство. Опомнился царевич, хватился невесты, да уж поздно! И пришлось ему идти в тридевятое царство, трудами и муками добиваться сызнова того, что само далось было ему в руки даром. Знай одно, Жорж: я никогда никого другого не полюблю, как любила тебя. А ты... ты свою царевну потерял — ищи же ее теперь в тридевятом царстве! Сумеешь найти — умей взять; а сумеешь взять — она опять будет твоя... До свиданья... Нет, не бросайся ко мне... Вечером, на вокзале я тебя — на прощанье — поцелую... А теперь не надо.

Евлалия скрылась за дверью.

Брагин тяжело опустился в кресло. Стоны и вопли кружились в его голове.

«Права, во всем права... — думал он. — Да, потерял царевну... в тридевятое царство надо идти. И пойду! И найду!.. Ах, растратили мы наше счастье! не сберегли мы его, милое, хорошее, чистое!»

И в вихре этом была лишь одна неподвижная точка, и из нее какой-то голос-зловещатель, однозвучный, равнодушный и назойливый, гудел Георгию Николаевичу тупым колокольным звуком, как и тот колокол, что на улице, за окном, уже сзывал людей к ранней обедне:

— Один ты, брат, теперь остался... один... один... один...

II

1898

Вчера антрепренер московского увеселительного сада «Мое вам почтение» заявил своей труппе, что, если дожди не прекратятся, ему остается один исход: застрелиться. Сегодня дождь лил с такою силою и постоянством, точно хотел убедить мрачно созерцавшего пустой сад антрепренера: «За-

чем тебе, братец, стреляться, — тратить деньги на револьвер? Я тебе таких луж налью, что — дешево и сердито утопишься в любой за милую душу...»

Открытые сцены не работали. В закрытом театре человек шестьдесят публики, перезябшей, с зонтами, в теплых пальто, смотрели мрачно и с непримиримою враждою какое-то глупейшее «Обозрение». Был один из тех спектаклей, когда между сценою и зрительным залом чувствуется глухая взаимоненависть. Когда публике — будто совестно, что она крохотною горсточкою ротозеев выбралась из целого огромного города в такую мерзейшую погоду, когда добрый хозяин пса на улицу не выгонит, смотреть совсем никому не интересное и не нужное представление. Когда артистам до злобы противно, что они — человек двадцать солистов, человек сорок хора, человек сорок оркестра, вся огромная человеческая машина театра — должны весело зябнуть в ярко освещенном, мишурном бараке, петь, играть, кричать, дурачиться без всякой надобности и выгоды для себя пред мрачною разбросанною горсточкою людей, числом в зале меньше, чем в оркестре и на сцене, и представляющих собою «публику» — подлую публику, которая «не ходит» и завтра пустит антрепризу без штанов, а труппу выкинет на улицу... Сцена презирала нищенский зал и валила пьесу через пень в колоду. Зал чувствовал презрение, злился, ненавидел и мстил сцене таким гробовым молчанием, что уж лучше бы шикали!

В антрактах — долгих, ленивых, томительных — с вялою стукотнею плотников за закрытым занавесом, с громким разговором хористок, со всеми зловещими симптомами театра, безнадежно умирающего и уже потерявшего дисциплину, — публика почти вся оставалась на местах. Не более десяти человек выходили блуждать по внешним галереям, чтобы наблюдать густую зыбкую сеть серого дождя, пронизанную электрическим светом, и сквозь нее унылые огни ресторана с сонными «шестерками», дремлющими либо ругающимися без почина.

В числе смельчаков, рискнувших проникнуть в эту безрадостную обитель под барабанный бой ливня по зонтам, оказался господин средних лет, среднего роста, средней наружности, среднего сословия и, заметно, провинциал из средней же России. Бородка у него была средняя — жидкая и рыжая, пальто среднее — серое и модное, глаза средние — серые и торговые, и котелок средний — русской фабрики и надетый на лоб. Господин выпил две рюмки водки, закусил семгою и, расплачиваясь с буфетчиком, обнаружил довольно содержательный бумажник. Покуда он укладывал в карман достояние свое, дружно сопровождаемое почтительными взглядами и буфетчика, и шестерок, в хозяйском углу буфета появилась пара, к которой средний господин немедленно приковался взорами с жадным любопытством и глубоким вниманием. Кавалер в этой паре был тот самый злополучный садовый антрепренер, которому предстояло застрелиться в случае, если дожди не прекратятся. В сухую погоду он был, вероятно, очень красив и даже величав с своею великолепно крупною фигурою, подвижным бритым лицом и умными еврейскими глазами. Но сейчас был похож на мокрого пуделя — притом на расплюевского: который не выдержал трепки и сбежал. Даму, не столь его сопровождавшую, сколь преследовавшую, средний господин только что бесконечно видел на сцене в «Обозрении»: она последовательно изображала Сокольницкую рощу, Лопнувший водопровод, Фигнеристку, Декадентку, Телефонную барышню и Газетную утку. И средний господин, уже при первом ее появлении, настолько заинтересовался этою высокою, худощавою блондинкою, что даже пересел из не совершенно пустого седьмого ряда кресел в совершенно пустой — третий. Играла блондинка очень хорошо, — даже средний господин, далеко не знаток по части искусств, понял, что эта «умеет лучше всех», и одобрял с чувством какой-то особой и как бы домашней гордости. Но голос у артистки был

старый, сорванный, а сама она казалась усталою и истощенною. Звали ее по афише Каирова-Нельская.

— Душа моя, душа моя, — восклицал удрученный антрепренер, стряхивая воду с пальто и тем еще более уподобляясь мокрому пуделю, — вы, мумуля, удивительная, право, женщина... Но если же невозможно? если я вам говорю, что невозможно?

Женщина смотрела ему в упор в самые глаза своими серыми, холодно и сосредоточенно злыми глазами и повторяла однозвучным, искусственно-спокойным, твердым, неотступным голосом:

— Сорок три рубля... Сорок три рубля... Я не отстану... Мне нельзя вернуться домой... Сорок три рубля.

— Сорок три рубля?!

Бедный пудель поднял лапы к небу.

— Откуда же я возьму вам сорок три рубля? В кассе сто четыре, а вечеровой расход, вы сами знаете, пятьсот шестнадцать...

— Мне вашей арифметики не надо. Мне нужны сорок три рубля.

— Мумуля, Богом прошу вас: переждите! Разве вы не видите, что я уже застегнутый хожу и перчаток не снимаю? Не как антрепренер, как товарищ, прошу: переждите, — видите, какое несчастье! Так и льет, так и льет... Войдите в мое положение, мумуля.

Блондинка злобно огрызнулась.

— Я и то вхожу, Михаил Львович, и тоже говорю с вами не как с антрепренером, но как с товарищем... С антрепренера — вы мне семьсот десять должны, а я у вас сорок три прошу, потому что мне без них — хоть удавиться...

Антрепренер сделал отчаянный жест.

— Э! Я завтра сам застрелюсь! Видите?

Он ткнул перстом к тучам небесным. Блондинка презрительно засмеялась.

— Про это барометрическое самоубийство я давно слышу... Вы в следующее обозрение новое действующее лицо

введете: Барометрический самоубийца... будет иметь успех... Сказок мне не рассказывайте, а сорок три рубля подайте... Мне в квартиру вернуться нельзя... Сорок три рубля...

— Сядем, — вдруг нахмурился антрепренер и дернул ее за руку.

С лица его сразу сошла вся актерская, показная условность, и оно стало искреннее, отчаянное, убитое. Он зашептал на ухо Каировой-Нельской, что сегодня, чтобы спектакль состоялся, ему пришлось заложить часы, запонки, кольца, жалованный перстень, и единственным ресурсом на завтра остается бриллиантовая булавка в галстухе; что, за исключением вечерового расхода, к немедленной уплате, — иначе вмешается полиция, — у него остается в кармане шестнадцать рублей: хотите половину? В кассе сидит кредитор, положил лапу на сбор и ругается, что гроши, да еще спасибо, что терпит, — у него исполнительный лист, мог бы привести судебного пристава.

— Дожди все унесли. Разве, когда были сборы, я отказывал? Дожди все унесли. Даже заложить нечего. Булавка, вы сами театральный человек, понимаете: это мундир, символ. Снять ее — все равно, что публиковать в газетах: прогорел, банкрот, конец антрепризе...

Все, что говорил антрепренер, была правда, и Каирова-Нельская понимала, что правда, но не могла примириться, что правда. Она судорожно мяла в руке синенькую и зелененькую бумажки и шептала:

— Восемь рублей... Ну а тридцать пять я откуда возьму? Восемь, а мне надо сорок три...

Антрепренер с искаженным лицом, со слезами на глазах сорвался со стула таким искренним движением отчаяния, какое никогда не удается даже самому великому артисту на сцене, а если бы удалось, то стены театра развалились бы от рыданий и аплодисментов, — беспомощно взмахнул руками и быстро пошел от актрисы. Она поняла, что гнаться за ним бес-

полезно: человек выпотрошен дочиста, — и только бессильно выругалась ему вслед. Нужда проклинала другую нужду. Нищета ненавидела другую нищету — зачем обнищала!

Каирова-Нельская осталась сидеть у столика, понурая, пришибленная. Наблюдавший за нею издали средний господин видел, как спешно моргают ее покрасневшие глаза, кривятся тонкие губы, втягивается в худые щеки длинный, узкий нос. Она была готова разрыдаться, но овладела собою, судорожно обмахнула лицо платком, приободрилась, встала и пошла... Средний господин снял котелок и держал его наотлете.

— Имею честь кланяться... Лидия Юрьевна!.. вы меня не узнаете?

С растерянного лица актрисы мгновенно исчезли все следы волнения, и все оно заиграло казенным, безразлично-улыбающимся, сладко-любезным выражением — маскою людей сцены, когда они соприкасаются с безразличными им людьми публики.

Средний господин любезно журчал:

— Позвольте о себе напомнить... Встречались с вами лет десять тому назад — у Арсеньевых... Помните Софью Валерьяновну Арсеньеву? В гимназии вместе учились... Так вот-с... я ее супруг... Тихон Гордеич Постелькин... Я ее супруг...

Лицо актрисы озарилось все тою же казенною радостью, только градусом выше:

— Боже мой! Ну конечно! — воскликнула она, подавая руку в довольно заношенной и уже штопанной перчатке. — Еще минутка, — и я вас отлично узнала бы... Так вы муж Соньки? моей Соньки?.. Ах, милая! толстая! славная... Ну где она? Как она? Что она? Расскажите, расскажите... Я так рада о ней слышать. Соня! Душечка Соня! Мы были такие друзья... Рада, необычайно рада вас встретить, Егор Авдеич...

— Тихон Гордеич, — едва успел вставить Постелькин в поток слов, которые актриса выбрасывала, как машина показной радости — добросовестно, как машина, и бесстрастно, безразлично, как машина.

— Тихон Гордеич, — поправилась сбившаяся машина и затрещала далее, далее...

— Как это вы попали к нам в сад в такую погоду? — спрашивала Лидия Юрьевна пять минут спустя, сидя с Постелькиным за тем же столиком, на котором, однако, теперь возвышалась бутылка шампанского. Буфетчик ходил на цыпочках и смотрел во все глаза: шампанское в умирающем саду давно уже не было в спросе.

— Да что же-с? Приехавши сегодня из города Дуботолкова. Многих знакомых в Москве не имею. Надо же куданибудь деваться, вечер убить... И вдруг — такая неожиданность... чрезвычайно приятная встреча... Но только... — он поежился, оглядываясь кругом, — надо сожалеть, что у вас здесь так пустынно и... и даже холодно...

Лидия Юрьевна отвечала с гримасою отвращения:

— А! Уж и не говорите! Мерзкая погода, мерзкие дела, мерзкие люди... Одно отчаяние!..

Постелькин кашлянул...

— А вы, Лидия Юрьевна, как прекрасно играли сегодня...

— А! Что там играть? — неожиданно искренним звуком вырвалось у актрисы. — Балаган, ломанье... Не надо об этом... если бы вы меня в моем настоящем деле видели... в драме, в комедии... А это — так... фуксом, для прокорма бренного тела в голодный сезон... О-о-ох! Только что-то уж очень много их наступает, этих голодных сезонов... Начинаю даже забывать, бывали ли сытые... И такое иногда мне сдается, что — которые будут сытые — ау! уже не для меня... Выхожу в тираж!.. Использованная марка, как говорил когда-то Макс Квятков-ский... помните его?.. Объект погашения!

Постелькин опять скромно кашлянул.

— Я, Лидия Юрьевна, так счастлив, что имел удовольствие вас встретить... И так желательно продолжить... вспомнить, поговорить...

Она взглянула на него насмешливыми, проницательными, кокетливыми глазами Лидии Мутузовой былых, молодых времен:

— Так, так и так, что вы приглашаете меня ужинать в «Эрмитаж»? не правда ли? Et patati, et patata? *

— Если позволите, — обрадовался Постелькин, — именно таково было мое намерение, но — извините — как будучи застенчив, я не умел выразить... Будьте милостивы не гневаться...

— О, помилуйте! За что же? Это совсем не так необыкновенно, как вы думаете... Но, если я приму ваше приглашение, господин Постелькин, то — как же? Сонька-то на этот наш ужин не обидится ли? Сонька-то, Сонька-то что скажет?

Постелькин улыбнулся весело, хитро и смело:

— Что поминать-с! Мы в Москве, а Софья Валерьяновна в Дуботолкове...

— Следовательно, семь рек вы уже переехали и от супружеской верности свободны? Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха! За ваше здоровье-с.

— Ха-ха-ха! Merci... Хорошо, едем ужинать в «Эрмитаж»... И тра-та-та! и тра-та-та!.. Не все ли мне равно? Вы хоть что-нибудь интересное расскажете... Слушайте! Что вы стали богатый человек — это я вижу: иначе вы не приглашали бы актрису ужинать... Но сейчас-то в кармане с собою денег у вас довольно? Смотрите! Я ведь, если разойдусь, разорительница...

Постелькин скромно улыбнулся.

— Авось выдержим.

Лидия сощурила на него глаза, — от актрисы в ней ничего уже не осталось, сидела смелая, наглая, вызывающая кокотка.

— Вот такие ответы я люблю. Стало быть, вы, мой друг, не из новичков? Всякие марки пробованы?

---

* Картошка да картошка? (*ит.*)

Постелькин пожал плечами.

— На что же и деньги?!

Уходя с ним под руку из сада, Каирова-Нельская у кассы окликнула антрепренера.

— Миша!..

— Мумуля?

— Пустите-ка меня на минутку, Тихон Гордеич... Миша, ты прости, что я так сердито с тобою давеча... В самом деле, уж очень к горлу подступило... деньги были нужны до зареза... Извини, голубчик. И восемь рублей, что поделился... спасибо... возьми назад... Твоей Ревекке нужнее...

— Мумуля, глупости... Мумуля, зачем же?.. Мумуля, я, конечно, очень благодарен, но ты... Мумуля, как же ты? — шептал смущенный и более чем когда-либо мокрый пудель.

Лидия указала глазами на спину скромно поджидавшего ее Постелькина.

— Мне не надо... у меня будут...

Антрепренер смотрел им вслед, как сели они в закрытую пролетку лихача, и горло его было стиснуто мучительным удушьем, а сердце горело жгучим ядом того бессильного, оскорбительного, гневного стыда, от которого у несчастных седеют волосы и сокращаются годы.

* * *

В номере «Эрмитажа» — не того знаменитого «Эрмитажа» с Трубной площади, где в Москве бывают все, но еще более знаменитого в своем роде «Эрмитажа» с бульварного подъезда, где бывают «пары», — было много и хорошо съедено, жадно и обильно выпито. Постелькин развеселился, как сытый кот. Лидия, довольная, чуть-чуть хмельная, валялась на диване позади стола с остатками ужина и ведерками, в которых мерзло шампанское, — звала и спрашивала:

— Итак, вы в своем Дуботолкове процветаете? Сразу видно. Великолепный вид имеете, откормлены на диво...

И одеты как джентльменски — большой и солидный шик пущен... Так-с!.. Бумажник-то хорошо набит, значит?

— Благодарю вас: живем, не жалуемся.

Постелькин приосанился.

— Состою гласным... на ближайших выборах ставлю кандидатуру в городские головы... просят!.. Надо послужить обществу... отказываться от мира нельзя!

— А не прокатят на вороных? — с язвительностью оскалилась на него Лидия.

— Не рассчитываю, — задумчиво протянул Постелькин. — Потому что — видите ли, между избирателями некому против меня быть. Так как, изволите ли понимать, которые, так сказать, черная сотня в большинстве связаны со мною по моим торговым операциям, и многие даже весьма задолжены по разного рода обязательствам...

— В кулаке, значит, округу держите? Понимаю! Молодчина! Так и надо! Это я люблю! Душите подлецов! Это я люблю.

— Не то что в кулаке, а разумеется — порядок нужен. Нельзя без порядка.

— Еще бы! еще бы!.. А уезд-то, должно быть, темный? Интеллигентной оппозиции нет?

— Совсем напротив, — обидчиво возразил Постелькин. — Наше земство даже очень просвещенное. Из первых в России. Дворянство у нас, правда, небогатое, но интеллигенции в оном сколько угодно. Из новых землевладельцев есть люди образованные, молодые купцы... Чрезвычайно какой развитой город!.. И уезд, и город... Но интеллигенции никак нельзя быть против меня. Первое, что я на школы хорошо жертвую, а главное — каждому в уезде известно, что я женат на родной сестре Бориса Валерьяновича Арсеньева... Согласитесь: не всякому это дано... и... и... и кого же они в состоянии мне противопоставить?..

— Разумеется, разумеется...

— Я, Лидия Юрьевна, не хвастая, скажу: я не только городу, всему уезду благодетель... Больница... школа... что прикажете!.. Потому что — очень немного оно для нас составляет — весьма даже ничтожный процент на весь оборот...

— Процвели! процвели, почтеннейший! даже завидно видеть, как процвели! А позвольте нескромный вопрос: это откуда же пошло расти — все с Сониных капиталов?

Постелькин поежился.

— То есть — как вам сказать? — сказал он не без гордости. — Я на Сонины капиталы никогда не рассчитывал. В то время, когда нам жениться, она ведь была вроде как проклятая от своего родителя, и из дома — вот вам мое честное слово — я ее, как говорится, в одной рубахе взял... Ну а потом... Валерьян Никитич в Париже в одночасье померли без завещания... Антон Валерьянович тоже окончили жизнь в безумном доме... Боря ушел в каторгу — так оно все к одному месту и сплылось... Соня вышла, действительно, как бы общая наследница.

— Стало быть, арсеньевское состояние теперь у вас в руках?

— Да ведь какое состояние... только что моя оборотливость... а то — руина!

— Ну, знаете, все-таки!.. Не знаю сколько — один, два, три, уж, конечно, не меньше, как с пятью нулями!

— Я теперь в Питер пробираюсь с большими хлопотами, — сказал Постелькин, пропуская замечание Мутузовой мимо ушей, — вот вы женщина, можно сказать, много испытавшая и знающая свет, посоветуйте-ка: оправдаю себя в своем намерении или нет? Изволите ли видеть: жена моя Софья Валерьяновна — последняя в роду дворян Арсеньевых... так я говорю или нет?..

— Позвольте, а Борис?

— Борис — жив ли, нет ли, никому из нас о том неизвестно... да он и прав лишен... стало быть, не в счет... да!

— Ну-с?

— Собираюсь искать в Питере, чтобы не дали угаснуть древнему дворянскому роду... Помилуйте! При Иване Грозном... при Дмитрии Донском... Разве можно?..

— Ангел мой, но если они вымерли?!

— Позвольте-с! Софья Валерьяновна Арсеньева не умерла-с, а, напротив, — находится в цветущем здравии, и она замужем, и имеет многочисленное потомство-с...

— Ах, вот что! Вы о передаче фамилии думаете просить? Это не пройдет, мой друг!

— Не для себя-с, ибо я, будучи природный мещанин и ныне купец второй гильдии, свои пределы понимаю-с. Но для детей. Помилуйте! Почему детям не быть Арсеньевыми? Хотя я, родитель их, к несчастью, есмь природный мещанин, но полагаю, что они родились совершенно так же, как бы и дворяне?

— Я уверена, что даже лучше... Что же? Дерзайте, валяйте... может быть, и достучитесь до своего — вы, я вижу, парень не без характера... Арсеньевы-Постелькины! Постелькины-Арсеньевы! Грандиозно звучит, ей-Богу! Пожалуй, кто-нибудь из ваших потомков еще в графы выслужится... Граф Постелькин... c'est magnifique! *

— Смейтесь, смейтесь, а дело-то серьезное!

— Чего серьезнее... И сколько же столбовых дворян Арсеньевых-Постелькиных имеете вы предложить отечеству?

— Детей у нас — восемь голов-с: мальчиков пять... женского пола — три-с: Наталья, Варвара, Агафья... И... Софья Валерьяновна опять в ожидании-с.

— Славно! Для десяти лет брака лучше нельзя... То-то вы и шляетесь в Москву ужинать с актрисами... Израсходовалась небось Сонька-то при этаком производстве? Уродище стала?

— Помилуйте! Зачем же? — обиделся Постелькин. — Конечно, годы... ну и располнели очень... Потому что спокойно живут, — дел никаких не имеют, даже и хозяйством не

* Это величественно! (*фр.*)

правят... Сестрицу мою, Варвару Гордеевну, может быть, изволите помнить?

— Еще бы!

— Так вот она-с... При детях няньки-мамки. Софье Валерьяновна нет решительно никакого беспокойства в жизни.

— Значит — носи и рожай, рожай и носи?

— Закон природы-с!

— Ну, милый мой, скверно мне живется на свете, а с супругою вашею даже я жребием своим не поменяюсь...

— Почему же? Оне довольны-с...

— Это не жизнь, а коровник какой-то!

— Скажете!.. Язычок-то у вас, Лидия Юрьевна, каков был, таков и остался... Вы да Максим Андреевич Квятковский, бывало, — ну просто стрелы нашего общества...

— Мало ли что бывало? Что было, то прошло. Есть только то, что есть. Есть Тихон Гордеич Постелькин — будущий городской голова города Дуботолкова. Есть Лидия Каирова-Нельская, актриса сада «Мое почтение», приглашенная оным Постелькиным ужинать, с расчетом поставить рога своей многорожающей, толстой, прискучившей и отдаленной супруге. Ну... и есть где-то в Ташкенте песчаный бугор, может быть, с крестом, может быть, и без креста, а под бугром — кучка костей: вот вам и Макс Квятковский!

— Царство небесное... умерли-с?

— Нет-с, не умерли-с, — со злобою передразнила Мутузова, — а околели-с... Под забором, как собака... в канаве... Когда умер, отчего, — никто не знает... Никто и не спохватился, как пропал из жизни человек... И тело-то нашли только потому, что из канавы вонять шибко стало... Я знаю! Я тогда в Баку с труппою была. Приезжие сказывали...

— Жаль Максима Андреича, — вздохнул Постелькин, — сердечный был человек... душевно жаль!.. С чего бы им так-с? Пили, что ли, очень?

— Разумеется, спился, спутался... ну и, знаете, тоже с головою у него что-то было... вроде Антона-покойника... А главное, — от тоски умер, от сознания, что жизнь прошутил, и никому не нужен, и никому до него дела нет... выдохшийся шут! клейменый! опозоренный! околевай как знаешь! Его этот каролеевский крах — помните, на всю Россию шум был? — и процесс потом, совсем доконали...

— Сказывали мне, будто фальшивые векселя его руки тогда в банках оказались?

— Какие там к черту — фальшивые? Что он, Макс, получал, что ли, по ним? Просто — покойнику Евграфу по дружбе бланки ставил, а тот учитывал...

— Сказывали, однако, будто и на графиню Палтусову...

— Да, и на графиню Палтусову — тоже... что тут было со стороны Макса-бедняги? Евграф говорит: «Напиши, а то кредит упал, через неделю выкуплю и уничтожим...» Макс для приятеля — на все... А приятеля — угоразди нелегкая, трое суток спустя с лесов свалиться и Богу душу отдать... Ну с него-то на кладбище взятки гладки, а Макса — на скамью подсудимых... Оправдать оправдали, потому что Плевако защищал, умел выяснить, что парень за дружбу погибает и ни копейкою не попользовался... Оправдали, но человек был покончен... Он тогда, говорят, прямо из залы суда на Хитров рынок прошел.

— Зачем-с?

— Находил, что теперь только там ему и место... Да и что, в самом деле? Родные не принимают, знакомые отворачиваются, руки не подают, участия ни в ком никакого... К Ольге Каролеевой пришел помощи попросить, потому что все с себя продал, жрать нечего... та ему через горничную пять рублей выслала... Вот еще, я вам скажу, цацочка-то вытанцовалась! Слышали, какую она теперь победу в Ницце одержала? За графа Буй-Тур-Всеволодова замуж выскочила! Сановница... черт ее подери! А Ру-

тинцев — личным секретарем его превосходительства или сиятельства... как его там, скота? Свиньи!

— Сказывала намедни Агафья Михайловна, что было такое известие.

— Агафья Михайловна?

— Разве забыли? Агафья Михайловна Ратомская, Владимира Александровича супруга...

— Ах эта! Ну что? где они?

— Нашего уезда землевладельцы... Первое, можно сказать, у нас по округу хозяйство...

— У Володи-то Ратомского? у поэта? Вот меняются люди! Не ожидала!

— Да им-то бы — где же? Нет, они себя от всего устраняют. Каковы были, таковы и остались... В кабинете сидят, стихи пишут, в журналах их много печатают...

— Читала! Белиберда! В декаденты не смеет, от стариков отстал...

— Вот вы как строго судите. А мы совсем напротив-с! В члены «Общества любителей российской словесности» недавно Владимира Александровича нашего выбрали... как же-с!.. Мы, которая интеллигенция, даже обед ему по этому случаю давали... всем Дуботолковом-с!.. Потому что, — как хотите, — из наших дебрей... лестно-с!.. Как же! Директор прогимназии чудесную речь сказал... многие даже прослезились... «То, — говорит, — нам особенно дорого в вас, высокоталантливый наш Владимир Александрович, что в наше буйное и развращенное время, когда бессмысленные мечтания безумцев, не получающих жалованья из государственного казначейства, развратно стремятся опрокинуть основы религии, общества и государства, и бушуют, — говорит, — зловредные бури, и ополчаются на столпы порядка песчаные смерчи, — в то самое время ваши, — говорит, — стихи остались нежным и девственным оазисом, на фиалках коего сладко отдохнуть нам, благонадежным слугам отечества, переутомленным неусыпным усердием к трудам государственной службы...» Очень, очень

красноречиво сказал!.. «Пью, — говорит, — за вас, дорогой наш поэт-дворянин! Пью, — говорит, — за ваше творчество! Пью, — говорит, — за вашу музу!»

— Это — кто же — Агашка, — что ли, музою-то оказывается?

Постелькин возразил с неудовольствием:

— Сами вы давеча сказывали, Лидия Юрьевна, что — мало ли какое бывало, а есть только то, что есть... Агашкою Агафью Михайловну поздновато дразнить. Истинно говорю вам: первое имение в уезде. Такой министр-баба вышла! У нас в уезде без ее совета мало что и делается... Право! Как Марфа Посадница какая-нибудь... так всеми и верховодит! Очень в большом у всех уважении и почете... Мужиков маленько слишком штрафами доезжает, ну и которых ссужает деньгами, либо хлебом, либо по инвентарю, так в проценте невыносимо жестока... но это что же-с? Дело хозяй-ское. Кто своему добру враг!

— Небось ребятишек тоже полон дом?

— Нет, Агафья Михайловна этого рукомесла не любят... Двое: мальчик и девочка... Забастовали! Оно — надо правду сказать, умно-с. Какие дети по нынешним временам? Цены-то растут, растут... Помилуйте: говядина одиннадцать копеек!.. Немыслимо!

— Вы у татар конину покупайте: воняет, но много дешевле.

— Мы с своим состоянием, даст Бог, и без конины проживем, но, вообще говоря, невозможно-с... Помилуйте! Какое теперь кому есть обеспечение в своей жизни? Владимир Александрович правы, когда времен наших не одобряют... Все вразброд пошло, все пошатнулось... какая у кого нонче есть уверенность в своем завтрашнем дне?.. Владимир Александрович теперь спать не лягут, не пощупав собственными руками, хорошо ли во всех ставнях болты держатся... Уж я и то ему смеялся: «Полно, мол, тебе дурака-то ломать и труса праздновать — атаманов-разбойников у нас в уезде нет». — «Да, — говорит, — а вдруг — революция?»

— А вы даже на «ты»?

— Еще бы! И имениями соседи, и в городе — домик Агафья Михайловна приобрели, — тоже соседи... Чего нам чиниться-то?.. Н-да-а... чудак-таки стал наш Владимир Алексадрович! Это — когда в соседнем уезде пошел,— может быть, слышали? — школьный разгром? Господин Кроликов там один такой у нас орудовал. Отличный был господин, не знаю, за что его увезли. Я, признаться, никаких за ним художеств не замечал. Поп что-то донес, что мяса не ест, в церковь не ходит... Оно, правда, вокруг этого господина Кроликова что-то вроде скита либо секты какой или общежития сложилось... Ну и Евлалия Александровна Брагина — сестрица Владимира Александровича — туда увязла... Так Владимир-то Александрович в Москву ускакал...

— Просить за сестру?

— Нет, — объясняться, что, мол, я с бывшею моею сестрою ни в каких близостях не состою, и неужели я могу пострадать за то, что она была моею сестрою? Ну там его успокоили, а у нас по уезду пошла ему кличка — «бывший брат»... И еще такая тут шутка вышла. Покуда он в Москву ездил, Агафье Михайловне Бог дочку дал. Приезжает Владимир Александрович — радостный: «Как назвали?» — «Евлалией...» Так он за волосы схватился, и слезы в три ручья: «Что вы со мною делаете? За что погубили? Пропал я! Все пропало! Это дерзость, вызов правительству, насмешка над властями...» Инда уж Агафья Михайловна рассердились и на него прикрикнули. Конечно, между ними — Агафьей Михайловной и Евлалияй Александровной — ничего общего нет и быть не может, но только оне Евлалию Александровну почему-то ужасно как в памяти своей обожают, и это было ихнее непременное желание, чтобы дочку Евлалией назвать... А Владимир Александрович девочку и посейчас не любят...

Лидия слушала с гримасою отвращения — скорбною и брезгливою.

— И это Володя! Это Ратомский Володя!..

Постелькин продолжал:

— Когда Евлалии Александровне начальство разрешило выехать за границу, то Агафья Михайловна и денег ей послали... у нее самой-то ведь гроша медного не осталось, все ушло в голода и недороды... Я и письмо писал от Агафьи Михайловны с просьбою деньги принять... Сама-то Агафьюшка наша — как была: пером водить по бумаге не бойка, а от мужа скрыла... Как же! три тысячи рублей! Только Евлалия Александровна семьсот взяла, а две тысячи триста назад вернула... И эти две тысячи триста у Агафьи Михайловны всегда на отдельном счету лежат. На случай, что Евлалии Александровне понадобятся... Такая уж странная ее симпатия!

— А Кроликов этот умер недавно где-то на севере, — сказала Мутузова. — У нас один артист получает немецкую газету, — я случайно прочитала... Он ведь известный был, там писали... От туберкулеза легких... Вы вот что скажите, — по-соседски, как было дело: жил он с Евлалией или нет?

Постелькин потряс головою.

— А ни-ни!

— А Брагин уверен, что да.

— Ни-ни-ни! Такое грешно даже и думать. Уж, знаете, мы в провинции посплетничать любим, а тут и случай был соблазнительный... На виду, как в хрустальном дому, они жили — и ничего-с! Работали в одном деле... только и всего!.. Не скажу, чтобы даже особенная дружба между ними замечалась... Все больше спорили... А вы господина Брагина давно ли изволили видеть?

— Года полтора назад.

— Как вас Бог свел?

— Да совершенно так же, как с вами... чуть ли не в этом же кабинете и ужинали...

— Может ли быть-с?!

— Разве вы думаете, что я способна прельщать только дуботолковских городских голов?

— Нет, не то, конечно, но... они теперь в такой славе!.. своя газета... говорят, сто пятьдесят тысяч подписки.

— Да, — небрежно сказала Мутузова, — налетел из Петербурга в наш театр, как бог какой-нибудь... целая свита! Какие-то прихвостни... Какие-то женщины... Летят деньги, льется шампанское... потом — льются слезы... Черт его знает! Тяжело с ним, милый человек... То — орет, что он талант, и совесть пропил, и в золоте похоронил; то — что никто его не понимает, а вот он — погодите — создаст такое новое слово в литературе, от которого мир ахнет... Горький Максим какой-то теперь появился... я не читала, не знаю... только Брагин его уж ругал мне, ругал, уж костил, костил... Как-то все выходило так, что два человека виноваты, что Брагину Россия заживо памятника не ставит: Евлалия, зачем убежала, и Максим Горький, зачем начал писать...

— Вот и Владимир Александрович тоже имени этого господина Горького слышать не могут... и даже Стенькою Разиным его зовут!

Мутузова продолжала не то с грустью, не то с отвращением:

— Обрюзглый, половина головы седая, в глазах красные жилки... и сердце — полное змей сосущих... Скажет удачное словцо — и в ужасе, если не смеются... Затем, кажется, и свиту свою таскает за собою, чтобы всегда иметь готовые аплодисменты... Веры в себя никакой, уважения никакого — весь сплетён из тоски и бахвальства... А шика много! Прислал мне после браслет, так я на него целый Великий пост прожила, покуда без ангажемента сидела... Вы такого, душа моя, не подарите!

— Этого вы предвидеть никак не можете! — любезно поклонился господин Постелькин. — Почем знать-с! Почем знать?

Лидия окинула его тусклым, скучным, насмешливым, злым взглядом:

— Ах, значит, глядя по заслугам? — сказала она, зевая и закладывая руку за голову. — Хорошо, постараюсь угодить... А что, господин дуботолковский городской голова, который-то теперь у нас час?

— Половина третьего...

— Ого!.. Как время пролетело... Погодите! Не лезьте! Дайте мне допить вино... И налейте еще... И еще... Assez!.. * Вот теперь все в меру и хорошо...

Лидия встала из-за стола с внезапным пьяным румянцем на худых щеках, с нехорошо заискрившимися глазами, с мрачною и вялою улыбкою на губах.

— На востоке теперь давно день, — сказала она, освобождая перед зеркалом от шпилек свои еще довольно густые и волнистые золотые волосы.

Удивленный Постелькин откликнулся:

— Да, разумеется... То есть, собственно... где это на востоке?

— А там... где они... Борис Арсеньев, Федос Бурст, Арнольдс... Арнольдсу поделом: всегда меня терпеть не мог и смотрел на меня, как бог на козявку... А Федоса Бурста мне часто жаль: славный был товарищ... Напрасно я его в мужья не скрутила!..

— Бориса больше всех их жаль, — глухо отозвался Постелькин.

Лидия насмешливо возразила:

— Ну уж это в вас говорит родственное чувство! Да-с, — продолжала она, беспечно покачиваясь на слабых, пьянеющих ногах. — Да-с! Нечего сказать: весело и умно разменялось наше старое и когда-то веселое, — помните, ведь было же весело? — общество... Ранние могилы... камеры сумасшедших домов... тюрьмы... места, где клубится бес-пре-дель-ный Енисей... дикие браки... спившиеся или спивающиеся таланты... и — pour la bonne bouche ** — средних цен садовая кокотка... Хорошо!.. Стоило жить поколению, черт возьми, стоило жить! Э, помогите же мне, наконец, стащить с себя это дурацкое фигаро...

---

* Довольно!.. (*фр.*)

** На закуску (*фр.*).

— Уж вы очень мрачно... — пробормотал Постелькин, исполняя ее приказ. — Не всем же так...

Она смотрела на него через плечо, злым, возбужденным взглядом с красного, мрачного лица...

— О, конечно... Я забыла... Вам повезло, вам... Агашке повезло... вам...

И она с голыми, бледными руками, хохотала — и хохотала долго, так что прыгали острые плечи и выдавшиеся бледно-желтые косточки на тощей груди...

Постелькин молчал, хмурился и думал с досадою: «Не уследил... эх, жалко... Позволил напиться... Пьяна...»

Но Лидия, как внезапно захохотала, так внезапно и перестала хохотать. Лицо ее отрезвело и снова покрылось тем шутливо-деловым выражением, полуласковым-полунаглым, с каким в саду «Мое почтение» приняла она от Постелькина ужин...

— Ну, что же, милый мой дуботолковский городской голова, — раздался голос ее, насмешливый и беспутный, — если уж вы непременно решились поставить сегодня бедной Соне рога, то и... черт с вами! soit! *

III

1901

Смерть тихо шла с востока к западу из города в город, из деревни в деревню и спокойною рукою гасила жизнь отходящего девятнадцатого века... И вот — вошла она в просторную белую хату глухого степного городка над Енисеем и — незримая — положила свой палец на стрелку часов, быстро бегущую к полночи. И часы начали бить, а век умирать. И когда часы начали бить, три человека, бывшие в хате

* Ладно! Пусть так! (*фр.*)

и следившие жадными глазами, как спешит роковая стрелка к полночи, встали на ноги — каждый из своего угла, где сидели за работою, — и подали друг другу руки.

— Век умер! — сказал один.

— Век умер, а мы живы! — сказал другой.

— С новым веком, с Новым годом! — сказал третий.

За стенами ревела и швырялась мерзлым песком дикая степная ночь, стучал мороз и волновалась черная тьма.

А трое — держась за руки — стояли и громко пели нестройными дрожащими голосами старый пушкинский гимн:

В глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье!
Не пропадет ваш честный труд
И душ высокое стремленье.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут, и свобода
Вас встретит радостно у входа.
И братья меч вам отдадут!

— Это уже прошло: сибирские руды! — весело засмеялся тот, который поздравлял с Новым годом, с новым веком. И был он седой, аж белый, и взъерошенный, и лохматый, и в пестрой, клоками седой, клоками черной, бороде, — а из-под черных бровей радостно горели черные молодые глаза. — Это, братцы мои, прошло, — осталось позади...

— Ну, положим, не очень-то позади, Боря! — так же весело отозвался ему, снимая со стены гитару, богатырь в свинцовых от проседи волосах, любовно хлопая его по плечу рукою грубою, мозолистою, черною, как конское копыто. — Не слишком-то далеко ушли мы от них, от сибирских руд... Взгляни за окно: не очень Ницца — все она, кому мать, а нам мачеха — Сибирь... морозная, бесснежная... б-р-р! сто лет буду жить, — не сживусь: варнацкая сторона.

— Федос! Неблагодарное существо! Вспомни, — еще пять лет назад...

Богатырь не дал ему договорить, ударил по струнам и запел разбитым басом:

Долго я звонкие цепи носил.
Душно мне стало в горах Акатуя...

— Да, это прошло, — сказал третий, лысый, с апостольскою бородою по грудь, с белыми усищами, с серыми, грустными глазами. Прошли кандалы. Прошли сибирские руды. Только вместе с ними и жизнь прошла, — вот что, мои милые. Из вас троих один я переломил пятый десяток, мне вчера исполнилось сорок пять лет. А ведь вы — оба — мальчики сравнительно со мною... И оба седые!

— Эх, Федор Евгениевич! — захохотал Бурст, — волос глуп: белеет, дозволения не спрашивается... Ни ма-лей-шей дисциплины! На волос не смотри, мехлюдию в душу не пускай...

Тесно в бочонке лежать омулям,
Рыбки, утешьтесь словами:
«Раз побывать в Акатуе бы вам, —
В бочку полезете сами...»

Арнольдс качал головою и твердил:

— Жизнь прошла, время прошло, поколение прошло... Ты, Борис, поздравил нас с новым веком. Спасибо, но нет во мне отзыва на твой привет. Я чувствую покуда только смерть старого века, чувствую себя, как в спальне, где только что умер любимый человек... То, что будет, уже не наше, и мы не его... Мы умерли с веком... Жизнь ушла!

Бурст захохотал и показал огромный кулак:

— Жизнь ушла? Нет, брат, это — меланхолия! У меня еще — видишь? — во! Полжизни не прожито... лет на сорок силищи хватит!..

— Да что горевать, если и ушла жизнь? — серьезно возразил Борис. — Я не чувствую, чтобы она ушла, по-моему —

тоже, как Бурст говорит: еще полжизни впереди. Но если бы и ушла? Времена наши, друг Федор Евгениевич, были таковы, что хорошо жить в них значило — хорошо умереть. В нашу молодость, кто хотел жить — скверно жил. Хорошо жили только те, кто хотел хорошо умереть. Мы умерли не худо. Мир нашему праху!.. Бурст! Голубчик! Что ты, Бурст?

По коричневым щекам богатыря текли крупные светлые слезы.

— Рухлечку милую вспомнил, — глухо всхлипнул он. — Жалко Рухлечку!

— Ты прав, Бурст, — серьезно сказал Арнольдс. — Это хорошая минута, чтобы помянуть ее. Женщины — лучшее, что имел наш печальный век. Вечная, вечная ей память!

— И вечная память, и, кабы вера была, сказал бы: со святыми упокой! — горячо отозвался Бурст, — потому что святее-то уж не бывает.

— Десять... одиннадцать... двенадцать... тринадцать... — вслух и по пальцам считал Борис. — Четырнадцатый год, как нашей дорогой Рахили нет на свете. Большой срок, братцы. Что у каждого из нас личной муки прожито, что личных потерь. Что близких утрачено и забыто. Где наши семьи? Где наши товарищи? Где люди нашей молодости? Без вести сравнялись с землею могилы их, и память о них для нас — как ветер над степным курганом... Но Рухля милая — точно мы над свежим гробом ее стоим... и память сердце разрывает, и слезы текут... вечное горе — будто горе вчерашнего дня!.. Ах, братцы, долго живет тот, кто хорошо умер! Слава и вечная память им — слава нашим хорошим мертвецам!

Бурст вытер глаза рукавами, ударил по струнам и запел дико и восторженно:

Сверкнула твердь
Огнем и светом:
Ступай на смерть!
Вся правда в этом!

Ступай на казнь,
В огонь и воду:
Гони боязнь!
Спасай свободу!

Борис говорил:

— Жизнь вечна. Жизнь не умирает. Но достойно жизни и будет жить только то, что не боится умереть... Не умрешь — не воскреснешь... Христианства не было бы без веры, что Иисус умер на кресте... И Он звал всех, во все грядущие века брать свой крест и следовать за Ним: без страха распинаться, умирать и воскресать... Помнишь ли ты, Бурст, как мы с тобой в Царицыне на лужайке философствовали о лопухах и фиалках, которые вырастут на наших могилах? Сказать откровенно, Арнольдс сейчас отчасти прав: конечно, мы в этой мурье — живые мертвецы, и изба сия в некотором роде гроб наш... Но аллегория моя не теряет силы, и мы сами не замечаем, как тлея для самих себя, живем уже для другого мира, заживо переливаемся в состав новых жизней, оплодотворяем будущее и... вот это — разве вот это уже не фиалка, выросшая на нашей сибирской могиле?

Он поднял со стола белый листок телеграммы, полученной Арнольдсом часа два тому назад...

Бурст усмехнулся, опуская свою гитару.

— Даже смешно, — сказал он, — вдруг получаем телеграмму из Женевы, и прямо в руки, нераспечатанную... Отвык от такой роскоши! Насладиться досыта не могу...

— Милая она — Евлалия Александровна! — с чувством продолжал Борис. — Спасибо, не забыла нас, прислала хорошие слова из своего прекрасного далека... Дай Бог хорошо встретить ей новый век!

— Да она уже встретила, — мягко отозвался Арнольдс, — там ведь на тринадцать дней раньше...

— Встретимся ли когда-нибудь? — тихо сказал Бурст.

Арнольдс промолчал. Борис тряхнул седою копною волос.

— Встретимся, — сказал он уверенно и вдохновенно. — Все встретимся!.. Жертвы не пропадают... Оне горят к небу своими воплями, и согревают воздух, и зажигают солнце, и зиму превращают в весну... О сколько, сколько их вознеслось туда и сгорело на вечном костре мировой правды, отдав весь свой свет, все свое тепло, чтобы росла энергия, чтобы рос он — огонь, который сперва разрушает, потом созидает... И я вижу, я слышу, как растет он, великий огонь... Слушайте: воздух уже трепещет его торжественным ревом... Летит с запада, летит пламенный вихрь, и сибирская зима тает под его дыханием, и растопляются решетки, засовы, замки... И будет великий костер, и будет великая весна свободных братьев-людей... О, мы здоровы, мы сильны, мы верим, мы любим, мы доживаем... А доживем, так и все встретимся! Все встретимся у великого костра...

— А встретимся, так вместе и поработаем! — подхватил Бурст.

— Поработаем! — весело сказал Арнольдс. — Ох, Борис, Борис! Оптимист ты великий! Умеешь ты словами поднимать людей...

— Не труни, Федя, не смейся над словом! Словом начался мир, словом он живет, со словом и кончится... Мертвые потому и мертвы, что нет в них слова: не слышат и не говорят... Наливай вино в стаканы, Бурст! Оно скверно, как весь этот городишко, в котором мы тлеем, но... даже я, я, в рот вина не берущий и чихающий от него, как кот какой-нибудь, хочу сейчас выпить с вами, братцы мои, за восходящий новый век и за его надежды!

— За общую встречу!

— За общую работу!

— За свободное будущее!

— За великий костер!

Вологда. 1903 г.
1 Июня
Рим. 1904 г.
25 декабря

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

ГЕРЦЕН

Читаю в русских газетах объявления о выходе в свет полного собрания сочинений Александра Ивановича Герцена *. Ну, в полноту собрания не очень-то верится, а все-таки, — «какой, с Божией помощью, оборот изумительный!» и какую быструю эволюцию переживает Россия, завоевывая новые прогрессивные пути и воскрешая старые прогрессивные предания! Всего пять лет тому назад, в тридцатилетнюю годовщину кончины А.И. Герцена, лишь одна петербургская газета (покойная «Россия») осмелилась наполнить очередной номер статьями, посвященными памяти великого публициста, за что и подверглась жестокому выговору в цензурном ведомстве. Впрочем, не могу — с другой стороны — умолчать о странном разговоре ex officio **, который я имел за год перед тем (в 1899 г.) в том же цензурном ведомстве с тогдашним начальником главного управления по делам печати М.П. Соловьевым. Это был человек странный, суровый и страшный для периодической печати; он гнал ее систематически, с твердым убеждением и с полною откровенностью. Болез-

* Сочинения А.И. Герцена. В 7 т. Изд. Павленкова. 1905 г. Ц. *12 руб.*
** По обязанности, по службе (*лат.*).

ненно настроенный, но острый и как бы чем-то издавна озлобленный ум, мистический образ мыслей и соответственное, крайне своеобразное, схоластическое образование делали его лютым врагом демократической современности, опаснейшее орудие которой он усматривал в ежедневной прессе. Наоборот, к книге М.П. Соловьев питал уважение и не имел ни политического страха, ни политической ненависти. Всякий раз, что я — человек газетного дела — должен был видеться и объясняться с М.П. Соловьевым, я чувствовал себя пред врагом принципиальным, беспощадным, неотступным, почти механическим. Упрямо и мрачно твердил он свою излюбленную инквизиторскую идею:

— Моя цель — выжить из периодической печати дух своеволия и сократить число существующих газет до minimum'a. Газета — яд. Газета — орудие демократического невежества. Она взбалтывает и развращает мозги. Она отучает читать, мыслить, образовываться. Она создает грамотную толпу. Она отняла у общества книгу. Пишите книги. Я ничего не имею против книг. Те самые идеи, за которые я закрою газету, я спокойно пропущу в книге. Потому что книга идет в настоящую мыслящую публику, а не в толпу. Книга — монумент мысли. Собственно говоря, вредных книг нет. Я стою за самый снисходительный пропуск в публику серьезной, талантливо написанной книги. Если бы это дело всецело зависело от одного меня, я разрешил бы к обращению решительно всякую толстую книгу и, тем более, многотомные работы...

— Так вот, ваше превосходительство, — заметил я, злой, измученный бессилием спорить с этою обидною и властною проповедью непоколебимо убежденной тенденции, — так вот, вы бы нам Герцена разрешили, наконец, — а? Мы так давно его дожидаемся...

Соловьев язвительно устремил на меня свой одинокий, здоровый глаз и возразил невозмутимо:

— Герцена? Я не имею ничего и против Герцена. Павленков обращался ко мне, — я отвечал, что согласен. Дело споткнулось и затормозилось в министерстве, наверху... Там к нему — мистический ужас... стихийное предубеждение...

И он неопределенно махнул рукою.

Итак, мистический ужас рассеялся, стихийное предубеждение пало. Полувековой изгой, Герцен обратно перешел русский рубеж и, хотя в дырах, прорехах и заплатах, но — одним литературным классиком первой величины стало больше в нашем отечестве, слишком небогатом сильными публицистическими талантами и громкими публицистическими именами.

Несмотря на дыры, прорехи и заплаты, несмотря на слишком запоздалое свое явление большой русской публике, Герцен, конечно, будет принят в России с распростертыми объятиями, с энтузиазмом уже на веру и, — что лучше всего, — на веру не тщетную: она получит вознаграждение щедрое и прекрасное. Будем искренни и откажемся от идолопоклонства! Нет публицистики, которая бы не старела, нет трибунов, которые бы не линяли в потомстве своими яркими перьями, ослеплявшими современников до гипноза непогрешимости. Несколько лет тому назад, кажется, все при том же Соловьеве, Павленков получил право переиздать сочинения Д.И. Писарева: имя — запретное, как Герцен, и в своем роде не менее громкое. Первое издание Писарева Павленковым было расхватано публикою чуть ли не в один день, но второго не понадобилось: век слишком опередил публициста, пролежавшего под спудом двадцать пять лет, — Писарев русской мысли остался позади — человеком прошлого: блестящим памятником личного таланта и интересной культурной эпохи, но уже не учителем, не пророком. А время нуждалось в пророках и учителях. Ни у Добролюбова, ни у Чернышевского, ни у Михайловского, ни у Шелгунова нет недостатка в страницах, клонящих читателя в 1905 году на сон и зевоту

по причинам — неизбежным, но от авторов не зависящим: их интерес, соль, задний и междустрочный смысл съело время. «Что делать?» для нас полно архаическими наивностями, вызывающими улыбку, и откровения старика Белинского слишком часто — лепет в детской: тот голос первопробужденного и первобытного общественного сознания, который, по пословице, глаголет истина устами младенцев.

Вот эта-то публицистическая угроза — устарелости — и не страшна Герцену, несмотря на то, что он предстанет России почти столетним стариком по возрасту человеческому и добрых семидесяти лет по возрасту литературному. Она опасна только для юных произведений Искандера, появлявшихся еще в России, до эмиграции автора, и, в особенности, для его беллетристики. Здесь устарело все: язык, типы, ситуации, литературные приемы. «Кто виноват?» жестоко разочарует читателя, подготовленного к восторгам громким именем романа, десятки лет окутанного тайною, и даже интерес доктора Крупова окажется ниже его славы. Все это — беллетристика до Тургенева, что для нас почти равносильно — до потопа. Герцен не имел беллетристического таланта, и в повестях его хороши и значительны только те страницы, где он, отбрасывая в сторону условные требования старинной художественности и традиций «хорошего литературного вкуса», дает полную свободу могучей силе своего публицистического ума и покоряет читателя неотразимой логикой своих блестящих силлогизмов. С этой точки зрения, для любителей мастерской диалектических и изящных построений будут интересны даже такие, в общем отжившие свой век почтенные ветераны общественной мысли, как, напр<имер>, «Дилентантизм в науке» и т.п. Возвращаясь к беллетристике Герцена, надо резюмировать такую формулу: умная, рассудочная, убежденно тенденциозная, она прекрасна всюду, где Герцен — социальный учитель, и слаба всюду, где он пробует быть художником. Герцен — один из самых блестящих стилистов рус-

ской литературы, но только не в беллетристике. Здесь его слог лишен оригинальности, скован рабскою подражательностью то Пушкину, то Гоголю. По языку, «Кто виноват?» — в лучшем случае — современник, но довольно неудачный, «Пиковой дамы» и на много лет отстал от изящной свободы, силы, меткости и глубокого хаоса «Героя нашего времени».

Говорил он лучше, чем писал:
Оно и хорошо, — писать не время было! —

характеризовал Некрасов Грановского, одного из значительнейших культурных сотрудников Герцена, кончившего жизнь, впрочем, в остром идейном разрыве с последним: Грановский, хотя и западник, шел вперед, покуда не уперся в рубеж идеалистического миросозерцания и — остановился стоять на нем как человек, не смеющий переступить порога, а Герцен с Огаревым порог нетерпеливо перешагнули и пошли к новым материалистическим светам — вперед и вперед, следуя за неудержимым ростом западной позитивной науки. Эта сцена — идейной ссоры и нравственного разрыва с Грановским — одна из самых сильных и глубоких в «Былом и думах»: она потрясает вдумчивого читателя трагизмом страстной отвлеченности, которая была так свойственна нашим дедам и которой так мало у внуков. Это — столкновение не житейских людей, но целых мировоззрений, поглотивших в себя живые индивидуальности; это — катастрофа в Платоновом мире идей.

Характеристика «говорил он лучше, чем писал», относится и к Герцену в том подготовительном периоде деятельности, который он скитальчески отбывал в Вятке, Владимире, Новгороде, Петербурге и подмосковном Соколове то ссыльным, то поднадзорным литератором-западником с завязанным ртом. Прямо поразительны колоссальный рост и быстрое даже не развитие, а бурное стремление вперед герценова та-

ланта, как скоро он очутился в Европе, в условиях свободного слова и свободной прессы. Между Герценом в русском периоде творчества и Герценом заграничным, Герценом «С того берега», «Былого и дум», «Полярной звезды» и «Колокола» — такая широкая пропасть, что, не знав биографии Александра Ивановича, можно бы подумать, будто она создавалась десятками лет. Твердая определенность его общественно-политической программы, — вспыхнувшей шиллеровским огнем еще в пятнадцатилетнем мальчике, который на Воробьевых горах в Москве, рука в руку с таким же шиллеровским отроком Огаревым, дал под открытым небом «Аннибалову клятву» посвятить жизнь освобождению русского народа от произволов обветшалого, военно-полицейского, крепостного государства, — облеклась теперь в красоту несравненной ясности и силы слова, в ослепительный блеск сатирического огня, в глубокую и трогательную музыку тяжело выстраданного пафоса. Герцен — отец и основатель русской художественной публицистики. И — как Пушкин в стихе и Глинка в мелодии — он остается до сих пор не только не превзойденным, но и ни разу не достигнутым образцом вдохновенного риторства пером по бумаге, «черным по белому», к которому вот уже пятьдесят лет стремятся и русская передовая статья и русский фельетон. Кто изучал историю искусства, знает, что школа Микеланджело отличается от творений самого Микеланджело преувеличениями мускулатуры, так что иногда фигура кажется вздутою опухолями и шишками, при том в самом странном и неожиданном размещении. Причина разницы в том условии, что Микеланджело знал и неутомимо изучал анатомию и, сурово подражая ее законам, переносил в искусство наблюдения живой природы; последователи же его, в благоговейном восторге к гениальному maestro, анатомию забросили и вместо живого тела изучали могучие мраморные тела, сотворенные вдохновениями отца школы. Нечто аналогическое наблюда-

ется и в русских подражателях Герцена: всем им без исключения недоставало глубокого и страдальческого знания анатомии русской жизни, которое унес с собою за рубеж великий изгнанник. И — хотя за тридцать пять лет, отделяющих нас от смерти Александра Ивановича, «под Герцена» рядились многие, — Герцен не повторился.

Жизнь Герцена слагалась так бурно, страстно, мучительно-беспокойно, что, вникая в страницы «Былого и дум», читатель бывает сперва изумлен, а потом, неизбежно, глубоко умилен и тронут неисчерпаемою бездною добродушия, какою пропитаны все личные воспоминания этой грандиозной книги — «царицы автобиографий». Все свое негодование, всю муку горьких слов, все пламя слез и проклятий Герцен, как великодушный богач, — без остатка для себя, — тратит на общественно-политической арене. В домашнем обиходе он обращается к этим оружиям лишь тогда, если его личная беда или горе являются роковым результатом политического строя, который он расшатывает. Таков, например, потрясающий эпизод болезни Натальи Александровны в Петербурге, — она недавно родила и кормила, когда Александр Иванович, внезапно и совершенно беспричинно, получил вызов к грозному Дубельту; вызов был сделан в самой грубой и шумной форме, — молодая женщина перепугалась до полусмерти, и результатом были тяжелый недуг ее самой и кончина ребенка. Черный призрак этих страшных дней преследовал и угнетал Герцена всю жизнь до гробовой доски. Но вообще-то трудно вообразить характер более счастливого устройства, более бодрой, выносливой и жизнерадостной философии, чем природа послала Герцену. Он в литературе нашей — самый типический представитель того личного оптимизма, что лежит, как благодетельная закваска, в глубине нашей великорусской натуры, помогая русским людям улыбаться и шутить даже на дыбе, как Кикину, и в муке смертной, как Стеньке Разину. Герцен вошел в жизнь с шиллеров-

скою одою «К радости» на устах и пронес этот восторженный гимн о достоинстве человека и прелести человеческого существования до могилы, сквозь десятки лет испытаний и разочарований, семейных драм и бед, разрывов, потерь. «Он в этот мир пришел, чтоб видеть солнце» и разгонять тучи, которые мешают солнцу светить для человечества. Тучи, сгущавшиеся вокруг него самого, он принимал с веселым и гибким стоицизмом «испанского дворянина», оправляясь от личных несчастий, — извините за вульгарное сравнение! — с быстротою и устойчивостью хорошо уравновешенного Ваньки-встаньки

«Я, ваше благородие, человек легкий, а то бы мне и не жить!» — говорит Гришка-портной в очерке Щедрина. Природа милосердна: история создала русскому человеку столь несносные условия существования, что понадобился психологический корректив — и выработалась столетиями та упругая русская «легкость», что одинаково помогает жить и гениальному, блестящему Герцену, и захудалому Гришке-портному. И, когда из характера русского человека беспощадная жизнь успевает вытянуть насосом своим эту спасительную «легкость», Гришка-портной прыгает с колокольни, Александр Пушкин идет умирать от пули Дантеса, Глинка спивается, Гоголь заключается в мрачный, самоужасающий мистицизм, заменяя, как суррогатом, смерть физическую нравственною смертью заживо...

Герцена спасло от трагедии русского таланта, с истощенною «легкостью», огромное поле политической борьбы, наполнившей завидною целесообразностью все дни его пестрой жизни. Наблюдая Герцена как частного человека и Герцена в деятельности, вы убеждаетесь, что он в своем роде Янус двуликий. Всю свою мягкую «бесхарактерность» он оставлял дома, а на общественную арену выносил характер — боевой, несокрушимый, упругий, как толедский клинок. Быть может, тут имела значение примесь германской крови, уна-

следованной Герценом от матери. В частном быту Герцена проскальзывали атавистические черточки старого барского рода Яковлевых, которых последнее вельможное поколение — своего отца, дядю-«Сенатора» и дядю-«Химика» — Александр Иванович увековечил в первых частях «Былого и дум». В политике — он тот живой, практический, светлоголовый и, как по рельсам, прямо и смело катящийся Штольц, которого Гончаров ставил в урок и укор русским Обломовым, но Штольц, исправленный гуманизмом самой высокой, тонкой, теплой и изящной красоты, Штольц, весь сотканный из любви к свободе, правде и благу человечества.

Выше я говорил, что Герцен не был художником-беллетристом. Его острый и трезвый ум был лишен элемента выдумки, — он не любил, не умел, скучал возводить в перл творения отвлеченные художественные замыслы. В одном своем предисловии он сам говорит: «Этой повести суждено остаться неконченною, потому что я утратил простодушие, необходимое, чтобы ее написать». Но никто в русской литературе не умел ярче Герцена описать, рассказать и заставить прочувствовать действительность, никто не дал столько художественных исторических картин, полных одновременно психологической правды Веласкеса и романтической красоты Делакруа. Никогда не прекрасен так Герцен, как — преклоняясь пред героем свободы и создавая ему пламенный апофеоз. Его Гарибальди, Мадзини, Ворцель, Орсини, семья Фохтов, Прудон — бронзы, отлитые для вечности, и принадлежат не одной русской, но всемирной литературе. Из всего, что мне случалось читать о Гарибальди, герценово описание его лондонских дней, несомненно, остается на первом месте — по огню, искренности, благородству, смею выразиться: по святости энтузиазма. Таковы же и русские портреты герценовой кисти: Белинский, Вадим Пассек, Станкевич, Киреевские, Константин Аксаков, Грановский. Герцен — один из немногих мемуаристов, умевших рассказать свою жизнь

не в личной, себялюбивой живописи, но в живых лицах. «Былое и думы» — непрерывное действие с кинематографическою сменою новых и новых актеров, из которых каждый — цельно и мастерски воплощенный тип. От Бенкендорфа до сторожа на прусской таможне, от Бакунина до трактирщика в вольном Фрибурге — все вылеплены с одинаковым искусством, с силою правдоподобия и экспрессии, поразительных в таком быстром и размашистом творчестве.

Когда общественная жизнь вызывает Герцена к протестам негодования, ненависти, презрения, он страшен: он, если не убивает насмерть, то клеймит до гроба и за гробом — на веки вечные, покуда жива история и человечество слышит ее голос. Гоголь в криках и хохоте отчаяния написал ужасный общий фон — пустыню «Мертвых душ» и «Ревизора», где, как Агарь, задыхалась дореформенная Россия. Герцен докончил картину Гоголя, написав на его фоне исторические фигуры эпохи. Когда Герцен говорит о царствовании императора Николая I, вы чувствуете в нем фантастический ужас вдохновенного Гойи, — он окружен воспоминаниями, как отвратительным хороводом вампиров, ведьм, кривляющихся привидений, и — чтобы разогнать ночное дикое сонмище — гневно и страстно бьет в «Колокол», — да сгинет шабаш мрака и да воссияет светлый день! Vivos voco, mortuos plango *, — этот девиз средневекового колокола применял Герцен к своему знаменитому журналу. Он мог бы договорить девиз до конца «fulgura frango» **: «Зову живых, оплакиваю мертвых и сокрушаю молнии». Потому что — кто же сокрушил больше молний и рассеял больше черных грозовых туч над головою русского общества, чем Герцен в «Полярной звезде» и «Колоколе»? И одною из этих рассеянных туч была великая, все четыре стороны русского

* Зову живых, оплакиваю мертвых (*лат.*).
** «Сокрушаю молнии» (*лат.*).

мира омрачавшая туча крепостного права. Немало добрых топоров рубило по стволу этого заклятого, многовекового дуба, но топор Герцена был самый острый и рубил всех глубже, в корень. Конечно, Герцен — один из главнейших виновников освобождения крестьян с землею. «Колокол» был настольным у Я.И. Ростовцева, в нем искал справок по крестьянскому вопросу император Александр Николаевич — государь, к которому в 1858 году социалист Герцен обратился — несколько преждевременно! — с знаменитым воплем: «Ты победил, Галилеянин!» Отношения Герцена к личности императора Александра II, резко колебавшиеся в соответствии барометрическим скачкам неустойчивого «царствования полуреформ», более чем любопытны и достойны самого тщательного изучения, и время изучения теперь — с освобождением Герцена из-под цензурного спуда — наконец, наступает.

Из-за рубежа, опальный, воспрещенный даже к упоминанию имени, изгой умел стать и быть государственною силою. Со звоном «Колокола» почтительно считались решительно все русские правительственные и общественные учреждения и пружины пятидесятых и шестидесятых годов. Известно, как император Александр Николаевич определил разницу между Герценом и Долгоруким, издателем другой заграничной газеты «Будущность»: «Долгорукий только ругается, а Герцен часто дает нам дельные мысли». Все свое влияние на русскую публику Герцен проиграл покровительством польскому восстанию1863 года. Дозрев сам до отрицания всех исторически выращенных, искусственных граней человечества, во имя всемирного гражданского союза рас, племен и народов, он не рассчитал, что Россия еще не доразвилась до той же точки зрения космополитических свободы, равенства, братства, — и нашел камень преткновения в национализме, искусно пробужденном в тогдашнем обществе усилиями и талантом другого знаменитого русского публициста — М.Н. Каткова.

Последний в то время только что свернул с пути прогрессивно-обличительного на путь реакции и усердствовал в ней со всем рвением фанатического неофита.

С другой стороны, не угодив на массы националистически настроенного среднего читателя польским вопросом, Герцен, — по долгому отсутствию своему из России, к тому же резко измененной переломом александровских реформ,— неожиданно для себя, оказался и на левом фланге в арьергарде общественного движения. Диктатура передовой мысли ушла от него к редакциям «Современника» с Добролюбовым и Чернышевским и «Русского слова» с Писаревым и Зайцевым. Русские революционеры и в отечестве, и за рубежом были недовольны лондонским изгнанником, с обычным ему трезвым здравомыслием отвергавшим крайние планы, для которых русское общество в то время, действительно, далеко еще не было готово, даже в наиболее интеллигентных слоях своих, в пользу реформ, возможных и назревших по времени. Герцен очутился в немилости даже у молодежи. На него сыпятся обвинения в старости, в непонимании новой русской жизни, в постепеновщине, в барстве и — наконец — двумя-тремя сомнительными личностями пускаются скверные сплетни о его якобы денежной недобросовестности. Конечно, клеветы последнего пункта обвинения разбивались вдребезги не только о репутацию Герцена, но и об его фактическую отчетность, тем более что он был человек очень богатый: он много потерял чрез конфискацию имущества; но старания русского правительства при Николае I совершенно лишить Александра Ивановича причитающихся ему фамильных доходов не имели успеха по энергическому противодействию, оказанному парижским Ротшильдом; Герцен очень смешно рассказывает эпизод этот в «Былом и думах». Но надо иметь счастливый, олимпийски светлый, эллинский характер Герцена, чтобы переносить измены и утраты друзей, разочарования, интриги, предательства, с его красивым спо-

койствием, с его проникновенною снисходительностью. Одним из памятников этих драгоценных свойств герценовой натуры остались воспоминания А.И. о супругах Энгельсонах. При всем своем добродушии Герцен был далеко не слеп по отношению к среде, его окружавшей, и не только либеральными декламациями, но даже и поверхностным либерализмом действия купить его симпатии в крепостную зависимость было нельзя. О том наглядно свидетельствуют его характеристики Николая Сазонова (полная грустного юмора повесть о том, как один богатый Рудин выродился в нищего и пьяного Обломова), русского иезуита Владимира Печерина, лондонских рефюжье и фанфаронов французской эмиграции. Строгая святость конституционного уклада Англии приводила Герцена в восторг. В высшей степени поучительны в этом направлении его статьи о политических делах в английском суде. Но восторг никогда не ослеплял Герцена до паралича критики. Этот человек был врагом непогрешимых авторитетов, все равно, в идеях ли, в учреждениях ли, в деятелях ли, в ближайших ли друзьях. Он нежно любил Грановского, Огарева, Бакунина, но — дружба дружбою, служба службою, и, когда звал голос политического убеждения, он выступал против друзей своих, как сторонний обличитель и беспощадный полемист.

Великий человек в фемиаме долгого культа часто превращается в бога на пьедестале, в свой собственный монумент, воздвигнутый по общественной подписке. Он так облекается репутацией идейного совершенства, что за нею совершенно исчезает человек. Так, до самых последних лет мы имели монументального Пушкина, монументального Белинского, монументальных Гоголя с Лермонтовым, и лишь в девяностых годах прошлого столетия начались попытки возвратить их из условного состояния «бронзовых мужей славы» в живую плоть и кровь. Вот состояние, совершенно невозможное для Герцена: его нельзя поставить в статуар-

ную позу неподвижного бога не от мира сего, — он слишком человек, всегда, во всем земной, близкий, теплый, осязаемый и живой человек. Когда его портрет висит на стене, с ним можно разговаривать мысленно целыми часами, как с любимым собеседником, как с дорогим другом, но не приходит желания запереть его в божницу. В 1901 году я поднимал вопрос, ныне возобновленный «Сыном Отечества», что пора бы русскому обществу перевезти в Россию прах великого изгнанника и успокоить родной земле кости, одиноко зарытые на старом кладбище в Ницце. Несколько месяцев тому назад я посетил могилу Герцена и долго вглядывался в его статую, воспетую Надсоном. Могила содержится довольно неряшливо, а памятник плох, хотя статуя — будь она иначе поставлена — была бы хороша. Дело в том, что художественный инстинкт скульптора не позволил ему отлить бронзового Герцена в сверхчеловеческие размеры, каких требует монументальная перспектива; Герцен изображен в естественный рост. Но высокий пьедестал скрадывает величину фигуры, и поэтому, когда смотришь на нее снизу вверх, бронзовый Герцен кажется приземистым карликом. Эта художественная случайность показалась мне глубоко символическою. Она живо передает то характерное, чем полон был живой и остается полон литературный Герцен. Нет в русском пантеоне великого человека, который менее Герцена требовал бы разглядывания снизу вверх и годился бы для этого подобострастного процесса. Герцен — писатель-друг; он ждет, чтобы друг-читатель подходил к нему вровень. И именно это отсутствие божественной позы, это простодушное равенство гения в человечестве со всяким ему внемлющим сыном земли и делает Герцена таким близким, доступным, понятным и дорогим для его читателя.

В Герцене совсем нет той снеговой безупречности, что делает альпийские вершины такими сверкающими и такими

холодными. Герцен никогда не был гордым и самодовольным фарисеем; он спотыкался, он падал, как мытарь, и, как мытарь, умел сознавать свои падения и искренно в них каяться. Я люблю его в грехах его, потому что нет ничего трогательнее чувства глубокой, почтительно-скорбной, любящей виноватости, которою он окружил и обессмертил нежный образ своей Натальи Александровны. Я люблю его в легкомысленных переходах от тяжелого горя к резвому веселью, в его широкой и малоразборчивой фамильярности, в его шампанском, которым столько попрекали Герцена пуристы демократии, в его неловких и щекотливых дружбах, в его, как сказал Л.Н. Толстой, «постыдных ты», которых у Александра Ивановича было вряд ли меньше, чем у Стивы Облонского. Я люблю его маленькие тщеславия, самодовольство собственным остроумием, щегольство большим образованием, странные заголовки и эпиграфы на всевозможных европейских языках, которых не понимало девять десятых его публики. Люблю его спешные характеристики и великодушные ошибки в людях, ревнивые капризы и властность дружб, комическую слабость мешаться «не в свое дело» и вечно истекающие отсюда просаки. Люблю в нем, словом, цельность человеческой натуры, со всеми ее красотами и слабостями:

Не называй его небесным
И у земли не отнимай!

Да, он был земля и глубоко понимал землю. Подобно Фаусту, он отрекся вызывать страшного, отвлеченного Макрокосма, неохватимого мыслью человеческою духа мировой системы, и предался Микрокосму, могучему и практическому духу земли, в звездной ризе, еженощно трепещущей живыми надеждами над головами усталого человечества. Но Герцен не испугался живого огня, которым дышит вели-

кий дух: он ринулся в этот священный пожар, как страстный любовник пламени, и сам стал — весь пламя! Поразительны энергия, темперамент и строгая целесообразность действий этого человека в слабом, ноющем веке «лишних людей», которому он принадлежал как современник! Поразительны чутье и сила, с какою Герцен, при огромной философской начитанности, умел, однако, не заблудиться в гегелианских туманах, окутавших русское интеллигентное поколение тридцатых и сороковых годов, от кружка Станкевича до «Гамлета Щигровского уезда» включительно. Где другие благоговели — audite verba magistri! * — Герцен критиковал; в том, что другие принимали за цель, Герцен искал только средств и ключей к самостоятельным путям и выводам. Так — гегелианство его разрешается откровенным заявлением в «Дневнике», что он любит Гегеля лишь в периоде, когда тот писал «рассуждение смертной казни». Замечательно, что, вырастая в эпоху русского байронизма, Герцен остался совершенно вне влияния Байрона: его социальный темперамент не ужился с проповедью демонического особнячества, — он слишком любил и «скверную привычку к жизни», и «скверную тварь, называемую человеком». Его любимым лириком был Шиллер, его любимыми людьми были Шиллеры социального действия, как Роберт Оуэн.

Всякая борьба, какие бы светлые цели ее ни одушевляли, — в процессе своем, — дело грубое потное — следовательно, грязное. Нельзя выйти с поля сражения в мундире без пятнышка и в свежих замшевых перчатках. Но есть в истории борьбы за человеческий прогресс несколько фигур, счастливо одаренных таким редкостным благородством натуры, что — хотя они всю жизнь свою отдали битвам — копоть, дым, пот и грязь битв пощадили исказить их прекрасные

* Повинуйтесь словам учителя! (*лат.*)

облики своими темными наслоениями, точно последние встречали в этих людях какой-то непобедимый реактив врожденной чистоплотности. Таковы для Италии Гарибальди и Мадзини, в ближайшее время Феличе Каваллотти; для Франции — Прудон; для Германии — Бёрне; для Венгрии — Кошут; для России — Белинский и Герцен. Никто более газетного работника не в состоянии оценить изящество страшных герценовых полемик, — рыцарство его приемов, богатырскую смелость риска, презрение к щиту и забралу, убийственную меткость ударов и великодушие к поверженному противнику. Как всесторонний знаток русского языка, Герцен не стеснялся фехтовать всем своим словесным запасом. Негодование часто вызывало в его устах не только брань, но даже площадную ругань. Рассказывая, например, в «Колоколе» 1862 года, что петербургская полиция во время студенческих беспорядков поручила обыск арестованных девушек — проституткам, Герцен сам не заметил, как в справедливом гневе заговорил словами, исключенными из академического лексикона. Но — этого не замечает сгоряча и увлеченный читатель: так к месту и вовремя раздается этот вопль оскорбленного гражданского чувства, попранного человеческого достоинства. Герцена легко заставить быть грубым, резким, но вульгарным — никогда. Брань облагораживается в его устах, как в устах короля Лира — проклятия Регане и Гонерилье, пересыпанные уличными словами, и, однако, не смущающие даже чопорных английских мисс: настолько высок и могуч пафос положения, так понятна нутряная потребность вопля. Ах, когда коршун терзает печень прикованного Прометея, трудно ждать, чтобы мученик-титан проклинал Зевса-гонителя изысканным языком французского маркиза!

Страшным орудием смеха Герцен уничтожал политических врагов своих тем вернее, что смех его — светлый смех. В этом отношении Герцен — совершенный антипод другого

гиганта русской общественной сатиры, М.Е. Салтыкова-Щедрина, с его мрачным смехом-стоном, смехом-судорогою, который сверкает, как зловещая молния, и гремит, как гром в нависшей грозовой туче. Сатирические удары Герцена — презрительные улыбки солнца, которое, заметив скверное земное явление, спешит осветить его и обезвредить, наскоро клеймя и припекая обжигающим лучом. Истязательный щедринский «правеж» — совсем не в духе и не в средствах Герцена. Его любимый сатирический прием — короткая шутка, быстрая стрела, злая острота, меткая, убийственная кличка. Так разделывался он с людьми и явлениями, вызывавшими его презрение. Он двумя-тремя словами рядил человека в шуты и оставлял гулять шутом на всю жизнь. Так, например, распорядился Герцен с Паниным: длинный рост и ограниченные способности этого сановника дали ему мишень для самых язвительных антитез. Из позднейших публицистов сатирическая краткословность Герцена повторилась всего удачнее в Анри Рошфоре, но, к сожалению, знаменитому некогда, а ныне совершенно выдохшемуся, редактору «La Lanterne», «L'Intrasigeant» всегда недоставало твердой идейной устойчивости и политической последовательности своего русского предшественника. Там же, где Герцен не только презирал, но и ненавидел, ему становилось не до острот и шуток. Он забывал тогда свой богатый сатирический арсенал и, дав волю лирическим порывам, исходил огненными слезами и гневными криками гражданского пафоса, в котором у него нет соперников в литературе ни в русской, ни в европейской. Так пишет он о крепостном праве, о страде декабристов, о мраке николаевской России, о Муравьеве-Виленском...

Герцен — настолько обширный и глубокий мир, что говорить о нем и можно, и хочется без конца, и все не договоришь, и все жаль — поставить точку, жаль оторваться от темы. До сих пор Герцена в России знали как святой и та-

инственный миф — немногие избранные и сравнительно мало. На русскую печать Герцен поэтому совсем не влиял. Теперь, когда он становится общим достоянием, надо ждать, что его томы вдвинутся в русское самосознание как огромная социально-педагогическая сила, как воскресшая из мертвых могучая школа политической дидактики и полемики. Нужно ли говорить, что сочинения Герцена должны сделаться настольными для каждого общественного деятеля и — в особенности — для журналиста? Наше поколение, вырастающее под свинцовым гнетом семидесятых и восьмидесятых годов, не может похвалиться политическим воспитанием. Брошенное в деятельность после того, как было в корень испорчено мнимообразовательным застенком лжеклассической системы графа Д.А. Толстого, оно жило зыбко, неустойчиво, мутно, в роковых колебаниях между Ариманом и Ормуздом, между эгоистическими падениями и инстинктивным стремлением исцелиться и воскреснуть. Быть может, ни одно русское поколение не нуждалось и не нуждается в нравственной дезинфекции больше, чем наше. И вряд ли есть в сокровищнице русской культуры другой дезинфектор утомленных жаждущих оздоровления душ, более действительный, ласковый и деликатный, чем Герцен — этот высокочеловечный, вровень к каждому русскому человеку приятельски подходящий друг-Герцен, сильный, как богатырь, и слабый, как дитя, сейчас мудрец, через минуту простак, вчера святой, сегодня грешник. Никто не умеет дать русскому мечущемуся уму столько задушевного, успокоительного и ободряющего к жизни разговора. Шесть с лишком лет тому назад, весною 1899 года, я, автор этих строк, переживал тяжелый перелом общественных и политических взглядов — один из тех обличительных периодов прозренья внутрь себя, когда «открываются зеницы, как у испуганной орлицы», и ум бледнеет от ужаса ошибок и обманов, которыми до тех пор жил, как беспеч-

ною истиною, и голос совести неумолчно вопит: «Сожги все, чему поклонялся! поклонись всему, что сжигал!» Ах как трудно, как мучительно, как оскорбительно трудно перелом этот переживался... психическая каторга!.. И он пришел ко мне — старый, мудрый, простой, вечно молодой, ласково улыбающийся — Александр Иванович, пришел всеми своими двенадцатью скверно напечатанными в Лондоне и Женеве томами. Пришел, успокоил, выругал, утешил, наказал, простил, указал путь в будущее, ободрил, благословил... О великий учитель! дрожит сердце и колена гнутся, когда я думаю о духе твоем! И — если сбудется когда-нибудь моя мечта, — что прах Герцена найдет успокоение в родной земле, как Косцюшко и Адам Мицкевич нашли его на краковском Вавеле, мое искреннее желание: не кладите его в какой-либо величественный пантеон — не заключайте его ни в один коллективно-погребальный музей знаменитых мертвецов! Пусть спит он, загробно грезя счастьем родной земли, одинокий, вольный, доступный для каждого русского паломника, как спит его друг Джузеппе Мадзини на высоте генуэзского Стальено — мертвым стражем объединенной, свободной Италии. И пусть веет над русскою землею из великого гроба великая жизнь! Герцен воскресает для России. Лети же над Россиею, мчись над просыпающимся отечеством нашим, могучий, громкий, звонкий, деятельный неспящий герценов дух! Стучи в двери, в окна, звони привычною рукою в вечевые колокола! Лети! Буди! Зови! — да воскреснут и на Руси те, всемирно торжествующие ныне «права человека», в безупречной и бескорыстной борьбе за которые отлетел ты от земли, измученный, но никогда не побежденный, молниеносный, прекрасно мятежный дух!..

1905

ПАМЯТИ А.И. ГЕРЦЕНА

Сто лет Герцену — сто лет гражданственности русской интеллигенции, сто лет роста ее политической воли и роли. Родившись в знаменательный момент, когда военно-дворянское правительство оказалось не в состоянии справиться с своими внешнеполитическими затруднениями и вынуждено было поклониться обществу и народу о помощи, без которой государство и династия оказывались на краю гибели, — Герцен, в полном смысле слова, дитя времени, определяемого народным термином «после француза». «Француз» в истории русской культуры — великая перегородка, не только хронологическая, но и идейная. Между поколениями, отбывавшими свое детство «до француза» и «после француза», лежит глубокая пропасть, непроходимая даже для величайших дофранцузских умов. Из них едва ли не один Пушкин умел шагать через эту пропасть, да и тот — лишь в грустной мечте, ликвидируя собственное поколение признанием своего практического бессилия.

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего...

Дети «до француза» — Вяземский, Грибоедов, Чаадаев, декабристы. Дети «после француза» — Герцен, Лермонтов, Бакунин, Гончаров, Катков, Тургенев, «люди сороковых годов». За исключением убитого на дуэли Лермонтова, мы, детьми, еще застали их старость. В виде исключений дожили до патриархальных лет и некоторые из «старой главы», то есть пушкинского поколения, но — в каком виде. Ретроградная старость кн. П.А. Вяземского — плачевнейший тому

пример. И никого в последующих поколениях эти дети «до француза» не ненавидели так сердито и враждебно, как ближайших своих преемников — детей «после француза». Впоследствии Герцен создал культ декабристов. Это было ему необходимо по политическим расчетам, но они не были близки ему, а он им. В последнем случае — настолько, что иные из них прямо-таки терпеть его не могли и на старости лет отзывались о нем с жестокою запальчивою злобою.

Это естественно. Первое поколение каждого века, будь оно хоть семи пядей во лбу, всегда принадлежит в значительной мере веку прошлому: на нем, так сказать, лежит его прощальный поцелуй. «Француз» приходил к нам в Россию как бы для того, чтобы похоронить остатки русского XVIII века, французами же порожденного и воспитанного. И могила века осталась раздельною чертою между двумя поколениями. По ту сторону остались ученики философствующих эмигрантов, лукавых фривольных аббатов, веселых дворян-атеистов, с религией из «Энциклопедии» и Пьера Бейля. По сю — ученики участников великой демократической революции, наполеоновых солдат, разнесших по Европе три цвета свободы. Это деление тогдашних поколений французским вторжением наблюдается не в одной России. Возьмите «Молодую Германию». Генрих Гейне годами ровесник Пушкину. Однако если бы нам надо было примерять его идейный возраст на русский уровень, то он оказался бы товарищем не Пушкину, но Лермонтову, Герцену, Белинскому, много его младшим. В это жгучее время год значил много, и страна, в которую раньше приходила вооруженная революция, под трехцветным знаменем и наполеоновыми орлами, раньше и вырастала идейно и политически. Учитывать всю сложность этого явления здесь не место и не время: это тема целого тома. Но факт, что европейское первое поколение начала XIX века и русское поколение второго десятилетия оказались впоследствии единой мысли и единого духа, — налицо и не подлежит сомнению.

Много блестящих и глубокомысленных людей легло мостами между русскою и европейскою культурою в течение XIX века. Но из них мост Герцена, несомненно, самый значительный, последовательный и стойкий. Значение Герцена в этом отношении для русского человека настолько огромно, что имя его как выразителя русской культуры приходится поставить непосредственно следом за Пушкиным и Петром Великим. Если последний прорубил окно в Европу, то Герцену суждено было выломать из окна этого решетку, прибитую к нему преемниками Петра Великого. Выломал — и сам ушел, и русское общество увел вон из мрачной николаевской тюрьмы, в которой обречены были задохнуться в лапах фельдфебелей, цензоров и синодских обер-прокуроров остатки вольного французского духа и начала пробуждающегося духа славянского. В Герцене оба эти начала были смешаны в необыкновенно счастливой пропорции, давшей ему впоследствии возможность быть западником без раболепства пред Западом и русским без заносчивости и самовлюбленности славянофилов. Третий элемент, вошедший в его существо вместе с материнскою кровью, элемент германский, подарил ему ту логическую основательность, ту способность к философской мысли, тот талант системы, которыми осерьезился его громадный ум и насквозь осмыслилось его блестящее дарование. В такой мере, что даже легковеснейшие, казалось бы на первый взгляд, шутки Герцена — и те, если вдуматься в их генезис, никогда не «красное словцо». Они входят в систему Герценовой мысли, как пряность в глинтвейн, как соль в кушанье, — они необходимый острый привкус процесса его доказательств и не связаны с ними механически, не прилеплены к ним словоизлития ради, а составляют органически одно и нераздельное целое. Другое, германское, начало в натуре Герцена — романтизм — к великому счастью России, — проявился в нем наилучшею и полезнейшею своею стороною. Если бы Герцен обладал поэтическим даром

и вообще художественное начало господствовало бы в его натуре над политическим, он был бы русским Шиллером. Недаром же последний был и на всю жизнь Герцена остался его любимым, чаще всего цитируемым поэтом. «Поэзия Шиллера, — говорит он в «Былом и думах», — не утратила на меня своего влияния. Несколько месяцев тому назад я читал моему сыну Валленштейна, это гигантское произведение. Тот, кто теряет вкус к Шиллеру, тот или стар, или педант, очерствел или забыл себя. Что же сказать о тех скороспелых altkluge Burschen*, которые так хорошо знают *недостатки* его в семнадцать лет?» Но жизнь русская, когда юношею вступал в нее Герцен, требовала уже не поэтов, а граждан, — и, отдав недолгую дань художественным попыткам, Герцен, чутьем гения, находит для себя из множества возможных для него путей единственный верный: он остался русским Шиллером, но Шиллером-публицистом.

Герцена нельзя назвать отцом русской публицистики, потому что любой историк русской литературы насчитает вам десятка два более или менее значительных имен, ему предшествовавших, включая сюда и самое веское имя — Белинского. Но Герцену принадлежит честь преобразования русской публицистики — постановки ее на политический фундамент в содержании и изобретения для нее нового — удобного и общедоступного, могучего и внятного языка. В этом отношении Герцен сделал для «статьи» столько же, сколько Пушкин для стиха и художественной прозы. Он снял с русской политической мысли толстую шелуху облекавшей ее карамзинщины, семинарщины и банальной вульгарности. До Герцена (я разумею: до Герцена-эмигранта) — под одну из этих рубрик непременно подходила каждая русская попытка политического слова, если оно произносилось по-русски, а не по-французски. До Герцена-эмигранта русское политическое рассуждение всерьез — точно ломовая

* Умных не по годам парней, студентов (*нем.*).

усталая кляча силится вывезти в гору тяжелый воз (Надеждин, Чаадаев, Киреевский); а русская политическая шутка — словно отворили двери в лакейскую и пахнуло оттуда потным смрадом (Сенковский, Воейков). Потребность в новом журнальном языке — гибком, непринужденном, естественно, без элемента нарочности, ясном, метком и в то же время не распущенном — была насущная. Десятки писателей пытались удовлетворить ей и найти этот новый язык, но он не дался ни Карамзину, ни Шишкову, ни Каразину, ни Марлинскому, ни Полевому, ни Булгарину, ни Сенковскому, ни Гоголю (несносно напыщенному, как скоро он переходит в теоретическое — воистину уж — вещание), ни Хомякову, ни К. Аксакову. Один Пушкин знал и этот секрет, но он не был публицистом по натуре и привычке и оставил этот свой дар в забросе, лишь несколькими блестящими отрывками показав, что и в этой области литературного языка он мог бы явиться таким же решительным реформатором, как в других. В офицальных же своих журнальных выступлениях и он раб прошлого. Обычай писательской нарочности, карамзинского деланого тона и на нем висел свинцовым грузом; и его яркое слово тянул к земле и затуманивал неискренностью выражений, придуманностью оборотов мутный язык-тяжеловоз, который иногда, видимо, так надоедал Пушкину, что он предпочитал быть сухим, как рапорт, лишь бы уклониться от нестерпимой условности и скованности прозаической речи тогдашнего «хорошего тона». Прямым предтечею Герцена в желании развязать язык русской публицистической мысли, конечно, является Белинский. Но, сдавленный тисками цензурных условий, он не мог довести свою творческую речь до той прозрачности, которую впоследствии нашел Герцен. Публицистические тирады Белинского часто затемнены необходимостью, предпочитающею сказать нечто для немногих, посвященных в секрет условного языка и способных объяснить его соседям, чем промолчать совсем

немо. Белинский знал, как надо говорить с массою, ищущею серьезной общественной мысли, и, поскольку мог, старался так говорить. Но возможно-то было немного, и успевал он в том, обыкновенно, лишь по таким поводам, которые, в свою очередь, своею незначительностью тоже скрывали большую идею, как ребус к отгадке. Не угадывал цензор ребуса, — ну и торжествуйте критик и читатель! Угадывал, — хорошо, если только пропадала статья, и редактора не звали к собеседованию с «отцом командиром» Л.В. Дубельтом. Богатства русского публицистического языка в то время прятались в кружковой беседе да в частной переписке.

Но говорил он лучше, чем писал.
Оно и хорошо — писать не время было:
Почти что ничего тогда не проходило.
Бывали случаи: весь век
Считался умным человек,
А в книге глупым очутился:
Пропал и ум, и слог, и жар,
Как будто с бедным приключился
Апоплексический удар!

Когда же в книгах будем мы блистать
Всей русской мыслью, речью, даром,
А не заиками хромыми выступать
С апоплексическим ударом?

Эта тирада из некрасовской «Медвежьей охоты» имеет в виду судьбу Грановского — вдохновенного человека, которого мы имеем полное право назвать «приглушенным гением», светочем, спрятанным под глиняный горшок, оратором с урезанным языком. Несчастные, испытавшие казнь эту, выучивались впоследствии кое-как лепетать: так говорят мемуаристы XVIII века. Подобно тому лепетала и публицистическая мысль в эпоху Николая I, как скоро вырывалась она из письма и стучалась в литературу. Живого

слова в эту эпоху можно искать только в письмах. Да и то в тех, которые пересылались с оказией, а не по почте.

Человеком с урезанным языком весьма долго чувствовал себя и Герцен. Еще в начале сороковых годов его язык то и дело ищет помощи в французском и немецком, усыпан чудовищными галлицизмами и германизмами, — «он сделал на меня ужасное влияние», «человек экстремы», «импрессионабельные натуры», «импоссибельность ума», «абнормальное состояние», «дар лотической фасцинации», «сюсцентибельность», «гетерогенные элементы», «мускулезный вид», «истинные таланты не теряют ничего от крика фамы», «юкстапозиция», «город, где на четыре мужчины падает одна женщина», «благороднейшая часть населения фурнирует полицейских чиновников», «ему сируется», «вышел фродюлезно на дуэль», «каудинские фуркулы чувств», «сгнетение», «одействотворять» и т.п. Таков воистину чудовищный словарь Герцена в первом десятилетии его литературной деятельности. Говорят — и довольно справедливо, — что чрезмерное употребление иностранных слов свидетельствует о лености мысли. Но откуда же леность мысли могла взяться в такой деятельной голове? Герцен дает нам на это неоднократные ответы в своем дневнике от 1842 г. Леность мысли является от непроизводительности мысли, по отсутствию общения с другими, от ее запретности, от вынужденной необходимости замкнуть ее в самом себе. В себе, которому не надо ее переводить на родной язык, чтобы понимать и развивать дальше, потому что сам-то, про себя, ее во всяком звуке одинаково чувствуешь и определяешь. Но Герцен, всегда самоотчетный, не обманывал себя: он знает, что мутность языка его существенный недостаток, и смело говорит как о ней, так и об ее основной причине.

«Боже праведный! — восклицает он. — В образованных государствах каждый, чувствующий призвание писать, старается раскрыть свою мысль, употребляя на то талант свой,

у нас весь талант должен быть употреблен на то, чтобы закрыть свою мысль под рабски вымышленными условными словами и оборотами. И какую мысль? Пусть бы революционную, возмутительную. Нет, мысль теоретическую, которая до пошлости повторялась в Пруссии и в других монархиях. Может, правительство и промолчало бы, патриоты укажут, растолкуют, перетолкуют! Ужасное, безвыходное состояние!»

В конце 1844 года Герцен возвращается к этой мучительной для публициста, ножом режущей теме:

«Хитрить, искажать мысли, заставить догадываться... конечно, «это ирония der brutalen Macht» *, но громкая, открытая речь одна может вполне удовлетворить человека. Упрекают мои статьи в темноте несправедливо, они намеренно затемнены. Грустно!»

Что Герцен имел основание мучиться языком своим не только по самочувствию, а и по тому впечатлению, которое его статьи производили на «непосвященных», свидетельствует интереснейшая встреча его с известным астрономом Перевощиковым:

«В 1844 г. встретился я с Перевощиковым у Щепкина и сидел возле него за обедом. Под конец он не выдержал и сказал:

— Жаль-с, очень жаль-с, что обстоятельства-с помешали вам-с заниматься делом-с, у вас прекрасные-с были-с способности.

— Да ведь не всем же, — говорил я ему, — за вами на небо лезть. Мы здесь займемся, на земле, кой-чем.

— Помилуйте-с, как же-с это-с можно-с, какое занятие-с, Гегелева-с философия-с, ваши статьи-с читал-с, понимать-с нельзя-с, птичий язык-с. Какое-с это дело-с. Нет-с!

Я долго смеялся над этим приговором, то есть долго не понимал, что язык-то у нас тогда действительно был сквер-

* Жесткая сила, власть (*нем.*).

ный, и если птичий, то наверно — птицы, состоящей при Минерве».

Перевощиков, конечно, был прав только наполовину. Дело и с этим языком можно было делать, но именно разве что дело небесное, а уж никак не земное. Того же дела, для которого предназначен был судьбою и мечтою А.И. Герцен, совсем нельзя. И вот почему, в 35 лет, будучи уже автором «Кто виноват?», «Доктора Крупова», «Дилетантизма в науке» и пр., и пр., знаменитый и центральный в своем западническом кругу Искандер был еще весь впереди как стилист, как художник образного слова. Истинный литературный дебют, который должен был навсегда определить, что такое Герцен и как он умеет говорить, только ожидался и, хотя чаяли его большим, но мало кто воображал всю будущую его громадность в полную величину.

Проходит три года. Герцен на свободе, за границею, во главе «Вольного русского книгопечатания в Лондоне». Герцен автор «С того берега», Герцен «принес все на жертву:

Человеческому достоинству,
Свободной речи».

Потому что: «Где не погибло слово, там и дело еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность — я остаюсь здесь; за нее я отдаю все, я вас (друзей) отдаю за нее, часть своего достояния, а, может, отдам и жизнь в рядах энергического меньшинства, «гонимых, но не низлагаемых»!

И силы, которым Герцен принес свою жертву, отблагодарили его сторицею, развернувшись под новым пером его с такою красотою и мощью, которых ни прежде, ни после не слыхано и не читано на Руси. Публицистическое русское слово постигла та же судьба, что испытала музыка, изящная словесность. То — нет никакого, хаос предпотопный, в кото-

ром бродят первообразы, могучие, но не слыхавшие еще: «Да будет свет!» И вдруг сразу — Пушкин, Гоголь с «Ревизором» и первою частью «Мертвых душ», Глинка с «Русланом». Взвиваются в поднебесье и остаются там, как недвижные точки, определяющие крайнюю границу, которой может достигнуть национальный гений, и затем — вот — проходит целый век в разнообразном приближении к этой громадной высоте, никем уже, однако, не достигнутой. Так и с Герценом. В его лице русская публицистика раскрыла все благородство мысли, всю силу, ясность, логическую красоту, изящество доказательств, блеск слова, образность, остроумие, находчивость, глубину чувства и заманчивость кокетства, на какие только она способна. Опять была поставлена точка, до которой — будущее, достигай! Превосходных публицистов Россия и рядом с Герценом, и после Герцена имела много. Но Герцен не повторился. И не повторится.

Не повторится не потому, чтобы не мог явиться талант, равный Герцену, ум, столько же ясный и острый, слово, столь же блестящее и боевое, чувство, такое же яркое и честное. Перенесите в обстановку Герцена М.Е. Салтыкова или Н.К. Михайловского: первый как сатирический талант сильнее Герцена, второй равен Герцену образованием, способностью к философскому обобщению и вооружен, если не герценовым, то, во всяком случае, весьма острым блеском мысли и слова. Не повторится Герцен просто потому, что нет той специальной культуры, которая выделила первого Герцена, как плоть от плоти и кость от костей своих, и отправила его, великого кающегося дворянина, в эмиграцию, на великий и страшный подвиг: разрушить вольными таранами «Полярной звезды» и «Колокола» крепостную военно-дворянскую Россию. Герцен сделал то, чего ждало от него отечество. Ждало, но не поручало ему. Герцен сам взялся за руль общественного мнения своей эпохи, это очень важная черта,

основная и решительная в «герценстве». Он начальник публицистической гверильи, партизан и атаман партизанов, у которого своя голова и в деле, и в ответе. Он сам откуда-то взялся, вырос как из-под земли на голос общественной потребности, никто его в «Герцены» (позвольте мне на время сделать из собственного имени нарицательное: оно будет так понятно и выразительно в своей краткости) не назначал. И десятки опытов потом показали, что Герценом «по назначению» сделаться нельзя. Между тем, в той новой, всесословной, демократической России, которая сменила старую, сломленную Герценом, всякий новый кандидат в Герцены имел бы значение, влияние, силу и полезный результат только в том случае, если бы он явился Герценом, именно и действительно, по назначению. То есть говорил бы с Россией не от своего лица, или, в лучшем случае, своего кружка, как еще имел возможность и право Герцен, но — как уполномоченный избранник большой и влиятельной классовой группы. Время партизанских войн за свободу прошло. На театре освободительных действий движутся великие классовые армии. Воспламеняющий певец Тиртей в них — великая сила и потребность, но уже не вождь. Он должен войти в их дисциплину, как и всякий другой солдат — рядовой ли, офицер ли, генерал ли армии. Если он на это не согласен, если он не приемлет присяги по формулам армии, если он остается сам по себе, с своей волей, с своей мыслью, с своим планом, с своим действием, он — не солдат свободы, а только ее сочувственник, в решительнейшем случае — вольный стрелок. Но в солдатство, хотя бы и солдатство свободы, яркая творческая индивидуальность трудно укладывается. А особнячество сильного стрелка в наше время гораздо труднее, чем в эпоху Герцена. Во всех отношениях, начиная с того, что это колоссальная претензия, пред требованиями которой оказался практически неудовлетворительным, бледным и бессильным даже Лев Толстой, и кончая препятствиями экономи-

ческими. Наследнику И.А. Яковлева, соединясь с миллионером Огаревым, как скоро они уверовали в необходимость своего вольного заграничного органа, легко было осуществить экономическую сторону предприятия собственными же средствами, не терпя чрез то решительно никаких материальных лишений. Но дворянская оппозиция — революция богатых собственников — давно вымерла либо сошла на нет, чрез оскудение растворилась в разночинстве, соприкоснулась с бедною демократией. В богатом дворянстве, если и есть умственные силы, то они узкосословны и в себялюбивом страхе ретроградны либо, по крайней мере, тупо-консервативны. А демократическая революция живет миром, кормится миром и, разумеется, если она тратит свой мирской капитал на печатный орган, то и орган этот будет мирской, приемлющий индивидуальность, насколько бы ни была она ярка, только как служебную единицу, в размере общего мирского плана... А — не удовлетворяет тебя последний, не хочешь ты поставить себя под его контроль, воображаешь быть Герценом, воюя в одиночку, — никто тебе не препятствует: попробуй, милый человек, счастья, как Герцен же, за свой счет, страх и риск. Нечего и говорить, что это совершенно справедливое рассуждение, на которое обижаться никто не может. Но нет также никакого сомнения, что, будучи интеллигентным пролетарием, трудом добывающим хлеб свой, в одиночку «герценствовать» — тяжелая, и разорительная, и изнурительная жертва. Немало людей привела она на край нищеты и бедствий и все-таки без больших оправдательных результатов, потому что раздвоенная деятельность добычника-пролетария и публициста в одиночку полна мучительных случайностей и оскорбительных компромиссов. Слово, зависящее от кредита в типографии, с одной стороны, от кредита в мясной лавке — с другой, — слово тревожное, больное, скомканное, недоношенное. Оно говорится наспех и как-нибудь, потому что — кто знает: отложи до завтра, и будет ли еще у тебя

материальная возможность сказать его хоть в таком-то виде? Пролетарская революция, сжатая в короткий досуг немногих часов между работой и сном, должна была поневоле принять за правило экономию слова и в суровой дисциплине фактических доказательств почти совершенно угасить фразеологию. Голая, твердо усвоенная схема-программа победила красоту бегучих, чеканных силлоизмов. Вообразите же себе Герцена без силлогизма, Герцена без фразеологии! Это — Пушкин без стиха, это — Репин без красок. Но фразеология требует много времени и у оратора, и у слушателей, а время обусловливается материальной обеспеченностью. Герцен был состоятельно независим сам и говорил пред состоятельною и однородною аудиторией, с единством которой ему было легко друг друга понимать. Все это условия чрезвычайно важные и уже неповторимые. Грандиозный публицистический талант — большая часть Герцена, его материальная состоятельность и обеспеченность — часть меньшая, но столько же необходимая, чтобы был Герцен. В революции пролетарской, в революции четвертого сословия Герцену быть трудно. Недаром рознь породы и класса сказалась враждебно уже в первых встречах старого Герцена с предтечами и начинателями русской пролетарской революции. Уже Чернышевский и Добролюбов казались Герцену very dangerous *, а Герцен уже Чернышевскому и Добролюбову — либеральным барином, спевшим свою песню. Недаром же под конец жизни Герцен разошелся и с Бакуниным, смущенный страшною прямолинейною последовательностью, с которой тот вышел за круг революции русской, чтобы очертиться еще более широким и грозным кругом революции мировой. Революционер-публицист, по преимуществу политический, на Герценов лад, в одиночку упрочившийся, блистательный фразеолог-разрушитель на капиталистическом фундаменте, мог бы быть выдвинут

* Весьма опасны (*фр.*).

теперь в сословную очередь революционерства, только свежими силами образованного купечества и удачниками из свободных профессий. Но крупные богатства в последних редко сопрягаются с чистыми руками и лишены следов авантюры, а купечество в России не в ту сторону смотрит. Да и освободительное движение русское уже перешагнуло ступень третьего сословия и этою маркою народного моря уже не взволнуешь, ибо после 1905 года самое красное имя ее — кадетизм, а не без претензий на оную живут даже ведь и гг. октябристы. Русский мир широко шагнул вперед и идет, идет… И, если в могучем марше его звучит еще, да и вечно звучать будет, Герценова запевка, — причиною тому чудный голос и пламенная искренность великого певца, посланного сто лет тому назад родиться на Руси, чтобы научить ее песне о свободе. Жизнь, нарастая, обгоняет Герценовы планы и мечты, но она никогда не в состоянии обогнать Герценова доброжелательства, Герценовой любви, Герценовой веры в народ и будущую Россию.

М.А. БАКУНИН КАК ХАРАКТЕР

Михаил Александрович Бакунин — ровесник Михаила Юрьевича Лермонтова. Одна и та же эпоха выработала для мира наиболее европейского из русских поэтов и наиболее европейского из русских политических деятелей. Между ними много личной разницы и еще более типического сходства. Если хотите, Бакунин — живое и замечательно полное воплощение той положительной половины Лермонтовского гения, которым определяется его творческое, разрушением создающее, революционное значение. В Бакунине не было ничего Байронического — тем более на тон и лад русско-гвардейского разочарования тридцатых годов. У него не найдется ни одной черты, общей с тем Лермонтовым, который

отразился в Печорине и «Демоне», но зато он всю жизнь свою прожил тем Лермонтовым, который создал пламя и вихрь «Мцыри». Если позволите так выразиться, он — Лермонтов без эгоистического неудачничества и без субъективных тормозов; Лермонтов, обращенный лицом вперед, к революционному будущему, без грустных оглядок на прошлое, без «насмешек горьких обманутого сына над промотавшимся отцом»; Лермонтов, взятый вне современной действительности и весь устремленный в грядущие поколения, которые расцветают для него яркими красными розами бессмертной свободы.

Он знал одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть...

По всей вероятности, Лермонтов, если бы дожил до лет политической зрелости, оказался бы силою революционною и, быть может, гораздо более мощною и эффектною, — даже, главное, эффектною, — чем сам Бакунин. В Михаиле Александровиче, по беспредельной широте души его и по неизмеримому добродушию, всегда имелось преобширное пространство для шагов от великого к смешному, чего в сумрачной, презрительной, скрытной и себялюбивой натуре Лермонтова совсем не было. Лермонтов был человек с громадно развитым инстинктом самосохранения против комических и неловких положений: качество — для политического деятеля необычайно важное, из первозначащих; в этом отношении Лермонтову помогла печоринская половина его характера. Наоборот, Бакунин родился на свет с полнейшею атрофией способности остерегаться и различать возможности своих faux pas *. В течение сорока лет своей революционной практики он только и делал житейски, что спотыкался, падал и вставал, чтобы опять упасть на какой-

* Оплошность, опрометчивый шаг (*фр.*).

нибудь трагикомически непредвиденной колдобине, и снова подняться. И все это с поразительною бодростью никогда не унывающего самосознания, с веселым хохотом над собственною неудачею и с неукротимою энергией веровать и действовать на поле проигранного сражения — во имя и для лучших времен. Очутись Лермонтов в положении Бакунина, хотя бы во время несчастной морской экспедиции Домонтовича и Лапинского на помощь восставшим полякам 1863 г., он не выдержал бы такого острого удара по самолюбию и сделался бы или преступником, убийцею — мстителем за неудачу, или самоубийцею с угрюмого, одинокого отчаяния. Бакунин переварил свинец и этой нравственной тяжести. Он только погрызся малую толику с Огаревым и Герценом, а в особенности с Герценом-младшим, Александром Александровичем. Письма друзей к Бакунину в это время, да и вообще при всех его бесчисленных «провалах», замечательны по тону: это послания не равных к равному, но строгих, умных, развитых родителей к талантливому, но слишком живому и легкомысленному ребенку, который, получив самостоятельность, пользуется ею лишь затем, чтобы делать вреднейшие шалости и ломать дорогие игрушки. Бакунин был во многом виноват, но только бакунинское добродушие могло снести тот тон свысока, каким Герцен и Огарев отчитывали его за вины. С Лермонтовым один намек на подобный тон повел бы к дуэли. «Большая Лиза», как звали Бакунина Герцен и Мартьянов, только слушала и «утиралась». Именно это выражение — «утерся» — употребил Огарев в письме своем о ссоре Бакунина с Катковым. Мы будем ниже говорить об этой истории. Вообще пассивность пред оскорблением личности, часто даже прямое непонимание так называемых унизительных положений, полное отсутствие индивидуального самолюбия по буржуазному кодексу — самые заметные черты бакунинского характера, с первого раза странно удивляющая, даже поражающая и, пожалуй,

шокирующая непривычного изучателя. Я не знаю человека, который более Бакунина проводил бы в жизнь ту скептическую и насмешливую теорию о «вопросах чести», что так неотразимо, убедительно и убийственно для этой «условной лжи» выработала неумолимая логика Шопенгауэра. Недаром под конец жизни Бакунин восхищался Шопенгауэром и держал сочинения его настольною книгою. Три четверти переписки своей Бакунин вел по женским адресам и псевдонимам (Лиза, Анна Калмыкова, синьора Антониа и т.д.) и, в заключение житейской карьеры, подписался «Матреною» под обязательством, выданным Нечаеву подчиниться его диктатуре в случае, если бы даже Нечаев приказал ему делать фальшивые бумажки. «Конечно, — замечает биограф Бакунина, М.П. Драгоманов, — обязательство было написано только формы ради, в пример послушания для молодых революционеров, и Михаил Александрович никогда не стал бы делать фальшивые бумажки». Вот тут опять огромная разница с Лермонтовым. Этот, напротив, если бы насущное дело того потребовало, очень спокойно фабриковал бы фальшивые бумажки, как его Арбенин вел фальшивую игру. Но никогда не дал бы Лермонтов обязательства делать фальшивые бумажки по чьему-либо приказанию, никогда не согнул бы свою волю в дисциплину другого, никогда не унизил бы себя до состояния «Матрены» или «Большой Лизы». Лермонтов — анархист по аристократическому бунту выдающейся личности против общества, которого она выше, и горда сознанием, что выше. Бакунин — анархист по демократическому сочувствию, анархист ради общества, совершенно пренебрегающий своею природною возвышенностью над его уровнем, в идейном фанатизме справедливости и равенства готовый обрубить самому себе ноги на прокрустовом ложе демократии, с которого они, по огромному его росту (и телесному, и духовному), непокорно торчали. Лермонтов родился, чтобы стать властителем дум и царем толпы, но при жизни ему никогда

не удалось занять место и сыграть роль, соответствующую его природному назначению. Бакунин имел в своем кругу капризные диктаторские замашки и даже бывал несколько раз настоящим политическим диктатором, — в Праге, в Дрездене, в женевской, как тогда выражались, «интерналке». Но в действительности, в натуре его совершенно не было дара властвовать, повелевать; он был только «излюбленный человек» толпы, ее трибун и зеркало. Он принимал каждого человека вровень с собою: качество, при котором нельзя быть «повелителем». У него была в высшей степени развита способность апостола Павла — быть эллином с эллином, обрезанным с обрезанным, свободным со свободным и ропщущим, готовым освободиться рабом с угнетенными, ожидающими освобождения рабами. Если он заставлял повиноваться себе, то отнюдь не царственными sic volo, sic jubeo *, но силою убеждения в результате бурных диспутов, страстных споров. Он не приказывал, а уговаривал, — уговаривал часто грубо, с криком, бранью, неистовством, но все-таки уговаривал. И все его распоряжения и действия не были окончательными: подлежали обжалованию, апелляции, отмене от высших революционных инстанций, которым он, когда сознавал себя неправым, — маленько побурлив, — конфузливо и смиренно подчинялся. Таков, например, в мелочах, — известный случай с энтузиастом-офицером, которого Бакунин «диктаторски» услал было из Лондона неизвестно зачем в Яссу, если бы не вступился со своим скептическим veto А.И. Герцен. А в крупном масштабе — весь импульс его по делу польского восстания, столь рокового для популярности «Колокола», загубленного именно настойчивостью Бакунина, чтобы лондонская русская литература и идеологическая революция слилась с польскою революцией действия на Вилии и Висле.

Бакунин, как живой человек живой современности, никогда не был пророком: вещее свойство проникновенных натур

---

* Так хочу, так повелеваю (*лат.*).

вроде Лермонтова и тесно прикованного к нему Достоевского. Зато он был величайшим *апостолом* идей времени, которые он угадывал и воспринимал на лету, задолго до других. Тургенев, — сам человек гораздо более апостольского, чем пророческого духа, — гениально изобразил эту сторону Бакунина в «Рудине». Апостольский дар отличал Бакунина с ранней юности. В 1836–39 годах, как последовательный гегелианец, путем диалектических отвлечений упершийся в идею разумности всего существующего, Бакунин был консерватором и поклонником монархии Николая I. Известно, что, стоя на такой почве, он успел подчинить своему влиянию буйный и свободолюбивый талант В.Г. Белинского. Пресловутая статья о «Бородинской годовщине», от воспоминания о которой Белинский отплевывался до конца дней своих, создалась, как плод именно бакунинского апостольства по Гегелю. Но любопытно и то обстоятельство, что, по свидетельству Герцена, учитель в этом случае оказался слабее в вере, чем обращенный им ученик. «После Бородинской годовщины, — пишет Герцен, — я прервал с Белинским все сношения. Бакунин, хотя и спорил горячо, но стал призадумываться, его революционный такт толкал его в другую сторону...» В дальнейшие житейские периоды, после перелома своих мнений к реалистическому мышлению и резкого обращения с правого фланга к левому, Бакунин имел почтительно внимавших ему учеников-товарищей, не менее сильных, чем Белинский. Достаточно указать, что речи и мысли Бакунина положили глубокую печать на творчество Прудона. Понятно, что речь, способная покорять себе Белинских и Прудонов, действовала с неотразимою победною силою на умы, менее склонные и приспособленные к противодействию и более благодарные, как почва, чтобы воспринимать и растить verba magistri *. Бакунин остается в истории русской

* Слова учителя (*лат.*).

культурной мысли как величайший пропагандист-развиватель, державший под обаянием своего слова несколько поколений русской молодежи. Этою ролью его полон вдохновенный тургеневский «Рудин», где так хороша эпизодическая фигура страстного рудинского послушника, учителя Басистова; где скептический и опустившийся в искусственное равнодушие, будущий земец Лежнев, поднимает бокал за благотворное красноречие Дмитрия Рудина, хотя его самого давно уже не любит, не уважает, почти ненавидит, почти презирает. Из частных мемуаров о Бакунине наиболее ярко, потому что всех наивнее, передал его апостольское обаяние итальянец Анджело де Губернатис, известный литератор, поэт, историк литературы, ныне заслуженный профессор Римского университета, на старости лет так далеко ушедший от идей своего демократического прошлого, что несколько лет тому назад даже купил себе титул графа. Губернатис, с простодушною злобою разочаровавшегося прозелита, признается, что Бакунин, что называется, обработал и распропагандировал его в один присест. Одного разговора было достаточно, чтобы из мирно либерального буржуазного юноши, ненавистника конспираций, Губернатис превратился в заговорщика, члена интернациональной революционной организации и ее инструктора-пропагандиста. Губернатис, как и многие другие, отмечает, что главною силою бакунинского обаяния было несравненное уменье оратора пробудить в каждом человеке жгучий стыд за свое эгоистическое прозябание среди мира, страждущего и жаждущего помощи и обретения в борьбе права своего. Человека охватывало отчаяние, что он прожил на свете столько лет, ничего не сделав для народа, для культуры, для свободы, и он бросался в учительские объятия Бакунина, отдавая ему свою волю и требуя наставления, куда идти и что делать.

Вот тут-то, обыкновенно, начинался кризис, и бакунинский авторитет часто спускался à la baisse *, потому что от апостола ждали пророчества, религии, а Бакунин не был, да и не имел ни малейшей претензии быть, я думаю, даже и не захотел бы быть, — ни Ф.М. Достоевским, ни Львом Толстым. В нем решительно не было склонности явиться мессией века. Напротив, чем старше он становился, тем страстнее сам искал мессий, во имя которых апостольствовать, и, по неразборчивости своей, принял было за мессию даже Нечаева. В Бакунине всегда жило благородное сознание, что он, может быть, последнее слово идеи в современности, но далеко не последнее во времени, в надвигающихся возможностях идеала. Он всегда предчувствует, иной раз даже с чрезмерною скромностью, что идет за ним некто, у кого он не достоин будет развязать ремень сапога. Его апостольские обличения действовали даже на Герцена и еще больше на Огарева, хотя они оба воображали, будто изучили Бакунина как свои пять пальцев, и — часто позволяя ему увлекать их — уважали его мало, ценили далеко ниже достоинств и почитали «Большою Лизою». Но слушать себя, а порою и слушаться, «Большая Лиза» все-таки заставляла этих умных, отчетливо рассуждающих людей, потому что в нем — в Бакунине — неизменно слышалось кипение настоящей политической страсти, заражающей, увлекательной. Художественную формулу для Бакунина только четверть века спустя по его смерти нашел великий певец нашего времени — Максим Горький. Бакунин — это воплощенное «безумство храбрых», которое — «есть мудрость жизни». Даже ближайшие друзья, не умея или не хотя понять в нем гения, часто унижали Бакунина, держали его в черном теле как не то сумасшедшего, не то шарлатана. Тон отношений, по письмам Герцена, Огарева, с одной стороны, Бакунина — с дру-

* На понижение (*фр.*); термин биржи.

гой, почти всегда симпатичнее у Бакунина. Он удивительно прямодушно и с видимою, чувствуемою искренностью отдает знаменитому дуумвирату лондонских друзей своих все литературные преимущества и первые почетные места. Он понимает, что в литературной революции он не Герцен, как впоследствии понимал, что в революции бунтарства он — старый революционер — должен уступить первенство молодому Нечаеву. Повторяю: Бакунина многие и много упрекали в диктаторских замашках, но, в действительности, вся его биография есть принижение своего авторитета пред потребностями революционного дела. И так — до последних минут. Известно, что он отправился в несчастную экспедицию — делать революцию в Болонье без всякой надежды на успех и с сознанием, что дело совсем не организовано. Но его уверили, что революционный взрыв, освященный именем Бакунина, и, — от него не скрывали, да он и сам очень хорошо знал, — вероятно, смертью Бакунина на баррикаде, произведет громадное впечатление в Европе и будет полезен международному демократическому возрождению. И больной, едва живой, старик поплелся приносить себя в жертву на улицах Болоньи. И то не удалось. Восстание отцвело без расцвета. В ожидании сигнала Бакунин напрасно сидел взаперти, в номере одной из местных гостиниц, а потом, когда полиция хватилась его искать, друзья успели вывезти предполагавшегося вождя своего в возе сена.

Несчастие жизни Бакунина заключалось именно в том условии, что трудно апостольство без мессии, а мессии-то настоящего, способного покорить себе его логическую голову, он никогда не имел; в тех же, кого временно и сгоряча принимал за мессию, быстро и доказательно разочаровывался; и, наконец, был слишком умен и порядочен, чтобы лично самозванствовать и шарлатанить, воображая мессиею самого себя или ловко навязывая себе в таковые же мессии-

апплике доверчивой толпе адептов. Дебогорий-Мокриевич в своих записках (Paris, 1894) замечательно ярко рисует, как запросто, братски, сразу на «ты» сошелся с ним, готовым преклоняться и благоговеть юношею, старый, великий революционер в первое же свидание их в Локарно. И деньгами поделился (а ведь сам жил нищий нищим в это время!), и чаю выпили вместе неистовое количество, и шумел, и ругался, и все свои тайники и подноготные показал. Не умел этот человек играть скучно-возвышенную роль живого бога, так и «пёрла» из него интимная человечность, буршество, фамильярность, панибратство истинного сына земли, истинного человека толпы. Сравнительно с доступностью и общительностью Бакунина, даже Герцен — широкий, размашистый, веселый Герцен — сказывается не более, как любезным светским барином и «тонкою штучкою». Житейские отношения Бакунина — это цепь молнийных интимностей и столь же быстрых ненавистей. Причем, — надо сказать, — интимности возникали с равным пылом и усердием обеих сторон, а ненависти доставались, на память, одному Бакунину. Сам он ненавидеть решительно не умел (говорю, конечно, о личной, а не о политической ненависти) и сказал в одном письме своем поистине великие слова о мщении: «Для такого глубокого чувства нет в моем сердце места». Он не умел создавать причины и поводы к мести, — не умел обижаться. Одна из тяжело принятых им обид, и все-таки не повлекшая за собою разрыва, отмечена им, по крайней мере, с горьким и долго больным чувством. Это — когда лондонские изгнанники, не доверяя такту Бакунина в шведской экспедиции, отправили контролировать его Герцена-младшего, и тот, со всем самодовольством двадцатилетнего распорядителя-доктринера, принялся муштровать старого революционера, как младшего товарища, делал ему начальственные замечания, указывал свысока его ошибки и увлечения и т.д. Этой обиды, вызвавшей между Бакуниным и А.И. Герценом-стар-

шим обостренную полемику на письмах, Бакунин не мог позабыть несколько лет. Добродушный тон, по отношению к А.А. Герцену 2-му, появился у него только в 1870 г., после смерти Александра Ивановича, которая поразила Бакунина страшно. Да и тут осталось больше какой-то почтительной, играющей на права старчества, втайне робеющей шутливости, чем искренне теплого чувства. Так пишут к человеку и о человеке, с которым жизнь поставила вас в постоянные, близкие и наружно дружеские отношения, но о котором вы наверное знаете, что он вам чужой и вас не любит. И достало этого напряженного тона лишь на очень короткое время. Отношения между Бакуниным и Герценом-младшим испортились окончательно, когда Ал.Ал. высказался против продолжения «Колокола» в Цюрихе, вполне справедливо находя, что Бакунин, Огарев и Нечаев будут бессильны вести дело, обязанное своим успехом исключительно колоссальному литературному таланту самого покойного Александра Ивановича. Немало горечи внесла сюда и известная история так называемого Бахметевского революционного фонда, который, под давлением Бакунина, Огарев выдал на руки Нечаеву, вопреки желанию и дурным предчувствиям герценовой семьи. Нечаев, как революционер, был человек бескорыстнейший и неспособный воспользоваться общественною копейкою для личных целей, но фонд этот бесполезно растаял у него в фантастических и несимпатичных предприятиях, которыми, согласно своей фантастической программе, сопровождал он революционную пропаганду.

Вообще, в семье Герцена Бакунин фавором не пользовался. Бакунин чувствовал это очень хорошо, хотя и делал bonne mine au mauvais jeu *. Не заблуждался он относительно чувств к нему и самого Александра Ивановича. «А пришлите мне посмертную, недавно напечатанную книгу Герцена, — пишет

* Хорошая мина при плохой игре (*фр.*).

Бакунин Огареву в конце 1871 года. — Непременно пришли. Он, говорят, много толкует и, разумеется, с фальшивою недоброжелательностью, кисло-сладкою симпатией обо мне. Надо же мне прочесть, а, пожалуй, и ответить».

Наилучшим доказательством, что Бакунин не только хвалился и щеголял великодушием, выставляя себя неспособным к мщению, является его отношение к Карлу Марксу. Великий теоретик социал-демократии переживал период германско-националистических пристрастий в то самое время сороковых годов, когда Бакунин пылал мечтами переустройства всего славянского мира на началах социалистической федерации. Немецкая печать, даже самая передовая, и Карл Маркс во главе ее, относилась с отвращением и ненавистью к Пражскому славянскому съезду 1848 года, где Бакунин сыграл господствующую роль, и к последующей Пражской революции, где тот же Бакунин планировал вооруженное сопротивление против Виндишгреца и Шварценберга. В следующем 1849 году бывший артиллерийский офицер николаевской армии М.А. Бакунин оказался диктатором и главнокомандующим революционной защиты Дрездена: самый знаменитый акт в биографии Бакунина. По взятии Дрездена королевскими войсками, М.А. был схвачен в Хемнице, посажен в крепость Кенигштейн, а затем выдан саксонским правительством австрийскому. Оба правительства приговорили его к смертной казни, и оба помиловали, вопреки собственной воле Бакунина: «Предпочитаю быть расстрелянным!» — отвечал он на предложение подать саксонскому королю просьбу о помиловании. Смертная казнь была заменена пожизненным заключением в австрийской крепости Ольмюц. Здесь Бакунин пробыл шесть месяцев прикованный к стене. Русское правительство потребовало его выдачи, как заочно осужденного эмигранта. Австрийцы обрадовались случаю отделаться от опасного арестанта, и в мае 1841 года Ольмюц сменился для Бакунина Петропавловкою, потом Шлиссель-

бургом. Здесь он оставался до смерти Николая I. Александр II вычеркнул имя Бакунина из своей коронационной амнистии, но, склоняясь на просьбу его матери, изменил род наказания: из Шлиссельбургской одиночки Бакунин был переброшен на вечное поселение в Восточную Сибирь.

В это тяжелое семилетие, когда жизнь Бакунина тянулась сплошным мартирологом, группа немецких демократов, окружавшая Карла Маркса, к сожалению, вела себя по отношению к русским революционерам за границею более чем некорректно, — прямо-таки враждебно и в высшей степени коварно. Недоброжелательные атаки выдержали и Герцен, и Огарев, но самая оскорбительная и нечестная выходка русофобии была сделана кружком Карла Маркса против Бакунина. В то время, как герой Праги и Дрездена последовательно мучился цепями и цингою в Кенигштейне, Ольмюце и Шлиссельбурге, газета Карла Маркса распространила о нем грязную сплетню-клевету, будто Бакунин был агентом-провокатором русского правительства. В доказательство ссылались на какой-то, якобы компрометирующий, разговор о Бакунине между знаменитою писательницею Жорж Занд и Ледрю-Ролленом. Бакунин, сидя в крепости, разумеется, ничего не подозревал, в то время, как, по справедливому замечанию Герцена, «клевета толкала его на эшафот и порывала последнее общение любви между мучеником и сочувствующею ему массою». К счастию, другу Бакунина, композитору Рейхелю, удалось разрушить гадкую сплетню, при энергичном содействии самой Жорж Занд, возмущенной злоупотреблением ее имени против Бакунина как заслуженного революционера и личного ее друга. Однако под влиянием все того же Марксова кружка, грязь эта вздувалась и против Герцена, и против Бакунина еще неоднократно — даже в Лондоне. В 1869 году Бакунин в письме к Герцену характеризует Маркса, как «зачинщика и подстрекателя всех гадостей, взводимых на нас». Впоследствии многолетняя вражда двух

титанов революции, осложненная вмешательством Утина, который был далеко не титан, но большой мастер вести партийную интригу, кончилась, как известно, очень печально для Бакунина: Маркс выбросил его за борт социалистической революции, выгнав в 1873 году из Интернационала.

Как же отвечал на выходки Маркса Бакунин? Вот строки того же самого письма, в ответ на упрек более чуткого к оскорблениям Герцена, который не любил оставлять обид без расплаты и умел на укол словом-булавкою отвечать ударом слова-кинжала. «Почему я пощадил Маркса и даже похвалил, назвав великаном? По двум причинам, Герцен. Первая причина — *справедливость*. Оставив в стороне все его гадости против нас, нельзя не признать за ним огромных заслуг по делу социализма, которому он служит умно, энергически и верно вот уж скоро 25 лет и в котором он, несомненно, опередил нас всех. Он был одним из первых, чуть ли не главным, основателем Интернационального общества. А это в моих глазах заслуга огромная, которую я всегда признавать буду, что бы он против нас ни делал». Вторая причина, выставляемая Бакуниным в самозащиту от герценовых насмешек, относится к области партийной полемики и тактики и дышит тем наивным макиавеллизмом, в котором Бакунин был так необычайно хитер и ловок на словах и так изумительно неуклюж и неудачен на деле. Бедная «Большая Лиза»! Всякий раз, что она начинала плутовать и талейранствовать, она немедленно попадалась на месте преступления самым позорным и смехотворным образом. Дипломатического таланта у Бакунина не было достаточно даже для того, чтобы выманить, по поручению Нечаева, у дочери Герцена рисунок для революционной печати — мужика с топором. А в крикливой ссоре Нечаева с m-lle Герцен, из-за уклончивости ее поступить в его «русское революционное общество», Бакунин, хотя был всецело на стороне Нечаева, не выдержал характера, когда тот нагрубил его любимице Нате, и резко

оборвал его. Так было всегда и во всем. Бакунин годился на всякую политическую деятельность, кроме дипломатической. Он был страстный конспиратор, но дипломат — никакой. Начиная уже с того, что, по размашистой натуре своей, никогда не умел держать язык за зубами. В одном письме 1862 года Герцен, раздраженный польскими делами, безжалостно перечисляет «Большой Лизе» ряд лиц, пострадавших так или иначе от нескладных и рассеянных ее экспансивностей. «Большая Лиза» была болтлива и любопытна. Герцен, Белинский, Тургенев, Катков и др., все друзья молодости, жалуются на страсть Бакунина «быть стоком сплетней» (выражение именно Тургенева). В 1840 году страстишка эта довела Бакунина до весьма грязного столкновения с Катковым; последний дал ему пощечину при встрече в квартире Белинского в Петербурге. Бакунин вызвал Каткова на дуэль, но поединок не состоялся, потому что Бакунин, пофилософствовав, как Рудин пред Волынцевым, сознал себя неправым и драться не пожелал. Отзывы друзей о Бакунине в этом периоде его жизни ужасны. Огарев честит его «длинным гадом» и «подлецом», Герцен — «талантом, но дрянным человеком», Белинский и Боткин — «трусом» и т.д. Что Бакунин менее всего был трусом, это наглядно доказали Прага, Дрезден, Париж и Болонья. А обычная легкость его в отношениях с людьми сказалась тем обстоятельством, что два или три года спустя, он за границею как ни в чем не бывало, дружески исполняет какие-то поручения своего недавнего оскорбителя, Каткова. Этот был человек другого закала, обид не забывал и жажду мщения хранил свято. В 1859 году Бакунин, ссыльный в Иркутске на поселении, обратился к Каткову, на правах с лишком двадцатилетних отношений знакомства и дружбы, с денежною просьбою. Катков, конечно, отказал, а письмо сохранил и, двадцать лет спустя, воспользовался им, в 1870 г., чтобы облить Бакунина грязью, как будто бы бесчестного и наглого попрошайку, не умеющего жить ина-

че, как на чужой счет. Злоба и мстительная радость слишком ярко сквозят в этом письме, и, читая его, не за Бакунина грустно и совестно.

«Гамлет Щигровского уезда», злая сатира Тургенева на гегелианскую интеллигенцию сороковых годов, ядовитейшим образом изобличил пустоту, ничтожество и даже прямой вред для даровитой индивидуальности пресловутых «кружков in der Moskau».* Сколько можно судить по отношениям, возникавшим из недр кружков этих, даже для таких крупных людей, как Белинский, Бакунин, Грановский, Герцен и пр., образовательная и воспитательная польза их была, действительно, с привкусом большой горечи, которая рано или поздно отравляла и разрушала пылкие шиллеровские дружбы, установляя взамен очень скептически натянутые и подозрительные отношения, не далекие от ненависти Лежнева к Рудину. Бакунин, именно как Рудин, был блистательный оратор, и неудивительно, что в «кружке», для которого красноречие есть необходимый цемент, он должен был играть неизменно первую роль, даже в присутствии таких ярких людей, как Белинский или Герцен. Но у него был и рудинский талант утомлять своих друзей и отталкивать от себя порывистыми крайностями своих увлечений. На заре юности у Бакунина был таким «скоропалительным» другом и врагом — Белинский, на закате лет — Нечаев. Ссоры выходили, обыкновенно, из-за типической русской, а в особенности кружковой привычки — входить, что называется, в калошах в чужую душу. На этом построился скандал столкновения между Бакуниным и Катковым. Белинский разошелся с Бакуниным за властолюбивую привычку опекать его идеалистическое мировоззрение и поверять твердость в оном высокопарными гегелианскими речами.

«Любезный Бакунин, — однажды сказал ему Белинский, — о Боге, об искусстве можно рассуждать с философской точ-

* В Москве (*нем.*).

ки зрения, но о достоинстве холодной телятины должно говорить просто».

Ссора с Нечаевым, быть может, была единственною из «дружеских» ссор, в которой не Бакунин был причиною разрыва и твердо взял на себя не только его инициативу, но даже усердно писал письма всем друзьям и знакомым, предупреждая их против Нечаева, как скоро последний обнаружился пред старым революционером во всю величину своего аморального фанатизма. Известно, что Нечаев не постеснялся украсть у Бакунина несколько писем — с целью нравственно шантажировать его какими-то в них уликами... Этого поступка не вынес старик — тем более, что мы видели: немного раньше он был так влюблен в Нечаева, что, не колеблясь, шел к нему в «Матрены». И за всем тем, разочаровавшись в своем «боге» как в человеке, Бакунин не перестал уважать Нечаева как на редкость талантливого и энергического революционера. Его испугала и смутила огромная доля иезуитства и червонновалетства, которою, как коконом каким-то, собирался обволочь революционную агитацию Нечаев, — что очень тонко, к слову сказать, подметил за последним в «Бесах» Достоевский. И старый Бакунин попятился от молодого Нечаева в суеверном испуге, именно, как от беса какого-нибудь. Но и пятясь, твердил убежденно, что, конечно, бес — черен и вязаться с ним порядочному человеку опасно и не следует, но — по своему бесовскому амплуа — он молодец, лучше чего не найти. Нет-нет, когда Бакунин в качестве «Матрены» выдавал Нечаеву обязательство фабриковать по его приказанию фальшивые бумажки, он не предполагал, что подписывает в этом документе программу практической работы... Кстати, отметим: когда флорентинский посол русского двора Киселев, чтобы компрометировать Бакунина, проживавшего тогда в Неаполе, распространил слух именно о его прикосновенности к шайке фальшивомонетчиков, которая с замечательным

успехом работала на юге Италии и почиталась в общественном мнении революционною, Бакунин обиделся жестоко. Он даже думал вызвать на дуэль неаполитанского префекта, маркиза Гвалтерию: именно через него шла гадкая сплетня. Революционер, прошедший от глубины монархического консерватизма все стадии освободительного учения и движения и увенчавший свой путь торжественным гимном анархии, творец и учитель анархизма, Бакунин, и к шестидесяти годам своим, не изжил, однако, привычек и взглядов юношеского идеализма. Сам себя Бакунин почитал рьяным и глубоким реалистом, а в одном письме 1869 года заявляет даже, что он не знает ничего «подлее и грязнее идеалистов» и, чем больше живет, тем больше в том убеждается. Но пережитки Гегеля в смеси с романтикою Шеллинга, которой Бакунин тоже отдал дань в свое время, всплывали в Бакунине курьезными разладами с деятельностью очень часто и непроизвольно, так что по большей части он их сам не замечал. Еще в 1862 году он способен был блуждать целую ночь с приятелем по улицам Парижа, рассуждая о «личном Боге» и признаваясь, что имеет в душе веру к Нему...

Раньше, в гегелианской своей молодости, он был на этот счет настолько силен и крепок, что Белинский приписывал влиянию Бакунина свою религиозность в петербургский период своей деятельности. Даже в 1870 году Бакунин, в полосу большой нужды и вообще трудных обстоятельств, способен оказался прорваться странным в устах революционера и позитивиста восклицанием, что «nous avons mis notre confiance dans la providence divine et cela nous console»*. Правда, сказано это на французском языке, который в русском обиходе Бакунин почитал признаком преднамеренной лжи и бранил за то сантиментальные французские письма Грановского.

* «Мы не нашли наше согласие в божественном Проведении, и это нас утешает» (*фр.*).

Немного русских людей, работавших на культурные цели, умели обогнуть своею деятельностью такую колоссальную дугу идей и пройти такую длинную эволюцию социальности, как выпало на долю Бакунина. В одном из писем своих он уверяет, что был революционером с тех пор, как сам себя помнит. М.П. Драгоманов уличает его: это неправда — в 1835–1839 годах гегелианец Бакунин был убежденным царистом и влиятельным пропагандистом царизма («Бородинская годовщина» Белинского). Любопытно, что остатками «смутного царизма» однажды, уже в шестидесятых годах, попрекнул Бакунина Герцен. Сорок лет спустя, когда прах Бакунина опустили в могилу на кладбище в Берне, имя его было самым передовым символом человеческой свободы: от «бакунизма» как беспредельной воли самоуправляемой личности, как от аморфной анархии, отстали решительно все либеральные, социалистические и революционные учения и партии, да, в большинстве, продолжают отставать и до наших дней.

Был ли на всем протяжении этой эволюции хоть один момент, когда Бакунин кривил душою, был неискренним? Ни один факт в его биографии, ни единое слово в строках его сочинений и писем, ни единая мысль, прозрачная между строками его интимных излияний, не дают нам ни малейшего права на подобные подозрения. Некогда Белинский упрекал Бакунина, что он любит «не людей, но идеи». Таким прошел он и всю жизнь свою. У нас в России, в так называемом интеллигентном, но, в сущности, полуобразованном обществе, слово «логика» не в почете, пользуется страшною и чересчур возвышенною репутацией «сухой материи» и менее всего способна сочетаться в воображении многих с такою, казалось бы, безалаберною житейски фигурою, как Бакунин. На самом же деле, в истории русской культуры maximum способности к последовательно логическому мышлению и к логической диалектике являли собою именно фигуры, наименее

подававшие к тому надежды своею житейскою внешностью: Бакунин, Владимир Соловьев. Смелостью логической гимнастики, охотою идти до корня и смотреть в корень Бакунин далеко оставил за собою все логические и диалектические умы современного ему культурного движения. Он был, поистине, бесстрашен пред лицом сознанных и проверенных логическим рассуждением ошибок; поистине велик способностью

Сжечь все, чему поклонялся,
Поклониться всему, что сжигал, —

как скоро новая ступень социальной эволюции открывала его неугомонно движущемуся вперед духу, — духу лермонтовского «Мцыри», — новые горизонты с новыми звездами, новыми мирами...

Драгоманов замечательно удачно выбрал свой эпиграф к биографии Бакунина — из письма Белинского от 7 ноября 1842 года: «Мишель во многом виноват и грешен, но в нем есть нечто, что перевешивает все его недостатки, — это *вечно движущееся начало,* лежащее в глубине его духа». Нельзя было лучше угадать Бакунина, чем угадал Белинский. Бакунин в течение всей своей жизни не знал минуты застоя. Он, в буквальном смысле слова, не имел времени стариться и умер шестидесятилетним юношею, стоя далеко впереди не только своих ровесников, но и многих преемников, — «гражданином грядущих поколений». Растеряв зубы в шлиссельбургской цинге, измученный крепостями и Сибирью, явился он после девятилетнего погребения заживо в Лондон к Герцену и Огареву и в революционном их трио оказался наиболее юным, всего ближе и понятливее к молодежи революционного века. Замечательно в этом отношении письмо Бакунина к Герцену в 1867 году с о. Искии о брошюре

Серно-Соловьевича «Unsere Angelegenheiten», которая очень оскорбила Александра Ивановича и толкнула его к резкому и брюзжащему обобщению, по Серно-Соловьевичу, всей революционной молодежи. По глубине мысли и чувства современности, по ясности самоопределения в действительности и провидения в наступающее поколение, простодушная «Большая Лиза» оказалась гораздо сильнее на этот раз, чем гениально-остроумный и несравненно изящный в анализе текущих явлений знаменитый ее товарищ. Никто из русских деятелей не умел так свежо донести до могилы свою молодость, как Бакунин, никто не умел так тонко, глубоко и вровень с собою понимать молодежь (опять вспоминаю Дебогория-Мокриевича). А отсюда следует и объясняется и тот факт, что никто не умел и сильнее действовать на молодежь, захватывая ее под свое обаяние равенством старшего, товариществовать с нею, «приходя в ее среду, как primus inter pares» *. «Друг мой! — вырывается у Бакунина трогательное обращение к Огареву в письме 1869 года, — мы старики, поэтому мы должны быть умны: у нас нет более юношеского обаяния. Но зато есть ум, есть опыт, есть знание людей. Все это мы должны употреблять на служение делу». Какую мощную роль и силу выделял Бакунин на долю «юношеского обаяния», это лучше всего показывает его готовность отойти на второй план революции и стать в подчиненные отношения, как скоро на сцену выступил энергичным демоном века С.Г. Нечаев. Бакунина часто упрекали неразборчивостью в людях. Однако умел же он классифицировать свои симпатии настолько, чтобы возложить на лоно свое молодую деятельную силу, как Нечаев, но более чем холодно, с яркою враждебностью встретить «бабьего пророка», как звал он Утина. К последнему относится вряд ли не самое суровое из всех слов Бакунина, сказанных по адресу младших

* Первый между равными (*лат.*).

его двигателей революции. «Утина надо непременно уничтожить. Он самолюбиво злостно мешается во все, и, сколько может, мешает всему. А у него есть деньги и бабы». Бакунин — один из немногих исторических талантов России, умевших до седых волос сохраниться от надменного общественного предрассудка, что «яйца курицу не учат», отравившего своим ядом последние годы даже таких светлых умов, как Герцен и Тургенев, не говоря уже о сопряженных с ними dii minores *. Напротив, чем старше становился Бакунин, тем моложе общество его окружало, тем юнее была его публика и товарищество. Последнее десятилетие своей жизни Бакунин возится почти исключительно с юнцами, уча их революции словом, делом, статьями, прокламациями, речами, сочиняя кодексы и уставы новых организаций, слагая международные союзы, партии, фракции, конспирации. Этот громадный и знаменитый человек никогда не гнался за престижем «старшего» и даже с гимназистами держал себя так, как будто он им ровня. Вот член бакунинского символа веры, которым старик, на 56-м году жизни, выразил свои взгляды на то, как старое старится, а молодое растет. «Наша цель с тобою — революция. Зачем спрашиваешь, увидим ли мы ее или не увидим. Этого никто из нас не отгадает. Да ведь если и увидим, Огарев, нам с тобою немного будет *личного утешения,* — другие люди, новые, сильные, молодые, — разумеется, не Утины, — сотрут нас с лица земли, сделав нас бесполезными. Ну мы и отдадим им тогда книги в руки. Пусть себе делают, а мы ляжем и заснем молодецким сном непробудимым». Бакунин был великий мастер забывать прошлое: воистину он «оставлял мертвым хоронить своих мертвецов».

Именно так почти дословно и заключил Бакунин свою мастерскую, хотя страшно суровую, характеристику Гранов-

* Младшие боги (*лат.*).

ского в плутарховой параллели с Н.В. Станкевичем и далеко не к выгоде первого. «Перед гигантом Станкевичем Грановский был изящный маленький человек, не более. Я всегда чувствовал его тесноту и никогда не чувствовал к нему симпатии. Письма его насчет Герцена столько же глупы, сколько отвратительны. Похороните его, друзья: он вас не стоит. Будет одною пустою тенью в памяти менее». Довольно равнодушный не только к мертвецам, но и к людям настоящего, интересным ему лишь постольку, поскольку они ему годились как политические орудия, Бакунин любил жить исключительно с людьми того будущего, на которое он работал сам и учил работать свою «деклассированную молодежь». С своей стороны молодежь крепко любила своего вечно юного деда и не выдала его памяти даже Герцену, чей очерк «М.А. Бакунин и польское дело», при всем остроумии и верности многих характеристических черт, страдает высокомерием тона и близоруким непониманием европейской роли Бакунина. Герцен — незабвенно великое имя *русской* революции, в ней его значение, по крайней мере, непосредственное, было гораздо выше и действительнее бакунинского, но Бакунин принадлежал революции не столько русской, сколько международно-европейской. «Ты только русский, а я интернационал!» — с гордостью пишет он Огареву по поводу неудачной коммунистической революции в Лионе, мало того затронувшей. В этом европейском своем значении Бакунин, конечно, фигура несравненно более крупная и, так сказать, более историческая, чем А.И. Герцен, хотя и превосходивший его и талантами, и литературною удачею. «Будущие историки революционного дела в России и Испании, в Швеции и Италии, во Франции, Германии и Польше найдут руку Бакунина повсюду. Недаром более сведущие реакционеры называли его «Старцем горы», которого воля в одно время совершалась в Кордове и Бактре».

В своей знаменитой речи о Пушкине Достоевский положил блестящее начало несколько хвастливой, но и во многом верной теории о русской «всечеловечности», о космополитической способности русских жить чувствами, сливаться с интересами, ощущать биение общего пульса решительно со всеми народами мира, о нашем таланте отрешаться от национальности для гражданства во вселенной, о жажде бежать от цивилизованной государственности в недра свободного человечества и т.д. О Бакунине в то время не принято было громко разговаривать, но нет никакого сомнения, что для иллюстрации своих положений Достоевский не мог бы желать более типической и точной фигуры всечеловека и странника в мире сем, как великий «Старец горы». Достоевский долго и подробно говорил о пушкинском Алеко, неудачно ушедшем от ненавистного петербургского общества искать свободы и душевного мира в цыганском таборе. Так вот — Бакунин — это Алеко, которому удалось его бегство. В его письмах, статьях и даже в первой речи о Польше на парижском банкете 29 ноября 1847 года, стоившей ему высылки из Франции, звучат уже мотивы «скитальчества». «Лишенные политических прав, мы не имеем даже той свободы натуральной, — патриархальной, так сказать, — которою пользуются народы наименее цивилизованные и которая позволяет, по крайней мере, человеку отдохнуть сердцем в родной среде и отдаться вполне инстинктам своего племени. Мы не имеем ничего этого; никакой жест натуральный, никакое свободное движение нам не дозволено...» Эти строки звучат, как прозаическое переложение монолога Алеко, обращенного к новорожденному сыну, как рифмованная скорбь «Измаил-бея», как вопль пленного Мцыри, что нет ему воли — «глазами тучи следить, руками молнии ловить...» Достоевскому, в бакунинском примере, можно было бы уступить даже и ту сомнительную часть его учения, в которой он призывал «гордых людей» к «смирению». Потому что, если бегство

от цивилизации, не удавшееся гордому Алеко, блистательно удалось Бакунину, то, конечно, в этом обстоятельстве немалую роль сыграло именно то условие, что Бакунин был уже нисколько не гордый человек, но, напротив, удивительно одаренный талантом снисхождения, терпимости и приспособляемости к людям. Он умел грешить сам, умел и понимать чужой грех и слабость. Здесь опять надо вернуться к вопросу о неразборчивости в выборе знакомых и сотрудников, которою так часто попрекал Бакунина Герцен. К слову сказать, это — попреки, — даже в лучшем случае, — кривого слепому. Александр Иванович имел слабость почитать себя великим знатоком человеков, в действительности же, на каждом шагу попадал впросак и провалы не хуже бакунинских. На честности и доверчивости отношений Герцен ловился с необычайною легкостью многими «честными Яго». Стоит вспомнить его откровенности перед Чичериным, который потом злобно и ехидно высмеял Герцена за «темперамент». Блистательные характеристики Грановского, Станкевича, Маркса, самого Герцена, Нечаева, оставленные Бакуниным в письмах, показывают его не только не слепым наблюдателем мира сего, а, напротив, вдумчивым психологом-аналитиком, необычайно тонким, острым и метким. О смелости наблюдения нечего и говорить. Рассмотреть в Грановском сквозь окружающий его розовый туман идолопоклонства «изящного маленького человека, не более» — не в состоянии был бы нравственный слепыш, каким Герцен изобразил «Большую Лизу». Не менее оригинальна и замечательна оценка Бакуниным декабристов как чересчур превозвышенных репутацией страдания дворян-*либералов*, среди которых истинно-революционною и демократическою целью задавался один Пестель, за то и не любимый товарищами. Нет, людей Бакунин умел понимать и разбирать, но, поняв и разобрав, он не брезговал ими с высоты барского «чистюльства», если находил порочные пятна, он все-таки

не питал предубеждения к грешнику, потому что сам был «рослый грешник» (выражение Тургенева) и собственным чутьем и опытом знал слишком хорошо, что те грехи и грешки против буржуазной нравственности, которыми люди имеют обыкновение унижать друг друга, нимало не препятствуют героям быть героями и мученикам мучениками. В Бакунине было больше Дантона (схожего с ним и физически), чем Робеспьера или Сен-Жюста. Он любил человека в лучших проявлениях и терпеливо закрывал глаза на черную половину. Любил детей Ормузда, махнув рукою на частицу в них Ариманова зла. «Мрочковский засвидетельствует, что с тех пор как он меня знает, я не изменил никому, а мне изменяли часто, и что я бросал человека только тогда, когда, истощив все зависящие от меня средства для того, чтобы сохранить его союз и дружбу, убеждался окончательно в невозможности их сохранить. С Нечаевым я был долготерпелив более, чем с кем-либо. Мне страшно не хотелось разрывать с ним союза, потому что этот человек одарен удивительною энергией». И когда Нечаев был арестован и выдан швейцарскими властями русскому правительству, письмо о том от Бакунина к Огареву прозвучало, как мрачный реквием, в котором старик не нашел для юного и несчастного врага своего ни одного злого слова и отдал всю должную справедливость его талантам и искренности. Однажды Бакунин упрекнул Герцена за «высокомерное, систематическое, в ленивую привычку у тебя обратившееся презрение к моим рекомендациям». Герцен оскорбился, хотя Бакунин был прав, а, может быть, именно потому, что Бакунин был прав. Бакунин извинился, сделав только одну оговорку: «А что, если бы тебе пришлось получить все записки, которые ты мне написал? Ведь ты бы давно услал меня в Калькутту!»

Когда вышли в свет посмертные сочинения Герцена, Бакунин был уязвлен его воспоминаниями, называл их карика-

турою и пасквилем. Это преувеличение: в памфлете Герцена нет ничего унижающего или оскорбительного для Бакунина, кроме — тона. А тон, действительно, жуткий, когда вспомнишь, что этими презрительными снисходительно-насмешливыми нотами Герцен ликвидировал отношения тридцатилетней дружбы. Конечно, amicus Plato, sed magis amico veritas *. Но и veritas могла бы быть высказана в форме более деликатной и менее субъективной. Бакунин писал *самому* Герцену гораздо более суровые строки и гораздо более резким слогом (например, о Каракозове, о гневе Герцена на брошюру Серно-Соловьевича), но вряд ли позволил бы он себе писать о *Герцене*, обращая образ его в посмешище и игрушку толпы. Он был мягче, проще и таил в сердце своем больше веселья, чем иронии, неукротимый, сверкающий талант которой в Герцене оказывался часто сильнее его доброй воли.

Нет, Бакунин не был ни гордым, ни самолюбивым, ни самомнящим человеком. Письма и литературные труды его превосходны стилистически. Язык их близко напоминает слог Лермонтова в прозе. Однако Бакунин далек от того, чтобы ценить свой литературный талант по достоинству. «Ты стилист, классик, — пишет он Огареву, — так тебе, пожалуй, не понравится мое писание... Батюшка, Александр Иванович! будь крестным отцом этого безобразного сочинения (предполагавшийся памфлет против Маркса), его умывателем и устроителем. Издать его сделалось для меня, по всему настоящему положению, просто необходимостью. Но я не художник, и литературная архитектура мне совсем не далась, так что я один, пожалуй, с задуманным заданием не справлюсь...»

Бывают люди, которых частная жизнь слагается из преимущественных черт: любви, болезни, дружбы, долга и т.д. На психологии преобладающего чувства строил свои

* Платон мне друг, но истина дороже (*лат.*).

грандиозные романы великий Стендаль и создал тем идеологическую школу беллетристики. Если разбирать последовательно всю частную жизнь Бакунина, то в ней господствующею чертою было — «быть упрекаемым». Этот человек жил и работал вечно под дамокловым мечом чьей-либо нотации — от своих и чужих, от близких и далеких, от современников и мемуаристов. Одним из нелепейших, но наиболее частых упреков Бакунину повторяли, что он не сдержал честного слова, данного Муравьеву-Амурскому и Корсакову — не бежать из Сибири, а сбежал, при первой представившейся возможности. Наивность этой барской претензии сохранять рыцарский point d'honneur * в подневольных условиях ссыльно-поселенческих, в отношениях узника к тюремщику, возмущала еще Герцена. Он в свое время защитил Бакунина в справедливо резких словах. Но общее мнение было против Бакунина. Даже такой умный, казалось бы, человек, как Кавелин, жаловался, что Бакунин «ушел из России нехорошо, нечестно». Недавно я нашел подобную же ламентацию в публикуемых «Русскою мыслью» записках А.М. Унковского. Любопытно, что и сам Бакунин терзался некоторое время мыслью, что «пришлось обмануть друзей». И лишь Герцен, с обычным ему здравомыслием, справедливо говорил:

— Экая важность, что Корсаков получил из-за тебя выговор. Очень жаль, что не два.

Масса упреков падает на денежную безалаберность Бакунина. Действительно, должник он был хаотический и плательщик неаккуратный. Из всех мемуаристов о Бакунине жалостнее всех плачется на этот порок социалист 40-х годов, Арнольд Руге. В журнале его «Halle'sche Jahrbücher» Бакунин напечатал, под псевдонимом Жюля Елизара, знаменитую статью свою «Реакция в Германии», где впервые

* Чувство чести (*фр.*).

правозглашен был основной принцип, впоследствие усвоенный как девиз анархическою революцией: страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть — Die Lust der Zerstörung ist zugleich eine schaffende Lust *. Вообще, эта статья сделала эру в социально-революционном движении умов в «молодой Германии», почему впоследствии Бакунина и величали иногда немножко преувеличенным титулом — «отца германского социализма»... Руге обожал Бакунина, хотя и ненавидел его славянские симпатии и мечтания о всеславянской федерации, но обожание не смягчало в бедном немце тоски по суммам, которые великий революционер занимал у своего экс-редактора пудами, а выплачивал золотниками. Между Огаревым, Герценом и Бакуниным царил, сорокалетними отношениями накопившийся, хаос денежных счетов. Со смертью Александра Ивановича хаос еще более осложнился, так как Бакунин, подстрекаемый Нечаевым, потребовал отчетности по пресловутому Бахметевскому фонду... Разумеется, в хватании денежных займов налево и направо, в житье на чужой счет, в неуплате долгов нет ничего хорошего. Обелить эту черту в характере Бакунина невозможно. Однако — «виновен, но заслуживает снисхождения». И повод к таковому дает прежде всего, конечно, та привычка к кружковщине, построенной на началах шиллеровской дружбы, которою началась и в которой тянулась юность Бакунина, — барича, богатого номинально и in spe **, но фактически совершенно нищего. Свою поездку за границу Бакунин совершил на счет кружка Герцена. Интересны мотивы, представляемые им для этого займа: «Я жду духовного перерождения и крещения от этого путешествия, я чувствую в себе так много сильной и глубокой возможности, и еще так мало осуществил, что каждая копейка для меня будет важ-

* Восторг разрушения, одновременно творческая радость.
** В зародыше (*лат.*); по рождению.

на, как новое средство к достижению моей цели... Беру у вас деньги не для удовлетворения каких-нибудь глупых и пустых фантазий, но для достижения человеческой и единственной цели моей жизни... Я никогда не позабуду, что, дав мне средства ехать за границу, вы спасли меня от ужаснейшего несчастья, от постепенного опошления. Поверьте, что я всеми силами буду стараться оправдать вашу доверенность и что я употреблю все заключающиеся во мне средства для того, чтобы стать живым, действительно духовным человеком, полезным не только для себя одного, но и отечеству, и всем окружающим меня людям». О счастливые времена, когда российский интеллигент мог достать денег у других интеллигентов на предприятие «духовного перерождения и крещения», на страховку от «опошления» и под единственное обеспечение — под обещание «стать духовным человеком»!.. В первом десятилетии XX века все это кажется каким-то мифом...

Дворянские деньги были легкие и легко перемещались, и счеты по ним были легкие. В дворянской эпохе множество денежных проделок, не позволительных в современном буржуазном обществе, не только обычно, но и юридически, уголовно, считались не более, как милыми товарищескими шутками... Почитайте, — первый и ближайший общедоступный пример! — хоть воспоминания Гончарова о кредитных операциях симбирского губернатора Углицкого, который, однако, по своему времени был очень порядочным человеком, считался и сам себя считал джентльменом. Легкость и двусмысленность кредита рождали и легкое, и двусмысленное к нему отношение... В этом случае Бакунин был лишь типическое и балованное дитя своей родной среды.

Что касается последних лет Бакунина, то, право, когда видишь грошовые суммы, в которых нуждался великий революционер, начинаешь негодовать не на его мешкотность и неаккуратность, а на милое отечество, допускающее, что-

бы люди, с заслугами Бакунина, в шестьдесят лет, после стольких годов самоотверженной деятельности для общего блага, дрожали, предчувствуя приход судебного пристава, не могли переехать в дилижансе из города в соседний город, за неимением десятка свободных франков. Что может быть ужаснее писем Антонины, жены Бакунина, к Огареву из Локарно от февраля 1872 года? Это — полная нищета, с выразительным post scriptum'ом: «Простите, что посылаю письмо не франкированным, в эту минуту мы à la lettre sans sou» *. Эх, русские люди, русские люди!.. Кого из пророков своих вы не морили голодом, не томили нуждою, не травили собачьею, беспричинною злостью, не побивали камнями — и, когда камни ваши оставляли синяки, о ком не говорили вы, показывая укоризненными перстами: «Смотрите! Хорош ваш святой! он весь — в черных пятнах!..» Вывел из тяжелого положения Бакунина, конечно, не русский капитал, а помощь итальянского почитателя, социалиста Кафьеро. Он купил для Бакунина домик на Lago Maggiore и предоставил это жилище старику с семьею в пожизненное владение. Что касается русских, их участие к Бакунину выразилось только тем, что его постарались рассорить с Кафьеро, доказывая последнему, будто собственность в руках Бакунина недостаточно служит целям социальной революции. За Бакуниным вечно все считали и усчитывали его расходы, долги, обязательства и всякие минусы. А все плюсы, вносившиеся им в международную жизнь, принимались равнодушно и чуть не свысока, как нечто должное, как своего рода оброк, что ли. А вот — оборотная сторона медали: сам Бакунин в роли кредитора, рассказывает Дебогорий-Мокриевич.

«Он потребовал, чтобы я непременно показал ему свой кошелек. Напрасно я старался убедить его, что денег у меня достаточно, и я в них не нуждаюсь. Он все-таки настоял на

---

* В прямом смысле без единого су (*фр.*).

своем. До требуемого количества не хватало тридцати с небольшим франков.

— Я остановлюсь в Богемии. Там у меня есть приятели, у которых я могу взять деньги, сколько понадобится, — объяснял я.

— Ну-ну, рассказывай! — возражал Бакунин. Он вытащил из стола небольшую деревянную коробочку, сопя, отсчитал тридцать с лишним франков и передал мне.

Мне было очень неловко принимать эти деньги, однако я был принужден их взять.

— Хорошо, по приезде в Россию я вышлю, — проговорил я.

Но Бакунин только сопел и, глядя на меня, улыбался.

— Кому? Мне вышлешь?— спросил, наконец, он, потом добавил: — Это я даю тебе не свои деньги.

— Кому же их переслать, в таком случае?

— Большой ты собственник! Да отдай их на русские дела, если уже хочешь непременно отдать».

Эта сцена произошла при первом знакомстве Бакунина с Дебогорием-Мокриевичем и в том самом году, когда Антонина Бакунина посылала письма нефранкированными, будучи sans sou à la lettre. Любопытная подробность одной из таких посылок: 14 ноября 1871 года Бакунин пишет Огареву: «Второй день, как перестали есть мясо и скоро останемся без свечей и без дров... Пожалуйста, не говори об этом, чтобы Женева не заболтала... Не франкирую этого письма, а письмо к О-ову ты передай. Он такой же нищий, как и я, — значит, нефранкированных писем ему посылать нельзя». Подумать только, что Бакунин не имел возможности выписывать необходимых ему политических газет и просил Герцена не обращать использованных журналов на какое-нибудь «неприличное употребление», но присылать ему, Бакунину!.. Все такие подробности унизительной нужды буржуазное общество забыло о Бакунине, но грошовые долги Бакунина помнит крепко, вместе с анек-

дотами о неимоверном количестве чая, который поглощал Михаил Александрович. Чаепийца он был, действительно, ужасающий, и его post scriptum'ы о присылке чая в письмах к Огареву — поистине, комический элемент в тяжелой житейской драме. И каждый post scriptum непременно, с достоинством, требует, чтобы чай был выслан наложенным платежом, contre remboursement *, хотя Огарев неизменно посылал чайное сокровище в подарок, зная, что при наложенном платеже Бакунин никогда не справится с деньгами, чтобы выкупить пакет с почты. Бакунин, опять-таки с неизменным достоинством, приятно удивлялся подарку своего «Аги», а письма через два снова взывал: «Пришли два фунта чаю contre remboursement...» В этом, конечно, много «Большой Лизы»! Но улыбка, возбуждаемая чайными томлениями Бакунина, быстро гаснет. Ее убивает опять то же самое соображение: однако этот шестидесятилетний старик, отдавший делу русской и европейской свободы сорок лет жизни, пожертвовавший революции всеми буржуазными благами, состоянием, сословием, положением, родиною, на старости лет оставлен был признательными соотечественниками в таком блестящем положении, что должен был побираться у приятелей даже для возможности обеспечить себе необходимый при умственной работе студенческий стакан чаю!.. Нет, повторяю еще раз: когда изучаешь «смешные» и «порочные» стороны Бакунина, не за Бакунина становится стыдно и обидно, — его только жаль бесконечно, со всем его огромным удалым ребячеством, взрослым детством гениальной натуры, беспомощным богатырством и богатырскою беспомощностью. Его только жаль, а негодование и отвращение достаются русскому образованному обществу, что губило, губит и долго еще губить будет таких Бакуниных своим равнодушным предательством: в мире — нуждою без отзыва, помощи и кре-

* Наложенный платеж (*фр.*).

дита, а на войне — фразистым революционерством в перчатках, за декламацией и посулами которого таится пустота повапленного гроба, пустота — хоть шаром покати. Бакунин умер в Берне, в немецкой свободолюбивой семье знаменитого физиолога Фохта, на руках последнего своего ученика и друга, итальянского чернорабочего, зарыт в швейцарскую землю, и немка Рейхель, видевшая в нем идеал человека, приняла на себя заботы о его могиле... Таким образом, и кончина его вышла такою же международною, как вся жизнь. Что касается родины, она отозвалась на смерть Бакунина лишь несколькими скверными некрологическими анекдотами, утверждавшими уже распространенные о нем лжи и сеявшими новые, скверные клеветы. Положительное отношение к памяти Бакунина спотыкалось о высокий порог цензуры; честная печать молчала с завязанным ртом, бесчестная бахвалилась, будто она с Бакуниным никогда серьезно не считалась, не питала к нему никакого уважения (как якобы она уважала Герцена), ругалась и пыталась представить глазам общества великого трибуна — сегодня мошенником, завтра — сумасшедшим, а послезавтра — не то юродивым, — не то просто каким-то шутом от революции. Подобною раскраскою бакунинской репутации занимались не одни Катковы, — не удерживался от соблазна, даже при жизни М.А., — например, и глава славянофильства, И.С. Аксаков, печально оправдав скептическую прозорливость о нем Бакунина в старинной полемике шестидесятых годов. Только в последние годы, когда революционные веяния хоть немного ослабили узы русской книге, стала возможна реабилитация Бакунина и беспристрастная критическая оценка его могучей фигуры и деятельности. Да и то, драгомановская биография Бакунина (далеко не снисходительная к покойному революционеру!), равно как и собрание писем его, недавно подверглись конфискации за строки, касающиеся императора Александра II.

Я далек от самонадеянной мысли, что мой беглый очерк явится апологией, вносящею новые взгляды на личность Бакунина, и осветит во весь рост его гигантскую историческую роль. Для этого следовало бы сделать обширное исследование демократической бакунинской доктрины, с ее последовательным ростом от Гегеля к позитивистам, от оправдания николаевщины к философским мыслям Жюля Елизара, сложившим compendium * германской социальной революции, от национал-социалистических тенденций к бешеной вражде с государственным социализмом, от расового феодализма к интернационализму, от Маркса к бунтарству и анархическому «творчеству разрушением». Заглавие моего очерка показывает, что я имел в виду говорить с публикою о Бакунине, а не о бакунизме. Эту вторую задачу я постараюсь исполнить отдельно. В этом же первом наброске я старался лишь обрисовать фигуру Бакунина, как представителя того могучего духа, того святого беспокойства, избранные носители которых, задыхаясь в тесных русских рамках, — искони привыкли либо расшибать свои удалые головы о железные решетки, либо, прорвавшись сквозь их сеть, из полона на волю, превращаться в граждан всего мира, делать историю всего мира, становиться необходимыми всему миру. Бакунин — седовласый Мцыри, познавший мучительный восторг революционной бури; Бакунин — Стенька Разин, предложенный Европе в перелицовке на западные нравы и в переводе на язык германской философии; Бакунин — гегелианский гелертер, кончивший жизнь отрицанием науки, если она — не наука бунта и топора, — несомненно самый типический и грозный из всех русских буревестников, свиставших своими черными крылами над буржуазною Европою XIX века. Бакунин сделал в этой буржуазной Европе несколько революций, правда, разрешившихся лишь в буржуазные

* Краткий очерк (*лат.*).

же демократии, но сами революционеры, в рядах которых он был солдатом или вождем, боялись его, чувствуя в нем существо иной силы и высшего бурного духа. Известна фраза Коссидьера, парижского революционного префекта в 1848 году, что Бакунин неоценим в первый день революции, а во второй день его надо расстрелять. Герцен, от имени Бакунина, острил, что Коссидьер тоже человек неоценимый для революции — только его следует расстрелять накануне ее первого дня. Немцы, не исключая гениального Маркса, не исключая влюбленного в Бакунина Руге, — в лучшем случае, — терпели русского революционера через силу, в большинстве же откровенно его ненавидели и в конце концов, — мы говорили уже, — по докладу Утина, выжили и выгнали «Старца горы» из Интернационала. Но любопытно, что, изгнав Бакунина, — притом с большим трудом, при резком протесте весьма численного большинства, образовавшего затем Юрскую Конфедерацию, — выгнав Бакунина, Интернационал и сам не замедлил распасться и разложиться, точно он утратил свой природный символ, свою международную душу. Русские революционеры-западники, лондонские изгнанники, тоже боялись Бакунина. Огарев понимал его лучше и любил больше, но Герцен, чем дальше жил, тем дальше и подозрительнее отходил от Бакунина. Его умеренному полусоциалистическому мировоззрению и эстетической натуре культурного западника (по воспитанию и образу жизни, — в образе же мыслей Герцена мелькали часто, если не славянофильские, то, во всяком случае, славистские настроения) — была втайне страшна буря бакунинского Sturm und Drang'а *. Ведь Бакунин, как смерч разрушительный, объявлял войну уже не династиям, не сословиям, не классам, но всему двадцативековому складу европейской цивилизации. Польские революционеры, за дело которых Бакунин стоял горою, ради которых он увлек Герцена

* Буря и натиск (*нем.*).

и Огарева в агитацию, погубившую и распространение «Колокола», пришли в ужас, прислушавшись к неумолимой логике крайностей, как излагал им Бакунин собственное их будущее, во время шведской экспедиции. Домонтович открыто заявил, что если надо выбирать между императорским правительством и теми демократическими формами, в каких стремятся восстановить самостоятельность Польши ее русские друзья, с Бакуниным во главе, то он высказывается за сохранение деспотизма. «Потому что, — говорили шляхтичи, — деспотизму когда-нибудь конец будет, и тогда мы устроимся, как нам надо, а ваш перестрой народ взять назад уже не позволит». Таким образом, мы видим, что Бакунин в активной революции был, в сущности, совершенно одинок и, в полном смысле слова, один в поле воин. Быть может, одиночество и придавало ему, как Ибсенову Штокману, ту сокрушающую силу, что была неотъемлемым и основным признаком его революционного апостольства. Свободный и одинокий, ринулся он — «буревестник, черной молнии подобный» — в жизнь, требующую перестроя, и прошел ее, как ниспровергающий смерч. Есть люда, для кого всякое настоящее мира тесно, как тюрьма. Бакунин, по смерчевой натуре своей, самый яркий и могущественный пример их, ломающих тесное настоящее для просторного будущего. Он задыхался в России, — бросился в славянство, — тесно стало в славянских рамках, — понесся смерчем по германской демократии, — поднял вихри Лиона, Барцелоны и Болоньи, — мало! мало! — буйство фантазии и неукоротимый энтузиазм убеждения громоздят пред ним видение международной анархии, идеал безгосударственного свободного, индивидуалистического самоуправления, апокалипсис человека, восторжествовавшего над проклятием первородного греха, победившего рабский труд в поте лица, упразднившего тернии и волчцы, насмешливо обещанные человечеству вместо хлеба...

— Скажи, Бакунин, — спросил однажды Рейхель, — ну а если исполнится все, чего мы с тобою желаем, что же — тогда?

— Тогда?

Бакунин нахмурился.

— Тогда я опрокину все... и начнем сызнова!

За подлинность этого разговора трудно ручаться. Может быть, он плод легенды, но не невероятен и в действительности. По крайней мере, он вполне в духе Бакунина и хорошо выражает вихрь, его одухотворявший. Разбивать и опрокидывать — природа смерчей и вихрей. Они не могут не разбивать, должны опрокидывать, пока и не разобьются и не опрокинутся сами. И, конечно, Бакунин — этот Фауст революции — не остановился бы, удовлетворенный, ни на одном из ее существующих мгновений. Строя новый мир разрушением старого, он шел бы — да и шел — все вперед и вперед, пока не встретил на пути роковую соперницу своему смерчу — еще более могучую обновительницу мира, еще более неутомимую строительницу разрушением, — Смерть. Словно завидуя славе Бакунина, она не дала ему чести погибнуть в бою на болонской баррикаде. 6-го июля 1876 года она подкралась к нему, как разбойник, задушила и опрокинула в бернскую могилу.

1906

Н.К. МИХАЙЛОВСКИЙ

(После сороковин)

Позвольте мне в сороковой день памяти Н.К. Михайловского обратить к имени его строки, — может быть, нескладные, но искренние, — которые были набросаны мною, когда вдали от Петербурга я получил первое известие об его смер-

ти. Они остались, — как любят выражаться русские журналисты, — «в моем портфеле», хотя портфелей у них, обыкновенно, не имеется, — потому что — я боялся — тогда они представили бы собою запоздалый некролог, повторение в догонку слов и мыслей, которые успеют раньше меня сказать собратья по перу, географически более близкие к праху покойного публициста. Но, пересматривая эту заметку, я нахожу в ней кое-какие слова, которые остались недоговоренными, и мне хочется включить их хоть теперь в широкую гармонию гремящего в обществе поминального гимна.

...Смерть Николая Константиновича Михайловского — потеря невознаградимая и для литературы, и для общества. Быстрою, спешною заметкою я, конечно, не берусь не только исчерпать, но даже подробно наметить сложное значение покойного в русской общественной жизни последних трех десятилетий. Отошел в вечность бесспорный вождь и глава всей прогрессивной русской журналистики и последний сильный пророк позитивизма, приявший дух и знамя его от старших богатырей шестидесятых годов. Со знаменем этим Михайловский бодро стоял «на славном посту» над прахом отошедших в вечность старших товарищей. Общественные бури истрепали гордое, честное знамя в клочки, но Михайловский ни на миг не выпустил древка из рук, ни на пядь не отступил с давней, буйными боями завоеванной позиции. Пусть иные новые течения, стремясь вперед, пошли быстрее и обогнали Михайловского, — пусть для многих он слыл уже либеральным старовером! Иначе и быть не могло, и не должно быть: в том и прогресс, чтобы созревающие поколения опережали и исправляли поколения, созревшие и снимаемые временем с общественной полосы, как полный колос!.. Но и в самых спешных, самых передовых течениях не было и нет ни одного человека, который время от времени не оглядывался бы назад — посмотреть с тревожною любовью, как стоит на своем месте, будто незыблемая скала над потоком,

старый, стойкий знаменосец, как колышется под встречным ветром над его седою головою старое, многострадальное, яркое знамя. Этот сорок с лишком лет непоколебимый флаг был маяком для отставших, куда им плыть, вдогонку века, а опередившие ценили в нем отправную точку, от которой они самостоятельно поплыли к новым берегам. И вот — уже не на кого оглянуться: опустел славный пост, рухнул старый знаменосец! Покройте же заслуженным знаменем гроб его и, по слову поэта, не сыпьте цветов на его могилу, а положите меч, потому что умер храбрый боец за человечество!

Нет сомнений, что смерть Михайловского вызовет целую литературу о нем. Десятки серьезных статей нужны, чтобы установить его характеристику и степень его влияния на русское общество как публициста, критика, философа-социолога. В высшей степени продуктивный, талант Михайловского был, по преимуществу, проверочным и перерабатывающим. Десятки лет Михайловский играл роль челюстей, которыми русский средний читатель пережевывал должную питать его жесткую пищу западной науки, десятки лет Михайловский толковал, объяснял, критиковал, спорил, комментировал — до тех пор, покуда пища не оказывалась совершенно усвоенною. Он, так сказать, — крестный отец русского Дарвина и русского Огюста Конта. Но всего теснее имя Михайловского в России связано с именем Спенсера, которого Михайловский был полемическим толкователем и популяризатором. Спенсер как социолог был излюбленным мудрецом конца русского XIX века, в особенности восьмидесятых годов, и успешною пересадкою своей известности на нашу почву английский философ обязан, если не исключительно, то по преимуществу, Михайловскому. Михайловский и Спенсер неразрывны в памяти русского читателя, — настолько, что даже и некоторые ошибки и произвольности в понимании Михайловским Спенсера вошли в русский интеллигентный обиход без поверки, как спенсеровы, и полемический Спен-

сер по Михайловскому в огромном большинстве читающих кругов до сих пор едва ли не более принят, чем Спенсер по Спенсеру.

Благородная последовательность и гражданская стойкость Н.К. Михайловского давно отличены благодарным вниманием всего русского общества, без различия лагерей и партий, как это и выразилось в беспримерно блестящем юбилейном торжестве его, когда знаменитому публицисту, вместе с восторженными друзьями, почтительно аплодировали и его давние идейные враги. Точно таким же прекрасным и, к сожалению, чрезвычайно редким зрелищем объединения всей русской печати были освящены теперь его погребальное шествие и его похоронный холм. Умерла некоторая великая любовь к русскому народу, и все, кто сами чувствуют в себе любовь к народу, как бы разно они и народ этот ни понимали, и любовь эту ни выражали, — все почувствовали потерю. Все, примиренные на мгновение, пошли с обнаженными головами за гробом отошедшего учителя, взвешивая в памяти слова его и чувствуя вместе с великою скорбью по мертвецу великую радость за живых: не оскудевает и не хилеет народ, который любят так беззаветно крепко, умно и смело, как любил русский народ Н.К. Михайловский!

Имя Михайловского стало на Руси символом литературной порядочности, а его авторитетное благословение — паспортом на принадлежность к передовому полку русского прогресса. И эта пассивная символичность Михайловского, особенно подчеркнутая в последний период его жизни, была для общества едва ли не столь же важна, как его кипучая, активная неутомимость. Он так долго поднимал вверх свое знамя, что наконец — для сотен тысяч читающих — слился с ним в один образ и стал сам знамя... «Человек — знамя!» — какой еще титул может звучать для публициста наградою выше, желаннее, благороднее?! А тут еще — и такое светлое, человеколюбивое знамя.

Я никогда в жизни не видал Николая Константинович. даже издали, но обменялся с ним несколькими письмами Об одном позволю себе теперь рассказать, потому что оно характерно для того инстинктивного благоговения, которое светлая, безукоризненная личность Михайловского вызвала в литературной молодежи даже отдаленных и чуждых ему лагерей. Это было после моей первой политической поездки в Болгарию, когда я с молодым энтузиазмом ухватился за идею болгаро-русского примирения (в 1894 г., после падения Стамбулова) и проводил ее множеством корреспонденций и статей, попавших и плывших страшно против течения. На меня «вызверились» тогда и охранители российские, и эмигранты болгарские — «Московские ведомости» С. Петровского, «Свет» Комарова-Бендерева и т.д. Брани, ругани, проклятий, клевет и инсинуаций я проглотил тогда столько, что до сих пор удивляюсь, как всею этою мерзостью не отравился, а, может быть, и отравился — только не остро и не насмерть, а хронически и с выздоровлением. Кроме г. Меньшикова, кажется, впоследствии уже никто не вешал на меня собак с таким усердием, как удостоился я в то время от наших поклонников грома победы и национальной вражды, как бы ни была она бессмысленна и вредна нам самим. Бывали минуты, когда я, отбиваясь от этих хаотических нападок, буквально, в отчаяние приходил, и, каюсь, по тогдашней молодости лет своих и очень слабой поддержке меня органом, где я работал, начинал уже сам немножко колебаться в своих выводах из моих болгарских впечатлений: да прав ли я, в самом деле? Не лучше ли они изучили страну, сидя в своих кабинетах, чем я на месте, живыми глазами? да не ошибаюсь ли я с моею примирительною тенденцией? да не втерли ли мне в глаза очки мои милые братушки? В это самое время Михайловский напечатал несколько рассудительных и спокойных строк о неблаговидности травли, против меня поднятой, и о желательности идей, которые, умело или неумело, но с искренностью

и убеждением проводил я в славянской политике. Трудно было попасть с помощью более вовремя и кстати. Ободрительное слово, брошенное, хотя и вскользь, из лагеря, который в то время был мне чужим, взбрызнуло меня живою водою. Я написал тогда Михайловскому огромное письмо, в котором вывернул пред ним все, что накопилось в душе из-за этой славянской полемики, — и очень скоро получил от него ласковый и ободряющий ответ в том смысле, что, мол, очень рад, если помог вам, потому что, хотя свое симпатичное дело и делаете вы в антипатичной мне газете, но человек вы — не без способностей и в этих своих взглядах, по-видимому, стоите на совершенно верном пути.

Хорошо это, когда есть в литературе сила-символ, воплощающая своим живым образом ту отвлеченную чистоту ее, суда которой над собою иногда так мучительно и вызывающе жаждет каждый писатель деятельной мысли и самостоятельной воли. Опять по себе сужу и скажу. Мысль: «Пойду, все расскажу Михайловскому и попрошу у него совета... Как он скажет, так и сделаю!» — такая мысль, как последнее средство исхода из крайне острых этических дилемм, приходила мне неоднократно в трудные, газетные моменты, когда передо мною носились в тумане насмешливыми призраками: либо конечное крушение любимого дела, либо тяжелый, оскорбительный компромисс... Однажды, в 1901 году, я не выдержал и поехал было к незнакомому Михайловскому. Но не судьба была увидать его: он оказался в деревне.

Хорошо было сознавать, что сидит негде этакая живая правда журналистики, которую ты хочешь — люби, не хочешь — не люби, а признавать должен, если в душе у тебя совесть жива; от которой клевета и насмешка отскочат, как горох от мраморной стены; на которой, как на камне пробирном, ты можешь испытать свою искренность, чистоту своих литературных побуждений, ясность своих общественных взглядов, твердость своих общественных убеждений. Вспо-

мните щедринскую притчу, как Глумов, увязший в самоохранительном буржуйстве до совершеннейшего свинства, внезапно увидал во сне Стыд и так смутился и испугался, что образ звериный от него отпал, и возвратился он к образу человеческому. Вот этим Стыдом, который спасительно снится падающему человеку, и был Михайловский в литературной среде. И многим-многим снился его строгий облик, и многих-многих отрезвил он и спас, иногда, быть может, сам того не зная и не подозревая.

Не знал я, повторяю, Михайловского лично, но телеграмма о кончине его больно ударила меня по сердцу, будто весть о смерти близкого и любимого человека... А и то сказать: кому же из нас, восьмидесятников, не был близок он — автор «Героев и толпы», «Жестокого таланта», «Записок профана»? Сколько мы его читали! Сколько мы его любили! Сколько мы на него ворчали! Сколько мы с ним ссорились! Сколько мы его уважали! Сколько мы от него слышали доброжелательных слов! Сколько приняли заслуженных бичей и скорпионов!.. Разные слои общества разною печалью встретили весть о кончине Николая Константиновича. Мы же, — юноши в восьмидесятых годах, а теперь люди за сорок, — почтительнее всех обнажаем свои головы у этой могилы, в которой спит, засыпанный цветами, умный гувернер, усердный дядька, любимый репетитор нашего поколения!

Русские прогрессивные публицисты-западники недолговечны. Коротки были сроки деятельности Белинского, Добролюбова, Писарева, оборванные смертью. На первых полусловах пришлось замолчать заживо умершему Чернышевскому. Герцена тоже слишком рано съела тоска изгойства, да и мало знает его, до сих пор запрещенного, читающая Россия... Н.К. Михайловскому природа послала сравнительно долгую жизнь и крепкие силы как бы для того, чтобы допеть недопетые песни молодо умиравших и рано замолкавших силачей, чтобы досказать и растолковать недоговоренные слова. Его

часто укоряли в отсутствии оригинальности, язвительно подчеркивали, что Михайловский-де — не творец самостоятельных идей, но лишь счастливый толмач старого идейного наследства. Но ведь и Моисей, когда спустился с Синая к стану израильскому, нес на скрижалях не свои, а продиктованные ему заповеди, что не помешало им остаться навеки в памяти и сознании народов заповедями Моисеевыми, а на фундаменте их вырос целый ряд религиозных, общественных и политических систем! Синай шестидесятых годов сквозь вихрь и гром реформ прошептал Михайловскому лучшие тайные слова своего идейного завета и отправил его в мир проповедовать воспринятую мудрость. И он проповедовал до последнего издыхания. И проповедовал так ярко и упорно, что огромная западническая идея шестидесятых годов, — в восьмидесятых, девяностых и вплоть до нашего года, — слилась с его именем в одно: она стала «идеей Михайловского». И берег он эту идею, как святой огонь на жертвеннике, и старый синайский свет самосознательной силы не переставал сиять на его непоклонной голове...

Теперь он погас... На чьем-то челе загорится!

Вологда. 1904

ШЛИССЕЛЬБУРЖЦЫ

В «Киевской мысли» появилась статья г. Л. Войтоловского «Шлиссельбургское последействие», написанная на основании записок бывших шлиссельбургских узников М. Фроленко и М. Новорусского о выходе их на свободу. Статья г. Войтоловского, воспевающая величие коллективного инстинкта, пользуется трагическим примером шлиссельбуржцев для показания, как изоляция личности от коллектива толпы приводит даже «богатые и тонко одаренные натуры» к «оскоп-

лению души». Не нахожу вообще удобным выставлять еще живых и здравствующих шлиссельбургских мучеников перед толпою в качестве субъектов, в которых будто бы «смерть коллективного инстинкта опустошила сознание». Но сверх того, обобщение в этом смысле, которое делает г. Л. Войтоловский, глубоко несправедливо.

Г. Л. Войтоловский награждает группу шлиссельбуржцев такими качествами, как «духовное отупение», «оскопление души», «самооскопление», «духовное банкротство» и т.п. Лишь ценою принижения интеллекта будто бы они «приобретали возможность вынести столь долгое отсутствие импульсов к жизни». Таким образом, уцелевших шлиссельбуржцев г. Войтоловский с точки зрения коллективного инстинкта считает как бы вторым сортом. Первый, в котором «требования коллективного инстинкта оказались сильнее способности самоуничтожения», погиб в самоубийствах, сумасшествии либо «умышленно шел под расстрел шлиссельбургских сторожей». И «лишь немногие (по мнению г. Войтоловского), наиболее счастливо одаренные организации, которые инстинктивно чувствовали эту опасность духовного банкротства, искали спасения в недрах своего собственного мозга».

Как чуть не единственный пример этих счастливо одаренных организаций, г. Л. Войтоловский упоминает Н.А. Морозова, который спас себя будто бы тем, что «в течение многих лет подряд сочинял фантастические романы», — следовательно, воображением подменял действительность. Нет никакого сомнения, что Н.А. Морозов вполне сохранил свои коллективные способности, не только сохранил, но едва ли даже не приумножил, так как вся его послешлиссельбургская деятельность — живое оправдание следующих слов г. Л. Войтоловского и цитируемого им В. Зомбарта: «Человек любит толпу, и рост коллективного инстинкта означает рост нашей привязанности к толпе». «Мы все теперь лучше чувствуем себя в публичных местах. Профессиональные собрания, клубы,

общественные читальни, концертные залы, музеи становятся для нас вторым семейным очагом».

Итак, Морозов спас в себе коллективный инстинкт. И что удивительно: средством, настолько субъективным по существу, что оно по теории психологической, казалось бы, должно было скорее увести его в индивидуалистическую обособленность, в тот мечтательный аристократизм духа, который резко противоположен чувству толпы и любви к толпе. Однако на практике с почтенным Н.А. Морозовым получился результат совершенно обратный. Средство, которое обыкновенно от толпы уводит, его для толпы сберегло, и в день свободы бросило его, полуфантазера-полунаучника, в толпу истинно уже как бы «твоя от твоих»: чрезвычайно популярным, ходовым, громким, разносторонне кипучим и, несомненно, демократическим писателем, рассуждателем и до известной степени деятелем. Как же так? Очевидно, тут не в средстве была сила. В чем же? Да в громадной индивидуальной жизнеспособности сильного организма, который выдержал процесс страшно трудного приспособления, сломавшего или истощившего организмы более слабые и менее жизнеспособные, и когда выдержал, нашел на новой почве новые средства зацвести и дать плод. Возьмите «Былое» и «Минувшие годы», перечитайте биографии и воспоминания шлиссельбуржцев. Не о «духовном отупении», «самооскоплении» и «банкротстве» заставят они вас думать, но о поразительной живучести интеллектуальной и физической энергии, вооруженной задачей самосознания. Задачу эту давала и энергию берегла надежда свободы, а надежду свободы делала дорогою и необходимою жажда опять быть полезными обществу. То есть тот самый коллективный инстинкт, о мощи которого г. Войтоловский справедливо рассуждает вообще, но почему-то отказывает в нем именно тем, кто проявил поистине сверхъестественную его силу. Погибло в Шлиссельбурге немало молодых, сильных, деятельных

натур, могучий духовный организм которых, круто прерванный в своей работе — точно оторванное от привода маховое колесо, — продолжал напрягаться впустую, стирая и снашивая сам себя своею бесплодною ныне деятельностью. Погибло затем все, что вошло в Шлиссельбург обреченно больным, слабым, уже разбитым и безнадежным в смысле физического приспособления к новой чудовищной обстановке. Богатырство же выдержало. И не только выдержало, но еще окрепнуть умудрилось, новый закал приобрело. И отнюдь не путем «духовного отупения», или «банкротства», или искусственно выработанных «равнодушия» и «нечувствительности», а торжеством сильного человеческого духа над слабою плотью, памятью о далеких массах, которым они служили, — «коллективным инстинктом» в той высшей и благороднейшей его форме, которая знаменуется не самоубийственным метанием пленного перепела в клетке, а сознательным сохранением себя для будущих возможных служений в твердом уме и со свежими силами. Волевая энергия жизни делала там чудеса. Сергей Иванов даже от туберкулеза умудрился вылечиться в Шлиссельбурге, в который вошел с кровохарканием, едва унимаемым беспрестанным глотанием льда. Чудовищны трагедии, закопанные в неведомых шлиссельбургских могилах.......

....

....

....

....Страшная жертва самосожжения Грачевского, горло Софьи Гинцбург, перерезанное осколком стакана, и тому подобные ужасы — ликвидация бойцов — героический расчет с настоящим и дань прошлому. Но Панкратов, превращающий себя из простого грамотного рабочего в разносторонне образованного человека с знанием математики и иностранных языков, но юноши, вошедшие в Шлиссельбург, не окончив своего университетского обра-

зования, а вышедшие из него европейскими учеными, — это уже дань будущему и твердое на него упование. То похороны, а это — крестины и школа. И там, где возможны такие дни, где горят подобные упования, есть ли основание и возможность говорить о каком-то духовном отупении и нравственном банкротстве? Шлиссельбург рабочих перековывал в интеллигентов в лучшем смысле этого слова, а интеллигентов обучал быть рабочими. Когда встретитесь с кем-либо из шлиссельбуржцев, поговорите с ним — и изумитесь: чего эти люди, там, в своем «духовном оскоплении», не изучили, чего они не знают, чего они не умеют делать!

Я имею честь лично знать нескольких шлиссельбуржцев, и чрез них знаю всю эту многострадальную группу, причем иных из незнакомых, по большему к ним интересу, может быть, знаю больше и лучше, чем иных, которых знаю лично лишь слегка и немного. Читал я едва ли не все, напечатанное самими шлиссельбуржцами и посторонними о шлиссельбуржцах. И позволю себе выразить, что в результате всех этих впечатлений осталось у меня маленькое недоумение: «Зачем в шлиссельбургских воспоминаниях авторы так часто прибегают к обобщающим местоимениям: «мы», «нас», «нам», «нами», а в статьях — «они», «их», «им», «ими»?»

Это создает иллюзию, будто в каменном панцире Шлиссельбурга жил и совместно действовал какой-то однородный и стройный, сознательно и преднамеренно сложившийся коллектив, в котором индивидуальности сливались, как ноты в аккорд. На самом деле вряд ли это было так, и даже не могло быть так, потому что теперь на свободе, каждый, по крайней мере, из мне известных шлиссельбуржцев, являет так много личности, настолько ярко окрашенную индивидуальность, что подогнать их под общую корпоративную мерку — «мы, шлиссельбуржцы», — возможно разве посредством прокрустова ложа. Все глубоко интересны: один больше, другой меньше, соответственно обилию и силе талантов, но каж-

дый — сам по себе. Каждый — в высшей степени «я», а не «мы». Если шлиссельбуржцы — корпорация, то без статуса не то что письменного ни даже устного, но хотя бы подразумеваемого, — корпорация долгого безвыходного сожительства разнородных людей из одного лагеря, под одною крышею и в одних стенах, в течение долгих лет обтершего между ними острые углы разниц в возрасте, образовании, прежнем общественном положении и т.д., но отнюдь не сделавшего их дисциплинарно тождественными между собою, ни даже не внесшего в их среду ответственности круговой поруки. Поэтому, когда мемуарист-шлиссельбуржец говорит, положим: «Мы начали такого-то числа сажать капусту», — я это «мы» приемлю безусловно. Но когда он говорит «мы», связывая его с актами религиозной совести, с ответами на характер тюремного режима или, наконец, просто с развитием психологических мотивов, сдается мне, что было бы лучше, если бы во всех подобных случаях речь от «мы» уступала место речи от «я» *).

Потому что, — вот лежит передо мною фельетон г. Л. Войтоловского с цитатами из М. Фроленко и М. Новорусского, что «после выхода на свободу многие жаловались, что утратился как-то безо всякой причины самый интерес к жизни», а третий шлиссельбуржец подчеркнул этих «многих» синим карандашом и сердитым вопросительным знаком. Г. Войтоловскому как доказывателю духовного отупения шлиссельбуржцев вне жизни в коллективе на руку показание М. Фроленко, что в первое время по освобождении «между вновь открывшимся миром и воскресающим к жизни узником стояла какая-то глухая стена. Чувствовалось не только неумение воспользоваться предоставленной свободой, а какое-то нудное безразличие и к ней, и к людям; и мысль, привыкшая столько лет непрерывно думать о смерти, как единственной

*) Так именно всегда пишет В.Н. Фигнер.

избавительнице, точно не замечала жизни или сторонилась от нее, как от чего-то далекого и чужого».

А карандаш того же шлиссельбуржца приписывает, что тому виною «полиция, а не *свое* безучастие». И действительно, кто знает первые дни по выходе на «свободу» Веры Фигнер, Германа Лопатина и т.д., тому известно, что до тех пор, пока они не выехали за границу, — они, собственно говоря, лишь променяли Шлиссельбург каменный на Шлиссельбург живой — со стенами из соглядатайствующих глаз и доносящих языков ....

.... В подобных условиях, какую жизнерадостность ни развила бы в человеке свобода, может ли ее энергия перейти в действие? Сколько бы ее ни было, она осуждена на статическое, «скрытое» состояние, вроде скрытой теплоты без разрешения в динамику.

....

А будто этого разрешения в динамику самим шлиссельбуржцам и не требовалось, — глубокая неправда. Напрасно г. Л. Войтоловский обобщает для шлиссельбуржцев слова М. Фроленко, что «боязнь толпы заставляла еще долго и мучительно избегать общения с живыми людьми». «Не всех!» *). Этому субъективному показанию нельзя давать объективного распространения. Живые факты показывают обратное. Многие ли из шлиссельбуржцев по своем «воскресении» остались вне общественно-политической жизни в новой России или «равнодушными» к ней? А почему же двое из них уже снова попробовали опостылевшей тюрьмы, а один значится в числе обвиняемых по одному из последних политических процессов? Почему отношение русской эмиграции к проживающим за границей В.Н. Фигнер и Г.А. Лопатину отнюдь не показывает, чтобы она видела в них образчики «угашения в себе коллективного инстинкта» путем «добровольного самооскопления?..»

*) Это восклицание в кавычках опять принадлежит шлиссельбуржцу.

Смерть Людмилы Николаевны Волькенштейн во время известных «беспорядков» во Владивостоке, покойный Караулов в Государственной думе — громкие свидетели того, как сомнителен тезис г. Войтоловского. А сколько можно было бы насчитать свидетельств тихих, безмолвно-деятельных, не подлежащих оглашению... Если бы г. Войтоловский говорил о физической усталости шлиссельбуржцев, — полагаю, что он был бы прав в отношении даже наиболее крепких и хорошо сохранившихся. Приглядываясь к этим людям, мне всегда казалось, что большинство из них, в возбуждении воскресением своим, даже не сознает, насколько оно утомлено борьбою с шлиссельбургскою могилою и как много сил в ней истратило. Но когда этой физической усталости хотят придать значение нравственного умертвления, протест сам бежит с языка. Сфера политическая окружена в русской печати такими условиями, что нельзя в ней сказать всего, что следовало бы. Но взгляните на другие области интеллектуального общения — в науку, в литературу, в публицистику. Г. Войтоловский сам напомнил имя необычайно подвижного и общительного Н.А. Морозова. Имя И.Д. Лукашевича менее шумно, ибо строго научная деятельность его как геолога более кабинетна и специальна. Но еще недавно этот шлиссельбуржец издал три тома громадного труда о «Неорганической жизни земли», встреченные всеобщим вниманием и лестными отзывами специалистов *). И тот самый М. Новорусский, которого г. Войтоловский приводит в пример чуть не совершенного разочарования в свободе и жизни, в результате потери «коллективного инстинкта», — этот самый Новорусский оказался большим мастером говорить с массами в качестве научного популяризатора: редкий талант у нас в России! А какою блестящею стилистикою оказалась и какое публистическое дарование явила, по воскресении своем от «шлюшинского гроба», Вера Фигнер!

*) В настоящее время премирован Академией наук.

Словом, с основным положением г. Л. Войтоловского, что «каждая отдельная личность как бы рвется навстречу всему человечеству», и «человечество движется в сторону всех своих сил», — вряд ли кто не согласится, ибо это азбука коллективного процесса. Но отрицательный пример, выбранный им в основу своего «доказательства от противного», весьма неудачен, произволен и ошибочен. Настолько же ошибочен, как латинская цитата, которою г. Войтоловский хочет суммировать свой гимн коллективу: «Homo sum et nil humanum mihi *proprium* est», — что, по мнению г. Войтоловского, значит: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо».

Смею уверить г. Войтоловского, что если бы существовало в латинской литературе такое «старое, гордое изречение», то оно обозначало бы как раз обратное: «Я человек, и ничто человеческое мне не свойственно».

Но такой бессмыслицы никто из латинских авторов не говорил. По-видимому, г. Войтоловский имел в виду известный стих Теренция: «Homo sum: humani nil a me *alienum* puto».

Это вот действительно будет обозначать: «Я человек и не почитаю себе чуждым ничего, что свойственно человеку». А proprium, это из другой оперы и совсем наоборот. Ибо: «Verba *aliena* opponuntur *propriis»* *.

* * *

P. S. Г. Войтоловский счел нужным ответить на это указание следующими строками:

Выражаю свою искреннюю признательность г. Амфитеатрову за указанную ошибку. Хотя справедливость требует — поделить эту признательность между г. Амфитеатровым и одним киевским гимназистом, от которого на другой день после появления моего фельетона я получил такое назидательное письмо:

«Честерфильд спросил однажды одну семидесятичетырехлетнюю старуху, в каком возрасте женщины перестают любить? Она ответила: «Не

* Высказать слова души и за правду отдать жизнь (*лат.*).

знаю, милорд, спросите кого-нибудь постарше меня». Цитирующим латинские изречения надо всегда поступать как раз наоборот. Если вы хотите избавиться от унизительных замечаний на этот счет, спрашивайте учеников, не достигших шестого класса. Это самый верный способ прослыть выдающимся латинистом.

Киевский гимназист дал г. Войтовскому совет не худой, но по младости своей остроумничает несколько длинно. Человек постарше и с опытом просто посоветовал бы г. Войтоловскому писать на языке, который он знает, и оставить в покое язык, которого он не знает.

ЗАХАРЬИН

Предсвяточное событие Белокаменной — смерть Захарьина. Когда я увидел это неожиданное известие в «Московских ведомостях», я, право, не поверил своим глазам и даже протер их:

— Как же это? Захарьин, сам Захарьин — и вдруг умер?!

Захарьина у чужого смертного одра все привыкли воображать себе, но Захарьина на его собственном смертном одре всякому представить дико.

Старинное качество Москвы: она очень быстро охладевает к памяти своих знаменитых покойников и забывает их, но, в первых взрывах надгробного рыдания, она — неутомимая и самоотверженная плакальщица. Памятуя похороны Алексеева, Аксакова, Каткова, Рубинштейна, я ждал и теперь сильного, всемосковского, так сказать, энтузиазма печали. Помните, как в «Антонии и Клеопатре» возвещают смерть Антония, и весть эта встречает недоверие: «Не может быть! Если бы Антоний умер, то полсвета потряслось бы на своих устоях, и Африка сбросила бы с лица своего всех львов своих». Захарьин — для Москвы — был фигурою огромного значения. Однако и его смерть не вызвала

трясения в устоях света, и по поводу его смерти львы не только в Африке, но даже и на воротах Английского клуба на Тверской не были обеспокоены. Прямо удивляться приходилось, с каким равнодушием приняли москвичи сообщение, что не стало их врача-фауматурга — несомненно, одного из самых солидных китов, на которых держался всероссийский интерес к современной Москве.

Газетные некрологи Захарьина вышли сухи и формальны, кроме «Московских ведомостей». Они, поминая покойника весьма теплыми и прочувствованными строками, заключили свою статью многознаменательным советом в пространство — оставить вражду к Захарьину у открытой его могилы. Газета говорит о клеветах на покойного, об огорчениях, отравлявших ему жизнь «после 1894 года». Я думаю, что не во вражде и не в клеветах дело, а просто в том, что — при всей своей, до баснословия возвышавшейся, знаменитости, — Захарьин был крайне «не популярен» в русском обществе. Если оно не всполошилось при слухе о своей внезапной потере, то объяснения надо искать не во вражде и клеветах, а именно в этой непопулярности великого врача, какую он сам себе сковывал всю свою жизнь, изо дня в день, последовательно, без масок и уступок — скорее, наоборот, дразня своим образом действий и вызывая против себя общественное мнение.

Я видел Захарьина пять-шесть раз не более, в том числе — лишь однажды у постели больной; первые случаи не имели ничего общего с врачебною его практикой. Призван к больной он был, конечно, когда уже перепробованы были все остальные знаменитости медицинской Москвы, и ни одна не помогла. Трепетали в доме пациентки — крупной и влиятельной богачихи московской — перед приездом Захарьина, точно ждали не благодетеля и целителя, а самого Ивана Васильевича Грозного со всею опричниною. Наслушавшись с детства о захарьинских капризах и причудах,

я, в числе прочих, ждал «спектакля». Но великий человек приехал не то уж очень в духе, не то уж очень не в духе; дело в том, что из прославленных своих проказ он на сей раз ни одной не проделал, что говорило за доброе его расположение. Но — по усталому лицу его, угрюмому и презрительному, по взгляду, до оскорбительности небрежному, по враждебной, повелительной сухости обращения с пациенткою, родственниками ее, ассистентом своим и домашним врачом — можно было предположить совершенно обратное. Он казался человеком в состоянии крайнего удручения и нравственного, и физического, чем-то жестоко и безнадежно раздраженного и срывающего свое гневное сердце на каждом встречном. Часов в доме он, вопреки сложившейся легенде, не останавливал, костылем не стучал, крепкими словами не ругался, — он только презирал за что-то всех вокруг себя: и больную, и лечащих, и родных, с трепетом ждавших его решенья; говорил нехотя и таким злым тоном, точно все его несправедливо в чем-то обижают; съел и выпил что-то особенное, заранее, по совету с его ассистентом, для него приготовленное, и при этом выразил благодарность за хозяйскую любезность гримасою самого неподдельного омерзения: угораздило же, мол, вас купить такую гадость, — не могли найти лучше?.. Потом уехал, объявив больную безнадежною. Она, словно назло, взяла да и выздоровела.

В слухах о дурном обращении Захарьина с пациентами, при бесспорной доле правды, много преувеличения. Однако, что резкость и грубость входили в его систему диагноза, — нельзя отрицать. Медицина — странное дело. Публика так привыкла в ее области к суеверию, к жреческим, мистическим проделкам, к авторитету высшего, недосягаемого простым смертным умом, знания, что до сих пор стучится к врачам не столько за положительными научными сведениями о своих болезнях, сколько с требованием — сделай такое-то чудо

in herbis, verbis et lapidibus * и зато возьми с меня какие угодно дани и пошлины! К врачам знаменитым это относится даже в гораздо большей степени, в гораздо ярчайших проявлениях, чем к врачам с практикою общедоступною. Если мне врач Иван Иваныч говорит:

— Вам, милостивый государь, осталось жить трое суток, ибо от легких у вас уцелело одно воспоминание...

То, хотя я и знаю, что по науке без легких жить нельзя, хотя уверен, что настолько-то Иван Иванович знает человеческий организм, чтобы не ошибиться в степени разрушения легких, — я ни за что не поверю, однако, Ивану Иванычу:

— Что? умирать через трое суток? с какой стати? от каких-то там легких? Ни за что! Не может быть, чтобы не было средства...

Это не легкие мои виноваты, что я умираю, а виноват Иван Иваныч — зачем он не знает средства, как бы удержать меня в живых, хотя и без легких. Везите меня к Боткину, к Остроумову, к Захарьину: они-то уж, наверное, такое средство знают... должны знать! иначе — зачем же они знаменитости?

На предельных высотах своих медицина — с пациент-ской точки зрения — обращается в то же, чем встречаем мы ее на низших ступенях ее развития: в знахарство. Как мужик, иссыхая в щепку от уверенности, что его испортила какая-нибудь Перфильевна, ищет колдуна-кудесника со словом посильнее ейного, чтобы снять порчу, — так и интеллигент мечется по великим медицинским людям мира сего: кто же, наконец, из них знает настоящее научное слово на его болезнь? Что верят не в науку медицинскую, а в личность врача, в его таинственную силу, в значение какого-то особого, припрятанного от других врачей, разряда, — по-моему, лучшее доказательство в том, что, разочаровавшись в чудодействе Захарьиных, больной обыкновенно снимает с себя маску напускного доверия к науке и уже

* В травах, словах и камнях (*лат.*); фраза Парацельса (1493–1541).

откровенно бросается в поиски чуда: идут в ход гомеопатия, внушение, сумская бабка, Кузьмич, Wunderfrau *, знахарки, шептуны, наговоры... А — в заключение, когда истощается надежда на силу темную и таинственную, — больной рыдает и просит себе телесной милости от Господа в Иверской часовне либо за молебном о. Иоанна Кронштадтского.

Взгляд на знаменитого врача как на великого знахаря на Захарьине оправдывался с особою упорною настойчивостью и последовательностью. Если собрать тысячи анекдотов, о нем ходящих, вы убедитесь: он в жизнь свою, может быть, ни разу не был призван к постели больного с просьбою: «Исследуй меня и сделай для меня все, что позволят тебе законы твоей науки!» Его звали с требованием: «Силою ли науки, другою ли какою, — мне все равно! — ты, говорят, делаешь чудеса! — соверши же чудо и надо мною — восстанови мое здоровье!..» Чудес Захарьин, конечно, не делал, — напротив, может быть, ни один врач не напутствовал к смерти стольких больных, как покойный Григорий Антонович, потому что приглашали его, как последнее прибежище, обыкновенно уже к совершенно безнадежным, in statu mortis **. Следующие за ним гости больного были духовник и гробовщик. Но к вечному ожиданию от себя чуда знаменитый доктор привык, — привык и к раболепству, с каким толпа преклоняется пред чудотворцами. Что Захарьин был очень ученым человеком, не подлежит сомнению; что чрезвычайно умным и самолюбивым — также. Вооруженный всею силою положительного знания, умный, чуткий аналитик, он не мог не презирать эту суеверную массу, ждущую от него не законных и естественных, но сверхчеловеческих деяний. А так как по натуре своей он был не из мягких характеров, то и презрение сказывалось в формах резких, громких, кричащих. Жизнь то и дело

* Чудесная женщина, знахарка (*нем.*).

** На смертом одре (*лат.*).

ставила его в совсем ненаучные позиции мага и волшебника по медицинской части, выставляя его — как бы выразиться помягче? право, не подберешь другого выражения! — факиром, что ли, каким-то, только факиром не веры, но науки. Для человека самолюбивого и понимающего истинные смысл и объем своего знания, — позиция втайне обидная, положение раздражающее. И — когда Захарьин видел, что пациент пришел к нему не как к ученому, а как к знахарю, не за наукою, а за шарлатанством, — он выходил из себя и на свой образец мстил обществу, с злобною ирониею давал ему именно то, чего от него просили: шарлатанство в самой жреческой обстановке, с тысячами трагикомических подробностей, грубых и властных выходок человека, зазнавшегося в уверенности, что без него пациенту — не дохнуть. И, наоборот, мне известно несколько случаев, когда Захарьин, что называется, «оборванный» пациентом, проникался истинным к нему уважением, делался мил, внимателен, участлив и, действительно, приносил огромную пользу.

Есть старый английский анекдот, как некий лорд, делая у себя бал, велел расстелить красное сукно на улице перед своим домом. А, чтобы прохожие не затоптали сукна, поставил двух гайдуков охранять его. Чуть кто подойдет к сукну, гайдуки кричат:

— Сворачивай!

— Но улица открыта для всех...

— Сворачивай!

— Вы не имеете никакого права...

— Сворачивай!

Спорили, бранились, возмущались, но... сворачивали. Вдруг откуда ни возьмись оборванец в грязнейших сапогах и шагает прямехонько на сукно.

— Сворачивай! — гаркнул гайдук.

Но прохожий, не отвечая ни слова, хватил гайдука «боксом» под глаз и пошел своею дорогою дальше.

— Что же ты пропустил его? — упрекает побитого гайдука другой гайдук.

А тот, пожимая плечами, возражает:

— Разве ты не видел, что этот джентльмен понимает свои права?

Русским знаменитостям свойственно легко избаловываться, забываться и расстилать красное сукно самообожания в местах, совсем к тому не предназначенных. Это, конечно, нехорошо, но добрая половина вины может быть переложена с самой знаменитости на общество, балующее ее, позволяющее ей распускаться. У нас мало кто знает свои права и умеет их защищать; незаслуженная надменность в русском обществе всегда находит достаточно обширную почву подобострастия, на которой и развивается пышным, но ядовитым цветом. Захарьинские «капризы» были, в значительной степени, того же происхождения.

Подобострастие, каким окружен был Захарьин — на практике ли, в клинике ли, — лакейство пред ним младших жрецов науки превосходили всякое вероятие.

В угодничестве пред всесильным доктором, в лести пред ним, в пресмыкательстве иные медицинские карьеристы доходили до добровольных унижений, от каких с презрением отвернется самый покладистый чинуша петроградских канцелярий. К сожалению, нельзя не признать, что многие этим путем добились своего и «вышли в люди» под властною, хотя и оскорбительною опекою Захарьина: падали больно, но вставали здорово. И то правда, что те коллеги Захарьина по московской медицинской корпорации, которые держались по отношению к своему шефу самостоятельно и независимо, не пользовались его симпатиями и очень скоро оказывались в вольной или невольной ему оппозиции.

Захарьин высоко ценил свой труд. В последние годы его визит на дом доступен был лишь очень богатым людям; для человека среднего состояния пригласить Захарьина было

равносильно только-только что не разорению... О снисходительности его к больным неимущим — святая черта покойного Боткина! — Москва что-то не слыхивала. Хотя, с другой стороны, я лично знаю случай, как он, незваный, приехал к больному Ю.Н. Говорухе-Отроку, чьи статьи он любил, — приехал только потому, что услыхал о серьезном недомогании писателя. Любопытно, что до этого своего визита Захарьин с Говорухою и знаком-то не был. Случай этот рассказывал мне сам покойный Говоруха. Состояние Захарьин оставил колоссальное — вероятно, многомиллионное: один дом его на Кузнецком мосту — огромнейший капитал!

Студенчество Захарьина не любило, чувствуя, что и Захарьин его не любит. Между молодежью и стариком-профессором уже давно не оставалось ничего общего, а в последние годы совсем «порвалась цепь великая». Молодежь была слишком откровенна, чтобы профессор не догадывался о ее охлаждении к нему, а профессор слишком горд, чтобы ухаживать за молодежью, ища в ее среде популярности. В конце концов, взаимно недовольные друг другом, и слушатели, и лектор расходились все далее и далее, выращивая неприязнь обоюдного непонимания... Отношения обострились до того, что, когда Захарьин пожертвовал 500 000 руб. на нужды церковно-приходских школ, Москва объясняла это пожертвование, как сделанное «в пику» университету: вот же, мол, жертвую и я на общественные нужды, да только не вам, хотя и возился с вами всю жизнь! Вряд ли это было так. Захарьин был слишком умен, чтобы срывать свое неудовольствие на университет таким детским проявлением бесцельной злобы. Просто он верил в необходимость первоначальной школы на Руси больше, чем в насущную потребность других видов образования, и — так как считал, что церковно-приходская школа имеет больше правительственных шансов вероятия за свое распространение, чем земская, — то и пожертвовал свои деньги туда, где, думал он, они скорее приведут к практической цели.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ УРУСОВ И ГРИГОРИЙ АВЕТОВИЧ ДЖАНШИЕВ

1

Было время, когда Урусов был именем истинно всероссийским. Можно даже сказать: его имя стало как бы нарицательным — синонимом адвоката — из звезд звезды, чего-то столь необычайно блестящего и важного, что в присутствии его светила небесные тускнут и только сконфуженно помигивают:

— Что ж? мы люди маленькие!

Смутно вспоминается мне из детства наезд Урусова в маленький провинциальный городок Мещовск в Калужской губернии, на сессию окружного суда. Это было землетрясение какое-то, землетрясение умов. Дамы ходили, будто пьяные. Мужчины... Если бы Александр Иванович, возгордившись, заявил, подобно послам древлянским:

— Не хочу ни идти, ни ехать, — несите меня в лодке!

Его понесли бы, ей-Богу, понесли. И это еще — до речей, на веру, по слухам из столицы и газетным статьям. А уж после речей — пошло совсем столпотворение вавилонское.

— Урусов! — истерично стонали дамы.

— Да-с, Урусов! — многозначительно щелкали языками мужчины.

— Одно слово — Урусов! — сливались голоса в общий хвалебный хор, как в «Снегурочке», когда поют:

А мы просо сеяли, сеяли.

Сначала врозь мужчины и женщины, а потом все вместе...

Впечатлений хватило на несколько месяцев. Об Урусове говорили, Урусова копировали, слова Урусова пережевывали, позы и мимику Урусова припоминали чуть не целый год.

Медвежий угол занесло снегом. Обыватели закупорились по своим мурьям. Волки вышли из лесов и бродили по улицам, слушая под окнами, что толкуют между собою аборигены. И, когда вдосталь наслушавшись, принимались выть, казалось, что даже в протяжном вое их звучит:

— У-у-у-урусов! У-у-у-урусов! Урусов!

Привыкнув с детских лет к авторитету Александра Ивановича, как несравненного русского Демосфена, я услыхал его лично и познакомился с ним лишь в 1896 году, в Москве, в окружном суде. Он выступал в качестве гражданского истца по делу бывшего редактора «Московских ведомостей» С.А. Петровского, обвинявшегося, не помню кем, в клевете. Говорил Урусов красиво, бойко, эффектно, с либеральным огоньком, был раза два остановлен председателем, но, в общем, я должен сознаться — речь была довольно бессодержательна и неприятно утомляла слух громкими банальностями... Заметны были огромная практическая привычка свивать цветы красноречия в изящные гирлянды и любоваться оными, сильная эрудиция, знание суда, драгоценная адвокатская способность в спокойном духе горячиться, но все это — как бы изношенное, полинялое.

— Благородства пропасть, толку никакого! — сказал мне сосед-репортер.

А я думал:

— Был конь, да уездился.

И мне было жаль разрушающейся знаменитости, в которой слышна такая колоссальная виртуозная сила — всесторонне гибкая, но и всесторонне мертвеющая. Я вынес из урусовской речи совершенно такое впечатление, как когда-то, слушая знаменитую Альбани, соперницу Патти, которая, говорят, перепевала соловьев:

— Великолепно, но... тут как будто пружина действует. Кончится завод, — и шабаш.

В антракте нас познакомили. Урусов был чрезвычайно любезен, и мы довольно долго ходили по бесконечному ко-

ридору московского здания судебных установлений, беседуя о новейших литературных явлениях. Я тогда написал что-то непочтительное о французских неоромантиках и символистах, и князь меня за это «угрызал», как сам выразился. Разница воззрений наших на искусство выяснилась сразу столь глубокою и непроходимою пропастью, что спорить было напрасно, — я слушал Урусова, не возражая ни слова, и, скажу откровенно, интересовался не столько его взглядами, сколько им самим. Чувство почтительной жалости к нему, как к сходящему на нет chef d'oeuvre'у * эпохи, не прошло, но усилилось от этого разговора. Розовый старик, с барскою осанкою, с барскими мягкими руками, барским сдобным голосом, с частым нервным похохатыванием среди быстрой речи и с странным, перламутровым взглядом умного младенца, Урусов казался ужасно старым — гораздо старше своих лет... Походка у него была шаткая, приседающая, точно он на пробку становился. Я смотрел и думал: «Ну, тут смертью пахнет».

Изъяснялся он чрезвычайно красиво, и, кто любит langues bien pendues ** ради них самих, должен был находить в его беседе огромное удовольствие. Но это был русский европеец паче самих европейцев, с порешенными взглядами такой давней и незыблемой влюбленности в западнические устои, которые он считал непогрешимыми, что увлечь собеседника-наблюдателя он вряд ли был способен. Люди, которые слишком скоро определяются и все порешили, — скучны. Всякий русский человек — немножко Гамлет и любит сомнение в другом. Тем-то, например, и дорог, и люб русской душе Лев Николаевич Толстой, что развивался он в убеждениях своих на глазах наших, как великого сомнения человек, много раз спотыкавшийся, падавший и восстававший, вылечив-

---

* Шедевр (*фр.*).

** Хорошо подвешенные языки (*фр.*).

шись, чем ушибся. Урусов же напомнил мне иностранных писателей-профессионалов: они очень умны и образованы на свой образец, но у них на право мыслить и высказываться по-своему есть мерочка, ее же не прейдеши, — поэтому, в пределах мерочки, они удивительно непогрешимы и докторальны, а, отбыв приказанное мерочкою, в огромном большинстве, премилые буржуа.

Кроме этого случая, мне с Урусовым говорить не приходилось. Встречаясь, весьма любезно менялись поклонами, и только.

2

Григория Аветовича Джаншиева я знал лучше. Мне жаль вспомнить, что когда-то, ради красного словца, я обидел этого прекрасного человека. Он, возвратясь из Швейцарии, описал тамошние суды, посвятив благоустройству их гимн в обычном ему восторженно-приподнятом тоне стихотворения в прозе. Фельетон этот попался мне под руку в недобрый час; мне показалось смешным, что Джаншиев воспевает, как влюбленная старая дева, двери, половики и скамейки женевского суда, и я напечатал по этому поводу что-то очень резкое. Напечатал и пожалел, но было уже поздно. А от Джаншиева, в то время почти совсем со мною незнакомого, я получил довольно длинное письмо, где эта голубиная душа без всякой злости говорила, что не понимает, зачем мне понадобилось осмеять его. «Думаю, что это не ваше убеждение обо мне, что вы не верите, будто я таков, как вы написали, и когда-нибудь сами пожалеете, что так написали». Я до сих пор не могу себе простить, что по ложному стыду и лени оставил это хорошее письмо без ответа. А Григорий Аветович был прав: я раскаялся в напечатанной о нем статье даже не «когда-нибудь», а тогда же, двенадцать лет назад, и с крайним неудовольствием вспоминаю об этой статейке «назло» даже и теперь.

Довольно много писем от Джаншиева я получил, и несколько раз был он у меня, когда армянская резня в Малой Азии и Константинополе сделала его центром русской помощи пострадавшим армянам. Помню — ранним утром маленький, горбатенький, с ласковою и болезненною улыбкою, но непреклонно-настойчивый взобрался он на четвертый этаж суворинского дома в Эртелевом переулке, где я тогда жил, поднял меня с постели и принялся жаловаться на подозрительное отношение «Нового времени» к армянам.

— Григорий Аветович! Да я-то тут при чем же? Ведь вы, если следите за газетою, знаете, что я армян не трогаю, а если хотите знать больше, то и остаюсь в армянском вопросе при совершенно особом мнении. Я был в Константинополе вскоре после резни, виделся с Нелидовым, с Максимовым и вынес на этот счет совсем не те впечатления, как «Русский странник»...

— Я потому и пришел к вам, что вы при особом мнении.

— Чего же вы от меня хотите?

— Чтобы вы убедили газету в ее заблуждении.

— Да что же? Я написал из Константинополя корреспонденцию, как выяснилось дело для меня, совершенно в разрез «Русскому страннику», — она не была помещена. Значит, газета верит ему больше, чем мне, или ведет свою политическую линию; я с этим ничего не могу поделать.

— Поезжайте сами в Армению и пишите оттуда...

— Позвольте спросить: на чей счет? Газета не пошлет; а если поеду на свой, то будут ли мои, так сказать, добровольческие корреспонденции обязательны? Не говоря уже о том, что мои друзья в журналистике поднимут крик: «Армяне купили!..» Ведь меня уже болгары «покупали», поляки «покупали», сербы «покупали». У нас стоит сказать о комлибо доброе или даже не совсем злое слово, — кто-нибудь сейчас и кричит уже: «Куплен!»

В тот приезд Джаншиев был у меня раза три. Тогда он издавал «Братскую помощь» в пользу пострадавших армян и хотел,

чтобы я дал туда свои константинопольские впечатления. Но тут подоспела у меня такая личная передряга, что стало не только не до армян, но, полагаю, я не слишком ужаснулся бы, даже кабы пол-Петрограда провалилось. Г.А. прислал мне два-три шутливые напоминания, а под конец сердитое: «Что человек не пишет обещанной статьи, это можно объяснить безалаберностью и ленью, но — когда не отвечает на письма — это значит, он в рецидиве безграмотности».

Встретившись затем с Джаншиевым в Москве, я извинился пред ним, изъяснив ему свои обстоятельства, и он же переконфузился и стал вдвое больше извиняться, что «беспокоил меня своими дрязгами»:

— Ничего, ничего! Вы для второго издания напишите. Книга прекрасно идет. Будет второе издание.

Он горько жаловался на армянофобию, которая, по его мнению, быстро распространялась в русском обществе. Чуток он был к этому «растлению» поразительно. И даже чрезмерно подозрителен. Я не припомню сейчас, не имея под рукою его писем, за что именно, но вдруг в 97 году он мне прислал пресвирепое письмо — по поводу какой-то совершенно невинной шутки об армянах, хотя очень хорошо знал, что зла на армян я никогда не мыслил, не мыслю да и не могу мыслить по сотням связей, дружб и симпатий, от юности соединяющих меня с армянами Закавказья.

Последнее письмо от Г.А. — чрезвычайно ласковое — я получил столь же неожиданно, как и другие. Его письма, диктованные «гласом души», потребностью высказаться, всегда сваливались сюрпризом, — думаешь, человек давным-давно забыл о твоем существовании на белом свете, а он вдруг пишет. Оно пришло в мае 1899 года — по поводу «радикальной» программы, объявленной «Россиею», и представляло целый трактат о веротерпимости и против национальных предубеждений.

В каждом поколении есть люди таланта, люди ума, люди действия. В поколении шестидесятых годов Джаншиев был

бесспорно и умен, и талантлив, и деятелен, но, главным образом, он был человеком света, светоносцем.

Ловец, все дни отдавший лесу,
Я направлял по нем стопы,
Мой глаз привык к его навесу
И ночью различал тропы.
Когда же вдруг из тучи мглистой
Сосну ужалил яркий змей,
Я сам затеплил сук смолистый
У золотых ее огней.
Горел мой факел величаво,
Тянулись тени предо мной...

Это стихотворение Фет будто о Джаншиеве написал. Только последние стихи:

И *тем* ужасней сумрак ночи,
Чем ярче светоч мой горит, —

надо для Джаншиева перевернуть в обратную антитезу:

И *чем* ужасней сумрак ночи,
Тем ярче светоч мой горит!

Ибо — вот уж о ком по правде-то сказать можно, что тьма не объяла его.

Со светом, возжженным у огня шестидесятых годов, Григорий Аветович бестрепетно прошел свою честную жизнь не столько бойцом, сколько трубадуром великой эпохи. Он охотно брался, когда надо, за меч и храбро им бился, но настоящее оружие его — была лютня, даже немножко сантиментальная лютня. И слово свое, и дело отдал он безраздельно великой богине человечности, зарю царствия которой видел в 19 февраля 1861 года. Богине человечности он служил равно и в России, и в местах всесветного армянского рассеяния. Армян-соро-

дичей он любил, как русских, а русских — как армян. Дай Бог каждому русскому так любить Россию, как любил ее армянин Джаншиев, и принести ей хоть треть той пользы, что он принес.

Я считаю Григория Аветовича идеалом гражданина, каким может стать в жизни совершенного русского общества образованный инородец, получивший в России свое воспитание, скрепленный с Россией всеми правами и обязанностями, горячо к России привязанный, сознающий себя русским политически, и в то же время не забывший ни родного языка, ни родной веры, ни родного племени, чутко болеющий сердцем за его судьбы, полагающий душу, дабы улучшить его положение, сохранить и поднять его исторические бытовые особенности и права. Русские охранители полагают, что националист с окраин есть антипод националиста из центра, что инородец и русский гражданин — начала чуть ли не противоречащие, что лишь руссификация создает русских, и т.п. Увы! всюду, где мы применяли знаменитые руссификационные меры, Джаншиевы не вырастали. Джаншиевых не видать между поляками, претерпевшими школу И.В. Гурко, не наезжает их и из Финляндии. Боюсь, что перестанут они наезжать и из Закавказья!

Патриот государства и патриот племени, — что так удачно совмещал в себе Григорий Аветович, — отлично уживаются между собою, когда государство и племена, им объединяемые, находятся в свободном и доверчивом равенстве, чуждом прозы с одной стороны и рабского страха — с другой. А только такой совместный патриотизм и ручается государству, разноплеменному по составу населения, что прогресс его будет идти неуклонно стопою мирною и благоуспешною. Спасителен только патриотизм, вмещающий мирный труд в мирном и твердом равенстве гражданства и народностей. Всякий иной патриотизм — начало гибели, потому что диктуется хвастовством и угрозами силы, опирающейся на меч, обнаженный или готовый обнажиться, по востребованию. А — «взявший меч от меча и погибнет».

1900

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ШЕЙН

К концу века смерть с особым усердием выбирает из строя живых тех людей века, которые были для него особенно характерны. XIX век был веком националистических возрождений, «народничества» по преимуществу. Я не знаю, передаст ли XX век XXI народнические заветы, идеалы, убеждения хотя бы в треть той огромной целости, с какою господствовали они в наше время. История неумолима. Легко, быть может, что, сто лет спустя, и мы, русские, с необычайною нашею способностью усвоения соседних культур, будем стоять у того же исторического предела, по которому прошли теперь государства Запада. Народ исчезает, как народ, и остается платежно-государственная масса.

Когда тает народ, тают и народники, мечтавшие задержать его таяние. Бедный П.В. Шейн! Смерть его, издавна больного, на костылях, человека, ни для кого не явилась неожиданностью. Умер именно, можно оказать, «в пределе земном, свершив все земное». И — все-таки, при всем сознании естественной необходимости этой смерти, жаль, необычайно жаль. Отчего? Почему разум, говорящий об естественности явления, не может в таких случаях заглушить голоса инстинкта, вещающего об его прискорбности? Я думаю, — потому что смерть таких людей, как Шейн, является нам прежде всего не как их личная смерть, но как символ общего конца ряда больших феноменов, смерти целой эпохи, которой они были представителями. Вы чувствуете себя на границе историко-культурного периода. Goetterdaemmerung *. Одни боги уходят из мира, изгнанные, чтобы замениться другими... Кто ими будет? Каковы они будут? Смертным темно. Знает судьба, зловещий Fatum, что сидит выше Олимпа, что сильнее и вечнее всех восходящих и заходящих богов. Верно одно —

* Сумерки богов (*нем.*); название оперы Р. Вагнера и книги Ф. Ницше.

Ударил час. Пора им, братья!
Иные люди в мир идут,
Иные взгляды и понятья
Они с собою принесут...

Романтики старого славянофильского народничества лежат в гробу, отпеты, завтра на них просыплется земля, и споют им вечную память. За Тертием Филипповым, как за королем Артуром рыцари Круглого стола, начали вымирать и двигатели того нарядного славянизма, что ходили искать в народе красную рубаху с синими ластовицами, сарафан, былину, пословицу. Умирает народная самобытность — умирают и те, кто чаял найти в самобытности этой наше спасение, государственное и нравственное. Шейн оставил по себе как бы духовное завещание в своем «Великороссе»: это — summa summarium * всего в духе, мысли и вдохновении, чего мог достичь великорусский славянин — сам по себе, нутром, без немца и Петровой науки. «Великоросс», вышедший в 1899 и в 1900 годах, такой же, по существу своему, по нравственному и историческому значению, памятник, как «Домострой» Сильвестра, как переписка Курбского с Грозным и т.п. Это — голос старой умирающей допетровской Руси, раздавшийся поздним переживанием в молодой расцветающей послепетровской России.

Как ее любили, эту старую романтическую Русь, ее немногие, дожившие до нашего времени паладины! Взять хотя бы того же Тертия Филиппова, который зрил едва ли не полубога в В.В. Андрееве, ибо этот последний возымел счастливую идею вдохнуть утраченную жизнь в народные инструменты, о коих мы знали более лишь, как о курьезе, из былин и сказок.

Взять П. В. Шейна...

---

* Итог итогов (*лат.*).

Я его очень мало знал. Я встретился с ним дважды у покойного Я.П. Полонского, в знаменитой квартире покойного поэта на углу Бассейной и Знаменской. Высь поднебесная. Во втором часу ночи сходили мы с Шейном по бесконечной лестнице; он — хромой, еле движущийся, — опирается на меня. Говорим о песне народной, о сохранении в песне старого языческого обряда... Я повторяю Шейну наизусть два-три отрывка из вариантов, которых нет у Киреевского, — к песням о 12-м годе: «Проторена путь-дорожка от Можая до Москвы» и т.д.

И старик вдруг воскресает, забывает о костылях, о хворобе.

— Где вы записали?

— Под Москвою, в Царицыне, от волоколамок, которые нанимаются снимать малину... Царицыно ведь все малинничает.

— Голубчик, дайте мне эти варианты.

— Да нету у меня целиком: в Москве.

— Пришлите.

— Если найду, с удовольствием.

— Да нет! вы забудете... Я лучше сам в Москву приеду, возьму у вас, — уж при мне-то вы их, наверное, разыщете.

В Москву П.В. Шейн, конечно, не приехал, ибо я, как прибыл домой, сейчас же требуемые варианты разыскал и послал ему, за что и получил от него весьма милое письмо. Но я помню, что был глубоко тронут и даже смущен этим юношеским пылом семидесятилетнего старика. Ехать больным, расслабленным, за 600 верст только за тем, чтобы записать варианты песни, подобрать ничтожный осколок из сокровищ народного духа, — какую страстную любовь к духу этому надо было иметь, насколько быть преданным его возвышенной мечте!

Народники-славянофилы умерли или умирают.

Народники-общинники ведут отчаянную борьбу с новыми движениями, хладнокровно низводящими значение народа к конгломерату статистических единиц «среднего человека».

Кто станет им на смену, — Бог знает.

Одно скажу: эти уходящие счастливее восходящих. Им было что любить, — что не только надо, но и легко любить. Большое слово и большое понятие «народ», и — увы! — как тихо и слабо звучит, хотя и широко растянулось слогами, «народонаселение».

1900

Ф.Н. ПЛЕВАКО

Ф.Н. Плевако «Речи»». Под редакцией Н.К.Муравьева.
Т. I и II. М. 1910. Издание М.А. Плевако

Роскошное издание, воздвигнутое, как надгробный монумент, любимому мужу признательною вдовою, при содействии бывших товарищей-помощников знаменитого витии. Недюжинный, замечательный человек покоится под этим памятником дружбы и любви. Необыкновенным не решаемся его назвать потому что, наоборот, Ф.Н. Плевако представляет жизнью своею как раз самое обыкновенное явление на Руси: стихийный талант, размыканный почти что непроизводительно — едва ли не потому только, что было его как-то уж слишком много и ни в какую-то культурную дисциплину он не укладывался, а бурлил себе, скиф скифом и самовар самоваром, «по вдохновению» и «от себя». В конце концов, прошумев добрые полвека блестящими обещаниями и радужными ожиданиями, Плевако погас и — к одинаковому удивлению и врагов своих, и поклонников — заметной пустоты в обществе на убылом месте не оставил. Ушел из мира, быть может, и в самом деле «гений слова», как зовет своего бывшего патрона г. Муравьев, и даже нельзя сказать, чтобы «непризнанный гений»: кто избалован был любовью, вниманием и потворством широкой русской публики больше, чем

Ф.Н. Плевако? Разве вот теперь тезка его, Ф.И. Шаляпин! Но «гений слова» прошел в мире как-то без прикладных результатов — «министром без портфеля». И так как он ушел, а портфели жизни все остались целы, то скоро насущная забота о них безжалостно затерла память о нем — и стала она увядать, нужная лишь тесному кружку любящих родных и благодарных личных друзей. Усилие, сделанное кружком этим к увековечению дорогой для них памяти, благородно, но вряд ли поведет к желанным результатам. Речи Ф.Н. Плевако, печатными буквами на бумаге, похожи на его изустную речь не более, чем скелет рахитика на стремительный торс и огненный лик Аполлона Бельведерского.

Почти сорок лет повторялся о Плевако один и тот же суд общества: какой могучий народный трибун пропадает в этом талантливейшем адвокате! Акт 17 октября 1905 года удовлетворил желанию общества: талантливый адвокат получил возможность и вскоре призвание явиться трибуном. Но — что же? Как только Плевако оделся в эту новую роль, тот же общественный суд немедленно завздыхал — и, надо сознаться, вполне основательно:

— Какой великолепный адвокат напрасно угас в этом плохом трибуне!

Почти год стоял Плевако на посту народного представителя — и не осталось «от «гения слова» за этот период его жизни ни одного памятного *слова*. Напротив, — словно на смех, — остались, увековеченные газетными отчетами, жесты: «стучал по пюпитру», «грозил кулаком»... Что же это за насмешливая судьба такая? что за жизнь и деятельность, вывернутые «шиворот навыворот»?

Существует мнение, что слабость Плевако на государственной трибуне была механическим результатом его возраста и утомления жизнью, что трибуна досталась Ф.Н., как в басне Крылова — старой белке наградные орехи:

Все на отбор, орех к ореху — чудо!
Одно лишь только худо:
Давно зубов у белки нет!

Мнение это находит подтверждение в том, что год государственной деятельности Плевако — его предсмертный год (ум. 23 декабря 1908 г.). Но этому мнению противоречат почти одновременные блестящие судебные выступления, являвшие Плевако тем пламенным силачом-оратором, как и четверть века тому назад. Кто в ноябре 1904 года не прислушивался с одобрением к громовому голосу частного обвинителя по «Делу» князя В.П. Мещерского, обвиняемого М.А. Стаховичем в клевете:

Осуждение князя Мещерского нужно как символ, как оправдание нашей веры в правосудие, чтобы дышалось свободно честным сердцем и задыхалось от собственного яда клевет недобросовестное, лживое слово, на какой бы бумаге оно ни было написано, на серой ли, из обихода мужика, или на глянцевой, с княжеским гербом, как это сделал князь Мещерский.

Оцените же поступок князя, и к его древнему имени пусть добавят и имя клеветника!

И никто никогда не смоет этого указания на его подвиг...

Это ли голос старика?

Другие думают, и мы до некоторой степени разделяем этот взгляд, — что — на известного сорта орехи — белка и в молодости оказалась бы не зубастее, чем показала ее старость. Приемы убедительности у Плевако всегда господствовали над существом убеждения. Ораторское «как» было в таланте Плевако всегда сильнее гражданского «что». Страшная сила темперамента и блестящий дар слова успешно помогали Ф.Н. выдавать свое «как» за «что» на трибуне частной защиты и частного обвинения. Трибуна же защиты общественной и общественного обвинения потребовала выдвинуть вперед и, прежде всего, «что», ответственное, ясное, насущно-житейское...

Брось свои иносказанья
И гипотезы пустые!
На проклятые вопросы
Дай ответы мне прямые!

Очень может быть, что Плевако, до своих политических выступлений, и сам искренно верил, будто есть в нем для них какое-то «что». Иначе он вряд ли и принял бы звание народного представителя. В этом человеке, наряду с хаосом «широкой натуры», жила пытливая самосознательная совесть и не было ни капли шарлатанства. Когда он разобрал, что на проклятые вопросы ему ответить решительно нечем, кроме привычного краснословия, он сам покинул Государственную думу. И — далеко не только по болезни, но и по честному инстинкту порядочного человека, понявшего, что он попал совсем не туда, куда рассчитывал, делает не то, что надо, и поет не в том хору, где ему петь «вместно». Партия, ожидавшая, что популярность и талант Плевако будут главными козырями ее игры, потерпела горькое разочарование. Да еще и у могилы Плевако пришлось октябристам провести недобрую четверть часа:

— Это вы уморили его! — бросила им упрек вдова.

Но «самочувствие» пришло позже. Вначале же, обманутый в самом себе громадною пестротою своей вечно движущейся диалектическсй мысли и ораторскою привычкою быстро переводить мысль в цветные образы и звучную красоту метких фраз, Плевако, несомненно, надеялся, что есть в нем какой-то материал для политического пророка. Так обманываются многие, блестящие с поверхности таланты, покуда «проклятые вопросы» не притиснут их в угол и не взглянут прямо в глаза. Когда очередь рокового экзамена дошла до Плевако, он растерялся и не сумел сказать ничего дельнее, как будто в нем «никогда не умирала надежда на введение в России такого порядка жизни, которым была *ког-*

да-то (?!) красна наша царская старина»! (Речь на предвыборном собрании в Москве 14 января 1907 года). Вместо политической программы, таким образом, была пропета ария Неизвестного из «Аскольдовой могилы», что «в старину живали деды веселей своих внучат». На «проклятые вопросы» XX века отвечал сказочный лепет о XVI и XVII веке!.. *Красноречием* политические речи Плевако (их две в первом томе) нисколько не уступают его судебным речам. Они плохи даже не тем, что в них «нет убеждения»: темперамент убеждения Плевако умел профессионально вызывать в себе, когда хотел, даже и для мнений, которым он гораздо меньше верил и которые гораздо меньше были нужны ему. Они плохи безразличною пустотою, вокруг которой крутится словоизвитие. Плевако было просто «нечего сказать». И, в усилиях спрятать пустоту под маску многозначительности, разражался он адвокатскими заключениями, громкими и эффектными в ухе, но поразительно ничтожными на бумаге, точно в «сценической» пьесе уход актера «на хлопки»:

Драгоценнейший краеугольный камень нашей гражданственности и предмет любви безмерной, наш манифест 17 октября, могучий камень: стучитесь! Миллиардами искр ответил он вам, искр, светящихся, греющих и уничтожающих то, что худо, веселящих и радующих тех, кто любит его, верит в него и вместе с тем верит в свое будущее.

В судебных речах Ф.Н. Плевако этот недостаток никогда не слышен. Поверенный частных интересов — защитник или обвинитель, он опирался, как на каменную стену, на конкретный материал, которым распоряжался, поистине, с волшебным мастерством, как юрист, как поэт, как психолог. И вырастали из этой тройственности: оратор-гигант, речь-пламя, слово-молния, которое уничтожало противную сторону, и потрясало, и разбивало силою своею не только слушателей, но и прежде всех самого вдохновенного ритора. «Сам плачет, а мы все рыдаем», — этот иронический стих мог бы послужить совсем не ироническим

эпиграфом к собранию речей Плевако. И плакал он тогда не по-актерски, не притворно, не показной чувствительности ради, не «для присяжных», но совершенно — в этот момент — искреннею, из буйного сердца вылившеюся слезою... Речи по делу игуменьи Митрофании (1873, с нее, как известно, началась всероссийская слава Плевако), речь по делу Булах (1881, обвинялась в «причинении с корыстной целью расстройства умственных способностей» богатой купчихе Мазуриной), речи по делам о тяжких семейных и любовных драмах (Лукашевича, Прасковьи Качки, Лебедева, Ильяшенко, князя Грузинского и пр.) сохранились как свидетельства мощной способности Плевако «бить по сердцам с неведомою силою». Первые две из названных трудно читать без волнения даже теперь — в обесцвеченной печатной передаче и тридцать лет спустя!

Человек мистического мировоззрения, Плевако умел влиять на суд и присяжных мистическими же средствами. Иногда он на них сильно срывался (в Петербурге, напр.), но, попадая в подходящую среду, творил ими чудеса. Никто искуснее Плевако не «фехтовал текстами». С годами мистическое настроение захватывало знаменитого адвоката все глубже и глубже, стало для него искреннею потребностью. Это отозвалось и на его красноречии. Если следить за хронологией речей Плевако, легко заметить одну особенность: чем позже по годам речь, тем реже Плевако «защищает», — все чаще просит извинить и простить, все слабее опирается на право, все крепче нажимает струны милосердия и сострадания. Его клиенты начинают почти сплошь сходить со скамьи подсудимых не столько оправданные, сколько помилованные. Присяжные отпускают их не потому, что убедились в их невинности, но потому, что пожалели: выплакал им пощаду защитник. Их не обелили, но отверзли им милосердия двери — к покаянию. Клиентам Плевако, — в это время все больше директорам банков и разным крупным предпринимателям, — эти аппеляции из области права в область религиозного отпущения грехов «по душам» весьма по-

могали. Но оратору, который по делу о скандале на заседании уполномоченных московского Кредитного общества (1896, дело Семенковича) предпочитал вместо речи по существу цитировать апостола Павла, конечно, было уже поздно помышлять о гражданской роли и метаморфозе в трибуна. И, действительно, роль не удалась и метаморфоза не совершилась.

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ МУРОМЦЕВ

Я не был поклонником С.А. Муромцева. Политический идеал его, выработанный наследием шестидесятых годов, кажется, при свете социалистических зорь XX века, узким, ограниченным и устарелым. В московском университете восьмидесятых годов я был слушателем Муромцева. Читал он дельно, но скучно, и огромный труд его, холодное и сухое «Гражданское право древнего Рима», — кирпич неудобоваримый. Вообще, Муромцев больше обаял аудиторию прекрасною, истинно римскою наружностью и таковою же выдержкою, чем римским правом. Уважали его очень и побаивались как строгого экзаменатора. Любви к нему — такой, как к А.И. Чупрову, М.М. Ковалевскому, В.О. Ключевскому, — не было.

Отчего же теперь так грустно было мне узнать о внезапной и сравнительно ранней смерти этого — с полным убеждением пишу это слово — замечательного человека? Отчего сами собою сказались слова:

— Какая огромная потеря! Еще силою меньше! Бедная Россия! У счастливого недруги мрут, у несчастного друг умирает.

Личность ушла из русского мира. Сильная, большая, выдержанная, стройная личность. А ни личностями, ни выдержкою, ни стройностью, ни силою русский мир не богат, потому что не богат он основою личности — гражданским воспитанием. Ушел Муромцев, и в стане русской интеллигенции осталась широкая, трудно заполнимая брешь.

Муромцев не гений и не вечный человек. Но стотысячеголовые похороны и похвал надгробный плач им вполне заслужены, и великолепно это, что так красиво и пышно свершился его погребальный триумф. И, если поставят ему общественный памятник, это будет тоже очень хорошо. Россия опустила в могилу верного и честного сына своего, который обладал даром, более редким в русском мире, чем талант и даже гений: ясною волею и твердым словом, которого не давши — крепись, а давши — держись.

«Ein Tàlent, doch kein Charakter» *, — сказал когда-то поэт Платен, в угоду королю Людвигу Баварскому, о Генрихе Гейне. Последний перевернул эту характеристику в эпиграмму на Людвига Баварского: «Kein Tàlent, doch ein Charakter» **. Отбросив в сторону эпиграмматический тон Гейне, антитезу его можно до известной степени применить и к Муромцеву. Разумеется, было бы бессмысленною дерзостью настаивать, будто Муромцев был «kein Talent», — у него, как юриста-научника, было дарование несомненное. А так как он был неутомимый работник, то дарование свое он растил последовательною эрудицией, и я не раз слыхал от лиц весьма авторитетных, что в московский университет старик Муромцев вернулся лектором несравненно более ярким, сильным, влиятельным, чем ушел из него, молодой, в 1887 году. Но столь же несомненно, что таланты Муромцева оставались ниже уровня его громадного характера, и что в дни своего государственного служения, не талантами своими, но характером заслужил он общее уважение, и не в талантах его, а в характере нуждалась Россия. И он ответил на ее нужды и оказал ей именно те услуги, в которых она нуждалась. Пожалуй, можно так выразиться: его талантом был его характер.

Этот человек был истинный римлянин в политической системе своей. Он занимал свои позиции медленно, с ос-

---

* «Талант — еще не характер» (*нем.*).

** «Характер — еще не талант» (*нем.*).

мотрительностью и осторожностью, но, однажды заняв, уже не уступал их никогда и никому. Враждебный натиск мог уничтожить его, но не отстранить и не попятить. Таков он был и председателем московского юридического общества, и редактором юридического журнала (громадная заслуга Муромцева, мало отмеченная в его некрологах!), и профессором, и проректором университета, и председателем первой Государственной думы. Во всех этих положениях он претерпел очередные «гражданские смерти»: погибло общество, закрыт был журнал, отнята профессура, распущена первая Государственная дума. И всегда Муромцев спокойно смотрел надвигающейся смерти в глаза и шага не делал, чтобы ее насилие обошло его как-нибудь боком и мимо. Я в деле — я и в ответе! Это был истинный воин гражданственности и воин-богатырь! Весь скованный из дисциплины и чувства долга, этот благовоспитанный красавец-человек, с недвижным лицом мраморной статуи, был бы, вероятно, грозен и страшен застылым холодом своим наверху исполнительной власти, но нельзя было не любоваться им, как главою и сдерживающим началом законодательного учреждения, его защитником и стояльцем. Говоря языком старинных московских наказов, «*держал он* имя народного представителя *честно и грозно*» и выше этого имени не полагал ни звания, ни силы на земле. Даже скептиков как я, который в своем «Красном знамени» признавал и за первою Государственною думою политических возможностей не больше, чем дали дальнейшие, побеждала иногда эта совершенная стойкость человека, стоявшего, как маяк на утесе среди бурного людского моря, эта ровность и уверенность живой машины, знающей, что она-то уж не сойдет с рельсов, разве что рельсы из-под нее выдернут. Так, конечно, и случилось: машину нельзя было своротить, — так рельсы выдернули!

Какая редкость на Руси человек с характером, обнаружилось поразительною дружностью избрания С.А. Муромцева

на пост председателя первой Государственной думы. Это всеми теперь отмечено. Президентом предполагавшегося парламента явился, действительно, единственный возможный избранник всего русского образованного общества, человек, намеченный гласом и перстом всей русской интеллигенции. У него не было ни соперников, ни конкурентов, — и не могло быть. Цельность Муромцева была так исключительна и заметна, что у него — можно сказать — от юности на лбу написано было: «Если в России будет парламент, то сей — президент парламента».

Сообщенный в газетах анекдот о пророческой шутке Муравьева, который, будучи студентом, себе предсказал пост министра юстиции, а Муромцеву — председателя палаты депутатов, чрезвычайно выразителен.

И еще более ярко характеризует Муромцева, что он, собственно говоря, был первым и покуда последним фактическим председателем Государственной думы: преемники его — не более как суррогаты, попадавшие в президиум, как раки на безрыбье, только потому, что не может же «парламент» оставаться без президента, нужен же «парламенту» какой-нибудь президент! Разница в индивидуальности гг. Головина, Хомякова и Гучкова нисколько не спасли их от единства в роли «соломенных редакторов», ответственных за весьма сомнительный изустный журнал притворной и скандальной болтовни, издаваемой гг. Пуришкевичами, Марковыми и tutti quanti * под титулом «Государственная дума», в каком им угодно тоне и направлении. Муромцев ушел, — и, глядь, депутатов много, а в председатели выбрать некого. Талантов — сколько угодно, а характеров — ни одного, а политического воспитания — ни у кого.

— Ах, дьявол?! Да как же быть-то? Перед Европою неловко, чтобы без председателя. Ведь Европа-то думает, что

---

* Иже с ними (*ит.*).

у нас и впрямь парламент. Ну, идите хоть вы, Николай Алексеевич... Не с чего, так с бубен!

Муромцев был председателем потому, что это было его врожденное право и дело; его преемники — председатели потому, что авось не боги горшки обжигают. И нельзя не сознаться, что плачевно утешительный афоризм этот им удалось оправдать в совершенстве: и не божественность свою блистательно доказали, и деятельность российского представительства упростили именно до степени обжигания горшков.

Кадеты и кадетствующие либералы потеряли в Муромцеве громадную силу. У них есть люди гораздо талантливее, шире, ярче Муромцева (Максим Ковалевский; Родичев как оратор; Маклаков), много людей, равных ему образованием (Милюков) либо правовою ясностью и твердостью государственной теории (Гессен), но не стало среди них человека-устоя, человека-скалы, который с полным убеждением мог бы сознавать: «Я — совесть партии. Я — ковчег ее идеала. Я — пробирный камень ее правды и ошибок».

А Муромцев мог, — и с полным нравственным правом. Это был носитель сверхчеловеческой порядочности, пред которою даже и очень хорошим людям, но — людям, становилось иногда немножко жутко.

Оглядываясь на тридцать лет общественной жизни Муромцева, я вижу его иногда в положении критическом, щекотливом, тяжелом, но никогда — в оскорбительном, недостойном, смешном. Его величественная поза была прирожденная и, в каких бы то ни было обстоятельствах, он, верный себе и неменяющийся, не мог быть «ridicule» * — опасность, на краю которой стоит всякая сделанная поза. У всякого другого вышло бы комическою наивностью, что человек ждал себе посмертного, так сказать, апофеоза и приготовил загробную благодарность на этот случай. Но к Муромцеву это идет, как аккорд, заключа-

* «Смешным» (*фр.*).

ющий строгую симфонию жизни, как последний удар резца, завершающий мраморную статую. Человек исчез, но на пьедестале стоит мраморный полубог, сверхчеловечески уверенный, сознательный, прекрасный и — благосклонный к последователям своего непременного будущего культа. Divus Sergius *.

Fezzano
4 ноября 1910

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЧУПРОВ

I

Бывают дни, когда солнечный закат полон влекущей и опасной тайны: уходящее солнце горит тоскливо и роскошно, и неудержимо тянет тебя к окну — смотреть, не отрываясь, в печальное золото далей, в пожарные сияния неба, в споры их отражений с белизною и просинью вод.

Боюсь я известий, приходящих в подобные дни.

В такой день, четыре года тому назад, в Вологде, просунулась ко мне с улицы коричневая лапа в парусиновом рукаве и оставила на подоконнике телеграмму:

— Чехов умер, пожалуйста, немедленно статью. «Русь».

В такой день, вчера, старушка-посыльная из Сестри-Леванте принесла мне зловещий желтый листок от «Одесских новостей»:

— Пожалуйста, немедленно фельетон о Чупрове.

И охватили меня ужас и великая скорбь, каких не испытывал я именно с того тяжелого чеховского дня. Ведь — дело шло о человеке, ближайшем мне и родственно, и духовно. Я знал Александра Ивановича Чупрова все 45 лет моей жизни, потому что он даже мой крестный отец. Я любил и уважал

* Божественный Сергей *(лат.)*.

его как одну из самых великих и светлых душ, сиявших на моем пестром горизонте житейском, — как «дядю, учителя и друга», которому я только что посвятил своих «Восьмидесятников». Посвятил символически-любовно и с глубоким убеждением, потому что А.И. Чупров был яркою, нежною, милою луною печальной нашей московской восьмидесятной ночи. О как немного было их, этих лун, и как становилось темно, когда они угасали!

Телеграмма не говорила о смерти, хотя чувствовалось, что — умер старик! Зачем бы иначе сейчас, когда Александр Иванович столько лет живет за границей на покое и в полузабвении, потребовался экстренно спешный фельетон о нем? Но — хотелось схватиться за соломинку какой-нибудь надежды. Быть может, забытый было и неожиданно празднуемый юбилей? внезапное публичное выступление? нашумевшая статья? новый ученый труд, сделавший переворот в науке?.. Рассудок говорит, что — нет, просто — смерть. И в то же время я чувствовал, что не в силах я ни строки написать об А.И. Чупрове — до тех пор, пока не буду знать наверное, что с ним. Я был убежден, что он умер, но возможность собирать мысли и воспоминания о нем, как уже о мертвом, казалась мне невероятною и оскорбительною: точно приходилось писать некролог живому другу! Я послал телеграмму в Мюнхен сыну А.И. Чупрова: «Все ли благополучно?» Трагический ответ не заставил себя ждать: «Отец умер внезапно, в воскресенье; похороны в Москве; тело отправлено вчера; я выезжаю сегодня...» Consummatum est! *

Трудно мне писать об Александре Ивановиче. И горько, и трудно. Образ его так тесно вплетен в мою жизнь, что, говоря о нем, мне невозможно избежать постоянных отступлений в автобиографию. Озираясь на свою молодость, я вижу след Александра Ивановича решительно в каждом светлом ее пят-

* Свершилось! Кончено! (*лат.*)

не, я замечаю его отступление или свое отдаление от него решительно во всех моих сумерках и ночных темнотах.

Тому, кто не знал Александра Ивановича лично, почти невозможно вообразить себе святую обаятельность этого удивительного человека, прожившего почти семидесятилетнюю жизнь свою, трудную, рабочую, далеко не розами усеянную, живым воплощением шиллеровой оды «К радости». Когда, два года тому назад, я поджидал его на вокзале в Мюнхене и выбежал он из вагона — в сияющей седине, блистая сквозь очки смеющимися голубыми глазами, улыбающийся и радостный, как солнечный луч, — я вдруг почувствовал, что умаляюсь, как дитя. Предо мною размахивал шляпою, хохотал и вскрикивал свое знаменитое:

— Да — ну? Да — врешь?

Тот же самый молодой, веселый, жизнерадостный студент-идеалист, оптимист с непоколебимою верою в совершенство природы и в прелесть человечества, что когда-то, сорок лет назад, прыгал в ровнях со мною, пятилетним, по Лихвинским оврагам, играя в восхождение на Монблан. Так, с детства на всю жизнь и остался он запечатлен в моей памяти: стоит на краю оврага, ноги циркулем, машет палкою, сияет глазами, хохочет, кричит, поет и зовет меня, пыхтящего и ползущего по калужской глине, к себе — на Монблан! на Монблан!.. И, когда я, заочно, думал или вспоминал об Александре Ивановиче, мысли мои неизбежно проходили и проходят сквозь этот первый образ, точно сквозь символическое предисловие, освещающее его жизнь.

Я не знал человека, более умелого и способного располагать к себе детей: талант вообще редкий в мужчинах и все более и более исчезающий из нашего больного, мрачного, черствого, преждевременно старого общества. Я в детстве молился на юного «дядю Сашу» и лип к нему, как живой пластырь. Прошло сорок лет, и, с первой же встречи, совершенно так же повис на седого мюнхенского «дедушку» мой четы-

рехлетний сын: покуда мы оставались в Мюнхене, кроме дедушки, тоже не было и света в окошке. Наблюдая тогда старого и малого, я только дивился и завидовал искренности их общения. В отношениях Александра Ивановича к детям не было ни капли той властной снисходительности, с которою взрослые, обыкновенно, «любят детей». Приближаясь к ребенку, он сразу становился с ним вровнях, с совершенною серьезностью принимал к сердцу все детские интересы, добросовестнейше проникался детским мировоззрением. Ребенок чувствовал себя с ним маленьким человеком — равноправным товарищем большого ребенка. И ребенок увлекался Александром Ивановичем, и Александр Иванович — ребенком. Я уверен, что, играя с какими-нибудь своими или чужими малышами в лошадки или в казаки и разбойники, наш знаменитый профессор, глубокомысленный политикоэконом, совершенно искренно воображал себя в эти минуты коренником, кучером, разбойником, — всем, чего хотели и требовали дети, — веселился, как они, переживал все их эмоции, радости и обиды.

Как рано и победоносно сказывалась в Александре Ивановиче его исключительная обаятельность, хорошо покажет следующий факт нашей семейной хроники. Когда А.И. Чупров учился в калужской семинарии, отец мой, В.Н. Амфитеатров, был в ней преподавателем. Необычайная талантливость и симпатичность юного семинариста привлекали внимание юного же преподавателя. Разница лет между ними небольшая. И вот стали они вместе читать, образовываться. Возникла тесная дружба, продолжавшаяся затем не один десяток лет. Отец мой настолько очаровывался учеником своим, что желание породниться, войти в семью, породившую такого увлекательного юношу, явилась в нем гораздо раньше, чем он узнал мою мать — родную сестру Александра Ивановича и живое женское повторение его характера. Да и лицом брат и сестра тоже были очень схожи между собою. Отец мой собирался тогда идти не в священники, а в университет, но

старый мосальский протопоп Иван Филиппович Чупров, огорчаясь, что многочисленные сыновья его все уклонились от духовного звания, желал, чтобы, по крайней мере, дочери были за попами. И вот отец мой, чтобы жениться на Елизавете Ивановне Чупровой, надел рясу. Действительно, женившись, он совершенно вошел в семью Чупровых. Настолько тесно и глубоко, я, например, даже не знавал никогда своих, кажется, многочисленных дядей и теток с отцовской стороны: все мое детство, вся моя холостая молодость прошла с Чупровыми, дядями и тетками по матери. Теперь, по кончине Александра Ивановича, из этого поколения в живых остается только одна самая младшая сестра его, Наталья Ивановна.

Мосальский протопоп Иван Филиппович Чупров был богатырь и умница из тех старозаветных бурсаков, которых из десяти девять засекали, а десятый выходил человеком. Но детей он народил недолговечных, с предрасположением к туберкулезу: несчастное наследство со стороны матери, Елизаветы Алексеевны Брильянтовой. Из всех многочисленных Чупровых — «Ивановичей» только один Александр Иванович, старший, дожил до преклонных лет: он скончался на 67-м году, намного пережив всех своих младших братьев и сестер, за исключением вышеупомянутой Натальи Ивановны, младшей его лет на пятнадцать. Он же один из братьев и сестер умер от грудной жабы и сердечного припадка, а не от туберкулеза, рокового страшилища этой семьи. В ней было два типа: высокие, русые, кровь с молоком, голубоглазые — Александр, Алексей, Елизавета, Владимир, Наталья, и малорослые, черненькие, с зеленовато-карими глазами, Марья и Иван. Туберкулез не пощадил ни тех, ни других. Одни, как Иван, Владимир и моя мать Елизавета Ивановна, сгорали быстро, жертвами какого-нибудь шального воспаления в легких и скоротечной чахотки, другие, как Алексей Иванович и Марья Ивановна, заболевая сравнительно поздно, тя-

нули медлительное умирание лет по десяти. Все, кроме Марьи Ивановны, умерли на руках Александра Ивановича, всех он проводил в могилу. Не удивительно, что повторное страшное зрелище ядовитой наследственности выучило его величайшей физической осторожности. Трепет пред легочными болезнями был единственною черною тенью, которая временами скользила по его красивому миросозерцанию. Сколько раз приходилось мне выслушивать от него нотации, необычно нервные, полные испуга и волнения, когда до него доходили известия о каком-нибудь моем дурачестве на риск и за счет моего несокрушимого здоровья.

— Дядя, — возражал я, — да ты посмотри на меня: ну что мне сделается? Скорее Минин и Пожарский простудятся, чем я.

— Ну вот и врешь! — горячился он, — вот и врешь! Не надейся на то, что велик вырос. Не забывай породу. Мы все до известных лет таковы, что хоть купай нас в крещенской проруби — и то не кашлянем. А потом вдруг — в один глупый день, как покатимся под гору, кончено: уже нельзя удержать, пока не скатимся в могилу...

Когда, два года тому назад, в Париже я заболел воспалением легких, то по выздоровлении получил от Александра Ивановича письмо, пропитанное почти мистическим ужасом к роковой болезни, унесшей в могилы столько близких ему людей. Воображаю, как тяжело и мучительно было состояние его духа, когда ему самому приходилось переносить подобные болезни. А поражали они его не раз. Своим сравнительным долголетием Александр Иванович обязан исключительно превосходному терпеливому своему характеру, с смирением принимавшему всякий врачебный, диетный и житейский режим. В медицину он верил свято и в руки врача отдавал себя с трогательною добросовестностью, яко овца, на заклание ведомая. В семидесятых и восьмидесятых годах его ближайшим другом был знаменитый профессор-терапевт А.А. Остроумов, проводивший почти всех Чупровых в их ранние гробы.

Зато и торжествовал же и радовался же А.И. Чупров, когда судьба посылала ему навстречу истинно здорового, сильного человека. В этом отношении я был для него — клад. Ходит, бывало, кругом, поглядывает, по плечам хлопает:

— Эка, здоров-то ты!.. Эка молодчинища!.. Поди пудов шесть в тебе будет?

— Больше, дядя.

— Да врешь?!.

Это комическое «да врешь?» немало удивляло собеседников Александра Ивановича и даже не раз доставляло ему маленькие неприятности. Особенно, когда в разговоре с людьми, не слишком близкими, изумленное «да врешь?» вежливо повышалось в число множественное — «да врете?»

— Странный человек Александр Иванович, — сказал мне однажды некто Станищев, болгарин-филолог, впоследствии, кажется, сделавший большую карьеру по министерству народного просвещения. — Такой он деликатный, участливый, любезный, добросердечный... И в то же время — ни одному слову собеседника своего не верит и даже скрывать того не церемонится.

— Откуда вы взяли? — удивился я. — Дядя — самый доверчивый человек на свете! Уж скорее недостаток его — именно чрезмерная доверчивость.

— Помилуйте!.. Что вы! Намедни я рассказываю ему о наших болгарских хлебных культурах. Сам же он меня просил. А между тем вдруг как хлопнет себя по ляжкам, согнул коленки и кричит: «Да врете, батенька?!» Совсем сконфузил... Я со стыда сгорел... Положим, что я, действительно, несколько преувеличил, но — нельзя же так прямо в глаза!

Я расхохотался тем искреннее, что незадолго перед тем, — приезжаю я к Александру Ивановичу просить его в крестные отцы.

— Дядя, у меня дочь родилась.

Дядя приседает, хлопает ладонями по коленям, выпучивает на меня глаза и кричит истошным голосом:

— Да вре-ешь?!.

— Это из него наш семинарский скептицизм задним числом голос подает! — острил об Александре Ивановиче талантливый и умный брат его, Алексей Иванович (ум. в 1898 году), — прозорливый человек, который в самый разгар моих старинных панславистских и консервативных увлечений твердо предсказывал мне:

— Это, бра-ат, все пу-устяки и пройдет. Это у тебя с ветра. Кончать жизнь будешь ты красным, на крайней левой. Потому что в тебе заложен наш ста-атический либерализм. А как войдешь в возраст и поумнеешь, так сделается он динамическим, и все эти нынешние твои трынди-брынди опрокинет и поведет тебя куда следует...

Ах какой это был хороший, исключительно светлый, теплый, мягкий, разносторонне и всегда равно интересный, глубокий и простой, до святости добрый, до умиления очаровательный умница-человек!.. Смерть его не прошла бесследной и незамеченной в Москве, где Алексей Иванович пользовался, конечно, далеко не такою, как знаменитый брат его, но все же значительною популярностью, хотя он не занимал видного общественного положения, ни даже не был общественным человеком в строгом смысле этого слова. Скромный труженик по коммерческим делам (сперва — лет двадцать пять — бухгалтер в московском Купеческом банке, потом управляющий фирмою известных купцов-интеллигентов Сабашниковых), Алексей Иванович всею жизнью своею представлял высший образец того идеала, который шестидесятые годы начертили русскому человеку в коротком, но красноречивом, всем понятном слове «интеллигент». Трудно найти душу чище и отзывчивее на каждый благой порыв, ум более просвещенный, ясный и трезвый, образ мыслей более гуманный и доброжелательный, логику более спокойную и бесстрашную в рассуждении, сердце, богаче одаренное способностью все в людских отношениях понять, объяснить и, если надо, простить.

— Не спе-еши обижаться... — учил он меня однажды, усердно наливая меня густейшим и превкусным чаем, какой заваривать умеют в совершенстве только любящие комфорт, аккуратные старые холостяки. — Если на-адо обидеться, всегда успеешь: настоящей обиды сердце не простит... А по пустякам обижаться спешат только дураки да злые от невежества люди... Ты не вскипай, а имей терпение разобрать... Может быть, болезнь какая-нибудь или ты сам виноват... С людьми надо терпение иметь. Эф ю пэшенс!

Этою фантастическою, будто бы английскою (он ни английского, ни другого какого-либо иностранного языка совершенно не знал) фразою, неизвестно откуда схваченною, Алексей Иванович любил юмористически заключать свои беседы... Что ни стрясется бывало в нашем семейном обиходе, — на все спокойный ответ-совет:

— Эф ю пэшенс!

Нежная чуткость, кристальная прозрачность характера привлекли к Алексею Ивановичу такую массу друзей, что мало-помалу — особенно под конец жизни своей — он, пожилой, болезненный, медленно съедаемый туберкулезом человек, сделался, однако, невольным центром, вокруг которого группировалась весьма заметная кучка московских образованных людей. В скромной квартире Алексея Ивановича на еженедельных почти что студенческих «журфиксах» его можно было видеть самых блестящих и интересных деятелей молодой Москвы. Милюков, Виноградов, братья Корсаковы, почти вся редакция «Русских ведомостей», Савей Могилевич Остроумов, Богдановы, Котляровские, Сперанские, — все они сходились отвести душу в присутствии этого молчаливого человека, с апостольским лицом, с ясными любвеобильными глазами, освежиться от пыли и копоти житейских битв прикосновением с его незапятнанною духовною чистотою. Редки в русском обществе люди, с такою убежденной последовательностью и искренностью прилага-

ющие ко всем житейским отношениям своим евангельский принцип: «Не судите, да не судимы будете». Это драгоценное свойство, подобно магниту, тянуло к Алексею Ивановичу множество людей с удрученным сердцем, неспокойною совестью. По опыту могу сказать: удивительно умел он, что называется, разговорить такого несчастливца, ободрить его и утешить своей мягкой философией по здравому смыслу и богатому житейскому опыту. Пред ним легко было каяться и высказывать тайны, которые человеку в одиночку носить в душе мучительно, а другим в них открыться — жутко, самолюбие не позволяет, стыд кричит. Отсутствие фанатизма, способность убеждать рассуждением, самая широкая терпимость к идеям, взглядам и мнениям ближнего поразительно выделяли Алексея Ивановича из сектантской среды московского либерализма восьмидесятых годов, в общем весьма-таки сухого, надменного и требовательного. Это была широкая русская душа, не любившая сама сжиматься в тесных оковах предвзятого ортодоксального ригоризма и на другие души надевать их не посягавшая. Вот, вкратце, и все причины, по которым смерть частного, небогатого, скромно поставленного в обществе человека встретила в свое время так много печали, вызвала в Москве такие яркие проявления скорби и нежных симпатий. Ушел из мира не вождь, не борец, не боец. Ушел просто чистый человек. Но брешь, оставленная в обществе уходом его, лишний раз выяснила огромное значение подобных людей в кругу человеческом. Мертвых их ценят больше, чем живых: тихие, скромные, не сующиеся на первые планы, чуждые честолюбия, всегда готовые на вторые роли, пассивные сеятели эти теряются в сутолоке мятущегося дня за деятелями более яркими, шумными, талантливыми, — и, только опуская в могилу их, мы чувствуем весь глубокий смысл их потери, сознаем, что «не будь таких людей, засохла б нива жизни».

Семинария, за исключением комической «формулы недоверия», не оставила на Александре Ивановиче, всегда изящном, тактичном, предупредительно любезном и деликатном,

никаких следов свойственной ей угловатости. Атавизм духовного происхождения и следы духовного воспитания сказывались у обоих старших братьев Чупровых разве лишь своеобразным шуточным жаргоном их домашнего обихода, полным великорусских провинциализмов, калужского говора и цитат либо отдельных выражений из Писания или отцов церкви.

— Экой ты, брат... идол аккаронский! — восклицал Александр Иванович в знак своего совершенного неудовольствия, когда видел чью-нибудь уж очень большую нелепость, бестактность или некрасивую выходку. Даже до сих пор, если я вижу ребенка качающимся вместе со стулом, мне всегда вспоминается чупровское предостережение:

— Сломаешь себе шею, как Илий первосвященник!..

Прибавьте к этому, что в семьях Чупровых литературными богами были Салтыков и Глеб Успенский, — значит новое наслоение жаргонного словооборота... Я вырос и воспитался среди этой сочной, образной, демократической, великорусской речи. Она оставила неизгладимые следы на моем говоре и даже на литературном языке, особенно в диалоге. Своим лексиконом и свободою в обращении с великорусским синтаксисом я всецело обязан влиянию Чупровых.

Свои лекции Александр Иванович читал и статьи писал совсем другим слогом. В лекциях он был блестящим преемником того научно-публицистического московского языка, который литературно выражен ярче всего Герценом, да едва ли не Герцен и положил начало такой манере изложения. Как некогда о Грановском, так и о Чупрове можно было сказать словами Некрасова: «Говорил он лучше, чем писал». Газетные статьи свои, всегда деловитые, богато полные содержанием, блещущие эрудицией, Чупров писал тем — едва ли не умышленно — скучным, сухим, тяжелым слогом, который в семидесятых годах считался необходимою принадлежностью хорошего публицистического тона. Статья, иначе написанная, признавалась уже легковесным фельетоном и не удос-

таивалась серьезного внимания. А между тем А.И. Чупров был не только хороший, но первоклассный стилист. Работы, которые он имел время внимательно отделать, — образцы литературного изящества и, несмотря на свои специальные, тяжеловесные темы, читаются быстро, как роман, и укладываются в голову с поразительною легкостью и прочностью. Страстный любитель и знаток поэзии и литературы, А.И. Чупров придавал изяществу изложения очень большое значение. Я помню, как был он огорчен, когда какая-то студенческая провинциальная группа бесцеремонно издала его лекции по политической экономии без авторской корректуры, по безграмотной и нескладной записи. Впрочем, как было ему и не дорожить красотою своих лекций! Страстность, изящество, красивая убежденность его слова с кафедры захватывала аудиторию с полностью, редко выпадающею на долю даже гениальных лекторов. Было бы странно провозглашать Чупрова гением, но в нем было кое-что, пожалуй, стоящее гения: это — безграничное любвеобилие его, восторг к тому, что он излагает, и к тем, пред кем излагает. Своим мягким словом, восторженным голосом, ласковым сиянием глаз он будто заключал в объятия каждого студента своей аудитории, будто благословлял и отечески-нежно убеждал его:

— Милый ты мой! Посмотри, послушай, какую хорошую, славную науку выдумали хорошие ученые люди, и как хорошо это, что ты пришел учиться, и как ты, мой хороший, будешь еще лучше, когда выучишься!

Невозможно любить студенчество больше, чем любил его А.И. Чупров. И студенчество чувствовало, понимало и платило страстною взаимностью. Одна из вступительных лекций Чупрова описана мною в «Восьмидесятниках». Когда профессор впервые в семестре являлся пред аудиторией или, наоборот, прощался с нею, читая в последний раз в году, университет переполнялся бурею энтузиазма. Товарищество, которое, — я говорил выше, — Чупров умел установить даже с детьми, протягивало незримые нити и трепетало теплыми флюидами между профес-

сорскою кафедрою и студенческими скамьями. Чупров был, может быть, наиболее совершенным русским выразителем и носителем университетской корпоративной идеи. Университет для него был живым и бессмертным организмом, историческою корпорацией, с началом, но без конца. Чупров искренно веровал в свое товарищество и единство цивилизующей работы и назад — с Грановским, Рулье, Бабстом или Никитою Крыловым, похороненными Бог знает сколько лет назад, и вперед — с семнадцатилетним первокурсником, впервые пришедшим в университет, вооружась карандашиком и тетрадкою для записи лекций. С увлаженными глазами встречал Александр Иванович каждый новый курс своих слушателей, а на последнем — никогда не мог удержаться от пылкого идеалистического напутствия молодежи, уходящей из университетских стен в гражданскую деятельность. И не раз эти обмены напутствия с ответными приветами кончались тем, что у профессора — лицо мокрое и борода высеребрена слезами, а студенты рыдают, как малые дети.

* * *

Глядя на Александра Ивановича, я неоднократно думал: какое гениальное проникновение явил Тургенев, когда сделал своего Потугина — западника из западников, фанатика цивилизации, европейской науки и демократического строя, в котором она возникла и развилась, — человеком духовного происхождения, интеллигентом из семинаристов! Дети мосальского протопопа Ивана Филипповича Чупрова не уступали Потугину ни в энергии западничества, ни в фанатической вере в цивилизацию, ни в энтузиазме к поступательному прогрессу человечества, ни в надежде на эволюцию совершенства идей и явлений. Литтре называли святым без религии. Прозвище это вполне приложимо и к А.И. Чупрову — одному из самых последовательных, убежденных и бесстрастных, в мягкосердечии своем, позитивистов, каких только имела европейская наука. Единственною религиею созревшего и мас-

титого профессора Чупрова (смолоду он был пантеистом) была вера в человечество и любовь к человеку. Зато как же могуче и ярко светила и грела в нем эта земнорожденная религия, зажженная солнцем, над нами ходящим! Оптимист до мозга костей, Чупров не был, однако, ни Панглоссом, ни Кандидом. Его возвышенный оптимизм был чужд вульгарной проповеди — «все к лучшему в этом лучшем из миров». Толстовское непротивление злу Чупров принял с негодованием, а в опрощении видел регрессивное юродство. Оппортунизма этического в нем не было ни на кончик иглы, этической снисходительности, всепрощения, понимания и искания человека в человеке — широкое бездонное море. Если бы Лука Максима Горького, верующий, что «люди живут для лучшего», получил кафедру политической экономии, с нее зазвучали бы ноты А.И. Чупрова. Но еще звонче пели в душе его лирические мелодии тех русских оптимистов, во что бы то ни стало и до последнего конца, которые — даже идя долиною скорби и тени смертной — непоколебимо знают, что они увидят небо в алмазах, и жизнь будет тихая, кроткая, сладкая, хотя бы — через двести лет!

Великая жизнерадостность, обитавшая в А.И. Чупрове, прошла сквозь горнила жестоких испытаний. Правда, он знал в жизни своей блестящие научные и общественные удачи, славу, любовь и уважение толпы. Но в частном быту жизнь его не баловала. Я уже рассказал, как пред глазами его совершалось поголовное вымирание братьев и сестер. Он рано потерял крепко любимую, хорошую жену свою Ольгу Егоровну (ур. Богданову). У него превосходные дети, — и между ними блестящий преемник науки своего отца, также профессор политической экономии, Александр Александрович Чупров, — но не всех ему удалось вырастить, и смерть не раз стучалась в двери его детской. Он любил университет — и вынужден был лишиться университета. Любил Россию и, в особенности, Москву — обстоятельства приковали его к Дрездену и Мюнхену. Десять лет он прожил, как выразился в одном письме ко мне, «старым котом

на покое», — вынужденном покое, отравленном болезнями и досугом для сознания, что медленно, но верно выходишь в тираж. Он был богат хорошими дружбами, но и богатство это обратилось в источник горестей, в бурные 1905–1908 годы, когда пресловутая «контрреволюция» обрушила на интеллигенцию русскую гонения без совести, разбора и пощады. Кто из эмигрантов, имеющих друзей в России, ложился теперь спать, спокойный за судьбу их, за свободу, за самую жизнь? Бессонные ночи Чупрова, когда он мучился невыносимою нервною болью в руке или приступами сердечных припадков, наполнялись грустными видениями, и на первом плане стояла кровавая тень горячо любимого Чупровым Г.Б. Иоллоса. Страшно потрясла Александра Ивановича кончина его старого друга и товарища по «Русским ведомостям» — П.И. Бларамберга.

Философ, смиренный в счастии и спокойно бодрый под личною бедою, он работал до последнего дня своей жизни. Трудно поверить, в какой ничтожной степени занимали его материальные результаты работы, каким малым успехом удовлетворял он свое личное самолюбие, как почти пугали, смущали и конфузили его громкие и широкие похвалы, как недоверчив он был к дифирамбам и овациям! Помню я шумный, блестящий, торжественный московский юбилей научной деятельности А.И. Чупрова. Вот он, стоя, выслушивает ораторов, стыдится, краснеет, сияет увлаженными глазами... И с невольною улыбкою думалось, глядя на него: «А ну как присядет, хлопнет ладонями по коленям и обрадует оратора: «Да врешь?»!»

* * *

Огромные научные и общественные заслуги А.И. Чупрова принадлежат истории. Нет никакого сомнения, что первоклассное крупное профессорское имя его было бы еще громче и авторитетнее в экономической науке, если бы в свое время Чупров заперся на ключ в своей ученой библиотеке и эгоистически заложил уши от наплывающих зовов вопиющей обще-

ственной действительности. Быть может, тогда в мире было бы одним великим ученым-мыслителем больше. Но зато в России не было бы Чупрова — этого человека из человеков, целиком сплетенного из самопожертвования и вчуже, за ближнего своего, волнений и хлопот. В течение всей жизни своей он ставил себя, с трудами, мыслями, целями и начинаниями своими, на второй номер — после любого бедняка, который позвонит у подъезда, после любой курсистки, которой нужно найти урок, после любого студента, который вчера не понял нескольких слов в лекции и сегодня пришел спросить объяснения. Чупров изорвал свою жизнь в клочки и все их отдал людям, оставив себе лишь те обрывки, которых никто не захотел взять. И лишь на этих-то обрывках времени располагался его неустанный, внимательный, плодоносный труд.

Работы А.И. Чупрова многочисленны, но между ними нет ни одной, избранной и начатой по личному капризу, ради щегольства своим талантом, знанием, блестящею диалектикою, ради красивой науки для науки, обращенной, так сказать, внутрь себя самой. Все труды Чупрова — прикладные отклики на прямые экономические запросы минуты человеческой. Все это — практические кирпичи созидаемой цивилизации, все это — основные вклады в культуру текущего века, полагаемые скромною, почти робкою рукою застенчивого мудреца, уверенного, будто он делает лишь маленькое-маленькое дело, и стыдливо старающегося не заметить, что он уже выстроил целую лествицу Иаковлю, и небо с алмазами уже сияет над его седою головою.

Работа взяла всю жизнь. Александр Иванович даже на смерть свою не истратил своего времени. Надорванное сердце остановилось сразу, как часы, упавшие на камень. Бытие для других — кончилось. Началось — для себя — небытие: великий смертный отдых.

Мир тебе, дорогой мой Александр Иванович!

О, если есть хоть капля справедливости в механике мира сего, — ты отдохнешь, дядя Саша, ты отдохнешь!..

II

Как громом поразило меня известие о внезапной смерти Александра Ивановича Чупрова...

Есть имена, сами за себя говорящие настолько выразительно, что прибавление к ним какого бы то ни было профессионального определения не только не поясняет их, но как-то даже затемняет, принижает, умаляет, суживает, почти опошляет их истинное значение. Поэт Пушкин, беллетрист Тургенев, публицист Герцен, профессор истории Грановский странно звучат в ухе русского человека, хотя Пушкин действительно был поэтом, Тургенев — беллетристом (и не любил же он это неуклюжее слово!), Герцен — публицистом и Грановский — профессором истории. Имена эти стали для интеллигентных масс символами своих идей настолько полно и прочно, что попытка еще добавочно разъяснять их эпитетами и определениями уже излишня и даже как будто оскорбительна. Пушкин, Тургенев, Герцен, Грановский — четыре самопонятные созвездия идей, воплощенных в четырех исторических именах бесконечным разнообразием мысли и чувства, несчетною пестротою силы и красоты. Бывают такие имена всемирные, бывают всероссийские, бывают местные. Кто, например, в Петербурге не знает и не помнит имя Ореста Миллера? А я уверен, что из знающих и помнящих это имя большинство давным-давно уже позабыло, когда и где Орест Миллер профессорствовал, какую науку читал, и хорошо или дурно. Потому что — не в том дело. Что было нужно Петербургу в Оресте Миллере, что составляло общественную суть и мысль его явления, то и осталось жить навсегда: имя превратилось в вечную идею возвышенного и самоотверженного гуманизма, а все земные временные оболочки его истлели по мере того, как сгнивало в могиле успокоенное тело.

Вот — такое-то идейное местное имя для Москвы — Александр Иванович Чупров. Назвать его «профессором политической экономии и статистики» значит для ушей москвича — не

сказать ничего. Значение Александра Ивановича в Москве было настолько разнообразно, настолько шире обязанностей и возможностей офицальной его профессии, что, — вне всяких сомнений, — несмотря на весь блеск тридцатилетней чупровской профессуры. Чупров, как личность, *просто* Чупров, всегда заслонял Чупрова-профессора.

Я имел честь и счастье знать А.И. Чупрова с тех пор, как помню самого себя: он мой родной дядя, брат моей матери и мой крестный отец. Вся моя школьная юность прошла под его контролем и влиянием. Я знал его хорошо, но еще лучше узнал впоследствии, когда взрослым, стареющим человеком, стал вспоминать его, — как и каким я его знал. И сейчас, когда он мертвец, сдается мне, что думать о нем и узнавать его предстоит мне еще долго-долго: наше знакомство только в начале! А между тем призраки Чупрова, вызываемые моими воспоминаниями из разных эпох, совсем не разнообразны. Во всем и всегда вижу я Александра Ивановича одним и тем же: восторженным идеалистом, энтузиастом западного прогресса, носителем и апостолом деятельной любви к ближнему, — любви, больше которой никто же имать, потому что неутомимо дышала она в мир человеческий святым заветом — полагал душу свою за други своя. Чупров сжег жизнь свою, как человек-факел, пылавший путеводным маяком для странников, блуждающих в темной житейской ночи. Возвышенный и светлый, сиял он над болотным миром русской обывательщины и без устали нагибался и простирал руки со скалы своей, чтобы поднимать на свой уровень слабых, усталых, оробевших, отчаянных. Есть у Лонгфелло стихотворение — «Excelsior»!..* В этом кличе — весь Александр Иванович Чупров: всегда в высь! из мрака — к свету! из заболоченных отравами житейской пошлости долин — к вершинам, сияющим красотою и правдою немеркнувших исторических идеалов всечеловеческого единства — свободы, равенства, братства!

* «Вперед и выше»!.. (*англ.*)

«Excelsior»... Девиз этот звучал мне из уст Чупрова, когда он был еще румяным и голубоглазым кандидатом прав, а я мальчишкой едва от земли бегал за ним по горкам и лесам калужской глуши. Звучал он мне из тех же уст с кафедры, на которую, при громе аплодисментов, полной настолько, что некуда упасть яблоку, Большой Словесной аудитории, вошел Чупров, уже ординарный профессор, чтобы поздравить нас, первокурсников, с приобщением к alma mater и объяснить нам великое значение университетского периода в жизни русского человека.

Незабвенная лекция! Даже двадцать пять лет спустя я не утратил ее волнующего впечатления. Она описана в моих «Восьмидесятниках», и я позволю себе привести здесь эту цитату, чтобы дать понять, как брал нас Чупров в мягкую, любвеобильную власть свою, за что мы его обожали:

«Вместе с своим и старшим курсом Володя горячо аплодировал любимцу московской молодежи, А.И. Чупрову, когда тот впервые показался пред аудиторией первокурсников и не успел произнести еще ни одного слова. Профессор — талантливый живой человек, из категории «мыслью честных, сердцем чистых либералов-идеалистов» — был тронут и вместо лекции сказал блестящую речь. Восторженно сверкая увлаженными глазами из-под золотых очков, он говорил — трепетным голосом радостно-взволнованного, убежденно проникнутого идеей человека — о светлом значении коротких студенческих годов для всей жизни русского интеллигента, о задачах и обязанностях образованного класса, о культурных результатах эпохи великих реформ, многими из которых Россия всецело обязана людям, воспитавшим свой образ мыслей в лоне московской alma mater.

— Господа! — звенел в ушах Володи и поднимал его, и тянул к себе порывистый, бодрый голос, — мы пережили период необычайного нравственного подъема, выраженный рядом великих преобразований, окруживших святое дело 19 февраля 1861 года, как самую яркую звезду блестящего созвездия. Я верю, я хочу и буду верить, что славный героический период не отбыл бессрочно в прошлое! Живой дух его веет над нами, тропа его не глохнет, — он ждет продолжения и развития своих начал от новых поколений, идущих на смену былым бойцам и деятелям. Старое старится, молодое растет. За юностью будущее. Господа! Стены этих аудиторий полтораста лет оглашаются заветами просвещения — во имя любви к человечеству! Лучшими и благороднейшими заветами нашей души! Господа! Наши аудитории еще помнят Тимофея Николаевича Грановского...

И профессор заговорил о Грановском, Рулье, Кудрявцеве, помянул Соловьева, Никиту Крылова и своего предшественника по кафедре, политикоэконома

Ивана Кондратьевича Бабста. Володя слушал, очарованный, запетый, и очнулся он — от страшного, стихийного грохота, будто в аудитории рухнул потолок. Пятьсот человек хлопали ладонями, стучали ногами, кричали протяжно, громко, весело, бежали к кафедре, лезли через скамьи. От топота и суеты пыль повисла облаком и весело заплясала в солнечных столбах, прорезавших длинный, серо-голубой зал. Чупрова вынесли на руках, — и Володя завидовал студенту, которого ученый невзначай задел каблуком по голове».

Уже старая истина, что наиболее логические русские головы вырабатывались в семинарских бурсах, поднимаясь из мертвечины их, точно пышные цветы, вскормленные могильным прахом. А.И. Чупров принадлежал к тому поколению высокоталантливых семинаристов, которое открыли и выдвинули в жизнь Чернышевский и Добролюбов. Чупров умер 66 лет... Подумать только, что Добролюбову теперь было бы всего лишь 72 года: в русской литературе, журналистике, науке, искусстве живы и действуют еще, по крайней мере, два десятка его приблизительных ровесников!.. А Чернышевский — одногодок со Львом Толстым...

Если мысль Добролюбова и Чернышевского победоносно обаяла все русское общество шестидесятых годов, легко представить себе, с каким восторгом принималась их идейная диктатура в молодом поколении того сословия, из недр которого они оба вышли, — в духовенстве. Это — время студентов-семинаристов и молодых священников-либералов, которым так много была обязана в начинаниях своих земская школа подписчиков «Современника» и «Русского слова», сотрудников барона Корфа, корресподентов «Голоса». Они заучивали наизусть стихи Михайлова и переписывали «Что делать?» Чернышевского с такою же благоговейною точностью, как их монастырские предки выводили золотом и киноварью узоры заставок к житиям Пролога. В начале семидесятых годов на этот совершенно исчезнувший впоследствии тип духовенства обрушились жестокие синодальные гонения. Кн. Мещерский, — в ту пору политический романист, — истребляя доносными памфлетами своими «гидру российского нигилизма», никогда не пропускал случая вывести на

сцену молодого попа, как потатчика, подстрекателя и соучастника всевозможных либеральных злоумышлений.

Кружки передовой молодежи слагались почти при всех семинариях, — был такой кружок и в город Калуге, и из него-то вышел А.И. Чупров. В моем архиве хранятся удивительные следы самообразовательных работ, которыми увлекался он вместе с отцом моим, В.Н. Амфитеатровым, тогда преподавателем словесности в калужской семинарии. Чего только они не читали и, читая, не переписывали или не выписывали конспектами в свои аккуратные серые тетрадки! Бокль, Милль, Маколей, Огюстен Тьерри... Это — библиотека двух «кутейников», накануне посвящения в попы! Самоучками учились по-французски, по-немецки, по-английски. Кажется, была попытка издавать рукописный журнал. Еще недавно я нашел толстую тетрадь шестидесятых годов, мелко исписанную рукою моего отца: оказалось — «Что делать?»! Как первый ученик семинарии, А.И. Чупров предназначался в духовную академию, но — не без семейной борьбы — поступил в московский университет. Кажется, значительную роль, как в этом решении, так и в осуществлении его, сыграл именно мой отец. Сам обреченный надеть рясу не слишком-то по собственному желанию, он употребил все усилия, чтобы спасти от нее, по крайней мере, своего любимого ученика и друга. А.И. Чупров не раз говорил мне, что всею своею литературною закваскою и подготовкою он обязан отцу моему. Молодой преподаватель, идеалист, напитанный в вифанской академии гегелианскою философией умного и даровитого дяди своего, профессора Е.В. Амфитеатрова, понял талант своего будущего зятя, употребил все усилия, чтобы дать ему посильное развитие, и уговорил отца Александра Ивановича, старозаветного мосальского протопопа, не нудить сына к духовному званию и открыть ему дорогу в университет. Отсюда, может быть, началась та странная гармония позитивизма убеждений и научных взглядов с восторженным идеализмом действия, которою определялась общественная и этическая физиономия

А.И. Чупрова на всех дальнейших ступенях его развития. Свое — «Excelsior»! — он замыслил и провозгласил еще на семинарской скамье. И с тех пор, — повторяю, — клич этот звучал, неизменный, в каждой статье, в каждой речи, в каждом общественном или политическом выступлении, в каждой лекции Чупрова, в каждом научном или житейском совете, за каким обращались к нему студенты — всею ли своею громадою, тайно ли и поодиночке, как к отцу, другу, светскому духовнику. И, чем дальше шло время, тем громче и увереннее звучал клич, тем тверже и любовнее сжимал в руках свое светлое знамя старый профессор, уже седобородый и маститый, подстерегаемый болезнями и смертью, но все с тем же чистым пламенем в кротких двадцатилетних глазах, таких лучистых и теплых сквозь золотые очки. Александр Иванович Чупров прожил на свете 66 лет, но ему никогда не было больше двадцати. Красивая чистота быта и ясное жизнерадостное миросозерцание «консервировали» его не только в моральной, но, в некоторых отношениях, даже и в физической юности. Он сохранил взгляд, голос, жест, походку, прямой стан молодого человека. Когда в последний раз я видел его в Мюнхене, он заводил меня по городу до совершенного изнеможения. Я еле дышу, а старик бежит себе да бежит вперед, да еще и попрекает:

— Этакий ты, братец мой, слон, можно сказать, а устаешь! Стыдись, несчастный!

Я не видал в практическом, не книжном примере жизни более последовательной, чем жизнь А.И. Чупрова, более гармонической в слове и в деле. В теории и в практике, на кафедре и в живой прикладной деятельности, в газетной статье и дома, в книге и на улице — он всегда являлся усердною сестрою милосердия, добровольно трудящеюся при общественных недугах. Когда обстоятельства вынудили его переселиться за границу, не только университет, не только бесчисленные общества и комиссии, душою которых он был, — вся Москва почувствовала себя осиротевшею. Ни одно искрен-

но-благотворительное или просветительное начинание за тридцать лет московской жизни не обошлось без непосредственного или косвенного участия Александра Ивановича. И номинально участвовать он не умел, а что называется, впрягался в хомут и вез. Как он успевал всюду быть и все, взваленное себе на шею, приводить в движение и исполнение — прямо непостижимо бывало. На веку своем я знал лишь одного человека, столько же дробно разорванного на части разнообразием дел: В.И. Ковалевского, когда он был товарищем министра. Но В.И. Ковалевский зато и знаменит был своими почти фантастическими всюду опаздываниями. А ведь Чупров еще ухитрялся быть аккуратным, как часовая стрелка. В.И. Ковалевский всегда заставлял себя ждать, а Чупров других ждал.

Смерть снимет завесу молчания с деятельности Александра Ивановича, которую он всегда скрывал настолько тщательно, что уж именно левая рука не знала, что делала правая. Речь идет об его частной благотворительности, материальной и нравственной. Бесчисленны жертвы, которых он своею помощью или ходатайством выручал из тисков нужды, цепей невежества и несправедливых притеснений. В тяжелое, противоречивое, нервно метавшееся время восьмидесятых и девяностых годов на могилах раздавленных революционных порывов и осмеянных конституционных надежд, в обществе сердитом, но не сильном, не очнувшемся от реакционного разгрома, хилом, истерическом, совершенно не готовом к освободительной работе, были необходимы и дороги деятели-успокоители, экономы и сберегатели сил. Чупров играл именно такую роль в среде передовых восьмидесятников. Всегда мягкий, всегда ровный, всегда враг крайностей и эксцентричных выходок, он умел и не боялся являться умиротворителем даже в моменты самых бешеных кризисов, когда казалось — кончено: осталось человеку две дороги — либо преступление и острог, либо больница для умалишенных. Особенно умел он влиять на молодежь. Бывало, иной юноша кри-

ком кричит от зрелища людской неправды, на стену лезет от негодования, измучился, изволновался, взвинтил себя, — хоть самому на нож, лишь бы неправду на нож! — и не остановить его от напрасной преждевременной жертвы ни убеждением, ни грозою. А — глядишь — побеседовал он с Чупровым, выплакал ему всю свою «общественную истерику» и выходит от него, задумчивый, тихий, спокойный, ждущий: с прежнею боевою готовностью на жертву самим собою, но с новою выдержкою характера, — дрессированный на партийное терпение, дисциплину и стойкость. Много матерей молит Бога за Александра Ивановича, потому что много горячих голов спас он своим словом и ходатайством на краю неминучей преждевременной гибели и, направив их своим ласковым, разумным влиянием в русло спокойного и рабочего прогресса, сохранил их целыми и полезными как для самих себя, так и для русского общества. Этот прогрессист-постепеновец, этот Грановский восьмидесятых годов сберег и воспитал много сил, которым было суждено развернуть свою политическую энергию в текущем первом десятилетии XX века. Почти все левые кадеты-москвичи — ученики А.И. Чупрова. Московский конституционализм рождался и воспитывался дружною просветительною работою его самого и блестящего созвездия его товарищей — С.А. Муромцева, М.М. Ковалевского, В.А. Гольцева и др. Янжул тогда еще был либералом, а Зверев — даже чуть не радикал!

Магнитизер-филантроп, окулист Поте излечивал глазные болезни «любовью»: он вглядывался в больного, сосредоточивая всю свою волю на желании — пусть я буду вместо тебя болен, а ты будь здоров! Не знаю, справедлива ли легенда, будто так оно и бывало, т.е. больной выздоравливал, а Поте заболевал. Но роль А.И. Чупрова как утешителя, помощника и духовника страдающей и психопатической восьмидесятной Москвы, очень напоминала систему бедного Поте. Дорого досталась Чупрову эта сторона его деятельности: чтобы успокоить больного, надо понять и его боль, надо, так сказать, принять ее в свое сердце.

И, конечно, — так трагически изменившее Чупрову на старости лет — сердце его заболело, переполненное чужими болями. Успокоив ближнего своего, умиротворитель не властен умиротворить самого себя: спасались други, полагалась душа! Было где развить грудную жабу и нажить смертельную сердечную болезнь! Сейчас, пока я писал последние строки, пред глазами моими живо вырос образ А.И. Чупрова во время одного старого студенческого бунта, когда он выбивался из сил, здесь — убеждая, там — ходатайствуя... снующий между студенчеством и властью, точно буфер между двумя вагонами, принимающими удары справа и слева, — живой кусок железа между молотом и наковальнею!.. Помню его блестящие слезами глаза, нервно трясущиеся руки, помню надорванный голос... Это был редкий для Чупрова случай поражения. Студенты были слишком возбуждены, а начальство слишком рассвирепело, и чарующее влияние умиротворителя оказалось бессильным. Эта сцена тоже есть в «Восьмидесятниках» (во 2-м томе — «Университетская история»).

У московской интеллигенции и, в особенности, у молодежи, за семидесятые — девяностые годы переменилось много любимцев. Были калифы на час, были продолжительные сочувствия, были временами гораздо более яркие, более страстные увлечения, чем Чупровым. Но не было более верных симпатий, не было более постоянной дружественности между человеком и обществом. Чупров никогда не афишировался, — между тем его всегда все знали. Скромность его доходила до дикой стыдливости. Простое газетное упоминание его имени уже смущало его, как реклама. Участник и долгое время в значительной степени руководитель «Русских ведомостей», он систематически избегал щегольства в печати своим именем, не подписывая даже своих экономических статей. И опять-таки всегда все знали и его, и его статьи, и многую-многую скуку прощала публика «Русским ведомостям» за порядочность и искренность чупровского слова, всегда целесообразного, строго взвешенного и крепко обоснованного. Он никогда не был писателем, который пописывает,

чтобы читатель его почитывал. Общество почувствовало в Чупрове безграничную, хотя и не громкую, без крика, любовь к себе — и потому само его любило. Право, не могу представить, чтобы у Чупрова были враги. Даже, когда мне случалось говорить о нем с господами из противного (во всех смыслах) стана

ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,

с господами, искренно намеренными дать нашему отечеству «фельдфебеля в Вольтеры» и, упразднив науки, заняться прикладным применением розги к народному телу, — даже среди этой враждебной публики я не слыхал неуважительных отзывов о Чупрове... Достаточно сказать, что памятью своего старого юношеского товарищества с Чупровым дорожил такой беспардонный и никого кроме себя не уважающий и в грош не ставивший господин, как В.К. фон Плеве! Сумел же человек выдержать себя до шестидесяти шести лет в такой хрустальной чистоте, что и клеветать-то на него было невозможно: осмеют! — никто не поверит!

Да, был человек без врагов, но с друзьями! И, кто дружился с Чупровым однажды, тот дружился уже на всю жизнь. Я знаю случаи, когда отношения Александра Ивановича с друзьями его прерывались невольными разлуками на целые десятилетия, нисколько не теряя от того своей красивой свежести и прочности. Бывало и так, что изменившиеся обстоятельства или лагерная рознь прекращали возможность приятельской близости, надобность встреч, бесед, общения, переписки. Но тайное тепло дружбы не угасало и — чуть являлась возможность — вспыхивало из-под многолетнего пепла живым и радостным пламенем. Под конец жизни А.И. Чупров видел многих товарищей своей молодости отошедшими от знамени, которое когда-то они вместе поднимали и несли в бой. Он негодовал, скорбел, но не умел казнить...

Бог на помощь! бросайся прямо в пламя
И погибай!
Но тех, кто нес твое когда-то знамя,
Не проклинай!
Не выдали они — они устали
Свой крест нести:
Покинул их бог мести и печали
На полпути.

Эти некрасовские стихи с чудесною полнотою передают готовность всепрощения, которою жива была душа Чупрова. Он был из тех, кто одному раскаявшемуся грешнику рад больше, чем десяти праведным.

Если Чупров не умел терять даже разномыслящих приятелей, то легко представить себе, как тесно слагалась и укреплялась годами связь его с теми из друзей, что жили с ним общим образом мыслей, одинаковыми надеждами и идеалами. С особенною нежностью любил он М.М. Ковалевского. А.И. Чупров был очень любящий родственник, но, как мне кажется, отношения идейной дружбы он ставил еще выше и самой смерти не позволял расхолаживать их. Сколько, например, усилий и хлопот положил он, чтобы увековечить память В.И. Орлова и объяснить публике громадное значение скромной и подспудной деятельности этого отца земской статистики. После убийства Иоллоса, смерти П.И. Бларамберга я получал от Александра Ивановича трогательные письма, свидетельствовавшие, что старик потрясен до глубины души и сам начинает готовиться к дороге в долину смерти. А этого не было, даже когда умер любимый брат его, Алексей Иванович.

По своей специальной науке Чупров печатал сравнительно немного, зато все издания его высоко ценятся специалистами и путем многократных переводов вошли в состав европейской экономической литературы. Отличительные достоинства чупровских печатных работ — красноречивая сжатость («чтобы словам было тесно, мыслям просторно»), строго логическое построение и легкость языка. Так точно и с кафедры — его

слова быстро и солидно запоминались, ложась в память ясною оживленною системою. Смерть А.И. невольно заставляет вынуть из библиотеки и повторить кое-что старое, им созданное. Вот — передо мною лежит краткий курс его «Истории политической экономии». Пролистовал я эту тоненькую книжку и изумился, как много я еще из нее знаю и помню... А сколько «прав» и их историй бесследно испарилось из моей головы за долгие годы, отделяющие меня от университетской скамьи. С внутренней стороны — лекции А.И. Чупрова всегда были интересны своею жизненною содержательностью. Он прекрасно помнил и исполнял завет Грановского рассматривать преподаваемый предмет как продукт и орган своего убеждения. Он никогда не заигрывал со своими слушателями громкими фразами, никогда не «популярничал», не льстил скользящим взглядом и минутным настроением молодежи, — таких-то «либеральных профессоров» каждый университет видывал и видит десятками... и сколько из них впоследствии делалось Зверевыми и делается Гурляндами!.. Нет, Чупров, поэт в душе и энтузиаст в слове, просто делал из политической экономии предмет настолько живой и наглядно прикладной, что слушатель и сам не замечал, как глаза его прозревали на современность, и он начинал понимать логику ее, которая вытекала из прошлого и из которой, в свою очередь, вытечет логика нашего будущего прогресса. С чупровским политическим и экономическим идеализмом всегда можно было спорить и не соглашаться, а теперь и подавно это — старая песня. Давно уже ценности переоценены, давно уже —

Иные люди в мир пришли,
Иные взгляды и понятья
С собою людям принесли!

Между Чупровым и обществом уже легла широкая разделяющая полоса марксизма, с его последующими разветвле-

ниями. Чупров был продукт и герой интеллигенции и интеллигенцию же творил и размножал. Пролетарское мировоззрение же и движение прошли мимо него. Но, как бы ни менялись течения и ни свершались времена, нельзя не отдать Чупрову исторической справедливости в том отношении, что он последовательно и неугомонно толкал мысль своих слушателей вперед, к прикладным усилиям социального прогресса, прививал им не мертвую науку для науки, но практическую, строго целесообразную программу жизни и деятельности на пользу цивилизации — родины и человечества.

В то время, как я пишу это, железнодорожный поезд мчит тело А.И. Чупрова в свинцовом гробу из Мюнхена в родную, любимую им Москву. Там — на Ваганьковом кладбище, где погребены его братья и сестры, ляжет он в землю и приложится роду своему. Вероятно, на могильном холме его вырастет памятник, и на памятнике заблестит надпись... Какая?

Обыкновенно в таких случаях стараются найти характерный для покойного стих из писания. Если бы мне было поручено выбрать текст подходящий к А.И. Чупрову, я остановился бы на предсмертных словах апост. Павла:

«Подвигом добрым подвизался, течение свершил, веру сохранил».

В этих семи словах — полная картина великого идеалистического постоянства, сложившего почти беспримерную цельность любвеобильной жизни Чупрова. Человек без частной жизни, весь он был — добрый общественный подвиг, не изменяемый течением свершающихся лет, непоколебимо крепкий верою в «человечества сон золотой». Чупров любил человека, верил в человека и надеялся на человека. И, кроме человека, ему не надо было святынь. Праведник земли, он землею и для земли жил — и землею взят теперь... Requiescat in pace! *

---

* Да почиет в мире! (*лат.*)

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ОСТРОУМОВ

Летом 1908 г. тихо и почти незаметно исчез из жизни человек, по профессии врач, пользовавшийся долгою и громкою всероссийскою известностью, а вернее будет сказать — даже знаменитостью. Человека этого с самой ранней молодости звали и почитали прямым преемником Боткина и Захарьина. Уже к тридцати годам он слыл в Москве под шутливою кличкою «Пантелеймона-целителя», а к сорока годам гремел от хладных финских скал до пламенной Колхиды как самый дорогой врач земли русской, к которому и подступа нет, и — уж если Остроумов не поможет, так никто не поможет! Но весьма скоро этот великий знахарь и чудотворец, — наживший себе в короткий срок состояние большое, однако не огромное, — вдруг как будто устал или разочаровался в своей науке. Начал понемногу уклоняться от практики, потом совсем ее забросил, поселился в глухом уголке Черноморского побережья и, — мрачный, точно могучий зверь какой-то, ушедший в свою берлогу, чтобы умереть — себе спокойно и людям не видно, — выползал на зовы человеческие лишь в самых экстренных и необходимых, почти уже исторических, так сказать, обстоятельствах. Появление Остроумова у кровати того или иного знаменитого больного стало для газетчиков символом, что — назавтра, значит, надо готовить некролог. Его всегда звали слишком поздно. Он приходил уже как бы ангелом смерти: проверить всю самозащиту больного организма против смерти, укорить ошибки, ускорившие угасание жизни, облегчить возбуждающим обманом минуты последних страданий и сказать родным и консультантам: «Jam moritur!»* Это роковое соседство с гробовщиком преждевременно состарило его мощную богатырскую на вид натуру, разбило крепкие бурсацкие нервы, вымрачнило веселый, жизнерадостный характер. Чем славнее

* «Уже обречен на смерть!» (*лат.*).

становилось его имя, тем более ненавидел он практику, тем больше презирал толпу, суеверно стучащуюся в двери врача, с тайной надеждою найти знахаря, тем обиднее сомневался в силах и необходимости своих таинств.

Я не знал А.А. Остроумова в старости и потому вышенапечатанную характеристику внутренней трагедии, жившей в нем, оставляю на ответственности лиц, о том мне повествовавших. Но она нисколько не противоречит тем воспоминаниям, которые сохранил я об Остроумове конца семидесятых и первой половины восьмидесятых годов, в самый пышный расцвет молодой его славы. А тогда я видал его много и часто, так как он был ближайшим другом Александра Ивановича Чупрова, также скончавшегося в этом году, моего родного дяди по матери. В чупровском кружке, среди которого прошли мое отрочество и университетская юность, А.А. Остроумов был свой, родной человек. Настолько, что, например, даже двадцатилетнему и позже он продолжал говорить мне «ты» и «Саша», как в ранние детские годы. И в нашей семье, и у Чупровых Остроумов был авторитетом полубожественным. Случаев наблюдать его и как человека, и как врача было множество. В своих статьях об А.И. Чупрове я указывал, что бедствием и страхом жизни его был наследственный туберкулез, пощадивший его самого, но убивший большинство его сестер и братьев. В сказанный период чахотка косила чупровскую семью беспощадно: последовательно умерли молодыми Владимир, Иван, мать моя Елизавета Ивановна, заболели: Алексей Иванович и Марья Ивановна. Все они были пациентами Остроумова и его любимого ассистента, ныне популярного профессора В.Д. Шервинского. Поэтому и живых рассказов об Остроумове, и посещений Остроумова мы имели немало. Я лично восторженно благоговел пред ним, обязанный к тому, помимо уже всех отвлеченных симпатий, прямою и живою благодарностью: в 1879 году он вылечил меня от дифтерита, а через год от острого катара кишок. Кажется, это был первый случай в Рос-

сии, и наверное знаю, что первый в Москве, когда к лечению дифтерита был применен бензойный натр. Очень хорошо помню: когда я уже выздоравливал, Остроумов рассказывал, что он сделал о моем лечении доклад в медицинском обществе, как о замечательно счастливом опыте исцеления тяжелой формы дифтерита посредством бензойного натра.

— Как, Алексей Александрович? — заметила ему смущенная мать моя. — Это, значит, вы над Сашею новое средство пробовали? Опыт производили?

Остроумов засмеялся:

— Надо же с кого-нибудь начать... Вы не сердитесь, а благодарите Бога, кабы не этот опыт, Сашка на столе лежал бы, а теперь, недели через полторы, опять за юбками бегать будет!

Язык у Алексея Александровича был семинарский, жаргонный, добродушно-веселый, тяжеловесно-острый, бодрящий, поднимающий. Дифтерит свой я запустил, потому что вначале принял его за одну из бесчисленных ангин, которым был подвержен в молодости, и настолько мало придавал значения болезни своей, что лишь на третий или четвертый день показался врачу, некоему Трахтенбергу. Тот аж завизжал, когда увидал горло мое, столь оно было ужасно. Мать немедленно помчалась в Екатерининскую больницу за Остроумовым. Он сейчас же приехал ко мне, едва кончил лекцию.

— Что, чадушко? Допрыгался? Ну, разевай рот?

Смотрит и — «на челе его высоком не отразилось ничего». Мать стоит, ждет приговора, ни жива ни мертва. У меня сердце — будто упало куда-то глубоко, в желудок, что ли. Строю кривую улыбку, вопрошаю:

— Дифтерит?

Отвечает:

— Да, поцарапано!..

И хохочет:

— Что, черт? Околевать-то, видно, не хочется? Небось! Здоров, буйвол, сразу не помрешь!

И — сейчас же к матери:

— Вы, Елизавета Ивановна, голубушка, за птенца своего трехаршинного не тревожьтесь. Конечно, дифтерит — не шутка, но мы теперь его, как насморк, лечим. Конечно, Сашка пасть свою запустил, но плюньте вы в глаза тому врачу, который, в условиях городской буржуазной обстановки, не умеет дифтерита вылечить и больному умереть допускает.

Мать ожила, расцвела, а Остроумов уехал, посоветовав мне на прощанье:

— Читай, брат, Базарова — против смертных мыслей хорошо помогает. И не бойся. Хуже смерти ничего не будет — только лопух из тебя вырастет! Ха-ха-ха! Наплевать!

Нахохотал, нагрохотал, наострил, развеселил меня, мать, отца, поднял настроение в доме и — исчез. И так, затем, каждый день. А впоследствии признавался, что случай мой был отчаянный (по тогдашним медицинским средствам: сыворотки-то и прививок ведь еще не было!), и он почти не имел надежды поставить меня на ноги... Есть у меня старый очерк «Как умирают москвичи», который когда-то очень нравился Антону Чехову. Он написан, хотя и в тонах шаржа, но почти фотографически с нескольких известных врачей восьмидесятной Москвы, в том числе веселый профессор Доброзраков — с Остроумова.

Ваня Чупров был юноша серьезный, почти суровый, на редкость вдумчивого отношения к себе, характера крепкого, ума пытливого. Медик по образованию, уже на четвертом курсе, он болел сознательно, умирал гневно, но бесстрашно. Трудно врачу с таким больным, который сам себя наизусть знает и, кроме строгой правды, ничего не требует, а между тем правда-то, как Лука говорит, обух для него. Стало быть, надо было и правду сказать, и надеждою ее обезвредить. И вот Остроумов набрасывается на Ваню с самой слабой стороны его характера — в его научном самолюбии: как же, мол, вы, образцовый студент, занимающийся, талантливый медик, уже работавший в клиниках, прозевали в самом себе воспаление легких? Ведь это же — черт знает что!

Это — невежество! — и пошел, и пошел. Ваня растерявшийся, сконфуженный, объясняет, что он подозревал, но сомневался.

— А по каким таким данным вы изволили сомневаться?

Ваня излагал свои наблюдения. Остроумов как бы поддается:

— Да?.. В самом деле?.. Вот как?.. Гм... да, не может быть?.. странно!..

И вот — безнадежно чахоточный медик, вполне уверенный, что он уже живой покойник, ушел от Остроумова с воскресшею мечтою о жизни: все данные за туберкулез, но, может быть, и в самом деле, какой-то другой процесс? Вон ведь, в конце-то концов, и сам Остроумов усомнился! А Остроумов при первой же встрече с Александром Ивановичем Чупровым объясняет ему:

— Нагнал я Ваньке холода... Теперь небось будет следить за собою, минутки не упустит!..

И, действительно, остальная недолгая жизнь Вани превратилась всецело в клиническое наблюдение им своей болезни: в одном теле жили как бы два человека — больной, цепко схватившийся за жизнь, и внимательнейший врач-оптимист. Спасти Ваню было невозможно, но Остроумов выиграл для него несколько месяцев жизни — притом сознательной, деятельной, с борьбою, без обычного самоубийственного отчаяния. На еженедельные визиты свои к Остроумову Ваня являлся с подробными и аккуратными, истинно ординаторскими отчетами о болезни своей, и Остроумов серьезно и внимательно слушал, спорил, поправлял... Так — шахматный игрок наблюдает партию слабого ученика, хотя и знает уже, что игра его давным-давно и безнадежно проиграна, — мат через столько-то ходов!

Однажды я провожал Ваню к Остроумову. Было ему очень уж нехорошо: лихорадка с высокими температурами быстро пожирала его. Ехал он Москвою мрачнее тучи. Выходит от Остроумова веселый, смеется. Улыбка, вообще, была не частым гостем на его серьезном лице, а уж в особенности теперь, в тяжком градусе скоротечной чахотки.

— Что он тебе сказал?

— Черт его возьми, рассмешил! Я ему говорю, что температура не хочет падать, лихорадка никаким средствам не поддается. Он задумался — знаешь его манеру этак, быком, уставиться — долго думал. Потом кладет палец в нос и говорит:

— Ну, Ваня! Либо перст пополам, либо ноздря надвое! Попробуем еще одно средствице — последнее!..

Рассмешить умирающего на *последнем* средствице, право, кажется, один Остроумов был способен.

Он покорял больных интимностью, фамильярным сближением с пациентом, редкою способностью сразу делаться другом и родным. Говорят, впоследствии он стал держаться богом, вроде Захарьина. Такого Остроумова я уже не знал. Мой Остроумов был еще добрый малый, сорокалетний бурш семинарского пошиба и обличья, похожий на кафедрального протопопа, переодетого в сюртук.

Умирала мать моя. Лечил ее В.Д. Шервинский. Остроумов наезжал изредка — так лишь, для поддержания духа больной, которую он давно объявил совершенно безнадежною. Однажды он пообещал приехать во вторник — и обманул, не приехал. Больная рассердилась и раздражилась страшно. На Шервинского не хочет и смотреть, лекарств не принимает, плачет, как капризный ребенок, требует Остроумова, а где же его взять? Назавтра гнев ее улегся и неприязненное чувство сосредоточилось уже только на Остроумове, который, действительно, один и был виноват. Лежит и твердит:

— Стал велик, стал богат, забывает старых друзей... Я же ему напомню, когда он явится!

Является в пятницу — как ни в чем не бывало. Мы, дети, с большим и неприятным интересом ждем, как-то разыграется встреча виноватого врача с раздраженною больною.

Слышим:

— Здравствуйте, Алексей Александрович! А у нас самовар уже три дня кипит, вас поджидая.

— Вот и прекрасно, Елизавета Ивановна. Стало быть, мы с вами теперь, первым делом, чайку напьемся, — за чайком и поговорим.

Тем гроза и разошлась сразу. Пять минут спустя опять были друзьями и приятельски разговаривали обо всем, кроме болезни. А от болезни отделались коротким обменом успокоительных вопросов и жаждущих улучшения жизнелюбивых показаний — и каким-то сложным, но бесполезным рецептом. Остроумов оставил больную веселою, счастливою. Но в прихожей, надевая шубу, обратился к нам с лицом угрюмым, строгим:

— Больше вы за мною не посылайте. Бесполезно. Она умрет на этой неделе. Ей теперь, собственно говоря, уже не врач, а только сиделка нужна, чтобы наблюдала. Что мы можем? Совершенно бессильны.

— Алексей Александрович, да ведь она в вас, как в Бога, верит!

— Потому-то, знаете, и тяжело уж очень в глаза ей смотреть!

Тут вот впервые видел и понял я, что Остроумов совсем не такой веселый человек, каким он кажется, что практика не дешево ему дается, что много мрачных, горьких осадков накопила в себе его глубокая душа, и ум его печален и отравлен постоянными впечатлениями смерти, и жизнь его безрадостна в скептическом размене на помощь чужим слабеющим жизням.

Со смертью матери хорошие и близкие отношения между нашим домом и А.А. Остроумовым оборвались. Когда в доме покойник, врачи, пользовавшие умершего, всегда попадают в немилость родных. Отец мой, — и он в текущем году тоже лег в могилу! — охладел и к В.Д. Шервинскому, и в особенности к Остроумову. С последним он даже и встречаться больше не хотел и, едва ли не потому, почти что перестал бывать у Чупровых. Этому несправедливому, но понятному озлоблению содействовало маленькое столкновение между отцом и Остроумовым при последнем свидании. Отец настаивал, что-

бы Остроумов непременно взял с него деньги за лечение матери, и серьезно обиделся, что Остроумов не берет. А Остроумов серьезно обиделся, что ему предлагают деньги в семье, где он лечил не заработка, но дружбы ради. Оба разгорячились, в обоих заговорило наследственное сословное упрямство, вскипала семинарская страстность, и напели они друг другу немало неприятностей. Между прочим, Остроумов хватил фразу, которой, сгоряча, вероятно, и сам не заметил:

— Уже если вам, Валентин Николаевич, непременно хочется истратить эти деньги, так устройте на них у себя в квартире теплый ватер-клозет, а то у вас вместо сего учреждения, простудное гнездо!

Этого совета и попрека отец Остроумову в жизнь свою не простил. Но я потом, видясь с Остроумовым, в университете ли, в обществе ли, всегда встречал со стороны его самое милое, теплое, участливое отношение. И не только ко мне, но и ко всей семье нашей. Даже много лет спустя, уже не весьма молодым журналистом, едучи из Петербурга в Москву, я — на перегоне Москва — Химки — вдруг услышал от вошедшего в вагон старика хриплый, басовый оклик:

— Саша! Да никак это ты?!

— Остроумов!..

И добрые двадцать минут, отделявшие нас от Москвы, он расспрашивал меня об отце, о сестрах, о старых общих знакомых, которых я сам давно потерял уже из вида, обнаруживая поразительную память и самый живой ко всем интерес. В эту встречу он показался мне очень старым и угрюмым. Глаза потухли и обложились отечными мешками. Лоб облысел. Он жаловался на ужасные головные боли.

— Света не вижу! Мучительство, а не жизнь!..

В мое университетское время А.А. Остроумов был очень любим студенчеством. На знаменитых, угасших ныне праздниках 12 января в Татьянин день ему всегда устраивали овации, наряду с Чупровым, Ковалевским, качали его, заставляли его

говорить речи, чего он терпеть не мог. Чтобы вознести Остроумова на стол, мы всегда выдерживали целую борьбу, ибо он упирался, хватаясь за что ни попадя, ругаясь и проклиная, даже рассыпая тузы и пинки. Очутившись на столе, красный, растрепанный, обозленный, с оборванною фалдою, он минуты две искреннейшим образом «лаялся» с хохочущею толпою насильников своих, а, поуспокоившись, говорил очень хорошо — грубовато, но образно, ярко, с резкими, солеными остротами — настоящим оратором-демократом из семинарской школы шестидесятых годов... Впоследствии симпатии студенчества к Остроумову, кажется, поблекли. Профессор в России так поставлен, что не токмо физиологом быть, но даже о корнях санскритских читать мудрено ему без политической физиономии. Думаю, что Остроумов совершенно не годился в политические фигуры и, стараясь, сам не заметил, как в этом отношении из авангарда попал в арьергард. Но в университетских историях нашего времени он вел себя либералом истинно передовым и боевым, очень мужественно и стойко. Своим напористым юмором и прямолинейным отрицанием бюрократических компромиссов он придавал в профессорском совете немалую силу оппозиции, отстаивавшей староуставные корпоративные права. Университет, науку, положительное знание он ставил необычайно высоко — возносил как бы на некий Синай жизни. Припоминаю одну прогулку в подмосковном Богородском. Остроумов, Александр и Алексей Ивановичи Чупровы, и я, студент третьего курса. Остроумов в духе.

— Давайте, братцы, петь хором!

И затягивает громовым, трескучим басом:

Илья Пророк пред громом
Пьет завсегда чай с ромом...

Сорокалетнего юношу Александра Ивановича Чупрова, конечно, сахаром не корми, только дай вспомнить и совер-

шить что-нибудь молодое, бурщеское. И вот идут мои ординарные профессора просекою, тычут перед собою палками в воздух и вопят истошными голосами:

Аристотель оный,
Древний философ,
Продал панталоны
За настойки штоф!
Цезарь, сын отваги,
И Помпей-герой
Продавали шпаги
Тою же ценой!

— Саша! спой: «На земле весь род людской!»

Я извиняюсь, что уже поздний вечер, сыро, боюсь простудить горло, на голосе скверно отзовется.

— Велика важность! Что ты? в опере, что ли, собираешься петь?

— Именно, Алексей Александрович.

Его так и тряхнуло.

— Как? Ты думаешь идти на сцену?

— Непременно, Алексей Александрович.

— Это из университета-то? Это племянник-то Чупрова? В актеры? В дармоеды? Да — какое же ты право имел в университете место занимать? Затеял глупости, так хоть место-то уступи, другому света не засти!

В жизнь свою не получал я подобной взбучки! Так что уж Александр Иванович сжалился и заступился, напоминая Остроумову одного из его слушателей, успешно променявшего медицину на оперную сцену.

Не тут-то было! Огрызнулся:

— Так ведь тот был болван, осиновая голова, туда ему и дорога! А у Сашки в голове мозги есть. Ах, Сашка! Сашка! Не ожидал я от тебя! Право, не ожидал!

Самородный талант с головы до ног, Остроумов ненавидел кропотливых Вагнеров в науке и бездарностей, ползущих в ка-

рьеру, держась за хвостик тетеньки. Хотя надо признаться: по добродушию, скрытому под его грубостями, Остроумов и сам протащил не мало таких господ из грязи в князи. Помню один диспут докторский, на коем Остроумов вдруг до того обозлился, что даже заговорил с докторантом на «ты»:

— Эх, такой-то! Носил ты, носил ко мне свою диссертацию, поправлял я тебе ее, поправлял, а все равно ты ничего не понял и ничего у тебя не вышло!..

Ему делают знаки, шипят:

— Алексей Александрович! что вы? как можно? Алексей Александрович!

Опомнился, нахмурился, покраснел. Спрашивает отрывисто:

— Опыты вы делали?

Растерявшийся докторант лепечет:

— Да-с, делал.

— Какие?

— Ма... ма... маленькие!

— Оно и видно, что маленькие!

В зале, конечно, буря хохота. Любопытно, что докторанта все-таки удостоили степени, — вероятно, в вознаграждение за претерпенное бесчестие. В настоящее время это очень известный врач, но легенда о «маленьких опытах» так и припечаталась к имени его, с нею он и в могилу ляжет.

Припоминая разговоры Остроумова, я неизменно вижу мрачную, скептическую мысль, угрюмо глядевшую в прорези веселой его маски.

— Меня считают хорошим диагностом, — говорил он однажды отцу моему. — А знаете, почему я хороший диагност? Потому, что хорошо учился логике. Да! Законом исключения третьего вертеть умею и в силлогизмах собаку съел. Большинство моих коллег зарылось в сугробах специального знания до того, что с головою в них провалилось. Есть много врачей, знающих больше меня, но они

не логики. А я логик. Большим диагностом без логики быть нельзя. Диагноз — торжество силлогизма и закона исключения третьего.

Я большой скептик по части медицины. Думаю, что скептицизм этот развился во мне, главным образом, под юным впечатлением великого врача, который сам сомневался в своем искусстве, а, может быть, и в своей науке. Помню — тоже в Богородском, тоже в лесу на прогулке — Остроумов говорил Александру Ивановичу Чупрову по поводу брата его, Алексея Ивановича:

— А кто его знает, что ему полезно? Пробовать будем... Выпадет счастливая проба, — десять лет протянет, выпадает несчастная, — окочурится... Вон прежде мы всех туберкулезных, без разбора, в Крым посылали. А теперь я убедился, что для тех, которые лихорадят, Крым — яд. Вот и подумай: прежде, чем убедиться-то, для скольких мы этими крымскими посылами, думая помочь, жизнь сократили?

— Значит... и моя мать? — невольно вырвалось у меня, потому что она именно в Крыму окончательно захирела.

Остроумов взглянул на меня спокойными, полными большой мысли глазами, как теперь говорят, «сверхчеловека», и произнес угрюмо и твердо:

— Да, и твоя мать.

Со времени этого разговора Остроумов всегда представляется мне как бы Фаустом, которого толпа на празднике народном благодарит за помощь во время чумы, а он, в глубине души своей, терзается чуткою совестью и мнит себя не спасителем, но губителем народа.

Hier war die Arzenei – die Patienten starben,
Und niemand fragte, — wer genas?
So haben wir, mit höllischer Latwergen
In disen Thälern, diesen Bergen,
Weit schlimmer als die Pest getobt.
Ich habe selbst den Gift an Tausende gegeben;

Sie werkten him, ich muss erleben,
Dass man die frechen Mцrder lobt *.

Когда вышла в свет знаменитая книга Вересаева «Записки врача», дорого дал бы я за возможность поговорить о ней с Остроумовым!..

— Проклятая практика! — вырвалось у него однажды. — Если бы я мог вернуть свою молодость, я заперся бы в лабораторию. Я рожден для кафедры и кабинета. И только там счастлив.

Практические разочарования Фауста в приобретенном им знании бросили почтенного доктора в когти Мефистофеля. В наш век черти больше не покупают душ ни у докторов, ни у простых смертных. Но жестокий червяк самосомнения работает еще острее, чем прежде. И, чем честнее натура, чем богаче одарена она, тем разрушительнее его ядовитая работа. Не радостно человеку, глубоко, тонко и совершенно изучившему процесс смерти, сознавать свое коренное бессилие в борьбе с нею, видеть, что ценою всей науки своей он приобрел лишь одно печальное право: предупредить ближнего своего, что ты, мол, умираешь! — раньше и с большею уверенностью, чем то могут сделать другие... Практика отравила и съела Остроумова. Такому богатырю жить бы, да жить лет до 80, а он умер, вряд ли дожив и до 60, с совершенно разрушенным здоровьем. В лице его Россия потеряла, несомненно, большого человека: яркий талант, сильный, честный, редкостно стройный ум, крепкую и полезную волю.

* Здесь было лекарство — пациенты умерли.
И никто не спросил: кто выздоровел?
Так, в этих долинах, этих горах
Мы неистовствовали с адским зельем
Почище чумы —
Я сам давал ад тысячам;
Они увяли, я должен был выжить,
Что нравится наглым убийцам (*нем.)*



ПАМФЛЕТЫ

ГОСПОДА ОБМАНОВЫ

(Провинциальные впечатления)

Когда Алексей Алексеевич Обманов, честь честью отпетый и помянутый, упокоился в фамильной часовенке, при родовой своей церкви, в селе Большие Головотяпы, Обмановка тож, впечатления и толки в уезде были пестры и бесконечны. Обесхозяилось самое крупное имение в губернии, остался без предводителя дворянства огромный уезд.

На похоронах рыдали:

— Этакого благодетеля нам уже не нажить.

И в то же время все без исключения чувствовали:

— Фу, пожалуй, теперь и полегче станет.

Но чувствовали очень про себя, не решаясь и конфузясь высказать свои мысли вслух. Ибо хотя Алексея Алексеевича втайне почти все не любили, но и почти все конфузились, что его не любят, и удивлялись, что не любят.

— Прекраснейший человек, а вот поди же ты... не лежит сердце!

— Какой хозяин!

— Образцовый семьянин!

— Чады и домочадцы воспитал в страхе Божием!

— Дворянство наше только при нем и свет увидало! Высоко знамя держал-с!

— Да-с, не то что у других, которые!.. Повсюду теперь язвы-то эти пошли: купец-каналья, да мужикофилы, да оскудение... А у нас — без язвов-с.

— Как у Христа за пазухою.

Словом, казалось бы, все причины для общественного восторга соединились в лице покойника и все ему от всего сердца отдавали справедливость — и, однако, когда могильная земля забарабанила о крышку его гроба, на многих лицах явилось странное выражение, которое можно было толковать двусмысленно — и как:

— На кого мы, горемычные, остались?

И:

— Не встанет. Отлегло.

Двусмысленного выражения не остались чуждыми даже лица ближайших семейных покойного. Даже супруга его, облагодетельствованная им, ибо взятая за красоту из гувернанток, Марина Филипповна, когда перестала валяться по кладбищу во вдовьих обмороках и заливаться слезами, положила последние кресты и последний поклон пред могилою с тем же загадочным взором:

— Кончено. Теперь совсем другое пойдет.

Сын Алексея Алексеевича, новый и единственный владелец и вотчинник Больших Головотяпов, Никандр Алексеевич Обманов, в просторечии Ника-Милуша, был смущен более всех. Это был маленький, миловидный, застенчивый молодой человек, с робкими, красивыми движениями, с глазами то ясно-доверчивыми, то грустно-обиженными, как у серны в зверинце. Пред отцом он благоговел и во всю жизнь свою ни разу не сказал ему: «Нет».

Попросился он, кончая военную гимназию, в университет — родитель посмотрел на него холодными, тяжелыми глазами навыкате:

— Зачем? Крамол набираться?

Никандр Алексеевич сказал:

— Как вам угодно будет, папенька.

И так как папеньке было угодно пустить его по военной службе, то не только безропотно, но даже как бы с удовольствием проходил несколько лет в офицерских погонах. В полку им нахвалиться не могли, в обществе прозвали Никою-Милушею и прославили образцом порядочности, все сулило ему блестящую карьеру. Но как скоро Алексей Алексеевич стал стареть и прихварывать, он приказал сыну выйти в отставку и ехать в деревню. Сын отвечал:

— Как вам угодно будет, папенька.

И только Марина Филипповна осмелилась было заикнуться пред своим непреклонным повелителем:

— Но ведь он может быть в тридцать пять лет генерал!

На что и получила суровый ответ:

— Прежде всего, матушка, он дворянин и должен быть дворянином. А дворянское первое дело — на земле сидеть-с. Да-с! Хозяином быть-с! И, когда я помру, желаю, чтобы сию священную традицию мог он принять от меня со знанием и с честью.

И сидел Ника-Милуша в Больших Головотяпах, Обмановке тож, безвыходно, безвыездно, к хозяйству не приучился, ибо теории-то дворянско-земельные старик хорошо развивал, а на практике ревнив был и ни к чему сына не допускал:

— Где тебе! Молод еще! Приглядывайся; коли есть голова на плечах, когда-нибудь и хозяин будешь.

— Слушаю, папенька. Как вам угодно, папенька.

За огромным деревенским досугом, совершенно бездельным, ничем решительно не развлеченным и неутешенным, Ника непременно впал бы в пьянство и разврат, если бы не природная опрятность натуры и опять-таки не страх родительского возмездия. Ибо каких-каких обвинений ни взводили на Алексея Алексеевича враги его, а тут пасовали:

— Воздержания учителю-с!

— Распутных не терплю! — рычал он, стуча по письменному столу кулачищем. И, внемля стуку и рыку, все горнич-

ные в доме спешили побросать в огонь безграмотные цидулки, получаемые от «очей моих света, милаво предмета», так как достаточно было барину найти такую записку в сундуке одной из домочадиц, чтобы мирная обмановская усадьба мгновенно превратилась в юдоль плача и стенаний и преступница, с изрядно нахлестанными щеками и с дурным расчетом, очутилась со всем своим скарбом за воротами:

— Ступай, жалуйся!

И все трепетали, и никто не жаловался.

Целомудрие Алексея Алексеевича было тем поразительнее и из ряду вон, что до него отнюдь не могло считаться в числе фамильных обмановских добродетелей. Наоборот. Уезд и по сейчас еще вспоминает, как во времена оны налетел в Большие Головотяпы дедушка Алексея Алексеевича, Никандр Памфилович, бравый майор в отставке, с громовым голосом, с страшными усищами и глазами навыкате, с зубодробительным кулаком, высланный из Петербурга за похищение из театрального училища юной кордебалетной феи. Первым делом этого достойного деятеля было так основательно усовершенствовать человеческую породу в своих, тогда еще крепостных, владениях, что и до сих пор еще в Обмановке не редкость встретить бравых пучеглазых стариков, с усами, как лес дремучий, и насмешливая кличка народная всех их зовет «майорами». Помнят и наследника майорова, красавца Алексея Никандровича. Этот был совсем не в родителя: танцовщиц не похищал, крепостных пород не усовершенствовал, а, явившись в Большие Головотяпы как раз в эпоху эмансипации, оказался одним из самых деятельных и либеральных мировых посредников. Имел грустные голубые глаза, говорил мужикам «вы» и развивал уездных львиц, читая им вслух «Что делать?». Считался красным и даже чуть ли не корреспондентом в «Колокол». Но при всех своих цивильных добродетелях обладал непостижимою слабостью — вовлекать в амуры соседских девиц, предобродушно — и, кажет-

ся, всегда от искреннего сердца — обещая каждой из них непременно на ней жениться. Умер двоеженцем — и не под судом только потому, что умер.

И вот, после таких предков — вдруг Алексей Алексеевич! Алексей Алексеевич, о котором вдова его, Марина Филипповна — по природе весьма ревнивая, но в течение всего супружества ни однажды не имевшая повода к ревности — до сих пор слезно причитает:

— Бонне глазом не моргнул! Горничной девки не ущипнул! Картины голые, которые от покойника-папеньки в дому остались, поснимать велел и на чердак вынести.

Так выжил Алексей Алексеевич в добродетели сам и сына в добродетели выдержал.

Единственным органом печати, проникавшим в Обмановку, был «Гражданин» кн. Мещерского. Хотя в юности своей и воспитанник катковского лицея, Алексей Алексеевич даже «Московских ведомостей» не признавал:

— Я дворянин-с и дворянского чтения хочу, а от них приказным пахнет-с.

— Но ведь Катков... — пробовали возразить ему другие, столь же охранительные «красные околыши».

— Катков умер-с.

— Но преемники...

— Какие же преемники-с? Не вижу-с. Земская ярыжка-с. А я дворянин.

И упорно держался «Гражданина». И весь дом читал «Гражданина». Читал и Ника-Милуша, хотя злые языки говорили, и говорили правду, будто подговоренный мужичок с ближайшей железнодорожной станции носит ему потихоньку и «Русские ведомости». И будто сидит, бывало, Ника, якобы «Гражданина» изучая, ан под «Гражданином»-то у него — «Русские ведомости». Нет папаши в комнате — он в «Русские ведомости» вопьется. Вошел папаша в комнату — он сейчас страничку перевернул и пошел наставляться от кн. Мещерского, как

надлежит драть кухаркина сына в три темпа. И получилось из такой Никиной двойной читательной бухгалтерии два невольные самообмана.

«Твердый дворянин из Ники будет!» — думал отец.

На станции же о нем говорили:

— А сынок-то не в папашу вышел. Свободомыслящий! Это ничего, что он тихоня. Не смотрите! Вот достанутся ему Большие Головотяпы — он себя покажет: от всех этих дворянских папашиных затей-рацей только щепочки полетят.

И отец, и станция равно глубоко ошибались. Из всего, что было для Ники темно и загадочно в жизни, всего темнее и загадочнее оставался вопрос:

— Что, собственно, я, Никандр Обманов, за человек, каковы суть мои намерения и убеждения?

От привычки урывками читать «Гражданина» не иначе как вперемежку с потаенными «Русскими ведомостями» в голове его образовалась совершенно фантастическая сумятица. Он совершенно потерял границу между дворянским охранительством и доктринерским либерализмом и с полною наивностью повторял иногда свирепые предики кн. Мещерского, воображая, будто цитирует защиту земских учреждений в «Русских ведомостях», либо, наоборот, пробежав из-под листа «Гражданина» передовицу московской газеты, говорил какому-нибудь соседу:

— А здорово пишет в защиту всеобщего обучения грамоте князь Мещерский.

Смерть Алексея Алексеевича очень огорчила Нику. Он искренно любил отца, хотя еще искреннее боялся. И теперь, стоя над засыпанною могилою, с угрызением совести сознавал, что в этот торжественный и многозначительный миг, когда отходит в землю со старым барином старое поколение, чувства его весьма двоятся и в уши его, как богатырю скандинавскому Фритьофу, поют две птицы, белая и черная.

— Жаль папеньку! — звучал один голос.

— Зато теперь вольный казак! — возражал другой.

— Кто-то нас теперь управит?

— Можешь открыто на «Русские ведомости» подписаться, а «Гражданина» хоть ко всем чертям послать.

— Все мы им только и жили.

— Теперь mademoiselle Жюли можно и колье подарить...

— Что с Обмановкою станется?

— Словно Обмановкою одною свет сошелся. Нет, брат, теперь ты в какие заграницы захотел, в такие и свистнул.

— Сирота ты, сирота горемычная!

— Сам себе господин!

Так бес и ангел боролись за направление чувств и мыслей нового собственника села Большие Головотяпы, Обмановки тож, и. так как брал верх то один, то другой, полного же преферанса над соперником ни один не мог возыметь, то физиономия Ники несколько напоминала ту карикатурную рожицу, на которую справа взглянуть — она смеется, слева — плачет. Но что в конце концов слезный ангел Ники должен будет ретироваться и оставить поле сражения за веселым бесенком, в этом сомневаться было уже затруднительно.

ПОБЕДОНОСЦЕВ КАК ЧЕЛОВЕК И КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Победоносцев.

Написать эти тринадцать букв, сливающихся в сочетание, столь роковое и несчастное для русского народа, очень легко... Но — дальше-то что же?

Когда я взялся сделать характеристику г. Победоносцева в его политической, общественной и литературной деятельности, задача представлялась мне весьма простою. Настолько же, если, пожалуй, еще не проще, как описать гранит Александровской колонны или гранитные тумбы-решетки в саду

при Зимнем дворце — этот верх безвкусия и раззолоченной аляповатости, оплаченных миллионами рублей. С именем г. Победоносцева в воображении русского человека сливается представление такой определенности, прямолинейности, жестокой, именно гранитной устойчивости, что — казалось бы — с этим наглядным и осязательным, недвижным материалом — труды не велики и возня недолгая: наставил фотографический аппарат — хлоп — и снимок готов. Но тут-то и начинает Победоносцев озадачивать своего изобразителя. Проявляешь негатив, а на нем — вместо ожидаемой прямолинейно-гранитной фигуры — ничего. Ну как есть ничего! Пустое пространство, даже без мутных пятен, какие получают спириты, фотографируя материализованные призраки. И так-то — не раз, не два, а постоянно, с различных сторон и при всевозможном освещении. Эта загадочная неуловимость в сочетании с наглядною, казалось бы, простотою насмешливо недающихся форм производит в конце концов впечатление почти суеверное. Точно под вашим аппаратом стоял не благочестивый обер-прокурор Святейшего Синода, отставной de jure*, но доныне, так сказать, архипрото-обер-прокурорствующий facto**, а какой-либо, не к ночи будь сказано, нечистый дух, вроде домового или лешего. И того и другого любая деревенская баба изъяснит вам весьма красноречиво и живописно в массе анекдотов, легенд и сказок, очень характерных и, казалось бы, вполне определительных. Но — когда вы спрашиваете бабу: «А каков он, леший?» — она, понятное дело, становится в тупик и отвечает вам невразумительным лепетом: «Повыше леса стоячего, пониже облака ходячего», «Одна ноздря, а спины нет», «Леший — он к себе девок уводит». Нельзя не сознаться с печальною откровенностью, что суждение русской публи-

---

* По праву (*лат.*).

** Фактически (*лат.*).

ки о г. Победоносцеве, управляемое больше инстинктом, чем знанием, в значительной степени сводится к подобной же фантастике. Как в домовом и лешем для бабы, так в г. Победоносцеве — для публики — нет лица. Есть миф, который, чтобы быть воплощенным, требует фантазии и творчества художников, а средства точного знания и механического воспроизведения над ним покуда безвластны. Поэт, живописец, скульптор, музыкант могут вообразить и изобразить лешего — до впечатлений, почти подобных реальности. Но аппарат фотографа, направленный на лешего по указанию какой-либо галлюцинирующей бабы, воспроизведет только деревья и кусты, среди которых ей чудится леший. Так и биография Победоносцева дает разочарованному в ожиданиях русскому обществу совсем не самого Победоносцева, но лишь пассивную обстановку, среди которой жил и действовал Победоносцев. Сам же Победоносцев, — эта нелепая галлюцинация, этот дикий кошмар русской истории, — из нее исчезает. Иван Антонович Расплюев уверял полицейского надзирателя, что: «Я... я так, я без фамилии». Константин Петрович Победоносцев мог бы с еще большим правом утверждать, что он «без биографии». Расплюев божился, что у него «вместо фамилии — так». Константин Петрович Победоносцев может хоть присягу принять, что у него вместо биографии послужной список. В своей библиотеке я нашел не менее двадцати книг, повторяющих имя Победоносцева с проклятиями или лестью, но, в конце концов, ни проклятиями, ни лестью фантом не перерабатывается в фигуру, и, прочитав о Победоносцеве двадцать книг, я знаю о нем положительно только то, что говорит «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», и для чего не стоило перелистывать двадцать книг.

«Победоносцев (Константин Петрович) — известный юрист и государственный человек, Д.Т.С., статс-секретарь, родился в Москве в 1827 г. По окончании курса в училище правоведения поступил на службу в Московские департаменты Сената; в 1860–1865 гг. занимал кафедру гражданского

права в Московском университете; в то же время состоял преподавателем законоведения великим князьям Николаю Александровичу, Александру Александровичу, Владимиру Александровичу, а позднее и ныне царствующему государю императору. В 1863 г. сопровождал покойного наследника цесаревича Николая Александровича в его путешествии по России, которое описал в книге: «Письма о путешествии наследника цесаревича по России от Петербурга до Крыма (СПБ., 1864)». В 1865 г. назначен членом консультации Министерства юстиции, в 1868 г. — сенатором, в 1872 г. — членом Государственного совета, в 1880 г. — обер-прокурором Святейшего Синода; эту должность он занимает и до сих пор. Состоит почетным членом университетов Московского, Петербургского, св. Владимира, Казанского и Харьковского, а также членом Французской академии».

Вот и все.

Победоносцев — политическая сила, но где ответственные политические акты, открыто утвержденные его именем?

Победоносцев — общественное пугало, но где открытые общественные выступления, заслужившие ему его ужасную репутацию?

Победоносцев — ученый, но его ученая карьера давно поросла травою забвения. Где данные, на чем основаны его права на звание почетного члена стольких университетов и академий? Кто помнит науку Победоносцева? Кто с нею считается?

Победоносцев — литератор. Передо мною — целая куча его литературных произведений. Но он имеет достаточно добросовестности, чтобы не считать их своими произведениями. В огромном большинстве страниц это просто выборки из прочитанных книг, преимущественно старинной литературы, под которыми сочувствующий Победоносцев ставит свой бланк, как бы министерски контрассигнируя суверенитет признаваемой им идеи. На обложках своих книг Победоносцев обозначается не как автор, но лишь как издатель. Вперед выставляется Бэкон, Эмерсон, Лилли, а сам Победоносцев, как всегда и всюду, остается в тени их фигур и ловко движет их мыслями и словами, будто военными ма-

шинами. Он заставляет безответных мертвецов работать на свою волю совершенно так же, как привык он жонглировать волями разных высокопоставленных живых, сотнями плясавших по его дудке в течение пятидесяти лет, что карьера Победоносцева переплелась с судьбами русской имперской культуры.

Скажи мне, что ты читаешь, — это все равно, что скажи мне, с кем ты знаком, — и я скажу тебе, кто ты. Увы! Нет правила без исключения, и на Победоносцеве эта старинная сентенция терпит крушение полнейшее. Отошедшим из мира людям, которых хорошо знал Победоносцев и счел своим долгом справить по ним тризну, посвящена им целая брошюра «Вечная память». Некоторых Победоносцев даже уважал и как будто любил, поскольку он, в своей почти цинической надменности засушенного бюрократа, вообще способен любить и уважать другого человека. С жадностью ищешь в этой книге утерянных симпатий хоть какого-нибудь ключа к запертой душе Победоносцева. Ничего! Точно — вместо души, как у кота, пар! Ни одной непосредственной мысли, ни одной искры живого пылкого чувства, — все мертвые схемы, облеченные в риторику допотопного карамзинского слога, пустота общих мест, одобренных ловкими цитатами и академическим подбором громкозвучных текстов из Священного писания, отцов церкви, духовных ораторов. Все — заказные надписи на повапленных гробах!

Грубая семинарская цитата, любимое орудие «элоквенции профессорства», — вот альфа и омега фальшивого, надутого, кабинетно-придуманного и высиженного лжелитераторства Победоносцева. Хочет человек написать, что — вот, была хорошая женщина, а пишет: «Память ее да будет с похвалами». Хочет выразить, что было мне грустно проводить тело такого-то в могилу, а пишет: «Яшася врата плачевные». И — ни капли искренности, ни капли чувства, ни звука правды. Все — мертвая риторика форм, не согретая ни искрою

сердечного тепла, все — буквы, не освященные ни отблеском духовного содержания, казенная фальшь, нагло верующая, что — cuculus non facit monachum *: надел мундир, будут тебя за начальство держать!

Эти бесконечные цитаты, эта ужасная привычка говорить тяжеловесными глаголами чуть не допотопных мертвецов действуют на свежего читателя необычайно тяжело — дурманом каким-то. Какой это автор? Какой литератор? Это — просто экспроприатор заплесневелых библиотек. С тоскою следишь строку за строкою, страницу за страницею. Ну — вот Бэкон, вот Эмерсон, вот Карлейль... вот — ах, скажите пожалуйста! — даже Герберт Спенсер. Но — Победоносцев-то, Победоносцев-то — где же? Где его мысль? Где его личность? Довольно гробокопательства, довольно разграбленных могил, довольно глубокомыслия, заимствованного у покойников, собирающихся в лунную полночь на Вестминстерском кладбище поговорить о человеческих делишках. Хоть на минутку покажите, что у вас есть свои мысли, слова, чувства, себя покажите — живого себя!

Победоносцев не внемлет, но — знай — нижет и нижет свои нагромождения отжившей мысли, будто тот огромный скелет, что в Базеле ведет за собою, играя на скрипке, бесконечный dance macabre — Пляску смерти. Мертвая окрошка из отголосков большой и поместительной памяти, похожей на сиракузские катакомбы — неистощимый запас костяков, одетых в монашеские рясы и поставленных либо повешенных стоять в затхлом подземелье, будто и впрямь живые люди.

Победоносцев — «большой государственный человек». Он — то, что Лесков называл «худородным вельможею», но уже не «кутейник», не «колокольный дворянин», он — барин, аристократ. Кутейничество, колокольное дворянство, корень и печать племени Левитова, остались где-то далеко позади.

* Клобук не делает монахом (*лат.*).

Как у щедринского Порфиши Велентьева, у Победоносцева «предстояние алтарю» — дело нескольких уже угасших, восходящих поколений. Но странное дело! — атавистическое влияние логики и житейских приемов этих левитских поколений живет и сквозит в Победоносцеве, их выродке, с такою сильною выразительностью, будто он сам еще воспитывался в ужасной «Бурсе» Помяловского и перешел к государственному кормилу прямо от ее коростовой среды и схоластической зубрежки. Точно еще вчера издевался над ним Ливанов и свирепый Батька выдирал с его черепа волосы. Точно еще вчера заставляли его, «шутки ради», писать отвлеченные доказательства, pro * — во славу графина с водкою, а когда профессор тем временем водку выпьет, то, обратно, contra ** — во славу пустого графина, но с одинаковым изяществом и равною убедительностью. Победоносцев весь — семинарская мысль, облеченная в семинарское слово, комбинированная в семинарский внешний и наглый софизм. Он — ходячая дисциплина рясы, никогда не бывшей и не желающей быть нешвейным хитоном, зато отлично понявшей, что она — государственный мундир. Подьячий переплелся в нем с псаломщиком так тесно, что не разобрать, где кончается один и начинается другой. Священное писание, молитвы, богослужение — все это для победоносцевского формализма лишь собрание комментариев «от божественного» к первому тому Свода законов.

— Поп! Поп! — бранили когда-то Сперанского недовольные им масоны, — написал себе в законах, что у нас — православие, и дальше ни знать, ни понимать ничего не хочет.

Сравнивать Победоносцева с гуманным и мягким Сперанским обидно для памяти последнего, но, при всех видовых различиях, у них была общая родовая черта, воспитанная семинарскою формулою: способность умозрительно «написать

---

* За (*лат.*).

** Против (*лат.*).

в законах» и единовременно так прочно уверовать в святость и непреложность написанного, что все усилия и напоры жизни уже не в силах переменить ни одной йоты в диалектически выношенном рукописании. Победоносцев додумался, что Бог — в букве, а не в духе, и обоготворил букву, и поставил ее выше всего на свете, и жестоко мстил, мстит и будет мстить, покуда жив, всем, кто не согласен с божественностью его буквенного бога, кто дерзает почитать йоты применимыми. Нет житейских отношений, нет нравственных запросов и напряжений, от которых этот человек не умел бы отделаться, — как последним, зажимающим всякий рот, прекращающим всякую дискуссию, аргументом, — катехизаторским текстом из Священного писания или цитатою из какого-либо церковного элоквента, удостоенного от Победоносцева быть признанным за авторитет. Характерная особенность, заметьте ее себе на память: Победоносцев почти никогда не цитирует Евангелие. Разве это не знаменательно? Ниже мне еще придется говорить о его распре с этою книгою. Сейчас достаточно лишь отметить эту странность. Христос, Шекспир и Пушкин — великая тройственная симфония мысли — вот три живые силы, от которых мертвая мысль Победоносцева уклоняется, с позволения вашего сказать, как черт от ладана. Право, иногда Победоносцев цитатами своими напоминает мне того легендарного киево-печерского инока, который, по дьявольскому обольщению, сделался необыкновенно учен и начитан в Писании, — только братия приметила вскоре, что он силен лишь в пределах Ветхого Завета, а как до Христа дошел, так и споткнулся. Ну и уразумели, что «бысть сие ему не от ангелов света, но от лукавого». Либо — другая параллель — какого-нибудь гнусавого святошу Атакумка из эпохи пуританизма. Победоносцев ненавидит протестантизм, но в своем цитаторском усердии и красноречии он, как две капли воды, похож на тех «круглоголовых», которые двести пятьдесят лет тому назад

решали государственные судьбы Англии стихами, вроде: «И истребил Господь Амалика», «И заклал их Илия при жертвенниках их» и т.п. Но «круглоголовость» модернировалась в Победоносцеве еще тою мертвенно-застойною и архибуржуазною чертою, которую Диккенс высмеял в английском обществе, под названием «подснаповщины» — от имени мистера Подснапа, действующего лица в «Нашем общем друге», прославленного завидною способностью «перекидывать через плечо» каждый общественный вопрос, который ему не нравится, как не существующий вовсе. Читая Победоносцева, вы часто опускаете книгу в изумлении: где пишет этот человек? в каком веке он пишет? для кого он пишет? В нем есть известные отвлеченные — и весьма кисло-сладкие — азбучные понимания абсолютного добра; но — сопряженные с таковыми, практические осуществления ему ненавистны. Он в состоянии сентиментально вообразить себе учительницу, самоотверженно голодающую в сельской школе во имя просвещения народного, и вчуже умилиться идеальным священником, вроде героя Потапенкова «На действительной службе». Но, встретясь с этими фантомами не в фантазии литературы или в собственном своем кейфующем воображении, он, сановный мистер Подснап на оберпрокурорском посту, бесцеремонно перекидывает их через плечо первым пришедшим в его семинарскую память текстом — и перекидывает с такою энергией, — что, глядишь, трогательная учительница упала где-нибудь в Якутской губернии, а умилительный священник — в Суздальском Спасо-Евфимиевском монастыре.

Если исключить из воспоминаний Победоносцева фигуру в.кн. Елены Павловны, главную общественную заслугу которой — энергическое участие в освобождении крестьян — он, однако, обошел с кислою улыбкою, почти молчком, — то все симпатии этого человека оказываются связанными с людьми, проклятыми в истории русской цивилизации, с демона-

ми и служками самых мрачных реакционных эпох и дел. Но какая сладостная метаморфоза! Читая Победоносцева, неизменно убеждаешься, что реакцию на Руси всегда делали исключительно ангелы во плоти. От больших — до малых. Один из самых восторженных некрологов своих Победоносцев посвятил некой г-же Шульц — «даме-патронессе», отдавшей себя воспитанию и образованию девиц духовного звания, начальнице соответственного, знаменитого в своем роде, учебного заведения в Царском Селе. Воспитательные приемы г-жи Шульц были совершенно в духе и во вкусе Победоносцева: она осуществила его идеал духовной женской школы. Ну и, конечно, как водится, «память ее да будет с похвалами», и для нее тоже «яшася врата плачевные!» Но, заглянув в «Материалы для истории женского образования в России», вы легко убедитесь, что если для кого действительно «яшася врата плачевные», — и сколько, сколько раз! — то, увы, не для г-ж Шульц, почетно, сытно и спокойно доживавших под покровительством Победоносцева до восьмидесяти лет, в чудесной пенсионной обстановке, но для воспитанниц, имевших несчастие попадать в лапы их тяжелого лицемерия. Вот аттестация русским женским учебным заведениям для девиц из духовного звания, выданная никем другим, как ярославским архиереем:

— Воспитанницы нередко оставляют заведение с полурасстроенною грудью, и многие священники жалуются, что, взяв невесту из воспитанниц духовного училища, они подвергли через то себя раннему вдовству или угрожаются им.

В семидесятых и восьмидесятых годах физическая забитость воспитанниц из духовных училищ получила настолько дурную огласку, что, «несмотря на заботы императрицы о том, чтобы воспитанницы, по окончании курса, выдавались замуж, эта цель не достигалась; митрополиты и преосвященные, прилагавшие все старания к выполнению такой задачи, постоянно говорили в своих донесениях императрице о встре-

чаемых ими в этом затруднениях». Тем не менее г. Победоносцев в 1882 году покрыл эту медленную педагогическую бойню девушек, эту «фабрикацию взрослых ангелов», своим обер-прокурорским авторитетом, признав за женскими духовными училищами — во всеподданейшем отчете — «общегосударственное значение». Мистер Подснап в обер-прокурорском мундире перекинул через плечо сотни туберкулезных трупов и выдал похвальные листы синодальным фабрикантам и фабрикантшам взрослых ангелов, начиная с царскосельской обер-фабрикантши их, покойной m-me Шульц.

Вот еще — умиляющий сердце Победоносцева — любезный ему покойник: Ильминский. Tanto nomini nullum par elogium! * Назовите это имя при мало-мальски образованном мусульманине русском и вы увидите, что он либо побледнеет, либо скроит такую гримасу, будто увидел дьявола наяву. Этот Ильминский довел заволжских татар до такого ужаса к миссионерству своему, что был косвенною причиною знаменитого колокольного бунта в Казанской губернии, при губернаторе Скарятине. Этому последнему вздумалось воздвигать по всем деревням и селам столбы с колоколами — так сказать, вечевыми: для созыва крестьян на сход. В русских деревнях посмеялись и приняли колокола, но в татарских, чувашских и пр. взялись за колья. Потому что — говорят:

— Это Ильминский к нам едет — мечети ломать и нас в христианскую веру крестить.

И вот маленького Торквемаду, доведшего миллионное иноверное население до такового трепета к миссионерскому фанатизму, что одной мысли о новом наезде его уже достаточно, чтобы вспыхнул бунт, — Победоносцев возводит в идеал христианско-государственного деятеля. «Я не раз говорил графу Д. Толстому, — хвастается он, — что считаю самою крупною его заслугою пред Россией то, что он уга-

* Нет достойной похвалы для такого имени! (*лат.*)

дал, оценил и поддержал Ильминского». Ну еще бы! Les beaux esprits se rencontrent!..* Быть благословенным от Дмитрия Толстого и заслужить хвалебный некролог от Победоносцева — стать третьим в этом союзе государственных Дамона и Пифия, allias** Удава и Дыбы — какой еще аттестации надо человеку? И, — как все приятные Победоносцеву городовые от религии, — этот креститель «огнем и мечом», чье имя заставляло темных татар разбегаться по лесам, прятаться по оврагам или браться за колья, оказывается в некрологе фигурою идиллическою, чуть не из карамзинской «Бедной Лизы»... Он любил птичек хоры, ручейки, зелень молодого деревца... молочко, овечку...

Один из наиболее реальных ужасов победоносцевского бытия и влияния на Россию заключается в том, что он талантлив находить своих «людей» — выпустошенные души, способные в совершенстве осуществлять его выпустошенные идеи и планы — и в совершенстве же умеет такими живыми машинами пользоваться. Какая-нибудь Шульц, какой-нибудь Ильминский, какой-нибудь Калачов — это все резервуары для сукровицы победоносцевских мыслей, из которых через десятки рабски послушных кранов, расползается она потом по России, чтобы гноить ее от финских хладных скал до пламенной Колхиды. Ни в государстве, ни в религии Победоносцев ни разу не сумел возвыситься даже до того жиденького и реакционного, националистически-земского идеала, что воплощало собою московское славянофильство, к которому Победоносцев постоянно навязывал себя в поклонники и сторонники, но — напрасно. Грубая фигура Ивана Аксакова сильно исчернена реакционными пятнами, но это был, даже и в реакции, человек честный, не доносчик,

---

* Букв.: встречались прекрасные умы, встречались острословы (*ирон.*), встречались прекрасные умы!.. (*фр.*)

** В другой раз, иначе (говоря), иными словами (*лат.*).

не холоп, не выгодчик, не сыщик, не «чего изволите» барского крыльца, а, главное, не подъячий и не опричник. И, хотя Победоносцев присосался и к его памяти, как некая хвалебная пиявка, но — так Булгарин называл себя другом мертвого Грибоедова! Крупный государственный деятель, которого можно считать последним могиканом московского славянофильства, Тертий Филиппов презирал Победоносцева всю свою жизнь и был для него, в бюрократической карьере, едва ли не единственным предметом постоянного и действительного страха как знаток церковных вопросов и канонического права, — следовательно, самый вероятный кандидат, по достоинству, на пост обер-прокурора Святейшего Синода. Победоносцев — человек приказа и опричнины. Чтобы высиживать правовые нормы, ему нужен приказный, чтобы осуществлять высиженные приказным вдохновения, ему необходим опричник. Только приказного с опричником и понял он в русской истории, и только приказный с опричником дороги ему в русской действительности.

Победоносцева часто обзывают и рисуют в карикатурах «вампиром» России. Либо — «змием», вроде того великого никонианского змия, о котором повествует благочестивому Грише майковский «Странник»:

И было зримо, како по ночам
Сей змий, уста червлены, брюхо пестро,
Ко храмине царевой подползал,
И царское оконце отворялось.
Царь у окна сидел, а змий, вздымаясь
По лестнице, клубами подымался
Вверх до окна... И так, к цареву уху
Припав, шептал он лестные слова...

Ну змий, да еще великий — это для Победоносцева чести много. Хотя — надо ему отдать справедливость: что касается «никонианства» — как веры, введенной в рамки устава синодальных канцелярий, — то вряд ли сам Феофан Прокопо-

вич, творец «духовного регламента», предвидел столь полное воплощение своей идеи, — столь совершенное слияние в одном лице византийского умопомрачения с немецким бюрократизмом.

Змий — чести много. Но вампир — хорошо.

Вампир!

В Моравии — этой классической стране вампиров — существует поверье о необычайной способности их проникать в жизнь человеческую, под видом густого зловредного тумана, в котором никто не подозревает враждебной демонической воли; все думают, что имеют дело с самым обыкновенным природным явлением, а между тем живой туман, выждав свой час, материализуется в грозный фантом, — свирепое привидение склоняется к постелям спящих и сосет кровь человеческую.

Таким вампирическим туманом окутал Победоносцев внутреннюю политику в тактику двух самодержавных царствований, в которых его влияние было неограниченно — и всегда вело к насилию, крови, рабству, разорению и истощению народа.

Часто спрашивают:

— Где реальные причины к всеобщей ненависти против Победоносцева? Где лично им принесенное и принятое на свою ответственность зло?

Как ни подспудна еще история последних тридцати лет русской жизни, однако за фактическим ответом на подобные вопросы дело не станет. Но отчасти вопрошатели правы. Реализоваться в кровососный фантом Победоносцев не любит, — у него есть вампирская скромность — не хвастаться собою, он предпочитает суть явлениям, и вампиры напоказ, какой-нибудь фон Плеве, Трепов, Дурново, должны возбуждать в нем почти презрение: мальчишки и щенки! Ответственные редакторы собственного вампирства! Пугала на государственном огороде! Не таков Константин Петрович Победоносцев. Он — туман. Вездесущий, всевидящий, вceслышащий, всеотравляющий туман кровососной власти. От

него нечем дышать русскому обывателю, и, напитываясь им, дуреет и впадает в административное неистовство русский государственный деятель, правитель, министр. Он — медленное убийство в среде правящих и медленная смерть — среди управляемых.

Этот человек любит казнь, смерть, тление. В «Московском сборнике» есть целая глава, где Победоносцев говорит об отношении к мертвому телу у нас на Руси и у народов Западной Европы. Конечно, тлетворный Запад оказывается кругом виноват перед покойниками: почитая трупы гнездами болезнетворных зараз, он торопится сбыть их из общества живых как можно скорее в могилу, а в последнее время даже воскресил и широко распространил обыкновение сожжения мертвых тел, о котором Победоносцеву «дико и противно слышать», тогда как у нас вот какое благолепие: «Мы не бежим от покойника, мы украшаем его в гробе, и *нас тянет к этому гробу...* мы поклоняемся телу и не отказываемся давать ему последнее поцелование и стоим над ним три дня и три ночи... Погребальные молитвы наши продолжительны и *не спешат отдать земле тело, тронутое тлением»*. Последний восторг особенно выразителен. В другой своей книге Победоносцев жалеет, что знаменитую Эдиту Раден, как лютеранку, погребали по простому и быстрому обряду ее вероисповедания: «Досадно было, что не совершится над нею церковная красота нашего отпевания», — не спешащего отдать земле тело, тронутое тлением... Обездолили старика: не дали нанюхаться!

Читатель, конечно, помнит крыловского «Медведя в сетях»:

... Из всех зверей мне только одному
Никто не сделает упрека,
Чтоб мертвого я тронул человека.
— То правда, — отвечал на то ловец ему, —
Хвалю к усопшим я почтение такое.
Зато, где случай ты имел,

Живой уж от тебя не вырывался цел.
Так лучше бы ты мертвых ел,
И оставлял живых в покое.

Это практическое нравоучение невольно приходит в голову, когда читаем победоносцевские елейные воздыхания о прелести покойничков. Он так любит и чтит трупы, что всегда готов содействовать обращению неуважаемого им человека в уважаемый труп. Sit divus, dummon sit vivus! * Опора и подстрекатель, адвокат и апологет смертной казни, Победоносцев был и остается несменяемым государственным палачом России в течение 25 лет. Десятки грубых, физических палачей, дело которых — бессмысленно, безответно, по приказу начальства затянуть на горле осужденного роковую петлю, умерли в этот срок, сбежали, подали в отставку, сошли с ума, а он — все тот же: политический, моральный, религиозный палач-бюрократ — палач над казнимыми, палач над судьями, палач над палачами... Все тот же, — только череп совсем оголился от волос и, при безобразно оттопыренных ушах, окончательно уподобил старого государственного вампира подземному гному какому-то или нечистому духу из полчища Адрамелехова. Словно обритая летучая мышь в очках и на задних лапах. Когда у Победоносцева выпали последние зубы, он вставил себе, чтобы удобнее жевать преданную ему на съедение мать-Россию, не искусственные зубы, но, так называемые, сплошные челюсти, — и столь украсил себя этим сооружением, что даже привычные к нему люди не могут отделаться от чувства содрогания и отвращения. Вампирам свойственно сохранять в гробовом сне своем ту наружность и тот возраст, в которых случилось им «повампириться». Победоносцев никогда не был молод и всегда был микроцефалом. Чиновничество уже иссушило его, как сердцевинную перепонку гусиного

* Пусть божественный, только бы не живой! (*лат.*)

пера, к тому году жизни, когда он стал у власти, чтобы пить кровь человеческую. Он жалок, противен и гнусен. Известно, что Григорьев, — впоследствии предатель Гершуни, — должен был убить Победоносцева на похоронах Сипягина. Григорьев проник в Александро-Невскую лавру и — на кладбище — стоял от Победоносцева так близко, что мог выполнить свое намерение без малейшего труда. Но вдруг Победоносцев вынимает из кармана какой-то старомодный, как подьячие на сцене носят, футляр и начинает трубно сморкаться.

— Я не могу изъяснить, что со мною сделалось, — рассказывал потом Григорьев не только товарищам, но и суду. — Он вдруг сделался такой мерзкий, плюгавый, ничтожный, слезливый старикашка, что мне стало противно дотронуться рукою до осклизлого гриба, до гнилушки... Как-то ясно и повелительно сказалось, что посягать на такой шлюпик, значит ронять свое достоинство... А когда я овладел собою, победил в себе это настроение и решил все-таки стрелять, Победоносцев был уже далеко от меня... И я ушел с кладбища...

Я охотно верю в справедливость показания Григорьева, потому что — многими годами раньше — слышал подобное же признание от одного человека, совершенно чуждого революции. Ему случилось встретиться с Победоносцевым — один на один на прогулке в Крыму, в глухом уголке ялтинского шоссе...

— Когда я узнал его, моею первою мыслию было: вот брошу его с обрыва в море, и завтра вся Россия свободно вздохнет, и никто никогда не узнает, — подумают, что несчастный случай... Но — приблизился он, и такой в его глазах и лице выразился подлый ужас, так он мне показался скверно беспомощен и жалок, что даже тошно стало... Рука не поднялась.

Природа выработала для всего живого средства самозащиты — между тварями ее и такие организмы, что спасают себя от других тварей в борьбе за существование исключи-

тельно отвращением, которое они к себе вызывают. Но — каково же чувствовать себя в этой самой милой категории человеку, да еще не какому-нибудь, а человеку государственному, — в некотором роде главной пружине великой империи, избранному сосуду «самодержавия, православия, народности».

Конечно, сосуд сосуду рознь: бывают сосуды в честь, надо быть и сосуду в поношение. Однако не до такой же степени, что до сосуда человеку противно рукою дотронуться, хотя бы даже для того лишь, чтобы его разбить.

Г. Победоносцев очень счастлив на избавление от смерти. Стрельба Лаговского по тени — в окна квартиры Победоносцева на Литейном проспекте — была скорее демонстрацией, чем покушением. Однажды в Севастополе Победоносцев, всходя на пароход, оступился со сходни и упал в воду на глубоком месте. Нашелся добрый чудак, который его вытащил. Это — Осип Фельдман, известный гипнотизер. Затем между спасителем и спасенным произошел следующий выразительный разговор.

— Это вы меня вытащили?

— Я.

— Благодарю.

— Помилуйте! Мой долг.

— Ваша фамилия?

— Фельдман.

— Какого вероисповедания?

— Еврей.

— Креститесь.

Этот благочестивый совет был единственным знаком признательности, каким Победоносцев удостоил своего разочарованного избавителя... И — поделом! Не тащи из воды, что в ней плавает.

Победоносцев дебютировал пятью виселицами, воздвигнутыми на Семеновском плацу для осужденных по делу 1-го

марта. Царь Александр III хотел оставить им жизнь. Победоносцев убедил его их казнить. Тогда Лев Толстой пишет царю письмо о помиловании и просит Победоносцева, как человека религиозного и переводчика «О подражании Христу» Фомы Кемпийского, передать его послание Александру III. Победоносцев отказывает наотрез, говоря, что он смотрит на Христа совсем не так, как Толстой: его Христос — не милостивец, но государственник-каратель. Письмо доходит до царя через генерала Черевина, производит впечатление. Смущенный царь зовет на совет Победоносцева. Победоносцев властно и авторитетно требует виселицы, виселицы и виселицы... И воздвиглись виселицы!

1881 год — это эра торжества Победоносцева над Россией. 8-го марта 1881 года, в историческом заседании Государственного совета, решавшем, быть или не быть на Руси земскому собору, старый вампир одержал победу, обеспечившую его владычество на 25 лет вперед и определившую ход внутренней реакции на два царствования. Тогдашняя речь Победоносцева, которою он заставил Александра III повернуть руль государственного корабля, чтобы ехать от реформ Александра II обратно к приказам Алексея Михайловича, в настоящее время уже не подспудный секрет, она была оглашена несколькими легальными журналами, напр<имер>, «Былым». Это замечательная в своем роде программа, с последовательным оплевыванием всех гражданских начал, жививших государственную жизнь Европы после Великой французской революции и создавших громаду XIX века.

«Что такое конституция? Орудие всякой неправды, источник всяческих интриг».

«К чему привело освобождение крестьян? К тому, что исчезла надлежащая власть, без которой не может обойтись масса темных людей. Мало того, открыты повсюду кабаки, бедный народ, предоставленный самому себе и оставшийся без всякого о нем попечения, стал пить и «лениться на работе».

«Что такое земские и городские учреждения? Говорильни, в которых видное положение занимают люди негодные, безнравственные, лица, не живущие со своими семействами, предающиеся разврату, помышляющие лишь о личной выгоде, ищущие популярности и вносящие во все всякую смуту».

«Что такое новые судебные учреждения? Новые говорильни адвокатов, благодаря которым самые ужасные преступления, несомненные убийства и другие тяжкие злодеяния остаются безнаказанными».

«Что такое печать? Самая ужасная говорильня, которая во все концы необъятной русской земли, на тысячи и десятки тысяч верст разносит хулу и порицание на власть, посевает между людьми мирными и честными семена раздора и неудовольствия, разжигает страсти, побуждает народ к самым вопиющим беззакониям».

Таковы анафемы Победоносцева. Проклятие народному представительству, проклятие свободе рабочих классов, проклятие всем зачаткам самоуправления, проклятие суду скорому, справедливому и милостивому, проклятие вольной гласности. Проклятие всему, чем люди живы, и благословение всему, чем они мертвы.

Эразм Роттердамский сочинил когда-то «Похвалу Глупости» и Ульрих фон Гуттен — «Письма темных людей». Это были злые сатиры. Но на Руси в XIX и XX веке нашелся трубадур, который замогильным голосом воспевает глупость и невежество совершенно всерьез и ставит их краеугольными камнями народного благосуществования, — более того: объявляет их двигателями человеческого прогресса. «Есть в человечестве натуральная, земляная (!) сила инерции, имеющая великое значение. Ею, как судно балластом, держится человечество в судьбах своей истории, — и сила эта столь необходима, что без нее поступательное движение вперед становится невозможно. Сила эта, которую близорукие мыслители новой школы *безразлично смешивают о невежеством и глупостью, — безусловно необходима для благосостояния общества.* Разрушить ее — значило бы лишить общество той *устойчивости,* без которой негде найти и точку опоры

для дальнейшего движения. В пренебрежении или забвении этой силы — вот в чем главный порок новейшего прогресса». («Московский сборник», 72). За этим откровенным объяснением в любви к богине Глупости Победоносцев указывает врагов человечества. Это не больше и не меньше, как *способность к логическому мышлению,* которая погубила бы общество, если бы Победоносцев не нашел ей, злодейке, противоядия в виде спасительного *предрассудка.* Все это мысли из Бэдлама, — скажет возмущенный читатель. Но таков и есть государственный идеал Победоносцева: рабски тихое, идиотическое отделение Бэдлама, управляемое и гонимое на работу хитрым, злым, эгоистически черствым ректором сумасшедшего дома — единственным, кому разрешается «способность к логическому мышлению» и истекающая из нее власть. Приемы просвещения для Победоносцева — *от лукавого.* От лукавого — отрицание возможной помощи «от Николы», стремление женщины к равенству с мужчиной и нежелание «быть его рабою», требование детей, чтобы родители были достойны того уважения, к которому вынуждают они свое потомство. Странница Феклуша, Кит Китыч Брусков и Кабаниха — вот нелукавая соль земли, которую Победоносцев, если бы мог, возложил бы на лоно свое, чтобы — засыпав трюм государственного корабля «балластом», — «найти точку опоры для дальнейшего движения»... в белую Аравию, к Песьим Главам и к фараону, который по ночам показывается из пучины морской со всем своим воинством.

Ненависть к мысли, ненависть к слову, холодно живущие в Победоносцеве, поистине изумительны. Он ненавидит слово, потому что оно — схема мысли, а мысль, способная к схематизации, для него уже узурпирующая его власти, уже революционные прерогативы, уже начало бунта личности против государственного Бэдлама, Феклуш-странниц, Кит Китычей и Кабаних, которых он носит в душе своей (или, вернее сказать, в пару, заменяющем ему душу), как неопро-

вержимый идеал. Я, право, недоумеваю, с каким чувством этот «глава православия» должен слушать начальные слова четвертого Евангелия: «В начале было Слово, и Слово было к Богу, и Бог был Слово». Это основное христианское положение настолько противоречит всему мировоззрению Победоносцева, что, под громом этой могучей фразы, он переживает навряд ли лучшие минуты, чем пудель-Мефистофель в лаборатории Фауста в ту таинственную ночь, когда ученый муж этот вздумал было заняться критикою именно глубокого стиха о «в начале бывшем Слове». В царствование Николая I Апраксин или Бутурлин откровенно заявили, что Евангелие следовало бы запретить, если бы оно не было так распространено. Победоносцев Евангелия не запретил, но упорно изгонял из России, душил ссылкою и тюрьмою всех людей, желавших жить по Евангельскому идеалу, как выброшенные сперва на Кипр, потом в Канаду, разоренные, несчастные духоборы. А теоретиков, намеревавшихся исправить по этому идеалу истрепанную этику современности, отлучал от церкви, как Толстого, выживал из аудитории, как Соловьева, упекал под суд, как Григория Петрова, заточал в монастыри, как арх. Михаила. И, наконец, в своей статье о школе он прямо протестует против введения Евангелия в систему школьного образования. И, действительно, с тех пор, как Победоносцев имеет влияние на судьбы русского просвещения, религиозный элемент угас в последнем, окончательно сменяясь церковно-обрядовым. Место Евангелия заняли Филарет и Рудаков, священник и проповедник должны были посторониться пред законоучителем-дисциплинатором и инквизитором, считающим, как духовный педель, разы посещения церкви и учащими и учащимися, и за то ненавистным для них обоих. В «Великом инквизиторе» Достоевского Алексей Карамазов говорил, что он не верует в Бога. Я не знаю, верует ли в Бога г. Победоносцев, да и не мое это дело, но смело утверждаю, что никто более Победоносцева не содействовал падению веры в Бога среди школь-

ных русских поколений; никто не принизил так религиозности русского народа, обратив ее в пустую, сухую, но скучно и досадно требовательную государственную повинность и формальность; никто не дал вящего соблазна к бегству всех сколько-нибудь свободных умов в материализм и атеизм, для которых, однако, г. Победоносцев имеет дерзость вздыхать по средневековым кострам. Победоносцев при религии — это медведь при пустыннике. Воображая себя воителем за Бога в народе, он был величайшим богоубийцею во всей русской истории. Мы, люди позитивного знания и свободной мысли, презираем и ненавидим Победоносцева как одного из самых ловких и опасных мастеров обращать церковь в государственный сыск, в мистико-полицейское орудие народного порабощения, в фортецию против стремлений народной свободы. Но люди религиозного миросозерцания ненавидят и презирают его едва ли не еще страстнее, чем мы, отстоящие от них так далеко. Ненавидят и презирают за то, что Победоносцев — это воплощенное царство от мира сего — разбивает и пачкает их идеал своим лжехристианским самозванством, что религию он обратил в полицию и священника — в участкового надзирателя по духовно-государственной части. У Победоносцева нет бóльших врагов, как те немногочисленные священнослужители, которые искренно веруют в свое призвание и в возможность проводить в народ евангельский идеал. И, обратно, их — истинно христианских священников — Победоносцев также ненавидит и гонит больше, чем всех позитивистов и атеистов, потому что их Христос и его государственная церковь суть взаимопогашения. У него нет другого орудия для борьбы с жизнью, как обман и самозванство от всуе приемлемого имени Христова, но он знает, он помнит, что оружие это — украдено из чужого арсенала; что Христос — против него; что, явись Он вновь на землю, пришлось бы г. Победоносцеву со Святейшим Синодом отлучать Его от церкви: ссылать в Соловки, изгонять в Канаду — и все это, опять-таки, не иначе, как

ложно приемлемым именем и авторитетом Христовым. И отсюда — особая, мрачная, почти бесовская злоба зависти ко всем исповеданиям и лицам, которые приемлют имя и учение Христа не ложно, и для которых они — оружие из своего, законного арсенала. Возвращаясь к вопросу о вере Победоносцева, мне кажется кстати повторить язвительное слово Владимира Соловьева: «Если и верует, то — как бесы у апостола Павла: верует и трепещет».

Победоносцев — старый профессор гражданского права и воспитанник права римского — очень ловко умел подменить в государственном христианстве бога небесного богами земными и исповедание православия обратить в исповедание самодержавия. В его некрологе Эдиты Раден есть удивительно характерная выписка, где он умиленно доказывает православную религиозность каких-то монахинь тем приемом, что они необыкновенно искусно исполняют... гимн «Боже, Царя храни», сочиненный всего полвека назад по повелению Николая I жандармским генералом Львовым! Самодержавие — вот истинная религия Победоносцева, самодержец — divus Caesar Imperator * — вот его сотворенный кумир, его божество. В ряду его исторических симпатий первое место занимает Александр III; при нем, приявшем 8-го марта 1981 года взгляды Победоносцева как правительственную программу, Победоносцев был всесилен — почти как негласный диктатор Российской Империи. Из предшествовавших Романовых XIX века Победоносцева ни один не удовлетворяет. Он холодно враждебен к памяти Александра II как реформатора, разрушению творчества которого старик посвятил затем весь остаток своей жизни, — и надо отдать ему справедливость: успел в том за тринадцать лет своей диктатуры хорошо и совершенно: к 1894 году, когда скончался Александр III, либеральные реформы шестидесятых годов либо не

* Божественный Царь Император (*лат.*).

существовали вовсе, либо влачили жизнь бледными призраками, формами власти без властного содержания. Старый вампир выпил из них кровь и заменил ее таким... содержимым, что не дай Бог и Войницкому нюхать и разбирать!.. Александра I Победоносцев терпеть не может как государя, благосклонного к конституционным идеям. Реакционною разницею с эпохой Александра I в пользу идей самодержавия и национализма именно и определяет восторженный Победоносцев государственный «прогресс» при Александре III. Наконец, Николай I — как типичнейший автократ из автократов — был бы Победоносцеву по душе («грозный и в полном сознании своей силы»), но он «бессознательно поступался русскими интересами во внешней и внутренней политике, оттого что не знал прошлого». Суждение совершенно справедливое, но — как бы вы думали, когда Николай I, по мнению Победоносцева, «бессознательно поступался русскими интересами»? Когда истребил Волконских, Оболенских, Трубецких, Пушкиных и окружился Бенкендорфами, Дубельтами, Клейнмихелями, фон Фоками? Когда разрушением Варшавы и отменою польской конституции создавал на западной границе России вечного врага — будущее военное и политическое могущество Пруссии? Когда, неизвестно зачем, спасал Австрию, заливая русскою кровью пожар венгерской революции? Когда, не зная ни военных, ни экономических средств собственного государства, посылал легкомысленного Меншикова в Константинополь — вызвать султана, во что бы то ни стало к войне, которая привела к Севастопольскому разгрому? О нет, это все пустяки. У Николая для Победоносцева есть грехи посерьезнее этих: «Вспомним, как в правление Паскевича население Холмской Руси безразлично смешиваемо было с польским населением, бессознательно предоставлялось ополячиванию и окатоличению». На наших глазах Победоносцев располячивал и раскатоличивал и эту «Холмскую Русь», и Литву, с изумлением узнавшую из циркуляров правительства пе-

тербургского, что она — русская и православная. Но изумление скоро превратилось в ужас, в отчаяние, к небу полетели вопли и проклятия смерти, потому что, как всюду и всегда, миссионерами Победоносцева были полицейская нагайка, казацкая пика и солдатский штык. Еще у всех в памяти обличительная книга Леливы, с страницами, залитыми кровью литовских мучеников за свободу вероисповедания. Еще звучат в ушах наших вопли женщин и детей, растоптанных под сводами костела в Крожах... Не я буду говорить защитительные речи в пользу католичества. Но за ним есть хоть та честная сторона, что его воинственные реакции, по крайней мере, прямы и откровенны: «Non possum-us!»*. Когда католический палач Карл IX избивает гугенотов в Варфоломеевскую ночь, папа римский не произносит речей о свободе религий, но служит благодарственный молебен за истребление еретиков. Не таков К.П. Победоносцев. Отправив палачей миссионерствовать среди холмских униатов и литовских «окатоличенных», он садится к письменному столу и не чернилами, но елеем из лампады пишет в свою статью о «Церкви»:

— Сохрани Боже, порицать друг друга за веру; пусть каждый верует по-своему, как ему сроднее.

Позвольте остановиться на этой замечательной фразе. Она необыкновенно характерна для Победоносцева как публициста известной среды, как учителя и глашатая сфер, которые русское общественное мнение в последнее время окрестило «Звездною Палатою». Бессмыслицы и дикости этой удивительной компании обыкновенно поражают каждого среднего человека не столько надменностью и жестокостью миросозерцания, ими выражаемого, — эти скверные сословные черты, по крайней мере, объяснимы, — сколько глубоким неведением мира, на который они обрушиваются каким-

* «Не можем!» (*лат.*). Формула католического отказа.

то безмятежным непониманием действительности и будущего, истекающего из нее, как вывод из логической посылки. Эти люди живут в палатах с разрисованными окнами. Внутри здания света достаточно как раз настолько, чтобы хозяевам видеть в лицо друг друга и услуживающих им лакеев, а наружу они видят лишь то и так, что и как позволяют рисунки окна. Г. Победоносцев — великий раскрашиватель дворцовых окон. Его сила — в наглости публицистической лжи, которую он ставит между глазами своих верующих и действительностью, смело и опытно зная, что они не могут, да и не пойдут проверять действительность, если бы даже могли. Его секрет в том — что перед каждым сильным мира сего он лжет на действительность то, что сильному мира лично выгодно и приятно слышать. О, не думайте, что он — извивающийся «льстец». Напротив: он весь откровенность, он — прямая душа, он — грубоватый ворчун, он — даже резкий обличитель...

Вот человек — честнейший из людей.
И как умом глубоким он умеет
Всех дел людских причины постигать...

Так рекомендовал одного своего, тоже грубоватого и резкого, «друга» храбрый генерал Отелло в трагедии, написанной небезызвестным английским писателем Вильямом Шекспиром, во взгляде на реальную правду которого, не во гнев будь сказано Л.Н. Толстому, мы с ним расходимся не менее, чем некогда разошелся с ним г. Победоносцев во взгляде на Христа. Но тогда — выигрыш чести и правды остался за Л.Н. Толстым, чего в шекспировском случае — увы! — сказать нельзя...

Я так устрою дело,
Что будет мавр меня благодарить,
Любить меня и награждать за то,

Что я его искусно превращаю
В полнейшего осла и довожу
От мирного покоя до безумья.

Это ораторствует уже не генерал Отелло, а «друг» — рекомендуемый им, как «честнейший из людей». И зовут этого «честнейшего из людей» — Яго.

Подобно Яго, г. Победоносцев — в глазах Звездной Палаты —

Человек честнейший и питает
Он ненависть к той грязи, что лежит
На всех делах безнравственных.

Подобно Яго, он — оракул добра и зла, нравственности и безнравственности. Убийство добродетели, по его слову, предпринимается, как дело чести и справедливости, а ходатайство за невинного обращается его клеветами в подозрительный порок, свидетельствующий о преступном настроении. «Он изо всех державных прав одну лишь милость ограничил», — характеризовал настоящего льстеца наш великий Пушкин. Это — так. Это — огненное клеймо на лоб русского государственного Яго, — «честнейшего и нравственнейшего из людей», — Константина Петровича Победоносцева.

Он скажет: презирай народ,
Гнети природы голос нежный.
Он скажет: просвещенья плод —
Разврат и некий дух мятежный.

Мы слышали, как честный Яго поет гимны рабству, акафисты невежеству и дифирамбы глупости. Он мастер на эти песни, но иногда и в Бедламе просыпается сознание, ведя за собою тени сомнений и угрызений совести. Кажется, вот-вот — еще один момент просветления, и ни в чем не повин-

ная Дездемона останется жива, а оклеветанный Кассио вернет себе напрасно отнятое лейтенантское место. Но — не надейтесь по-пустому! «Честный Яго» настороже и — для просыпающихся совестей у него всегда наготове морфий хорошо сфабрикованных лжей, рассчитанных на то, чтобы человек услышал как раз то, что ему выгодно и приятно слышать. Великолепнейший образец такой государственной лжи — выше приведенная речь Победоносцева в государственном совете 8-го марта 1881 года, которую он начал трагическим воплем:

— Finis Russiae! *

А затем принялся убеждать царя, правящего государством всего одну неделю, что Лорис-Меликов навязывает ему конституцию и конституция есть гибель отечества. Мы видели, что попутно он оболгал земство, оболгал суд, оболгал печать, и все это безнаказанно.

Я охотно признаю победоносцевское мужество лжи талантом, из ряда вон выходящим. Из русских государственных знаменитостей кличку «отца лжи» имел когда-то Н.П. Игнатьев, и действительно, лгал виртуозно, с вдохновением. Но есть ложь Ноздрева, Хлестакова, Репетилова, и есть ложь Яго, Ричарда III, Эдмунда Глостера. Азиатская дипломатия Игнатьева все-таки больше питалась первою категорией, почему он сравнительно и рано вышел в государственный тираж. Победоносцев лгун второй категории: его ложь опирается на извращенное миросозерцание, рождающее доказательства, полные какой-то крокодильей убежденности, — она систематична и непоколебима, она — злобная карикатура правды, поставленной вниз головою и клеветнически перевернутой вверх ногами. Бывают фанатики своей правды; Победоносцев — фанатик своей лжи: он способен единовременно расстреливать прихожан в Крожах и зарекаться именем Бога от желания насило-

---

* Конец России! (*лат.*)

вать чьи-либо религиозные убеждения — соловьем разливаться о «терпимости ко всякому верованию, свойственной национальному характеру нашему» и даже возмущаться другими вероисповеданиями, когда они не слишком-то доверчиво относятся к православному обряду и духовенству. Победоносцев описывает смерть Эдиты Раден: она скончалась лютеранкою, но Победоносцев и его друзья окружили больную православными иконами. «Как подозрительно смотрел на эту икону лютеранский пастор, посещавший больную! Конечно, он боялся, как бы православные не похитили тайно эту овцу из его стада. Напрасные опасения: в числе православных друзей Эдиты никто не решился бы насиловать ее совесть». Это очень жалостное зрелище: видеть, как обер-прокурор Святейшего Синода терпит несправедливое гонение от подозрительного пастора, — но, откровенно говоря, сей лютый гонитель имеет за себя смягчающие вину обстоятельства. Увидеть свою прихожанку среди отрицаемых ее церковью икон, — да еще у изголовья сидит сам К.П. Победоносцев, всемирно прославленный своею «неспособностью насиловать совесть», — тут есть от чего в отчаяние прийти лютеранскому пастору. Еще диво, что он только «смотрел подозрительно», а не прямо бежал куда глаза глядят от опасности обвинения, что, мол, пришел переобращать «обращенную». В «Холмской Руси» и в Литве ксендзов лишали прихода и подвергали гонениям за гораздо меньшие прегрешения: например — за молитву над умершим, который прожил жизнь католиком, а при смерти узнал под нагайками победоносцевских апостолов, что кто-то и когда-то сделал его православным.

Итак, мы видели Константина Петровича Победоносцева угнетенным от гонителей из иностранных исповеданий. Перейдем в другую область и посмотрим, как Константин Петрович страдал от насилий, творимых «свободною печатью». Заметьте: Константин Петрович, говоря о печати, все-

гда подчеркивает — *свободная* печать, *свобода* печати и т.д. Честный Яго, конечно, очень хорошо знает, что никакой свободы печати у нас нет и никакая свободная печать поэтому невозможна. Но честный Яго пишет ведь для особой, специальной публики: для невежественных Отелло, которые столько же осведомлены, какая у нас печать — свободная или порабощенная, — сколько знал Александр I — о крепостном праве в своем государстве. В 1819 году обсуждались в государственном совете меры к улучшению быта крестьян. Присутствовал Александр I и был очень взволнован прениями, которые он услышал. Волнения были чрезвычайно гуманны, мнения человеколюбивы, но, выходя из заседания, Кочубей с печальною улыбкою сказал Мордвинову: «А ведь государь-то процарствовал почти двадцать лет, не зная, что в России продают людей врозь с семьями, как скотину...» Александра I Победоносцев не любит, Александра III — обожал, но — как первый смотрел на крепостное право сквозь стекла, разрисованные современными ему честными Яго, так и Александру III подставлено было Победоносцевым разрисованное стекло для рассмотрения всех элементарных прав человеческого общества, в том числе и «свободы печати». Вот ужасы, которые, по уверению Победоносцева, обрушивает на каждого гражданина или «верноподданного» страшная «говорильня», называемая «свободною печатью». «Всякий, кто хочет, первый встречный может стать органом этой власти, представителем этого авторитета, — и притом вполне безответственным, как никакая иная власть в мире. Это так, без преувеличения: примеры живые налицо. Мало ли было легкомысленных и бессовестных журналистов, по милости коих подготовлялись революции, закипало раздражение до ненависти между сословиями и народами, переходившее в опустошительную войну. Иной монарх (sic!) за действия этого рода потерял бы престол свой; министр подвергся бы позору, уголовному преследованию и суду, но журна-

лист выходит сух, как (?) из воды, изо всей заведенной им смуты, изо всякого погрома и общественного бедствия, коего был причиною, выходит с торжеством, улыбаясь и бодро принимаясь снова за свою решительную работу». Оставим в этой не весьма грамотной тираде в стороне смелую гипотезу о существовании мифически могущественных журналистов, делающих якобы пером своим революции: хорошо ведь известно, что в действительности-то, — наоборот, не журналисты — революцию, а революция журналистов делает. Оставим в стороне еще более смелую гипотезу о бытии фантастических монархов, лишающихся престола за то, что они делают революции против себя самих. Ограничимся скромною параллелью министров с журналистами. Не правда ли, прочитав грозный приговор Победоносцева министру, повинному в разжигании «ненависти между сословиями и народами», можно подумать, что фон Плеве, организатор Кишиневского погрома, скончался, по меньшей мере, лишенный всех прав состояния («позор»)? Петр Николаевич Дурново, устроитель кровопролитных сражений с мирными московскими обывателями, сидит в доме предварительного заключения («уголовное преследование»)? Петр Аркадьевич Столыпин, герой Белостока и Седлеца, трепещет на скамье подсудимых, ожидая рокового приговора («суд»)?.. Что касается способности журналистов выходить сухими из воды (не «как из воды»), тут г. Победоносцев прав: я сам, однажды, испытал присущность мне этого профессионального дара, когда не утонул в наледи Енисея. Но вот — зачем было мне попадать в эту наледь Енисея, которого я никогда и видеть-то не желал, — мне, по уверению г. Победоносцева, *«безответственному»* журналисту, властному более монархов и министров? Я испытал наледь Енисея, другие товарищи удостоились наледи Байкала, Лены, Оби, Иртыша, третьи мучились на Каре, в Акатуе, на Сахалине, в Якутске. Еще года нет, как храбрый генерал Ренненкампф приговорил

к смертной казни четырех *«безответственных»* журналистов в Верхнеудинске, и лишь протест всей мыслящей России даровал несчастным жизнь — на условии вечной каторги! Торжествующий революционер-журналист в кандальном уборе, — угнетенный министр за завтраком на Фонтанке в *«здании у Цепного моста»*. Действительность — увы, слишком хорошо известная. Из тысячи *«безответственных»* журналистов девятьсот, наверное, прошли страду участка, тюрьмы, ссылки, кандального звона, полицейского бойла, якутской ночи, каторжных и смертных приговоров. Эту действительность знают все, она непреложна. Но государственный Яго ставит ее вверх ногами, отражает ее в гримасничающем зеркале своей лжи и подносит сквозь разрисованное окно своим доверчивым Отелло: смотри! И...ответственных министров г. Победоносцев покуда в России не насадил, но ответственных журналистов посажено по всяким местам, «где не пахнет розами», сколько угодно. Живая правда России — ответственность журналиста при безответственности министра. Мертвая, гнилая ложь Победоносцева — твердит как раз наоборот.

Дальше.

«Журналист имеет полнейшую возможность запятнать, опозорить мою честь, затронуть мои имущественные права; может даже стеснить мою свободу, затруднив своими нападками или сделав невозможным для меня пребывание в известном месте... Судебное преследование, как известно, дает плохую защиту, а процесс по поводу клеветы служит почти всегда средством не к обличению обидчика, но к новым оскорблениям обиженного; а притом журналист имеет всегда тысячу средств уязвлять и тревожить частное лицо, не давая ему прямых поводов к возбуждению судебного преследования. Итак, можно ли представить себе деспотизм более насильственный, более безответственный, чем деспотизм печатного слова?»

Это писалось — и бумага вытерпела! — в государстве, где пресса десятки лет задыхалась, как рыба, в когтях такого милого учреждения, как Главное управление по делам

печати. И когти эти еще не распустились, и Главное управление по делам печати умирать еще не собирается.

Это писал — и бумага вытерпела! — человек с такою исключительною государственною властью, что, когда он бывал недоволен начальником Главного управления по делам печати, то сменял сего сановника простым разговором по телефону с министром внутренних дел, словно неугодившего лакея.

Это писалось — и бумага вытерпела! — в то время, когда в судах свирепствовал закон о диффамации, не допускавший оправдания подсудимого, так что им стыдились пользоваться даже и обвинители-то, которые посовестливее.

Это писалось — и бумага вытерпела! — среди прессы с завязанным ртом, почти обезумленной шестнадцатилетнею пыткою в победоносцевском застенке, под клещами и обухом таких заплечных мастеров, как Дурново, Горемыкин, Соловьев, фон Плеве. В суждениях Победоносцева об уличной, так называемой маленькой и «желтой» прессе, есть банально справедливые приговоры (например, о шантаже). Но кто же создал-то эту гнусную прессу, столь характерную для восьмидесятых и девяностых годов России, как не он — Константин Петрович Победоносцев со своими высокопоставленными орудиями и со своими низкопоклонными помощниками и прислужниками? Кто загасил политическую мысль шестидесятых и семидесятых годов, убил грубою силою журнал и серьезную газету и бросил в публику как суррогат общественного мнения органы безразличной информации («большая пресса») и органы просто сплетни и кафешантанной грязи? Кто вырвал периодическую печать из рук Стасюлевичей, Салтыковых, Михайловских, Елисеевых, чтобы обратить ее в наложницу сутенеров, сидельцев питейного дома, молодцов кафешантанных, сыщиков или лакеев, угодивших Каткову либо самому Победоносцеву искусным подаванием шубы? Кто низвел печать до такого откупного

унижения, что прихлебатели г. Победоносцева, получив через него разрешение на журнал или газету, устраивали потом своеобразные аукционы с вымогательством, какой перекупщик даст больше? Кто создал «ответственного редактора» по назначению — эту наглую, действительно, уж начисто и целиком шантажную тварь, которую Главное управление по делам печати навязывало каждой редакции как своего «излюбленного человека», шпиона и домашнего цензора и вымогало для этого сокровища от издателей годовые жалованья — взятки в 12, в 18 000 рублей? Кто растлил театр, закрывая доступ на русскую сцену «Вильгельму Теллю», «Орлеанской деве», «Веселым Расплюевским дням», «Купцу Калашникову», скопя и урезывая «Бориса Годунова», но давая свободный рост оперетке, кафешантану и развратному фарсу — щекочущим орудиям нутряного, животного смеха, смеха до тупого самозабвения, смеха Иванушки-дурачка? О восьмидесятые годы, управляемые К.П. Победоносцевым, были, несомненно, очень целомудренною эпохою в правительстве русском. Они имели один недостаток: настолько боялись чуть было не состоявшейся конституции, что ради забвения о ней предпочитали — лишь бы не нашлось помещения и почвы для парламента! — обратить хоть все общественные здания Российской империи в публичные дома. Это была эпоха русского бонапартизма, повторявшая буквально все ухищрения Наполеона III, предпринятые после февральского coup d'etat* с целью отвлечь французов от политики и заставить их s'amuser**. Наполеон III не хуже г. Победоносцева понимал роль «инерции», которую «обыкновенно смешивают с невежеством и глупостью», в деле укрепления деспотизма и не стеснялся развивать эту «инерцию» всеми зависевшими от него стыдными и насильственными средствами, вклю-

* Государственный переворот (*фр.*).
** Развлекаться (*фр.*).

чительно именно до рептильной прессы и гласных игорных и публичных домов, под псевдонимами кафешантанов. Наполеон III, говорят, был человек очень развратный. Г. Победоносцев, говорят, человек чрезвычайно нравственный... вроде Анджело в шекспировской «Мера за меру». И, увы, все же высокая нравственность Победоносцева — родная дочь и верная ученица Наполеонова разврата и занимается одним с ним ремеслом.

Одурять толпу подложным званием, подложными учреждениями, подложною печатью, подложными удовольствиями, — вот что значит, по мнению Победоносцева, управлять народом. Всякое положительное знание для него отвратительно. Чернильница ученого — натуралиста, психолога, социолога — производит на него такое же впечатление, как чернильница Лютера — на искушавшего черта. В этом отношении замечательно характерны поистине мефистофельские книжки Победоносцева — «Учение и учитель». Это — по очереди кордегардия и католическая исповедальня: педагогический захват и тела, и души ребенка. Гимн «натуральной» необразованности и проклятие «общему образованию». Протест против Евангелия в руках ребенка (не дорос!) и настойчивое требование слияния школы с церковностью. Само собою разумеется, что Победоносцев поклонник, защитник и покровитель подчинения школьной системы господству древних языков. Не могу удержаться, чтобы не привести одного из дивных софизмов, которыми он воспевает им хвалу: «Эллинская и латинская речь — языки, не употребляемые в живой речи, а потому почитаемые мертвыми, потому именно способны оживлять юным духом склад новой живой речи». Образцовое систематическое безобразие этой фразы — нельзя сказать, чтобы давало хороший пример влияния древних языков, — в которых Победоносцев, конечно, знаток, — на «способность разумно обращаться со словом» и на «склад живой новой речи». Не говорю уже о логичес-

кой бессмыслице, в ней заключенной: мертво, потому что живо, и живо, потому что мертво. Опять — пристрастие к мертвечине, к гнили, к тлению, опять вампирская логика, диалектика упыря: если хочешь быть живым, питайся трупным прахом, — опять насмешливая параллель из Пушкина:

Горе! Малый я не сильный,
Съест упырь меня совсем,
Если сам земли могильной
Я с молитвою не съем...

И вспомните восьмидесятые и девяностые годы: сколько «не сильных малых» погибло от упырей и вампиров русской школы, потому что не смогли «с молитвою есть могильную землю» науки Толстых, Катковых, Леонтьевых, Победоносцевых, Георгиевских. Сами вампиры сосали из молодого поколения живую кровь, а детей отравляли мертвечиною. И когда от вредной пищи поколения глупели и вырождались, — вампиры радовались:

— Слава нам! Вырастут — будут не общество, а стадо. И, стало быть, не будут бунтовать.

Другое орудие словесной науки для русского человека: «*Наш* церковно-славянский язык — великое сокровище *нашего* духа, драгоценный источник и вдохновитель *нашей* народной речи. Сила его, выразительность, глубина мысли, в нем отражавшейся, гармония его созвучий и построение всей речи — создают и красоту его «неподражаемую»». В восхвалении этого нового покойника Победоносцев так злоупотребляет местоимением *наш*, что хочется сказать ему: «Вот это верно! Parlez pour vous, mon cher!» * Как раз на почве «неподражаемых красот» церковнославянщины, выкрученной словоизвитиями допетровских приказов и выправленной

* Говорите за себя, мой дорогой! (*фр.*)

потом для XIX века в «периоды» реформою Карамзина, развилось то уродливое растение, что позорит русскую речь под именем бюрократического, казенного, канцелярского языка, — а в нем первый знаток, мастер и элоквенции профессор — Константин Петрович Победоносцев. Не надо читать сочинений Победоносцева, чтобы знать этот проклятый, фальшивый язык — дутый и напыщенный, как надпись на повапленном гробе. Достаточно вспомнить, что Победоносцев — или автор или редактор огромного большинства манифестов, указов, рескриптов, обращенных к России от имени трона. Я не знаю большего таланта широковещательно глаголать — и не сказать ничего: талант старинных подьячих, гордившихся умением написать бумагу так, чтобы на нее противная сторона не могла отписаться — по непониманию, что, собственно, в ней ищется и сказано? Из всех государственных окон, разрисованных Победоносцевым, эти его велеречивые фехтования правительственным словом, с величественными недомолвками и красноречивыми двусмысленностями, быть может, самые вредные и нечестные. Во всех государствах Европы законодательная власть старается прежде всего, чтобы законы страны и обращения к стране от имени верховной власти звучали точно, ясно, просто и бесспорно. Только в России облекают их велеречием, которое так запутывает и затемняет их смысл, что они теряют половину своего значения и обязательности. Истина по русскому закону — ведь это в самом деле «результат судоговорения»! Благодаря языку Победоносцева, — «лживому и темному языку кудесника» — каждый русский законодательный акт обращается в дремучий лес, требующий комментариев чуть не целыми томами, в спорное дело, полное уверток pro и contra, в междустрочность, обостряющую свирепость буквы закона по произволу ее исполнителя. Победоносцев — систематический отравитель русского государственного права. Слово ему необходимо только, как схема пролазной и увертливой лжи.

Мне случалось говорить с лицами, хорошо знавшими Победоносцева как преподавателя и воспитателя: качества особенно важные, потому что этот Ахимелех вскормил млеком разума своего многих стоящих у правительственного кормила России. И здесь — та же система обаятельной лжи. Человеку слабохарактерному он льстит, притворно ужасаясь опасностей его мнимой решительности. В ограниченные вялые мозги вбивает самолюбивые мыслишки, что ты, мол, настолько умен и глубок, что тебя никто из окружающих не в состоянии даже понять. В мелком властолюбце он развивает подозрительную обидчивость, страх и недоброжелательство ко всякому совету, отвращение ко всякому человеку, в котором сказываются живой ум и сильная воля. Победоносцев ненавидит католицизм, но в педагогической тактике сам он — типический дисциплинатор католической конгрегации, умело и вкрадчиво, железною рукою в бархатной перчатке порабощающий их в куклы с заводным механизмом. У них нет своего ума, у них нет своего звания. Они приобретают знание постольку, поскольку попускает его победоносцевский авторитет, а мы видели, какой ужас к знанию живет в этом человеке. У них нет мыслей, не испытанных цензурою Победоносцева, и слов, ею не пропущенных. У них нет чувств, которым они смеют отдаться с непосредственной искренностью, не справившись с Победоносцевскою маргариновою моралью. Воспитание Победоносцева — вот истинный источник анекдотического невежества учеников его, блистающих в Звездной Палате, их надменности, мнительности и жестокости. Нельзя безнаказанно учиться у вампира. Кого укусит вампир своим отравленным зубом, тот понемногу становится вампиром сам.

Есть оптимисты, которые и в аду найдут хорошие бытовые стороны. Им принадлежит честь изобретения пословицы, что — «не так страшен черт, как его малюют!» У Победо-

носцева тоже имеются свои защитники, отстаивающие — правда, очень стыдливо — некоторые, якобы положительные черты этой мрачной и нелепой фигуры. Я не планеты Звездной Палаты имею здесь в виду, конечно, — тем-то поклонение Победоносцеву к лицу и масти, оно в них естественно и необходимо. Напротив, неестественно было бы, если бы они отрицали Победоносцева. Хотя я между ними, говорят, некоторые — за глаза и под шумок — без церемонии величают своего бывшего прецептора и пожизненного диктатора — horribile dictu — «сатаною»... Но мы, русские, сострадательные психологи, у нас необычайно развита страсть, над которою так издеваются французы, искать жемчугов в навозной куче, последних искр добродетели в сводне, целомудрия даже в Федоре Павловиче Карамазове, щедрости даже в Плюшкине и человечности даже в Победоносцеве! Но — увы! — пресловутый девиз Виктора Гюго «Le beau c'est le laid» *, — терпит на Победоносцеве полнейшее поражение. Поверните вы Победоносцева спереди, сзади, слева, справа, осмотрите его с востока, юга, запада и севера, — никакого beau он предъявить не в состоянии: со всех сторон — безобразие лицемерной лжи, злости для злости, насилия, возведенного в принцип, глумления и кощунства над святейшими чувствами, мыслями и правами человечества; со всех сторон — бюрократический вампир, сосущий народную кровь и превращающий ее в канцелярские чернила. Мне говорят: Победоносцев бескорыстен. В переводе на российский обывательский язык эта аттестация обозначает: Победоносцев — не государственный вор. Конечно, в среде, где товарищами министра являются Гурки и К° и где о самих министрах рассказывают легенды, будто — «заставили его икону целовать, что воровать больше не будет, а он в это самое время с иконы-то самый лучший бриллиант и выкусил» — конечно, в такой милой среде «не быть вором» — качество уже исключительное. Но в арабских сказках есть

* Игра слов: красивое уродливо или красота — это уродство (*фр.*).

одна — о судье, который сделался бескорыстным, потому что получил во власть свою... золотую гору! Какой еще корыстности хотите вы искать в человеке, столь удовлетворенном, что может распоряжаться, по произволу, золотою горою? И аттестат ли бескорыстия — что, имея в распоряжении золотую гору, он еще и не мелкий вор?.. Притом еще одно замечание о государственном бескорыстии Победоносцева. Так точно, как он, бескорыстны и воронка, и ливер, которыми переливают вино из бочки в бутылки. В сих инструментах ведь не застревает ни капли вина, — они все отдают бутылкам. Но в результате их работы — бочка остается пустою досуха. Победоносцев, может быть, не грабил казну сам, но уже одна близость к Победоносцеву обогащала сотни крупных и тысячи мелких пиявок, присосавшихся к русской казне, и в них, как ливер в бутылки, переливал он всю жизнь свою народные деньги. Победоносцев был, есть и будет центром попрошаек, вожделеющих государственного и общественного грабежа, искателей аренд и доходных мест, концессионеров, субсидированных опричников от печати и опричников просто, «контрреволюционеров», раздающих народу патриотические картинки, которые типографии стоят гроши, а государству обходятся рубль штука, людей, стригущих страну под предлогом, что защищают самодержавие, стригущих веру в качестве ташкентцев православия, стригущих народ во имя девиза «Россия для русских». Я охотно верю, что Победоносцев презирает деньги. Кто же больше его видел, сколькой безмерной подлости и мрачной алчности они эквивалент? Но, презирая деньги, он горстями швырял их, как посев, на нивы самых низких, пошлых, грубых, темных слоев своей родины, и страшные посевы всходили кровью, разорением, муками и голодом русского народа. Пословицу, что «не так страшен черт, как его малюют», немцы произносят: «Не так страшен черт, как его малютки». Вот именно эта версия хороша для Победоносцева. Сам-то он, может быть, и не государственный вор, но победоносцевские «малютки» ограбили Россию.

Говорят: Победоносцев умен... Об этом я даже и говорить не стану. Говорите о внешней наличности умственных способностей, дозволяющих ему подделывать напоказ ту или другую сложную внешнюю форму софистической гимнастики, — это я пойму, это так. Но *умный* государственный деятель, направивший свою деятельность таким путем, что в государстве развалилось все то, что он охранял? Умный человек, посвятивший свою жизнь борьбе со всем, что мило и дорого человечеству, чем оно живо, на что возлагает оно свои упования? Умный человек, зачеркнувший движение жизни и узаконивающий гнилое упокоение могилы? Умный человек, прославляющий глупость и невежество как основные опоры государства? Умный человек, мечтающий погасить солнце, любитель тьмы, способный цензурным veto зажать творческое: «Да будет!» — даже в устах своего Бога?!

Говорят: Победоносцев человек нравственный. Я уже указывал выше, какое именно нравственное разложение внесла в русское общество государственная деятельность высоконравственного г. Победоносцева. Что России в том, что за спиною г. Победоносцева не стоит какой-нибудь французской актрисы, балетчицы, либо даже какого-нибудь миньона, как — увы — слишком часто случается в некоторых, иногда даже и близких г. Победоносцеву ведомствах? Это все равно, как если бы ставить г. Победоносцеву в общественную заслугу аттестацию: «Непьющий». «По мне уж лучше пей, да дело разумей!» — говорил дедушка Крылов, за что и ненавидел его учитель, из школы которого вышел как лучший цвет ее... Павел Иванович Чичиков: один из типичнейших предшественников г. Победоносцева по подлогу живых душ душами мертвыми! Пьет ли, не пьет ли г. Победоносцев, путается ли он с г-жами Балетта и иными подобными, живет ли в аскетическом целомудрии, — что нам? Это г. Победоносцева личное, частное дело. Но не личное дело, а общественное преступление г. Победоносцева — та его «высокая нравственность», что отталкивала от общества и ввергала в позор прелю-

бодейную жену, которую пощадил от осуждения и камней Учитель, чьим любвеобильным именем г. Победоносцев, как хитрый узурпатор-самозванец, стал всесилен в России. Не личное дело, а общественное преступление — те «внебрачные» младенцы, которых он топтал своею «высокою нравственностью» и истребил их — о, гораздо больше! — чем царь Ирод в Вифлееме. Не личное дело, а общественное преступление г. Победоносцева — его противодействие разводу по взаимному соглашению супругов, то есть его потворство фактическому разврату под номинальным, потерявшим всякий смысл и влияние покровом формального благословения церкви. Был ли на Руси когда-либо другой человек, внесший столько несчастия, срама, осквернения, сыскного позора в русскую семью? Был ли в христианской истории другой фарисей с поднятым камнем, более готовый бросить его в жертву — назло Учителю, которого он цензурирует как великий Инквизитор?..

Да лучше бы он пил, как «Бурцев-ёра, забияка», лучше бы он держал гаремы и серали, лишь бы он не был тем, что он есть — Победоносцевым, Анджело из шекспировской «Меры за меру». Потому что — публичные дома, переполненные обманутыми девушками; игорные дома и кафешантаны, переполненные женами, гуляющими от ненавистных «законных» мужей, и мужьями, удирающими от ненавистных «законных» жен; воспитательные дома, переполненные результатами всего этого полового хаоса — ни в чем неповинными и на 90% обреченными на смерть младенцами, — вот они, результаты «высокой нравственности» г. Победоносцева! Вот они! Morituri, te salutant! * Где ты, вампир, там — смерть! О великий фабрикант ангелов, величайший во всей вселенной! Слава тебе! Слава смерти и разложению, которым ты служишь! Слава тебе!

Довольно говорить о Победоносцеве. Может быть, оно и не довольно еще, но я не могу больше. И не потому, что нечего

* Идущие на смерть привествуют тебя! (*лат.*)

еще сказать. А потому, что руки трясутся, за горло судорога берет и — бешеный ужас встает в душе при мысли, что сорок четыре года жизни своей ты — стыд и горе тебе! — прожил под властью подобного чу... Я чуть было не написал: чудовища, — нет, в том-то и оскорбление, что даже не чудовища, но — «чучела»: не чудовище, а чучело терпели мы над собою, россияне!

А что «чучело Победоносцева» и «власть» суть синонимы... вы еще сомневаетесь?

Я — нет.

За мою характеристику Победоносцева меня, конечно, будут ругать. Быть может, даже не только те круги, для которых Победоносцев — российско-византийский папа без конклава, наместник Бога на русской земле. С этими последними дураками, — да они же, кстати, в большинстве, и государственные жулики, — мне говорить не о чем...

А прочим недовольным — скажу одно:

— Милостивые государи! Я — ученик гимназии Дмитрия Толстого, вдохновленной Победоносцевым, я — студент университета, раздавленного Победоносцевым, я — журналист в печати, изнасилованной Победоносцевым, я — член общества, обращенного Победоносцевым в публичный дом... Милостивые государи! Я глотал Победоносцева, как все вы, день за днем, год за годом, десятилетие за десятилетием... И вот dixi et ammam levavi *... А помните, как Щедрин переводил сие изречение? «Dixi et animam levavi: сказал и стошнило меня...»

Тошнота от Победоносцева не может быть красива и благоуханна, как розы Альфреда де Мюссе.

И — все-таки — одного вам всем желаю: чтобы все вы ее ощутили!

31 декабря 1906 года

Paris

---

* Сказал, и на душе стало легче... (*лат.*)



ПРИМЕЧАНИЯ

ВОСЬМИДЕСЯТНИКИ
(Роман)

КНИГА 2. КРАХ ДУШИ

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. Соч. Т. 12. Концы и начала. Хроника 1880 — 1910 гг. Серия первая. Восьмидесятники. Роман. Изд. 3-е. СПб.: Просвещение, <1911>.

Медовый месяц

С. **7.** *Cinquecento* (Чинквеченто; букв. пятьсот) — итальянское название XVI века, в который культура Высокого (1490–1520) и Позднего Возрождения прошла путь от наивысшего расцвета до кризиса.

С. **20.** *...это геростратово что-то...* — Житель Эфеса Герострат, жаждавший славы, поджег храм богини Артемиды в ночь рождения Александра Македонского.

Письмо

С. **22.** *Офелия* — героиня трагедии Шекспира «Гамлет».

С. **25.** *Свистунов, Держиморда* — персонажи комедии Гоголя «Ревизор» (1836).

С. **26.** *...схематическою сушью Филаретова катехизиса...* — «Катехизис» (1822) митрополита Московского Филарета, впоследствии переиздававшийся в качестве основного наставления в православной вере для всех, кто обращался к христианской церкви.

...священная история Рудакова... — Вероятно, имеется в виду популярное руководство по истории Ветхого и Нового Завета «Краткая церковная история» (10-е изд., 1900) профессора богословия А.П. Рудакова.

«Горная идиллия» («На горе стоит избушка...») — стихотворение Генриха Гейне.

Аплике — изделие из простого металла, покрытого серебром.

С. 27. *Карамазов, Свидригайлов* — герои романов Достоевского «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание».

С. 28. *Спарафучиле, Риголетто, Мантуанский герцог* — персонажи оперы Дж. Верди «Риголетто» (1851).

С. 29. *Христос был бы не полон без Иуды, Сократ — без цикуты...* — Иуда — апостол, ученик Иисуса Христа, предавший его за 30 сребренников. Сократ — древнегреческий философ; обвиненный в «развращении молодежи», был приговорен к смерти (принял яд цикуты).

Дульцинея Тобосская — героиня романа Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605, 1615). Воображение влюбленного Рыцаря Печального Образа превратило тобосскую крестьянку Альдонсу Лоренсо в благородную красавицу Дульсинею. «Лирический подвиг Дон Кихота, — пишет Ф. Сологуб в очерке «Мечта Дон Кихота», — в том, что Альдонса отвергнута как Альдонса и принята лишь как Дульцинея. Не мечтательная Дульцинея, а вот та самая, которую зовут Альдонсою. Для вас — смазливая, грубая девка, для меня — прекраснейшая из дам. Ибо не должно быть на земле грубой, смазливой, козлом пахнущей Альдонсы. И если кажется, что она есть, то лирическое восприятие мира требует чуда, требует преображения плоти».

Вальпургиева ночь — праздник весны древних германцев, совпадавший с днем памяти католической святой Вальпургии и отмечавшийся в ночь на 1 мая. Согласно народным поверьям, на празднестве устраивался «шабаш ведьм» на Брокене, самой высокой вершине в горах Герца. «Вальпургиева ночь» — одна из сцен в трагедии Гёте «Фауст» и в одноименной опере Ш. Гуно.

С. 30. *...«Ступай в монастырь!..»* — Слова Гамлета, обращенные к Офелии: «Ступай в обитель ... А если тебе непременно надо мужа, выходи за глупого» (Шекспир. Гамлет. Акт 3. Сц. 1. Пер. Б.Л. Пастернака).

Эдем — по библейской легенде, земной рай, местопребывание человека до его грехопадения. В переносном значении — благодатный уголок земли.

С. 31. *Рудин* — герой одноименного романа (1856–1860) И.С. Тургенева.

Университетская история

С. 33. *«Суб»* — субинспектор, университетская должность помощника инспектора.

С. 33. *Кит Китыч Брусков* — Тит Титыч Брусков, персонаж пьес А.Н. Островского «В чужом пиру похмелье» и «Тяжелые дни».

Самсон Силыч Большов — купец из комедии А.Н. Островского «Свои люди — сочтемся!»

С. 34. *«Ивашка Хмельницкий»* — синоним пьяницы, забулдыги.

С. 36. *Синекура* (от лат. sine cura без заботы) — хорошо оплачиваемая должность, не требующая особого труда.

Бахус — одно из имен Диониса, в греческой мифологии бога виноградарства, виноделия, плодоносящих сил земли, растительности.

Идиосинкразия (греч. idios своеобразный + synkrasis смешение) — повышенная чувствительность человеческого организма к некоторым продуктам, веществам, медикаментам, воздействиям.

С. 37. *Мизогин* — женоненавистник (мизогения — ненависть к женщинам).

Эскулап — в римской мифологии бог врачевания (у греков Асклепий).

С. 38. *Сбиры* — судебные и полицейские служители (в бывшей Папской области).

С. 41. *...возвращения к уставу 1864 года...* — Имеются в виду новый университетский устав (1863) и новый устав средних учебных заведений (1864), значительно расширившие их права и самостоятельность в управлении. Приняты по инициативе министра народного просвещения А.В. Головнина (1821–1886).

С. 42. *...у юристов отняли Муромцева, Ковалевского, Гольцева...* — Названные лица — юристы по образованию, прославившиеся в других сферах общественной, государственной и научной деятельности (см. о них указ. имен).

С. 43. *...пароль к «Народной Немезиде».* — Немезида (греч. справедливо негодующая) — в греческой мифологии богиня, наблюдающая за справедливым распределением благ среди людей. Изображалась с атрибутами равновесия, наказания и быстроты (весы, уздечка, меч или плеть, крылья, колесница, запряженная грифонами).

С. 44. *Громовержец уже сыплет свои перуны.* — В славянской мифологии громовержец — Илья-пророк, Перун — бог грозы (грома и молнии).

Возвращение Чернышевского? — Н.Г. Чернышевский в 1862 г. был заключен в Петропавловскую крепость, а с 1864 до 1883 г. находился на каторге и в ссылке в Сибири.

С. 45. *...тосты за «Незнакомку»...* — Имеется в виду стихотворение А. Блока «Незнакомка» («По вечерам над ресторанами...», 1906), весьма популярное в начале века.

С. 47. *Казанскую площадь... желаете повторить?* — Имеется в виду массовая политическая демонстрация в центре Петербурга на площади перед Казанским собором, организованная 17 декабря 1876 г. тайной группой заговорщиков «Земля и воля». Была разогнана под руководством градоначальника Ф.Ф. Трепова. 21 участник был предан суду, большинство отправлены на каторгу. «Казанские демонстрации» повторялись в 1897, 1901, 1902 гг.

Патриаршие пруды — название трех прудов, существовавших в усадьбе патриарха на Козьем болоте в Москве. Ныне уцелел один — в районе Малой Бронной.

С. 49. *...везут наказывать на Болото, где объявлялись в старину приговоры.* — В XIV–XV вв. Болотом назывался район в Замоскворечье (напротив московского Кремля), где проводились зимние торги, кулачные бои, а в XVII–XVIII вв. — публичные казни (в частности, здесь был казнен Емельян Пугачев).

С. 53. *Шлиссельбург* — петербургская крепость в истоке Невы, на острове Ореховом, бывшая политическая тюрьма (с начала XVIII в.). Ныне музей.

С. 57. *...повторим семьдесят восьмой год...* — Имеется в виду «Процесс 1930-х» («Большой процесс»), крупнейшее политическое судебное расследование в России, состоявшееся в Петербурге 18 октября — 23 января 1878 г. Было арестовано более 4000 участников «хождения в народ». Из них на каторгу отправлены 28 революционеров-народников, обвиненных в государственном терроризме.

С. 59. *Погибни, душа моя, с филистимлянами!..* — Филистимляне — один из народов, населявших Палестину. Исторические книги Ветхого Завета изобилуют повествованиями о битвах между евреями и филистимлянами, о переменных победах того и другого народа, а также о том, что как только израильтяне уклонялись от Бога и Его закона, филистимляне усиливались и успешно совершали свои набеги.

С. 64. *«Gaudeamus»* — «Gaudeamus igitur» («Итак, будем веселиться!» — лат.), старинная студенческая песня.

С. 67. *Посейдон* — в греческой мифологии один из главных олимпийских богов, владыка моря. Гомер в поэме «Одиссея» описывает, как Посейдон, невзлюбивший этого странствующего ге-

роя, насылает на него и его спутников страшную бурю, разбивает их плот.

С. **68.** *...вместо «Народной Немезиды»... скандал.* — См. примеч. к с. 43.

...разгромлен... хуже, чем Иерусалим — Титом. — Римский император Тит Флавий Веспасиан (39–81) в 70 г. подавил восстание иудеев и разрушил Иерусалим.

С. **70.** *...был уведен сеидами своими...* — *Сеиды* — здесь в значении: сторонники, сподвижники. У мусульман сеид — почетный титул тех, кто ведет свою родословную от пророка Мухаммеда.

С. **72.** *...как Апухтин подтягивал Варшаву, а Сергиевский — Вильну.* — А.Л. Апухтин в 1879–1897 гг. занимал пост попечителя Варшавского учебного округа; «в учебных заведениях Царства Польского он преследовал крайне узкие русификаторские цели» (Витте С.Ю. Избранные воспоминания. М., 1991. С. 47). Такую же политику в эти годы проводил Сергиевский, попечитель Виленского учебного округа.

С. **74.** *...пощечины (они тогда были-таки в моде)...* — Так, например, во время беспорядков в Казанском университете 30 октября 1882 г. студент Воронцов дал пощечину проректору Фирсову. В 1883 г. пощечину от студента Варшавского университета Жуковича, русского по национальности, получил попечитель Варшавского учебного округа А.Л. Апухтин за откровенно русификаторскую политику и преследование студентов. В ответ через несколько дней после этого был опубликован императорский рескрипт о награждении Апухтина орденом Александра Невского: «В воздаяние отлично-усердной службы Вашей и непреклонно-твердых усилий Ваших к осуществлению по вверенной Вам отрасли управления наших предначертаний, направленных к теснейшему единению Привисленского края с прочими частями империи».

С. **75.** *...губернатор Перфильев, с которого, говорят, Лев Толстой написал Стиву Облонского...* — Современники Л.Н. Толстого считали губернатора Москвы В.С. Перфильева прототипом Стивы Облонского, героя романа «Анна Каренина».

С. **76.** *Селадон* — воздыхатель; имя влюбленного пастушка из романа «Астрея» французского писателя XVII в. О. д`Юрфе.

С. **77.** *Бонвиван* (фр. bon vivant) — кутила, весельчак.

С. **78.** *...о чести был одного мнения с Фальстафом.* — Джон Фальстаф — герой пьес Шекспира «Генрих IV» и «Виндзорские на-

смешницы», а также оперы Верди «Фальстаф» (1892); хвастун, пустомеля, выпивоха, честь для которого была пустым звуком.

С. **84.** *Техническое училище* (1830) — один из старейших в Москве высших инженерных вузов (с 1917 г. — МВТУ им. Баумана).

Петровская академия — Петровско-Разумовская земледельческая и лесная академия, основанная в Москве в 1865 г. Ныне — Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева.

Старое старится — молодое гниет

С. **96.** *Миазмы* (греч. miasma) — загрязнение, по устаревшим понятиям, продукты гниения, вызывающие заразные болезни. Здесь в значении: грязь, мерзости.

Система Лефоше

С. **102.** *Лефоше* — парижский оружейник, создатель новых систем охотничьего ружья (1827) и револьвера (1852). Его револьверы были небезопасны в применении и потому не были приняты в войсках.

С. **104.** *Предика* (от фр. predication) — нравоучение, проповедь.

Наша симпатичная самоубийца

С. **116.** *Подснап* — герой романа Ч. Диккенса «Наш общий друг» (1865, рус. пер. 1864–1865), олицетворение лицемерия и мнимой респектабельности

Ах ты, великий инквизитор?! — «Великий инквизитор» — так называется глава (вставная «поэмка» Ивана Карамазова) в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», являющаяся его кульминационным идейным центром. «Смысл книги, — писал Достоевский 19 мая 1879 г. К.П. Победоносцеву, — богохульство и опровержение богохульства».

С. **117.** *...суровый шекспиров Анджело...* — Анджело — персонаж комедии Шекспира «Мера за меру» (Пушкин пересказал ее в форме поэмы «Анджело»).

...Люцио, беспутный пустослов... — Люций — персонаж пьесы Шекспира «Тимон Афинский».

С. **118.** *Аппарансы* (от фр. apparence) — благопристойности, приличия.

С. **119.** *Пища святого Антония...* — пищей Антония Великого, основателя монашества, около 20 лет в основном были хлеб и вода.

С. **120.** *«Жирофле-Жирофля»* (1874) — оперетта французского композитора Шарля Лекока.

С. **121.** *...пиши «лабет»!.. — Лабет* (фр. la bete) — глупец, дурак.

С. **125.** *Молох* (греч.) — библейский персонаж: божество, которому в Палестине, Финикии и Карфагене приносились человеческие жертвы, особенно дети.

Астарта — в древнесемитской мифологии богиня любви и плодородия, богиня-воительница, олицетворение планеты Венера.

...времена Соломона и Суламиты... — Царь Израильско-Иудейского царства Соломон правил в 965–928 гг. до н.э. Суламита — таинственная невеста, любовь к которой воспета в библейской книге Песнь Песней Соломона.

С. **126.** *...для меня совсем не шутка громы Синая?* — Синай — святая гора в Аравии, где был обнародован Закон Божий израильтянам, ушедшим из Египта.

С. **129.** *Импреза* (фр. Impress) — здесь в значении: дело, занятие.

С. **132.** *Исаия ликует?* — «Исаия, ликуй!» — название литургического гимна, исполняемого во время бракосочетания. Исайя (еврейск. «спасение Господне») — библейский пророк, автор «Книги пророка Исайи». Погиб мученической смертью: за обличения царского двора в грехах был перепилен деревянной пилой. Память великомученика церковь отмечает 9 (22) мая.

Власть тела

С. **135.** *«Гугеноты»* — опера Дж. Мейербера по роману П. Мериме «Хроника времен Карла IX».

...во вкусе лермонтовского «К ребенку»... — Вероятно, имеется в виду стихотворение Лермонтова «Ребенку» (1840).

С. **138.** *...во времена короля Артура...* — Артур — герой кельтских народных преданий, король бриттов (V–VI вв.), предводитель рыцарей «Круглого стола», боровшихся с англосаксонскими завоевателями. За его Круглым столом, ставшим символом личной преданности, собирались на совет 12 лучших рыцарей.

С. 139. *Кармен* — героиня одноименной оперы Ж. Бизе по новелле П. Мериме.

«На прекрасном голубом Дунае» — вальс И. Штрауса.

С. 144. *Пахва, пахви, пахвы.* — «На(под)хвостник, ремень с очком, от седла; в него продевается хвост лошади, чтобы седло не съехало коню на шею...» (В.И. Даль). *Сбить с пахвей* — сбить с толку.

С. 150. *Рацея* — «проповедь, назидательная речь, длинное наставление, поучение» (В.И. Даль).

С. 158. *«Charogne»* («Падаль»; фр.) — стихотворение Бодлера из сборника «Цветы зла» (1857).

...леди Макбет смывала... кровь Дункана и Банко... — Эпизод трагедии Шекспира «Макбет».

С. 159. *Маримонда* — порода обезьян.

Отелло, Кассио — персонажи трагедии Шекспира «Отелло».

С. 168. *Аполлон Бельведерский* (середина IV в. до н.э.) — знаменитая статуя олимпийского бога, находящаяся в музее Ватикана.

С. 169. *«Вы любите других в шуты рядить...»* — неточная цитата из «Горя от ума» А.С. Грибоедова (действ. 3, явл. 14). У Грибоедова: «...любите вы всех в шуты рядить...».

Бо-фрер (фр. beau-frere) — красавец-собрат.

С. 182. *...грамматика Марго?* — Имеется в виду учебник грамматики французского языка Давида Марго, по которому учились и в России.

С. 187. *Инкубы* (от лат. incubare: ложиться на) — в средневековой европейской мифологии мужские демоны, домогающиеся женской любви. Соблазняющие мужчин женские демоны — суккубы (от лат. succubare: ложиться под).

Под тучами

С. 191. *Дамоклов меч* — постоянно угрожающая кому-либо опасность. В древнегреческом предании рассказывается, как сиракуз-ский тиран Дионисий I Старший (конец V–IV вв. до н.э.) уступил свое место на пиру завидовавшему его благополучию фавориту Дамоклу, но при этом повесил над его головой на конском волоске острый меч.

С. 192. *Нить Ариадны* — клубок нити, благодаря которому дочери критского царя Ариадне удалось вывести сына афинского царя Тесея со спутниками из лабиринта на Крите, где обитал чудовищный Минотавр.

Medicamenta non sanant

С. **211.** *«Любовь и Силин»* (1861) — драма-пародия Козьмы Пруткова.

С. **223.** *Лаэрт* — персонаж трагедии Шекспира «Гамлет».

Компариоты

С. **226.** *«Бедекер»* — один из путеводителей, издаваемых немецкой книгоиздательской фирмой (основана в 1827 г. Карлом Бедекером; 1801–1859).

С. **227.** *Берлинский конгресс* (1878) был созван для пересмотра Сан-Стефанского мира между Россией и Турцией, завершившего русско-турецкую войну 1877–1878 гг.

С. **228.** *Тюбингенская школа* — историко-критическая школа в богословии, проповедующая рационалистические взгляды на источники христианства.

С. **230.** *...пою басом... Мефистофеля... Бертрана...* — Басовые партии Мефистофеля из оперы «Фауст» Гуно и Бертрана из «Иоланты» Чайковского.

С. **233.** *Санчо Панса* — герой романа Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

К ликвидации

С. **262.** *Папильон* — мужчина, завивающий волосы папильотками, престарелый дамский угодник.

Агафьино дело

С. **278.** *«Эрмитаж»* — 1) ресторан и гостиница на Трубной пл. в Москве. 2) Сад на ул. Каретный ряд, арендованный М.В. Лентовским; здесь на открытых площадках давались представления, ставились оперетты, драматические спектакли. А 26 мая 1896 г. в саду «Эрмитаж» состоялся первый в Москве киносеанс.

Борисов день

С. **286.** *«Цампа,* или Мраморная невеста» (1831) — романтическая опера французского композитора Фердинана Герольда (1791–1833).

С. **286.** *«Роберт-Дьявол»* — опера Дж. Мейербера.

С. **290.** *«Не плачь, дитя»* — стихотворение Лермонтова «Не плачь, не плачь, мое дитя...», которое обычно связывается с поэмой (и оперой) «Демон» (с первым монологом Демона). На музыку положено С.В. Рахманиновым, Н.Я. Мясковским и др.

«Я тот, которому внимала...» — ария Демона из одноименной оперы А.Г. Рубинштейна.

Терпентин (живица) — смола из хвойных деревьев, дающая при перегонке скипидар и канифоль.

С. **291.** *...как некую Людмилу или Надежду из «Аскольдовой могилы»...* — Имеются в виду персонажи оперы «Аскольдова могила» (1835) А.Н. Верстовского.

С. **293.** *Линцей* (Линкей) — в греческой мифологии аргонавт, обладающий небывалой остротой зрения.

С. **301.** *«Снегурочка»* (1873) — опера Н.А. Римского-Корсакова на сюжет драматической сказки А.Н. Островского.

С. **302.** *Боа-констриктор* — огромная змея тропической Америки, род удава.

С. **312.** *...как Иона во чреве китовом.* — Иона — ветхозаветный пророк (Книга Иова). За нарушение повеления бога Яхве был брошен в бушующее море, где его поглотил кит. Через три дня раскаялся и был прощен: извергнут из чрева кита.

Фетюк

С. **318.** *Фетюк* — разиня, простофиля.

С. **323.** *Церлина* — персонаж оперы Моцарта «Дон-Жуан» (1787).

С. **326.** *Яго* — персонаж трагедии Шекспира «Отелло».

Ликвидация

С. **337.** *...пора для вас самая хабарная...* — Хабар — барыш.

Три эпилога

С. **351.** *«Над кем смеетесь?..»* — Из комедии Гоголя «Ревизор».

С. **366.** *...«хоть арфа сломана, аккорд еще рыдает...».* — Из стихотворения С.Я. Надсона «Не говорите мне: «Он умер». Он

живет...» (1886), ставшего популярным романсом (муз. С. Токмакова и др.).

С. **388.** *В глубине сибирских руд...* — Неточно цитируются строки из стихотворения Пушкина «Во глубине сибирских руд» (1827).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Герцен

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 35. Свет и сила. СПб.: Просвещение, <1915>.

С. **395.** *...о выходе в свет полного собрания сочинений Александра Ивановича Герцена.* — Имеется в виду издание.: Герцен А.И. Сочинения: В 7 т. СПб.: Изд-во Ф.Ф. Павленкова, 1905. Это Собрание было первым в России изданием сочинений запрещенного Герцена. Полное собрание вышло позднее, в 1915–1925 гг., осуществлено наследниками автора под ред. М.К. Лемке.

«Россия» (1899–1902) — петербургская газета, издававшаяся Г.П. Сазоновым; редакторы А.В. Амфитеатров и В.М. Дорошевич. Закрыта за публикацию фельетона Амфитеатрова «Господа Обмановы».

Соловьев Михаил Петрович (1842–1902) — начальник Главного управления по делам печати в 1896–1900 гг.

С. **397.** *Павленков* Флорентий Федорович (1839–1900) — книгоиздатель.

...Павленков получил право переиздать сочинения Д.И. Писарева... — Имеется в виду Полное собрание сочинений Писарева в 6 т. (СПб., 1907).

Шелгунов Николай Васильевич (1824–1891) — профессор-лесовод, публицист, критик, революционный демократ 1860-х гг. Автор мемуаров «Из прошлого и настоящего» (1885–1886).

С. **398.** *«Что делать?»* (1863) — роман Н.Г. Чернышевского.

Искандер — основной псевдоним А.И. Герцена.

«Кто виноват?» (1847) — роман Герцена, в котором Писарев увидел «мучительное пробуждение русского самосознания» в России 40-х годов.

Доктор Крупов — герой одноименной повести (1847) Герцена.

С. **398.** *«Дилетантизм в науке»* — цикл статей Герцена, печатавшийся в журнале «Отечественные записки» (1843. № 1, 3, 5, 12).

С. **399.** *«Пиковая дама»* (1833) — повесть Пушкина.

«Герой нашего времени» (1840) — роман в повестях Лермонтова.

Говорил он лучше, чем писал... — Из лирической комедии Н.А. Некрасова «Медвежья охота» (1868). У Некрасова:

Грановского я тоже близко знал –
Я слушал лекции его три года.
Великий ум! счастливая природа!
Но говорил он лучше, чем писал.

Грановский Т.Н. — см. указ. имен.

Огарев Н.П. — см. указ. имен.

«Былое и думы» (1852–1868) — мемуарная книга Герцена, считающаяся вершиной его творчества.

...катастрофа в Платоновом мире идей. — Платон (428 или 427–348 до н.э.) — древнегреческий философ, считавший мир идей прообразом мира вещей, а любовь к идее — побудительной причиной духовного восхождения.

С. **400.** *«С того берега»* (1847–1850) — книга публицистики Герцена, написанная и изданная в эмиграции (рус. изд. 1855 г.).

«Полярная звезда» — альманах А.И. Герцена и Н.П. Огарева (1855–1862, 1868; Лондон, Женева), названный в память альманаха декабристов, носившего то же название (1823–1825). Имел политический характер, в нем публиковались статьи, направленные против крепостного права, за освобождение крестьян с землей, отмену цензуры и т.д.

«Колокол» — первая русская революционная газета (1857–1867, Лондон, Женева), издававшаяся А.И. Герценым и Н.П. Огаревым.

Шиллер Фридрих — см. указ. имен.

«Аннибалова клятва» — клятва в вечной ненависти к римлянам, которую дал карфагенский полководец Ганнибал (247 или 246–183 до н.э.), когда ему было девять лет. Юные Герцен и Огарев после восстания и казни декабристов дали клятву на Воробьевых горах «отомстить казненных».

Глинка Михаил Иванович (1804–1857) — основоположник русской классической композиторской школы.

С. **400.** *Микеланджело* Буонарроти (1475–1564) — итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт эпохи Возрождения.

С. **401.** *Наталья Александровна Герцен* (урожд. Захарьина; 1817–1852) — жена А.И. Герцена.

Дубельт Леонтий Васильевич (1792–1862) — генерал от кавалерии, в 1839–1856 гг. управляющий 3-м Отделением его императорского величества канцелярии, начальник штаба Отдельного корпуса жандармов, член Главного управления цензуры и Комитета о раскольниках.

...шутить даже на дыбе, как Кикину... — Александр Васильевич Кикин (?–1718) — деятель петровского времени, адмирал-советник. За то, что пытался облегчить судьбу царевича Алексея, в 1718 г. был арестован, подвергнут пытке и колесован.

Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630–?) — предводитель крестьянской войны 1670–1671 гг., донской казак. Казнен в Москве.

С. **402.** *«К радости»* — ода Шиллера, на слова которой Бетховен в 1823 г. написал заключительную часть своей 9-й симфонии. Ода впервые переведена на русский язык в 1794 г. Н.М. Карамзиным.

«Он в этот мир пришел, чтоб видеть солнце»... — См. у К.Д. Бальмонта: «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце» («Будем как Солнце. Книга символов», 1902). Фраза, которую историк философии Диоген Лаэртский (III в. н.э.) приписывает древнегреческому философу Анаксагору (ок. 500–428 до н.э.).

Гришка-портной в очерке Щедрина. — Герой очеркового этюда «Портной Гришка» (1887) из книги М.Е. Салтыкова-Щедрина «Мелочи жизни».

Дантес — см. указ. имен.

Янус двуликий — в римской мифологии божество дверей, входа и выхода, два лица которого обращены — одно в прошлое, другое в будущее. В переносном значении: лицемерный, двуличный человек.

Толедский клинок — от названия города Толедо (Испания), славящегося своими металлическими ремеслами.

С. **403.** *...барского рода Яковлевых... своего отца, дядю-«Сенатора» и дядю-«Химика»...* — Отец А.И. Герцена — гвардии капитан в отставке Иван Алексеевич Яковлев (1767–1846). Дядя «Сенатор» — дипломат, сенатор Лев Алексеевич Яковлев (1764–1839). Дядя «Химик» — Алексей Александрович Яковлев (1795–1868), двоюродный брат А.И. Герцена, брат по отцу Н.А. Захарьиной-Герцен.

С. 403. *Штольц, Обломов* — герои романа И.А. Гончарова «Обломов» (1859).

«Этой повести суждено остаться неоконченною...» — Вероятно, речь идет о неоконченной повести Герцена «Елена».

Веласкес (Родригес де Сильва Веласкес; 1599–1660) — испан-ский живописец.

Делакруа Эжен (1798–1863) — живописец, график, глава французского романтизма.

Гарибальди Джузеппе (1807–1882) — народный герой Италии, один из вождей национально–освободительного движения против иностранного господства, за объединение раздробленной Италии.

Мадзини (Маццини) Джузеппе (1805–1872) — один из вождей итальянского национально-освободительного движения. Организатор тайных обществ «Молодая Италия» (1831), «Итальянская национальная ассоциация» (1848), «Партия действия» (1853).

Ворцель Станислав Габриэль (1799–1853) — польский революционер, эмигрант.

Орсини Феличи (1819–1858) — деятель национально-освободительного движения Италии, казненный за покушение на Наполеона III.

Семья Фохтов — имеется в виду семья немецкого профессора медицины Филиппа Фридриха Вильгельма Фогта (1789–1861), его сына естествоиспытателя Карла Христофа Фогта (1817–1895), с которыми общался Герцен в Швейцарии.

Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) — французский социалист, теоретик анархизма.

Белинский В.Г. — см. указ. имен.

Пассек Вадим Васильевич (1808–1842) — историк, этнограф. Друг юности Герцена.

Станкевич Николай Владимирович (1813–1840) — философ, поэт; основатель литературно-философского кружка в Москве (1831–1839), в который входили К.С. Аксаков, М.А. Бакунин, В.Г. Белинский, В.П. Боткин, Т.Н. Грановский, М.Н. Катков, Ю.Ф. Самарин и др.

Киреевские: Иван Васильевич (1806 –1856) — философ, критик, публицист. Один из основоположников славянофильства; Петр Васильевич (1808–1856) — фольклорист, археограф, составитель неоднократно переиздававшихся сборников «Песни, собранные Киреевским» (около 3000 народных песен).

С. **403.** *Аксаков* Константин Сергеевич (1817–1860) — публицист, критик, поэт, историк, лингвист; один из вождей славянофилов. Сын С.Т. Аксакова.

С. **404.** *Бенкендорф* Александр Христофорович (1783–1844) — главный начальник III Отделения и шеф жандармов.

Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) — революционер, один из идеологов анархизма и народничества. С 1868 г. член I Интернационала, из которого был исключен решением Гаагского конгресса за выступления против линии К. Маркса. Основной труд «Государственность и анархия» (1873).

...как Агарь, задыхалась дореформенная Россия. — Агарь — рабыня Сарры, бездетной жены патриарха Авраама, ставшая его наложницей и родившая ему наследников.

Николай I — см. указ. имен.

Гойя Франсиско Хосе де (1746–1828) — испанский живописец, гравер.

Зову живых, оплакиваю мертвых и сокрушаю молнии... — Надпись на колоколе, взятая Ф. Шиллером эпиграфом к стихотворению «Песня о колоколе» (1799).

С. **405.** *Ростовцев Яков Иванович*, граф (1803/04–1860) — генерал от инфантерии (1859). Участник дискуссий с будущими декабристами. Накануне восстания подпоручик Ростовцев сообщил великому князю Николаю Павловичу о готовящемся заговоре. С 1835 г. — начальник штаба кадетских корпусов, с 1855 г. — глава военно-учебных заведений России. Член Государственного совета (1856). Один из деятельных участников подготовки крестьянской реформы 1861 г.

Александр II (1818–1881) — российский император с 1855 г.

...с знаменитым воплем «Ты победил, Галилеянин!» — Имеется в виду «Письмо к Александру Второму» (1858), в котором Герцен взывал к императору дать «свободу русскому слову» и «землю крестьянам» с освобождением от крепостной неволи. «Письмо» стало политической программой герценовской «Полярной звезды».

Долгорукий. — Долгоруков Петр Владимирович (1816/17–1868), публицист, историк, редактор-издатель антиправительственных журналов «Будущность» (Лейпциг, Париж, 1860–1861) и «Le veridique» («Правдивый», на фр. яз. Брюссель, Лондон, 1862–1863), газеты «Листок» (Брюссель, Лондон, 1862–1864).

Польское восстание 1863 г. — Восстание 1863–1864 гг. в Королевстве Польском, Литве, части Белоруссии, на Правобережной Ук-

раине было направлено против царской России. Подавив восстание, правительство было вынуждено провести ряд реформ. А.И. Герцен выступил в поддержку восставших.

Катков М.Н. — см. указ. имен.

С. **406.** *Неофит* — (греч. neophytos — новообращенный) — новый сторонник движения или учения, новичок в чем-то.

...к редакциям «Современника» с Добролюбовым и Чернышевским и «Русского слова» с Писаревым и Зайцевым. — Журнал Н.А. Некрасова и И.И. Панаева «Современник» (1847–1866) с 1853 г. стал редактироваться также Н.Г. Чернышевским, а с 1856 г. и Н.А. Добролюбовым, что сделало издание трибуной революционного просветительства. Из журнала уходят Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, Д.В. Григорович, не разделявшие экстремистских взглядов шестидесятников. Такое же идейное размежевание произошло в журнале Г.А. Кушелева-Безбородко «Русское слово» (1859–1866), когда в 1860 г. редакцию возглавил Г.Е. Благосветлов, пригласивший сотрудничать Д.И. Писарева и Варфоломея Александровича Зайцева (1842–1882) — публициста, критика.

...противодействию, оказанному парижским Ротшильдом... — Ротшильды — семья банкиров, основавшая крупнейшие банки Европы (первый из них в 1766 г. во Франкфурте-на-Майне). Барон Джемс Ротшильд (1792–1868) — парижский банкир, оказавший поддержку А.И. Герцену в сохранении его капиталов.

С. **407.** *...о супругах Энгельсонах.* — Имеются в виду публицист Владимир Аристович Энгельсон (1821–1857) и его жена Александра Християновна (?–1865).

Сазонов Николай Иванович (1815–1862) — публицист, в 1830-е гг. — участник кружка А.И. Герцена.

Печерин Владимир Сергеевич (1807–1885) — поэт, переводчик, мемуарист, мыслитель. В 1835–1836 гг. — профессор античной филологии в Московском университете. В 1840 г. во время странствия по Европе отрекся от православной веры и принял католичество. Прототип героя повести Герцена «Долг прежде всего».

...лондонских рефюжье и фанфаронов... — Рефюжье (от фр. refugier) — политический эмигрант. Фанфароны — бахвалы, хвастуны.

С. **408.** *«Сын Отечества»* — ежедневная петербургская газета, реорганизованная в 1862 г. из одноименного журнала. Издание газеты было прекращено правительством в декабре 1905 г.

С. **408.** *...вглядывался в его статую, воспетую Надсоном.* — Имеется в виду стихотворение Семена Яковлевича Надсона (1862–1887) «На могиле А.И. Герцена» (1885–1886). В Ницце, где похоронен Герцен, Надсон побывал в 1884 г. во время поездки на лечение, организованной на средства Литфонда.

С. **409.** *Стива Облонский* — см. примеч к с. 75.

Фауст — герой одноименной трагедии И.В. Гёте.

С. **410.** *«Гамлет Щигровского уезда»* (1849) — рассказ И.С. Тургенева из «Записок охотника».

Гегелианство — учение об «абсолютном идеализме» немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770–1831), согласно которому основой всего сущего выступает «мировой дух», а природа и общество являются его проявлениями.

Роберт Оуэн (1771–1858) — английский социалист-утопист.

С. **411.** *Феличе Каваллотти* (1842–1898) — итальянский поэт и политический деятель, участник экспедиции Гарибальди на Сицилию в 1860 г.

Бёрне Людвиг (1786–1837) — немецкий публицист, критик, один из идеологов литературно-политического течения «Молодая Германия».

Кошут Лайош (1802–1894) — венгерский политический деятель. Во время революции 1848 г. воглавил борьбу венгров за независимость. С 1849 г. в эмиграции.

...как в устах короля Лира — проклятия Регане и Гонерилье... — Эпизод трагедии Шекспира «Король Лир» (1606), в котором Лир проклинает своих дочерей Регану и Гонерилью, предавших его.

...коршун терзает печень прикованного Прометея... — Согласно греческой мифологии, титан Прометей был наказан Зевсом за то, что похитил у богов огонь и передал его людям. За это Прометей был прикован к скале, и орел Зевса прилетал клевать его печень, пока орла не убил Геракл, который освободил Прометея.

С. **412.** *Панин* Александр Никитич (1790–1850), граф — действительный тайный советник, крупный чиновник.

Рошфор Виктор Анри (1831–1913), маркиз — французский публицист и политический деятель. Популярность приобрел острой критикой бонапартистского режима.

Муравьев-Виленский — Михаил Николаевич Муравьев (1796–1866), государственный деятель, генерал от инфантерии. В 1857–1862 гг. — министр государственных имуществ. Во время польского

восстания 1863–1964 гг. — Виленский военный губернатор и командующий войсками военного округа. Жестоко усмирил восставших, сжег много селений, казнил несколько сот и отправил в ссылку более 5 тысяч человек.

С. **413.** *Толстой Д.А.* — см. указ. имен.

Ормузд и Ариман — в религии Заратустры два противоборствующих божества: бог света и добра Ормузд и бог тьмы, первоисточник зла Ариман.

С. **414.** *...как Косцюшко и Адам Мицкевич... на краковском Вавеле...* — Вавель — холм в Кракове, на котором размещен знаменитый комплекс архитектурных памятников, костел с усыпальницей польских королей и крупнейших деятелей национальной истории. Сюда был также перевезен и погребен прах политического и военного деятеля Польши Тадеуша Костюшко (1746–1817), умершего в Швейцарии, и поэта Адама Мицкевича (1798–1855), умершего в Константинополе.

Памяти А.И. Герцена

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 35. Свет и сила. СПб.: Просвещение, <1915>.

С. **415.** *...дитя времени... «после француза».* — Имеется в виду Отечественная война 1812 г., разделившая две эпохи и поколения россиян на тех, кто родился до войны с Наполеоном Бонапартом, и тех, кто сформировался после нее.

Здравствуй, племя // Младое, незнакомое!.. — Из стихотворения Пушкина «...Вновь я посетил...» (1835).

Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856) — мыслитель, автор «Философических писем» (1829–1831).

Ретроградная старость кн. П.А. Вяземского... — Амфитеатров имеет в виду прежде всего последний период жизни Петра Андреевича Вяземского (1792–1878), когда поэт активно выступал с осуждением идей революционного разрушительства и либерального западничества, но одновременно критиковал идеологию консерваторов и реакционеров.

С. **416.** *«Энциклопедия»* — имеется в виду памятник французского просветительства «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» (т. 1–35, 1751–1780), в создании которой основную роль сыграл Дени Дидро. В издании участвовали Ж.Л. Д'Аламбер, П. Гольбах, Вольтер, Ж.Ф. Мармонтель, Ж.Ж. Руссо, А. Тюрго, Ш.Л. Монтескье и др.

С. **416.** *Пьер Бейль* (1647–1706) — французский публицист и философ, представитель раннего Просвещения. Автор «Исторического и критического словаря» (т. 1–2, 1695–1697).

«Молодая Германия» — литературное движение 1830-х гг., представители которого провозглашали гражданственность искусства. В России идеями «Молодой Германии» были увлечены В.Г. Белинский, А.В. Дружинин и др.

С. **418.** *...читал моему сыну Валленштейна...* — «Валленштейн» (1798–1800) — драматическая трилогия Ф. Шиллера.

Надеждин Николай Иванович (1804–1856) — критик, эстетик, этнограф, журналист. Издатель журнала «Телескоп» (с 1831) и приложения к нему — газеты «Молва», в которых печатались А.С. Пушкин, К.С. Аксаков, И.В. Киреевский, Н.П. Огарев, Ф.И. Тютчев, Н.М. Языков, М.Н. Загоскин и др.

С. **419.** *Сенковский* Осип (Юлиан) Иванович (1800–1858) — прозаик, востоковед, журналист, отличавшийся консерватизмом. С 1822 по 1847 г. — профессор Петербургского университета по кафедре араб-ского, персидского и турецкого языков. В 1834–1856 гг. — редактор-издатель журнала «Библиотека для чтения», в котором под псевдонимом Барон Брамбеус печатал свои полемические статьи, путевые очерки, научно-философские (основоположник этого жанра в русской литературе), фантастические, сатирические и «восточные» повести.

Воейков Александр Федорович (1778–1839) — поэт, переводчик, критик. Вместе с женой-красавицей А.А. Воейковой хозяин известного в Петербурге литературного салона. С 1822 по 1838 г. — редактор газеты «Русский инвалид» с приложениями. В 1827–1830 гг. — редактор журнала «Славянин». Острый полемист, отличавшийся неразборчивостью в средствах, Воейков в эпиграммах современников фигурировал как «вампир», «корсар», «разбойник».

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) — историк, прозаик, поэт, журналист. Инициатор реформы языка, в основе которой — сближение письменного языка с живой разговорной речью.

Шишков Александр Семенович (1754–1841) — адмирал, государственный деятель, писатель. С 1813 г. — президент Российской академии. В борьбе с «карамзинистами» выступал за архаические формы языка. Автор новаторской классификации художественных приемов устного народного творчества.

С. **419.** *Каразин* Василий Назарович (1773–1842) — публицист.

Марлинский — псевдоним Александра Александровича Бестужева (1797–1837) — прозаика, критика, поэта, декабриста. Автор популярных романтических повестей и рассказов. Из ссылки в Якутию был в 1829 г. переведен рядовым на Кавказ, где погиб в бою при высадке на мыс Адлер.

Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) — прозаик, историк, журналист. Автор романтических повестей и исторического романа «Клятва при гробе Господнем» (1832).

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859) — прозаик, критик, издатель. Автор исторических, приключенческих, нравоучительных и мелодраматических романов и повестей. В 1825–1839 гг. соиздатель и соредактор Н.И. Греча по журналу «Сын Отечества» и газете «Северная пчела» (в 1825–1859 гг.).

Хомяков Алексей Степанович (1804–1869) — поэт, публицист. Один из вождей славянофильства, идеализировавший патриархальные устои русской жизни.

С. **420.** *Дубельт* Л.В. — см. примеч. к с. 401.

Но говорил он лучше, чем писал... — См. примеч. к с. 399.

С. **421.** *«Импрессионабельные натуры»* — впечатлительные (от фр. impression впечатление).

«Импоссибельность ума» — слабоумие (от фр. impossibilite затруднение, помеха).

«Абнормальное состояние» — отступающее от нормы (от лат. ab normis).

«Дар лотической фасцинации» — наделенный способностью обвораживать, очаровывать (от фр. lotie наделенный; fascination привлекательность, обаяние, очарование, гипноз).

«Сюсцентибельность» — гневливость (от лат. suscencio).

«Гетерогенные элементы» — неоднородные по составу (от греч. heterogenes).

«...от крика фамы»... — Фама (лат. fama) — молва, слух.

«Юкстапозиция» — расположение рядом, соположение (от фр. juxtaposition).

Фурнирует — подкупает (от фр. fournir обеспечивать, снабжать).

«...фродюлезно на дуэль»... — Фродюлезно — хладнокровно, равнодушно (от фр. froid).

«каудинские фуркулы чувств»... — Из фразы в «Былом и думах» (ч. 1, гл. 6): «Начать мою жизнь этими каудинскими фуркулами

науки» — т.е. поражениями, так, как это случилось с римлянами в IV в. до н.э., которые были разгромлены в Каудинском ущелье самнитами (furcula — теснина, ущелье).

С. **422.** *Перевощиков* Дмитрий Матвеевич (1788–1880) — астроном, математик, профессор Московского университета.

Щепкин Михаил Семенович (1788–1863) — актер.

С. **423.** *Минерва* — в римской мифологии богиня, покровительствующая ремеслам и искусствам.

«Вольное русское книгопечатание в Лондоне» — «Вольная русская типография», организованная в 1853 г. А.И. Герценом для печатания революционной и запрещенной в России литературы. В 1865 г. переведена в Женеву.

С. **424.** *Глинка с «Русланом».* — Имеется в виду опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила» (1836) на сюжет одноименной поэмы Пушкина.

Михайловский Н.К. — см. указ. имен.

С. **425.** *Тиртей* — древнегреческий поэт-лирик, автор пяти книг элегий, живший в Спарте в VII в. до н.э. Вдохновлял песнями спартанцев во время 2-й Мессинской войны.

С. **426.** *Наследнику И.А. Яковлева, соединясь с миллионером Огаревым...* — Яковлев — отец А.И. Герцена (см. примеч. к с. 405). Платон Богданович Огарев (1769–1838) — отец Н.П. Огарева, крупный помещик.

С. **428.** *Кадетизм* — идеология конституционно-демократической (кадетской) партии, назвавшей своей главной политической целью установление конституционно-парламентарной монархии.

Октябристы — Союз 17 октября, праволиберальная партия, основанная в 1906 г. Названа в честь Манифеста 17 октября 1905 г., провозгласившего вступление России на путь конституционой монархии.

М.А. Бакунин как характер

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 35. Свет и сила. СПб.: Просвещение, <1915>.

С. **428.** *Бакунин М.А.* — см. примеч. к с. 404.

С. **429.** *...«насмешек горьких обманутого сына над промотавшимся отцом»...* — несколько измененные заключительные строки из стихотворения Лермонтова «Дума» (1938). У Лермонтова: «Насмешкой горькою обманутого сына // Над промотавшимся отцом».

С. **429.** *Он знал одной лишь думы власть…* — В поэме Лермонтова «Мцыри»: «Я знал одной лишь думы власть…».

С. **430.** *…во время несчастной морской экспедиции Домонтовича и Лапинского на помощь восставшим полякам…* — Иосиф Демонтович (Домантович; 1823–1876) и Феофил Лапинский (1827–1886) — деятели польского национально-освободительного движения. Лапинский вместе со своим комиссаром Демонтовичем в Лондоне дважды организовывал экспедиции добровольцев на помощь восставшим полякам — в марте и в июне 1863 г. Вторую экспедицию постигла трагическая участь: большинство добровольцев, плывших на шхуне «Эмилия», во время ураганного шторма утонули.

Герцен-младший — Герцен Александр Александрович (1839–1906) — сын А.И. Герцена.

Мартьянов Петр Алексеевич (1835–1865) — бывший крепостной. Осенью 1861 г. приехал в Лондон по коммерческим делам, познакомился с Герценом и стал автором «Письма к Александру II» (опубликовано 8 мая 1862 г. в «Колоколе»), в котором развивал идеи внесословной народной монархии. В 1863 г. добровольно вернувшийся в Россию Мартьянов был арестован и отправлен на каторгу.

С. **431.** *Шопенгауэр А.* — см. указ. имен.

Нечаев Сергей Геннадьевич (1847–1882) — организатор общества «Народная расправа». В 1869 г., заподозрив студента И.И. Иванова в предательстве, убил его и бежал за границу. В 1872 г. швейцарские власти выдали его России. Умер в Петропавловской крепости.

Драгоманов Михаил Петрович (1841–1895) — публицист, критик, историк, фольклорист, общественный деятель. Автор очерка «М.А. Бакунин о правде и нравственности в революции» (1882), составитель сб. «Письма М.А. Бакунина к А.И. Герцену и Н.П. Огареву» (1898).

Арбенин — герой драмы Лермонтова «Маскарад».

С. **433.** *Пресловутая статья о «Бородинской годовщине», от воспоминания о которой Белинский отплевывался…* — Имеется в виду статья «Бородинская годовщина. В. Жуковского» (1839), вызвавшая полемику с Герценом. Белинский вскоре определил ее как «глупую статейку», как свой «промах» (в письмах к В.П. Боткину).

С. **434.** *Анджело де Губернатис* — итальянский поэт, историк литературы, публицист. Автор «Словаря современных писателей» (1879).

Прозелит — принявший новое вероисповедание, новый приверженец чего-либо.

С. 435. ...*«безумство храбрых»*... — Из «Песни о Соколе» М. Горького: «Безумству храбрых поем мы славу! // Безумство храбрых — вот мудрость жизни!»

С. 436. *Мессия-апплике* — мессия-подделка. Апплике — см. примеч. к с. 26.

С. 437. *Адепт* — ревностный приверженец учения (лат. adeptus — достигший).

Дебогорий-Мокриевич Владимир Карпович (1848–1926) — революционер-народник 1870-х гг. В 1873 г. в Швейцарии познакомился с М.А. Бакуниным и увлекся идеями анархизма. Автор «Воспоминаний» (вып. 1–3. Париж, 1894–1898; СПб., 1906, под названием «От бунтарства к терроризму»).

С. 438. ....*история так называемого Бахметевского революционного фонда*... — Саратовский помещик Павел Александрович Бахметев (1828–?), увлекшийся идеями Н.Г. Чернышевского, в 1857 г. покинул Россию. В Лондоне он передал А.И. Герцену 20 000 франков на революционную пропаганду, а сам уехал в Новую Зеландию. Дальнейшая судьба помещика-социалиста неизвестна. «Фонд Бахметева» Герцен, по настоянию Огарева, передал С.Г. Нечаеву, который растратил его на свои авантюры. Бахметев — прототип Рахметова, героя романа Чернышевского «Что делать?».

С. 439. *Карл Маркс* (1818–1883) — мыслитель, политический деятель.

Виндишгрец Альфред, князь (1787–1862) — австрийский военный и политический деятель, кроваво усмиривший революцию в Вене в марте и октябре 1848 г.

Шварценберг Феликс Людвиг, князь (1800–1852) — австрийский министр иностранных дел в 1848–1852 гг.

С. 440. *Жорж Санд* (наст. имя Аврора Дюпен; 1804–1876) — французская писательница.

Ледрю-Роллен Александр Огюст (1808–1874) — французский политический деятель, член Временного правительства 1848 г., впоследствии эмигрант.

Рейхель Адольф (1817–1896) — немецкий музыкант, друг А.И. Герцена и М.А. Бакунина.

С. 441. *Утин* Николай Исаакович (1841–1883) — революционер. В эмиграции — организатор и руководитель Русской секции I Интернационала. Был доверенным лицом К. Маркса в его борьбе с М.А. Бакуниным.

С. **441.** *Ната* — Наталья Александровна Герцен (1844–1936), старшая дочь А.И. Герцена.

С. **443.** *«Гамлет Щигровского уезда»* — см. примеч. к с. 410.

С. **444.** *«Бесы»* (1869–1872) — антиреволюционный роман Ф.М. Достоевского.

Киселев Николай Дмитриевич (1800–1872) — дипломат, с 1844 по 1854 г. — посланник России в Париже, в 1856–1864 гг. — посол при папском дворе.

С. **445.** *Шеллинг* Фридрих Вильгельм (1775–1854) — немецкий философ, разделявший в молодости взгляды романтиков.

С. **447.** *Владимир Соловьев* — см. указ. имен.

...о брошюре Серно-Соловьевича, «Unsere Angelegenheiten»... — Имеется в виду брошюра «Наши домашние дела» (Женева, 1867) Александра Александровича Серно-Соловьевича (1838–1869), революционера-демократа, жившего с 1862 г. в эмиграции.

С. **450.** *Станкевич* Н.В. — см. примеч к с. 403.

С. **451.** *В своей знаменитой речи о Пушкине Достоевский...* — Имеется в виду речь Ф.М. Достоевского, произнесенная им 8 июня 1880 г., на третий день торжеств, посвященных открытию в Москве памятника А.С. Пушкину.

Алеко — персонаж поэмы Пушкина «Цыганы» (1824).

«Измаил-бей» (1832) — поэма Лермонтова.

Мцыри — герой одноименной поэмы (1839) Лермонтова.

С. **452.** *Яго* — см. примеч. к с. 326.

...откровенности перед Чичериным, который потом... высмеял Герцена за «темперамент». — Имеется в виду лондонский эпизод из «Былого и дум», в котором Герцен говорит о Чичерине: «...Мне было больно и досадно, что я в сорок пять лет мог разоблачать наше прошедшее перед черствым человеком, насмеявшимся потом с такой беспощадной дерзостью над тем, что он называл моим «темпераментом»» (ч. 4, гл. «Н.Х. Кетчер»).

Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) — юрист, историк, философ; в 1840–1850-х гг. — член кружка московских западников. Профессор Московского университета в 1861–1868 гг.

Пестель Павел Иванович (1793 — 1826) — декабрист, подполковник, командир Вятского пехотного полка. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов. Член Союза спасения и Союза благоденствия, основатель Южного общества декабристов. Респуб-

ликанец. Автор «Русской правды». Арестован по доносу 13 декабря 1925 г. Повешен.

С. 453. *Дантон* Жорж Жак (1759–1794) — один из вождей якобинцев во время Великой французской революции 1789–1794 гг., выдающийся оратор. Оказавшись в оппозиции к Робеспьеру, был по приговору Революционного трибунала казнен.

Робеспьер Максимильен (1758–1794) — один из вождей якобинцев во время Французской революции, организатор массового террора. Казнен термидорианцами, свергшими якобинскую диктатуру.

Сен-Жюст Луи (1767–1794) — один из организаторов побед французских войск над интервентами в период якобинской диктатуры. Сторонник Робеспьера. Казнен термидорианцами.

Ормузд, Ариман — см. примеч. к с. 413.

С. 454. *Каракозов* Дмитрий Владимирович (1840–1866) — террорист, совершивший 4 апреля 1866 г. покушение на императора Александра II. Повешен.

С. 455. *Стендаль* (наст. имя и фам. Анри Мари Бейль; 1783–1842) — французский писатель.

Муравьев-Амурский Николай Николаевич, граф (1809–1881) — генерал от инфантерии, генерал-губернатор Восточной Сибири в 1847–1851 гг. Член Государственного совета.

Корсаков Михаил Семенович (1826–1871) — генерал-лейтенант, в 1855–1860 гг. — военный губернатор Забайкальской области, в 1861–1870 гг. — генерал-губернатор Восточной Сибири. Член Государственного совета.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885) — публицист, историк, правовед, философ.

Унковский Алексей Михайлович (1828–1893/94) — присяжный поверенный, один из близких друзей М.Е. Салтыкова-Щедрина. Автор «Записок» (опубл. в 1906 г.).

Арнольд Руге (1802–1880) — немецкий радикальный публицист.

С. 461. *Аксаков И.С.* — см. указ. имен.

С. 462. *Жюль Елизар* (Jules Elysard) — псевдоним М.А. Бакунина.

С. 463. *Коссидьер* Марк (1808–1861) — участник революции 1848 г., префект парижской полиции в феврале — мае 1848 г.

С. 464. *Домонтович* — см. примеч. к с. 430.

Ибсен Генрик (1828–1906) — норвежский драматург.

Штокман — герой драмы Ибсена «Доктор Штокман».

С. 465. *Рейхель* А. — см. примеч. к с. 440.

Н.К. Михайловский
(После сороковин)

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 35. Свет и сила. СПб.: Просвещение, <1915>.

С. **467.** *...крестный отец русского Дарвина и русского Огюста Конта.* — Н.К. Михайловский был одним из первых в русской литературе и публицистике популяризаторов теории происхождения видов английского естествоиспытателя Чарлза Дарвина (1809–1882) и французского социолога-позитивиста Огюста Конта (1798–1857).

Спенсер Герберт (1820–1903) — см. указ. имен.

С. **469.** *...в 1894 г., после падения Стамбулова...* — Стефан Стамбулов (1854–1895) в 1887–1894 гг. был премьер-министром Болгарии, установившим в ней диктаторский режим.

...«Московские ведомости» С. Петровского... — В газете «Московские ведомости» публицист, историк Сергей Александрович Петровский (1846–1917) сотрудничал по приглашению М.Н. Каткова с 1877 г. В 1882–1887 гг. он был ее вторым редактором, а в 1888–1896 гг. — редактором-издателем.

«Свет» (СПб., 1882–1907) — газета, основанная и редактировавшаяся публицистом, пропагандистом идей панславизма Виссарионом Виссарионовичем Комаровым (1838–1907). Комаров был также редактором-издателем газет «Русский мир» в 1871–1873 и «С.-Петербургские ведомости» в 1877–1883 гг.

Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918) — один из ведущих сотрудников газеты «Новое время».

С. **471.** *Глумов* — персонаж, заимствованный М.Е. Салтыковым-Щедриным из пьес А.Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги» и др. Этот образ у Щедрина фигурирует в «Помпадурах и помпадуршах», «Современной идиллии», циклах «Письма к тетеньке», «Пестрые письма» и др.

С. **472.** *Моисей... нес на скрижалях... продиктованные ему заповеди...* — Библейский пророк Моисей — вождь израильского народа, выведший его через пустыню из рабства в Египте. На горе Синай ему Бог вручил скрижали с десятью заповедями. Моисей считается автором «Пятикнижия», первых книг Библии.

Шлиссельбуржцы

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 35. Свет и сила. СПб.: Просвещение, <1915>.

С. 472. *Войтоловский* Лев Наумович (1874–1944) — критик, литературовед, публицист, врач. Автор статьи «Случайные заметки (Шлиссельбургское последействие)» // Киевская мысль. 1912. 2 мая. № 121.

Фроленко Михаил Федорович (1848–1938) — участник покушений на императора Александра II. Приговорен к вечной каторге. До 1905 г. находился в одиночной камере в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях.

Новорусский Михаил Васильевич (1861–1925) — участник покушения на императора Александра III 1 марта 1887 г. До 1905 г. был заключенным в Шлиссельбургской крепости. Автор «Записок шлиссельбуржца» (1933).

С. 473. *Морозов* Николай Александрович (1854–1946) — поэт, прозаик, мыслитель, ученый, мемуарист, революционер-народоволец (был приговорен к пожизненному заключению). Вышел из Шлиссельбурга в 1905 г. с 26 томами рукописей стихов и прозы, трудов по химии, физике, астрономии, математике, истории, которые печатались в крупнейших журналах и издавались книгами.

Зомбарт Вернер (1863–1941) — немецкий экономист, историк культуры, социолог, находившийся под влиянием марксистских идей, а впоследствии критиковавший их.

С. 474. *«Былое»* — журнал, возникший как издание по истории освободительного движения в России. В 1900–1904 и 1908–1912 гг. выходил в Лондоне и Париже (редактор-издатель В.Л. Бурцев), в 1906 и с июля 1917 до 1926 г. — в Петербурге (Петрограде, Ленинграде).

«Минувшие годы» — историко-литературный журнал, издававшийся в 1908 г. вместо закрытого цензурой журнала «Былое» (редакторы В.Я. Богучарский и П.Е. Щеголев, издатель Н.В. Мешков).

С. 475. *Иванов* Сергей Александрович (1859–1927) — народоволец, отбывавший каторгу в Шлиссельбургской крепости с 1886 по 1905 г.

Страшная жертва самосожжения Грачевского… — Участник покушения на императора Александра II Михаил Федорович Грачевский (1849–1887) был приговорен в 1883 г. к вечной каторге. Сжег себя в Шлиссельбургской крепости.

С. **475.** *...горло Софьи Гинцбург, перерезанное осколком стакана...* — София Михайловна Гинсбург (1863–1891), организатор покушения на императора Александра III в 1888 г., была приговорена к вечной каторге. Покончила с собой в Шлиссельбургской крепости.

Панкратов Василий Семенович (1864–1925) — революционер, приговоренный в 1884 г. к 20 годам каторги. До 1898 г. находился в Шлиссельбургской крепости, а затем в ссылке. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства «по охране бывшего царя».

С. **477.** *Фигнер* Вера Николаевна (1852–1942) — член исполкома «Народной воли», участница подготовки покушений на Александра II. В 1884 г. приговорена к вечной каторге. В 1906–1915 гг. — в эмиграции. После 1917 г. в политической жизни не участвовала. Автор мемуаров «Запечатленный труд».

С. **478.** *Лопатин* Герман Александрович (1845–1918) — революционер. В 1887 г. приговорен к вечной каторге. До 1905 г. — в Шлиссельбургской крепости.

С. **479.** *Волькенштейн* Людмила Николаевна (урожд. Александрова; 1857–1906) — участница революционного движения.

Караулов Василий Андреевич (1854–1910) — народоволец, отбывавший каторгу в Шлиссельбургской крепости. Амнистирован в 1905 г. Депутат Государственной думы трех созывов.

Лукашевич Иосиф Дементьевич (1863–1928) — террорист, участник покушения на императора Александра III 1 марта 1887 г. Приговорен к вечной каторге. До 1905 г. находился в Шлиссельбургской крепости. С 1920 г. — профессор геологии в Вильнюсском университете.

Захарьин

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 35. Свет и сила. СПб.: Просвещение, <1915>.

С. **481.** *Захарьин Г.А.* — см. указ. имен.

Памятуя похороны Алексеева, Аксакова, Каткова, Рубинштейна... — Названы именитые москвичи, похороны которых проходили при огромном стечении народа. Николай Александрович Алексеев (1852–1893) — московский городской голова в 1885–1893 гг., один из основателей, директор и казначей московского отделения Русского музыкального общества. При его поддержке в Москве построены Истори-

ческий музей, новый водопровод, две школы, две больницы. И.С. Аксаков, М.Н. Катков, Н.Г. Рубинштейн — см. о них в указ. имен.

С. **481.** *«Антоний и Клеопатра»* (1606–1607) — трагедия Шекспира.

С. **482.** *...львы ...Английского клуба...* — Английский клуб в Москве (Тверская, 6) — место развлечений, политических дискуссий, торжественных актов. Пилоны въезных ворот на территорию клуба украшены стилизованными скульптурами львов.

С. **484.** *Боткин* Сергей Петрович (1832–1889) — терапевт, один из основоположников клиники внутренних болезней.

Остроумов А.А. — см. указ. имен.

С. **485.** *Иоаннн Кронштадский* (в миру Иван Ильич Сергиев; 1829–1908) — протоиерей Андреевского собора в Кронштадте, проповедник и благотворитель. В 1990 г. канонизирован православной церковью в святые.

С. **488.** *Говоруха-Отрок* Юрий Николаевич (1850–1896) — литературный и театральный критик, публицист, прозаик.

Александр Иванович Урусов и Григорий Аветович Джаншиев

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 35. Свет и сила. СПб.: Просвещение, <1915>.

С. **489.** *Урусов* А.И., *Джаншиев* Г.А. — см. указ. имен.

«Снегурочка» — см. примеч. к с. 301.

С. **490.** *Демосфен* (ок. 384–322 до н.э.) — афинский оратор, политический деятель. Автор знаменитых «филиппик», речей против Филиппа Македонского. После захвата Греции Македонией принял яд.

Петровский Сергей Александрович (1846–1917) — журналист, историк, публицист. В 1882–1887 гг. — второй редактор, а в 1888–1896 гг. — редактор-издатель газеты «Московские ведомости».

С. **493.** *Альбани* Эмма (наст. имя и фам. Мари Луиза Сесиль Лажёнес; 1847–1930) — канадская певица (драматическое сопрано), выступавшая в крупнейших театрах мира, в том числе в России.

Патти — см. указ. имен.

С. **493.** *«Новое время»* — одна из крупнейших русских газет (1868–1917, Петербург). После перехода к А.С. Суворину (1876) приняла консервативный характер, с 1905 г. — орган черносотенцев.

С. **493.** *Нелидов* Александр Иванович (1835–1910) — дипломат. В 1874–1877 гг. был советником российского посольства в Константинополе.

Максимов Николай Васильевич (1848–1900) — очеркист, журналист. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг., ставший первым в России «специальным» военным корреспондентом. Летом 1886 г., будучи в Одессе помощником капитана дальнего плавания, тайно провез Г.И. Успенского в Константинополь.

С. **494.** *«Россия»* — см. примеч. к с. 395.

С. **495.** *Ловец, все дни отдавший лесу...* — Из стихотворения Фета «Светоч» (1885).

... зарю царствия которой видел в 19 февраля 1861 года. — Имеется в виду Манифест об отмене крепостного права в России.

С. **496.** *...поляками, претерпевшими школу И.В. Гурко...* — Генерал-фельдмаршал Иосиф Владимирович Гурко (1828–1901) в 1883–1894 гг. был Варшавским генерал-губернатором и командующим войсками Варшавского военного округа, проводившим жесткую русификаторскую политику в Царстве Польском.

«Взявший меч от меча и погибнет» — изречение, приписываемое князю Александру Невскому (1220 или 1221–1263).

Павел Васильевич Шейн

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 35. Свет и сила. СПб.: Просвещение, <1915>.

С. **497.** *Павел Васильевич Шейн* (1826–1900) — русский и белорусский фольклорист и этнограф, издавший сборники «Русские народные песни» (1874), «Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т.п.» (1898–1900) и др.

С. **498.** *Филиппов Тертий Иванович* (1825–1899) — государственный деятель, публицист, богослов, славянофил. В 1878–1899 гг. — товарищ государственного контролера и государственный контролер. Член Государственного совета.

...как за королем Артуром рыцари Круглого стола... — См. примеч. к с. 138.

«Великоросс» — первая нелегальная печатная газета-прокламация в России (июнь — октябрь 1861 г., № 1–3; 1863, № 4), призывавшая воздействовать на правительство, чтобы оно наделило крес-

тьян землей, добиваться созыва народных представителей для выработки конституции.

С. **498.** *«Домострой»* — памятник русской литературы XVI в., свод патриархальных житейских правил и наставлений, основанных на беспрекословном повиновении главе семьи. Предполагаемый автор одной из редакций памятника — священник московского Благовещенского собора Сильвестр (?– ок. 1566), духовный наставник юного Ивана Грозного.

...как переписка Курбского с Грозным... — Эта переписка, являющаяся памятником общественной мысли древней Руси, состоит из трех обличительных посланий князя Андрея Михайловича Курбского (1528–1583) и двух ответов царя Ивана IV Грозного (1530–1584).

Паладин — верный рыцарь, человек, преданный идее, делу или какому-нибудь лицу.

Андреев Василий Васильевич (1861–1918) — музыкант-балалаечник, организатор и руководитель первого оркестра народных инструментов (1888, с 1896 г. Великорусского оркестра), с которым гастролировал в Европе и Америке.

С. **499.** *Полонский Я. П.* — см. указ. имен.

...вариантов, которых нет у Киреевского... — Имеются в виду сборники «Песни, собранные П.В. Киреевским» (вып 1–10, 1860–1874), ставшие событием в русской фольклористике.

Ф.Н. Плевако

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 15. Мутные дни. СПб.: Просвещение, <1912>.

С. **500.** *Плевако* Федор Никифорович (1842–1908/09) — юрист, адвокат. Выдающийся судебный оратор.

Муравьев Николай Валерианович (1850–1908) — юрист. С 1884 г. — прокурор Московской судебной палаты. С 1891 г. — обер-прокурор Уголовного кассационного департамента сената. В 1894–1905 гг. — министр юстиции.

С. **501.** *Аполлон Бельведерский* — скульптурный портрет древнегреческого бога-целителя, врачевателя и покровителя искусств, создателем которого считается афинский ваятель Леохар (середина IV в. до н.э.).

С. **501.** *Акт 17 октября 1905 года...* — Манифест Николая II «Об усовершенствовании государственного порядка», в котором современники увидели начало конституционной монархии.

С. **502.** *Все на отбор, орех к ореху — чудо!..* — Из басни И.А. Крылова «Орех» («У Льва служила Белка...»).

Мещерский Владимир Петрович, князь (1839–1914) — публицист, прозаик, издатель-редактор политической и литературной газеты-журнала «Гражданин» (1872–1914), журналов «Добро» (1881), «Воскресение» (1887–1894), «Дружеские речи» (1903–1905), газеты «Русь» (1894–1896); автор романов из светской жизни и мемуаров «Мои воспоминания» (ч. 1–3, СПб., 1897–1912), в которых тенденциозно охарактеризованы Ф.М. Достоевский, Ф.И.Тютчев, А.К. Толстой, К.П. Победоносцев, Ю.Ф. Самарин, М.Н. Катков. Внук историка Н.М. Карамзина (сын его дочери Екатерины). В российском обществе имел сомнительную репутацию не только ретрограда, но и человека аморального, что вызвало сдержанное отношение к нему даже Александра III и Победоносцева, много лет с ним друживших.

Стахович Михаил Александрович (1861–1923) — публицист, участник либерального земского движения, один из создателей партии «Союз 17 октября» (1905). Депутат I и II Государственной думы. Член Государственного совета (1907).

С. **504.** *«Аскольдова могила»* (1835) — опера А.Н. Верстовского.

Сергей Андреевич Муромцев

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 15. Мутные дни. СПб.: Просвещение, <1912>.

С. **506.** *Сергей Андреевич Муромцев* (1850–1910) — юрист, публицист, земский деятель. В 1877–1884 и 1906–1910 гг. профессор Московского университета. Председатель I Государственной думы. С октября 1905 г. один из основателей и лидер конституционно-демократической партии (кадетов). Председатель Суда чести при Обществе деятелей периодической печати и литературы.

Чупров А.И., Ковалевский М.М., Ключевский В.О. — см. указ. имен.

С. **507.** *...пышно свершился его погребальный триумф.* — Похороны Муромцева собрали несколько десятков тысяч человек и превратились в политическую демонстрацию.

С. **507.** *Платен* Август (1796–1835) — немецкий поэт, драматург.

Людвиг I Баварский — король Баварии.

С. **508.** *...редактором юридического журнала...* — Муромцев был соредактором «Юридического вестника» в 1878–1892 гг.

«Красное знамя» — журнал с антицаристской направленностью, издававшийся Амфитеатровым в парижской эмиграции с апреля 1906 до июля 1907 г. В нем сотрудничали М. Горький, А.И. Куприн, К.Д. Бальмонт.

С. **509.** *Разница в индивидуальности гг. Головина, Хомякова и Гучкова...* — Названы думские деятели: председатель I Государственной думы с февраля до июня 1907 г. Федор Александрович Головин (1867–1937), председатель III Государственной думы с ноября 1907 по март 1910 г. Николай Алексеевич Хомяков (1850–1925), председатель III Государственной думы с марта 1910 по март 1911 г. Александр Иванович Гучков (1862–1936) — лидер октябристов, председатель (с 1910 г.) III Государственной думы, в 1917 г. — военный и морской министр Временного правительства.

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) — один из лидеров крайне правых организаций — «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела», крупный помещик.

Марков (Марков 2-й) Николай Евгеньевич (1866 — после 1931) — один из лидеров «Союза русского народа», председатель Совета объединенного дворянства.

С. **510.** *Родичев* Федор Измайлович (1854–1933) — землевладелец и владелец винокуренных заводов. Один из лидеров кадетской партии. Депутат I–IV Государственной думы, где прославился как темпераментный оратор, видевший свой долг в том, чтобы «обосновать господство права над силой».

Маклаков Василий Алексеевич (1870–1957) — землевладелец, депутат II и IV Государственной думы. Считался «едва ли не лучшим оратором своего времени» (А.В. Тыркова-Вильямс).

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — историк, публицист, политический деятель; один из основателей партии кадетов, председатель ее ЦК и редактор центрального органа «Речь» (до 1917 г.). Депутат III и IV Государственной думы. Министр иностранных дел в первом составе Временного правительства. В Париже — председатель Союза русских писателей и журналистов (1922–1943), редактор влиятельной эмигрантской газеты «Последние новости».

С. **510.** *Гессен* Владимир Матвеевич (1868–1920) — юрист, депутат II Государственной думы, один из основателей и издатель еженедельника «Право» (1898–1917).

Александр Иванович Чупров

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 14. Славные мертвецы. СПб.: Просвещение, <1912>.

С. **511.** *Александр Иванович Чупров* — см. указ. имен.

С. **512.** *...столько лет живет за границей на покое...* — Чупров жил за границей с 1899 г. и умер в Мюнхене. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

...сыну А.И. Чупрова... — Александр Александрович Чупров (1874–1926) — экономист, теоретик статистики, член-корреспондент Российской Академии наук (с 1917 г.).

С. **514.** *Амфитеатров* Валентин Николаевич (ок. 1833–1908) — священник, протоиерей московского Архангельского собора в Кремле, отец А.В. Амфитеатрова. Автор книги «Очерки библейской истории Ветхого Завета» (М., 1895).

..мою мать — родную сестру Александра Ивановича... — Мать А.В. Амфитеатрова — Елизавета Ивановна Амфитеатрова, урожд. Чупрова.

С. **516.** *А.А. Остроумов* — см. указ. имен

С. **518.** *Чупров* Алексей Иванович (?–1898) — бухгалтер, управляющий фирмой М.В. и С.В. Сабашниковых. Брат Александра Ивановича Чупрова.

...фирмою известных купцов-интеллигентов Сабашниковых... — Вероятно, имеется в виду Любимовский сахарный завод в Курской губернии, который братья М.В. и С.В. Сабашниковы купили в 1896 г. Михаил Васильевич (1871–1943) и Сергей Васильевич (1873–1909) Сабашниковы — предприниматели, основавшие в 1891 г. свое издательство (закрыто в 1930 г.).

С. **519.** *Милюков* П.И. — см. примеч. к с. 510.

Виноградов Павел Гаврилович (1854–1925) — историк, публицист. В 1876–1903 гг. преподавал на курсах Герье в Москве, с 1877 г. — в Московском университете; профессор с 1884 г.

Братья Корсаковы — Павел Ассигкритович (1840–1908), управляющий Петербургской казенной палатой; Иван Ас-

сигкритович (1846–1912), адвокат, депутат I Государственной думы.

С. 519. *«Русские ведомости»* — московская политическая и литературная газета, издававшаяся в 1863–1918 гг. Основана Н.Ф. Павловым. В числе редакторов-издателей — А.А. Чупров.

Богданов Василий Иванович (1837–1886) — поэт, очеркист. Известность пришла к нему после того, как он в 1865–1867 гг. совершил кругосветное путешествие на клипере «Изумруд», описанное им в цикле путевых очерков.

С. 520. *Ригоризм* — строгое проведение какого-либо принципа в действии, поведении, мысли, исключающее компромиссы (лат. rigor — твердость, стройность).

...«не будь таких людей, засохла б нива жизни». — Неточно цитируемые последние строки стихотворения Н.А. Некрасова «Памяти Добролюбова» (1864): «Природа-мать! когда б таких людей // Ты иногда не посылала миру, // Заглохла б нива жизни...».

С. 521. *Идол аккаронский,* акко — в греческом фольклоре страшилище, которым пугали детей.

Сломаешь себе шею, как Илий первосвященник!.. — Библейский персонаж, последний судья израильский Илий за потворство слабостям своих детей был наказан судом Божиим: сыновья погибли, а сам он, прожив 98 лет, погиб, упав и переломив себе хребет (Первая книга Царств, гл. 4, ст. 18).

Салтыков-Щедрин М.Е., *Глеб Успенский* — см. указ. имен.

С. 523. *...с Грановским, Рулье, Бабстом или Никитою Крыловым...* — См. указ. имен.

...явил Тургенев, когда сделал своего Потугина... — Созонт Иванович Потугин — персонаж романа И.С. Тургенева «Дым» (1867), почти не принимающий участия в событиях, но дающий им резонерские оценки с позиций «западничества».

Литтре Эмиль (1801–1881) — французский философ-позитивист, филолог, историк медицины.

С. 524. *Пантеист* — приверженец философского учения, отождествляющего Бога и мировое целое.

Панглосс, Кандид — герои философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759). Имя Панглоса стало нарицательным благодаря его девизу: «Все к лучшему в этом лучшем из миров».

С. **524.** *Лука* — герой пьесы М. Горького «На дне» (1902).

С. **525.** *Иоллос* Григорий Борисович (1859–1907) — публицист, политический деятель, депутат I Государственной думы. Убит террористом.

С. **526.** *Лествица* — лестница. «Лествица райская» — главный труд синайского отшельника Иоанна Лествичника (ок. 525 — после 600), в котором повествуется о тридцати ступенях лествицы самосовершенствования, ведущей к райской жизни.

С. **527.** *Орест Миллер* — см. указ. имен.

С. **528.** *Лонгфелло* Генри Уодсуорт (1807–1882) — американский поэт-романтик, прозаик, публицист.

С. **530.** *«Современник», «Русское слово»* — см. примеч. к с. 406.

Корф — вероятно, Николай Александрович (1834–1883) педагог, земский деятель, публицист. Участник подготовки и проведения крестьянской реформы 1861 г. В Александровском уезде Екатеринославской губернии открыл в 1867–1872 г. около ста школ. За его педагогической и общественной деятельностью с интересом следили современники.

«Голос» (1863–1884) — политическая и литературная газета издателя-редактора А.А. Краевского.

Михайлов Михаил Ларионович (1829–1865) — поэт, переводчик, прозаик, публицист, революционер.

Пролог — сборник церковноучительных сочинений, в который входят также жития русских святых.

Кн. Мещерский — в ту пору политический романист... — Имеются в виду пользовавшиеся шумной известностью романы В.П. Мещерского (см. о нем в примеч. к с. 502) «Один из наших Бисмарков» (1873), его продолжение «Граф Обезьянинов на новом месте» (1879), «Женщины из петербургского большого света» (1874), «Тайны современного Петербурга» (1876), «Княгиня Лиза» (1882) и др.

С. **531.** *Амфитеатров* В.Н. — см. примеч. к с.514.

Бокль Генри Томас (1821–1862) — английский историк и социолог-позитивист. Автор известного труда «История цивилизации в Англии», переведенной на русский язык в 1861 г.

Милль — см. указ. имен.

Маколей Томас Бабингтон (1800–1859) — английский историк, публицист. В 1839–1841 гг. — военный министр.

С. **531.** *Тьерри* Огюстен (1795–1856) — историк, один из основателей романтического направления во французской историографии.

Амфитеатров Егор Васильевич (1815–1888) — профессор Московской духовной академии по кафедре словесности и истории литературы.

С. **533.** *Ковалевский* Владимир Иванович (1848–1934) — ученый-аграрник, экономист. С 1892 г. директор Департамента торговли и мануфактуры. В 1900–1902 гг. — товарищ министра финансов.

С. **534.** *С.А. Муромцев, М.М. Ковалевский, В.А. Гольцев, Янжул, Зверев* — см. указ. имен.

С. **536.** *..ликующих, праздно болтающих, // Обагряющих руки в крови...* — Из стихотворения А.Н. Некрасова «Рыцарь на час» (1862).

...«фельдфебеля в Вольтеры»... — Из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

Плеве Вячеслав Константинович (1846–1904) — государственный деятель, сенатор. Директор департамента полиции. С 1899 г. — министр, статс-секретарь по делам Финляндии. В 1902–1904 гг. — министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов. Убит эсером Е.С. Созоновым.

С. **537.** *Орлов* Василий Иванович (1845–1885) — экономист, один из основателей земской статистики в России.

С. **538.** *...сколько из них впоследствии делалось Зверевыми и делается Гурляндами!..* — Н.А. Зверев — см. указ. имен. Илья Яковлевич Гурлянд (1868 – после 1921) — прозаик, драматург, критик, публицист, историк. В 1906–1914 гг. — редактор официозной правительственной газеты «Россия». В 1907–1917 гг. — член Совета министра внутренних дел. Гурлянда продвигал по службе член Государственного совета Б.В. Штюрмер, особенно в пору своего премьерства. В 1916 г. он поставил журналиста во главе всей информационной службы России, а также директором Петроградского телеграфного агентства (ПТА).

Алексей Александрович Остроумов

Печ. по изд.: Амфитеатров А. Собр. соч. Т. 14. Славные мертвецы. СПб.: Просвещение, <1912>.

С. **540.** *Остроумов* А.А. — см. указ. имен.

С. **540.** *Пантелеймон-целитель* — римский врачеватель, святой, великомученик. В 305 г. по приказу императора Максимилиана (286–310) был подвергнут жесточайшим пыткам за то, что исцелял именем Иисуса Христа. После пыток казнен.

С. **541.** *Шервинский* Василий Дмитриевич (1850–1941) — терапевт и патологоанатом. Профессор Московского университета с 1884 г. Один из основоположников эндокринологии в России.

С. **543.** *Базаров* — герой романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» (1862).

С. **549.** *«На земле весь род людской!»* — Из арии Мефистофеля в опере Гуно «Фауст».

...кропотливых Вагнеров в науке... — Вагнер — усердный помощник и ученик доктора Фауста из трагедии Гёте и оперы Гуно «Фауст».

ПАМФЛЕТЫ

Господа Обмановы
(Провинциальные впечатления)

Впервые — в газете «Россия». 1902. 13 января. № 975. Печ. по газетному тексту (подпись Old gentlemen); журнал «Красное знамя». Париж. 1906. № 1, 5 (здесь же история создания и события после публикации); сб. «Русский фельетон». М., 1958. За публикацию фельетона газета была закрыта, автор отправлен в ссылку в Минусинск. Горький в письме к Пятницкому от 24–25 января 1902 г., прочитав этот номер газеты, делится впечатлением: «Амф<итеатровский> фельетон — пошлость, плоское благерство. Думаю, что сей сеньор тиснул эту штуку по такому расчету: была у них в «России» помещена статья по поводу 25-летия служения в чинах Д. Сипягина. Статья — лакейская. Пожелали — реабилитацию устроить себе в глазах публики. И — вот. Я рад, что Амф<итеатрова> послали в Иркутск, быть может, он там будет серьезнее. Он все же — талант, хотя грубый, для улицы, для мещанина» (Архив Горького. Т. 1–14. М., 1939–1976. Т. IV. С. 72).

С. **555.** *Алексей Алексеевич Обманов* — имеется в виду император Александр III (Александр Александрович Романов; 1845–1894). Далее

под персонажами фельетона выведены: Марина Филипповна — императрица Мария Федоровна (1847–1928), жена Александра III; Никандр Алексеевич Обманов — император Николай II; 1868–1918); Никандр Памфилович — император Николай I (см. указ. имен). Алексей Никандрович — император Александр II (см. примеч. к с. 405).

С. **558.** *«Колокол»* — см. примеч. к с. 400.

С. **559.** *...«Гражданин» — кн. Мещерского.* — См. примеч. к стр. 502.

Катковский лицей — Императорский лицей в память цесаревича Николая, основанный в Москве 13 января 1868 г. издателями газеты «Московские ведомости» М.Н. Катковым (1818–1887) и П.М. Леонтьевым (1822–1874).

Красные околыши — дворянские фуражки.

Земская ярыжка — низший полицейский чин, занимавшийся рассылкой корреспонденции, исполнением поручений. В переносном значении — шут, бездельник.

«Русские ведомости» — см. примеч. к стр. 519;

С. **560.** *Кухаркины сыны* —так назывались в русской печати 1880-х годов дети «кучеров, лакеев, поваров, мелких лавочников и тому подобных людей», которым специальным циркуляром 1887 г. министра народного просвещения И.Д. Делянова (1818—1897) был запрещен доступ в классические гимназии.

Предики — нравоучительные речи.

...богатырю скандинавскому Фритьофу... — Фритьоф — норвежский герой исландской саги того же названия.

Победоносцев как человек и как государственный деятель

Печ. по изд.: СПб.: Шиповник, 1907. Памфлет Амфитеатрова публиковался вместе с очерком Е.В. Аничкова «Победоносцев и православная Церковь». Брошюра открывалась предисловием, в котором заявлена непримиримо радикалистская политическая позиция авторов по отношению и к личности, и к государственной деятельности обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода К.П. Победоносцева:

«Предлагаемые здесь два очерка исходят из стана непримиримых врагов Победоносцева. Они написаны не sine ira et studio (лат.: без гнева и пристрастия. — *Ред.*). Отнюдь. Оба автора очерков глу-

боко убеждены в том, что Победоносцев всей своей деятельностью не только принес огромный вред России, но и еще как бы воплотил в себе целиком все то ужасное зло, которым страдала Россия и которым она продолжает страдать и теперь.

Авторы этих очерков поставили себе целью заклеймить Победоносцева, указать хоть часть содеянных им преступлений перед родиной и осветить его личность с точки зрения пагубности всей его деятельности. Его мысли и его чувства враждебны тем воззрениям, какие исповедуют оба автора. Между теми и другими невозможно никакое примирение. Признание злыми и преступными всех убеждений и всех поступков Победоносцева составляет самую сущность миросозерцания, вызвавшего к жизни эти очерки. Тут нечего вновь переоценивать, нечего вновь передумывать. Преступность Победоносцева представляется здесь аксиомой, основным принципом.

И очерки эти должны были выйти при жизни Победоносцева. Простое типографское замедление заставило их выйти несколько позже, и за время этого невольного замедления Победоносцев умер. Оттого эти очерки не посмертный отзыв. Но смерть Победоносцева не должна была остановить их выхода в свет. Если дело идет в них и о личности, то личность эта вызывает к себе интерес только как носительница известного принципа. Принцип же этот — увы! — не умер вместе с Победоносцевым, и с ним все еще необходима борьба, непримиримая и упорная».

После ухода из жизни тайного правителя России наряду с враждебной точкой зрения публиковались и иные, причем не только апологетические, но и содержащие попытку объективного анализа, беспристрастного суждения. В числе таких — работы В.В. Розанова «Около церковных стен» и «Когда начальство ушло...», Н.А. Бердяева «Нигилизм на революционной почве» и «Истоки и смысл русского коммунизма (Победоносцев и Ленин)», А.Ф. Кони «Из лет юности и старости», Н.Н. Фирсова «Победоносцев: Опыт характеристики по письмам», Ю.В. Готье «К.П. Победоносцев и наследник Александр Александрович» и др. Да и Амфитеатров с Аничковым, дожив до социального краха России в 1917 г., оказавшись выброшенными в изгнание теми, кого они, горестно заблуждаясь, так страстно приветствовали, в немалой степени прозрели и ужаснулись. В эмигрантских публикациях Амфитеатров и Аничков если не реабилитировали Победоносцева, то разделили с ним понимание того

страшного, разрушительного, кровавого, что несли России нигилисты, революционеры-демократы, террористы «Черного передела», «Земли и воли», большевики, борьбе с которыми, как с чумой, посвятил свою жизнь Победоносцев.

Рвавшиеся к власти палачи преступных партий погубили подлыми ударами в спину многих самых авторитетных государственных деятелей России, в их числе и царя-реформатора Александра II. Пришедший ему на смену в 1881 г. Александр III избрал (не вынужденно ли? не бомбами ли террористов навязанный?) новый политический курс — утверждение во всех сферах общественной и государственной жизнедеятельности консервативного национализма. Это была политика «обратного хода» (Г.В. Флоровский). Определяющую роль в таком выборе, многим казавшимся странным, но для державы ставшим поворотным, сыграл именно Победоносцев, энциклопедически образованный теоретик русского ортодоксального консерватизма и практик теократического самодержавия. Этим он и интересен нашему времени, «срослась с ним целая эпоха русской истории» (Н.А. Бердяев).

С. **563.** *Иван Антонович Расплюев* — персонаж драматической трилогии Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817–1903) «Свадьба Кречинского» (1856), «Дело» (1861), «Смерть Тарелкина» (1869).

С. **564.** *Бэкон* Фрэнсис (1561–1626) — английский философ, родоначальник материализма.

Эмерсон Ралф Уолдо (1803–1882) — американский философ, эссеист, поэт; представитель романтизма.

Лилли Джон (1553 или 1554–1605) — английский романист и драматург.

С. **565.** *«Вечная память.* Воспоминания о почивших» — издание К.П. Победоносцева. М., 1896.

С. **566.** *Карлейль* Томас (1795–1881) — английский историк, философ, публицист.

Герберт Спенсер — см. указ. имен.

Пляска смерти — одна из аллегорий западно-европейского искусства в масках трагического или комического.

...печать племени Левитова... — Левиты — потомки Левия, получившие в древнем Израиле особые права на священнослужение.

С. **567.** *Как у щедринского Порфиши Велентьева...* — Порфирий Велентьев — персонаж очерковой книги М.Е. Салтыкова-Щед-

рина «Господа ташкентцы» (1873), олицетворяющий тип предпринимателя-хищника, «реформатора, который придет, старый храм разрушит, нового не возведет и, насоривши, исчезнет».

С. **567.** *«Бурса»* — «Очерки бурсы» (1862–1863) Н.Г. Помяловского.

Ливанов, Батька — персонажи из «Очерков бурсы».

Сперанский М.М. — см. указ. имен.

С. **568.** *Эпоха пуританизма* — вторая половина XVI – первая половина XVII вв. Пуритане (от англ. Puritans чистота) — наименование английских протестантов, требовавших упрощения пышной церковной обрядности, поощрявших религиозный фанатизм, расчетливость, трудолюбие, поклонение богатству.

«Круглоголовые» (стриженные в скобку) — так называли во время Английской буржуазной революции (1642) сторонников парламента, противостоявших «кавалерам», сторонникам короля.

С. **569.** *Амалик* — персонаж Библии, один из старейшин Идумеи, древней страны на южном побережье Мертвого моря.

«Подснаповщина» — по имени Подснапа. См. о нем. примеч. к с. 116.

...вроде героя Потапенкова «На действительной службе». — Имеется в виду повесть Игнатия Николаевича Потапенко (1856–1929).

Спасо-Евфимиевский монастырь, основанный в г. Суздале в XIV в., стал известен впоследствии как тюрьма для душевнобольных узников.

Елена Павловна (1806–1873), великая княгиня — жена великого князя Михаила Павловича. Активно занималась благотворительной деятельностью. В 1854 г. основала общину сестер милосердия, снарядила отряд врачей во главе с Н.И. Пироговым для отправки к местам боевых действий. Оказывала действенную поддержку деятелям, готовившим реформу 1861 г., освободившую крестьян от крепостного права. Под ее покровительством возникло Русское музыкальное общество, Клинический институт, названный ее именем (1885).

С. **570.** *Шульц* Надежда Павловна (урожд. Шипова; 1793–1877) — начальница училища для девиц духовного звания в Царском Селе (управляла им 34 года).

С. **571.** *Ильминский* Николай Иванович (1822–1891) — ориенталист, педагог, переводчик; знаток арабского, турецкого, персидского и татарского языков. Профессор Казанского университета. Деятель

просвещения в Казанском крае. С 1872 г. — директор Казанской инородческой учительской семинарии. Автор учебных пособий для крещеных татар. Миссионер.

С. **571.** *Торквемада* Томас (ок. 1420–1498) — глава испанской инквизиции с 1480-х гг.

Толстой Д.А. — см. указ. имен.

С. **572.** *Дамон и Пифий* — вероятно, неточность: это Дамон и Финтий, два друга, жившие в Сиракузах. Финтий был обвинен тираном Дионисием Младшим в измене и приговорен к смерти, но получил отсрочку на устройство своих дел. Заложником остался Дамон с условием, что будет казнен, если его друг не вернется к сроку. Однако Финтий вернулся. Дионисий был поражен этим доказательством дружбы и простил обоих.

Какая-нибудь Шульц... — См. примеч. к с. 570.

Калачов Николай Васильевич (1819–1885) — историк, юрист, государственный деятель; академик, сенатор. В 1848–1852 гг. заведовал кафедрой истории русского законодательства в Московском университете. Основатель и первый председатель Московского юридического общества, первый директор Петербургского археологического института (с 1877).

Аксаков И.С. — см. указ. имен.

С. **573.** *...Победоносцев присосался и к его памяти...* — Победоносцев — автор очерка-некролога «Аксаковы», одного из лучших среди десятков публикаций, посвященных памяти И.С. Аксакова.

Булгарин Ф.Б. — см. примеч. к с. 419.

Филиппов Тертий Иванович (1825–1899) — государственный деятель, публицист, богослов, славянофил. В 1878–1899 гг. — товарищ государственного контролера и государственный контролер. Член Государственного совета.

Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) — поэт; автор упоминаемой в тексте поэмы «Странник» (1867) и антологических (в духе античных) произведений, посвященных эпизодам из русской и европейской истории.

Прокопович Феофан (1681–1736) — церковный и политический деятель, писатель, историк, проповедник «просвещенного абсолютизма» в России.

С. **574.** *Плеве* В.К. — см. примеч. к с. 536.

Трепов Федор Федорович (1812–1889) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии. С 1866 г. — обер-полицмейстер в столице, а в 1873–

1878 — градоначальник С.-Петербурга. 24 января 1878 г. был ранен террористкой В. Засулич и вышел в отставку.

С. **574.** *Дурново* Петр Николаевич (1844–1915) — в 1884–1893 гг. директор департамента полиции, с 1893 — сенатор, в 1900–1906 — товарищ министра внутренних дел и министр, затем член Государственного совета, лидер группы правых.

С. **575.** *«Московский сборник»* (М.: Синодальная типография, 1896) — книга статей Победоносцева, выдержавшая пять изданий.

Раден Эдита Федоровна, баронесса (1825–1885) — фрейлина великой княгини Елены Павловны, поддерживавшая ее благотворительные инициативы, игравшая значительную роль в кружке сторонников реформ.

С. **576.** *...нечистому духу из полчища Адрамелехова.* — Адрамелех (евр. «мощный царь»), библейский персонаж, сын ассирийского царя Сеннахирима (Синахериба), убил в 681 г. до н.э. своего отца, но престолом не завладел и спасся бегством «в землю Араратскую» (Четвертая книга Царств. Гл. 19, ст. 37; Книга Пророка Исаии, гл. 37, ст. 38).

С. **577.** *Григорьев Е.К.* (1879–?) — слушатель Михайловской артиллерийской академии в 1901 г. Как свидетельствует Г.А. Гершуни («Из недавнего прошлого», 1907), вызвался убить Победоносцева после неудавшегося покушения на него и на министра внутренних дел Д.С. Сипягина. Предан суду, на котором дал признательные показания.

Гершуни Григорий Андреевич (1870–1908) — один из основателей партии социалистов-революционеров, руководитель эсеровской Боевой организации, участник террористических актов против Д.С. Сипягина, губернаторов И.М. Оболенского и Н.М. Богдановича. Приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением.

Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853–1902) — управляюший Министерством внутренних дел (с 1899 г.) и министр (в 1900–1902 гг.). Убит террористом в Мариинском дворце.

С. **578.** *Лаговский* Николай Константинович — статистик Самарской земской управы. В ночь с 8 на 9 марта 1901 г. произвел несколько выстрелов в окно кабинета, где работал Победоносцев, но пули ушли в потолок.

Фельдман Осип Ильич (1862–1910 или 1911) — врач-гипнотерапевт, коллекционер.

С. **579.** *Фома Кемпийский* (ок. 1380–1471) — нидерландский христианский писатель. Его трактат «О подражании Христу» переведен на все европейские языки (ок. двух тыс. изданий; на рус. яз. перевел Победоносцев).

Черевин Петр Александрович (1837–1896) — генерал-лейтенант; товарищ шефа жандармов, товарищ министра внутренних дел. Позже служил в конвое императора (начальник его охраны). 13 ноября 1881 г. на него было совершено покушение.

«Былое» (1906–1907) — «журнал, посвященный истории освободительного движения». Запрещен на № 10. Возобновлен в 1917 г.

С. **580.** *Эразм Роттердамский* (1469–1536) — нидерландский гуманист эпохи Возрождения, филолог, прозаик, богослов. Автор философской сатиры «Похвала Глупости» (1509; сорок прижизненных изд.).

Ульрих фон Гуттен (1488–1523) — немецкий писатель, гуманист, идеолог рыцарства. Один из авторов анонимного памфлета «Письма темных людей».

С. **581.** *Бэдлам* (Бедлам) — психиатрическая больница в Лондоне (с 1547 г.); синоним сумасшедшего дома.

Странница Феклуша, Кит Китыч Брусков, Кабаниха — персонажи пьес А.Н. Островского «Гроза» (Феклуша, Кабаниха), «В чужом пиру похмелье» и «Тяжелые дни» (Тит Титыч Брусков).

С. **582.** *«В начале было Слово...»* — Первые слова Евангелия от Иоанна.

Апраксин Степан Федорович (1792–1862) — генерал-адъютант (1830), генерал от кавалерии (1843). Участник Отечественной войны 1812 г.

Бутурлин Дмитрий Петрович (1790–1849) — военный историк, генерал-майор (1824), действительный тайный советник, сенатор. Участник войн Отечественной 1812 г. и русско-турецкой 1828–1829 гг. Автор трудов о войнах, которые вела Россия. Член Государственного совета с 1840 г. Директор Императорской Публичной библиотеки (с 1843 г.). С апреля 1848 г. одновременно председатель Особого секретного Комитета для высшего надзора за исправлением печатаемых в России произведений («Бутурлинский комитет»). По свидетельству А.В. Никитенко, Бутурлин «действует так, что становится невозможным что бы то ни было писать и печатать».

Духоборы, духоборцы — течение в духовном христианстве («борцы за дух и истину»), порвавшее с православием. Духоборцы отри-

цали как духовную, так и светскую власть, не признавали храмы, иконы, религиозные таинства, обряды и т.п. Подвергаемые преследованиям, бежали в Канаду. Л.Н. Толстой на гонорар за роман «Воскресение» зафрахтовал для беглецов два парохода.

С. **582.** *...выживал из аудитории, как Соловьева...* — Поэт, философ, публицист, богослов Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) был отстранен от преподавательской деятельности за публичную лекцию 28 марта 1881 г., в которой призывал помиловать убийц Александра II.

...упекал под суд, как Григория Петрова... — Священник-публицист, проповедник, профессор богословия Григорий Спиридонович Петров (1867–1925) был с 1893 г. законоучителем и настоятелем церкви в Михайловском артиллерийском училище. Слушать его проповеди, близкие к доктрине толстовства, приходил «весь Петербург». Однако в 1903 г. священник был отстранен от должностей как неблагонадежный.

...заточал в монастыри, как арх. Михаила. — Вероятно, это архимандрит Михаил (в миру Павел Васильевич Семенов; 1874–1916), духовный писатель, профессор церковного права в Петербургской духовной академии. В 1905–1907 гг. стал активным сотрудником газеты «Товарищ», примкнул к партии эсеров, за что был лишен сана. В дальнейшем деятель старообрядческой церкви, номинальный епископ Канадский.

Филарет — см. указ. имен.

Рудаков А.П. — см. указ. имен.

В «Великом Инквизиторе» Достоевского... — См. примеч. к с. 116.

С. **584.** *...гимн «Боже, Царя храни», сочиненный... жандармским генералом Львовым!* — Автор государственного гимна России на слова В.А. Жуковского «Боже, царя храни» (1833), композитор, скрипач, дирижер, директор Императорской певческой капеллы Алексей Федорович Львов (1798–1870) имел звания генерал-майора императорской свиты (1843), тайного советника и гофмейстера Высочайшего Двора (1853).

С. **585.** *Войницкий* Иван Петрович — главный герой пьесы А.П. Чехова «Дядя Ваня» (1897).

...истребил Волконских, Оболенских, Трубецких... — Имеются в виду участники декабрьского восстания 1825 г.: Сергей Григорьевич Волконский (1788–1865), приговоренный к двадцати годам ка-

торги, разделившая его судьбу жена Мария Николаевна (1806–1863); Евгений Петрович Оболенский (1796–1865), приговоренный к смертной казни, замененной каторжными работами; Сергей Петрович Трубецкой (1790–1860), сосланный на пожизненную каторгу.

С. 585. ...*окружился Бенкендорфами, Дубельтами, Клейнмихелями, фон Фоками...* — Т.е. инородцами. Имеются в виду прежде всего: *Бенкендорф* Александр Христофорович, граф (1783–1844) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии. Геройски проявил себя в Отечественной войне 1812 г. С июля 1826 г. — шеф Корпуса жандармов и главный начальник 3-го отделения Собственной его императорского величества канцелярии, командующий Императорской Главной квартирой. Инициатор возведения железной дороги между Москвой и Петербургом. *Дубельт* Леонтий Павлович (1792–1862) — генерал от кавалерии. Участник Отечественной войны 1812 г. Был близок с будущими декабристами М.Ф. Орловым и С.Г. Волконским. В 1839–1856 гг. управлял 3-м отделением. *Клейнмихель* Петр Андреевич (1793–1869), граф — государственный деятель, генерал-адъютант. С 1842 г. — главноуправляющий путями сообщения и публичными заведениями. При Александре II отправлен в отставку. Из *фон Фоков*, вероятно, Александр Викторович (1843–?) — генерал-лейтенант, служивший в Отдельном корпусе жандармов; участник войн русско-турецкой 1877–1878 и русско-японской 1904–1905 гг. (здесь бездарно руководил боями под Порт-Артуром, за что был отдан под суд и уволен со службы).

...посылал легкомысленного Меншикова в Константинополь... — Александр Сергеевич Меншиков (1787–1869), светлейший князь — генерал-адъютант (1817), адмирал (1833). В 1836–1855 гг. управлял Морским министерством и состоял Финляндским генерал-губернатором. В 1848 г. — председатель временного секретного комитета («меншиковского») для верховного надзора за цензурой. В январе 1853 г. был послан во главе чрезвычайного посольства в Константинополь. В Крымской войне, с 1853 по февраль 1855 г., был главнокомандующим морскими и сухопутными силами в Крыму; допустил несколько серьезных военных просчетов.

Паскевич Иван Федорович (1782–1856) — военный деятель, с 1829 г. — генерал-фельдмаршал. Подавив польское восстание 1830–1831 гг., стал наместником Царства Польского.

С. 586. *Карл IX* (1550–1574) — французский король с 1560 г., поддержавший резню гугенотов, которую организовала его мать Екатерина Медичи в ночь на 24 августа 1572 г. (Варфоломеевская ночь).

С. **589.** *Лорис-Меликов* Михаил Тариелович, граф (1825–1888) — генрал-адъютант, с 12 февраля по 6 августа 1880 г. — главный начальник Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия; с 6 августа 1880 по 4 мая 1881 г. — министр внутренних дел. Сторонник примирения общественных движений с монархией путем введения конституции и парламента; обладал диктаторскими полномочиями в конце царствования Александра II. При Александре III, взявшем курс на политическое укрепление самодержавия, Лорис-Меликов с 7 мая 1881 г. оказался не у дел.

Игнатьев Николай Павлович, граф (1832–1908) — государственный деятель, дипломат, генерал от инфантерии. Более двадцати лет был на дипломатической службе в странах Ближнего и Дальнего Востока. В 1881–1882 гг. — министр государственных имуществ, министр внутренних дел, затем в отставке. С 1888 г. — председатель Славянского благотворительного общества.

С. **591.** *Кочубей* Виктор Павлович, князь (1768–1834) — действительный тайный советник (1797), дипломат. В 1802–1807 и 1819–1825 гг. был первым министром внутренних дел. С апреля 1827 г. — председатель Государственного совета и Комитета министров.

Мордвинов Николай Семенович, граф (1754–1845) — адмирал (1797). В 1802 г. — первый министр морских сил империи. В 1810–1812 и 1816–1818 гг. — председатель Департамента государственной экономии Государственного совета. В 1826 г., будучи членом Верховного уголовного суда, был единственным, кто отважился не подписать смертный приговор декабристам. В 1823–1840 гг. — президент Вольно-экономического общества России.

С. **592.** *Кишиневский погром* — еврейский погром, учиненный в пасхальные праздники 6–7 апреля 1903 г. Организаторами его называли издателя газеты «Бессарабец» П. Крушевана и подрядчика Пронина.

Дурново П.Н. — см. о нем примеч. к с. 574.

...Столыпин, герой Белостока и Седлеца... — Имеются в виду еврейские погромы 1906 г. в Белостоке и Седлеце, за которые вину возложили на П.А. Столыпина, ставшего в апреле этого года министром внутренних дел. Обвинение было вызвано тем, что в погромах участвовали полицейские и военные. Столыпин в 1906–1907 гг. предпринял меры, позволившие остановить погромы.

Ренненкампф Павел Карлович (1854–1918) — генерал от кавалерии, проявивший личную храбрость в русско-японской войне. В 1905–1906 гг. возглавлял экспедиционные войска, посланные на усмирение революционных выступлений в Забайкалье. 31 марта 1918 г. за отказ поступить на службу в Красную Армию расстрелян большевиками.

С. **593.** ...*в «здании у Цепного моста».* — Имеется в виду здание на Фонтанке, д. 16, в котором с 1838 г. размещалось 3-е отделение Собственной его императорского величества канцелярии, а с 1888 г. — Департамент полиции.

С. **594.** *Горемыкин* Иван Логгинович (1839–1917) — в 1895–1899 гг. министр внутренних дел. В 1905–1906, 1914–1916 гг. — председатель Совета Министров.

Соловьев М.П. — см. примеч. к с. 395.

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911) — историк. В 1866–1908 гг. — основатель и издатель журнала «Вестник Европы».

Салтыков-Щедрин М.Е., *Михайловский* Н.К., *Елисеев* Г.З., *Катков* М.Н. — см. указ. имен.

С. **595.** *«Вильгельм Телль»* (1804), *«Орлеанская Дева»* (1801) — драмы Ф. Шиллера.

«Веселые Расплюевские дни» — одно из названий комедии-шутки А.В. Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина» (1869) из его трилогии. Под этим заглавием пьеса была поставлена на сцене Литературно-художественного театра в Петербурге 15 сентября 1900 г.

«Купец Калашников» (1880) — опера А.Г. Рубинштейна на сюжет поэмы Лермонтова.

«Борис Годунов» (1869) — опера М.П. Мусоргского на сюжет трагедии Пушкина. После цензурных запретов поставлена 27 января 1874 г. на сцене Мариинского театра.

Наполеон III — см. указ. имен.

С. **596.** *Лютер* Мартин (1483–1546) — деятель Реформации в Германии, основатель лютеранства. Автор 95 тезисов против индульгенций, отвергавший главные догматы католицизма.

С. **597.** *Георгиевский* Александр Иванович (1830–1911) — действительный тайный советник. В 1866–1870 гг. — редактор «Журнала Министерства народного просвещения». С 1871 г. — член Совета министра народного просвещения. Активный участник в разработке и осуществлении реформ в системе образования.

С. **598.** *Элоквенция* (лат.) — ораторское искусство.

С. **599.** *Ахимелех* — библейский персонаж: первосвященник из Номвы, помогший пищей, советами, приютом юному Давиду (он бежал от преследований царя Саула) и вручивший ему меч Голиафа. Саул, узнав об этом, приказал убить Ахимилеха и всех жителей Номвы (Первая книга Царств, гл. 21, ст. 1–10; гл. 22, ст. 6–23).

С. **600.** *Прецептор* — наставник, учитель (фр. precepteur).

...где товарищами министра являются Гурки... — Гурко — вероятно, Владимир Иосифович (1862–1927), который в 1906 г. был назначен товарищем министра внутренних дел; в дальнейшем камергер, член Государственного совета. Умер в эмиграции.

С. **602.** *Павел Иванович Чичиков* — герой поэмы Гоголя «Мертвые души» (1835–1841).

...путается ли он с г-жами Балетта... — Имеются в виду балерины (ит. baletto балет).

С. **603.** *Ирод* I Великий (ок. 73–4 до н.э.) — царь Иудейского государства, правивший в 40/37–4 гг. до н.э. В Новом Завете о нем рассказывается как о виновнике массового убийства младенцев в Вифлееме.

«Бурцов-ёра, забияка»... — Из стихотворного послания поэта-партизана Дениса Васильевича Давыдова (1784–1839) «Бурцову» (1804), посвященного гусару-сослуживцу.

С. **604.** *Альфред де Мюссе* (1810–1857) — см. указ. имен.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Алфавитный аннотированный указатель имен является разделом примечаний, в который вынесен необходимый минимум сведений о лицах, упоминающихся в текстах романа «Восьмидесятники» (т. 5. Разрушенные воли; т. 6. Крах души). В указатель не включены имена эпизодические.

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) — публицист, общественный деятель; редактор газет «День» (1861–1865), «Москва» (1867–1868), «Москвич» (1867–1868), «Русь» (1880–1886). Один из идеологов славянофильства, перешедший на позиции панславизма. Сын Сергея Тимофеевича и брат Константина Сергеевича Аксаковых — известных писателей и вождей славянофильства. Будучи убежденным монархистом, занимал тем не менее самостоятельную, во многом отличавшуюся от официальной точку зрения по многим вопросам внутренней и внешней политики. В 1875–1878 гг., когда особенно остро дебатировались проблемы панславизма, его суждения оказались весьма влиятельными. Автор историко-литературного труда «Федор Иванович Тютчев» (1874). Важный документ эпохи — его переписка: «И.С. Аксаков в его письмах» (т. 1–4; 1888–1896).

Александр I (1777–1825) — император России с 1801 г.

Алексеев Александр Семенович (1851–?) — юрист, профессор государственного права в Московском университете. Автор книг «Макиавелли как политический мыслитель» (1880), «Этюды о Жан Жаке Руссо» (1887), «Безответственность монарха и ответственность монарха» (1907), «Начало верховенства права в современном государстве» (1910) и др.

Алкивиад (ок. 450–404 до н.э.) — древнегреческий полководец и политический деятель, отличавшийся обостренным честолюбием. Ученик Перикла и Сократа.

Амвросий (в миру Александр Михайлович Гренков; 1812–1891) — иеросхимонах, старец Оптинской пустыни, духовный писатель.

Андерсен Ханс Христиан (1805–1875) — датский прозаик, драматург, поэт, прославившийся своими сказками.

Анна Иоанновна (1693–1740) — императрица России в 1730–1740 гг. В ее правление ужесточилась борьба не только с расколом, но и с белым духовенством. Девять архиереев, не согласных с политикой главы

Синода Феофаном Прокоповичем, и сотни рядовых священнослужителей попали в застенки Тайной розыскных дел канцелярии; после избиения плетьми и пыток им объявлялся приговор: в заточение и ссылку. Фактическим правителем был Э.И. Бирон.

Аполлоний Тианский (I в. н.э.) — античный проповедник морали, «пифагорейского образа жизни» с его многочисленными культовыми запретами. Прожил около 100 лет (последние годы вел жизнь аскета).

Апухтин Алексей Николаевич (1840–1893) — поэт, прозаик.

Апухтин Александр Львович (1822–1903) — генерал-майор, действительный тайный советник (с 1896), сенатор (с 1897). В 1879–1897 гг. — попечитель Варшавского учебного округа.

Араго Доминик Франсуа (1786–1853) — французский ученый и политический деятель. Открыл намагничивающее действие электрического тока, установил связь полярных сияний с магнитными бурями. Автор трудов по астрономии и истории науки.

Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834) — граф — государственный и военный деятель, друживший с императором Александром I; пользовался при нем неограниченной властью. С 1810 г. — председатель Департамента военных дел Государственного совета и фактический руководитель государства. С 1817 г. возглавлял управление военными поселениями.

Афанасьев Александр Николаевич (1826–1871) — фольклорист, историк, литературовед. Автор труда «Поэтические воззрения славян на природу» (т. 1–3, 1866–1869), сборников «Народные русские сказки» (8 вып., 1855–1864), «Народные русские легенды» (1859).

Бабст Иван Кондратьевич (1823–1881) — экономист и историк; в 1857–1874 гг. — профессор политической экономии в Московском университете, преподаватель наследника престола великого князя Николая Александровича.

Бабухин Александр Иванович (1827 или 1835–1891) — врач, один из основоположников гистологии. Профессор Московского университета (1865).

Баженов Василий Иванович (1737 или 1738–1799) — архитектор, график. Представитель классицизма. В Москве создал проект усадьбы Царицыно с дворцовым комплексом и прудами, постро-

ил дом Пашкова (Российская государственная библиотека), колокольню и трапезную церкви Всех скорбящих радости на Большой Ордынке и др.

Байрон Джорджс Ноэл Гордон (1788–1824) — английский поэт-романтик, член палаты лордов.

Бальзак Оноре де (1799–1850) — французский писатель, автор эпопеи «Человеческая комедия», состоящей из 90 романов, повестей и рассказов, связанных общим замыслом и персонажами.

Барков Иван Семенович (ок. 1732–1768) — поэт, переводчик. Прославился непристойными стихами, расходившимися в списках (впервые опубл. в 1992 г.).

Барнай Людвиг (1842–1924) — немецкий актер и театральный деятель. Прославился в трагедиях У. Шекспира и Ф. Шиллера.

Бедекер Карл (1801–1859) — основатель немецкой книгоиздательской фирмы, выпускающей популярные путеводители по странам. Ныне «бедекер» — синоним слова «путеводитель».

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) — литературный критик.

Бетховен Людвиг ван (1770–1827) — немецкий композитор, пианист, дирижер. Представитель венской классической школы.

Бизе Жорж (1838–1875) — французский композитор, автор опер «Кармен» (1874) по новелле П. Мериме, «Искатели жемчуга» (1863), «Джамиле» (1871) и др.

Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен (1815–1898) — князь, 1-й рейхсканцлер Германской империи в 1871–1890 гг.

Блондель де Нель — французский поэт-трувер XII в. Труверы — поэты-певцы северной Франции, состязавшиеся с трубадурами Прованса.

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921) — прозаик, драматург, публицист, критик, мемуарист.

Боголепов Николай Павлович (1846–1901) — государственный деятель, правовед, профессор истории римского права, с1883–1887 и 1891–1893 гг. — ректор Московского университета. С 1898 г. — министр народного просвещения. Ввел жесткую политику против студентов-революционеров, вплоть до отправки в солдаты. В 1901 г. смертельно ранен террористом-эсером П.В. Карповичем.

Богословский Виктор Степанович (1841–1904) — фармаколог, врач-бальнеолог и гидротерапевт, профессор Московского университета (с 1884 г.).

Бодлер Шарль (1821–1867) — французский поэт и критик; автор сборника «Цветы зла» (1857).

Бойто Арриго (1842–1918) — итальянский композитор, поэт и либреттист. Автор оперы «Мефистофель» (по трагедии Гёте «Фауст»; 1868).

Боккаччо Джованни (1313–1375) — итальянский писатель, классик эпохи Раннего Возрождения, автор книги новелл о любви «Декамерон» (1350–1353, опубл. 1470) и др.

Бокль Генри Томас (1821–1862) — английский историк и социолог.

Борис Годунов (ок. 1552–1605) — русский царь с 1598 г.

Бреверн-Делагарди Александр Иванович (1814–1890), граф — генерал-адъютант (с 1856), генерал от кавалерии (с 1869). В 1865–1869 гг. — командующий войсками Харьковского, а в 1879–1888 гг. — Московского военного округа. Член Государственного совета (с 1888 г.).

Бугаев Николай Васильевич (1837–1903) — профессор и декан физико-математического факультета Московского университета. Отец прозаика, поэта-символиста, критика, литературоведа, мемуариста Адрея Белого (наст. имя и фам. Борис Николаевич Бугаев; 1880–1934).

Бурже Поль Шарль Жозеф (1852–1935) — французский писатель.

Бэн Александр (1818–1903) — английский психолог.

Вагнер Николай Петрович (1829–1907) — профессор зоологии Петербургского университета и писатель (автор «Сказок Кота-Мурлыки», 1872, и др.).

Васнецовы — семья художников-передвижников: создатель фольклорно-исторического жанра в русской живописи Виктор Михайлович (1848–1926) и его брат, автор пейзажей старинной Москвы Аполлинарий Михайлович (1856–1933).

Вега Карпьо Лопе Феликс де (1562–1635) — испанский драматург, автор более 2000 пьес, романов и стихов.

Вейнберг Павел Исаевич (1846–1904) — писатель-юморист, чтец, автор сцен и анекдотов, печатавшихся в «Развлечении» и других журналах.

Вейнберг Петр Исаевич (1831–1908) — поэт, переводчик, историк литературы. В 1870–1874 гг. — редактор газеты «Варшавский

Вонлярлярский Василий Александрович (1814–1852/53) — прозаик, драматург. Автор романа «Большая барыня» (1852).

Газенклевер Рихард (1813–1876) — немецкий медик, музыкант, член имперского сейма. Занимался также проблемами религии и философии.

Гарнак Адольф (1851–1930) — немецкий протестантский богослов и церковный историк. Автор трудов по истории раннехристианской литературы и истории догматов.

Гартман Эдуард (1842 — 1906) — немецкий философ, сторонник панпсихизма. Основой сущего считал абсолютный бессознательный дух — мировую волю. Вслед за А. Шопенгауэром разработал концепцию пессимизма.

Гаршин Всеволод Михайлович (1855–1888) — прозаик, критик.

Гейне Генрих (1797–1856) — немецкий поэт и публицист.

Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд (1821–1894) — немецкий естествоиспытатель. Автор трудов по физике, биофизике, физиологии, психологии. Впервые математически обосновал закон сохранения энергии (1847).

Герцен Александр Иванович (1812–1870) — писатель, философ, публицист, революционер.

Герье Владимир Иванович (1837–1919) — профессор всеобщей истории в Московском университете, основатель и руководитель Высших женских курсов в Москве (1872–1905).

Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832) — немецкий поэт, прозаик, драматург, философ, естествоиспытатель. Основоположник немецкой литературы нового времени.

Гиппократ (ок. 460 — ок. 370 до н.э.) — древнегреческий врач, реформатор античной медицины.

Гитри Саша (Александр; 1885–1957) — французский актер, драматург, режиссер. На сцене с пятилетнего возраста. С 1914 г. в труппе своего отца Люсьена Гитри.

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852).

Годунов Б.Ф. — см. Борис Годунов.

Гольцев Виктор Александрович (1850–1906) — юрист, приват-доцент полицейского права в Московском университете, публицист, критик. Активный деятель земского движения. С 1885 г. — фактический руководитель журнала «Русская мысль».

Гончаров Иван Александрович (1812–1891) — прозаик, автор романов «Обыкновенная история» (1847), «Обломов» (1859), «Обрыв» (1869).

Гончарова Н.Н. — см. Пушкина Н.Н.

Горбунов Иван Федорович (1831–1896) — прозаик, актер Малого и Александринского театров; зачинатель литературно-сценического жанра устного рассказа. Юмор Горбунова, по словам современника, «рассыпался по всей России и вошел в поговорки, в пословицы» (Плещеев А.А. Что вспомнилось. Актеры и писатели. СПб., 1914. Т. 3. С. 119).

Горожанкин Иван Николаевич (1848–1904) — ботаник, профессор Московского университета (с 1881).

Горький Максим (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков; 1868–1936).

Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) — историк, профессор Московского университета. Лидер русских западников.

Гранье де Кассаньяк Поль Адольф (1843–1904) — французский политический деятель и журналист, сторонник бонапартизма. В 1876 г. был избран в палату депутатов, где скандально прославился тем, что на заседаниях прерывал неугодных ораторов оскорбительными выкриками.

Грибоедов Александр Сергеевич (1790 или 1795–1829) — драматург, поэт, композитор, дипломат. Автор комедии «Горе от ума» (1822—1824). Будучи полномочным представителем России в Персии, был убит во время бунта.

Гуно Шарль (1818–1893) — французский композитор. Автор опер «Фауст» (1859), «Ромео и Джульетта» (1865) и др.

Гюго Виктор Мари (1802–1885) — французский прозаик, поэт, драматург. Автор романов «Собор Парижской Богоматери» (1831), «Отверженные» (1862), «Труженики моря» (1866), «Человек, который смеется» (1869) и др.

Давид — царь Израильско-Иудейского государства в конце II в. — ок. 950 до н.э. В Библии о нем повествуется как о юноше-пастухе, победителе Голиафа, полководце, царе, составителе псалмов, мессии.

Дагобер (602–638) — франкский король с 631 г.

Дантес Жорж Шарль (барон Геккерен, 1812–1895) — французский монархист, живший в 1830-х гг. в России. Убил на дуэли А.С. Пушкина.

Демосфен (ок. 384–322 до н.э.) — афинский оратор-демократ, автор знаменитых «филиппик», речей против македонского царя Филиппа II. После захвата Греции македонцами отравился.

Джаншиев Григорий Аветович (1851–1900) — историк, публицист, общественный деятель, мемуарист. Сотрудник и пайщик газеты «Московские ведомости». Автор книги «Эпоха великих реформ» (1892; десять изданий). Выступал за улучшение положения армян в Турции.

Диккенс Чарлз (1812–1870) — английский писатель.

Доде Альфонс (1840–1897) — французский писатель.

Долгоруков Владимир Андреевич (1810–1891), князь — генерал от кавалерии, член Государственного совета; в 1856–1891 гг. — московский генерал-губернатор.

Донат (в миру Николай Ильич Бабинский; 1828–1896) — проповедник, магистр Петербургской духовной академии, архиепископ Литовский и Донской.

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881).

Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1756–1816) — генерал от инфантерии (1810). Участник войн русско-шведской (1788–1790), русско-французской (1805, 1806–1807) и Отечественной (1812), участвовал в Смоленском и Бородинском сражениях, пехотный корпус под его командованием сыграл решающую роль в бою под Малоярославцем.

Дриль Дмитрий Андреевич (1846–1910) — криминалист, приверженец учения Ломброзо о существовании типа человека, предрасположенного к совершению преступлений. Автор трудов «Малолетние преступники», «Бродяжество и нищенство и меры борьбы с ними», «Ссылка во Франции и России».

Дружинин Александр Васильевич (1824–1864) — прозаик, критик, переводчик. Печатался под псевдонимом Иван Чернокнижников и др. (их около 30). Автор повести «Полинька Сакс» (1847), которой дебютировал в журнале «Современник», затем его постоянный сотрудник и автор. С осени 1856 г. возглавил журнал «Библиотека для чтения», где стал лидером в рядах сторонников «чистого искусства», полемизировавших с эстетикой революционеров-демократов.

Дюма-сын Александр (1824–1895) — французский прозаик и драматург, автор романа «Дама с камелиями» (1848) и одноимен-

ной пьесы (1852), на сюжет которой Дж. Верди написал оперу «Травиата».

Еврипид (ок. 480–406 до н.э.) — древнегреческий поэт-драматург, автор классических античных трагедий «Вакханки», «Геракл», «Медея», «Ипполит» и др.

Екатерина II (1729–1796) — императрица России с 1762 г.

Елисеев Григорий Захарович (1821–1891) — публицист. С 1860 г. вел раздел «Внутреннее обозрение» в журнале «Современник», с 1868 г. возглавлял публицистический отдел в «Отечественных записках».

Ермолов Алексей Петрович (1777–1861) — генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 г. В 1816–1827 гг. — командир Отдельного Грузинского (Кавказского) корпуса и главноуправляющий в Грузии во время Кавказской войны. Оказывал покровительство сосланным на Кавказ декабристам, что стало одной из причин его отставки.

Ермолова Мария Николаевна (1853–1928) — трагедийная актриса; с 1871 г. — в Малом театре.

Живокини Василий Игнатьевич (1805–1874) — актер-комик. С 1824 г. — актер Малого театра.

Захарьин Григорий Антонович (1829–1897/98) — терапевт, профессор, основатель московской клинической школы, директор терапевтической клиники медицинского факультета Московского университета.

Зверев Николай Андреевич (1850–1917) — юрист, профессор энциклопедии и истории философии права, с 1893 г. — ректор Московского университета. В 1898–1901 гг. — товарищ министра народного просвещения. В 1902–1905 гг. — начальник Главного управления по делам печати. С 1909 г. — член Государственного совета.

Золя Эмиль (1840–1902) — французский прозаик. Автор 20-томной серии романов «Ругон-Маккары» (1871–1893) и др.

Иванов Александр Андреевич (1806–1858) — живописец. Автор монументального полотна «Явление Христа народу» (1837–1857) и др.

Игнатьев Николай Павлович (1832–1908), граф — дипломат, генерал от инфантерии, государственный деятель. В 1861–1864 гг. — дирек-

тор Азиатского департамента министерства иностранных дел. В 1864–1877 гг. — посол в Константинополе. Игнатьев, уполномоченный царем для ведения переговоров с турками, составил и добился подписания 3 марта 1878 г. Сан-Стефанского мирного договора, которым завершилась русско-турецкая война 1877–1878 гг. В 1881–1882 гг. — министр внутренних дел.

Иеринг Рудольф фон (1818–1892) — немецкий юрист, автор многих трудов по правоведению, переведенных на русский язык.

Иловайский Дмитрий Иванович (1832–1920) — историк, публицист. Автор трудов «История России» (т. 1–5, 1876–1905), «Руководство к русской истории. Сравнительный курс» (44 изд., 1866–1916 гг.) и нескольких учебников, опередивших все другие по числу переизданий.

Иорданс Якоб (1593–1678) — фламандский живописец, автор историко-аллегорических картин.

Ирод I Великий (ок. 73–4 до н.э.) — царь Иудеи. При известии о рождении Иисуса Христа истребил в Вифлееме сорок тысяч младенцев (отсюда нариц. ирод-злодей).

Казанова Джованни Джакомо (1725–1798) — итальянский прозаик, мемуарист, жизнь которого прошла в поисках авантюрных приключений, в том числе любовных. Об этом написал в своих знаменитых «Мемуарах» (т. 1–12, 1791—98, опубл. в 1822–1828), переведенных на многие языки (на русский — в 1887 г.).

Кальдерон де ла Барка Педро (1600–1681) — драматург испанского барокко, создавший более четырехсот пьес разных жанров, в том числе 120 комедий.

Кальноки Густав Зигмунд (1832–1898) — австрийский политический деятель, в 1880–1881 гг. — посол в Петербурге, в 1881–1895 гг. — министр иностранных дел.

Камоэнс Луиш ди (1524 или 1525–1580) — португальский поэт, автор лирических стихов, сонетов, сатир, комедий, эпической поэмы «Лузиады» (1572) о плавании в Индию Васко да Гамы.

Капнист Павел Александрович (1840–1904) — юрист, с 1880 г. — попечитель Московского учебного округа.

Кассаньяк — см. Гранье де Кассаньяк.

Катков Михаил Никифорович (1818–1887) — публицист, редактор и издатель газеты «Московские ведомости» (1851–1856 и

1863–1887 гг.), воскресного приложения к газете «Современные летописи» (1863–1871), журнала «Русский вестник» (с 1856 по 1887 г.). Издания Каткова и его яркая публицистика обрели известность обличениями нигилизма шестидесятников; в 1880-е гг. оказывали серьезное влияние на правительственную политику. У Каткова печатались Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, Н.С. Лесков, К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев, Вл.С. Соловьев и др.

Клиндворт Карл (1830–1916) — немецкий пианист, дирижер. В 1868–1881 гг. — профессор Московской консерватории.

Ключевский Василий Осипович (1841–1911) — историк, крупнейший представитель русской историографии. В 1879–1911 гг. — профессор Московского университета.

Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) — историк, этнограф, юрист, социолог; профессор Московского университета. Автор мемуарных очерков «Воспоминания об И.С. Тургеневе», «Баденский период жизни Тургенева» и «За рубежом».

Кожевников Алексей Яковлевич (1836–1902) — врач, профессор Московского университета. Один из основоположников невропатологии в России.

Козлов Александр Александрович — генерал-губернатор, московский обер-полицеймейстер, почетный член московского филармонического общества.

Козьма Прутков — коллективный псевдоним, которым в 1850–1860-е гг. подписывали свои сатирические стихи, пьесы, пародии поэты Алексей Константинович Толстой (см.) и братья Жемчужниковы: Алексей Михайлович (1821–1908), Александр Михайлович (1826–1896) и Владимир Михайлович (1830–1884).

Кок Поль Шарль де (1793–1871) — французский прозаик, драматург. Автор фривольный романов, переведенных на большинство европейских языков.

Колридж Сэмюэл Тейлор (1772–1834) — английский поэт, критик, философ. Автор «Сказания о старом мореходе» (1798), неоднократно переводившегося на русский язык.

Колумб Христофор (1451–1506) — мореплаватель, руководил испанской экспедицией для поиска кратчайшего морского пути в Индию; в 1502–1504 гг. открыл побережье Южной и Центральной Америки.

Корсаков Сергей Сергеевич (1854–1900) — психиатр, с 1892 г. — профессор Московского университета. Автор классического труда «Курс психиатрии» (1893).

Корш Федор Адамович (1852–1923) — драматург, переводчик, основатель и владелец драматического театра в Москве (1882—1932).

Костомаров Николай Иванович (1817–1885) — историк, прозаик, поэт, критик, писавший на русском и украинском языках. Главный труд — «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» (1873–1888).

Кочетова Зоя Разумниковна (1857–1892) — оперная певица (колоратурное сопрано). В 1879–1883 гг. — солистка Большого театра.

Красовский Иван Иванович — вице-губернатор.

Крафт-Эбинг Рихард (1840–1902) — немецкий психиатр. С 1873 г. в Австрии. Один из основоположников сексологии. Автор монографии «Сексуальная психопатия» (1886), переведенной на основные европейские языки.

Крылов Виктор Александрович (1838–1906) — драматург, переводчик, журналист, театральный деятель. Автор около 120 пьес. В 1893–1896 гг. заведовал репертуарной частью Александринского театра.

Крылов Никита Иванович (1807–1879) — профессор римского права, один из самых популярных преподавателей Московского университета.

Кудрявцев Петр Николаевич (1816–1858) — историк, прозаик, критик. С 1855 г. — профессор всеобщей истории в Московском университете.

Курциус Георг (1820–1885) — немецкий филолог. Автор популярного школьного учебника грамматики греческого языка, введенного в русских классических гимназиях министром народного просвещения Д.А. Толстым.

Кутузов (Голенищев-Кутузов-Смоленский) Михаил Илларионович (1745–1813), граф, светлейший князь — генерал-фельдмаршал (1812), полководец, выигравший Отечественную войну 1812 г.

Кюи Цезарь Антонович (1835–1918) — композитор, критик, инженер-генерал, педагог. Автор 14 опер и более трехсот романсов.

Легонин Виктор Алексеевич (?–1899) — юрист, профессор судебной медицины в Московском университете.

Лейкин Николай Александрович (1841–1906) — прозаик, журналист. С 1881 г. — редактор-издатель журнала «Осколки», в котором дебютировал А.П. Чехов.

Лекок Шарль (1832–1918) — французский композитор, крупнейший мастер оперетты («Дочь мадам Анго», «Жирофле-Жирофля», «Али-Баба» и др.).

Ленский Александр Павлович (наст. фам. Вервициотти; 1847–1908) — актер, режиссер, педагог. С 1876 г. — в Малом театре, в 1882–1884 гг. — в Александринском театре. Прославился исполнением ролей Гамлета (в одноименной трагедии У. Шекспира), Чацкого и Фамусова («Горе от ума» А.С. Грибоедова) и др.

Лентовский Михаил Валентинович (1843–1906) — антрепренер, режиссер, актер, начинавший карьеру в Малом театре, автор водевилей. Поставил около 280 пьес, основал 11 театров в Москве, Петербурге, Н. Новгороде, в том числе московский увеселительный сад «Эрмитаж» (1876) с несколькими театрами на открытых площадках и «Скоморох» (1885–1895; здесь в 1895 г. состоялась одна из премьер «Власти тьмы» Л.Н. Толстого).

Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) — философ, прозаик, публицист, литературовед, критик, дипломат, врач. Незадолго до смерти совершил тайный постриг в монахи Троице-Сергиевой лавры.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841).

Ливий Тит (59 до н.э. – 17 н.э.) — римский историк, автор «Римской истории от основания города» (142 книги, сохранилось35).

Литольф Анри Шарль (1818–1891) — французский композитор, пианист-виртуоз, дирижер, издатель. Автор увертюр «Робеспьер», «Жирондисты» и др.

Ломброзо Чезаре (1835–1909) — итальянский судебный психиатр и криминалист, создатель учения о существовании особого биологического типа человека, предрасположенного к совершению преступлений.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) — первый российский ученый-естествоиспытатель мирового значения, поэт, заложивший основы русского литературного языка, историк.

Лопе де Вега — см. Вега Карпьо Лопе Ф. де.

Лямин Иван Артемьевич (1822–1894) — видный предприниматель в текстильной промышленности, биржевой и банковский дея-

тель. В 1871–1873 гг. — московский городской голова. Финансировал славянофильские газеты И.С. Аксакова «Москва» и «Москвич», в которых печатался.

Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) — поэт; автор антологических (в духе античных) произведений, посвященных эпизодам из русской и европейской истории.

Макиавелли Никколо (1469–1527) — итальянский политический деятель, признававший допустимыми любые средства для упрочения сильной государственной власти (макиавеллизм), писатель. Автор сочинений «История Флоренции» (1520–1525, изд. 1532) «Государь» (1513, изд. 1632), комедии «Мандрагора» (1518, пост. и изд. 1524) и др.

Маковские — семья живописцев, в которой наиболее известны братья Константин Егорович (1839–1915) и Владимир Егорович (1846–1920), члены-учредители Товарищества передвижных художественных выставок (1870).

Мамонтов Савва Иванович (1841–1918) — промышленник, меценат, режиссер, либреттист. В 1870–1890 гг. его подмосковное имение Абрамцево стало центром художественной жизни. Основал на свои средства Московскую частную оперу (1885–1904).

Марго Давид (1823–1872) — педагог-швейцарец, преподававший в Петербурге; автор популярных учебников французского языка и французской грамматики.

Маркевич Болеслав Михайлович (1822–1884) — прозаик, публицист, критик, влиятельный чиновник, актер-любитель. Сотрудник «Московских ведомостей» М.Н. Каткова и «Гражданина» М.П. Мещерского. Автор романов «Марина из Алого Рога» (1873), «Четверть века назад» (1878) и др.

Марциал (ок. 40–ок. 104) — римский поэт-сатирик, автор эпиграмм.

Мейербер Джакомо (наст. имя и фам. Якоб Дибман Бер; 1791–1864) — композитор. Создатель жанра большой оперы: «Роберт-Дьявол» (1830), «Гугеноты» (1835), «Пророк» (1849; в России под названием «Осада Гента», «Иоанн Лейденский») и др.

Мериме Проспер (1803–1870) — французский прозаик, драматург. Автор новеллы «Кармен» (1845) и романа «Хроника времен Карла IX» (1829), по которым написаны оперы «Кармен»

Бизе и «Гугеноты» Мейербера. Мериме принадлежат также труды о русской классике и русской истории, а также сборники пьес «Театр Клары Гасуль» (1825), баллад «Гузла» (1827) и др.

Мессалина (ок. 25–48 н.э.) — третья жена римского императора Клавдия, казненная им за распутство и заговор против него.

Мещерский Николай Петрович (1829–1901), князь — тайный советник, гофмейстер, в 1874–1880 гг. — попечитель Московского учебного округа. В 1908 г. издал сборник «Из бумаг Н.М. Карамзина, хранящихся в Государственном архиве» (Карамзин — его дед по матери).

Миллер Орест Федорович (1833–1889) — фольклорист, историк литературы, критик, публицист.

Милль Джон Стюарт (1806–1873) — английский философ, экономист, идеолог либерализма. Автор двухтомников «Система логики» (1843) и «Основания политической экономии» (1848).

Миролюбов Виктор Сергеевич (1860–1939) — издательский деятель; с 1897 по 1906 г. — редактор общедоступного литературно-общественного и научного «Журнала для всех», затем его продолжений в 1906–1908 гг. — «Народная весть», «Трудовой путь», «Наш журнал», закрытых цензурой; редактор горьковских сборников «Знание», заведующий беллетристическим отделом в журналах «Современник» (с января 1911 г.), «Заветы» (с апреля 1912 г.), «Ежемесячном журнале» и др.

Мицкевич Адам (1798–1855) — польский поэт-романтик.

Михайловский Николай Константинович (1842–1904) — социолог, публицист, литературный критик. Один из редакторов журналов «Отечественные записки» и «Русское богатство». В конце 1870-х гг. был близок к «Народной воле». В 90-х гг. XIX в. с позиций крестьянского социализма выступал против марксизма.

Моммзен Теодор (1817–1903) — немецкий историк, автор известного труда «Римская история». Лауреат Нобелевской премии по литературе (1902).

Мопассан Ги де (1850–1893) — французский прозаик, прославившийся изображением мира интимных чувств человека, мастер короткого рассказа.

Мордовцев Даниил Лукич (1830–1905) — прозаик, публицист, историк, писавший на русском и украинском языках. Автор популярных исторических романов.

Мрочек-Дроздовский Петр Николаевич (1848–?) — профессор истории русского права в Московском университете.

Мстислав Мстиславович Удалой (?–1228) — русский князь. Княжил в Триполье, Новгороде, Галиче. Участвовал в Липецкой битве (1216) и битве на реке Калке (1223).

Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910) — юрист, публицист, земский деятель. В 1877–1884 гг. — профессор Московского университета. Впоследствии один из лидеров партии кадетов, председатель I Государственной думы.

Мюссе Альфред де (1810–1857) — французский поэт-романтик, прозаик, драматург. Автор романа «Исповедь сына века» (1836), где представлен обобщенный портрет молодого поколения эпохи Реставрации.

Мясоедов Григорий Григорьевич (1834–1911) — живописец, один из учредителей Товарищества передвижных художественных выставок (1870).

Надсон Семен Яковлевич (1862–1887) — поэт.

Наполеон I (Наполеон Бонапарт; 1769 — 1821) — император Франции, полководец.

Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт, 1808–1873) — с 1848 г. президент Французской республики. 1852 г. провозглашен императором. Отрекся от престола в 1870 г.

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877/78) — поэт, прозаик, публицист, редактор-издатель журналов «Современник» (1847–1866) и «Отечественные записки» (совместно с М.Е. Салтыковым-Щедриным с 1868 г).

Николай I Павлович (1796–1855) — российский император с 1825 г.

Никулина Надежда Алексеевна (1845–1923) — драматическая актриса. С 1863 г. — в Малом театре, где прославилась исполнением ролей в комедиях А.Н. Островского, написанных специально для нее.

Ньютон Исаак (1643–1727) — английский математик, астроном и физик. Открыл закон всемирного тяготения, содал основы небесной механики, разработал дифференциальное и интегральное исчисление (независимо от Г. Лейбница).

Огарев Николай Ильич — московский полицмейстер.

Огарев Николай Платонович (1813–1877) — поэт, публицист, друг и соратник А.И. Герцена.

Огиньский Михаил Клеофас (1765–1833), граф — польский композитор и политический деятель. С 1802 г. жил в Петербурге. Сенатор (с 1810 г.). Автор известных полонезов, в том числе «Прощание с родиной» (1794), а также мазурок, вальсов, маршей и романсов.

Орлов Василий Иванович (1848–1885) — экономист, один из основателей земской статистики в России.

Островский Александр Николаевич (1823–1886) — драматург, заложивший основы национального репертуара в русском театре.

Остроумов Алексей Александрович (1844/45–1908) — терапевт, основатель научной школы, профессор Московского университета (с 1880 г.).

Павел I (1754–1801) — император России с 1796 г.

Павлов Элпидифор — профессор канонического права.

Павловская Эмилия Карловна (урожд. Берман; 1853 или 1857–1935) — оперная певица (лирико-драматическое сопрано), педагог; пела в Большом (Москва) и Мариинском (Петербург) театрах.

Пассек Татьяна Петровна (урожд. Кучина; 1810–1889) — мемуаристка, друг юности и родственница А.И. Герцена. Автор книги воспоминаний «Из дальних лет» (т. 1–3, 1878–1889).

Пастухов Николай Иванович (1831–1911) — журналист, прозаик. Автор бульварного уголовного романа «Разбойник Чуркин. Народное сказание» (1882–1885). Издатель популярных газет «Московский листок» (1881–1911), «Нижегородская ярмарка» (1883), «Нижегородская почта» (1884–1903), журналов «Колокольчик» (1882), «Гусляр» (1889–1890), «Заноза» (1891).

Патти — итальянские певицы (колоратурное сопрано), сестры Карлотта (1835–1889) и знаменитая Аделина (1843–1919), приезжавшие на гастроли в Россию.

Пеллико Сильвио (1789–1854) — итальянский писатель, карбонарий, проведший 15 лет в тюрьме. Автор трагедии «Франческа да Римини» (1815) и мемуаров «Мои темницы» (1832).

Перфильев Василий Степанович (1826–1890) — уездный предводитель дворянства, в 1878–1887 гг. — губернатор Москвы. Друг молодости Л.Н. Толстого, женившийся на его троюродной сестре П.Ф. Толстой.

Пимен (в миру Дмитрий Дмитриевич Благово; 1827–1897) — духовный писатель, архимандрит. С 1867 г. — послушник, а затем настоятель Николо-Угрешского монастыря.

Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) — критик, публицист. Родоночальник нигилизма в России.

Писемский Алексей Феофилактович (1821–1881) — прозаик.

Платон (428 или 427–348 или 347 до н.э.) — древнегреческий философ, автор диалогов, ставших памятниками мировой литературы.

Плевако Федор Никифорович (1842–1908/1909) — юрист, адвокат, выдающийся судебный оратор.

Плещеев Алексей Николаевич (1825–1893) — поэт, прозаик, критик, драматург. В 1849г. вместе с Ф.М. Достоевским и другими членами кружка Петрашевского стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни, которую в последний момент заменили каторгой и ссылкой в солдаты.

По Эдгар Аллан (1809–1849) — американский поэт, прозаик, критик; зачинатель детективного жанра в мировой литературе, классик новеллы, предтеча символизма.

Поливанов Лев Иванович (1838–1899) — педагог, литературовед. Составитель школьных хрестоматий и автор учебников по русскому языку. Директор частной гимназии в Москве.

Полонский Яков Петрович (1819–1898) — поэт, многие стихотворения которого положены на музыку. Среди них — «Затворница» («В одной знакомой улице...», 1846), «Песня цыганки» («Мой костер в тумане светит...»; 1853) и др.

Поссарт Эрнст (1841–1921) — немецкий актер и режиссер.

Починковская О. — см. Тимофеева В.В.

Прево д'Экзиль Антуан Франсуа (1697–1763) — французский прозаик, автор шедевра мировой литературы, романа «История кавалера Де Гриё и Манон Леско» (1731).

Прюдом — см. Сюлли-Прюдом.

Пугачев Емельян Иванович (1740 или 1742–1775) — донской казак, возглавивший под именем императора Петра III казацко-крестьянское восстание 1773–1774 гг. Казнен в Москве.

Пукирев Василий Владимирович (1832–1890) — живописец, обретший известность как представитель обличительного жанра в русском искусстве. Автор знаменитой картины «Неравный брак» (1862).

Пуччини Джакомо (1858–1924) — итальянский композитор, автор опер «Манон Леско» (1892), «Богема» (1895), «Туска» (1899),

«Мадам Баттерфлай» (1903, в России — под назв. «Чио-Чио-сан»), «Турандот» (1924) и др.

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837).

Пушкина Наталья Николаевна (урожд. Гончарова; 1812–1863) — с 18 февраля 1831 г. жена А.С. Пушкина, мать его детей Александра (1833–1914), Григория (1835–1905), Марии (1832–1919) и Натальи (1836–1913).

Радклиф Анна (урожд. Уорд; 1764–1823) — английская писательница, основоположница «романа тайн и ужасов» (готического).

Решимов Михаил Аркадьевич (наст. фам. Горожанский; 1845–1887) — актер Малого театра (с 1869 г.).

Росси Эрнесто (1827–1896) — итальянский актер, выдающийся исполнитель ролей в трагедиях Шекспира.

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829–1894) — пианист, композитор, дирижер, основатель первой русской консерватории (1862, Петербург). Автор 15 опер, среди которых наибольшую известность получил «Демон» (1871).

Рубинштейн Николай Григорьевич (1835–1881) — пианист, дирижер, педагог. Организатор Московской консерватории (1866). Один из лучших исполнителей произведений П.И. Чайковского, посвятившего ему 1-ю симфонию, 2-й фортепьянный концерт и написавшего фортепьянное трио «Памяти великого художника» (1882). Брат композитора А.Г. Рубинштейна.

Рудаков Александр Павлович (1824–1892) — духовный писатель, протоиерей, профессор богословия в петербургском Горном институте. Входил в учебный комитет при Святейшем Синоде. Автор популярных руководств «Краткое учение о богослужении православной церкви» (29-е изд. 1900), «История христианской православной церкви» (24-е изд. 1895), «Краткая церковная история» (10-е изд. 1900).

Рулье Карл Францевич (1814–1858) — биолог, один из основоположников палеоэкологии и эволюционной палеонтологии. С 1840 г. — профессор, хранитель Зоологического музея Московского университета.

Румянцев Николай Петрович (1754–1826), граф — действительный тайный советник (с 1796 г.), министр иностранных дел (1807–1814), государственный канцлер (с 1809 г.) и одновременно председатель Государственного совета (1810–1812). Сын генерал-фельдмаршала

П.А. Румянцева-Задунайского (1725–1796). Известен как ревностный собиратель книг и рукописей, положивших начало библиотеке Румянцевского музея. Инициатор (завещал на это 66 тыс. руб.) многотомного «Собрания Государственных грамот и договоров» (СПб., 1813–1828).

Салиас де Турнемир Евгений Андреевич (1840–1908) — прозаик, автор популярных исторических романов.

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (наст. фам. Салтыков, псевд. Н. Щедрин; 1826–1889) — прозаик, публицист, классик сатирического жанра в русской литературе.

Самаров Грегор (наст. имя и фам. Оскар Мединг; 1829–1903) — немецкий исторический романист, популярный в России.

Сарданапал — легендарное имя ассирийского царя Ассурбанипала, славившегося распутством. Когда Ниневию осадили враги, приказал развести огромный костер, в котором сжег себя вместе со своими женами, наложницами и сокровищами.

Сервантес Сааведра Мигель де (1547–1616) — испанский писатель-классик.

Сергиевский Николай Александрович (1827–1892) — духовный писатель, профессор богословия в Московском университете. В 1860–1869 гг. — основатель и редактор журнала «Православное обозрение».

Сергиевский — попечитель Виленского учебного округа.

Серов Александр Николаевич (1820–1871) — композитор, один из основоположников русской музыкальной критики. Автор опер «Юдифь» (1862), «Рогнеда» (1865), «Вражья сила» (1871; завершена женой В.С. Серовой и Н.Ф. Соловьевым).

Слезкин Иван Львович — жандармский генерал, начальник Московского жандармского управления.

Слепцов Александр Александрович (1836–1906) — участник революционного движения 1860-х гг., один из организаторов и руководителей тайного террористического общества «Земля и воля». С 1868 г. — педагог и журналист.

Слепцов Василий Алексеевич (1836–1878) — прозаик, публицист.

Смирнов Петр Арсеньевич (1829–1898) — водочный заводчик, директор-распорядитель Товарищества водочного завода, складов вина, спирта, русских и иностранных вин П.А. Смирнова.

Смит Адам (1723–1790) — шотландский экономист и философ, один из основоположников классической политэкономии.

Автор труда «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776).

Соллогуб Владимир Александрович (1813–1882), граф — прозаик, поэт, драматург, мемуарист.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) — философ, поэт, богослов, публицист, оказавший огромное влияние на русскую культуру Серебряного века. Сын С.М. Соловьева.

Соловьев Николай Яковлевич (1845–1898) — драматург. Автор пьес «На пороге к делу», «Счастливый день», «Женитьба Белугина», «Дикарка» и «Светит, да не греет» (последние четыре в соавторстве с А.Н. Островским).

Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879) — историк; академик Петербургской АН, ректор Московского университета (1871—1877). Автор «Истории России с древнейших времен» (1851–1879; т. 1–29). Среди двенадцати его детей — исторический романист Всеволод Соловьев, философ и поэт Владимир Соловьев, поэтесса Поликсена Соловьева.

Софокл (ок. 496–406 до н.э.) — древнегреческий поэт-драматург, создатель классических образцов жанра античной трагедии («Эдип-царь», «Антигона», «Электра» и др.).

Спенсер Герберт (1820–1903) — английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма, учения, согласно которому все подлинное (позитивное) знание является совокупным результатом специальных наук.

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839), граф, — государственный деятель. С 1807 г. — статс-секретарь Александра I, пытавшийся осуществить свой план государственных преобразований в России. Автор «Введений к уложению государственных законов», в которых изложен план государственных преобразований самодержавия в конституционную монархию. В 1812–1816 гг. — в опале, затем — генерал-губернатор Сибири. В 1826 г. возглавил II отделение Собственной его императорского величества канцелярии. Под его руководством составлено Полное собрание законов Российской империи в 45 т.

Спиноза Бенедикт (Барух; 1632–1677) — нидерландский философ-пантеист, создатель учения о тождестве Бога и природы, единой, вечной и бесконечной субстанции, являющейся причиной самой себя.

Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) — прозаик, драматург, публицист, мемуарист; владелец книжного издательства, в котором выходили газета «Новое время» (с 1876 г.), журнал «Исторический вестник» (с 1880 г.). На паях с П.П. Гнедичем и П.Д. Ленским организовал в Петербурге частный театр (1895–1917), который с 1912 г. назывался Театром литературно-художественного общества имени А.С. Суворина.

Сюлли-Прюдом (наст. имя и фам. Рене Франсуа Арман Прюдом; 1839–1907) — французский поэт, автор социологических и искусствоведческих трактатов.

Тенирс (Teniers) *Давид Младший* (1610–1690) — фламандский живописец. Известность ему принесли картины, изображавшие крестьянские свадьбы, пирушки, сборища в деревенских шинках.

Тимирязев Климент Аркадьевич (1843–1920) — естествоиспытатель, один из основоположников русской научной школы физиологов растений, профессор Петровской земледельческой и лесной академии (с 1871 г.), Московского университета (в 1878–1911), ушел в отставку в знак протеста против притиснений студенчества. Автор монографии «Жизнь растения» (1878).

Тимофеева Вера Васильевна (псевд. О. Починковская и др.; 1850–1931) — журналистка, переводчица.

Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) — политический деятель, публицист. В 1870-е гг. — член тайных народнических и террористических организаций «чайковцев», «Земля и воля», «Народная воля» (представитель ее Исполкома за границей). Отойдя от революционной деятельности, в 1888 г. подал прошение о помиловании и стал убежденным монархистом, ведущим сотрудником газеты «Московские ведомости». Автор книг «Монархическая государственность», «Воспоминания», «Заговорщики и полиция».

Толстой Алексей Константинович, граф (1817–1875), граф — поэт, прозаик, драматург. Автор исторического романа «Князь Серебряный» (опубл. 1863), драматической трилогии «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Федор Иоаннович» (1868) и «Царь Борис» (1870), соавтор (с братьями Жемчужниковыми) пародийно-сатирических произведений, печатавшихся под псевдонимом Козьма Прутков.

Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889), граф — государственный деятель, историк. Член Государственного совета (1866), обер-прокурор (1864–1880) Святейшего Синода и одновременно министр народного просвещения. Инициатор реформы среднего образования (1871). В апреле 1880 г. был уволен с постов (министром стал А.А. Сабуров, а обер-прокурором К.П. Победоносцев). В 1882–1889 гг. — министр внутренних дел и шеф жандармов. С 1882 г. — президент Академии наук.

Толстой Лев Николаевич (1828–1910), граф.

Толстой Петр Александрович (1761–1844), граф — генерал-адъютант (1797), генерал от инфантерии (1814), сенатор (1800), член Государственного совета (1823). Участник войн русско-шведской (1788–1790), русско-французской (1805, 1806–1807), Отечественной (1812), русско-турецкой (1828–1829). Удостоен всех высших российских орденов. Отец четырех дочерей и пятерых сыновей, ставших также генералами и государственными деятелями России.

Тредиаковский Василий Кириллович (1703–1768) — поэт, филолог, академик Петербургской АН, сформулировал принципы русского силлабо-тонического стихосложения.

Третьяков Сергей Михайлович (1834–1892) — коммерсант, собиратель западноевропейской живописи (коллекцию завещал Москве). В 1877–1881 гг. — московский городской голова. Брат П.М. Третьякова (1832–1898), основателя Третьяковской галереи.

Троицкий Матвей Михайлович (1835–1899) — психолог, философ, профессор Московского университета (с 1875). Инициатор создания Московского психологического общества (1884) и журнала «Вопросы философии и психологии» (1889).

Трубецкая Екатерина Ивановна (урожд. Лаваль; 1800–1854), княгиня — жена декабриста С.П. Трубецкого. В 1827 г. последовала за ним на каторгу в Сибирь.

Трубецкой Сергей Петрович (1790–1860), князь — полковник, участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813–1814 гг. Один из организаторов «Союза спасения» (1816), «Союза благоденствия» (1818) и Северного общества (1821). Был избран диктатором восстания декабристов, однако 14 декабря 1825 г. на Сенатскую площадь в Петербурге не явился. Приговорен к вечной каторге.

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) — писатель, член Петербургской академии наук. Автор романов «Рудин» (1856), «Дворян-

ское гнездо» (1859), «Накануне» (1860), «Отцы и дети» (1862), «Дым» (1867), «Новь» (1877), повестей и рассказов.

Урусов Александр Иванович (1843–1900), князь — известный в Москве адвокат, переводчик, литературный и художественный критик.

Успенский Глеб Иванович (1843–1902) — прозаик, автор очерковых циклов «Власть земли» (1883), «Нравы Растеряевой улицы» (1866) и др.

Федотова Гликерия Николаевна (1846–1925) — драматическая актриса Малого театра в 1863–1905 гг., педагог.

Фет Афанасий Афанасьевич (наст. фам. Шеншин; 1820–1892) — поэт, мемуарист.

Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов; 1782–1867) — церковный деятель, проповедник, богослов, философ, историк Священного писания. В 1821–1867 гг. — митрополит Московский. Более 40 лет был также священноархимандритом Троице-Сергиевой лавры, где и похоронен. Автор книг: «Начертание церковной библейской истории», «Катехизис Православной Церкви», «Слова и речи»; переводчик Священного Писания на русский язык. Составитель акта о передаче престола Николаю I, манифеста 19 февраля 1861 г. об освобождении крестьян и др. В 1826 г. обменялся стихотворными посланиями с А.С. Пушкиным.

Филд (Фильд) Джон (1782–1837) — ирландский пианист, композитор, педагог. С 1802 г. жил в России. Создатель жанра фортепианного ноктюрна.

Филиппов Дмитрий Иванович (1855–1908) — владелец булочных и кондитерских пекарен в Москве. Придворный поставщик.

Франц Роберт (1815–1892) — немецкий композитор, органист, дирижер.

Хлудов Михаил Алексеевич (1843–1885) — коммерсант из известного купеческого рода владельцев хлопчатобумажных фабрик в Егорьевске и др. Сын А.И. Хлудова (1818–1882), купца 1-й гильдии, основателя Торгового дома «А. и Г. Ивана Хлудова сыновья», собирателя коллекции древнерусских рукописей и книг (ныне в Государственном историческом музее).

Хохлов Павел Акинфиевич (1854–1919) — оперный певец (баритон). В 1879–1900 гг. — солист Большого театра, где и состоялось его последнее выступление после продолжительных гастролей по России.

Цингер Василий Яковлевич (1836–?) — профессор математики в Московском университете (1862–1898).

Цицерон Марк Туллий (106–43 до н.э.) — римский политический деятель, выдающийся оратор и писатель.

Чайковский Петр Ильич (1840–1893) — композитор, дирижер, педагог, музыкальный деятель. Автор всемирно известных опер, балетов, симфонических произведений. Чайковскому принадлежат также литературные работы — стихотворения, либретто опер («Опричник», «Орлеанская дева», «Воевода» — совместно с А.Н. Островским), учебник гармонии (1875), переводы на русский язык музыкально-теоретических трудов, текста романсов и оперы «Свадьба Фигаро», критические статьи. В 1866–1878 гг. — профессор Московской консерватории.

Чернокнижников Иван — см. Дружинин А.В.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) — публицист, прозаик, критик. В 1856–1862 гг. — один из руководителей журнала «Современник». Идейный вдохновитель движения революционной демократии 1860-х гг. В 1862 г. арестован и заключен в Петропавловскую крепость, где написал роман «Что делать?» В тюрьмах провел более 20 лет. Автор трудов по эстетике, философии, социологии, политэкономии, этике.

Чехов Антон Павлович (1860–1904).

Чинизелли — цирковая итальянская семья, работавшая в России: Гаэтано Чинизелли (1815–1881) — антрепренер, конный акробат и дрессировщик-наездник; его сыновья: дрессировщик-наездник Андрео (1840–1891) и антрепренер Сципионе, руководивший цирком отца в 1891–1919 гг. Здесь выступала и его жена наездница Люция.

Чупров Александр Иванович (1842–1908) — экономист, статистик, публицист, профессор политэкономии Московского университета, член-корреспондент Петербургской академии наук (1887). Один из основоположников отечественной статистической науки. Автор многих трудов, а также учебников по статистике. Организатор переписи населения Москвы в 1882 г.

Шекспир Уильям (1564–1616) — английский драматург и поэт.

Шервинский Василий Дмитриевич (1850–1941) — терапевт и патологоанатом; профессор Московского университета. Один из основоположников эндокринологии в России.

Шиллер Фридрих (1759–1805) — немецкий поэт, драматург, теоретик искусства. Автор драм «Разбойники» (1781), «Коварство и любовь» (1784), «Мария Стюарт», «Орлеанская дева» (обе 1801), «Вильгельм Телль» (1804) и др.

Шильдер Николай Карлович (1842–1902) — историк, генерал-лейтенант (с 1893 г.). Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. С 1899 г. — директор Императорской Публичной библиотеки в Петербурге. Автор фундаментальных биографических трудов «Граф Э.Н. Тотлебен» (т. 1–2, 1885–1886), «Император Александр I, его жизнь и царствование» (т. 1–4, 1904–1905), «Император Павел I» (1901), «Император Николай I, его жизнь и царствование» (т. 1–2, 1903). Благодаря дружбе с Александром III имел доступ в самые секретные архивы.

Ширинский-Шихматов Александр Прохорович (1822–1884), князь — попечитель Киевского (1864–1867) и Московского (1867–1874) учебных округов. В 1874–1880 гг. — товарищ министра народного просвещения. С 1876 г. сенатор.

Шишкин Иван Иванович (1832–1898) — живописец и график.

Шопен Фридерик (1810–1849) — польский композитор и пианист.

Шопенгауэр Артур (1788–1860) — немецкий философ.

Шпильгаген Фридрих (1829–1911) — немецкий прозаик, автор популярных в России социально-политических романов — «Один в поле не воин» (1867—1868) и др.

Шубинский Сергей Николаевич (1834–1913) — журналист, историк, генерал-майор. В 1875–1879 гг. — редактор иллюстрированного исторического журнала «Древняя и новая Россия», основатель и редактор с 1880 г. до 1913 г. первого в России научно-популярного ежемесячника «Исторический вестник».

Щепкин Митрофан Павлович (1832–1908) — публицист.

Эдисон Томас Алва (1847–1931) — американский изобретатель (более 1000 изобретений) и предприниматель.

Эрарский Анатолий Александрович (1839–1897) — пианист, дирижер, педагог.

Юрьев Сергей Андреевич (1821–1888) — переводчик (Шекспир, Лопе де Вега, Кальдерон), автор статей о театре. В 1880–1886 гг. — редактор «Русской мысли».

Юстиниан I (482 или 483–565) — император Византии с 527 г., при котором был построен храм Святой Софии в Константинополе.

Языков Николай Михайлович (1803–1846) — поэт пушкинского круга.

Янжул Иван Иванович (1846–1914) — экономист и статистик, академик Петербургской АН.

Ясинский Иероним Иеронимович (1850–1931) — прозаик, поэт, переводчик, журналист. Автор романов «Иринарх Плутархов» (1890), «Первое марта» (1900), «Под плащом Сатаны» (1911) и др. Редактор журналов «Ежемесячные сочинения» (1901–1902), «Беседа» (1903–1908), «Новое слово» (1908–1914), «Красный огонек» (1918).

СОДЕРЖАНИЕ

Амфитеатров А.В.

А 63 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 6. Концы и начала. Хроника 1880–1910 годов. Восьмидесятники: Роман. Книга вторая. Крах души. Литературные портреты. Памфлеты / Сост., примеч. Т.Ф. Прокопова. — М.: НПК «Интелвак», ГНПК «Вакууммашприбор», 2002. — с. 688.

ISBN 5-93264-033-2 (т. 6)

В шестом томе Собрания сочинений А.В. Амфитеатрова (1862–1938) впервые публикуется роман «Восьмидесятники» (книга вторая «Крах души») из эпопеи «Концы и начала. Хроника 1880–1910 годов», а также литературные очерки из сборников «Свет и сила», «Славные мертвецы», политические памфлеты.

УДК 882 Амфитеатров 2

ББК 84 (2Рос-Рус)1

Амфитеатров Александр Валентинович

Собрание сочинений в 10 томах
Том 6

ВОСЬМИДЕСЯТНИКИ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ
ПАМФЛЕТЫ

Составление, примечания
Тимофея Федоровича Прокопова

Редактор *Татьяна Горькова*
Корректор *Наталья Шипилова*
Верстка *Ирины Ануфриевой*

Подписано в печать 08.06.2002.
Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 34,44. Уч.-изд. л. 34,15.
Тираж 3000 экз. Заказ № 3242.

Лицензия ЛР № 071768 от 15 декабря 1998 г.

Издательство НПК «Интелвак»
117105, Москва, Нагорный проезд, 7
Факс 127 3847. Тел. 127 3846
E-mail: iv@deltacom.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета на ГИПП «Вятка».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.



